

М. Н.
ЗАГОСКИН
ИЗБРАННОЕ


М. Н.
ЗАГОСКИН
ИЗБРАННОЕ





М. Н. ЗАГОСКИН

ИЗБРАННОЕ



МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1988

84 Р 1
З 14

Составление и комментарии
А. М. Пескова и О. А. Проскурина

Вступительная статья
О. А. Проскурина

Иллюстрации
С. Ю. Ермолова

З $\frac{4702010100-1661}{080(02)-88}$ 1661—88

«МАЛАЯ ПРОЗА» МИХАИЛА ЗАГОСКИНА

Для современного читателя М. Н. Загоскин — прежде всего автор знаменитого «Юрия Милославского» и чуть менее знаменитого «Рославлева». Читатели 1810—1820-х годов знали другого Загоскина — популярного драматурга, автора остроумных комедий «Добрый малый», «Господин Богатонов, или Провинциал в столице», «Благородный театр»... Но был еще и третий Загоскин — автор повестей и очерков, мастер малых повествовательных форм. Эти его опыты не пользовались среди современников и потомков такой известностью и популярностью, как исторические романы и сатирические комедии. Однако сам Загоскин «малую прозу» любил и обращался к ней на протяжении всей своей творческой жизни.

Многие из повестей и очерков мыслились автором как вещи экспериментальные и «эскизные», как заготовки для будущих «капитальных» сочинений. Но мы знаем, что скромные этюды порою лучше выражают личность художника, чем грандиозные картины, подчиненные канонам и правилам.

* * *

Судьба первоначально не была благосклонна к будущему автору «Юрия Милославского». Юный Загоскин, прибывший в 1802 году из пензенского захолустья в столицу искать счастья, сразу же вынужден запрячься в канцелярскую лямку. Начинается многолетняя нудная служба — в незначительных должностях, с мизерным жалованьем. На сколько-нибудь существенную финансовую помощь из дому рассчитывать не приходилось. Потомок славного Шавкала Загора, Загоски тож, гордившийся «древностию рода своего» (Ф.Вигель), оказывается бедным чиновником, полуразночинцем по своему положению, бытовому укладу и мироощущению (чего стоит рассказ сына писателя о том, как молодой Загоскин обогревает свою промерзшую квартирку деревянными стульями!).

Привычные стереотипы восприятия подсказывают нам, что «бедный чиновник» должен либо покорно мириться со своей участью, либо «бунтовать» (хотя бы так, как Самсон Вырин). Но в начале XIX века был возможен и еще один путь: попытаться «с бокового входа» войти в ту дворянскую культуру, от которой волею исторических обстоятельств оказался отторжен. Именно этим путем пошел Загоскин, едва вступив на литературное поприще.

Чтобы приобрести сколько-нибудь устойчивое положение в словесности, требовалось связать свое имя с одной из авторитетных литературных партий (для бедного чиновника и в литературе оставалось непреложным известное правило: «Ведь надобно ж зависеть от других»). Загоскин выбирает консервативную и сановную «Беседу любителей русского слова». Он пишет «Комедию против комедии» — пьеску, поддерживающую маститого драматурга А.А.Шаховского в его борьбе с карамзинистами. Поддержка была встречена благосклонно: перед начинающим автором открывается столичная сцена (Шаховской пользовался в театральном мире большим весом), сам адмирал Шишков демонстрирует ему свое расположение.

Однако подлинной близости с «Беседой» у Загоскина не возникло. Литературная программа «беседчиков» ему, по сути, чужда. Мечты о «высокой» словесности, рассуждения о «славенороссийском» языке — все это для него тарабарская грамота, чересчур абстрактные и туманные проблемы. Молодой литератор слишком прочно стоит на земле, чтобы интересоваться такими вещами. Его влекут к себе жанры, которых и «беседчики» не жаловали,— бытовая комедия, очерк, сатирическая повесть. В подобных интересах по-своему выразился тогдашний «демократизм» Загоскина: в начале XIX века соответствующие жанры в основном были уделом мелкотравчатых литераторов, находившихся на периферии дворянской культуры.

Союз Загоскина с «Беседой» во многом объясняется не столько общими симпатиями, сколько общими антипатиями. У них был один враг — писатели-карамзинисты. Молодой литератор-чиновник видит в карамзинизме искусство праздных и обеспеченных дворян, которые вдохновенно творят некий иллюзорный мир, льют слезы над придуманными ситуациями и надуманными проблемами, в то время как мир «существенности» (для Загоскина весьма ощутимый!) обходится с пренебрежением. Да и главная цель словесности — исправление нравов — ими, похоже, забыта...

Литературная деятельность молодого Загоскина развертывается под знаком борьбы с карамзинизмом. Воинственным духом проникнута и повесть «Неравный брак» — наиболее значительное прозаическое сочинение Загоскина 1810-х годов.

«Неравный брак» строится на эффекте обманутого ожидания. Сначала повесть обещает быть традиционно-чувствительной: сами имена действующих лиц — Лиза и Эраст — отсылали к знаменитой «Бедной Лизе» Карамзина, «эталону» жанра. На мелодраматические стереотипы настраивала завязка — рассказ о злой воле родных, разрушающих союз любящих сердец и бросающих бедную Лизу в объятия старика-богатея. Но сентиментальные шаблоны тут же ломаются: повесть оказывается не подражанием, а альтернативой сентиментальной прозе.

Любовная коллизия вытесняется на второй план сатирическими зарисовками дворянского быта. По сути дела, именно этот быт превращается в «главного героя» повести.

Самим автором сатирический бытовизм «Неравного брака» истолковывался как результат следования жизненной правде. Упреждая упреки в наклонности к «низким» предметам, Загоскин провозглашает: «...я намерен был описывать свет и людей точно таковыми, каковыми они есть; я не хотел, подобно многим романистам, выводить на сцену вместо обыкновенных людей мечтательные существа, имеющие бытие в одном воображении автора, не хотел описывать характеры, кото-

рых вы не встретите в нашем отечестве. Я желал... взглянуть мимоходом, вместе с читателем, на образ жизни богатого и скупого помещика, которых, скажу вам потихоньку, есть много, очень много на нашей матушке святой Руси».

Этот манифест говорит нам о том, что Загоскин присоединяется к давней традиции сатирико-бытовой прозы, отталкивающейся от сентиментальной и предромантической линий в литературе. Еще в самом начале XIX века Н.Остолопов — характерный представитель этой традиции — писал в предисловии к своей юношеской повести «Евгения, или Нынешнее воспитание» (1803): «С некоторого времени все почти наши авторы пишут жалостное, печальное; все проливают чувствительные слезы и заставляют других плакать, как будто и без них мало у нас горестей. Но я не хочу им последовать, не буду водить читателя по кладбищам и пустым избушкам, а поведу его туда, где живут люди». Литературный генезис Загоскина достаточно очевиден.

Залогом «правдивости» повести должна была служить и ее своеобразная биографическая основа. В 1815 году Загоскин, подчиняясь воле родителей, был помолвлен на девушке, к которой не чувствовал ни малейшей склонности (как, впрочем, и она к нему). Помолвку удалось расстроить, и в 1816 году Загоскин женится на А.Д.Васильцовской, побочной дочери бригадира Новосильцова. Брак состоялся только благодаря воле и энергии невесты: Новосильцов желал для дочери более выгодной партии. Когда все треволнения оказались уже позади, счастливый супруг мог позволить себе «проиграть» на бумаге иной вариант судьбы: что было бы, если... Ну, а богатый материал для изображения домашнего быта невежественного помещика давали пензенские впечатления.

Но все-таки «жизненная правда» повести Загоскина весьма относительна. Быт трактуется в ней исключительно и только как низкий быт; единственный способ его изображения — карикатура и осмеяние. «Реальность» во многом оборачивается литературщиной: герои повести словно взяты из сатирических журналов и комедий XVIII века. Не случайно одного из помещиков сам автор именует «точной копией Скотинина». С известными оговорками эту характеристику можно перенести и на господина Славолюбского, для которого скотный двор — «средоточие всех радостей и наслаждений».

Низкий быт осмеивается не для того, чтобы противопоставить ему идеальную норму разума (как бывало в сочинениях просветителей XVIII века) — всякие умозрительные теории Загоскину чужды и непонятны. Повествование имеет куда более практическую цель: из него должны извлекаться уроки житейской мудрости. К примеру, Загоскин лукаво объясняется с «прекрасной читательницей», возмущенной тем, что автор без должного осуждения описывает неверность молодой супруги,— и тут же выводит «урок» для «престарелых людей, которые ... имели дурачество жениться на 18-летней девушке». Разговор о несчастной участи молодой супруги тут же дает повод для следующего «урока» — на этот раз для «отцов, матерей и жадной толпы родственников». Так воплощается в «Неравном браке» нехитрая философия Загоскина — философия житейского здравого смысла, отступления от которого чреваты всякими бедами и несчастьями...

При всем своем несовершенстве первый повествовательный опыт имел для Загоскина немалое значение. Отсюда, от «Неравного брака», идут и бытовизм, и практический морализм — то, без чего творчество

Загоскина представить практически невозможно. Заслуживает внимания и «театральная» поэтика повести: здесь и «сценическая» композиция (повествование строится как цепочка сценок), и прием «театра в театре» (свидание Лизы и Эраста, созерцаемое Славолюбским и гостями), и фарсовый комизм (сцена пожара). Все это своеобразные заготовки для будущих комедийных опытов. Но, помимо того, театральное начало станет важным компонентом поэтики прославленных романов Загоскина (прежде всего «Рославлева») и его поздних очерков.

* * *

В 1820-х годах Загоскин с удвоенной энергией прокладывает путь к вершинам российского Парнаса. Переселившись в 1820 году в Москву и вращаясь теперь в московской литературно-театральной среде, он мечтает составить себе имя большой стихотворной комедией (прозаические комедии, писавшиеся Загоскиным прежде, рассматривались традиционной жанровой теорией как нечто заведомо «второсортное»). Загоскин, абсолютно глухой к звучанию поэтического слова (что единодушно подтверждается мемуаристами), начинает усиленно осваивать механизм стиха. Когда его первые стихотворные опыты встречают одобрение и поддержку Н.И.Гнедича, былого сослуживца по Публичной библиотеке, тридцатидвухлетний «новорожденный поэт» приходит в неподдельный восторг. Сообщая петербургскому другу о начале работы над стихотворной комедией «Благородный театр», Загоскин шутливо (но по сути — вполне серьезно!) именует свой труд «великим подвигом» и сравнивает его... с гнедичевским переводом «Илиады» Гомера! Для него овладение поэтической формой и утверждение себя в авторитетном драматическом жанре — именно «великий подвиг», преодоление некоего барьера на пути к литературной славе, подобно тому как сдача экзамена на чин коллежского асессора — преодоление барьера на пути к жизненному благополучию, независимости, высокому социальному статусу. (Характерно, что преодолевать оба «барьера» Загоскин готовится одновременно.)

Но к тому времени, когда «Благородный театр» был завершен, старая литературная иерархия уже утратила былую авторитетность. В моду входит историческая проза. Вся Россия взахлеб читает романы Вальтера Скотта. В «вальтерскоттовской» манере пытаются писать свои повести А.Бестужев и А.Корнилович. На требования времени живо откликается и Загоскин. Именно ему суждено было стать автором первого русского исторического романа.

Успех «Юрия Милославского» превзошел все ожидания. Роман принес Загоскину то, чего не могли дать все его комедии, — известность, славу, наконец, деньги. Сравнительно малоизвестный литератор стремительно выдвигается в ряд первых русских авторов. Журналы расточают ему похвалы. Пишут комплиментарные письма Пушкин и Жуковский... Это был триумф!.. Второй роман — «Рославлев» — озарен лучами славы первого; Загоскин получает за него 40000 рублей — вещь неслыханная в летописях русской книжной торговли! Литературный успех во многом определил успехи служебные: «Юрий Милославский» понравился императору, и это обернулось назначением Загоскина сперва управляющим (1830), а затем и директором московских театров. В 1831 году Загоскин был пожалован званием камергера двора.

После трех первых романов (в 1833 году появляется «Аскольдова могила») возникает потребность передохнуть и создать вещь в более «легком» роде — нечто вроде интермедии на театре. Так появляется повествовательный цикл «Вечер на Хопре» (частично опубликован в 1834, полностью в 1837 году).

Но теперь и «интермедия» должна демонстрировать высокий литературный статус сочинителя, подтверждать его право на место в ряду первых отечественных писателей. Загоскин изо всех сил старается, чтобы «Вечер на Хопре» выглядел как «остромодная» вещь. В начале 1830-х годов в моде «страшные» произведения — с фантастикой, инфернальными силами, привидениями, «животным магнетизмом» и всевозможными таинственными явлениями — и Загоскин делает фантастику тематическим стержнем цикла; таинственного и ужасного там хоть отбавляй. С интересом читаются повести на фольклорной основе — с колдунами, нечистой силой, народными суевериями и сказочными сюжетами — и Загоскин обильно уснащает «Вечер на Хопре» фольклорными образами и мотивами. Знамение времени — повествовательные циклы с несколькими рассказчиками и образом простодушного повествователя в центре (вспомним хотя бы «Повести Белкина» Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, «Пестрые сказки» Одоевского) — и «Вечер на Хопре» будет строиться именно как такой цикл...

Но все-таки «Вечер на Хопре» — больше чем сочинение эпигона, ловко эксплуатирующего модные темы и приемы в расчете на успех у невзыскательного читателя. Здесь есть и особое видение мира, и особое отношение к этому миру. «Вечер...» создается уже опытным историческим романистом, и это постоянно чувствуется. Фантастический материал «вдвинут» Загоскиным в русскую бытовую обстановку. Автор стремится окрасить повествование «местным» и «историческим» колоритом. Все события имеют четкую временную и пространственную приуроченность: рассказчики встречаются в 1806 году, в деревушке, расположенной в Сердобском уезде Саратовской губернии; каждая из рассказанных новелл в свою очередь отнесена к определенной исторической эпохе. Загоскин пытается точно обрисовать исторические подробности: им тщательно выписываются быт и нравы старой русской провинции, характеризуются ее умственные интересы и литературные вкусы («готические» романы Радклиф и повести мадам Жанлис, с жадностью читаемые немногочисленные русские журналы), даже воспроизводятся характерные словечки из местного диалекта.

Но этими внешними признаками история в общем-то исчерпывается. Под «исторической» оболочкой просматривается иной мир — мир утопии. Надо сказать, что тяготение к созданию утопий было отличительной чертой тогдашнего литературного сознания. Достаточно вспомнить Гоголя с его «Вечерами...». Но если Гоголь создает утопический мир фольклоризованной *народной* Малороссии, то Загоскин предлагает читателю утопическую картину русской *стародворянской* жизни. Взгляд Загоскина на мир со времен «Неравного брака» качественно изменился, ибо изменился сам Загоскин. Он наконец-то занял подобающее место в дворянской культуре. Поместный мир вызывает теперь откровенную симпатию. Стародворянский быт в «Вечере на Хопре» — предмет искреннего любования, которому нимало не мешает мягкая, добродушная ирония. Даже живописные картины «из жизни Суворова», украшающие жилище Ивана Алексеевича Асанова, самой своей беспомощностью вызывают у рассказчика какое-то умиление. Да

и люди на Хопре собрались на редкость привлекательные: к примеру, сердобский исправник таков, что «все помещики его любили, казенные крестьяне молились за него богу, а воры, плуты и пьяницы боялись как огня». Из деревушки на Хопре творится что-то вроде «доброй, старой Англии» на русский лад.

И вот здесь, в доме эксцентрического, тоже на английский манер, помещика Асанова собирается компания респектабельных сельских джентльменов, которые возле уютного пламени камелька, при шуме осеннего дождя, занимают друг друга страшными историями. Так в цикл вводится фантастическая тема, которая займет в нем центральное место.

Первоначально все тайны и чудеса подаются в лукаво-ироническом освещении. Сам повествователь предстает перед читателем как простодушный «охотник до страшных историй»; его наивные попытки «испытать» на себе что-нибудь чудесное и сверхъестественное то и дело заканчиваются конфузом. Да и шутливое сравнение дома Асанова с Удольфским замком и Графильским аббатством отнюдь не настраивает читателя на серьезный лад (Удольфский замок — в Сердобском уезде!). Первые из рассказанных историй также выдержаны в ироническом ключе. Чудеса в них оказываются результатом мистификации. «Пан Твардовский» — пересказ старинной сказки В. Левшина «Повесть об Алиоше Поповиче...», с одной, впрочем, поправкой: все ужасы, которые Алеше довелось пережить наяву, у Загоскина превращаются в хитрую проделку польского шляхтича. Второй рассказ — «Белое привидение» — история в духе итальянских ренессансных новелл о ловких влюбленных (едва ли случайно действие рассказа происходит в Италии!).

Но уже третья история — «Незваные гости» — сложнее по смысловой структуре. Жанровые источники этой истории — фольклорные рассказы о встречах с нечистой силой (былички). Сохраняются основные атрибуты жанра (отступление от «правильного» поведения как причина появления нечистой силы). В духе былички рисуются и гости с того света: в них нет ничего демонического, инфернального, на первый план выступают отталкивающие черты физического безобразия — и только. По тону рассказ скорее забавен, чем ужасен. Но что-то все же мешает воспринимать его как простое изложение забавного «суеверия». Это «что-то» — двойная мотивировка. Необычное событие получает одновременно «реальное» и фантастическое истолкование. Читателю предоставляется право выбирать между тем и другим, однако вещь строится так, что второе (ирреальное) истолкование кажется, как это ни парадоксально, «правдоподобнее» и предпочтительнее. В этой забавной повести намечается переход к серьезному восприятию фантастики.

В следующих рассказах такое восприятие оказывается господствующим: ирреальное явно главенствует над бытом и в «Концерте бесов» — прихотливой новелле в манере Гофмана, и в «Двух невестках» — поучительной истории о «сродстве душ». И вот, наконец, последняя история — «местное предание о колдуне-чернокнижнике и разбойнике Глинском, о его договоре с дьяволом и ужасном «ночном поезде». Здесь уже происходит прямое вторжение фантастического мира в действительность: страшный кортеж мертвецов прибывает к дому, где собрались рассказчики!.. Но когда перепуганные гости Асанова все-таки решаются дать отпор нежданным посетителям, от «ночного поезда» не остается и следа. Итак, цикл завершается как будто посмеянием суеверий. И, выходит, прав один из рассказчиков, скептик Заруц-

кий, как-то иронически заметивший: «Знаете ли, до какой степени может иногда приготовленное к чудесам воображение обманывать все наши чувства?»... Однако эпилог (в котором сообщается о таинственном явлении к Заруцкому умершей невесты) вновь круто меняет смысловую интенцию произведения. Оказывается, что истина не на стороне скептиков, уповающих на «просвещение», а на стороне наивного рассказчика, в самом начале «Вечера на Хопре» провозгласившего: «...Я еще не знаю, кто больше ошибается, тот ли, кто верит всему без разбора, или тот, для которого все то вздор, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы».

Чудесному и необычному отводится законное место в жизни. Как ни странно это покажется, подобные представления были вполне обычными у тогдашней образованной публики, и в частности в ближайшем окружении Загоскина. Яркая тому иллюстрация — записки приятеля Загоскина М.А.Дмитриева. Из них мы узнаем, что чудесное встречается в жизни если не на каждом шагу, то все же достаточно часто. В сибирской глуши старичок-швед по звездам определяет, кто будет царствовать после Екатерины II (вплоть до Александра II!) и какой характер будет иметь каждое из царствований; драгоценный камень, выпавший из императорского венца во время коронации, предвещает великие беды от правления Николая... Сам автор наделен «способностью предугадывать» и точно предсказывает время кончины своей жены... На таком фоне не кажется чем-то уникальным и отношение к чудесному у Загоскина. Но то, что у Дмитриева, штудировавшего Шеллинга и масонские трактаты, получает философско-мистическое обоснование, у Загоскина выступает в наивно-житейской форме. Тайны, не подвластные «физическим законам природы», в общем-то не вносят особого дискомфорта в привычный жизненный уклад. Рассказы, объединенные в «Вечере на Хопре», должны показать, что ирреальное — необходимый и в своем роде естественный (а потому вовсе не такой уж страшный!) элемент бытия. Загоскин и на границе с «безднами» остается неисправимым оптимистом.

* * *

В феврале 1842 года Загоскин после долгих просьб был отставлен от поста директора московских театров (который с каждым годом тяготил его все более и более) и назначен на необременительную и почетную должность директора Оружейной палаты. К тому времени он имел уже чин действительного статского советника (генеральский!), прочное положение в обществе и столь же прочные консервативные убеждения. Взгляды, вкусы, пристрастия и предрассудки позднего Загоскина наиболее полно воплотились в четырехтомной книжке «Москва и москвичи» (первый «выход» — 1842-й, последний, четвертый — 1850-й; судя по всему, автор намеревался продолжить издание).

В эту пору русская литература переживает кратковременный, но бурный расцвет «физиологического очерка». Украшенные политипажами выпуски «Наших, списанных с натуры русскими» (1841) А.Башуцкого стремительно разошлись и вызвали к жизни целый легион подражателей. «Физиологии» пишут все — от Булгарина до Некрасова. Все взапуски «анатомируют» типы — дворника, извозчика, шарманщика, петербургского немца, провинциала... Загоскин и здесь не остается в сто-

роне от духа времени. Но все же связь его с «физиологиями» — чисто внешняя. В модной упаковке читателю преподносился достаточно добротный, но все-таки уже выходивший из употребления товар.

Прежде всего бросается в глаза, что во всех четырех «выходах» практически нет физиологических очерков в точном смысле слова. В жанровом отношении «Москва и москвичи» — своеобразная амальгама. Здесь и драматические сценки, порою снабженные грифом «Сцены из домашней и общественной московской жизни» (некоторые из этих «сцен» были вскоре превращены автором в самостоятельные пьесы), зарисовки нравов, цикл рассказов-анекдотов «Осенние вечера», наконец, всякая всячина — статистические и исторические заметки, «характеры», подслушанные разговоры (все это вошло в рубрику «Смесь»). Весь этот разнородный и пестрый материал скреплен образом повествователя — Богдана Ильича Бельского.

Образ Бельского корнями своими уходит в пору литературной молодости Загоскина. В 1810-х годах в большой моде были книги французского нравоописателя Г.Жуи «Антенский пустынник», «Гвианский пустынник» и им подобные. Жуи наперебой подражают русские авторы. Ближайший друг Загоскина П.Корсаков издает журнал «Русский пустынник» (в журнале, впоследствии переименованном в «Северный наблюдатель», активно сотрудничает Загоскин. Под влиянием Жуи написаны и ранние нравоописательные очерки).

Образ «пустынника» имел свои устойчивые атрибуты: это человек преклонных лет, многоопытный и разумный, ироничный и наблюдательный консерватор, знающий истинную цену модным новинкам. Он принципиально удаляется от шума света и взирает на суету мирскую чуть со стороны (Шоссе д'Антен — предместье Парижа; русские пустынники тоже селятся то в Лужниках, то на Васильевском острове). Все перечисленные атрибуты присутствуют и в образе Б.И.Бельского. Это пожилой холостяк, не одно десятилетие живущий в переулке у Пресненских прудов (в ту пору — далекая московская окраина), добродушный резонер и симпатичный «старовер»... Образ Бельского оказывался старомодной, но удобной маской, которая мотивировала и содержание, и самый тон рассказа. Но одним маскарадом дело не ограничивалось.

Воспоминания Загоскина-сына и М. А. Дмитриева показывают, сколь унизительную и комическую роль доводилось порою играть на административном поприще прославленному драматическому писателю[1]. Мечты Загоскина об отставке или хотя бы о более спокойной службе приобретают характер некоего томления по идеалу. Этот идеал независимой, покойной и уединенной жизни и был воплощен в образе Б.И.Бельского в той беспримесной, «сублимированной» форме, которая недостижима в низкой действительности...

Среди многочисленных откликов на «Москву и москвичей» (в основном — сочувственных) выделяются два любопытных суждения.

---

[1] С. М. Загоскин по долгу службы в течение нескольких десятилетий собирал материалы для биографии Николая I. За это время он, видимо, настолько проникся своим «предметом», что «великодушным поступком его величества» или доказательством «милостивого расположения» почитал самые оскорбительные и казарменные выходки императора. Приведенные мемуаристом факты говорят за себя красноречивее, чем верноподданнические комментарии к ним.

Первое из них принадлежит В.Г.Белинскому. По мнению критика, «произведение Загоскина, несмотря на все свои достоинства, вполне оправдывающие славу его сочинителя, имеет тот весьма важный недостаток, что в нем нет ни Москвы, ни москвичей». Второе суждение высказано литературным антагонистом Белинского — М.А.Дмитриевым. В своих воспоминаниях о Загоскине он пишет: «В его книжках «Москва и москвичи» не видно ни Москвы, ни москвичей; это какие-то люди из другого мира. Он не изображал, а сочинял нравы, да потом их и осмеивал».

В этих отзывах есть немалая доля истины. Действительно, в «москвичах» Загоскина тщетно было бы искать примет времени, отпечатка эпохи 40-х годов. Загоскину совершенно чужд взгляд на современника как на социальный или хотя бы профессиональный тип, сформированный историей. Во вступлении к циклу устами Б.И.Бельского провозглашено: «Москва богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов». Но тут же выясняется, что «отечественные нравы» понимаются автором как набор вневременных «элементов», к коим принадлежат хлебосольство, сметливость, страсть к псовой охоте, щегольство, ученость, невежество — и проч., и проч. Эти же свойства обнаруживаются и в москвичах 1820-х, и 1810-х, и 1790-х годов — и так до бесконечности. Метод Загоскина, отразивший ранний этап развития исторического сознания в России, в 40-е годы выглядел явно архаично.

Из комбинации извечных «свойств» уже нельзя было создать характер современника. На фоне московских декораций разыгрываются сценки, в которых действуют герои, подобные персонажам ранних комедий Загоскина: распутный дворянин, космополит, восхваляющий все западное и бранящий все отечественное, чудак-антикварий, барин-самодур, патриархальные мужички... Перед нами своеобразный театр марионеток, те самые вымышленные нравы, о которых едко писал М.Дмитриев. Если поверить С.Аксакову и принять за истину, что москвичи узнавали в некоторых персонажах своих знакомых, то это происходило, конечно, совершенно так же, как в старинных комедиях: угадать в условном и искусственном персонаже «портрет» реального лица помогала какая-нибудь внешняя деталь, а никак не глубина и полнокровность образа.

Еще одна характерная особенность «Москвы и москвичей» — их морализм. В очерках морализируют все — от мужичка-извозчика до камергера, хотя пальма первенства отдана здесь, конечно, Богдану Ильичу Бельскому. Всякое путешествие по Москве, всякая сценка дают ему обильный материал для поучений, проникнутых консервативно-патриархальным духом. Так, посещение Нескучного приводит к выводу, что бессмысленно пытаться заполнить пропасть между понятиями простолюдина и дворянина и что для мужика потребно одно «просвещение» — религия. Гулянье в Сокольниках оборачивается целым каскадом подобных умозаключений: что парижские моды не соответствуют нашему климату и являются плодом рабского подражания; что не всегда следует доверять «общему мнению»; что «умеренное употребление вина не только не вредно, но даже полезно», но что тем не менее нужно всячески приветствовать распространение у нас чая, ибо «умеренность

редко бывает добродетелью русского человека»... После Лермонтова и в одно время с «натуральной школой» это звучало по крайней мере наивно.

* * *

Уже во второй половине XIX века Аполлон Григорьев, весьма сурово оценивший охранительную идеологию Загоскина, определил бесспорные достоинства его сочинений: «комический талант», «добродушный юмор», «жар увлечения», «своего рода поэтическая манера». Все эти качества соседствуют у писателя с другими, которые принято считать недостатками,— с морализмом, прямолинейностью, доктринерством и консерватизмом. Читатель волен принимать одно и отвергать другое. Но он должен ясно понимать, что одно без другого в творчестве Загоскина не существует — как, наверное, и во всяком сколько-нибудь значительном явлении культуры.

О. А. Проскурин.

ПОВЕСТИ

НЕРАВНЫЙ БРАК

ВЕЧЕР НА ХОПРЕ

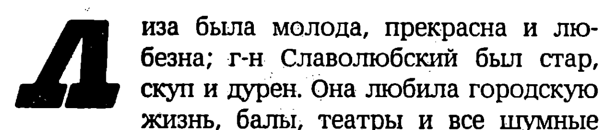




НЕРАВНЫЙ БРАК

Отрывок из одного русского романа

Глава I



Лиза была молода, прекрасна и любезна; г-н Славолюбский был стар, скуп и дурен. Она любила городскую жизнь, балы, театры и все шумные удовольствия; он любил деньги, малый расход, холмогорских быков и голландских коров. Ей было не более восемнадцати лет, ему около шестидесяти. Кто не пожалеет о бедной Лизе? Она была — его женою! Вообразите фигуру уродливого карлы; представьте себе лицо, на котором время напечатлело неизгладимыми чертами полные шестьдесят лет — вот Славолюбский. Видали ли вы когда-нибудь богиню красоты, написанную рукою искусного художника: вот портрет Лизы. Странно покажется, что Лиза вышла за такого урода! На это есть небольшая причина, о которой я позабыл упомянуть: г-н Славолюбский имел несколько сот тысяч и три или четыре подмосковные. Но возможно ли, чтоб молодая, любезная девица была так привязана к богатству? Конечно, нет! Но восемнадцатилетняя девушка не может располагать сама собою; а какому батюшке не кинутся в глаза три тысячи душ! Какая матушка не захочет видеть свою дочку осыпанную бриллиантами!

Лиза воспитывалась в Москве. Там увидела она и полюбила Эраста, молодого, любезного человека. Он сватался; ему отказали (Эраст был небогат). Бедная девушка грустила, тосковала и в один вечер получила повеление явиться в кабинет к своему батюшке. Она взошла и увидела там всех родных своих, собранных вместе. Дядюшки, тетушки, родные, двоюродные, внучатые и проч., и проч.; все они посматривали друг на друга и перешептывались. Почтенный батюшка, подобно Иакову, сидел посреди сего многолюдного семейства. Подозвав поближе изумленную Лизу, изъяснил он в коротких словах причину сего чрезвычайного собрания.

— Дочь моя,— сказал он,— тебе известно, как расстроено наше состояние; ты можешь своим послушанием вывести нас из критического положения, в коем мы находимся: почтенный друг наш, г-н Славолюбский, берется выплатить долги всей нашей фамилии и требует в замену сего руки твоей. Я хочу знать, согласна ли ты выполнить нашу волю.

Тут поднял он величественным образом свои взоры и устремил их на трепещущую Лизу.

Она молчала.

— Отвечай, дочь моя, согласна ли ты?

— Батюшка! — сказала тихим голосом бедная девушка,— он так стар!

— Три тысячи душ! — ворчал двоюродный братец.

— Так дурен!..

— Триста тысяч наличными деньгами,— пищала толстая тетушка в пятом колене.

— Я никогда не буду любить г-на Славолюбского.

— Дурочка! — шептала ей мать,— да кто и требует этого; тебе говорят, чтоб ты только вышла за него замуж.

— Я умру, если вы принудите меня это сделать.

— Пустое, голубушка! — сказала внучатая сестрица, девушка лет под сорок,— от этого не умирают.

— К чему все эти отговорки,— продолжал батюшка,— говори прямо: хочешь ли за него выйти или нет?

— Нет!

Тут маменька закричала; папенька топнул ногою, дядюшки и тетушки, вся внучатая и правнучатая беседа зашумела, как туча шмелей, бедная Лиза плакала, плакала и, наконец, обтерши слезы белым платочком и бросив горестный взор в ту сторону, где жил Эраст, сказала: «да!»

На другой день Лиза имела свидание с женихом своим; выслушала длинную диссертацию о способе разводить с удобностию *рогатый скот*. На третий — г-н Славолюбский нарядился в свой праздничный кафтан, а вечером называл уже Лизу своей супругою. На четвертый, при полном собрании дядюшек и тетушек, сказал своему тестю, что чувствует всю честь, ему сделанную, и считает себя обязанным *подумать* о приведении в порядок его дел; потом, взяв под руку плачущую Лизу, прошел сквозь длинный ряд родственников и, севши в карету, отправился в свою подмосковную.

Бедные родственники! Итак, все лестные надежды ваши кончились одним пустым обещанием. Долго не могли они

опомниться, все стояли в прежнем положении. Наконец, заговорили в одно время; зачали ругать Славолюбского.

— Я предуведомляла, что от этого осла ничего путного не будет,— кричала одна.

— Я предсказывал, что мы останемся в дураках,— ворчал другой.

— Для чего прежде свадьбы не заставить его выполнить данное обещание,— восклицала третья.

— Зачем упустили его,— пищала тетушка в пятом колене.

Батюшка заперся в свой кабинет, матушка в уборную, а жалкие родственники, с наполненными горестию сердцами и пустыми карманами, разъехались по домам.

Между тем, несмотря на тысячи проклятий, которые стремились вслед за молодым супругом, путешествие его приходило к благополучному окончанию. Уже можно было различать вдали деревню, которая готова была сделаться темницею несчастной Лизы. Она молчала, поглядывала назад, и слезы невольным образом капали на прелестную грудь ее. Она оставляла позади себя друзей своих, Эраста, всё. Славолюбский смотрел вперед и улыбался: он радовался скорому свиданию с своими холмогорскими быками и голландскими коровами. С каждым шагом вперед несчастная чувствовала прибавление своей горести, сердце ее разрывалось!

Будучи воспитана с самого младенчества в кругу родных своих, привыкши к городским веселостям, она видела перед собою пустыню, в которой, может быть, должна была навек погребсти себя, жить в деревне, жить в отдалении от друзей, родных своих, иметь каждую минуту перед глазами человека, которого ненавидела более всего на свете, который разрушил навсегда все прелестные мечты ее. Ах! такая жизнь казалась ей несноснее самой смерти! Предавшись глубокой задумчивости, вспоминая счастливые дни прежней жизни своей, милого Эраста, она позабыла на несколько минут горестное свое положение.

— Вот он! вот он! — вскричал с восхищением Славолюбский, высунувшись до половины из окошка. Лиза вздрогнула; заблуждение ее исчезло, и вместо пламенного Эраста она увидела своего уродливого супруга, который в сильных конвульсиях необычайной радости, казалось, хотел выпрыгнуть из

окошка, продолжая кричать изо всей силы: «Вот он! вот он!» Изумленная Лиза спросила с некоторым любопытством:

— Что такое?

— Скотный двор! Я вижу его отсюда.

Лиза, несмотря на печаль свою, улыбнулась.

— Так, это он! — продолжал Славолюбский, — наконец я опять вас увижу, любезные мои, увижу и долго уже, долго не расстанусь с вами!

Глубокий вздох вырвался из груди несчастной красавицы: она слышала приговор свой!

Супруги подъехали к околице, и пронзительный колокольный звон раздался по воздуху. Крестьяне стояли у ворот; старики, женщины, ребятишки — каждый горел нетерпением увидеть *молодую барыню.* Впереди сей толпы стоял земский из семинаристов; с важным видом поглядывал он на шумное собрание народа; подавая им знак рукой пребывать в молчании, он готовился произнести поздравительную речь, над которою потел несколько ночей. Карета остановилась, и Славолюбский вышел вместе с унылою Лизою.

Оратор выступил два шага вперед, смиренно поклонился, надулся, правая рука отделилась, поднялась, и латинский текст вылетел из красноречивых уст его; за оным последовали полновесные периоды, в которых истощено было все красноречие сего новейшего Цицерона: метафоры лились рекою, голос его делался час от часу живее, жесты — выразительнее. Он уподоблял Лизу плодовитому дереву, которое должно принесть сладчайшие плоды, и кончил свое поздравление, пропевши хором вместе с тремя дьячками «многие лета» молодым супругам. Славолюбский, изъявив свое благоволение, сел снова в карету и отправился далее.

Теперь, да позволено мне будет, прежде чем доедут молодые до *барского двора,* сделать небольшое отступление. Каждый раз, употребляя в сем описании слово *карета,* чувствовал я, сколь много погрешал противу истины, давая сие название экипажу, в коем ехали новобрачные, и каждый раз должен был сожалеть, что мода и обычай изгнали из языка нашего много таких слов, которые в некоторых случаях бывают необходимы; например, слово *колымага* могло бы дать совершенное понятие о дорожном экипаже Славолюбского; но кто не побоялся бы на моем месте, употребляя оное, подвергнуться

колким насмешкам модных рецензентов, которые назвали бы сие коренное русское слово низким, площадным и присудили б в каком-нибудь периодическом издании к политической смерти и автора, и его сочинение.

Посреди обширного двора, заросшего полынью и репейником, обнесенного высоким забором, возвышались на кирпичном фундаменте деревянные, обитые тесом *хоромы*—наследственное здание в фамилии Славолюбских. Свинцовая рука времени привела в ничтожество большую часть тесниц на кровле сего дома; искусная рука Антипыча, приказчика Славолюбского, заменила их соломою. *Еруслан Лазарич* и храбрый *Бова Королевич,* растерзанные без всякого милосердия, были прилеплены к окнам на место разбитых стекол; сзади к дому примыкала густая дубовая роща; спереди, противу ворот, стоял огромный скотный двор—средоточие всех радостей и наслаждений г-на Славолюбского.

На тяжких вереях ворота заскрыпели,
Бич хлопнул, и—

новобрачные вышли из кареты. На крыльце, посреди кучи слуг, стоял с толстым брюхом и подобострастною миною г-н управитель.

— Честь имеем поздравить!—сказал он входящей на крыльцо новобрачной чете.

— Поздравить честь имеем!—подхватила хором вся дворовая сволочь.

— Спасибо, ребята, спасибо! Что, Антипыч, каково на скотном дворе?

— Все, сударь, в надлежащей исправности.

— Белый холмогорский бык? Черная голландская корова?..

— Вчерась, сударь, изволила отелиться.

— Душенька,—сказал Славолюбский, оборотясь к своей жене,—ступай в свою комнату, а я забегу взглянуть на своих коровок.

Лиза, провожаемая кучею дворовых девок, кои осматривали попеременно с ног до головы то молодую барыню, то служанку ее Анюту, прошла чрез несколько комнат, на голых стенах которых видны были остатки древних обой. Вошедши в свою спальню, выслала она всех, выключая Анюты, и предалась на свободе своей горести.

Ах! какая женщина, привыкшая с детства к блестящему обществу, не пришла бы в отчаяние, будучи на ее месте!

Глава II

— Послушай, Антипыч! Я намерен с тобою посоветоваться,— сказал Славолюбский, спустя три дня после своего приезда,— завтрешний день хочу я дать свадебный обед; надобно позвать гостей и ближних моих соседей.

— Слушаю, сударь!

— Как бы, Антипыч, придумать нам подешевле отпраздновать; все эти праздники стоят дорого, а проку-то от них немного.

— Конечно, сударь.

— Однако ж нам не надобно себя и лицом в грязь ударить.

— Совершенно правда, сударь!

— Во-первых, желал бы я улиминовать хорошенько дом; да плошки -то нынче не путем стали дороги, того и гляди, что рублей пять на эту дрянь выйдет.

— Позвольте, сударь, я думаю, что без плошек обойтиться можно: я отдам приказ крестьянам, чтоб они снесли на барский двор все старые лагуны; как мы их запалим, что твои плошки! Любо-дорого посмотреть будет!

— И то дело! Ай да Антипыч! Ну, право, ты старик умный! Нам надобно также достать какую-нибудь музыку. Как ты думаешь, Антипыч?

— В городе, сударь, есть два скрыпача да гуслист; дать им копеек пятьдесят да по рюмке водки, так они вас целые сутки тешить будут.

— И это хорошо. Теперь надо подумать об обеде: дичи-то настреляно у нас довольно; да этого все мало будет. Ну, ин так и быть! Пускай же себе не говорят, что Славолюбский угощать не умеет. Черный-то бык лет двадцати, он что-то больно стал плох: не пьет, не ест, того и гляди, что сдохнет. Антипыч, зарежем его!

— Зарежемте, сударь!

— Вели разлить по бутылкам полведра прошлогодней наливки да вынуть из погреба две бутылки французского пить здоровье; а о десерте и говорить нечего: моченых яблоков хоть не ешь.

— Да и сушеных груш у нас довольно.

— Хорошо, это все пойдет в дело. Теперь, где бы нам расположить обеденный стол: в зале у нас вчерась обвалился потолок: поправить к завтрему не успеют, а другие комнаты больно тесны.

— Не прикажете ли, сударь, опростать каретный сарай?

— Нет, я придумал лучше: вели сделать на скорую руку лубочную галерею, внутри можно ее украсить зеленью и цветами, а пол усыпать песком.

— Очень хорошо, сударь! Сейчас же пошлю накосить воза два травы! Извольте положиться на меня, все будет сделано.

— Теперь ступай, Антипыч, да мимоходом скажи старосте, чтоб он отпустил полгарнца пшеничной муки дворовым людям: они должны завтра напудриться.

Что делала бедная Лиза в то время, когда супруг ее приготовлялся с такою пышностию торжествовать свою свадьбу? Она сидела в своей комнате, говорила с Анютою об Эрасте, плакала, гуляла по роще и перебирала листы в одном томе экономического журнала, который нашла у себя на окошке.

— Ну, душенька,— сказал Славолюбский, входя к ней в комнату,— будь повеселее: завтре у нас будут гости; ты познакомишься с городничихой — препочтенная дама! Во всем околотке она одна может похвастаться такими коровами, какие у меня. Да кстати, ты еще не была у меня на скотном дворе? Право, милая, есть что посмотреть!

— Верю, сударь, но я еще прежде нашей свадьбы говорила вам, что не охотница до этого.

— Полюбишь, милая, полюбишь — как поживешь здесь годков десять...

— Ах, сударь! Неужели мы всегда будем здесь жить?

— Я иногда буду по делам ездить в Москву, а ты, душенька, станешь оставаться дома и хозяйничать; ведь надобно же тебе приучаться.

«О, Лиза, Лиза, для чего ты сказала «да»? Для чего не перенесла равнодушно упреки своих дядюшек и тетушек? Для чего пожертвовала ты собою?» — так думала бедная Славолюбская, оставшись одна, и — о вы, строгие моралисты, непреклонные к слабостям других, снисходительные к собственным вашим порокам, осмельтесь осудить ее!

Весь день был употреблен на приготовление к торжеству; умирающий бык кончил жизнь свою от руки жестокого повара; скрыпачи и гуслист настраивали в застольной свои инструменты; лагуны расставлены по местам, и, прежде чем солнце скрылось за густую дубовую рощу, лубочное здание было окончено. Антипыч превосходил самого себя! Ничто не укрывалось от прозорливых его взоров: мимоходом заметил он в одном углу двора старую заржавленную чугунную пушку, которая около двадцати лет лежала на одном месте и была некогда в большом употреблении у бабушки г-на Славолюбского, великой охотницы до пальбы. Читатели, я думаю, заме-

тили уже, что Антипыч был одарен от природы изобретательным и скорым на выдумки воображением. Чугунная пушка возродила в нем желание удивить приятною нечаянностию своего барина; за желанием следовало исполнение — и грозное орудие лежало уже позади лубочного здания на двух чурбанах, кои наилучшим образом заменяли недостаток лафета; большая куча тростника, оставшегося от кровли, скрывала ее от любопытных взоров.

— Кум,— сказал Антипыч красноречивому земскому,— я думаю, ты не оставишь в завтрешний высокоторжественный день произнести приличное слово.

— Всеконечно, любезный куманек!

— Если так, то прошу тебя заключить оное многолетием, потому что вместе с оным намерен я произвести пушечную пальбу.

— Изрядно, куманек! Но нижайше прошу взять в рассуждение, что оной пальбе следует произойти неукоснительно при конце моей рацеи, дабы не прервать меня посреди одного из периодов.

— Не беспокойся, все будет сделано как следует.

Вместе с наступлением ночи кончились все приготовления. Славолюбский, ложась спать, восхищался, воображая, сколько шуму наделает в околотке роскошный пир, им приготовленный; более всего нравилась ему безубыточная выдумка освещения. Ах! если б он предчувствовал все бедствия, которые произойдут от проклятых лагунов! Если б знал, каких зол будет причиною сия пагубная иллюминация!

Солнце едва еще стало показываться на горизонте, как Антипыч явился с кучею крестьянок, обремененных цветами и различною зеленью: он приступил немедленно к украшению внутренности вновь сооруженного здания. Красноглаголевый земский изливал уже в последнем периоде своей поздравительной речи все красноречие, почерпнутое им в семинарии; крестьяне торопились на работу, чтобы успеть возвратиться заранее домой и поглядеть на ужасное истребление лагунов своих; Славолюбский примеривал свой праздничный кафтан, в то время когда люди его посыпали головы свои пшеничной мукою! Горе им! если б господин их мог читать в книге судеб; если б какая-нибудь сибилла предрекла ему следствия злополучного праздника, он велел бы тогда, вместо муки, пеплом посыпать им главы свои.

Не знаю, тайное ли какое предчувствие или что-нибудь другое было тому причиною, что Лиза, которая, несмотря на предуведомление своего супруга, не намерена была для го-

стей наряжаться, приказала поутру Анюте вынуть лучшее свое платье и просидела за туалетом гораздо долее обыкновенного.

Анюта прикалывала последний цветок к головному убору своей барыни, как г-н Славолюбский взошел в ее комнату.

— Душенька,— сказал он,— одевайся проворнее, гости уже съехались, и г-жа городничиха с нетерпением тебя ожидает.

Лиза взглянула в окошко; ободранные коляски, плачевные рыдваны, бесконечные линеи и коротенькие линеечки, перемешанные различным образом, стояли в приятном беспорядке посреди двора; подобно колоссу, возвышался между оных огромный фаэтон почтенной городничихи, предмет зависти и удивления всех ее знакомых. Лиза окончила свой туалет и вошла вместе с супругом своим в гостиную.

Где ты, неподражаемый Гогард[1]! Оставь на минуту своих флегматических соотечественников; переселись в мою веселую горенку; возьми свою чудотворную кисть и изобрази на холсте, тобою одушевляемом, то, чего не может описать перо мое: представь со всем причетом г-на городничего и высокоименитую супругу его; сделай легкий эскиз обществу, посреди которого должна жить воспитанная в самом блестящем кругу несчастная супруга Славолюбского; изобрази ее входящую в приемную комнату; представь весь церемониал уездных рекомендаций; как карикатура за карикатурой подходят с различными ужимками, минами и телодвижениями к смущенной Лизе; как старые дамы в кисейных накрахмаленных чепцах душат ее своими бесконечными поздравлениями; как молодые женщины, разодетые не хуже московских горничных девушек, осыпая ее поцелуями, пересчитывают все складки ее платья и замечают каждый бантик в головном уборе; как почтенные чиновники уездного и земского судов, старые помещики и длинные недоросли шаркают ногами и истощают все красноречие в своих витиеватых рекомендациях; изобрази все это, неподражаемый Гогард, и поставь смело свою картину наряду с лучшими произведениями искусной руки твоей.

— Ну, моя радость,— сказала, когда все уселись по местам, г-жа городничиха, толстая, короткая, краснощекая, лет под сорок дама,— какова вам кажется наша сторона?

---

[1] Английский живописец, известный своими карикатурами (*Прим. М. Н. Загоскина).*

Здесь и далее все подстрочные примечания, за исключением перевода иноязычных слов, принадлежат автору.

— Я так недавно еще здесь, сударыня, что ничего не могу вам отвечать на это.

— Сначала, миленькая, вам, конечно, покажется здесь скучнее московского; но как пообживетесь, то будет весело; я сама была воспитана в губернском городе, и когда, вышедши замуж, должна была жить в уездном, то сначала очень тосковала. Не правда ли, мой друг? — продолжала она, оборотясь к своему мужу, худенькому и малорослому старичку.

— Правда, мой ангел! — отвечал он, — первые дни ты была настоящим дьяволом: сердилась на меня, дралась с своими девками; одним словом, все было не по тебе, все казалось противным; если бы не посетила нас на третий день любезная наша Анна Степановна, то мне осталось бы, завязавши глаза, бежать прямо в воду. Уж истинно по милости ее гляжу я теперь на свет божий!

— Какой затейник, — сказала исправничиха, к которой относились последние слова, — вечно с своими шуточками!

Вскоре разговор обратился на другие предметы. Один из соседей Славолюбского, копия Скотинина, известного действующего лица в прекрасной комедии «Недоросль», взошел с ним в жестокий спор; он доказывал, что природа ни в чем не показала столь много своего могущества, что творческая рука ее не создала ничего совершеннее большой жирной свиньи и что рогатый скот целого света не стоит одного настоящего породистого цуцкого борова. Славолюбский с жаром опровергал его мнение; городничиха взяла сторону хозяина; другие присоединились к его сопернику, и спор сделался общим.

Жалкое сие прение было прервано приходом человека, который прокричал громогласно, что приехал Мирославский, один из соседей Славолюбского. Дверь отворилась, и он взошел с незнакомым молодым человеком.

— Рекомендую вам моего приятеля! — сказал Мирославский хозяину. Лиза подняла глаза, которые до того были потуплены, и кто изъяснит ее удивление: незнакомый молодой человек был Эраст!

Ах! как запылали лилейные щеки нашей красавицы, когда Мирославский, подведя к ней Эраста, сказал:

— Кажется, не нужно рекомендовать вам моего приятеля: если не ошибаюсь, вы с ним давно уже знакомы.

Бедная Лиза как будто онемела: она не могла выговорить ни одного слова.

— Да, сударь, — сказал Эраст, приметя смущение Лизы, — я имел счастие пользоваться знакомством почтенных ее родителей.

Что может укрыться от проницательных взоров ревнивого мужа? Славолюбский приметил смущение Лизы, ее пылающие щеки и какой-то необыкновенный взгляд, брошенный украдкою на Эраста. Этого уже было довольно, чтоб привести его в ужасное беспокойство: широкий лоб его покрылся морщинами; он подошел к Эрасту, сказал ему с холодностию несколько обыкновенных вежливостей и, отведя на другой конец горницы, просил садиться. Влюбленный человек не уступит в догадливости ревнивому мужу. Эраст, заметя, что его подозревают, стал разговаривать с своими соседями, не глядел на Лизу и, казалось, совсем позабыл, что она в одной с ним горнице. Славолюбский успокоился, зачал думать, что ошибся в своем подозрении, что необычайная краска в лице его супруги произошла от одной застенчивости, и возобновил с прежним жаром спор, прерванный приездом Мирославского. Натурально, Эраст взял его сторону.

— Позвольте,— сказал он упорному защитнику свиней,— сделать вам небольшое замечание: вы, унижая любимых скотов г-на Славолюбского, позабыли, что сам Юпитер превращался для похищения Европы в сие благородное животное; что древние египтяне имели всегда в числе богов своих одного белого быка и что свиньи никогда и ни в какой части света не пользовались такою честию.

Все упорство г-на Скотинина не могло устоять против сего исторического довода; он не мог опровергнуть оного по весьма натуральной причине: Эрастовы слова казались ему китайскою азбукою. Удивляясь обширным познаниям и глубокой его премудрости, он замолчал и уступил ему место сражения.

— Браво!— вскричал Славолюбский, обнимая с восхищением победителя.— Нельзя лучше доказать превосходства моих любимых животных перед всеми прочими; я вижу, вы знаток и охотник. Смею вас уверить, что если побываете на моем скотном дворе, то ваша к ним привязанность чрез сие нимало не уменьшится.

— Сердечно, сударь, радуюсь, что наши вкусы сходны меж собою.

Между тем все гости поднялись. Хозяин повел городничиху; супруг ее хотел было сделать эту честь Лизе, но Эраст был проворнее: он подал ей руку и пошел вместе с прочими гостьми.

Быть долгое время в разлуке с любимцем души своей, думать, что разлука сия должна быть вечною,— и вдруг увидеть его перед собою, слышать приятный голос своего возлюбленного, прикасаться своей рукой к его руке! О, эти чувства!.. Но

извините, я не знаю, как описать их! Прекрасная читательница! если вы никогда не любили, то спросите ваших милых подруг, и, верно, многие из них будут вам описывать то непостижимое и приятное чувство, которое наполняет нашу душу, когда мы находимся в первый раз после долгой разлуки вместе с милым или милою своей; будут вам толковать, изъяснять, доказывать, и вы не поймете их до тех пор, пока сами в свою очередь не узнаете по опыту того, чего никакая теория совершенно изъяснить и доказать не может.

— Зачем вы сюда приехали? — шепнула Лиза голосом, который имел вид упрека, и с нежным взором, который говорил совсем другое. О, женщины, женщины! вам лишь возможно в одно и то же время приводить нас в отчаяние и подавать лестную надежду; казаться нашими невольницами и деспотически повелевать нами; одним словом, делать из нас все то, что вам угодно.

— Ах, сударыня! — отвечал Эраст, — я решился на все, решился видеть торжество моего соперника; хотел узнать, заслуживает ли он свое благополучие, найти вас счастливою и умереть, утешаясь мыслию, что я один несчастлив!

Вместо ответа Лиза взглянула на него так жалко, так жалко, что сердце бедного Эраста облилось кровию. С горестию пожал он трепещущую руку несчастной красавицы и замолчал.

Все многочисленное общество вступило в лубочную галерею. Дамы ахнули от удивления! Внутренность ее была убрана гирляндами из цветов, пол усыпан песком и зеленью: одним словом, во всем виден был тонкий вкус Антипыча и расточительный нрав его барина. Посреди тростникового потолка на тоненькой бечевочке висела люстра; на концах положенных крест-накрест двух палок прилеплены были четыре восковые свечки; вся люстра была убрана зеленью и представляла вместе с прочими украшениями галереи что-то романическое и приятное для глаз всего восхищенного собрания; но когда взоры их обратились в передний угол, то всеобщее «браво!» как гром раздалось по воздуху. Гирлянды из полевых цветов, изгибаясь различным образом, образовали из себя вензелевое имя хозяина и его супруги; над ними из огромных подсолнечников была представлена корона, а внизу — рога несчастного двадцатилетнего быка, обвитые гирляндами и туго набитые цветами, в совершенстве представляли рога изобилия и, казалось, предвещали счастливую и безмятежную жизнь молодым супругам! Прошу не погневаться! Антипыч не хуже всякого знал мифологию.

Между восхищенными гостьми нашелся, однако ж, один записной уездный насмешник (где нет этих господ!), который шептал своим соседям, что эти рога ничего путного не предвещают, но никто не хотел слушать его замечаний. Скрыпачи-виртуозы и гуслист затянули «При долинушке стояла...», куча лакеев в разнокалиберных ливреях, шитых при Петре Первом, заняли свои посты позади стульев, и все гости расселись по старшинству чинов, разумеется, супруга городничего заняла первое место.

Случай ли был тому причиною или что-нибудь другое,— Эрастов стул находился прямо против того места, где сидела Лиза. Он не спускал с нее глаз; а как, по весьма натуральной причине, тот, кто глядит не сводя глаз в одно место, не может видеть того, что делается в другом, Эраст не замечал подозрительных взоров Славолюбского. Лиза сидела потупивши глаза и, казалось, смотрела на тарелку; но если бы ее спросили в ту минуту, какое перед ней стоит кушанье, то она не знала бы, что отвечать; изредка глаза ее встречались с пламенными взорами Эраста; бедная Лиза приходила в такое смущение, что брала вместо ножа вилку и хотела ложкою разрезывать жаркое: все это ужасным образом заставляло хмуриться ревнивого мужа. Но беспрерывная их рассеянность была замечена не одним подозрительным супругом; услуга Славолюбского, для которой в круглом году не было ни одного мясоеда, воспользовалась беспечностию своей барыни и незнакомого гостя: тарелки с кушаньем исчезали, а на место их появлялись пустые; они не обращали на сие никакого внимания; это было также замечено хозяином.

«Кто во время стола не спускает с чего-нибудь своих глаз и позабывает есть, тому сей предмет милее еды; кто любит кого более желудка, тот очень любит; следственно, Эраст очень любит мою жену, а жена моя очень любит Эраста». Так философствовал Славолюбский и час от часу хмурился больше.

На дворе смерклось, вокруг дома и праздничной галереи запылали расставленные в симметрическом порядке лагуны — стол приходил к концу; уже зачинали подавать моченые яблоки, уже две бутылки старого французского были раскупорены,— как вдруг, толкая направо и налево, пробивается сквозь толпу лакеев, в праздничном кафтане, с тетрадию в руке, г-н земский; все собрание обратило на него свои взоры; он вышел вперед и, сделавши низкий поклон, зачал:

— Высокоименитое собрание и ты, о преблаженная чета!..

Вдруг раздался громкий выстрел; дамы ахнули, мужчины выскочили с своих мест; Антипыч остолбенел; прерванный

оратор бросал на него взоры, в коих изображалось ужасное негодование.

— Что это значит? — спросил Славолюбский.

— Пожар, пожар! — раздалось снаружи, — пожар, пожар! — закричали внутри, и вмиг быстрый пламень обхватил тростниковую кровлю лубочного здания.

Ах! как зазвенели стаканы и графины, как загремел бедный фаянсовый сервиз г-на Славолюбского, когда огромный стол со всем своим прибором повалился на пол! Вся субординация была потеряна: люди давили своих господ, дамы кричали как сумасшедшие, мужья забывали своих жен, жены не думали о своих нарядах; большая часть гостей валялись посреди остатков обеда, покрытые упадшим столом, который не позволял им приподняться. Злое несчастие, которое всегда преследует людей, заставило миниатюрную г-жу исправничиху попасть под увесистую супругу г-на городничего; бедная думала, что целая свинцовая гора на нее обрушилась, она не могла кричать, не могла переводить духа; опасность умудряет всякого: она вцепилась зубами в тот предмет, который отнимал у нее дыхание. Городничиха, чувствуя боль и воображая, что начинает уже понемногу гореть, кричит ужасным голосом и употребляет то же средство, чтоб высвободиться из-под двух толстых помещиц и одного заседателя. Пронзительный крик, ужасный вой раздаются повсюду; с треском обрушивается тростниковая кровля, и все собрание исчезает посреди пылающих ее остатков.

Что делал Эраст в минуту сей ужасной суматохи? Он искал глазами Лизы — ее не было. Эраст бросился вместе с прочими к дверям и, продравшись кой-как сквозь толпу, очутился в роще. Первое движение его было искать Лизу; вдали между кустов мелькало белое платье, он побежал туда: это была она.

— Ах, Эраст! вы спаслись. Боже! Я вся дрожу от страха.

— Не бойтесь, сударыня, пожар не будет иметь дальных следствий. Ах! Как много я ему обязан! Я могу говорить с вами свободно, могу сказать вам...

— Что вы от меня хотите, сударь! Мы должны забыть друг друга.

— Лиза, прелестная Лиза!

— Она должна быть для вас госпожой Славолюбской.

— Нет, нет! вы всегда останетесь для меня Лизою! Я не хочу думать о сем ненавистном браке. Вы та же Лиза, та самая, которую я не переставал любить пламенно; которая говорила мне некогда: «Эраст, я люблю тебя, люблю более самой жизни!»

— Перестаньте, сударь, не забывайте, что я принадлежу другому; вы должны забыть меня! Ах, Эраст! я не существую для вас более!

— Мне забыть вас? Ах! я живу одним воспоминанием тех блаженных минут, когда я ласкал себя надеждою быть супругом вашим, одною мыслию, что Лиза меня любит, и вы хотите, чтоб я забыл вас. Нет, нет! это невозможно.

Тут Эраст схватил ее руку, осыпал пламенными поцелуями. Смущенная, трепещущая Лиза едва имела довольно сил, чтоб отнять ее; громко говорила за Эраста любовь в сердце ее, но ангел непорочности бодрствовал над нею; потупив глаза, слушала она своего любовника; уже не отнимала она своей руки, которую Эраст прижимал к груди своей... Но возвратимся к нашим несчастным гостям, которые валяются в различных положениях, покрытые полуобгоревшим тростником и остатками великолепного пиршества.

Нет! они уже не лежат, не валяются кучами на полу, не кричат, не давят друг друга; сырые лубки не стали гореть, и пожар кончился вместе с падением кровли; гости выползают понемногу из-под стола, изъясняются, говорят, извиняются и находят, что сие ужасное приключение не имеет весьма важных следствий. Два или три недоросля опалили себе волосы; исправник разбил себе до крови нос; г-н Скотинин был облит с ног до головы красным соусом и в сем виде чрезвычайно походил на своих любимых животных; хозяин, о! хозяин потерпел всех более: весь пол устлан был остатками разбитого сервиза, и целая фалда праздничного его кафтана во время суматохи была оторвана. Неподвижными глазами смотрел он на сию картину разрушения, как вдруг одна мысль быстрее молнии заставила его окинуть глазами все собрание — Лизы нет. Он ищет глазами Эраста — его также нет. Как сумасшедший, бросается он вон из галереи и бежит в рощу.

Покуда он осматривает каждый кусточек, я расскажу в двух словах причину всей суматохи. Прошу припомнить, что пушка, стоявшая позади галереи, была маскирована кучей тростника, оставшегося от кровли; один из горящих лагунов, быв нечаянно опрокинут, покатился прямо в кучу; сухой тростник вспыхнул, пламень поднялся до кровли, она запылала — несколько искр попали в затравку чугунной пушки, и кутерьма началась.

— Милый Эраст! — шептал кто-то позади густого орехового куста. Славолюбский кидается туда без памяти, и, о ужас! Эраст стоит на коленях перед его супругою, покрывая горячими поцелуями ее руку.

Если б тысяча громов, соединясь вместе упали к ногам Лизы, то и тогда б она менее испугалась, чем нечаянного появления своего супруга, который, подобно беснующемуся, скрипел зубами и не мог от бешенства произнести ни одного слова.

— Что вы здесь делаете, сударыня! — закричал он наконец глухим, прерывающимся голосом.

— Ах, сударь,— сказала бедная, трепещущая Лиза,— вы можете иметь ужасное подозрение; но уверяю вас...

— Молчи, негодная!

— Успокойтесь, милостивый государь! — сказал Эраст оправясь от первого замешательства,— клянусь вам честию, что подозрение ваше несправедливо,— мы разговаривали...

— О! я вижу, сударь,— отвечал с адскою улыбкою Славолюбский,— вы разговаривали, и, кажется, с большим жаром. Но прошу вас сию же минуту отсюда убираться и не приезжать более разговаривать с моей женою. Что вы остановились, сударыня,— продолжал он, дернув за руку полумертвую Лизу,— не хотите ли броситься на шею к вашему *милому Эрасту* и при мне с ним распрощаться?

Никто из действующих лиц сей сцены не приметил толпу зрителей, между коих находилась и супруга г-на городничего, она стояла ближе всех и не проронила ни одного слова.

Лиза ушла в свою спальную; гости стали разъезжаться. Мирославский увез насильно Эраста, который хотел непременно изъясниться с хозяином, а Славолюбский заперся в свой кабинет, осыпая проклятиями Эраста и свою неверную супругу

Что вы думаете о г-же Славолюбской? — сказала на другой день супруга городничего почтенной исправничихе.

— Она совсем без воспитания; не спросила даже, по чему куплена кисея на моем платье!

— А последняя сцена, которой мы были свидетелями? Не правда ли, Славолюбский дурно сделал, что женился на этой ветренице?

— Ништо ему, старому скряге; мало ли здесь невест! Нет! Дай ему московскую модницу! Пускай же теперь и сгуливает по делам вору и мука!

А что вы скажете об его обеде, не правда ли, ничто не может быть хуже?

Я с вами согласна стол был предурной, услуга скверная наливка гадкая; одним словом, все никуда не годилось.

То же самое или почти то же говорили в каждом доме ругали мужа, поносили жену, осмеивали угощение, и если б он их опять позвал, то все бы без исключения опять к нему и поехали.

Глава III

— Ну, сударь, и вы скажете теперь, что книга ваша имеет какую-нибудь моральную цель?

— Да, сударыня!

— Перестаньте, сударь! Чем начинается ваше сочинение? Неверностию молодой женщины, которая не успела еще выйти замуж, а сделала уже своего мужа...

— Но кто сказал вам, прекрасная читательница, что Лиза изменила своему супругу? Я уверен, подозрения ревнивого мужа несправедливы; но если б оно было истинно, то согласитесь сами, что начало моей книги содержит прекрасный урок для престарелых людей, которые, подобно Славолюбскому, имели дурачество жениться на восемнадцатилетней девушке и сумасшествие думать, что, закопав ее в деревне и лиша всех удовольствий, свойственных ее летам, могут они предохранить от всякого посрамления супружеское чело свое.

Ну, слава богу, я кой-как отделался от моей немилосердной рецензентки. Но что я слышу, какое множество различных голосов! Бедная книга, какая ужасная буря сбирается над тобою!.. *«Вывесть на сцену деревенского приказчика, какого-то гуслиста, кучу уродов, глупей один другого; писать целые страницы о коровах и свиньях; входить в такие мелкие, низкие подробности. Фи! как это все гадко, bon Dieu*[1]*! И эта книга называется романом! Тут нет ни на волос вкусу, ни ума! Эта книга ни на что не годится, точно, ни на что!»*

Милостивые государи и милостивые государыни, позвольте бедному сочинителю промолвить хотя одно слово в свое оправдание и после говорите все, что вам угодно. Начиная сию книгу, я намерен был описывать свет и людей точно таковыми, каковые они есть; я не хотел, подобно многим романистам, выводить на сцену вместо обыкновенных людей мечтательные существа, имеющие бытие свое в одном воображении автора; не хотел описывать характеры, которых вы не встретите в нашем отечестве. Я желал, начиная мою книгу, взглянуть мимоходом, вместе с читателем, на образ жизни богатого и скупого помещика, которых, скажу вам потихоньку, есть еще много, очень много на нашей матушке святой Руси. Смею вас уверить, я рисовал с натуры и могу скорее назваться живописцем, чем автором; так виноват ли я, что круг людей, описанный мною, составлен не из князей и графов; виноват ли я,

---

[1] боже мой (*фр.).*

что они вместо Фильда слушают какого-нибудь гуслиста, а вместо болонских собак любят жирных свиней и холмогорских быков. Впоследствии, может быть, буду иметь честь описывать и вас, милостивые государи и государыни! Если же и тогда вы станете осыпать меня насмешками и упреками, то я сравню вас с старою кокеткою, которая тем более сердится на своего живописца, чем сходнее он изображает ее на холстине. Впрочем, я объявил уже в моем предисловии, что от вас совершенно зависит, читать или разорвать на папильотки мою книгу, раскурить ею трубки или поставить на полочке в вашей библиотеке — одним словом, делать из нее все то, что вам угодно.

— Что скажешь, Антипыч? — спросил Славолюбский своего управителя, который одним утром, спустя девять месяцев после бедственного праздника, вошел к нему в комнату.

— Я, сударь, пришел вам доложить, что барыня сделалась очень нездорова.

— Пошли в город за лекарем.

— Не лучше ли, сударь, за повивальной бабкою?

Славолюбский нахмурился.

— За повивальной бабкою! — повторил он сквозь зубы. — Итак, она сбирается родить?

— Мне сейчас сказывала, сударь, об этом ее девушка.

Тут ревнивый старик вскочил, стал ходить скорыми шагами по горнице, делая такие ужасные гримасы, что у бедного управителя волосы стали дыбом.

— Антипыч! — сказал он после короткого молчания, устремя на него быстрый взор, — на кого, думаешь ты, будет походить ребенок?

Управитель молчал; он повторил свой вопрос.

— Почему, сударь, мне это знать; может быть, на барыню, может быть, на вас.

— На меня! Скажи лучше — на Эраста, старый дурак.

— Воля ваша, сударь, вы понапрасну изволите на нее грешить; вот уже девять месяцев, как она сидит в четырех стенах. Ах, сударь! пора бы вам умилостивиться. Бедная барыня, сколько ты потерпела!

— Пошел вон, старая плакса! — закричал Славолюбский сердитым голосом. — Эдаких-то дураков, как ты, — прибавил он, — молодые жены за нос и водят.

Все, что ревность имеет в себе ужасного, наполняло в сию минуту душу Славолюбского. Он представлял себе каждую минуту Эраста, стоящего на коленях пред своей женой; в ушах его раздавалось беспрестанно то, что слышал он, под-

ходя к ореховому кусту. Не знаю, имел ли он какие-нибудь особенные доказательства или была одна ревность тому причиною; он твердо был уверен, что не будет иметь никакого права называть себя отцом. Ах! как бы я желал собрать в одно место всех стариков, которые, несмотря на седые волосы, хотят быть мужьями молодых жен. Я показал бы им тогда Славолюбского; пускай посмотрели бы на его лицо, обезображенное ревностию, на его помутившиеся от бешенства глаза, и если б они и после этого не унялись отбивать невест у своих правнуков, то... то я посоветовал бы им пустить себе кровь и лечиться от горячки!

После праздника, который кончился столь горестным образом, Славолюбский походил более на жестокого тирана, чем на строгого и подозрительного мужа. Бедная Лиза почти никогда не выходила из своей комнаты; изредка позволялось ей прогуливаться по роще вместе с своим мучителем; но и тут всякий раз, когда они подходили к известному ореховому кусту, он осыпал ее язвительными упреками, не слушая никогда ее оправданий. В продолжение сего ужасного заключения получила она два письма: одно — от родственников, чрез господина Славолюбского, в котором извещали ее о смерти родителя и пострижении ее матери; другое от Эраста, отданное ей потихоньку Анютою. Эраст уведомлял в оном о своей женитьбе и оканчивал письмо изъявлением своего глубочайшего почтения, совершенной преданности и всего того, в чем обыкновенно уверяют в письмах и чему также обыкновенно никогда не верят.

Само по себе разумеется, что оба сии письма не принесли Лизе большого утешения. Она осталась теперь совершенно сиротою. Могла ли Лиза считать за что-нибудь толпу бездушных родственников, которые, если бы могли, продали бы ее опять за несколько тысяч рублей. Бывало, случалось ей строить воздушные замки, бывало, случалось забывать на несколько минут горестное свое положение; часто воображала она себя свободною, супругою Эраста! и приятное заблуждение исчезало не прежде, как с появлением ее мучителя. Теперь, ах! теперь она не могла уже иметь и сего утешения! Что значило письмо Эраста? К чему было уведомлять о своей женитьбе? И притом с такою холодностию, с такими беспрестанными уверениями в своем *почтении, уважении, преданности.* Частое повторение сих слов походило более на насмешку, чем на обыкновенную вежливость. Что почувствовала бедная Лиза, когда, читая и перечитывая раз до двадцати письмо Эрастово, она почти уверилась в своих догадках? Да и что могла она ду-

мать? Какая другая причина, кроме желания показать ей явно, что он никогда ничего к ней не чувствовал, заставила Эраста уведомить ее с такою холодностию и в таких двусмысленных выражениях о своей женитьбе, но в то же время, вспоминая прежнее свое поведение, не могла постигнуть причины, побудившей Эраста сделать сей поступок. «Свое поведение!» Так точно, любезный читатель! пора уже вывести тебя из заблуждения, в котором ты, может быть, находишься вместе с г-ном Славолюбским, и сказать утвердительно, что Лиза была невинна. В то время, когда супруг ее бегал, как бешеный, по роще, она упрашивала Эраста никогда более к ним не ездить и не напоминать о своей страсти, которая казалась уже преступною в глазах супруги Славолюбского. Эраст обещался исполнить ее приказание, и ласковое слово, услышанное ревнивым мужем, было единственною наградою за его послушание.

Отцы и матери! и ты, о жадная толпа родственников не по душе, а по одному названию, пусть пример несчастной Лизы послужит для вас уроком! Не продавайте за деньги дочерей и родственниц ваших; не заставляйте их обманывать самого бога и говорить пред лицом его одно, а чувствовать в сердце своем другое. Взгляните на бедную Лизу, готовую сделаться матерью; взгляните на уродливого ее супруга, вменяющего ей в преступление то самое название, которое долженствовало бы сделать для него Лизу еще любезнее, и не принуждайте более детей ваших или выходите сами за женихов, которые вам нравятся.

— Кто тут? — вскричал Славолюбский, вскоча с постели.

— Я, сударь! — отвечал тонкий женский голос.

— А, это ты, Аннушка! Зачем это вздумала в полночь ко мне пожаловать?

— Барыня изволила, сударь, сейчас родить.

— Надобно было меня будить для этого вздора.

Славолюбский лег спокойно опять на постелю и закутался в одеяло. Анюта подошла к дверям и, постояв несколько минут, опять воротилась.

— Послушайте, сударь...

— Что тебе надобно, безотвязное животное?

— Младенец очень слаб: его сейчас крестить будут; какое прикажете дать ему имя?

— Нужно мне очень назначать имена чужим ребятам, по мне, хоть не давайте ему никакого!

— Но, сударь...

— Убирайся к черту!

Анюта, несмотря на сие вежливое приказание, постояла еще несколько минут у дверей и, наконец, видя, что упрямый старик притворился спящим, ушла опять в залу, где приготовлялись крестить младенца.

— Что изволил приказать барин? — спросила Анюту повивальная бабка.

— Ничего; вместо того, чтоб назначить имя младенцу, он отправил меня к черту.

— Что же мы будем делать? Можно бы было спросить у барыни, но она так слаба, что не в состоянии проговорить ни одного слова.

— Если так, — сказал священник, которому не нравились все эти остановки, — мы дадим ему имя в честь сегодняшнего святого.

Священник заглянул в святцы, и — подивитесь странному стечению обстоятельств — ребенок был назван Эрастом!

Кто может описать бешенство Славолюбского, когда на другой день узнал он, какое младенец получил имя? Он разругал Антипыча, перебил почти всех людей и, несмотря на свою скупость, коверкал и ломал все, что ни попадалось ему в руки. Тщетно доказывали ему, что Лиза нимало в сем не участвовала, что лишь один слепой случай был всему причиною; ничто не могло уверить ревнивого старика, что младенец окрещен под сим именем не по приказанию самой Лизы. Задыхаясь от злости, осыпая проклятиями свою супругу, он пошел туда, где обыкновенно находил утешение в своих печалях; где часто, несмотря на ненависть свою к Эрасту, вспоминал красноречивые его доказательства, показавшиеся столь убедительными г-ну Скотинину. Читатель, думаю, отгадал уже, что дело идет о скотном дворе.

Остановись, несчастный! Куда ведет тебя отчаяние? Ты не знаешь еще всех твоих бедствий; не знаешь, что жилище твоих радостей, твоих сердечных наслаждений превратилось в мрачную юдоль горести! Лишь только Славолюбский стал подходить к полузатворенным воротам скотного двора, как вдруг горестные вопли поразили его слух. Он удвоил шаги свои; запыхавшись, вбежал в ворота, взглянул, и — о ужас! посреди двора лежал любимый его бык; он испускал последнее дыхание в ту самую минуту, как господин его, гонимый страшным предчувствием, перешагнул через подворотню. Это уже было слишком много для Славолюбского. Он задрожал, поднял руку, чтоб поразить несчастного скотника, который, проливая ручьи слез, вопил голосом над телом покойника; но вдруг глаза его помутились, и он упал без чувств подле своего

любимца. Два дня не приходил Славолюбский в память, бредил беспрестанно то об Эрасте, то о любимом быке своем, изредка о Лизе. На третий, действительно ли оттого, что не мог выдержать столько ударов в одно время или уже так было написано в книге судеб, отправился туда, куда и я, и ты, любезный читатель, когда-нибудь рано или поздно отправимся также в свою очередь.

Мы попросим наших читателей вообразить, что прошло уже около шести месяцев от кончины Славолюбского до одного утра, в которое Лиза, сделавшись опекуншею своего сына и полной начальницею имения покойного мужа, сидела подле окошка и перечитывала единственное письмо, которое она имела от Эраста.

Вошел человек и доложил о приезде г-на Мирославского.

— Давно уже, сударыня,— сказал он, взойдя в комнату,— намерен был я узнать о здоровье вашем; но различные дела и обстоятельства не позволяли мне выполнить моего обещания.

— Я слышала, сударь, вы все это время прожили в Москве.

— Точно так, сударыня, я был на свадьбе у одной из моих родственниц.

— Поэтому можно вас поздравить?

— И тем более, что она вышла по любви.

Лиза вздохнула.

— Если вам угодно,— продолжал Мирославский,— я расскажу историю моей родственницы; в ней есть много романического. Она была влюблена в одного молодого человека; почти в то же время сватался за нее богатый старик. Сердце моей родственницы говорило в пользу молодого человека, но батюшка и матушка не хотели никак согласиться с сердцем их дочери: она вышла за миллионщика. Ревность была из числа не последних достоинств старого мужа; он увез на край света молодую жену свою и держал ее взаперти. Между тем уведомилась она чрез письмо от прежнего своего любовника, что он женился. Вскоре за этим пришла ревнивому мужу в голову прекрасная мысль сделать супругу свою свободною: он умер! Молодая вдова приехала в Москву, нашла своего любезного также свободным и наградила его постоянство, отдавши ему свою руку. Как вы думаете, сударыня, хорошо ли поступила моя родственница?

— Мне кажется,— сказала Лиза с некоторым замешательством,— что нельзя так много выхвалять постоянство сего молодого человека; он был женат на другой.

— А если женитьба сия была не что иное, как выдумка? если он уведомлял о сем мою родственницу в самых холодных выражениях для того только, чтоб заставить скорей забыть себя? Если он старался показать себя неблагородным, вероломным, недостойным ее привязанности, одним словом, пожертвовать самим собою единственно для ее спокойствия?..

— Бога ради!— вскричала Лиза, которая во время сего разговора находилась в неописанном смущении,— истина ли то, что вы рассказываете?

— О! сударыня! если вы не верите, то пускай он сам поклянется в справедливости слов моих!

Двери с шумом растворились, и Эраст лежал уже у ног своей Лизы.

Через три месяца Эраст женился на Лизе и получил первый поцелуй накануне своей свадьбы, подле того самого орехового куста, где некогда Лиза заплатила столь дорого за свою неосторожность. Свадебный пир был немного получше, чем два года тому назад, Антипыч и семинарист не пропустили сего случая, чтоб доказать усердие свое новому барину; все действующие лица бедственного праздника, описанного во второй главе, были созваны, угощены прекрасным образом, разъехались благополучно по домам и, так же как прежде, не успокоились до тех пор, пока не отделали по-свойски молодых супругов и не оценили как следует их угощения; одним словом, все происходило надлежащим образом и кончилось как нельзя лучше. Лиза по разным причинам решилась воспитывать своего сына в деревне, которая из ужасной пустыни превратилась для нее в прелестное уединение — счастливую обитель мира и истинной любви.

ВЕЧЕР НА ХОПРЕ[1]

Вступление



ядюшка моего приятеля Заруцкого, Иван Алексеевич Асанов — дай бог ему царство небесное, — был старик предобрый. Никогда не забуду я нескольких дней, проведенных мною под конец осени, помнится в 1806 году, в его саратовской деревушке, на Хопре. Как теперь, гляжу на десятка два крестьянских изб, разбросанных по высокому берегу реки, на его огромные кирпичные палаты, построенные, на диво всему Сердобскому уезду, в два этажа, со сводами и с такими толстыми стенами, что от них, как мячик, отскочило бы сорокавосьмифунтовое ядро.

Я не был еще знаком с Иваном Алексеевичем, когда приехал по делам в Сердобск. Имея рекомендательное письмо к городничему, я остановился у него в доме и тут-то в первый раз услышал о богатом помещике, отставном секунд-майоре Асанове. Не проходило дня, чтоб в сердобском высшем обществе не толковали о его странностях и причудах. Городничий, уездный судья, стряпчий — словом, все власти и первостатейные сановники города Сердобска относились об нем с весьма дурной стороны; одни говорили, что он нелюдим и гордец, другие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что будто бы он никогда не ходил к обедне и что в его доме нет ни одного образа. Правда, капитан-исправник всегда восставал против этой клеветы, но так как он один изо всего Сердобска водил хлеб-соль с Иваном Алексеевичем, то никто и не давал веры его словам. «Воля твоя, Дмитрий Иванович, — говаривал ему часто городничий, — воля твоя, а это что-нибудь недаром: кто не хочет жить с людьми, у того совесть не чиста. Добро б он был человек скупой — так нет! Посмотри, как сорит деньгами! Когда прошлого года был пожар в слободе и открыли подписку на погоревших мещан, так он один дал больше, чем все наше дворянское сословие.

---

[1] Отрывок из манускрипта под названием: «Мое отдохновение, или Современные рассказы и были прошедших двух столетий».

Ну, рассудите милостиво, господа, что он, для экономии, что ль, живет в этой хоперской деревне, в которой, чай, нет господской запашки и двадцати десятин во всех полях? Человек он богатый: за ним в одной Пензенской губернии с лишком тысяча душ. Вот хоть его Засурская волость: есть к чему руки приложить, десятин по пятнадцати на душу,— а угодьев-то сколько: поемные луга на Суре, строевой лес, мельница о восьми поставах — подлинное золотое дно! Не хотелось жить в деревне — Пенза под боком. Конечно,— прибавлял обыкновенно городничий, поправляя с важностию свой галстух,— у нас и в Сердобске общество дворян прекрасное, но ведь Пенза — губернский город, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоит! Публика отличная, просвещенная, благородные собрания, театр, воксалы, английский клуб (говорят, однако же, что он рушился), балы,— словом, чего хочешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернатор с вице-губернатором живут всегда в ладу, сплетней никаких нет, барыни меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сунься, везде так и режут по-французски. Что и говорить — Пенза-городок Москвы уголок!»

Хотя сии блестящие похвалы губернскому городу Пензе казались мне всегда несколько преувеличенными, но, несмотря на это, я разделял сначала безусловно мнение городничего. В самом деле, что за охота богатому человеку жить затворником в бедной деревушке, верстах в тридцати от уездного города и, по крайней мере, в двадцати от самого ближайшего соседа, и жить в каком-то заколдованном доме,— так прозвала каменные палаты Ивана Алексеевича сестра городничего, девица зрелых лет, с лицом несколько уже поблекшим, но с юной душою и сердцем отменно романтическим: одна она выписывала из Москвы все романы знаменитой Радклиф и первая известила сердобских жителей о существовании госпожи Жанлис.

— Вы не можете себе представить,— говорила она мне однажды,— какой ужас наводит на всех этот старый дом, которому недостает только башен и подъемного моста, чтоб походить совершенно на Удольфский замок или Грасфильское аббатство. Если б вы знали, сколько рассказывают о нем чудных и страшных повестей. Говорят, что лет сто тому назад прежний помещик держал в нем разбойничью пристань, что глубокие погреба под этим домом завалены человеческими костями, что по ночам происходят в нем необычайные явления: слышен громкий стон, и хотя капитан-исправник уверяет, что будто бы это воет ветер по узким коридорам и переходам, которых понаделано в доме великое множество, но он гово-

рит это потому, что живет в ладу с Асановым. Покойная моя мамушка рассказывала мне преужасную историю об этом доме; странно только, что я почти совсем ее забыла, а, кажется, это не так давно; правда, я была тогда еще совершенным ребенком и, как помню, так перепугалась, что не могла заснуть всю ночь. В этом рассказе есть разбойники, мертвецы и какой-то ночной поезд; мамушка божилась мне, что это не сказка, а быль и что во всем здешнем уезде нет ни одного старика, который не знал бы эту повесть со всеми ее подробностями. Говорят также, что будто бы от времени до времени то же самое, что случилось некогда ночью в этом нечистом, заколдованном доме, повторяется и теперь, а особливо с тех пор, как нынешний помещик переехал в него жить.

— А разве до Ивана Алексеевича Асанова никто в нем не жил? — спросил я сорокалетнюю сестрицу городничего, которая так еще недавно была ребенком.

— Да, никто. Лет двадцать сряду все двери и окна наглухо в нем были заколочены.

«Ну, жаль, что Иван Алексеевич незнаком со мною», — думал я, очень часто слушая все эти рассказы и толки. Стыдно признаться, а грех утаить, я всегда был смертельный охотник до страшных историй и не только верю, но даже не сомневаюсь в существовании колдунов, привидений и мертвецов, которые покидают свои могилы, так же как и огненных змеев, которые летают к деревенским вдовушкам и, рассыпаясь над кровлями изб, являются к ним в виде покойников, о коих они тоскуют. Я скорее посумнюсь, что Киев был столицею великого князя Владимира, чем поверю, что в нем никогда не живали ведьмы, и, признаюсь, пиитический Днепр потерял бы для меня большую часть своей прелести, если бы я не верил, что русалки и до сих пор выходят из лесов своих поплескаться и поиграть при свете луны в его чистых струях, что они, как рассказывает один из наших поэтов:

То в восторге юной радости
Будят песнями брега;
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
На пучине серебристые,
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,
Резвятся в волнах — и вдруг
Утопают, погружаются
В свой невидимый чертог...

Не могу описать, какое неизъяснимое наслаждение чувствую я всякий раз, когда слушаю повесть, от которой

волосы на голове моей становятся дыбом, сердце замирает и мороз подирает по коже. Пусть себе господа ученые, эти холодные разыскатели истины, эти Фомы неверные, которые сомневаются даже в том, что лешие обходят прохожих и что можно одним словом изурочить человека, смеются над моим легковерием; я не променяю на их сухие математические выводы, на их замороженный здравый смысл мои детские, но игривые и теплые мечты. Одно только меня всегда огорчало: несмотря на русскую пословицу, что «на охотника зверь бежит», во всю жизнь мою не удавалось мне видеть ничего чудесного, и даже все колдуны, с которыми я встречался, как будто на смех, были самые обыкновенные обманщики и плуты. Я наверное знаю, что многие, смотря в два зеркала, поставленные одно против другого, видят и бог весть что, а я смотрел однажды до тех пор, пока мне сделалось дурно и в глазах позеленело, а не видел ничего, кроме бесконечной перспективы и какого-то туманного пятна, которое, как открылось после, было не что иное, как простое черное пятно на зеркале. Уж я ли, кажется, не старался все испытывать! Года два тому назад ходил в Иванов день ночью в лес подкараулить, как цветет папоротник, но когда время стало подвигаться к полуночи, на меня напал такой страх, что я пустился бежать без оглядки и хотя слышал позади себя необычайный шум и свист, но не могу сказать наверное, нечистая ли сила это проказила или просто гудел ветер по лесу. В другой раз, когда я жил еще в степной моей деревне, я решился идти в полночь на кладбище. «Авось,— думал я,— хоть один мертвец вылезет из своей могилы прогуляться по церковному погосту». И в самом деле, когда я подошел к кладбищу, то увидел между могил что-то похожее на мертвеца в белом саване. Ах, как забилось мое сердце от страха и удовольствия! Каким приятным холодом обдало меня с головы до ног, как подкосились подо мною колени! И теперь вспомнить не могу без восторга об этой ужасной и восхитительной минуте. Крестясь и творя молитву, я пустился бежать домой, бросился на мою постель и всю ночь то бредил, как в горячке, то дрожал, как в лихорадке. «Итак,— думал я, задыхаясь от радости,— этот безвестный мир существует в самом деле; мертвецы бродят по ночам около могил; души усопших посещают землю, и все то, что господа педанты называют суеверием, обманом, белой горячкой — есть истина». И что ж, любезные читатели, как вы думаете, чем все это кончилось? На другой день я стал рассказывать о сем приключении бурмистру моему Федоту; этот негодяй засмеялся и сказал мне:

— Вы напрасно изволили перепугаться, сударь, ведь это шатался по кладбищу староста Тихон, он болен горячкою и прошлую ночь выбежал из избы в то время, как все спали.

— Как! — вскричал я, — так это был не мертвец?

— И, батюшка барин, — отвечал Федот, скривя свою безобразную харю, — какие нынче мертвецы! Ведь в старину народ был глуп: всему верили, а теперь и малого ребенка не испугаешь этими бабьими сказками.

«Бабьими сказками!!» Вся кровь моя взволновалась, я затопал ногами, закричал — и если б этот вольнодумец Федот не ушел из моего кабинета, то непременно вцепился бы ему в бороду. Да и как было не взбеситься? Подумаешь, господи боже мой! добро бы в Петербурге или в Москве, а то и в деревнях уж стали умничать!

После всего сказанного мною читатель может себе представить, желал ли я познакомиться с Иваном Алексеевичем Асановым; но никто, даже сам капитан-исправник, не брался привезти меня к нему в деревню, и я начинал терять уж всю надежду, как вдруг одним утром, проходя базарную площадь, увидел, что кто-то едет в дорожной коляске, глядь поближе — старинный мой приятель и сослуживец, Заруцкий. Мы вскрикнули оба в один голос, экипаж остановился, Заруцкий из него выскочил, и пошли расспросы:

— Откуда бог несет?

— В деревню, к дяде. А ты как здесь?

— По делам.

— Поедем вместе со мною. Я познакомлю тебя с дядюшкою, он старик предобрый.

— Нет, милый, не могу; мне надобно много еще хлопотать по моему делу.

— Поедем, братец, ведь это близехонько, верстах в двадцати отсюда, на Хопре...

— Верстах в двадцати!.. На Хопре?.. А как зовут твоего дядю?

— Иваном Алексеевичем...

— Асановым?

— Да.

— О! если так... едем, мой друг!

— Ты знаком с ним?

— Нет, но я так много о нем наслышался... Подожди! я сейчас заверну домой, возьму с собой узелок, прибегу назад, и катаем!

Как сказано, так и сделано — через четверть часа я сидел уж подле Заруцкого в венской его коляске, которая, покачиваясь на гибких рессорах, понеслась, как из лука стрела, по кочкам и колеям проселочной дороги. Сначала ретивые кони рвались один перед другим; но, пробежав верст двадцать, стали призадумываться и наконец, поднявшись с трудом на крутую гору, пошли смиренным шагом. Вокруг нас виды были довольно приятные: с левой стороны расстилались золотистые поля, на которых кое-где разбросаны были запоздалые копны сжатого хлеба; с правой тянулся густой лес, и от времени до времени вдали, сквозь широкие просеки, светлелись голубоватые воды живописного Хопра. Пока усталые кони, идя шагом, отдыхали, Заруцкий рассказывал мне про настоящее свое житье-бытье, про сельские хлопоты, хозяйство и, наконец, про пламенную любовь свою к какой-то деревенской соседке, молодой вдовушке, «которая, — говорил мой приятель, вздыхая и закуривая четвертую трубку, — поклялась уморить меня с тоски и до тех пор не давать решительного ответа, пока она не износит полдюжины черных платьев из какой-то фланели, видно казенной, потому что они другой год не могут износиться, и, верно, в огне не горят и в воде не тонут. Чтобы поразмыкать мое горе, — продолжал Заруцкий, — я вздумал съездить недельки на две погостить у моего дяди и очень рад, что встретился с тобою».

— Да рад ли будет этому твой дядя? — прервал я. — Мне весьма приятно с ним познакомиться, но, говорят, он такой нелюдим...

— Да, он неохотно заводит новые знакомства, а особливо с нашими уездными дворянами. Они такие чопорные, считаются визитами, а он человек старый, любит покой и больно тяжел на подъем. Ты — дело другое, ты человек заезжий, а сверх того — старинный приятель и сослуживец его племянника, которого он любит, как сына родного; да, правда, и я его очень люблю.

— Скажи, пожалуйста, что ему за радость жить в этой глуши?

— У него есть на то свои причины.

— А например?

— Это целый роман, мой друг. Прежде всего надобно тебе сказать, что во время оно дядя мой, Иван Алексеевич Асанов, был человек бедный; он не мог даже и мечтать о наследстве, которое досталось ему после; и в самом деле, мог ли он думать, что четверо двоюродных братьев, два племянника и три племянницы умрут в одну неделю от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву. Деревня, в которой живет теперь

Иван Алексеевич, принадлежала некогда помещику Глинскому, скупому, злому и, если верить изустным преданиям, настоящему разбойнику. У этого Глинского была дочь, прекрасная лицом, еще прекраснее душою. Не знаю, где и когда мой дядя с нею встретился, как познакомился с ее отцом, только дело в том, что он влюбился по уши в Софью Павловну — так звали дочь Глинского,— а на беду, и она его полюбила. Однажды на отъезжем поле, рыская вместе с отцом своей любезной за зайцами, дядя мой решился открыть ему свою душу. Глинский взбеленился, осыпал его ругательствами, назвал нищим и объявил, что, если он когда-нибудь близко подъедет к его деревне, то он выпустит на него целую стаю гончих и затравит, как красного зверя. Дядя мой уехал в армию, дрался так, что Суворов прозвал его чудо-богатырем, и, проколотый навылет штыком в сражении с Огинским при Столовичах, на диво всей армии, остался жив, выздоровел, узнал, что ему упало с неба богатое наследство, поскакал в Сердобск; но было уже поздно. Софья Павловна, зачахнув с горя, давно покоилась на деревенском кладбище, а отец ее, спустя два месяца после ее смерти, сломил себе шею, травя волка. Дядя мой вышел в отставку, поклялся никогда не жениться, добился наконец, что ему продали эту деревню, и поселился в доме, где некогда жила его любезная. «Господь не допустил меня быть мужем Софьи Павловны. Его святая воля! Но если мне не суждено было жить с нею на земле, так по крайней мере в земле-то я буду лежать вместе с нею». Так говорит всегда мой дядя, и вот уже скоро десять лет, как он живет безвыездно в этой деревне.

— О! да твой дядя человек преинтересный! — сказал я.— Знаешь ли, мой друг, что если б он был помоложе, то я бы не советовал тебе рассказывать всем эту историю... в ней столько романического, что долго ли до беды: как раз найдется новая Софья Павловна, и если ты единственный его наследник...

— Да, мой друг! но дай бог, чтоб я во всю жизнь мою не вступал в это наследство! И один раз похоронить отца родного тяжело, а дважды на веку остаться сиротою — не приведи господи! Но вот, кажется... так точно! версты три, не больше осталось. Видишь ли там вдали дубовую рощу?.. За нею тотчас господская усадьба; а вон выглядывает из-за вершин деревьев золоченый крест: это каменная церковь, построенная моим дядей над могилою Софьи Павловны.

— Ах, боже мой! — прервал я, поглядев с ужасом вперед,— неужели мы спустимся в эту пропасть?

— Постой! — закричал мой приятель,— в самом деле, лучше мы выйдем.

Коляска остановилась, и пока ямщик с слугою Заруцкого тормозили задние колеса, мы отправились потихоньку вперед. Поросший частым кустарником овраг, через который шла дорога, действительно походил на какую-то пропасть или ущелье, на дне которого журчал мутный поток. Чем ниже мы сходили, тем выше и утесистее становились его песчаные скаты; изрытая глубокими водопромоинами дорога, идя сначала прямо, вдруг круто поворачивая налево и, огибая небольшой бугор, опускалась к мосту, перекинутому через проток. Когда я взглянул назад, то мне показалось, что коляска, которая полегоньку стала съезжать вниз, висела над нашими головами.

— Знаешь ли, мой друг,— сказал Заруцкий, указывая на бугор,— что этот холм, хотя и не насыпной, а может назваться курганом: он весь составлен из могил.

И подлинно, большая часть его была покрыта возвышениями, и кой-где видны еще были полусгнившие деревянные кресты.

— Неужели это деревенское кладбище твоего дяди? — спросил я.

— Нет, мой друг, здесь похоронены убитые разбойниками.

— Разбойниками? — повторил я, невольно поглядев вокруг себя.

— Не пугайся,— продолжал мой приятель,— это было уже давно. В наше время и слуху нет о разбойниках, точно так же как о ведьмах, колдунах, мертвецах, домовых и всей этой адской сволочи, от которой в старину нашим предкам житья не было.

— Ну, это еще бог знает,— сказал я сквозь зубы,— на разбойников есть земская полиция...

— А на колдунов и мертвецов,— возразил мой приятель,— есть управа, которую зовут просвещением.

— Ох уж мне это просвещение! — прервал я почти с досадою.— Но дело не о том: как могли здесь придерживаться разбойники? Разве тут была когда-нибудь большая дорога? Ведь по проселочным грабить некого.

— Большая дорога отсюда в двух верстах. И вот что рассказывают старики об этом овраге: дедушка бывшего помещика деревни, в которую мы едем, держал у себя в дому разбойничью пристань. Это бы еще ничего, было время, что разбои, а особливо в наших пограничных губерниях, назывались удальством и молодечеством; но вот что было худо в дедушке покойного Глинского: говорят, что он был в дружбе с самим сатаною и, как знаменитый польский пан Твардовский, закабалил ему на веки веков свою душу. Разумеется, ему не было никакой нужды в деньгах: черт помогал ему находить клады

и даже иногда шутки ради превращал для него кружки из репы и моркови в серебряные рублевики и золотые ефимки; но он любил для забавы, как на охоту, ездить на грабеж. Спуску никому не было: дворян и богатых купцов он залучал насильно к себе в гости, поил, кормил по целым суткам, а там бог весть что с ними было; только говорят, что кто из этих невольных гостей проезжал в одну околицу, тот уж никогда не выезжал в другую. С простыми людьми не церемонились: их резали на большой дороге и бросали в этот овраг. Впоследствии добрые люди, собрав их кости, похоронили на этом бугре. А так как прошел слух, будто бы каждый год ночью, на родительскую субботу, все эти покойники встают из могил и справляют сами по себе поминки, то это место, которое слыло прежде *Волчьим оврагом,* прозвано теперь *Чертовым Беремищем.* Все это я рассказал тебе кой-как, а надобно послушать моего дядюшку: вот уж если он примется рассказывать эти народные сказки и предания, так есть чего послушать.

— Сказки!—повторил я с нетерпением,—почему же сказки? Ох вы, умницы! слушай вас, так ничему верить не станешь.

— Да неужели ты в самом деле веришь этим бредням?

— Эх, братец! да что мы знаем? Мы не видим далее своего носа, целый век играем в жмурки, а говорим утвердительно: «Это вздор! Это быть не может! Это противно здравому смыслу!» А что такое наш здравый смысл? Сбивчивые соображения, темные догадки, какой-то слабый свет, который иногда блеснет в потемках как будто бы нарочно для того, чтоб после нам еще сделалось темнее. Нетрудно говорить: «Я не верю этому!» А прошу мне доказать, почему и я не должен верить тому, что кажется тебе невероятным? Нет, Заруцкий, я еще не знаю, кто более ошибается, тот ли, кто верит всему без разбора, или тот, для которого все то вздор, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы.

— Знаешь ли, мой друг,—прервал Заруцкий,—что ты непременно понравишься моему дяде. Он так же, как ты, готов рассердиться, если его станут уверять, что души умерших не являются никогда живым, и расскажет тебе сейчас двадцать случаев, доказывающих противное. Но вот уж коляска наша въехала на гору. Не знаю, как ты, а я очень устал. Сядем!

Когда мы проехали дубовую рощу, то каменные палаты Ивана Алексеевича Асанова открылись нам во всем своем угрюмом величии. Они стояли посреди большого двора, заросшего крапивою. Главный их фасад, в тридцать узких окон, с широкими простенками, тянулся поперек всего двора; парадный подъезд с тяжелым навесом на четырех деревянных столбах был пристроен к середине дома, позади которого

большой плодовый сад спускался по отлогому скату до самого Хопра; против самых ворот на широком лугу стояла высокая каланча с выкинутым флагом и огромными часами.

— Ого! — сказал Заруцкий, когда мы под громкий лай полдюжины датских и легавых собак въехали на двор,— да у дядюшки, видно, гости: дормез, бричка и, кажется — так точно! — щегольская тележка сердобского исправника. Тем лучше — нам будет весело.

Двое дюжих лакеев, не роскошно, но опрятно одетых, приняли нас из коляски. Мы вошли в обширные сени. Налево одни двери вели в переднюю, направо, другими, вероятно, входили некогда в девичью, но они были заколочены и закладены кирпичами. (Прошу моих читателей заметить это обстоятельство.) Пройдя бильярдную, столовую и две гостиные комнаты, из коих одна была оклеена китайскими обоями, мы встретили в дверях расписанной боскетом диванной хозяина дома.

— Здравствуй, Алексей, здравствуй, мой друг! — закричал он, обнимая несколько раз сряду своего племянника.— Спасибо, что навестил старика, а я так было по тебе стосковался, что хоть нарочного отправлять.

— Рекомендую вам, дядюшка,— сказал Заруцкий, подводя меня к Ивану Алексеевичу,— искреннего приятеля. Мы с ним давно уже не видались, хотя были некогда неразлучными товарищами и в Москве в пансионе, и в Петербурге в казармах, и в танцевальном классе Меранвиля, и в походном балагане под неприятелем — словом, везде. Я давно с ним не видался и, повстречав его в Сердобске, решился захватить с собою и привезти к вам.

— Милости просим! — сказал Иван Алексеевич, протянув ласково ко мне свою руку.— Кто с моим Алексеем побратался на ратном поле, тот всегда будет у меня дорогим гостем. Милости просим!

Не помню, что я отвечал хозяину, а кажется, ничего. Я так был поражен его почтенною наружностию, что позабыл совершенно все употребляемые в сих случаях условные фразы и вежливые уверения, в которых почти всегда ни на волос нет правды. Представьте себе человека высокого роста, лет шестидесяти пяти, в форменном военном сюртуке времен Екатерины Второй; вообразите румяное лицо и черные с проседью волосы, высокий, покрытый морщинами лоб и ясные, исполненные веселости и радушия глаза, величественную осанку лихого полкового командира, которого сам Суворов прозвал чудо-богатырем, и кроткую простодушную улыбку, не сходящую с приветливых уст, осененных парою густых усов, о ко-

торых, вероятно, в старину не раз толковали меж собой миловидные полячки. В жизнь мою я не видывал старика с такой привлекательной наружностию и, признаюсь, нимало бы не удивился, если б какая-нибудь красавица призадумалась, когда б ей дали на выбор, или быть его женою, или назвать его своим отцом.

— Не угодно ли ко мне в кабинет? — сказал он,— ты найдешь там старых знакомых, Алексей. Да прошу покорно не отставать,— продолжал он, обращаясь ко мне,— а не то как раз заплутаетесь. У меня в саду нет лабиринта, но зато в доме, как в траншеях, такие зигзаги и апроши, что и толку не доберешься.

В самом деле, мы выходили из комнаты в комнату, прошли двумя темными коридорами, то подымались несколько ступеней кверху, то спускались вниз и, наконец, пройдя мимо железных дверей кладовой, помещенной в круглой башне, которая, как говорится, ни к селу ни к городу, была прилеплена к левому углу дома, вошли еще в один коридор, в конце которого слышны были голоса разговаривающих.

— Тут была в старину девичья,— сказал Иван Алексеевич, подходя к полурастворенным дверям,— но так как я человек холостой, то и рассудил закласть в ней одни двери и сделать из нее мой кабинет: зимою эта комната всех теплее и суше. Милости просим!

Судя по величине и первобытному значению покоя, в который мы вошли, нетрудно было отгадать, что у прежнего помещика была большая дворня и что, вероятно, в ней женских душ было более мужских. Четыре окна, обращенные на задний двор, занимали одну из стен ее; на остальных были нарисованы сцены из жизни Суворова. Правду сказать, живопись была не отличная, и, взглянув на нее, я невольно вспомнил *маляра Ефрема,* о котором бессмертный певец Ермака сказал когда-то, что он имел чудесный дар и что кисть его

... всегда над смертными играла:
Архипа Сидором, Козьму Лукой писала.

На одной стене Суворов представлен был в лесу спящим на соломе, посреди казачьих биваков; у него вовсе не было шеи, но зато такие длинные ноги, что если бы он проснулся и встал, то, конечно, мог бы облокотиться на вершину толстого дуба, под тенью которого покоился. На противуположной стене тот же самый Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка. Он стоял, вытянувшись, как струнка, и оборотясь лицом к толпе поляков, с преогромными усами.

Несколько французских офицеров, поджарых и тщедушных, изображены были с поникнутыми главами, а перед всей толпою комендант замка, щеголеватый Шуазье, распудренный и выгнутый зелом, отдавал победителю свою шпагу, с таким же точно сентиментальным видом, с каким театральный пастушок, став в четвертую позицию, подает букет розанов своей размалеванной пастушке. На третьей стене изображено было взятие Измаила; разумеется, все убитые были турки, а поле сражения усыпано чалмами, между которых не валялась ни одна гренадерская шапка. В том месте, где была заделана дверь, ведущая в сени, стоял шкап с библиотекою хозяина. В простенках меж окнами висели турецкие пистолеты, ятаганы, польские сабли и прочие домашние трофеи военных подвигов Ивана Алексеевича Асанова. В одном углу стоял пук черешневых чубуков с глиняными раззолоченными трубками и янтарными мундштуками; в другом, по обеим сторонам широкого камина, висело несколько охотничьих одинаких и двуствольных ружей, ягдташей, пороховых рожков и патронниц, а кругом всех стен устроены были спокойные диваны, обитые шерстяной турецкой материею.

Когда мы вошли в кабинет, четверо гостей, в числе которых был и сердобский исправник, трудились, в поте лица и наблюдая торжественное молчание, вокруг стола, на котором поставлен был сытный завтрак. После первых приветствий и дружеских восклицаний Заруцкий стал знакомить меня с гостями своего дяди. Первый, к которому он меня подвел, Антон Федорович Кольчугин, показался мне с первого взгляда стариком лет семидесяти; но когда я поразглядел его хорошенько, то уверился, что, несмотря на впалые его щеки, выдавшийся вперед подбородок и седые, как снег, усы, он моложе хозяина. Прагский золотой крест в петлице ясно доказывал, что он был некогда если не сослуживцем, то по крайней мере современником Ивана Алексеевича. Второй, Прохор Кондратьич Черемухин, человек лет сорока пяти, толстый, рябой, с широкими светло-русыми бакенбардами, с маленькими блестящими глазами и с такой смеющейся и веселой физиономиею, что, глядя на него, и плакса Гераклит (если он только существовал в самом деле, а не был выдуман для антитезы и рифмы к Демокриту) едва ли бы удержался от смеха. С третьим гостем, исправником сердобским, я был уже знаком, но его не знают мои читатели, а посему я не излишним полагаю сказать и о нем несколько слов. Он был малый образованный, служил штаб-ротмистром в одном армейском гусарском полку, вышел за ранами в отставку и, выбранный дворянами, из отличного эскадронного командира сделался, как говорится, лихим

капитан-исправником. Все помещики его любили, казенные крестьяне молились за него богу, а воры, плуты и пьяницы боялись как огня. Говорят (я повторяю то, что слышал), что будто бы он не брал даром и клока сена и не съедал курицы у мужика, не заплатя за нее по справочной цене, что заседатели его не таскали за бороду для своей забавы выборных и даже канцелярские служители нижнеземского суда пили на следствиях вино только тогда, когда им подносили его добровольно.

Познакомив моих читателей с обществом, в котором я провел несколько дней самым приятным образом, я должен сказать, что в первый день моего приезда в деревню Ивана Алексеевича погода начала портиться; к вечеру небеса нахмурились и полился не летний, крупный и спорый, дождь, но мелкий и дробный; он вскоре превратился в бесконечную осеннюю изморось, от которой и вас, любезные читатели, подчас брала тоска, а особливо если она захватывала вас среди полей, когда желтый лист валится с деревьев, а порывистый ветер гудит по лесу и завывает, как зловещий филин, в трубах вашего деревенского дома. Делать было нечего: нельзя было ни ходить с ружьем на охоту, ни кататься в лодке по Хопру; конечно, можно было ездить по *черностопу* за зайцами; но для этого надобно было страстно любить псовую охоту, а изо всего нашего общества один Заруцкий езжал иногда с борзыми, но и тот любил охотиться или по первозимью в хорошую порошу, или в ясный осенний день, в *узерку;* а ездить с утра до вечера с гончими в дождь и слякоть для того, чтобы затравить какого-нибудь несчастного *беляка,* казалось ему вовсе незабавным. Впрочем, нельзя сказать, чтоб мы были без всякого занятия: днем мы пили чай, завтракали, обедали, играли на бильярде и читали журналы. Иван Алексеевич выписывал не только «Петербургские ведомости», но почти все периодические издания, которые в то время выходили в обеих столицах. Разумеется, мы охотнее всего читали московский «Вестник», прославленный первым своим издателем, но от нечего делать перелистывали и «Московского курьера», зевали над петербургским «Любителем словесности», трогались чувствительным слогом «Московского зрителя» и удивлялись разнообразию «Собеседника», который только что появился в свет с затейливым названием «Повествователя мыслей в вечернее время упражняющихся в своем кабинете писателей, рассказывающего повести, анекдоты, стихотворения, а *временем и критику».* Часу в седьмом после обеда мы обыкновенно сбирались в кабинет к хозяину, садились кругом пылающего камина и вплоть до самого ужина проводили время, разговаривая меж собою. Так как Иван Алексеевич почти всегда управлял

общим разговором, то предметом оного были по большей части рассказы о необыкновенных случаях в жизни, о привидениях, дьявольском наваждении — словом, обо всем том, что не могло быть истолковано естественным образом. Внимание, с которым слушали все эти рассказы, ясно доказывало, что никто не сомневался в их истине. Один только Заруцкий улыбался иногда вовсе невпопад; но никто не замечал этого, и даже весельчак Черемухин, хотя потихоньку с ним перемигивался и шептал ему что-то на ухо, вслух божился, что верит без разбору всем страшным историям, потому, дескать, что его самого однажды давил целую ночь домовой.

Рассказы и повести, которые я слышал в последний вечер, проведенный мною у Ивана Алексеевича, показались мне столь любопытными, что я с величайшей точностию записал их в моем дорожном журнале. Боясь прослыть суевером, невеждою и человеком *отсталым,* я до сих пор не смел напечатать моих записок; но когда увидел, что с некоторого времени истории о колдунах и похождениях мертвецов сделались любимым чтением нашей публики, то решился наконец выдать их в свет. Не смею обещать моим читателям, что они прочтут их с удовольствием или хотя бы без скуки, но твердо и непоколебимо стою за истину моих рассказов. Да, почтенные читатели! решительно повторяю, что есть *русские истории,* которые несравненно более походят на сказки, чем эти бы́ли и предания, основанные на верных и не подлежащих никакому сомнению *фактах.*

Ветер бушевал по лесу, мелкий дождь как сквозь частое сито лился на размокшую землю. Еще на деревянной каланче не пробило и шести часов, а на дворе уже было так темно, что хоть глаз выколи. Мы все собрались в кабинет. Хозяин, Кольчугин, исправник и я сидели вокруг пылающего камелька, а Заруцкий и Черемухин расположились преспокойно на широком диване и, куря молча свои трубки, наслаждались в полном смысле сим моральным и физическим бездействием, которое итальянцы называюте far niente[1].

— Ну, погодка! — сказал наконец Кольчугин, прислушиваясь к вою ветра, — хоть кого тоска возьмет.

— И, полно, братец! — прервал Иван Алексеевич, — да это-то и весело. Что может быть приятнее, как сидеть в ненастный осенний вечер с хорошими приятелями против камелька, курить спокойно свою трубку и, поглядывая на плотно затворенные окна, думать: «Вой себе, ветер, лейся, дождь! Бу-

---

[1] Ничегонеделанье *(ит.).*

шуй, непогода! А мне и горюшки мало!» Что и говорить! умен тот был, кто первый вздумал строить дома.

— И делать в них камины,— прибавил исправник, подвигаясь к камельку.

— Не равен дом, господа,— сказал Кольчугин, вытряхивая свою пенковую трубку,— и не в такую погоду не усидишь в ином доме. Я сам однажды в сильную грозу и проливной дождик решился лучше провести ночь под открытым небом, чем в комнате, в которой было так же тепло и просторно, как в этом покое.

— А что? — спросил исправник,— видно, хозяева были тебе не очень рады?

— Ну, нет! один хозяин обошелся со мною довольно ласково, да от другого-то мне туго пришлось; хоть и он также хотел меня угощать, только угощенье-то его было мне вовсе не по сердцу!

— Вот что! — сказал Иван Алексеевич,— да это, видно, брат, целая история.

— Да, любезный, такая история,— продолжал Кольчугин, набивая снова свою трубку,— что у меня и теперь, лишь только вспомню об этом, так волос дыбом и становится.

— Что вы это говорите! — вскричал Заруцкий.— Антон Федорович! помилуйте! Вы человек военный, служили с Суворовым, а признаетесь, что чего-то струсили.

— Да, батюшка, не прогневайтесь! Посмотрели бы мы вашей удали. Нет, Алексей Михайлович! Ведь это нечто другое; поставь меня хоть теперь против неприятельской батареи, видит бог, не струшу! А вот как где замешается нечистая сила, так уж тут, воля ваша, и вы, батюшка, немного нахрабритесь: сатана не пушка, на него не полезешь.

— Ого! — сказал Черемухин, перемигнувшись с Заруцким,— так в вашей истории черти водятся?

— Смейтесь, батюшка, смейтесь! — продолжал Кольчугин.— Я знаю, что человек вы начитанный, ничему не верите...

— Кто? я? — прервал Черемухин.— Что вы, батюшка Антон Федорович, перекреститесь!

— Добро, добро! прикидывайтесь! Вот мы так люди неученые; чему верили отцы наши, деды, тому и мы верим.

— Да как же, братец,— сказал хозяин,— ты мне никогда об этом не рассказывал?

— А так, к слову не пришлось. Пожалуй, теперь расскажу. Дай-ка, батюшка Иван Алексеевич, огоньку!.. Спасибо, любезный!

Все придвинулись поближе к рассказчику, и даже Заруцкий с Черемухиным встали с дивана и уселись подле на стульях. Антон Федорович Кольчугин раскурил трубку, затянулся, выпустил из-под своих седых усов целую тучу табачного дыму и начал:

— Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка, который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван,— промолвил рассказчик, указывая на одну из стен кабинета.— Ну, да дело не о том. Хотя Суворов не был еще тогда ни графом, ни князем, но об нем уж начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял с своим небольшим корпусом лагерем близ Кракова, наблюдая издали за Тиницем и Ландскроном. Астраханский гренадерский полк, в котором я имел честь служить полковым адъютантом, принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отлично храбрый и настоящий русский хлебосол. Почти все штаб- и обер-офицеры каждый день у него обедали, и кому надобны были деньги, тот шел к нему прямо, как в Опекунский совет. Но вот что было худо: наш полковой командир был женат, и это бы еще не беда, да жена-то у него была такая нравная, что и боже упаси!

— Так что ж,— прервал Заруцкий,— тем хуже для мужа, а офицерам-то какое до этого дело?

— Какое дело!— повторил Кольчугин.— Эх, сударь! время на время не приходит. Нынче после полкового начальника первый в полку человек старший баталионный командир; а у нас бывало, коли полковник женат, так второй человек в полку полковница, а если она бойка да хоть мало-мальски маракует в военном деле, так и всем полком заправляет. То-то и есть, батюшка! нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина дородная, видная, белолицая, румяная... а удаль-то какая... голосина какой!.. ах ты господи боже мой!.. что и говорить: город-барыня! Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала: мы в поход — и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове и хоть могла часто видеться с своим мужем, но решилась, наконец, совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу,— да ведь делать-то нечего — хоть не рад, да будь готов. Палатку перегородили, наделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где, бывало, мы все бражничали с нашим командиром, сделали спальню и поставили широкую кровать с розовым атласным пологом. Я думаю, господа, вы все знаете, что Суворов не очень жаловал барынь, а особливо, когда они жили в лагере и мешались не в свои дела, да он был еще тогда только что генерал-май-

ором, связей никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, похмурился, да на том бы и съехал, а наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а выжил полковницу из лагеря. И теперь без смеха вспомнить не могу. Экой проказник, подумаешь! Умен был, дай бог ему царство небесное! Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету, то войскам готовиться к походу; по второй — строиться перед лагерем; по третьей — снимать палатки, а по четвертой — выступать. Он не любил, чтоб солдаты у него дремали, и потому частехонько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету, там другую, Суворов объедет весь лагерь, поговорит с полковниками, пошутит с офицерами, побалагурит с солдатами, да тем дело и кончится. Вот этак с неделю погода стояла все ясная, вдруг однажды после знойного дня, ночью, часу в одиннадцатом, заволокло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром и пошла такая потеха, что мы света божьего невзвидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома и, чтоб не так была видна ей молния, забралась на постель и задернулась пологом, однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтоб идти домой,— глядь!.. эге! сигнальная ракета. Я назад, докладываю полковнику. «Как? — закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушалась в мои слова.— Да что, ваш полоумный генерал вовсе, что ль, рехнулся? В такую бурю тревожить весь лагерь!» — «Успокойся, Варенька,— сказал полковник,— ведь это фальшивая тревога, может статься, и второго сигнала не будет. А меж тем вели седлать мою лошадь,— прибавил он шепотом, обращаясь ко мне,— кто его знает! да чтоб люди были готовы». Я побежал исполнять его приказания и вот гляжу, минут через десять, зашипела вторая ракета, люди в полной амуниции высыпали из палаток и начали строиться. Прошло еще минут пять. Чу! третья! вот те раз... Суворов шутить любил, да только не службою, да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя! Закипело все по лагерю, вполмига веревки прочь, колья вон и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвилась четвертая ракета, авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге к Ландскрону. Ну, господа, не всякому удастся видеть такую диковинку. Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло с полчаса, и во все это время... вспомнить не могу!.. То-то было смеху-то!.. Представьте себе, ночью в чистом поле, под открытым небом — двуспальная кровать с ро-

зовым атласным пологом. А дождь-то, дождь — так ливмя и льет! Ну! присмирела наша строгая командирша! Господи боже мой!.. Растрепало ее, сердечную, дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка! Куда вся удаль девалась! Вот отвезли ее кой-как назад в Краков, а корпус, отойдя версты две, остановился опять лагерем; и я в жизнь мою никогда не видывал, чтоб кто-нибудь бесился так, как взбеленилась полковница, когда на другой день проказник Суворов прислал к ней своего адъютанта узнать о здоровье.

— Ай да батюшка Александр Васильевич! — вскричал с громким хохотом хозяин,— что и говорить, молодец!

— Да, это очень забавно,— сказал Черемухин,— только позвольте, Антон Федорович, речь, кажется, была о сатане...

— А жена-то полковника? — прервал Заруцкий.

— Да это другое дело; я говорю о нечистой силе.

— Постойте, батюшка,— продолжал Кольчугин,— дойдет и до этого дело. Дня через два, как полковница совсем уж обсохла, пошли у нее новые затеи. Жить опять в лагере она боялась, а в Кракове остаться не хотела. Толковали, толковали и решили на том, чтоб сыскать для нее какой-нибудь загородный панский дом или мызу поближе к лагерю. Вестимо дело, кому хлопотать, как не адъютанту; вот я и отправился с утра осматривать все дачи по дороге к Ландскрону и Тиницу. Выбрать было нелегко: наша причудливая командирша хотела и большой дом, и обширный сад, и чтоб никого не было живущих, и то и се. Целый день я проездил по дачам; измучил своего куцего коня, да и горский жеребец под казаком, который ездил за мною, насилу уж ноги волочил. Мы на одной мызе позавтракали, на другой пообедали, и когда стали пробираться назад в лагерь, то уж день клонился к вечеру; пока еще заря не вовсе потухла, мы проехали верст пять. На дворе становилось все темнее и темнее, вдали сверкала молния, а над нами так затучило, что когда мы поехали лесом, так в двух шагах ничего не было видно. Сначала мы кое-как тащились вперед, но вдруг дорога по лесу как будто б сдвинулась, начало нас похлестывать сучьями, и лошади, наезжая на колоды и пеньки, то и дело что спотыкались. «Ох, плохо, ваше благородие,— пробормотал мой казак,— никак мы заплутались».

— Видно, что так, Ермилов,— сказал я, приподымая на поводу моего куцего, который в третий уже раз падал на оба колена.

— Вот и дождик накрапывает,— продолжал казак,— кабы бог помог нам до грозы наткнуться на какое-нибудь жилье... Постойте-ка, ваше благородие, кажись, вон там направо лает собака.

В самом деле, недалеко от нас послышался громкий лай; мы поехали прямо на него и через несколько минут выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, в конце которой что-то белелось и мелькал огонек.

— Кажись, это панская мыза,— прошептал Ермилов,— ну, слава тебе, господи! нашли приют.

— Постой-ка, братец,— сказал я,— чтоб нам не заплатить дорого за ночлег: ведь мы не у себя, не на святой Руси. Чай, польские-то паны не больно нас жалуют, хорошо у них останавливаться с командой или днем на большой дороге, а ночью и в таком захолустье... долго ли до греха! Уходят нас, да и концы в воду.

— А что? чего доброго, ваше благородие,— прервал казак, почесывая в голове,— ведь нас только двое... Да куда же нам деваться?

— Погоди, Ермилов,— сказал я,— надобно подняться на штуки. Я скажу хозяевам, что прислан квартирьером занять эту мызу для полковой квартиры и что завтра чем свет придет сюда первая рота нашего полка.

— И впрямь, ваше благородие,— подхватил казак,— пугнем-те-ка их постоем, так дело будет лучше. Коли они станут думать, что мы нарочно к ним приехали и что завтра нагрянет к ним целая рота гренадер, так уж, верно, никто не посмеет и волосом нас обидеть.

Разговаривая таким образом, мы подъехали к высокому забору, позади которого, среди широкого двора, стоял каменный дом в два этажа, с круглыми башнями по углам. В одном углу светился огонек; ни одной души не было видно ни на дворе, ни в доме, все было тихо, как в глубокую полночь, и только лаяла одна цепная собака. Ворота были не заперты, мы подъехали к дому, я слез с коня, вошел в сени... никого. Прямо передо мной лестница вверх. Я начал по ней взбираться, сабля моя так стучала по каменным ступенькам, что, казалось, можно бы было за версту меня слышать. Взойдя на лестницу, я приостановился — все тихо. «Кой черт,— подумал я,— неужели в этом доме нет никого, кроме цепной собаки?» Проведя рукою по стене, я ощупал дверь, толкнул, она растворилась; вхожу — опять никого. Холодно, сыро, ветер воет, в окнах нет рам. «Вот что! эта часть дома не достроена, но где же светился огонек? кажется, левее». Я вышел опять к лестнице, прошел вдоль стены — еще двери; отворил. Ну! попал наконец на жилые покои! В небольшой комнатке, слабо освещенной сальным огарком, двое слуг играли в карты, а третий спал на скамье. В ту самую минуту, как я вошел в этот покой, мне послышался вдали довольно внятный говор, как будто бы

от многих людей, с жаром между собой разговаривающих. Но лишь только один из игравших в карты слуг, увидя меня, ушел во внутренние комнаты, то вдруг все утихло.

— Как зовут эту мызу? — спросил я у слуги, который остался в передней.

— Эту мызу? — сказал он, глядя на меня так нахально, что я невольно смутился и не вдруг повторил мой вопрос.

— Ее зовут Бьялый Фолварк, — отвечал наконец слуга, продолжая смотреть мне прямо в глаза.

— А как зовут хозяина?.. Да отвечай же, животное, когда тебя спрашивают! — продолжал я, возвысив голос и подойдя к нему поближе.

Слуга попятился назад и, взглянув на своего спящего товарища, пробормотал:

— Моего пана зовут — Ян Дубицкий... Гей, Казимир!

— Ну, так и есть! — сказал я. — Насилу же мы отыскали вашу мызу. Веди меня к хозяину.

— Почекай[1], пан! гей, Казимир!

Третий слуга, который спал на скамье, вскочил и, увидя перед собой русского офицера, закричал: «Цо то есть?.. Москаль!»

— Сойди-ка, брат, вниз, — сказал я, стараясь казаться спокойным, — там стоит казак...

— Казак, — вскричал полусонный лакей, — один казак?

— Покамест один, а скоро будет много. Возьми у него лошадей, отведи их в конюшню, а ему вели взойти сюда.

Слуга не торопился исполнить мое приказание; он поглядывал как шальной то на меня, то на своего товарища, а не трогался с места.

— Ну, что ж ты глаза-то выпучил, дурень, — закричал я повелительным голосом, — иль не слышишь? пошел! Да смотри, чтоб лошади были сыты!

Слуга, пробормотав себе что-то под нос, вышел вон, и в то же время лакей, который ходил обо мне докладывать, растворив дверь, пригласил меня в гостиную. Пройдя небольшую столовую, я вошел в комнату, довольно опрятно убранную и освещенную двумя восковыми свечами. В одном углу приставлено было к стене несколько сабель, и с полдюжины *конфедераток* валялось по стульям и окнам комнаты. Хозяин, человек лет пятидесяти, с предлинными усами, с подбритой головой, в синем кунтуше и желтых сапожках, принял меня со всею важностию польского магната. Развалясь небрежно на канапе, он едва кивнул мне головою и показал молча на табу-

[1] Подожди *(пол.)*.

ретку, которая стояла от него шагах в пяти. Ах, черт возьми! Вся кровь во мне закипела; я позабыл, что положение мое было вовсе незавидное; в эту минуту я думал только о том, что имею честь носить русский мундир и служить в Астраханском гренадерском полку капитаном. Не отвечая на его обидный поклон, я оттолкнул ногою табуретку, уселся подле него на канапе и, вытащив из кармана кисет с табаком, принялся, не говоря ни слова, набивать мою трубку. Казалось, это нецеремонное обращение смутило несколько хозяина; помолчав несколько времени, он спросил довольно вежливо, откуда я еду.

— Из лагеря,— отвечал я, продолжая набивать мою трубку.

— И верно, пан... пан поручик...

— Капитан,— прервал я, кинув гордый взгляд на хозяина.

— Препрашу!..[1] верно, пан капитан заплутался в этом лесу?

— Нет! я прямо сюда ехал.

— Сюда?—повторил хозяин с приметным беспокойством.

— Да,— продолжал я, раскуривая спокойно мою трубку,— ведь эту мызу зовут Бьялый Фольварк?

— Так.

— А вас паном Дубицким.

— Так есть.

— Я прислан сюда квартирьером; у вас назначена полковая квартира Астраханского гренадерского полка.

— Полковая квартира!—вскричал пан, спрыгнув с канапе.

— Да, завтра чем свет, а может быть, и сегодня ночью, придет сюда первая рота нашего полка. Да садитесь, пан Дубицкий!.. Прошу покорно!

Тут взглянул я на моего хозяина: вытянувшись в струнку, он стоял передо мной как лист перед травой, и на лице его происходили такие эволюции, что я чуть было не лопнул со смеху: огромные усы шевелились, глаза прыгали из стороны в сторону, а хохол на голове стоял почти дыбом.

— Да взмилуйся, пан капитан,— завопил он наконец,— куда девать мне целую роту?

— Найдем для всех место.

— Но рассудите сами...

— Эх, пан Дубицкий!—прервал я, развязывая шарф и снимая мою саблю,— военные люди не рассуждают; делай то, что приказано, вот и все тут.

— Иезус Мария!—продолжал хозяин,— поместить целую роту!.. Да яким же способом?.. Я сам с больной моей женой живу только в трех комнатах.

---

[1] Извините!.. *(пол.)*

— Полно, так ли? — сказал я. — Дом-то, кажется, у вас велик.

— Як пана бога кохам![1] Ну мало ли мыз и лучше и просторнее моей? И кому в голову пришло...

— А вот, — прервал я, — пан Дубицкий, как мы выпьем с вами по рюмке венгерского, так я скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу.

— За-раз, пан, за-раз![2] Эй, хлопец!

— Не беспокойтесь! — сказал я, подходя к столу, на котором стояли две бутылки вина и несколько порожних и налитых рюмок, — с нас будет и этого. До вас — пана!

Хозяин приметным образом смешался, и когда вошел слуга, то он, пошептав ему что-то на ухо, сказал, обращаясь ко мне:

— В самом деле, а я было вовсе забыл, что пробовал сейчас с моим экономом это вино, которое вчера купил в Кракове. Ну, что вы о нем скажете?

— Славное вино! Настоящее венгерское! Ну, пан Дубицкий, — продолжал я, выпив еще рюмку, — теперь я вам скажу, кому пришло в голову занять вашу мызу. Полковая квартира простоит у вас день, много два; но наша полковница останется у вас жить, и надолго ли — этого сказать вам не могу. Ей в Кракове так много наговорили хорошего об этой мызе, что она хочет непременно у вас погостить.

— Барзо дзинкую за гонор![3] — сказал хозяин, — но я желал бы знать, кто расхвалил вашей полковнице Бьялый Фолварк? Уж верно, злодеи мои: пан Маршалок, пан Замборский, пан Кланович... Нех их вшисцы, дьябли везмо![4]

— А что ж? Мне кажется, они говорили правду.

— Да будь же ласков! взмилуйся, пан капитан! — вскричал отчаянным голосом хозяин. — Где будет жить ваша полковница? Во всем верхнем этаже отделаны только три комнаты, в которых я сам кое-как помещаюсь. Конечно, внизу покоев довольно, но я не знаю, можно ли будет и вам в них ночевать.

— А почему же нет?

— Эх, мось пане добродзею![5] То карабоска есть; дали бук, так! Я и сам, лишь только жене моей будет получше, перееду в Краков, и, уж верно, этот дом никогда не будет достроен.

— Но отчего же? — спросил я с невольным любопытством.

---

[1] Боже мой! *(пол.)*
[2] сейчас *(пол.)*.
[3] Благодарю за честь! *(пол.)*
[4] Чтоб их черти взяли! *(пол.)*
[5] милостивый государь *(пол.)*.

— О, пан капитан! вы человек военный, так, может статься, мне не поверите.

— Да что такое?

— Слыхали ли вы когда-нибудь о пане Твардовском?

— О пане Твардовском? — повторил я и только что хотел было сказать, что нет, как вспомнил, что читал однажды русскую сказку о храбром витязе Алеше Поповиче, где между прочим говорится и о польском колдуне пане Твардовском, с которым русский богатырь провозился целую ночь.— А, знаю, знаю! — сказал я.— Этого пана Твердовского, или Твардовского, утащили черти?

— Не только утащили,— прервал хозяин,— а даже протащили сквозь каменную стену, на которой, как рассказывают старики, долго еще после этого видны были кровавые пятна.

— Собаке собачья и смерть,— сказал я,— да что ж общего между вашим домом и этим проклятым колдуном?

— А вот что, мось пане добродзею, мой дом построен на самом том месте, где некогда стоял замок Твардовского.

— Неужели? — вскричал я, поглядев невольно вокруг себя.

— Дали бук, так! — продолжал хозяин,— а что всего хуже, так это то, что весь нижний этаж моего дома построен из развалин старого замка.

— Вот что,— прошептал я сквозь зубы,— да ведь, впрочем,— прибавил я,— это было уже давно?

— Конечно давно, пан капитан, да от этого мне не легче. Каждую пятницу около полуночи в нижнем этаже моего дома подымается такая возня, что стены трясутся...

— Каждую пятницу?

— Да. Говорят, что в этот самый день черти продернули пана Твардовского сквозь стену и утащили к себе в преисподнюю. Эта стукотня продолжается иногда целую ночь. Все окна осветятся, начнется ужасный вой, потом сделается опять темно, а там снова разольется по всему нижнему этажу такой свет, что можно снаружи видеть все, что делается внутри.

— А что ж там делается? — спросил я, стараясь казаться равнодушным.

— Однажды только,— отвечал хозяин,— мой прежний эконом решился заглянуть туда с надворья, да, видно, увидел такие страсти, что у него язык отнялся, а когда он стал опять говорить, так ничего нельзя было понять из его слов.

— Отчего же?

— Оттого что он был в жестокой горячке.

— Ну, а когда выздоровел?

— Да он не выздоровел, а на третий день умер.

— Вот что! — повторил я опять сквозь зубы, и что-то похожее на лихорадочную дрожь пробежало по моим членам. — Но ведь вы говорите, — промолвил я, промолчав несколько времени, — что это бывает только по пятницам.

— Так, мось пане добродзею! Да ведь сегодня пятница!

— В самом деле!.. И у вас в верхнем этаже нет ни одной свободной комнаты?

— Дали бук, нет! кроме спальни моей жены, этой гостиной, где живут ее резидентки, и столовой, где сплю я, нет ни одного жилого покоя. Но если, — прибавил с насмешливой улыбкой поляк, — пан капитан не боится...

Если я боюсь?.. боюсь!.. И это говорит польский пан русскому офицеру!.. Ух, батюшки! так меня варом и обдало! Мне, капитану Астраханского гренадерского полка, испугаться колдуна, и добро бы еще русского!.. Ах, черт возьми! Да если б сам сатана в польском кунтуше явился передо мною, так я и тогда бы скорее умер, чем на вершок от него попятился.

— Извините, пан Дубицкий, — сказал я, вставая, — я не боюсь ни пана Твардовского, ни пана черта, ни живых, ни мертвых и ночую сегодня в вашем нижнем этаже.

— Как угодно! по крайней мере, я вас предупредил, и если что-нибудь случится...

— Не беспокойтесь! и у меня, и у моего казака есть по паре пистолетов и по сабле, так живых мертвецов мы не боимся, а с нечистой силой справиться нетрудно. Не погневайтесь! Ведь мы не по-латыни читаем наши молитвы! Прикажите мне показать мою комнату.

— Зараз, пан! Да не угодно ли вам чего покушать?

— Благодарю! Я не ужинаю, а, если позволите, возьму с собою эту бутылку венгерского и разопью ее за упокой души вашего Твардовского, только не советую ему мешать мне спать: мы, русские, незваных гостей не любим.

Хозяин проводил меня до передней, в которой, к удивлению моему, я нашел казака в большом ладу с людьми Дубицкого: он потягивал с ними предружески горелку и, судя по двум полуштофам, из которых один уж был пуст, а в другом осталось вино только на донышке, нетрудно было догадаться, что они порядком угостили Ермилова; я еще более уверился в этом, когда он, вскочив со скамьи, начал хвататься за стену, чтоб не повалиться мне в ноги. «Ну, плохой же будет у меня товарищ!» — подумал я, но делать было нечего. Один слуга пошел вперед со свечой, а двое повели с лестницы казака, который, несмотря на мое присутствие, беспрестанно лобызался с своими провожатыми, благодаря их за дружбу и угощение.

Когда мы спустились с лестницы, слуга, который шел впереди, отпер огромным ключом толстые двери, и мы вошли в большую комнату со сводами. Я нехотя заметил, что провожатые мои робко посматривали во все стороны и с приметным беспокойством прислушивались к шелесту собственных шагов своих; он раздавался под сводами обширных комнат, сырых и мрачных, как церковные подземные склепы; недоставало только одних гробов, чтоб довершить это сходство. Мы вошли, наконец, в одну угольную комнату, которая более других походила на жилой покой. Множество фамильных портретов по стенам, дюжины две стульев, обитых черной кожею, канапе, кровать с шелковым пологом, большие стенные часы и дубовый стол, на который слуга поставил свечу, а я – бутылку венгерского, составляли все убранство моей опочивальни. Слуги, пожелав мне спокойной ночи, вышли вон.

— Не стыдно ли тебе, Ермилов,– сказал я казаку, который, прислонясь к стене, старался как можно бодрее стоять передо мною,– ну, выпил бы стакан-другой, а то посмотри, как натянулся!

— Никак нет, ваше благородие! – пробормотал казак,– прикажите, по одной дощечке пройду.

— Молчи, скотина!

— Слушаю, ваше благородие!

— Где мои пистолеты?

— В чушках, ваше благородие.

— И ты оставил их там, на конюшне?

— Ничего, ваше благородие! народ здесь честный, все будет цело.

— Подай мне свои!

Казак вынул из-за пояса свои пистолеты и, подавая мне, сказал:

— Да извольте осторожнее, они заряжены пулями. Знатные пистолеты! уж здешние люди ими любовались, любовались!..

— Хороши! пошел, ложись вон на это канапе! да постарайся выспаться проворнее, пьяница!

Казак, пробираясь вдоль стены, дотащился до канапе, прилег и в ту же минуту захрапел, а я взял свечу и прежде всего осмотрел двери моей комнаты: они запирались снаружи, а внутри не было ни крючка, ни задвижки. Это обстоятельство мне очень не понравилось, но делать было нечего. Притворив как можно плотнее двери, я взглянул мимоходом на почерневшие от времени портреты, которыми увешаны были все стены. Во всю жизнь мою я не видывал такого подбора зверских и отвратительных лиц. Бритые головы с хохлами, отвис-

лые подбородки, нахмуренные брови, усы, как у сибирских котов,— ну, словом, что портрет, то рожа, и одна другой отвратительнее. «Ай да красавцы,— подумал я.— Ну, если домовые, которые изволят здесь пошаливать, не красивее их, так признаюсь!..» Более всех поразил меня портрет какого-то святочного пугала с золотой цепью на шее, в черном балахоне и в высокой четырехсторонней шапке. Его сухое и бледное лицо, зачесанные книзу усы и выглядывающие из-под навислых бровей косые глаза были так безобразны, что я в жизнь мою ничего гаже не видывал. Внизу на золоченой раме было написано имя пана Твардовского. «Так вот он! — вскричал я невольно,— ну, хорош, голубчик! И он же приходит с того света живых людей пугать! Ах ты, чертова чучела! — примолвил я, плюнув на портрет,— да небойсь, меня не испугаешь, еретик проклятый!» Не знаю почему, но я не чувствовал в себе никакой робости, мне казалось, что в Польше и черти должны бояться русского офицера. А притом рассказ моего хозяина хотя и произвел на меня некоторое впечатление, но я знал, что поляки любят при случае отпустить красное словцо и сделать из мухи слона. «Впрочем,— подумал я, принимаясь за бутылку венгерского,— если и в самом деле нечистая сила проказит в этом доме, так что ж? Пошумят, пошумят, да тем дело и кончится. Хорошо демону шутить с еретиком, а ведь я православный!» Рассуждая таким образом, я скинул верхнее платье, положил подле себя саблю и пистолеты, сотворил молитву, перекрестился и, хлебнув еще токайского, улегся на постель. Свет от воскового огарка, который я не погасил, падал прямо на противоположную стену и хотя слабо, но вполне освещал несколько портретов. Несмотря на то что я вовсе не трусил, ожидание чего-то необыкновенного не давало мне сомкнуть глаз. По временам мне казалось, что все эти портреты как будто бы одушевлялись, что один моргал глазами, у другого шевелился ус, третий кивал мне головою; и хотя я понимал, что это происходило оттого, что у меня начало уже рябить в глазах, а, несмотря на это, заснуть не мог. На дворе бушевала погода, выл ветер, дождь лил как из ведра, но подле меня и по комнатам все было тихо и спокойно. «Уж не подшутил ли надо мною хозяин,— подумал я.— Чего доброго! Эти поляки любят позабавиться над нашим братом, русским офицером. Вестимо дело! когда сила не берет, так хоть чем-нибудь душу отвести. Чай, теперь думает: «Как не поспит всю ночь проклятый москаль, так мое венгерское-то выйдет ему соком!» Ан нет, брешешь, мось пане добродзею,— засну!» Я опустил закинутый полог и принялся думать о старине, о матушке-Москве белокаменной, о Пресненских прудах,

о красном домике с зелеными ставнями, о моей Авдотье Михайловне, с которою я был тогда помолвлен, о том о сем — и вот мало-помалу меня стало затуманивать, одолела дремота, и я заснул. В то самое время, как мне снилось, что я прогуливаюсь с моей невестою по Девичьему полю, как будто бы толкнули меня под бок — я проснулся. Ба, ба, ба! Что такое? Кажется, в соседнем покое светло? Отдернул полог, гляжу — точно!.. Не размышляя долго, я вскочил с постели, взял в руку пистолет и, подойдя на цыпочках к дверям, растворил одну половинку. Ну, это еще не очень страшно: посреди комнаты стоит большой стол, на столе огромное блюдо, накрытое чем-то белым, а кругом тридцать стульев. «Посмотрим,— подумал я,— кто это здесь собрался ужинать?» Не прошло пяти минут, как вдруг вдали, как будто бы за версту, послышалось заунывное пение. Вот ближе, ближе — эге! да это никак поют за упокой: напев точно погребальный, только слов не слышно. Чу! все замолкло — и вот опять, да уж близехонько, как заревут!.. Господи боже мой! Кто в лес, кто по дрова! И вопят как над могилою, и насвистывают плясовые песни — а содом-то какой! Шум, гам!.. Вдруг двери в комнату, в которой стоял накрытый стол, как будто бы от сильного вихря распахнулись настежь, и полезли в них... да все-то в саванах и в белых колпаках с наличниками, ну ни дать ни взять как висельники! Они входили попарно, а позади всех четверо таких же пугал несли на носилках мертвеца; и лишь только эти последние перешагнули через порог, как вдруг все опять завыли, а мертвец приподнялся и сбросил с себя белую пелену, которой был покрыт. Глядь! — точь-в-точь как этот портрет в черном платье: в такой же четырехсторонней шапке, на шее золотая цепь, лицо бледное, усы по две четверти. Ахти! так и есть!.. Это колдун — пан Твардовский!.. Ну, господа, что греха таить! — дрогнуло во мне ретивое! Меж тем вся эта сволочь разместилась по комнате: одни стали рядышком вдоль стены, другие уселись за столом, сам мертвец расположился на первом месте, только против него один стул остался порожний; и вот, гляжу, колдун манит меня пальцем. «Что делать? — подумал я,— идти — худо, не идти — стыдно, неравно еще эти польские черти подумают, что я их трушу! так и быть! смелым бог владеет — пойду!»

Не выпуская из рук пистолета, я подошел к столу: колдун указал мне молча на порожний стул. «Вот что! так, видно, я был в счету! Добро, добро! Посмотрим, что будет». Я сел. Хотя от времени до времени меня подирал мороз по коже, но я все еще не терял духа; к тому ж все эти святочные пугала

сидели и стояли очень смирно; можно было услышать, как муха пролетит, и даже сам колдун, выпучив свои оловянные глаза, сидел так чинно и неподвижно, как набитая чучела. Прошло минут десять, все тихо: черти молчат, колдун таращит глаза, а я посматриваю на всю честную компанию и жду, чем дело кончится. Вот стенные часы в моей спальне зашипели, с треском завертелись колеса, и колокольчик зазвенел: раз, два, три... Чу! полночь. Еще двенадцатый звонок не отгудел, как вдруг колдун зашевелил усами и кивнул головой; один из его собеседников встал, протянул длинную костяную руку, скорчил свои крючковатые пальцы и, ухватив за самую середину белую ширинку, которою покрыто было блюдо, поднял ее кверху... Ух, батюшки! — и теперь не могу без страха вспомнить. Гляжу: на блюде лежит человеческая голова — да еще какая!.. Ах ты господи боже мой!.. Раздутые щеки, нос — два мои кулака, рот до ушей, глаза по ложке... Ну!!! Екнуло во мне сердечко. Эко блюдо изготовили! «Ешь!» — заревел охриплым голосом колдун. «Ешь!» — повторила хором вся нечистая сила. Ой, ой, ой! Плохо дело! Хочу встать — ноги подгибаются; хочу творить молитву — язык не шевелится. А черти и колдун вот так и пялят на меня глазами! Наконец я кое-как промолвил: «Чур меня, чур! да воскреснет бог!» И что ж! голова зашевелилась, начала дразнить меня языком и защелкала зубами. Ахти! и молитва не берет! худо! Не помню сам, как мне пришло в голову, от страху, что ль, только я поднял руку с пистолетом, почти упер в эту чертову башку, взвел курок... бац!.. Не тут-то было!.. Все черти захохотали, а голова раскрыла огромную пасть и, словно из бочки, как грянет басом польскую мазурку. Ну!.. Руки у меня опустились, в глазах запестрело, все вокруг пошло ходуном, в углах поднялся звон, стол запрыгал, черти завертелись как волчки, и я упал без памяти на пол.

Не знаю, долго ли я пролежал без чувств, но как очнулся, так еще было темно. На дворе ревела гроза, но в комнатах опять все затихло. Стола нет, свечей также, только в спальне чуть-чуть теплился догорающий огарок. Не скоро я образумился; да уж зато лишь только вспомнил, что со мною было, то откуда прыть взялась: мигом оделся, растолкал Ермилова, потащил его за собою в конюшню, разбудил панских конюхов и через полчаса ехал уж опять по лесу. К свету мы добрались до лагеря, и, явясь к моему полковнику, я так его перепугал, что он тот же час послал за полковым лекарем: на мне лица не было! Мартын Адамыч пощупал мой пульс, объ-

явил, что у меня жестокая горячка, прописал лекарство; я его не принял, проспал целые сутки и через два дня отправился опять искать дачи для нашей полковницы.

— И с тех пор вы никогда не встречались с паном Дубицким? — спросил Заруцкий.

— Нет, Алексей Михалыч, а слышал только, что у него на даче, перед самым концом кампании, захватили целую компанию конфедератов и что после небольшой драки этих господ с одним из наших летучих отрядов казаки, взяв хозяина и многих из его товарищей в плен, сожгли и разорили до основания Бьялый Фолварк.

— Так вы думаете, Антон Федорович,— прервал с улыбкою Черемухин,— уж верно, в числе этих пленных конфедератов было несколько бесов, а может быть, и сам колдун Твардовский попался в руки к казакам?

— Вот уж этого, батюшка, не знаю! — отвечал хладнокровно Кольчугин, набивая свою трубку.

— То есть, Прохор Кондратьич,— сказал хозяин,— ты хочешь намекнуть, что эту ночную комедию сыграли с нашим приятелем пан Дубицкий и его гости для того, чтобы отделаться от постоя,— не правда ли?

— Что вы, что вы! — вскричал Черемухин,— да это мне и в голову не приходило. Уж я вам докладывал, что я всему на свете верю. Если б это проказили поляки, так голова бы не запела басом, когда в нее выстрелил Антон Федорович из пистолета. Правда, у пьяного казака не трудно было разрядить пистолеты; но ведь одна догадка не доказательство, и, по-моему, всего вернее, что тут замешалась нечистая сила.

— Ты забавляешься, любезный,— прервал Заруцкий,— а я так скажу вам, почтенный Антон Федорович, без всяких обиняков, что вас одурачили поляки: им нужно было как-нибудь избавиться от постоя. А чтоб одеться в маскерадные платья, просунуть голову сквозь прорезанные стол и блюдо и разрядить пистолеты пьяного казака, так — воля ваша — на это не много надобно хитрости. Знаете ли что? я, на вашем месте, сам бы порядком над ними позабавился. Вам стоило только притвориться, что вы хотите отведать блюда, которым вас потчуют, и если б вы одной рукой схватили за нос эту жареную голову, а в другую взяли бы столовый нож, так я вас уверяю, она не запела бы басом мазурку, а разве протанцевала бы ее на своем блюде. Эх, Антон Федорович! так ли еще обманывают честных людей, когда это надобно. Вот и со мною был однажды случай, который хоть кого бы свел с ума...

— С тобою,— прервал с любопытством хозяин,— когда это?

— Лет семь тому назад, когда я носил еще гусарский мундир и был с моим полком в Италии.

— С Суворовым?

— Да, дядюшка. Если хотите, я расскажу вам об этом. Слушайте!

Белое привидение

— В сражении при Нови, где русские и французские войска под начальством Суворова разбили наголову французов, я находился с моим эскадроном при отряде, которым командовал любимец Суворова, генерал Милорадович. В ту самую минуту, как он повел вперед свою колонну, чтоб атаковать центр неприятельской армии, убило подо мною ядром лошадь, и я получил такую сильную контузию, что несколько часов сряду пролежал без памяти. После сражения меня отправили сначала в небольшой городок Акви, а потом перевезли в Турин, где я пролежал более двух недель в постели. Я довольно хорошо говорю по-итальянски и мог изредка беседовать с моим хозяином, но, несмотря на это, умирал от скуки и тоски. Когда мне сделалось легче и я стал прохаживаться по моей комнате, то мне посоветовали лечиться за городом. Это было в конце августа месяца, жары стояли несносные, и я сам чувствовал, что свежий деревенский воздух необходим для восстановления моего здоровья. Австрийский комендант отвел мне прекрасную квартиру верстах в десяти от города, на даче сеньора Леонардо Фразелани, богатого туринского купца. Я послал туда передовым моего денщика с квартирным билетом, а сам на другой день ранехонько поутру отправился в наемной карете и, остановясь на минуту полюбоваться великолепной площадью Св. Карла, выехал через предместье Борго-ди-По за город.

Я никогда не бывал в южной Италии, но если в ней климат и природа лучше, чем в Пиемонте, так уж подлинно можно ее назвать земным раем и цветником всей Европы. Трудно и живописцу дать нам ясное понятие об этой яркой зелени полей, усыпанных благовонными цветами, об этих темно-синих и в то же время прозрачных небесах Италии, так мне нечего и говорить с вами об этом. Вы, дядюшка, бывали на Кавказе и в Крыму, следовательно, лучше другого поймете, с каким восторгом смотрел я на это безоблачное южное небо и цветущие окрестности города, усеянные рощами шелковичных деревьев. Мы, дети севера, воспитанные среди обширных полей и дремучих лесов нашей родины, привыкли с ребячества любить раздолье и простор; так вы можете себе представить, как

я обрадовался, когда выехал за город и мог свободно дышать этим животворным деревенским воздухом, напитанным ароматами цветов. Я не успел отъехать двух верст от заставы, как почувствовал в себе такую перемену, что готов был хоть сейчас на коня, саблю вон и в атаку. Мне было так легко, так весело... О! без всякого сомнения, противоположности необходимы для нашего земного счастия! Если бы я не просидел несколько недель в тесной комнате, в которой, как в аптеке, все пропахло лекарством, если б мрачный и узкий переулок, в который никогда не заглядывало солнышко, не был единственным видом, коим я любовался из моих окон, то вряд ли бы в жизни моей нашлось несколько часов сряду совершенного, не отравленного ничем благополучия. Миновав потешный дворец, называемый *Королевским виноградником,* я выпрыгнул из кареты и пошел пешком. Мой жадный взор обегал свободно и унизанные загородными домами холмистые берега реки По, и обширную равнину, которая оканчивалась к северу высокими Пиемонтскими горами. Вблизи, с правой стороны, на Капуцинской горе возвышалась готическая церковь монастыря; позади, еще выше, сквозь темную зелень оливковых деревьев белелись зубчатые стены Камальдульской пустыни, а прямо передо мною, вдали, прорезывая утренний туман, плавал как на облаках огромный купол *Сюперги* — сей знаменитой соперницы колоссального Петра и Павла в Риме. С каждым шагом вперед горизонт расширялся, и я, очарованный живописными видами, которые следовали беспрерывно один за другим, не заметил, как прошел верст пять перед моей каретой: она тащилась за мной шагом по большой дороге. «Э, гей! синьор официале, синьор официале! — закричал мой кучер. — Маледетто![1] синьор официале!» Я обернулся: карета стояла у самого въезда в тенистую аллею из пирамидальных тополей, шагах в двухстах от большой дороги, она примыкала к густой каштановой роще. Я воротился и, продолжая идти пешком впереди моей кареты, в несколько минут достиг до рощи и потом прямой просекою вышел опять на открытое место, которого сельский и спокойный вид так мне понравился, что я остановился на минутку им полюбоваться. Представьте себе широкую долину, посреди которой змеилась излучистая речка, огибая в своем течении несколько высоких холмов, поросших сплошным кустарником; она вливалась в светлое озеро с покатыми берегами, которые без всякого преувеличения можно было назвать персидскими коврами, так они были испещрены бесчисленным множеством самых

---

[1] Проклятие! *(ит.)*

ярких и разнообразных цветов! Прямо против каштановой рощи, из которой я вышел, на самом берегу озера, проглядывал сквозь померанцевых деревьев и густых кустов благовонной акации одноэтажный дом с плоскою кровлею и красивым портиком; гибкие виноградные лозы обвивались около колонн, которые поддерживали мраморный фронтон, и на всех окнах стояли фарфоровые вазы с цветами. Позади дома, во всю ширину двора, тянулся длинный флигель с широкими итальянскими окнами. Лицевой его фасад был обращен на двор, а противоположная сторона выходила в сад, который окружал с трех сторон и дом, и все принадлежащие к нему строения. От самой каштановой рощи начинался обширный луг, по которому извивалась речка, впадающая в озеро. Пять-шесть крестьянских изб, разбросанных в живописном беспорядке, красивая мельница на ручье, несколько коров и резвых коз, рассыпанных по лугу, и миловидная девушка, которая, зачерпнув воды, несла ее на ту пору в глиняном кувшине на своей голове, оживляли эту сельскую, исполненную прелести картину. «Да это настоящая идиллия в лицах! — вскричал я, невольно посмотрев вокруг себя. — Жаль только, что недостает пастуха и пастушки. Ага! Да вон и они!» — продолжал я, увидев под одним кустом молодого человека, который сидел на траве рядом с девушкой лет шестнадцати. Они оба были одеты просто, по-деревенскому, но отменно щеголевато; и если бы соломенная шляпка, в которой была девушка, попалась в Москву на Кузнецкий мост, так уверяю вас, она недолго бы залежалась в модном магазине. Молодой человек был недурен собою, а его подруга... О, такое миловидное, выразительное лицо, такие черные, пламенные глаза можно только встретить в одной Италии! «Позвольте спросить, — сказал я, подойдя к этим нежным голубкам, которые о чем-то вполголоса ворковали меж собою, — ведь это дача синьора Фразелини?» Девушка вскрикнула, ударилась бежать, и, прежде чем я успел окончить мой вопрос, ее и след простыл. Молодой человек также смутился, но отвечал очень вежливо: «Точно так, синьор официале! это поместье принадлежит Леонарду Фразелини, если угодно, я вас провожу до дому». Я пошел вслед за ним по берегу речки, а карета поехала по дороге, которая шла прямо через луг на широкую плотину, устроенную повыше мельницы. Когда мы перешли через ручей по красивому китайскому мостику, я спросил молодого человека, не сын ли он помещика?

— Извините, синьор официале! — отвечал он, — я Корнелио Аничети, родной его племянник.

— А красавица, с которой вы сидели под кустом, верно, сестра ваша?

Смуглые щеки Корнелио вспыхнули.

— Нет! — сказал он отрывисто.— Это камериора моей тетки.

— Неужели? Она так хорошо одета, что я подумал... А как зовут эту прекрасную служаночку?

— Челестиною.

— Она очень мила.

Корнелио посмотрел на меня пристально, и признаюсь, для моего самолюбия приятно было заметить, что этот инспекторский смотр не очень его успокоил.

— Да! — сказал он наконец,— это правда, Челестина мила, но она очень дика и, сверх того, извините, синьор официале, терпеть не может иностранцев. Но вот и дядюшка идет к нам навстречу,— прибавил он, указывая на человека пожилых лет с приятной и почтенной наружностию.

Хозяин принял и обласкал меня как родного, а жена его, синьора Аурелия, долго не могла опомниться от удивления при виде варвара русского, который отпустил ей с полдюжины комплиментов на самом чистом тосканском наречии. В продолжение всего дня я не видел никого, кроме моих хозяев, их племянника, проворного слуги Убальдо и безобразной старухи, которую называли Петронеллою. Под вечер, когда мы все сидели на дворе, появилась наконец Челестина. Она уселась смирехонько в одном углу, на низенькой скамейке, и так занялась каким-то рукодельем, что я не мог даже полюбоваться ее черными глазами — она ни разу не подняла их кверху. Разговаривая со мною, синьора Аурелия сказала между прочим, что она не знает, понравится ли мне приготовленная для меня комната.

— Вам надобен покой,— говорила она,— а ваша горница рядом с нашей спальнею; мы встаем очень рано и можем вас потревожить.

— О, что касается до меня,— отвечал я,— обо мне не хлопочите! Я боюсь только, чтоб мне вас не беспокоить. Да нет ли в этом флигеле лишней комнаты? — продолжал я, указывая на длинное строение с италиянскими окнами.

— В нем все комнаты свободны,— сказал хозяин,— да он и выстроен для моих гостей; но с некоторого времени...— Тут синьор Фразелини остановился и, взглянув значительно на жену свою, замолчал.

— С некоторого времени? — прервал я.— А что такое?..

— В нем никто не живет.

— А для чего?

— Да как бы вам сказать? ведь вы, господа военные, ничему не верите. В этом флигеле поселились нечистые духи.

Я засмеялся.

— Смейтесь, синьор официале, смейтесь! А это точно так же правда, как то, что я имею честь говорить с вами об этом. Месяца два тому назад заметили, что во флигеле бывает по ночам какой-то странный шум и раздаются жалобные стоны; но это бы еще ничего: почти каждую ночь, часу в двенадцатом, иногда ранее, иногда позднее, по всему флигелю ходит высокое белое привидение с фонарем в руках. Я сам несколько раз видел — вот из этой комнаты,— как оно прогуливается взад и вперед мимо всех окон.

— И вам ни разу не приходило в голову,— прервал я,— что это проказит какой-нибудь шалун?

— Как не приходить; но тут есть одно обстоятельство, которое разрушает все мои догадки. Надобно вам сказать, что комнаты в этом флигеле расположены точно так же, как кельи в монастыре. Во всю его длину устроен длинный коридор, из которого десятью дверьми входят в столько же особых комнат, отделенных одна от другой капитальными стенами, и, чтоб перейти из одной комнаты в другую, необходимо надобно выйти прежде в коридор. Вы завтра можете во всем этом увериться сами. Теперь прошу вас растолковать мне, каким образом обыкновенный человек, а не дух или привидение, будет расхаживать во всю длину флигеля мимо окон, не останавливаясь ни на минуту, идя ровным шагом; словом, прогуливаясь свободно взад и вперед, как по одной длинной галерее, в которой нет никаких перегородок? Тут, кажется, долго рассуждать нечего: или между комнат есть прямое сообщение, или никакие преграды для него не существуют, и он проходит сквозь капитальную стену точно так, как мы в растворенные двери. Никаких сообщений и дверей между комнат нет; в этом, повторяю еще раз, вы сами можете завтра увериться: следовательно, этот ночной посетитель не проказник, не шалун, а просто или нечистый дух, или неотпетый мертвец, или, что всего вернее, какая-нибудь христианская душа, которая страдает в чистилище и нуждается в наших молитвах. Здесь все уверены, что это душа бедного Паоло, бывшего моего садовника, который прошлую зиму удавился в этом флигеле. Сначала нас очень это тревожило, но теперь мы уже привыкли; впрочем, до сих пор, кроме племянника, никто не вызывался переночевать в этом флигеле. Правда, и ему это даром не прошло: привидение точно так же, как и всегда, прогуливалось по комнатам, а он до того напугался, что всю ночь пролежал без памяти.

В продолжение сего рассказа я заметил две вещи: во-первых, то, что племянник хозяина вспыхнул, когда речь дошла до него, а во-вторых, что хотя синьор Фразелини и синьора Аурелия твердо были уверены, что в их флигеле поселились жители не нашего мира, но что, несмотря на это, в одной с нами комнате кроме меня были еще люди, которые не очень этому верили. Я сидел против большого зеркала; в нем отражалось все, что было у меня за спиной, то есть и вся противоположная стена, и двери, подле которых стоял слуга Убальдо, и уголок, в котором сидела красавица Челестина. Раза два я подметил, что их взгляды встречались меж собою и что следствием этой встречи была всегда какая-то значительная улыбка, которую разгадать было вовсе не трудно. «Ну! — подумал я, — побьюсь об заклад, что эта плутовка Челестина знает лучше своих господ, как мертвецы проходят сквозь капитальные стены». Поговорив еще несколько времени об этом странном случае, я простился с моими хозяевами и отправился в мою комнату. От перемены места или от чего другого, только мне вовсе не спалось. Из комнаты моей можно было видеть весь флигель. Вот этак немного за полночь одно окно во флигеле осветилось; я вскочил с постели и, точно, видел своими глазами, что какое-то привидение в белом саване с фонарем в руках прошло раза три вдоль всего флигеля мимо самых окон и не останавливаясь ни на одну минуту. Что это был обман — я не сомневался; что причины этого обмана были самые земные — и в этом я был также уверен; но как это происходило и в чем состоял сей оптический обман — вот уж этого я не мог никак постигнуть. Я думал, думал, и если привидение не напугало меня, то все-таки по милости его я не мог заснуть во всю ночь. Не видя никакой пользы вертеться с боку на бок, я с первым светом встал с постели, оделся и пошел гулять по саду. Утренняя заря начинала только заниматься; все спали в доме, кроме вашего покорного слуги и какой-то ранней пташечки, которая пропорхнула мимо меня в ту самую минуту, как я стал подходить к садовой стороне флигеля. «Ага! — подумал я, — вот что! Если б в этих комнатах не поселились нечистые духи, так жили бы люди, — понимаю! Ну, господин Корнелио, порядком же вы морочите вашего дядюшку!»

Весь этот день провел я по-прежнему с моими дорогими хозяевами: думал о моей утренней встрече, о белом привидении и наконец как будто бы попал на истинный путь. Мне оставалось увериться, справедливы ли мои догадки, и в то же время, не делая вреда никому, избавить, если можно, моего гостеприимного хозяина от этих ночных посещений. После ужина я заперся в свою комнату и часу в двенадцатом ночи,

обернувшись с головы до ног в белую простыню, прокрался потихоньку в сад и подошел к флигелю. Представление уже началось; хотя я зашел не с той стороны, но отгадал это потому, что двери были отперты и что на дворе полусонный сторож начал громким голосом творить молитву. Я потихоньку взобрался на лестницу и спрятался в темном углу в коридоре. Через минуту все догадки мои оправдались. «Постойте же, господа артисты! — сказал я про себя, — вас надобно так пугнуть, чтоб вам и в голову не пришло играть в другой раз эту комедию». В коридоре стоял деревянный стул; я взмостился на него, опустил вплоть до полу мою простыню и заохал таким нечеловеческим образом, что почти сам испугался. Вдруг из двух комнат выскочили два белых привидения... О, ужас! точно такое же третье привидение, только гораздо огромнее, стоит перед ними неподвижно, испуская тяжкие, могильные стоны. «Кто ты?» — раздался трепещущий и весьма знакомый мне голос. «Молитесь за меня! — проговорил я протяжно, — я самоубийца, я грешник Паоло!» Батюшки мои, как бросились от меня эти два несчастных привидения! Они кубарем скатились с лестницы, растеряли свои белые мантии, и я вовсе не удивился, когда хозяин сказал мне на другой день, что слуга его Убальдо и племянник Корнелио занемогли оба ночью и лежат в постели. Я перешел во флигель, прожил в нем преспокойно два месяца, и уверяю вас, дядюшка, что во все это время белое привидение ни разу не приходило ко мне в гости.

— Ну, брат, молодец же ты! — сказал Иван Алексеевич. — Только, воля твоя, я все порядком в толк не возьму... Ты говоришь, что их было двое... так что ж?..

— А вот что, дядюшка. Они оба были одеты одинаким образом и оба с потайными фонарями. Когда один из них, начав идти вдоль первой комнаты, доходил до стены, которая отделяла его от второго покоя, то в ту же минуту прятал огонь и, ударив кулаком в стену, выбегал в коридор; потом, войдя в третью комнату, прижимался к стене. Второе привидение, услышав сигнал, открывало свой фонарь и начинало идти мимо окон до самой стены третьего покоя, из которого продолжало эту прогулку опять первое привидение, и так далее, до конца флигеля. Все это было у них так улажено, что всякий подумал бы, что мимо окон проходит одна и та же фигура, и со двора решительно невозможно было заметить этого обмана.

— Ну, хитро придумано!.. Что и говорить, на свете много обману! Конечно, как иногда не посомниться, не поразмыс-

лить — у каждого свой царь в голове, но не верить ничему и во всем сомневаться...

— Видит бог, грешно! — прервал Кольчугин, раскрыв снова свои молчаливые уста. — Покойный мой батюшка, дай бог ему царство небесное, вздумал также однажды поумничать, да так-то невпопад, что после дал зарок ни в чем не сомневаться и всему на свете верить.

— А что такое с ним сделалось? — спросил хозяин.

— Да так, батюшка, был случай такой! Он не один раз мне сам изволил об этом рассказывать.

— А ты, любезный, расскажи нам.

— Рассказать не фигура, только дело-то такое курьезное, что, того и гляди, эти господа на зубки меня подымут, — промолвил Кольчугин, указывая на Зарецкого и Черемухина. — Да, пожалуй, чего доброго, и покойнику батюшке достанется.

— И, сударь, — прервал я, подвигаясь к Кольчугину, — какое вам до них дело! Рассказывайте.

— Да, да! — подхватил хозяин. — Что тебе на них смотреть! рассказывай!

— Ну, если вам угодно, так слушайте!

Нежданные гости

— Отец мой был человек старого века, — начал так Антон Федорович Кольчугин, — хотя, благодаря, во-первых, бога, а во-вторых, родителей, достаток у него был дворянский, и он мог бы жить не хуже своих соседей, то есть выстроить хоромы саженях на пятнадцати, завести псовую охоту, роговую музыку, оранжереи и всякие другие барские затеи; но он во всю жизнь свою ни разу и не подумал об этом, жил себе в маленьком домике, держал не больше десяти слуг, охотился иногда с ястребами, и под веселый час так-то, бывало, тешится, слушая Ваньку-гуслиста, который, не тем будь помянут, попивал, а лихо, разбойник, играл на гуслях; бывало, как хватит «Заря утрення взошла» или «На бережку у ставка», так заслушаешься! Но если батюшка мой не щеголял ни домом, ни услугою, то зато крепко держался пословицы: «Не красна изба углами, а красна пирогами». И в старину, чай, такие хлебосолы бывали в диковинку! Дом покойного батюшки выстроен был на самой большой дороге; вот если кто-нибудь днем или вечером остановится кормить на селе, то и бегут ему сказать; и коли проезжие, хоть мало-мальски не совсем простые люди, дворяне, купцы или даже мещане, так милости просим на барский двор; закобенились — так околицу на запор, и хоть себе голо-

сом вой, а ни на одном дворе ни клока сена, ни зерна овса не продадут. Что и говорить, любил пображничать покойник! Бывало, как залучит себе гостей, так пойдет такая попойка, что лишь только держись: море разливанное, чего хочешь, того просишь. Всяких чужеземных напитков сортов до десяти в подвале не переводилось, а уж об наливках и говорить нечего!

Однажды зимою, ровно через шесть месяцев после кончины моей матушки, сидел он один-одинехонек в своем любимом покое с лежанкою. Меня с ним не было: я уж третий год был на службе царской и дрался в то время со шведами. Дело шло к ночи; на дворе была метелица, холод страшный, и часу в десятом так захолодило, что от мороза все стены в доме трещали. В такую погоду гостей не дождешься. Что делать? Покойный батюшка, чтоб провести время до ужина,— а он никогда не изволил ужинать прежде одиннадцатого часу,— принялся за Четьи-Минеи. Развернул наудачу — и попал на житие преподобного Исакия, затворника печерского. Когда он дошел до того места, где сказано, что бесы, явившись к святому угоднику под видом ангелов, обманули его и, восклицая «Наш еси, Исакий!», заставили его насильно плясать вместе с собою, то покойный батюшка почувствовал в душе своей сомнение, соблазнился и, закрыв книгу, начал умствовать и рассуждать с самим собою. Но чем более он думал, тем более казалось ему невероподобным таковое попущение божие. Вот в самое-то его раздумье нашла на него дремота, глаза стали слипаться, голова отяжелела, и он мне сказывал, что не помнит сам, как прилег на канапе и заснул крепким сном. Вдруг в ушах у него что-то зазвенело, он очнулся, слышит — бьют часы в его спальне ровно десять часов. Лишь только он было приподнялся, чтоб велеть подавать себе ужинать, как вошел в комнату любимый его слуга Андрей и поставил на стол две зажженные свечи.

— Что ты, братец? — спросил батюшка.

— Пришел, сударь, доложить вам,— отвечал слуга,— что на селе остановились приказный из города да казаки, которые едут с Дону.

— Ну так что ж? — прервал батюшка.— Беги скорей на село, проси их ко мне да не слушай никаких отговорок.

— Я уж их звал, сударь, и они сейчас будут,— пробормотал сквозь зубы Андрей.

— Так скажи, чтоб прибавили что-нибудь к ужину,— продолжал батюшка,— и вели принесть из подвала штоф запеканки, две бутылки вишневки, две рябиновки и полдюжины виноградного. Ступай!

Слуга отправился. Минут через пять вошли в комнату три казака и один пожилой человек в долгополом сюртуке.

— Милости просим, дорогие гости! — сказал батюшка, идя к ним навстречу. Зная, что набожные казаки всегда помолятся прежде святым иконам, а потом уж кланяются хозяину, он промолвил, указывая на образ Спасителя, который трудно было рассмотреть в темном углу: «Вот здесь!» Но, к удивлению его, казаки не только не перекрестились, но даже и не поглядели на образ. Приказный сделал то же самое. «Не фигура,— подумал батюшка,— что это крапивное семя не знает бога, но ведь казаки — народ благочестивый!.. Видно, они с дороги-то вовсе ошалели!» Меж тем нежданные гости раскланялись с хозяином, казаки очень вежливо поблагодарили его за гостеприимство, а приказный, сгибаясь перед ним в кольцо, отпустил такую рацею, что покойный батюшка хотя был человек речистый и за словом в карман не ходил, а вовсе стал в тупик и, вместо ответа на его кудрявое приветствие, закричал: «Гей, малый! Запеканки!»

Вошел опять Андрей, поставил на стол тарелку закуски, штоф водки и дедовские серебряные чары по доброму стакану.

— Ну-ка, любезные! — сказал батюшка, наливая их вровень с краями,— поотогрейте свои душеньки, чай, вы порядком надроглись. Прошу покорно!

Гости чин-чином поклонились хозяину, выпили по чарке и, не дожидаясь вторичного приглашения, хватили по другой, хлебнули по третьей — глядь-поглядь, ан в штофе хоть прогуливайся — ни капельки! «Ай да питу́хи! — подумал батюшка.— Ну!!! нечего сказать, молодцы! Да и рожи-то у них какие!» В самом деле, нельзя было назвать этих нечаянных гостей красавцами. У одного казака голова была больше туловища; у другого толстое брюхо почти волочилось по земле; у третьего глаза были зеленые, а нос крючком, как у филина, и у всех волосы рыжие, а щеки — как раскаленные кирпичи, когда их обжигают на заводе. Но всех курьезнее показался ему приказный в долгополом сюртуке: такой исковерканной и срамной рожи он сродясь не видывал! Его лысая и круглая, как бильярдный шар, голова втиснута была промежду двух узких плеч, из которых одно было выше другого; широкий подбородок, как набитый пухом ошейник, обхватывал нижнюю часть его лица; давно небритая борода торчала щетиною вокруг синеватых губ, которые чуть-чуть не сходились на затылке; толстый, вздернутый кверху нос был так красен, что в потемках можно было принять его за головню; а маленькие прищуренные глаза верте́лись и сверкали, как глаза дикой кошки, когда она подкра́дывается ночью к какому-нибудь

зверьку или к сонной пташечке. Он беспрестанно ухмылялся. «Но эта улыбка,— говаривал не раз покойный мой батюшка,— ни дать ни взять походила на то, как собака оскаливает зубы, когда увидит чужого или захочет у другой собаки отнять кость».

Вот, как гости, опорожнив штоф запеканки, остались без дела, то батюшка, желая занять их чем-нибудь до ужина, начал с ними разговаривать.

— Ну, что, приятели,— спросил он казаков,— что у вас на Дону поделывается?

— Да ничего!— отвечал казак с толстым брюхом,— все по-прежнему: пьем, гуляем, веселимся, песенки попеваем...

— Попевайте, любезные,— продолжал батюшка,— попевайте, только бога не забывайте!

Казаки захохотали, а приказный оскалил зубы, как голодный волк, и сказал:

— Что об этом говорить, сударь! Ведь это круговая порука: мы его не помним, так пускай и он нас забудет; было бы винцо да денежки, а все остальное трын-трава!

Батюшка нахмурился: он любил пожить, попить, бражничать, но был человек благочестивый и бога помнил. Помолчав несколько времени, батюшка спросил подьячего, из какого он суда.

— Из уголовной палаты, сударь,— отвечал с низким поклоном приказный.

— Ну что поделывает ваш председатель?— продолжал батюшка.

А надобно вам сказать, господа, что этот председатель уголовной палаты был сущий разбойник.

— Что поделывает?— продолжал приказный.— Да то же, что и прежде, сударь, служит верой и правдою...

— Да, да! Верой и правдою!— подхватили в один голос все казаки.

— А разве вы его знаете?— спросил батюшка.

— Как же!— отвечал казак с совиным носом,— мы все его приятели и ждем не дождемся радости, когда его высокородие к нам в гости пожалует.

— Да разве он хотел у вас побывать?

— И не хочет, да будет,— прервал казак с большой головою.— Не так ли, товарищи?

Все гости опять засмеялись, а подьячий, прищурив свои кошачьи глаза, прибавил с лукавой усмешкой:

— Конечно, приехать-то приедет, а нечего сказать, тяжел на подъем! Месяц тому назад совсем было уж в повозку садился, да раздумал.

— Как так? — вскричал батюшка.— Да месяц тому назад он при смерти был болен.

— Вот то-то и есть, сударь! По этому-то самому резонту он было совсем и собрался в дорогу.

— А, понимаю! — прервал батюшка.— Верно, доктора советовали ему ехать туда, где потеплее?

— Разумеется! — подхватили с громким хохотом казаки,— ведь у нас за теплом дело не станет: грейся сколько хочешь.

Этот беспрестанный и беспутный хохот гостей, их отвратительные хари, а пуще всего двусмысленные речи, в которых было что-то нечистое и лукавое, весьма не понравились батюшке, но делать было нечего: зазвал гостей, так угощай! Желая как можно скорее отвязаться от таких собеседников, он закричал, чтоб подавали ужинать. Не прошло получаса, как стол уже был накрыт, кушанье поставлено и бутылки с наливкою и виноградным вином внесены в комнату, а все хлопотал и суетился один Андрей. Несколько раз батюшка хотел спросить его, куда подевались другие люди, но всякий раз, как нарочно, кто-нибудь из гостей развлекал его своими разговорами, которые час от часу становились забавнее. Казаки рассказывали ему про свое удальство и молодечество, а приказный — про плутни своих товарищей и казусные дела уголовной палаты. Мало-помалу они успели так занять батюшку, что он, садясь с ними за стол, позабыл даже помолиться богу. За ужином батюшка ничего не кушал; но, не желая отставать от гостей, он выпил четыре бутылки вина и две бутылки наливки — это еще не диковинка: покойный мой батюшка пить был здоров и от полдюжины бутылок не свалился бы со стула! Да только вот что было чудно: казалось, гости пили вдвое против него, а из приготовленных шести бутылок вина и четырех наливки только шесть стояло пустых на столе, то есть именно то самое число бутылок, которое выпил один покойник батюшка; он видел, что гости наливали себе полные стаканы, а бутылка всегда доходила до него почти непочатая. Кажется, было чему подивиться, и он, точно, этому удивлялся — только на другой день, а за ужином все это казалось ему весьма обыкновенным. Я уж вам докладывал, что мой батюшка здоров был пить, но четыре бутылки сантуринского и почти штоф крепкой наливки хоть кого подрумянят. Вот к концу ужина он так распотешился, что даже безобразные лица гостей стали казаться ему миловидными, и он раза два принимался обнимать приказного и перецеловал всех казаков. Час от часу речи их становились беспутнее и наглее: они рассказывали про разные любовные похождения, подшучивали над духовными людьми и даже — страшно вымолвить! — забыв, что

они сидят за столом, как сущие еретики и богоотступники, принялись попевать срамные песни и приплясывать, сидя на своих стульях. Во всякое другое время батюшка не потерпел бы такого бесчинства в своем доме, а тут, словно обмороченный, начал сам им подлаживать, затянул: «Удалая голова, не ходи мимо сада» — и вошел в такой задор, что хоть сейчас вприсядку. Меж тем казаки, наскучив орать во все горло, принялись делать разные штуки: один заговорил брюхом, другой проглотил большое блюдо с хлебенным, третий ухватил себя за нос, сорвал голову с плеч и начал ею играть, как мячиком. Что ж вы думаете, батюшка испугался? Нет! все это казалось ему очень забавным, и он так и валялся со смеху.

— Эге! — вскричал подьячий, — да вон там на последнем окне стоит никак запасная бутылочка с наливкою, нельзя ли ее прикомандировать сюда? Да не вставай, хозяин, я и так ее достану, — примолвил он, вытягивая руку через всю комнату.

— Ого! какая у тебя ручища-то, приятель! — закричал с громким хохотом батюшка, — аршин в пять! Недаром же говорят, что у приказных руки длинны...

— Да зато память коротка, — прервал один из казаков.

— А вот увидите! — продолжал подьячий, поставив бутылку посреди стола, — небось, вы забыли, чье надо пить здоровье, а я так помню: начнем с младших! Ну-ка, братцы, хватим по чарке за всех приказных пройдох, за канцелярских молодцев, за удалых подьячих с приписью, чтоб им весь век чернила пить, а бумагой закусывать, чтоб они почаще умирали да пореже каялись!

— Что ты, что ты? — проговорил батюшка, задыхаясь со смеху, — да этак у нас все суды опустеют.

— И, хозяин, о чем хлопочешь! — продолжал приказный, наливая стаканы, — было бы только болото, а черти заведутся. Ну-ка, за мной — ура!

— Выпили? — закричал казак с крючковатым носом. — Так хлебнем же теперь по одной за здоровье нашего старшо́го. Кто станет с нами пить, тот наш, а кто наш, тот его.

— А как зовут вашего старшину? — спросил батюшка, принимаясь за стакан.

— Что тебе до его имени! — сказал казак с большой головою. — Говори только за нами: «Да здравствует тот, кто из рабов хотел сделаться господином и хоть сидел высоко, а упал глубоко, да не тужит».

— Но кто же он такой?

— Кто наш отец и командир? — продолжал казак. — Мало ли что о нем толкуют! Говорят, что он любит мрак и называет его светом: так что ж? Для умного человека и потемки

свет. Рассказывают также, будто бы он жалует содом, гоморр и всякую беспорядицу для того, дескать, чтоб в мутной воде рыбу ловить, да это все бабьи сплетни. Наш господин — барин предобрый; ему служить легко: садись за стол не крестясь, ложись спать не помолясь; пей, веселись, забавляйся да не верь тому, что печатают под титлами,— вот и вся служба. Ну что? ведь не житье, а масленица, не правда ли?

Как ни был хмелен батюшка, однако ж призадумался.

— Я что-то в толк не беру,— сказал он.

— А вот как выпьешь, так поймешь,— прервал подьячий.— Ну, братцы, разом! Да здравствует наш отец и командир!..

Все гости, кроме батюшки, осушили стаканы.

— Ба, ба, ба! хозяин! — закричал подьячий,— да что ж ты не пьешь?

— Нет, любезный! — отвечал батюшка,— я и так уж пил довольно. Не хочу!

— Да что с тобой сделалось? — спросил толстый казак,— о чем ты задумался? Эй, товарищи! надо развеселить хозяина. Не поплясать ли нам?

— А что, в самом деле! — подхватил приказный,— мы посидели довольно, не худо промяться, а то ведь этак, пожалуй, и ноги затекут.

— Плясать так плясать! — закричали все гости.

— Так постойте же, любезные! — сказал батюшка, вставая,— я велю позвать моего гуслиста.

— Зачем? — прервал подьячий,— у нас и своя музыка найдется. Гей, вы, начинай!

Вдруг за печкою поднялась ужасная возня, запищали гудки, рожки и всякие другие инструменты, загремели бубны и тарелки; потом послышались человеческие голоса; целый хор песельников засвистал, загаркал да как хватит плясовую — и пошла потеха!

— Ну-ка, хозяин,— проговорил казак с красноватым носом, уставив на батюшку свои зеленые глаза,— посмотрим твоей удали!

— Нет! — сказал батюшка, начиная понимать как будто бы сквозь сон, что дело становится не ладно,— забавляйтесь себе сколько угодно, а я плясать не стану.

— Не станешь? — заревел толстый казак.— А вот увидим! — Все гости вскочили с своих мест.

Покойного батюшку начала бить лихорадка — да и было отчего: вместо четырех, хотя и не красивых, но обыкновенных людей, стояли вокруг него четыре пугала такого огромного роста, что когда они вытягивались, то от их голов трещал по-

голок в комнате. Лица их не переменились, но только сделались еще безобразнее.

— Не станешь! — повторил, ухмыляясь насмешливо, подьячий, — полно ломаться-то, приятель! И почище тебя с нами плясывали, да еще посторонние, а ведь ты наш!

— Как ваш? — сказал батюшка.

— А чей же? ты человек грамотный, так, верно, читал, что двум господам служить неможно, а ведь ты служишь нашему.

— Да о каком ты говоришь господине? — спросил батюшка, дрожа как осиновый лист.

— О каком? — прервал большеголовый казак, — вестимо, о том, о котором я тебе говорил за ужином. Ну вот тот, которого слуги ложатся спать не молясь, садятся за стол не перекрестясь, пьют, веселятся да не верят тому, что печатают под титлами.

— Да что ж он мне за господин? — промолвил батюшка, все еще не понимая порядком, о чем идет дело.

— Эге, приятель! — подхватил подьячий, — да ты никак стал отнекиваться и чинить запирательство? Нет, любезнейший, от нас не отвертишься! Коли ты исполняешь волю нашего господина, так как же ты ему не слуга? А вспомни-ка хорошенько, молился ли ты сегодня, когда прилег соснуть? Перекрестился ли, садясь ужинать? Не пил ли ты, не веселился ли с нами вдоволь? А часа полтора тому назад, когда ты прочел вон в этой книге слово: «Наш еси, Исакий, да воспляшет с нами!» — что? разве ты этому поверил?

Вся кровь застыла в жилах у батюшки. Вдруг как будто бы сняли с глаз его повязку, хмель соскочил, и все сделалось для него ясным. «Господи боже мой!..» — проговорил он, стараясь оградить себя крестным знамением, да не тут-то было! Рука не подымалась, пальцы не складывались, но зато уж ноги так и пошли писать! Сначала он один отхватал голубца с вывертами и выгурами такими, что и сказать нельзя, а там гости подцепили его да и ну над ним потешаться. Покойник, рассказывая мне об этом, всегда дивился, как у него душа в теле осталась. Он помнил только одно: как комната наполнилась огнем и дымом, как его перебрасывали из рук в руки, играли им в свайку, спускали как волчок, как он кувыркался по воздуху, бился о потолок, вертелся юлою на маковке и как наконец, протанцевав на голове казачка, он совсем обеспамятел.

Когда батюшка очнулся, то увидел, что лежит на канапе и что вокруг его стоят и суетятся его слуги.

— Ну что? — прошептал он торопливо и поглядывая вокруг себя как полоумный, — ушли ли они?

— Кто, сударь? — спросил один из лакеев.

— Кто! — повторил батюшка с невольным содроганием,— кто!.. Ну, вот эти казаки и приказный...

— Какие, сударь, казаки и приказный? — прервал буфетчик Фома.— Да сегодня никаких гостей не было, и вы не изволили ужинать. Уж я дожидался, дожидался и как вошел к вам в комнату, так увидел, что вы лежите на полу, все в поту, изорванные, растрепанные и такие бледные, как будто бы — не при вас будь слово сказано — коверкала вас какая-нибудь черная немочь.

— Так у меня сегодня гостей не было? — сказал батюшка, приподымаясь с трудом на ноги.

— Не было, сударь.

— Да неужели я видел все это во сне?.. Да нет! быть не может! — продолжал батюшка, охая и похватывая себя за бока.— А кости-то почему у меня все так перемяты?.. А эти две свечи?.. Кто их на стол поставил?

— Не знаю,— отвечал буфетчик,— видно, вы сами изволили их зажечь, да не помните спросонья.

— Ты врешь! — закричал батюшка,— я помню, их принес Андрей; он и на стол накрывал, и кушанье подавал.

Все люди посмотрели друг на друга с приметным ужасом. Ванька-гуслист хотел было что-то сказать, но заикнулся и не выговорил ни слова.

— Ну что ж вы, дурачье, рты-то разинули? — продолжал батюшка,— говорят вам, что у меня были гости и что Андрей служил за столом.

— Помилуйте, сударь! — сказал буфетчик Фома,— иль вы изволили забыть, что Андрей около недели лежит больной в горячке.

— Так, видно, ему сделалось лучше. Он ровно в десять часов был здесь. Да что тут толковать! Позовите ко мне Андрея! где он?

— Вы изволите спрашивать, где Андрей? — проговорил наконец Ванька-гуслист.

— Ну да! где он?

— В избе, сударь; лежит на столе.

— Что ты говоришь? — вскричал батюшка,— Андрей Степанов?..

— Приказал вам долго жить,— прервал дворецкий, входя в комнату.

— Он умер!..

— Да, сударь! ровно в десять часов.

Кольчугин замолчал.

— Ну, подлинно диковинный случай! — сказал Алексей Иванович Асанов. — И если твой отец не любил красного словца прибавить...

— Терпеть не мог, батюшка! Он во всем уезде слыл таким правдухою, что псовые охотники не смели при нем о своих отъезжих полях и борзых собаках и словечка вымолвить.

— Да что ж тут странного! — прервал приятель мой Зарудкий, — ваш батюшка заспался, не помнил, что зажег две свечи, и видел просто во сне то, что за несколько минут читал наяву.

— Так, сударь, так! — продолжал Кольчугин, — да только вот что: спустя несколько времени узнали, что действительно в эту самую ночь три казака с Дону и приказный из города проезжали через село, только нигде не останавливались; и в том же году, когда стали поверять бутылки в погребе, так четырех бутылок виноградного вина и двух бутылок наливки нигде не оказалось.

— Да! это довольно странное стечение обстоятельств, — сказал исправник.

— И все этому дивились, батюшка! — промолвил Кольчугин.

— То есть проезду казаков и подьячего, — прервал Зарудкий, — а что в погребе не нашлось нескольких бутылок, так это доказывает только одно, что ключник покойного вашего батюшки любил отведать барского винца и наливки и при сем удобном случае свалил всю беду на безответного черта.

— Вот о чем хлопочет! — сказал Черемухин, взглянув исподлобья на моего приятеля. — Ты настоящий Фома неверный! Да что тут удивительного? Такие ли бывают случаи в жизни? Ну, если б я рассказал вам то, что слышал сам своими ушами от одного из моих знакомых...

— Который узнал об этом, — подхватил с улыбкою исправник, — от своего приятеля, а этому приятелю рассказывала кума, а кума слышала от своего дедушки, а дедушка...

— Нет, сударь, извините, — прервал Черемухин, — тот, кто мне это рассказывал, не только был очевидцем, но даже действующим лицом в сем необычайном приключении.

— Необычайном! — повторил с любопытством хозяин.

— Да, Алексей Иванович! подлинно, чудный случай! Да и такой-то чудный, что мне совестно вам рассказывать, тем более что я не могу никак сомневаться в истине сего происшествия.

— Ах, батюшки! — вскричал исправник, — да это становится весьма интересным. Сделай милость, Прохор Кондратьич, не томи, рассказывай скорее.

— Проказит он, господа! — сказал хозяин, покачивая головою.

— Так я же вам докажу, что нет, — прервал Черемухин. — Прошу послушать. Да слушай и ты, — продолжал он, подмигнув Заруцкому, — ты все подводишь под общие законы природы; посмотрим, как ты изъяснишь мне естественным образом то, что случилось с моим приятелем!

Концерт бесов

— Если кто-нибудь из вас, господа, живал постоянно в Москве, — начал так рассказывать Черемухин, положа к стороне свою трубку, — то, верно, заметил, что периодические нашествия нашей братьи, провинциалов, на матушку-Москву белокаменную начинаются по большей части перед рождеством. Почти в одно время с появлением мерзлых туш и индюшек в Охотном ряду потянутся через все заставы бесконечные караваны кибиток, возков и всяких других зимних повозок с целыми семействами деревенских помещиков, которые спешат повеселиться в столице, женихов посмотреть, дочерей показать и прожить в несколько недель все то, что они накопили в течение целого года. Но в 1796 году этот прилив временных жителей Москвы начался с первым снегом, и, по уверению старожилов, давно уже наша древняя столица не была так полна или, лучше сказать, битком набита приезжими из провинции. Старшины благородного собрания пожимали плечами, когда на их балах не насчитывали более двух тысяч посетителей, и громогласно упрекали в этом италиянца Медокса, который беспрестанно давал маскарады в залах и ротонде Петровского театра. Действительно, публичные маскарады, в которых не танцевали, а душились и давили друг друга, были в эту зиму любимой забавою всей московской публики. В числе самых неизменных посетителей сих маскарадов был один молодой человек, также приезжий, но только не из провинции. Иван Николаевич Зорин — так звали этого молодого человека — только что возвратился из чужих краев. Он долго жил в Италии, любил страстно музыку и всегда говорил об италиянской опере с восторгом, который превращался почти в безумие, когда речь доходила до оперной примадонны Неаполитанского театра. Он называл ее в разговорах Лауреттою, но не хотел открыть никому из своих знакомых имя, под которым она была известна в музыкальном мире. По всему было заметно, что не одна страсть к искусству была причиною сего энтузиазма, и хотя Зорин никому не поверял своей сер-

дечной тайны, но все его приятели, а в том числе и я, отгадывали, почему он казался всегда печальным, скучным и оживал тогда только, когда начинали с ним говорить об италиянской опере. Его вечную задумчивость, тоску и какое-то мрачное уныние, которое в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою и всякий раз смеялись над его доктором, когда он, рассуждая о душевной болезни нащего приятеля, покачивал сомнительно головою. «Полноте, Фома Фомич! — говорили мы ему, — что вам за охота набивать его желудок пилюлями? Пропишите-ка ему бутылки по две шампанского в день да приемов пять или шесть в неделю балов, театров и маскарадов, так это будет лучше ваших разводящих и возбуждающих лекарств». Как ни упирался Фома Фомич, а под конец решился послушаться нашего совета и предписал Зорину ездить по всем балам и не пропускать ни одного маскарада. В самом деле, принимая участие во всех городских веселостях, наш больной стал и сам как будто бы спокойнее и веселее. Случалось, однако же, что он не бывал в театре и отказывался от званого вечера, но зато постоянно каждый маскарад являлся первый и уезжал последний.

Я служил еще тогда в гвардии. Срок моего отпуска оканчивался на первой неделе великого поста, и, чтобы не попасть в беду, я должен был непременно в чистый понедельник отправиться обратно в Петербург. Желая воспользоваться последними днями моего отпуска и повеселиться досыта, я провел всю масленицу самым беспутным образом. Днем — блины, катанья, званые обеды, вечером — театры, а ночью до самого утра балы и домашние маскарады не дали мне во всю неделю ни разу образумиться. Я был беспрестанно в каком-то чаду и совершенно потерял из виду приятеля моего Зорина. В воскресенье, то есть в последний день масленицы, я приехал ранее обыкновенного в публичный маскарад. Народу была бездна, каждые двери приходилось брать приступом, и я насилу в четверть часа мог добраться до ротонды. Музыка, шумные разговоры, пискотня масок, которые, несмотря на то что задыхались от жара, не переставали любезничать и болтать вздор; ослепительный свет от хрустальных люстр, пестрота нарядов и этот невнятный, но оглушающий гул многолюдной толпы, составленной из людей, которые хотят, во что бы ни стало, веселиться, все это сначала так меня отуманило, что я несколько минут не слышал и не видел ничего. Желая перевести дух, я стал искать местечка, где бы мог присесть и немного поогдядеться. Пробираясь вдоль стены, вдруг услышал я, что кто-то называет меня по имени; обернулся, гляжу — высокий мужчина, в красном домино и маске, манит ме-

ня к себе рукою. В ту самую минуту, как я к нему подошел, сосед его встал с своего места.

— Садись подле меня,— сказал он,— насилу-то мы с тобою повстречались! Да что ж ты на меня смотришь? — продолжал замаскированный,— неужели ты не узнал меня по голосу?

«Да,— подумал я,— в этом голосе есть что-то знакомое, но он так дик, так странен...»

— Ну, если ты меня не узнаешь, так смотри! — сказал человек в красном домино, приподымая свою маску.

Я невольно отскочил назад — сердце мое замерло от ужаса... Боже мой! так точно, это Зорин! это его черты!.. О, конечно!.. Это он, точно он!.. Когда будет лежать на столе, когда станут отпевать его... Но теперь... Нет, нет!.. Живой человек не может иметь такого лица!

— Что ты? — спросил он с какою-то странною улыбкою,— уж не находишь ли ты, что я переменился?

— О! чрезвычайно!

— Так зачем же говорят, что печаль меняет человека... Неправда! не печаль, а разве радость.

— Радость?

— Да, мой друг! О, если б ты знал, как я счастлив! Послушай! — продолжал мой приятель вполголоса и поглядывая с робостию вокруг себя,— только, бога ради, чтоб никто не знал об этом! Она здесь!

— Она?.. Кто она?

— Лауретта.

— Неужели?

— Да, мой друг, она здесь. О, как она меня любит! Она покинула свою милую родину, променяла свои вечно голубые небеса на наше облачное угрюмое небо; там, в кругу родных своих, пригретая солнышком благословенной Италии, она цвела, как пышная роза; а здесь, одна, посреди людей мертвых и холодных, как наши вечные снега, она если не завянет сама, то погубит навсегда свой дар, переживет свою славу, и все это для меня!.. Она, привыкшая дышать пламенным воздухом Италии, не побоялась наших трескучих морозов, наших зимних вьюг, забыла все, покинула все,— живая легла в эту обширную, холодную могилу, которую мы называем нашим отечеством,— и все это для меня!.. И все это для того, чтобы увидеться опять со мною!

— Уж не слишком ли ты прославляешь этот подвиг! — прервал я моего приятеля.— У нас не так тепло, как в Италии, но также бывает и весна и лето. Быть может, в Неаполе веселее, чем здесь, однако ж, воля твоя, и Москва не походит на могилу, да и твоя Лауретта, не погневайся, не первая

италиянская певица, которую мы здесь видим; и если она будет давать концерт...

— Да! один и последний. Я согласился на это: пусть она обворожит всю Москву, поразогреет хотя на минуту наши ледяные души, а потом умрет для всех, кроме меня.

— Так она хочет навсегда здесь остаться?

— Да, навсегда. Ну видишь ли, как она меня любит? Но зато и я... О! любовь моя не чувство, не страсть... нет, мой друг, нет!.. Не знаю, постигнешь ли ты мое блаженство? Поймешь ли ты меня?.. Я принадлежу ей весь... Она просила меня...— да! она хотела этого...— Тут Зорин наклонился и прошептал мне на ухо: — Я отдал ей мою душу,— теперь я весь ее... Понимаешь ли, мой друг?.. весь.

Мне случалось много раз самому отдавать на словах мою душу; да и кто из молодых людей остановится сказать любезной женщине, что его душа принадлежит ей, что она владеет ею; эта пошлая, истертая во всех любовных изъяснениях фраза не значит ничего. Но, несмотря на это, не могу вам изъяснить, с каким чувством ужаса и отвращения я слушал исповедь моего приятеля. Таинственный голос, которым он говорил, дикий огонь его сверкающих глаз, этот неистовый, безумный восторг, эти слова радости и бледное, иссохшее лицо мертвеца!..

— Эх, братец! — сказал я с досадою,— как можно говорить такой вздор? Душа принадлежит не нам; ее отдавать никому не должно. Люби свою италиянскую певицу, женись на ней, если хочешь, пусть владеет твоим сердцем...

— Сердцем! — повторил насмешливым голосом мой приятель.— Да что такое сердце? разве оно бессмертно, как душа, разве оно не истлеет когда-нибудь в могиле? Прекрасный подарок: горсть пыли! Кто дарит свое сердце, тот обещает любить только до тех пор, пока оно бьется, а оно может застыть и сегодня и завтра; но кто отступается от души своей, тот отдает не жизнь, не тысячу жизней, а всю свою бесконечную вечность. Да, мой друг! дарить так дарить! Теперь Лауретте бояться нечего, душа не сердце — ее не закопают в могилу.

— Да сделай милость,— прервал я,— покажи мне эту волшебницу, эту Армиду, которая, как демон-соблазнитель, добирается до твоей души; повези меня к ней.

— Я не знаю сам, где она живет.

— Нет, шутишь?

— Да, мой друг, я видаюсь с ней только здесь. Она не хочет до времени никому показываться, но все это скоро кончится: после ее концерта мы обвенчаемся и уедем жить в деревню.

— А когда будет ее концерт?

— На будущей неделе в пятницу.

— На будущей неделе?.. Быть не может! Ты, верно, позабыл, что на первой неделе великого поста не дают никаких концертов.

— Полно, так ли? Кажется, Лауретта должна это знать; она даже говорила, что даст свой концерт здесь, в этой ротонде.

— Так она, верно, сама ошибается. Видел ли ты ее сегодня?

— Нет еще. Она не приезжает никогда ранее двенадцати часов, но зато ровно в полночь, как бы ни было тесно в маскараде и где б я ни сидел, она всегда меня отыщет.

— Ровно в полночь! — сказал я, взглянув на мои часы, — то есть через две минуты. Посмотрим, так ли она аккуратна, как ты говоришь.

Если вам не случалось самим, господа, встречать великий пост в маскараде, то по крайней мере вы слыхали, что, по принятому обычаю, ровно в двенадцать часов затрубят на хорах, и музыка перестает: это значит, что наступил великий пост и что все публичные удовольствия прекращаются. В ту минуту, как я смотрел на часы, которые, вероятно, поотстали, над самой моей головою раздался пронзительный звук труб, и так нечаянно, что я невольно вздрогнул и поднял глаза кверху. «Тьфу, пропасть! как они испугали меня!» — проговорил я, обращаясь к моему приятелю, но подле меня стоял уже порожний стул. Я поглядел вокруг себя: вдали, посреди толпы людей, мелькало красное домино; мне казалось, что с ним идет высокого роста стройная женщина в черном венецияне. Я вскочил, побежал вслед за ними, но в то же самое время поравнялись со мною три маски, около которых такая была давка, что я никак не мог пробраться и потерял из виду красное домино моего приятеля. Эти маски только что появились в ротонду: одна из них была наряжена каким-то длинным и тощим привидением в большой бумажной шапке, на которой было написано крупными словами: «сухоедение». По обеим сторонам ее шли другие две маски, из которых одна одета была грибом, а другая — капустою. Длинное пугало поздравляло всех с великим постом, прибавляя к этому шуточки и поговорки, от которых все кругом так и помирали со смеху. Один я не смеялся, а работал усердно и руками и ногами, чтоб продраться сквозь толпу. Наконец мне удалось вырваться на простор: я обшарил всю ротонду, обежал боковые галереи, но не встретил нигде ни красного домино, ни черного венецияна. На другой день поутру я заезжал проститься с Зориным, не застал его дома, а вечером скакал уже по большой Петербургской дороге.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я оставил Москву. Занимаясь беспрерывно службою и процессом, который начался при моем дедушке и, вероятно, кончится при моих внучатах, я совсем забыл о последнем моем свидании и разговоре с Зориным. Однажды в Английском клубе, пробегая не помню какой-то иностранный журнал, я попал нечаянно на статью, в которой извещали, что примадонна Неаполитанского театра, Лауретта Бальдуси, к прискорбию всех любителей музыки, умерла в последних числах февраля месяца в собственной своей вилле близ Портичи. «Лауретта! — повторил я невольно,— примадонна Неаполитанского театра!.. Ах, боже мой! Да это та самая итальянская певица, в которую влюблен до безумия бедняжка Зорин! Но как же она могла умереть в последних числах февраля близ Неаполя, когда почти в то же самое время была у нас в Москве, в маскараде у Медокса?.. Что за вздор!..» В тот же самый вечер я написал к одному из московских приятелей, чтоб он уведомил меня, здоров ли Зорин, где он и не слышно ли чего-нибудь о женитьбе его с одной иностранкою. В ответе на письмо мое уведомляли меня, что на первой неделе великого поста, поутру в субботу, нашли Зорина без чувств на Петровской площади близ театра, что он был при смерти болен и что уж недели две, как его отвезли лечиться в Петербург. Я стал искать его везде, обегал весь город, но все старания мои были напрасны. Наконец совершенно неожиданным образом я увиделся с ним в одном доме, где никак не предполагал и вовсе не желал его найти. Он очень мне обрадовался и, не дожидаясь моей просьбы, рассказал свое чудное приключение, которое началось в ротонде Петровского театра и кончилось там же. Вот слово от слова весь этот рассказ, так, как я слышал его от бедного моего приятеля.

«Ты, верно, не забыл,— сказал он мне,— что я в последний раз виделся с тобою накануне великого поста, в маскараде у Медокса. В ту самую минуту, как на хорах протрубили полночь, я заметил посреди толпы масок Лауретту, которая, проходя мимо, манила меня к себе рукою. Ты был чем-то занят другим и, кажется, не заметил, как я вскочил со стула и побежал вслед за нею. «Ступай сейчас домой,— сказала она мне, когда я взял ее за руку,— я требую также, чтоб ты четыре дня сряду никуда не выезжал и не принимал к себе никого. Во все это время мы ни разу с тобой не увидимся. В пятницу приходи сюда пешком один, часу в двенадцатом ночи. Здесь в ротонде будет репетиция концерта, который я даю в субботу».— «Но к чему так поздно? — спросил я,— и пустят ли меня?» — «Не беспокойся! — отвечала Лауретта,— для тебя двери будут отперты; я репетицию назначила в полночь для того, чтоб ни-

кто не знал об этом, кроме некоторых артистов и любителей музыки, которых я сама пригласила. Теперь отправляйся скорее, и если ты исполнишь все, что я от тебя требую, то я навеки буду принадлежать тебе; если же ты меня не послушаешься, а особливо когда пустишь к себе приятеля, с которым сидел сейчас вместе и которому рассказал то, о чем бы должен был молчать, то мы никогда не увидимся ни в здешнем, ни в другом мире; и хотя, мой милый друг, всем мирам и счету нет,—промолвила она тихим голосом,—но мы уж ни в одном из них не встретимся с тобою».

В течение двух лет, проведенных мною в Неаполе, я успел привыкнуть к странностям и необыкновенным капризам Лауретты. Эта пленительная и чудесная женщина, то тихая и покорная, как робкое дитя, то неукротимая и гордая, как падший ангел, соединяла в себе всевозможные крайности. Иногда она готова была враждовать против самих небес, не верила ничему, смеялась над всем—и вдруг без всякой причины становилась суеверною до высочайшей степени, видела везде злых духов, советовалась с ворожеями и если не любила, то по крайней мере боялась бога. По временам она называла себя моей рабою и была ею действительно; но когда эта минута смирения проходила, то она превращалась в такую властолюбивую женщину, что не выносила ни малейшего противоречия; а посему, как ни странны казались мне ее требования, я не дозволил себе никакого замечания и безусловно обещался исполнить ее волю, тем более что она дала мне слово, что это будет последним и окончательным испытанием моей любви.

— Ты можешь себе представить,—продолжал Зорин,—с каким нетерпением дожидался я пятницы. Я приказал всем отказывать и даже не принял тебя, когда ты поутру приехал со мною проститься. Днем ходил я взад и вперед по моим комнатам, не мог ни за что приняться, горел как на огне, а ночью,— о мой друг! таких адских ночей не проводят и преступники накануне своей казни! Так не мучили людей даже и тогда, когда пытка была обдуманным искусством и наукою! Не знаю, как дожил я до пятницы; помню только, что в последний день моего испытания мне не только не шла еда на ум, но я не мог даже выпить чашку чаю. Голова моя пылала, кровь не текла, а кипела в моих жилах. Помнится также, день был не праздничный, а мне казалось, что в Москве с утра до самой ночи не переставали звонить в колокола. Передо мной лежали часы; когда стрелка стала подвигаться к полуночи, нетерпение мое превратилось в какое-то бешенство; я задыхался, меня била злая лихорадка, и холодный пот выступал на лице моем. В по-

ловине двенадцатого часа я накинул на себя шинель и отправился. Все улицы были пусты. Хотя моя квартира была версты две от театра, но не прошло и четверти часа, как я пробежал всю Пречистенку, Моховую и вышел на площадь Охотного ряда. В двухстах шагах от меня подымалась колоссальная кровля Петровского театра. Ночь была безлунная, но зато звезды казались мне и более и светлее обыкновенного; многие из них падали прямо на кровлю театра и, рассыпаясь искрами, потухали. Я подошел к главному подъезду. Одни двери были немного порастворены: подле них стоял с фонарем какой-то дряхлый сторож, он махнул мне рукою и пошел вперед по темным коридорам. Не знаю, оттого ли, что я пришел уже в назначенное место, или отчего другого, только я приметным образом стал спокойнее и помню даже, что, рассмотрев хорошенько моего проводника, заметил, что он подается вперед, не переставляя ног, и что глаза его точно так же тусклы и неподвижны, как стеклянные глаза, которые вставляют в лица восковых фигур. Пройдя длинную галерею, мы вошли наконец в ротонду. Она была освещена, во всех люстрах и канделябрах горели свечи, но, несмотря на это, в ней было темно; все эти огоньки, как будто бы нарисованные, не разливали вокруг себя никакого света, и только поставленные рядом четыре толстые свечи в высоких погребальных подсвечниках бросали слабый свет на первые ряды кресел и устроенное перед ними возвышение. Этот деревянный помост был уставлен пюпитрами; ноты, инструменты, свечи — одним словом, все было приготовлено для концерта, но музыкантов еще не было.

В первых рядах кресел сидело человек тридцать или сорок, из которых некоторые были в шитых французских кафтанах, с напудренными головами, а другие в простых фраках и сюртуках. Я сел подле одного из сих последних.

— Позвольте вас спросить,— сказал я моему соседу,— ведь это все любители музыки и артисты, которых пригласила сюда госпожа Бальдуси?

— Точно так.

— Осмелюсь вас спросить, кто этот молодой человек в простом немецком кафтане и с такой выразительной физиономией, вон тот, что сидит в первом ряду с краю?

— Это Моцарт.

— Моцарт! — повторил я,— какой Моцарт?

— Какой? вот странный вопрос! Ну, разумеется, сочинитель «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»...

— Что вы, что вы! — прервал я,— да он года четыре как умер.

— Извините! он умер в 1791 году в сентябре месяце, то есть пять лет тому назад. Рядом с ним сидит Чимароза и Гендель, а позади Рамо и Глук?..

— Рамо и Глук?..

— А вот налево от нас стоит капельмейстер Арая, которого опера «Беллерофонт» была дана в Петербурге...

— В 1750 году, при императрице Елисавете Петровне?

— Точно так! с ним разговаривает теперь Люлли.

— Капельмейстер Людовика Четырнадцатого?

— Он самый. А вон, видите, в темном уголку? Да вы не рассмотрите его отсюда: это сидит Жан Жак Руссо. Он приглашен сюда не так как артист, но как знаток и любитель музыки. Конечно, его «Деревенский колдун» хорошенькая опера; но вы согласитесь сами...

— Да что ж это значит? — прервал я, взглянув пристально на моего соседа, и лишь только было хотел спросить его, как он смеет так дерзко шутить надо мною, как вдруг увидел, что это давнишний мой знакомый, старик Волгин, страшный любитель музыки и большой весельчак. — Ба, ба, ба! — вскричал я, — так это вы изволили забавляться надо мною? Возможно ли! вы ли это, Степан Алексеевич?

— Да, это я! — отвечал он очень хладнокровно.

— Вы приехали сюда также послушать репетицию завтрашнего концерта?

Сосед мой кивнул головою.

— Однако ж позвольте! — продолжал я, чувствуя, что волосы на голове моей становятся дыбом, — что ж это значит?.. Да ведь вы, кажется, лет шесть тому назад умерли?

— Извините! — отвечал мой сосед, — не шесть, а ровно семь.

— Да мне помнится, я был у вас и на похоронах.

— Статься может. А вы когда изволили скончаться?

— Кто? я?.. Помилуйте! да я жив.

— Вы живы?.. Ну это странно, очень странно! — сказал покойник, пожимая плечами.

Я хотел вскочить, хотел бежать вон, но мои ноги подкосились, и я, как приколоченный гвоздями, остался неподвижным на прежнем месте. Вдруг по всей зале раздались громкие рукоплескания, и Лауретта в маске и черном венецияне появилась на концертной сцене. Вслед за ней тянулся длинный ряд музыкантов — и каких, мой друг!.. Господи боже мой! что за фигуры! Журавлиные шеи с собачьими мордами; туловища быков с воробьиными ногами; петухи с козлиными ногами; козлы с человеческими руками, — одним словом, никакое беспутное воображение, никакая сумасшедшая фантазия не только не создаст, но даже не представит себе по описанию таких

гнусных и безобразных чудовищ. Особенно же казались мне отвратительными те, у которых были человеческие лица, если можно так назвать хари, в которых все черты были так исковерканы, что, кроме главных признаков человеческого лица, все прочее ни на что не походило. Когда вся эта ватага уродов высыпала вслед за Лауреттою на возвышение и капельмейстер с совиной головою в белонапудренном парике сел на приготовленное для него место, то началось настраиванье инструментов; большая часть музыкантов была недовольна своими, но более всех шумел контрабасист с медвежьим рылом.

— Что это за лубочный сундук! — ревел он, повертывая свой инструмент во все стороны. — Помилуйте, синьора Бальдуси, неужели я буду играть на этом гудке?

Лауретта молча указала на моего соседа; контрабасист соскочил с кресла, взял бедного Волгина за шею и втащил на помост; потом поставил его головою вниз, одной рукой обхватил обе его ноги, а другой начал водить по нем смычком, и самые полные, густые звуки контрабаса загремели под сводом ротонды. Вот наконец сладили меж собой все инструменты; капельмейстер поднял кверху оглоданную бычачью кость, которая служила ему палочкою, махнул, и весь оркестр грянул увертюру из «Волшебной флейты». Надобно сказать правду: были местами нескладные и дикие выходки, особливо кларнетист, который надувал свой инструмент носом, часто фальшивил, но, несмотря на это, увертюра была сыграна недурно. После довольно усиленного аплодисмента вышла вперед Лауретта и, не снимая маски, запела совершенно незнакомую для меня арию. Слова были престранные: умирающая богоотступница прощалась с своим любовником; она пела, что в беспредельном пространстве и навсегда, с каждой протекшей минутою станет увеличиваться расстояние, их разделяющее; как вечность, будут бесконечны ее страдания, и их души, как свет и тьма, никогда не сольются друг с другом. Все это выражено было в превосходных стихах; а музыка!.. О, мой друг! где я найду слов, чтоб описать тебе ту неизъяснимую тоску, которая сжала мое бедное сердце, когда эти восхитительные и адские звуки заколебали воздух? В них не было ничего земного; но и небеса также не отражались в этом голосе, исполненном слез и рыданий. Я слышал и стоны осужденных на вечные мучения, и скрежет зубов, и вопли безнадежного отчаяния, и эти тяжкие вздохи, вырывающиеся из груди, истомленной страданиями. Когда посреди гремящего крещендо, составленного из самых диких и противуположных звуков, Лауретта вдруг остановилась, общее громогласное браво раздалось по зале, и несколько голосов закричали: «Синьора

Бальдуси, синьора Бальдуси! Покажитесь нам! Снимите вашу маску!» Лауретта повиновалась; маска упала к ее ногам... и что ж я увидел?.. Милосердый боже!.. Вместо юного, цветущего лица моей Лауретты — иссохшую мертвую голову!!! Я онемел от удивления и ужаса, но зато остальные зрители заговорили все разом и подняли страшный шум. «Ах, какие прелести! — кричали они с восторгом,— посмотрите, какой череп,— точно из слоновой кости!.. А ротик, ротик! чудо! до самых ушей!.. Какое совершенство!.. Ах, как мило она оскалила на нас свои зубы!.. Какие кругленькие ямочки вместо глаз!.. Ну, красавица!»

— Синьора Бальдуси,— сказал Моцарт, вставая с своего места,— потешьте нас, спойте нам «Biondina in gondoletta».

— Да это невозможно, синьор Моцарт,— прервал капельмейстер.— Каватину «Biondina in gondoletta» синьора Бальдуси поет с гитарою, а здесь нет этого инструмента.

— Вы ошибаетесь, maestro di cappella![1] — прошептала Лауретта, указывая на меня,— гитара перед вами.

Капельмейстер бросил на меня быстрый взгляд, разинул свой совиный клюв и захохотал таким злобным образом, что кровь застыла в моих жилах.

— А что, в самом деле,— сказал он,— подайте-ка мне его сюда! Кажется... да, точно так!.. Из него выйдет порядочная гитара.

Трое зрителей схватили меня и передали из рук в руки капельмейстеру. В полминуты он оторвал у меня правую ногу, ободрал ее со всех сторон и, оставя одну кость и сухие жилы, начал их натягивать, как струны. Не могу описать тебе той нестерпимой боли, которую произвела во мне эта предварительная операция; и хотя правая нога моя была уже оторвана, а несмотря на это, в ту минуту как злодей капельмейстер стал ее настраивать, я чувствовал, что все нервы в моем теле вытягивались и готовы были лопнуть. Но когда Лауретта взяла из рук его мою бедную ногу и костяные ее пальцы пробежали по натянутым жилам, я позабыл всю боль: так прекрасен, благозвучен был тон этой необычайной гитары. После небольшого ритурнеля Лауретта запела вполголоса свою каватину. Я много раз ее слышал, но никогда не производила она на меня такого чудного действия: мне казалось, что я весь превратился в слух и, что всего страннее, не только душа моя, но даже все части моего тела наслаждались, отдельно одна от другой, этой обворожительной музыкой. Но более всех блаженствовала остальная нога моя: восторг ее доходил до какого-то ис-

---

[1] дирижер капеллы *(ит.)*.

ступления; каждый звук гитары производил в ней столь неизъяснимо-приятные ощущения, что она ни на одну секунду не могла остаться спокойною. Впрочем, все движения ее соответствовали совершенно темпу музыки: она попеременно то с важностию кивала носком, то быстро припрыгивала, то медленно шевелилась. Вдруг Лауретта взяла фальшивый аккорд... Ах, мой друг! вся прежняя боль была ничто в сравнении с тем, что я почувствовал! Мне показалось, что череп мой рассекся на части, что из меня потянули разом все жилы, что меня начали пилить по частям тупым ножом... Эта адская мука не могла долго продолжаться; я потерял все чувства и только помню, как сквозь сон, что в ту самую минуту, как все начало темнеть в глазах моих, кто-то закричал: «Выкиньте на улицу этот изломанный инструмент!» Вслед за сим раздался хохот и громкие рукоплескания. Я очнулся уже на другой день. Говорят, будто бы меня нашли на площади подле театра; впрочем, ты, я думаю, давно уже знаешь остальное; в Москве целый месяц об этом толковали. Теперь все для меня ясно. Лауретта являлась мне после своей смерти: она умерла в Неаполе; а я, как видишь, мой друг, я жив еще»,—примолвил с глубоким вздохом мой бедный приятель, оканчивая свой рассказ.

— Какова история?—спросил хозяин, поглядев с улыбкою вокруг себя.—Ай да батюшка Александр Иваныч, исполать тебе! Мастер сказки рассказывать!

— Помилуйте, Иван Алексеич! какие сказки? это настоящая истина.

— В самом деле?

— Уверяю вас, что приятель мой вовсе не думал лгать, рассказывая мне это странное приключение.

— Полно, братец! да это курам на смех! Воля твоя, какой черт не хитер, а, верно, и ему не придет в голову сделать из одного человека контрабас, а из другого—гитару.

— Если вы не верите мне, так я могу сослаться на самого Зорина. Он благодаря бога еще не умер и живет по-прежнему в Петербурге, подле Обухова моста...

— В желтом доме?—прервал исправник.

— Вот этого не могу вам сказать!—продолжал спокойно Черемухин.—Может быть, его давно уже и перекрасили.

— Ах ты, проказник!—подхватил хозяин.—Так ты рассказал нам то, что слышал от сумасшедшего?

— От сумасшедшего?.. Ну, это я еще не знаю! Зорин никогда мне не признавался, что он сошел с ума; а, напротив, уверял меня, что если доктора и смотрители желтого дома не

безумные, так по одному упрямству и злобе не хотят видеть, что у него вместо правой ноги отличная гитара.

— Смотри, пожалуй! — вскричал хозяин, — какую дичь порет! А ведь сам как дело говорит — не улыбнется! Впрочем, и то сказать, — прибавил он, помолчав несколько времени, — приятель твой Зорин сошел же от чего-нибудь с ума! Ну, если в самом деле эта басурманка приходила с того света, чтоб его помучить?..

— А что вы думаете? — сказал я. — Не знаю, как другие, а я не сомневаюсь, что мы можем иногда после смерти показываться тем, которых любили на земле.

— И, полно, братец, — прервал с улыбкою Заруцкий, — да этак бы и числа не было выходцам с того света!

— Напротив, — продолжал я, — эти случаи должны быть очень редки. Я уверен, что мы после нашей смерти можем показываться только тем из друзей или родных наших, к которым были привязаны не по одной привычке, любили не по рассудку, не по обязанности, не потому только, что нам с ними было весело, но по какой-то неизъяснимой симпатии, по какому-то сродству душ...

— Сродству душ? — прервал Заруцкий. — А что ты разумеешь под этим?

— Что я разумею? Не знаю, удастся ли мне изъяснить тебе примером. Послушай! всякий музыкальный инструмент заключает в себе способность издавать звуки, точно так же как тело наше — способность жить и действовать; и точно так же как тело без души, всякий инструмент, без содействия художника, который влагает в него душу, мертв и не может или, по крайней мере, не должен сам собою обнаруживать этой способности. Теперь не хочешь ли сделать опыт? Положи на фортепьяно какой-нибудь другой инструмент, например, хоть гитару, а на одну из струн ее — небольшой клочок бумаги; потом начни перебирать на фортепиано все клавиши одну после другой: бумажка будет спокойно лежать до тех пор, пока ты не заставишь прозвучать ноту, одинакую с той, которую издает струна гитары; но когда лишь только ты дотронешься до клавиши, то в то же самое мгновение струна зазвучит, и бумажка слетит долой; следовательно, по какому-то непонятному сочувствию мертвый инструмент отзовется на голос живого. Попытайся, мой друг, изъяснить мне это весьма обыкновенное и, по-видимому, физическое явление, тогда, быть может, и я растолкую тебе, что понимаю под словами: *симпатия* и *сродство душ*.

— Ба, ба, ба! любезный друг! — сказал Заруцкий, улыбаясь, — да ты ужасный метафизик и психолог; я этого не знал за то-

бою. Вот что! Теперь понимаю: душа умершего человека с душой живого могут сообщаться меж собою только в таком случае, когда обе настроены по одному камертону.

— Ты шутишь, Заруцкий,— прервал исправник,— а мне кажется, что Михайла Николаич говорит дело. Я сам знаю один случай, который решительно оправдывает его догадки; и так как у нас пошло на рассказы, так, пожалуй, и я расскажу вам не сказку, а истинное происшествие. Быть может, вы мне не поверите, но я клянусь вам честию, что это правда.

Две невестки

— В начале 1792 года гусарский полк, в котором я служил корнетом, стоял в Белоруссии, и мой эскадрон занимал квартиры в местечке, принадлежащем двум братьям, князьям Лю......ким. Они жили вместе с своими женами в их наследственном и великолепном замке. Радушное их обращение с русскими офицерами, а более всего веселый образ жизни, напоминающий роскошное хлебосольство древних магнатов Польши, вошли в пословицу между нашими офицерами. «Хоть бы князьям Лю......ким задать такой праздник!» — говаривали мы всегда, когда хотели похвалить чье-нибудь угощение.

Изо всех офицеров моего эскадрона я более других был ими обласкан и в течение двух или трех недель сделался в их семье совершенно домашним человеком. Обе княгини были женщины отменно любезные и могли назваться красавицами. Если б они были родные сестры, то и тогда бы нельзя было не подивиться их необычайной дружбе; но две невестки, две хозяйки в одном доме, которые живут душа в душу,— такая диковинка, какой не всякому удастся на роду своем увидеть. Нельзя было сказать, чтоб их нравы были совершенно сходны меж собою; напротив, одна из них, жена старшего брата, которая называлась Жозефиною, была самого кроткого характера и даже несколько холодна, а другая отменно жива и вспыльчива; но, несмотря на это различие, которое, впрочем, заметно было только в отношении к другим, никогда ни малейшая досада не нарушала их семейственного согласия. Жозефина очень часто разговаривала со мною об этой дружбе.

— Вы не можете себе представить,— сказала она мне однажды,— какое странное и даже непонятное для нас самих чувство мы питаем друг к другу. Говорят, что мы живем как родные сестры, да это вовсе не то. У меня были три сестры, я любила их, но совсем другим образом. Когда я в первый раз уви-

дела Казимиру — так называли меньшую невестку,— то мне показалось, что ее-то именно и недоставало для моего благополучия; что иногда в грустные минуты я тосковала о ней, и хотя решительно увидела ее тогда в первый раз, но готова была побожиться, что и черты лица ее, и звук ее голоса, и даже некоторые, собственно ей принадлежащие, выражения и привычки давно уже мне знакомы; что мы, не знаю где и когда, но только непременно и любили друг друга, и жили вместе. Не правда ли, что это очень странно? А ведь еще страннее, что Казимира при первой встрече со мною почувствовала то же самое? Ну вот после этого не верьте симпатиям! Сколько раз случалось, я задумаю какую-нибудь новую забаву, хочу сделать ей сюрприз, и что ж?.. Ей именно то же самое придет в голову. Она затеет потихоньку от меня какое-нибудь веселье, секретничает, хлопочет — и вдруг я начну с нею советоваться, каким образом уладить точно такой же праздник, какой она хотела дать мне нечаянно. Мы никогда еще не расставались, и я думаю, что разлука будет для нас большим несчастием. Мало ли что случается? Одна из нас может умереть, нам не удастся проститься друг с другом... О, вы не можете представить, как эта мысль нас пугает! Правда, мы на этот счет взяли некоторые предосторожности,— продолжала Жозефина, улыбаясь, однако ж вовсе не шутя,— мы связали себя клятвою.

— Клятвою?

— Да. Мы поклялись друг другу, что если судьба приведет одну из нас умереть прежде и мы в эту минуту не будем вместе, то умершая должна непременно, не покидая еще земли, явиться к той, которая останется в живых.

— Но подумали ли вы,— сказал я также не шутя,— что исполнение этой клятвы зависит не от вас?

— О, как же! Мы на этот счет взяли свои предосторожности. Говорят, что всякая клятва, данная и не исполненная в здешнем мире, станет в будущем тяготить нашу душу, то есть мешать ей наслаждаться вполне блаженством, если она его заслужит, и для того мы поклялись с условием.

— С условием?

— Да, с условием. Наша клятва должна только иметь силу в пределах возможного. Nous avons juré jusqu'aux bornes de possible[1].

Когда она выговорила эту французскую фразу, которую повторяю вам от слова до слова, то я не мог удержаться от сме-

---

[1] Мы поклялись в границах возможного *(фр.)*.

ха — так показалось мне забавным это детское простодушие милой Жозефины.

— Ого, княгиня! — сказал я, — да вы знаете приказный порядок и взяли все законные предосторожности; теперь, если одна из вас выполнит свое обещание, так это будет даже не чудно, потому что свершится в пределах возможного.

— Смейтесь, смейтесь! — прервала Жозефина, — а я уверена, что если одна из нас кончит жизнь не на руках у другой, то или мы умрем в одно время, то есть в один час, в одну минуту, или непременно повидаемся друг с другом перед нашей земной разлукою.

Муж княгини Казимиры страдал уже несколько лет от одной хронической болезни, которая, несмотря на старание лучших медиков тамошнего края, очевидно усиливалась и могла превратиться в неизлечимый недуг. По общему совету докторов ему оставалось испытать последнее средство, то есть ехать за границу и полечиться у иностранных врачей, а в особенности у знаменитого доктора Франка, который в то время был в Париже. Как ни тяжело было для княгини расставаться на долгое время, но необходимость требовала этой жертвы. На прощанье они еще раз повторили свою клятву и обещались, не пропуская ни одной почты, писать друг другу обо всем.

Прошло месяца два; вот в одном из своих писем Казимира уведомила свою невестку, что она отправляется с больным своим мужем в Париж. Это известие очень обеспокоило Жозефину: французская революция становилась час от часу грознее, и хотя кровь не лилась еще реками, но все заставляло думать, что предсказания и догадки европейских журналистов, как крики зловещих птиц, не предвещают ничего доброго. Напрасно Казимира успокоивала своего друга. «Ты не должна за нас бояться, — писала она. — Мы, иностранцы, будем жить тихо, не станем мешаться в политические дела, так нас и не заметят в Париже». Все это казалось Жозефине недостаточной порукою за их безопасность. Меж тем время шло да шло. Робеспьер, Марат, Дантон и сотни других тигров, представлявших в лице своем *великую* нацию, начинали понемногу приучать ветреных французов к кровавым пиршествам, на которых деспотизм палачей величали свободою; судом называли человеческую бойню, а народом французским — шайку разбойников и убийц; и чтоб равенство, это слово, не имеющее никакого морального смысла, сделать хотя физически возможным, предлагали для уравнения всей нации подрубливать головы тем, которые имели несчастие родиться повыше других. Но в то же время как истинные отцы отечества извещали своих

сограждан, что они с родительским сердоболием приискивали все средства, как бы облегчить страдания умирающих на эшафоте: и посему, дабы рубить головы и скорее и опрятнее, изобрели *филантропическую* машину, которую называли гильотиною. Жозефина все это читала в журналах, следовательно, не могла оставаться спокойною. Замечая тоску своей жены, князь Лю......кий давал беспрестанно праздники, балы, концерты — одним словом, употреблял все средства, чтоб рассеять ее горесть. На одном из этих балов, на который съехались к ним человек двести гостей, я заметил, что Жозефина была скучнее обыкновенного.

— Здоровы ли вы? — спросил я, садясь подле нее в танцевальной зале.

— А что? — шепнула княгиня,— разве я кажусь больною?

— А если вы здоровы, так позвольте вам сказать, что вы вовсе не походите на хозяйку, которая дает такой блестящий бал. Взгляните, как все оживлено в этой зале: три мазурки в одно время!.. Даже старики поднялись, а вы не танцуете! Да будьте повеселее; ведь этак подумают, что вы не рады вашим гостям.

— Так что ж? пускай себе думают что хотят, а мне, право, не до танцев.

— Вы меня пугаете, княгиня! Уж не имеете ли вы какого-нибудь неприятного известия из Парижа или давно не получали оттуда писем?

— Напротив. Я получила сегодня письмо от Казимиры, и весьма приятное. Она пишет, что в Париже очень весело, что журналисты все увеличивают, что, несмотря на угрозы республиканской партии, король любим и если б захотел только унять этих крикунов, так все пошло бы по-прежнему; но он слишком добр и не хочет прибегать к силе, тем более что это волнение умов не может долго продолжаться: такое постоянство было бы не в характере французской нации. А сверх того королева французская, которая очень милостива к Казимире и приглашает ее на все свои маленькие вечера, открыла ей по секрету, что глава, или лучше сказать, душа революции, этот граф Мирабо, перешел на сторону правительства. Что ж касается до прочих зачинщиков, то они не только ничтожны, но даже отвратительны и гадки в глазах целого Парижа. Все это должно бы, кажется, меня успокоить, а, напротив, я никогда еще не была так растревожена, как сегодня.

— Да что ж вы чувствуете?

— И сама не знаю. Вот тут на сердце у меня так тяжело!.. Мне так грустно!.. Вы скажете, что это малодушие, ребячество,— быть может! Да что же делать, когда в нас есть что-то

такое, что несравненно сильнее всякого рассудка. Конечно, и я могу притворяться веселою, но это будет одно притворство.

— А вы его ненавидите, княгиня. Однако ж так и быть, притворитесь! Я слыхал, что иногда актеры увлекаются своими ролями; почему знать, может быть, и вы забудете ваше горе; протанцуйте первую мазурку нехотя, а вторая будет забавлять. Пойдемте!

Княгиня молча подала мне руку, и мы, составив четвертую мазурку, пустились танцевать наперерыв с другими. В самом деле, Жозефина поразвеселилась, и к концу бала на прекрасном лице ее не оставалось даже и следов прежнего беспокойства и горести.

Вот после ужина гости стали расходиться; ближайшие соседи разъехались по своим деревням, а те, которые жили подалее, остались ночевать в замке; в числе последних было несколько молодых барынь. Хозяйка, уложив их спать в одной большой горнице, расположилась и сама ночевать вместе с ними. Я отправился также в свою комнату и, верно, бы проспал крепким сном до самого обеда, когда бы рано поутру не разбудила меня какая-то необычайная тревога в целом доме: везде хлопали дверьми и по всем коридорам поднялась такая беготня, что если б хотя немного пахло дымом, так я подумал бы, что мы горим. Я вскочил с постели, оделся на скорую руку и побежал узнать причину этой суматохи. Любимица панны Жозефины, черноглазая Юлия, на которую я давно уже засматривался, первая повстречалась со мною в коридоре и сказала мне мимоходом, что княгиня занемогла, что ей сделалось ночью очень дурно, что она во сне или наяву, наверное не знают, но только видела что-то страшное и лежит теперь без памяти. Не прошло и двух часов, как все остальные гости разъехались, и этак часу в десятом пришли мне сказать, что княгиня просит меня к себе.

Я нашел ее в совершенной памяти; она сидела совсем одетая на канапе и на вопрос мой о внезапной ее болезни отвечала, что чувствует себя совершенно здоровою. В самом деле, кроме необычайной бледности, на лице ее не заметно было никаких признаков болезни, но с первого взгляда на ее мутные и распухшие глаза не трудно было догадаться, что она очень много плакала.

— Садитесь вот здесь, подле меня! — шепнула Жозефина тихим голосом.

— Что с вами сделалось, княгиня? — сказал я, садясь на канапе.

— Ничего. Я знала это наперед. О! сердце мое предчувствовало, оно меня никогда не обманывает.

— Да что такое?

— Я ее видела.

— Видели?.. Кого?

— Ее. Она приходила со мною проститься.

— Да о ком вы говорите?

— О моем друге.

— О вашей невестке?

— Да.

— Что вы, княгиня, помилуйте! Это так — расстроенное воображение. Вы много танцевали, кровь ваша была в волнении, и какой-нибудь сон...

— Сон! — повторила Жозефина с грустной улыбкою. — Сон! Нет, я не спала... Послушайте, я расскажу вам все.

В продолжении сего чудного рассказа я беспрестанно смотрел на нее, надеясь подглядеть в глазах ее признаки бреда или горячки, но, кроме тихой и спокойной грусти, я не мог заметить ничего на ее бледном и усталом лице. То, что она мне рассказала, было так странно и в то же время носило на себе такой отпечаток истины, что все слова ее врезались в мою память, и я могу вам повторить ее рассказ без всякой ошибки и перемены, точно так, как будто бы слышал его вчера.

Жозефина, уложив спать своих гостей, заснула сама крепким сном часу во втором утра. Засыпая, она даже, сверх обыкновения, ни разу не подумала о Казимире. По ее догадкам, она спала уже более часу, как вдруг ей послышался тихий шелест, и на нее повеяло какою-то приятной весенней прохладою. Она проснулась. У самого ее изголовья стояла женщина в белом платье с остриженными волосами; на ней не было никаких украшений, кроме красного ожерелья на шее и черного пояса с стальной пряжкою. Несмотря на то что в комнате горела одна ночная лампада, Жозефина рассмотрела все это с первого взгляда. Лицо этой женщины было покрыто, или, лучше сказать, на него было наброшено короткое белое покрывало; она стояла неподвижно и держала руки, сложив крестом на груди. В первую минуту испуга Жозефина не могла выговорить ни слова, а потом, когда хотела позвать своих девушек и разбудить гостей, белая женщина подняла покрывало и сказала тихим голосом:

— Не пугайся, мой друг, это я!

— Боже мой! — вскричала Жозефина, — это ты, Казимира?.. Возможно ли? когда же ты приехала? — Она приподнялась, чтоб обнять свою невестку, но Казимира отступила шаг назад и прошептала едва слышным голосом:

— Не прикасайся ко мне, Жозефина! Еще не пришло время, когда тебе можно будет обнять меня и чувствовать, что ты меня обнимаешь. Я пришла проститься с тобою.

— Проститься?

— Да! разве ты забыла нашу клятву?

Тут Жозефина вспомнила все, и как вы думаете: испугалась или, по крайней мере, пришла в отчаяние? залилась слезами?.. Нет! она не чувствовала ни страху, ни горести; и то и другое овладело ее душою после, но в эту минуту она была совершенно спокойна.

— Итак, мой друг, ты умерла? — спросила она Казимиру.

— Да, я умерла в Париже. Мне отрубили голову.

— За что?

— За мою привязанность к французской королеве.

— Злодеи!..

— Не кляни, а благословляй их, Жозефина! Они отперли двери моей темницы.

— Твоей темницы?.. Какой темницы?

Привидение кротко улыбнулось и не отвечало ничего.

— Скажи мне, мой друг,— продолжала Жозефина,— страшно ли умирать?

— Да, точно так же, как страшно слепому от рождения взглянуть в первый раз на светлое солнце и ясные небеса.

— Ах! последняя минута должна быть ужасна!

— Да, мой друг! последняя минута ужасна; но зато первая!..

Неподвижные взоры привидения одушевились.

— И что я прочла в них! — говорила Жозефина, рыдая.— О! как ничтожно это чувство, которое мы все, минутные гости земли, называем нашей радостью и блаженством!

— Но мы должны расстаться,— сказало привидение.— Прощай, Жозефина! До свиданья... там — в нашей родине!..

— Постой, мой друг! — вскричала Жозефина.— Скажи, уверена ли ты, что мы опять увидимся?

— О, я не сомневаюсь в этом! Я вижу твою душу: она рвется из оков своих; она не любит своей неволи. Послушай...

Тут тень Казимиры наклонилась и прошептала несколько слов на ухо своему другу.

— Потом,— продолжала Жозефина,— глаза мои сомкнулись, мне послышалось, что в вышине надо мною раздаются какие-то неизъяснимо приятные звуки, и я или заснула опять, или лишилась чувств — не знаю сама; но только все исчезло.

— А что такое шепнула она вам на ухо? — спросил я с любопытством.

— Не спрашивайте меня об этом,— прервала Жозефина,— эти слова умрут — да!.. Они должны умереть вместе со мною.

Как я ни убеждал ее открыть мне эту тайну, все было напрасно. Я заметил только одно, что всякий раз, когда говорил с ней об этом, она начинала плакать; но эти слезы не были слезами горести.

Через три недели мы прочли в парижском журнале «Друг народа», что вскоре после убийства графини Ламбаль казнена была одна иностранка, и как, по обыкновению французских писателей, ни исковеркано было имя этой несчастной, но, к сожалению, нам нетрудно было отгадать в нем фамильное прозвание князей Лю......ких.

Исправник замолчал. Я слушал с большим вниманием его рассказ, но это не помешало мне заметить, что Заруцкий и Черемухин толковали о чем-то меж собою вполголоса, этот последний поглядел на свои часы, и в то самое время, как внимание наше было обращено на рассказчика, вышел потихоньку из кабинета.

— Ну, племянник,— промолвил, улыбаясь, хозяин,— что ты скажешь на это?

— Если б Алексей Дмитрич не был сам очевидным свидетелем этого происшествия,— отвечал Заруцкий,— то я сказал бы вам, что это просто сказки.

— Ну, а теперь что скажешь?

— Теперь скажу, что это странное стечение обстоятельств — не совсем обыкновенный случай, и больше ничего.

— Как ничего?

— Разумеется. Сон, который видела Жозефина, есть не что иное, как повторение того, о чем она беспрестанно думала наяву; и если б Казимира возвратилась благополучно из своего путешествия, то этот сон был бы забыт точно так, как тысячи подобных снов, которые не сбываются и о которых никто не говорит ни слова.

— Экой ты, братец, какой! Да ведь ты слышал, что это сбылось.

— Да что ж удивительного, когда из миллиона вздорных снов какой-нибудь один нечаянно сбудется! Например, если б жена морского офицера, который отправился кругом света, стала бы очень тосковать о своем муже, то, вероятно, часто бы видела во сне, что он утонул. И если в самом деле он погибнет на море, так вы скажете, что ей было это предсказано во сне?

— Да что ты наладил, племянник, во сне да во сне! Ведь ты слышал, что она видела это наяву.

— То есть ей казалось, что она не спала. Но, так и быть, согласен! Она видела это не во сне; так что ж? Разве не случается видеть наяву предметы, которые существуют только в одном расстроенном воображении нашем? Испытайте не поспать несколько ночей сряду, и вы увидите наяву такие диковинки, какие не пригрезятся вам никогда и во сне. Поговорите об этом с курьерами, которые скачут день и ночь, не имея времени соснуть ни на минуту. Я сам однажды видел на большой дороге, обсаженной одними липками, целые улицы огромных палат и дворцов, а, кажется, не спал и даже, чтоб не задремать и не свалиться с тележки, пел песни и разговаривал беспрестанно с ямщиком. Знаете ли, до какой степени может иногда приготовленное к чудесам воображение обманывать все наши чувства? Вот, например, теперь темная осенняя ночь, ветер воет, близко полуночи, и мы уже часа три сряду рассказываем друг другу страшные повести. Я уверен, что теперь каждый из нас, не исключая меня, гораздо более обыкновенного расположен к испугу и несравненно легковернее, чем во всякое другое время. Нечаянный стук, неожиданное появление какого-нибудь нового гостя, скрип двери, порыв ветра — одним словом, все может нас потревожить и показаться нам неестественным; и если б в эту самую минуту, как я с вами говорю, кто-нибудь, подмостясь, с надворья заглянул к нам в окно, то, без всякого сомнения, самое обыкновенное лицо показалось бы нам нечеловеческим.

— Вот еще вздумал чем пугать! — прервал хозяин, посматривая робко вокруг себя.

— Какой вздор! — сказал я, взглянув невольно на окно.

— Нет, не вздор! — продолжал Зарецкий. — Мы все имеем какую-то врожденную наклонность верить чудесному; и хотя страх — чувство вовсе не приятное, но мы любим это судорожное сжимание сердца, этот холод, которым обдает нас с ног до головы, когда нам кажется, что мы видим что-нибудь неестественное, и коль скоро мы дадим волю нашему воображению, лишь только оно возьмет верх над рассудком, то мы готовы верить всему, пугаться всего, и точно так же, как в сильной горячке хотя и сохраняем физические наши способности, а, несмотря на это, и видим, и слышим, и даже чувствуем все навыворот. Но вот, кажется, и полночь... чу!

На дворе стали бить часы.

— Как страшно завывает этот колокол, — продолжал Зарецкий, считая вполголоса удары. — Пять... шесть... Не правда

ли, что в этом звуке есть что-то могильное, зловещее? Восемь... девять... Как заунывно и протяжно раздается этот

Глагол времен — металла звон!..

Одиннадцать... двенадцать!.. Боже мой!.. Смотрите, смотрите!.. Что это?

Я вскрикнул, Кольчугин уронил на пол свою трубку, исправник и хозяин вскочили с своих мест, и все взоры, по направлению руки Заруцкого, обратились на одно из окон кабинета.

— Кой черт! — вскричал хозяин,— да что ж он видит? Не знаю, как вы, господа, а я не вижу ничего.

— И я также,— сказал Кольчугин, подымая свою трубку.

— Ах он проказник! — прервал исправник с громким хохотом,— смотри, пожалуй, как он всех нас переполошил! Ого! да ты, брат, славный актер,— продолжал исправник, обращаясь к Заруцкому.— Полно, полно, любезный! не кобенься — никого не обманешь.

Я взглянул на моего приятеля — нет, это не комедия! Его почти безумный и неподвижный взор был устремлен на среднее окно кабинета; все члены его дрожали, волосы стояли дыбом, а на помертвевшем лице изображался неизъяснимый ужас.

— Что ты, что ты, мой друг,— спросил я, подходя к нему,— что с тобою сделалось?

Заруцкий не отвечал ни слова.

— Не трогайте его,— сказал исправник,— он теперь на сцене и так сроднился с своею ролею, что не хочет с нею расстаться.

Вдруг послышались в коридоре скорые шаги, дверь отворилась, и вошел Черемухин.

— Фу, братец, как ты меня напугал,— проговорил Заруцкий, садясь на канапе,— насилу могу отдохнуть!

— Я тебя напугал? — повторил Черемухин.

— Да, ты.

— Чем, если смею спросить?

— Как чем? Я говорил тебе, когда часы на дворе будут бить полночь, чтоб ты при последнем ударе колокола заглянул к нам в окно, а никто не просил тебя закутаться в какой-то белый саван и надеть на голову женский чепец.

— Женский чепец?.. Что ты, в уме ли?

— Ну, вот еще!.. Запирайся!

— Помилуй, братец, да я и с крыльца не сходил.

— Что ты говоришь?

— Ну, да! Когда я вышел на крыльцо и увидел, что дождь льет как из ведра, так не погневайся, не заблагорассудил промокнуть до костей, чтоб для твоей забавы выкинуть проказу, за которую и маленьких детей секут.

— И ты не смотрел к нам в окно?

— Нет.

— Послушай, Александр! — вскричал Заруцкий, побледнев снова, — эта шутка никуда не годится.

— Какая шутка?.. Ах, батюшки! да что с тобою сделалось?

— Говори правду, я это требую.

— Тьфу, пропасть! да если ты мне не веришь, так ступай в переднюю и спроси у людей. Я тебе говорю, что я не только не заглядывал к вам в окно, но даже и с крыльца не сходил. Слышишь, какой идет дождь!.. Если б я был на дворе, то на мне бы сухой нитки не осталось, а вот, посмотри!.. На, пощупай мое платье!.. Ну, что, был ли я под дождем?

Приятель мой замолчал.

— Да разве ты в самом деле что-нибудь видел? — спросил я его вполголоса.

Он сжал крепко мою руку и прошептал прерывающимся голосом:

— Да, мой друг!.. Я видел... О, что я видел!

— Да что такое?

Заруцкий, не отвечая на мой вопрос и как будто бы говоря с самим собою, сказал:

— Кажется, сегодня суббота... Да! точно, суббота...

— А если хочешь, так и воскресенье: двенадцать часов уж било. Да скажи мне...

— Нет, мой друг! Быть может, это один обман моих чувств... Мне могло показаться!.. Но я видел это так ясно, — промолвил он, поглядев с невольным содроганием на среднее окно кабинета, — вот тут!.. против меня!..

— О чем вы, господа, там перешептываетесь?

— Так, дядюшка, ничего! — сказал Заруцкий, стараясь улыбнуться.

— Опять какой-нибудь заговор, чтоб перепугать нас, — подхватил исправник. — Да не трудитесь, господа! Не знаю, как другие, а я за себя отвечаю, два раза сряду не испугаете.

— Ну, не ручайся, любезный! — прервал хозяин. — Если б ты знал историю моего дома и то, что некогда случилось в этой самой комнате, где мы теперь беседуем, то не стал бы так храбриться. Я давно уже здесь живу и благодаря бога никаких

страстей не видывал, а как вспомню про эту ужасную историю, так, признаюсь, меня и в Петровки мороз по коже подирает.

— А, кстати, Иван Алексеевич! — подхватил исправник,— расскажи-ка нам это предание. Мне давно уже хотелось узнать подробнее об этом *ночном поезде,* о котором так много толкуют во всем нашем уезде.

— И, верно, всякий по-своему,— заметил хозяин.

— Да, каждый по-своему, в одном только все согласны, что эта сказка имеет какое-то истинное происшествие.

— А почему вы называете это предание сказкою? — спросил я исправника.

— Потому, что оно с начала до конца походит на сказку.

— А то, что ты нам сейчас рассказывал,— прервал с улыбкою Черемухин,— чай, по-твоему, история?

— О, это другое дело! — сказал я.— Появление умершей — это сообщение мира невещественного с миром земным; это гармоническое сочувствие душ, доказывающее небесное наше начало; и способность проявления в видимых формах существ, не подчиненных никаким физическим законам, может менее или более оправдаться понятием нашим об организации... то есть о внутренней способности существа бестелесного, которое в отношении своем к внешним предметам... то есть к видимому или, лучше сказать, к вещественному миру... Но, может быть, вы меня не понимаете?

— Помилуйте! — вскричал преважно Черемухин.— Как не понять, это ясно!

— Смейся, смейся! — прервал исправник.— О, человек совершенно земной! Ты понимаешь и веришь только тому, что дважды два — четыре.

— А тебе бы хотелось, чтоб дважды два было пять?

— Да что с тобой говорить! — продолжал исправник.— Расскажите-ка нам лучше, Иван Алексеевич, эту страшную историю, от которой, как вы сами говорите, и вас иногда мороз по коже подирает.

— Да уж не поздно ли, господа? — сказал хозяин.

— Ах, сделайте милость! — вскричал я.— Мне завтра поутру должно с вами проститься; так я, может быть, никогда ее не услышу.

— Ну, так и быть! — продолжал хозяин.— Только если вы станете зевать, так прошу припомнить, что теперь уже за полночь, и что благодаря бога мы все, кажется, бессонницей не страдаем. Ну, слушайте, господа!

— Давным-давно, то есть при царе Алексее Михайловиче... Или нет! при батюшке его, государе Михаиле Феодоровиче, это Хоперское поместье принадлежало стольнику Варнаве Глинскому, пращуру отца покойной Софьи Павловны, по смерти которых я купил его — говорят, дорого, а по мне, так задаром,— примолвил Иван Алексеевич, взглянув на окно, из которого днем видны были церковь и приходское кладбище.— Этот Глинский,— продолжал он,— славился в свое время не хлебосольством и разумом, не удальством и молодечеством, которые в крови у всякого русского, но буйством, развратом, грабежом и дневными разбоями, а что всего хуже, он был отъявленный чернокнижник и жил в ладу с самим сатаною. Десять лет сряду сидел он на Хопре, как дикий зверь на перепутье. Когда он выезжал с своею челядью и холопями позабавиться охотою или спускался вниз по реке на косной лодке с белым парусом, то все соседние мужички и бедные помещики дрожкой дрожали и, словно от татарского погрома, прятались по лесам и угоняли скот верст за двадцать. Ну, что ты на меня так посматриваешь, Алексей Дмитрич? Чай, думаешь про себя: вот какую околесную несет! А наша братья исправники-то на что?.. А земская полиция?.. Эх, любезный! Тогда было не то, что теперь; времена смутные: то поляки приступят к Москве, то Лисовский с своими налетами начнет разгуливать по матушке святой Руси; и ляхи, и татары, и ереси всякие, и бунты стрелецкие... Да что говорить! Было времечко для разбойников: погуляли, потешились, и кто бога не боялся, на того и суда не было. Так дивиться нечему, что этот богоотступник Глинский делал что хотел: грабил на больших дорогах, вешал и топил в Хопре земских ярыжек, сбирал оброк с своих соседей и держал в ежовых рукавицах сердобского воеводу, который не смел и носу показать из города. На место старых деревянных хором он выстроил эти каменные палаты, обнес их толстым дубовым тыном, наставил белых изб и клетей для своей дворни — словом, сделал из господской усадьбы такой красивый посад, что и сам бы город Сердобск ему в пригородье не годился. Но зато бо́льшая половина его крестьян жила в землянках, приходская церковь совсем обвалилась, а колокольня в сильный ветер, словно ветхая голубятня, скрипела и покачивалась из стороны в сторону.

У этого Глинского была одна только дочь; бедняжка осталась еще в ребячестве сиротою. Глинский возненавидел свою жену за то, что она родила ему дочь, а не сына, осыпал ее беспрестанно ругательствами и под пьяную руку бивал чем ни

попало. А так как он и в страстную пятницу разрешал на вино и елей, то не проходило почти дня, чтоб его жене не доставалось, и она, горемычная, месяцев через шесть после первых родов зачахла и умерла от побоев своего мужа. С тех пор прошло годов пятнадцать; бедная сиротинка росла да росла, и хоть ее житье было плохое и за ней почти никакого ухода не было, но она, как полевой цветок, который бережет и лелеет один бог небесный, так выравнялась и похорошела, что даже батюшка ее какой ни был зверь, а не мог подчас на нее не полюбоваться.

Несколько раз пытались окружные дворяне и сердобский воевода поунять разбой Глинского; но он всякий раз давал такой отпор, что надолго отбивал у них охоту с ним схватываться. Вот однажды удалось им собрать человек до пятисот стрельцов и вооружить холопей; они думали, что с такой силою им нетрудно будет не только захватить живьем Глинского и всю его шайку, но даже и каменные его палаты разметать по кирпичику, ан вышло совсем не то. Глинский встретил их на большой дороге с своими молодцами, которых и полсотни не было, а земскому войску показалось, что на него идет несметная рать. Холопи дрогнули и пустились наутек; стрельцы сначала подержались, да как увидели, что от Глинского пули отскакивают и бердыши об него ломаются, так на них нашел такой страх, что и они также ударились бежать без оглядки. Глинский с своей шайкою гнал их вплоть до городской заставы, втоптал в грязь и перерезал более половины, а сам воротился в свой разбойничий вертеп, не потеряв ни одного человека. После такой острастки не только все окружные дворяне, да и сердобский воевода нос повесил. Делать было нечего, пришлось на время покориться и, сидя у моря, ждать погоды. В Москве было не до них: к ней подступали поляки, а гнева царского и опальных грамот Глинский не боялся. Одно только наводило на него страх и ужас: этот разбойник, которого ничем испугать было невозможно, этот злодей и чернокнижник Глинский трусил — как вы думаете — чего?.. Смешно сказать!.. Он до смерти боялся коршунов. С утра до вечера вокруг дома и села ходили люди с заряженными ружьями, и тот, кому, бывало, посчастливится застрелить коршуна, нес его прямо к дворецкому и получал от него два алтына денег и штоф романеи...

— Романеи! — прервал Заруцкий. — Извините, дядюшка, я не думаю, чтоб в старину простые люди пили штофами бургонское вино.

— Да кто тебе говорит о бургонском вине? у наших стариков важивалась настойка, которую звали романеею.

— Однако ж, известное бургонское вино...

— Зовут точно так же?.. Так что ж?.. Вот то-то, племянник, если б ты поменьше знал французских, а побольше русских слов, так не попадался бы впросак как безграмотный и не мешал бы мне рассказывать...

— Виноват, дядюшка, но я читал в одной критике...

— Эх, братец, охота тебе читать всякий вздор!.. Постойте-ка! на чем бишь я остановился?.. Да! на том, что Глинский боялся до смерти коршунов. Причина этого непонятного страха долго была для всех загадкою; но так как под конец все на свете открывается, так вот что дошло до нас об этом по изустному преданию. Глинский, точно, был чернокнижником и помыкал сатаною, как своим крепостным холопом. Да ведь лукавый даром ничего не делает: он пошел к Глинскому в кабалу, но только с тем условием, чтоб он также дал ему на свою душу рукописание, в котором было сказано, что на этом свете демон повинуется ему во всем, охраняет его от огня, воды, меча и всякого другого оружия и не имеет сам над ним никакой власти до тех пор, пока черный коршун не приютится под его кровлею и не совьет гнезда, чтоб жить вместе с белой горлинкой. Теперь и вам нетрудно будет догадаться, почему Глинский коршунов не жаловал и отчего бледнел и дрожал всякий раз, когда эта хищная птица появлялась над кровлею его дома.

Из всех своих челядинцев Глинский особенно любил одного молодого парня, который прозывался Соколом. И подлинно, он был детина удалой и годился бы в есаулы знаменитому Стеньке Разину. И его обычай, и черный с лоском ус, и окладистая борода, и рост, и сила богатырская — все в нем было по сердцу Глинскому. Никто не знал, откуда он был родом. Однажды в бурную осеннюю ночь приехал этот Сокол один-одинехонек на борзом персидском коне, вошел без доклада к Глинскому и объявил ему, что его зовут Андреем, по прозванью Соколом; что он из московских жильцов, что ему наскучило служить царю-государю и кланяться в пояс думным боярам и что, узнав о привольном житье Глинского, он приехал к нему нарочно за тем, чтоб предложить свои услуги. Глинский принял его в число своих приближенных челядинцев и через несколько месяцев до того к нему привык, что решился выдать за него свою единородную дочь.

Вот этак недели за три до свадьбы на отъезжем поле загорелось вдруг Глинскому повидаться со старинным своим приятелем, засурским помещиком Сицким, таким же, как и он, буяном и разбойником. Этот Сицкий лет десять сряду шатался по белу свету, приставал ко всем крамольникам, был года два

лисовчиком и только что месяца три как воротился в свою наследственную вотчину. Глинский не любил ничего вдаль откладывать: он послал сказать Андрею Соколу, который на охоту не выехал, что препоручает ему на время свой дом, и, не сказав никому, куда едет, отправился прямо с поля в сопровождении двух или трех слуг в засурскую волость своего приятеля. Это неожиданное посещение очень обрадовало Сицкого; пошла гульба и пированье: господа с утра до вечера пили, ели, прохлаждались, песельники орали во все горло, крестьянки и дворовые девки играли в хороводы перед окнами, и во весь тот день на барском дворе был такой содом и гомор, что когда ударили в колокол к вечерне, то никому в голову не пришло и лба перекрестить. За ужином Сицкий стал похваляться своим удальством и рассказывал, как он остановил на большой дороге целый обоз и выпряг для себя из возов что ни лучших шесть коней, как он среди бела дня сделал порубку в заповедном лесу у соседа и во все лето кормил свои табуны подножным кормом на чужих полях.

— Ну, есть чем похвастаться! — сказал Глинский, подбоченясь.— Ах ты, горе-богатырь! Видно, у вас по Суре-то все молодцы перевелись. Удалось тебе выпрячь шесть кляч из возов, нарубить дровец в чужом лесу да пощипать у соседа травки, так ты и лба не уставишь — и это, по-вашему, удальство? Ох вы, щепетильники, щепетильники!.. Нет, любезный! мы на Хопре не так потешаемся: выедем погулять, да как разыграется кровь молодецкая и расходятся руки богатырские, так после нас шаром покати — чистехонько, как у тебя на ладони! Бери все, что ни попалось, души всякого, кто ни повстречался! Мы ведь не по-вашему: на большой дороге с подьячим тягаться не станем, с купцом не торгуемся; а коли захватили целую семью горожан, так мигом суд и расправа: старуху-мать в Хопер, братца — кистенем по лбу, отца — на осину, а дочку на барский двор — вот это удальство!.. Да постой-ка, любезный, у меня будет в Фомин день, ровно через две недели, большое веселье — пир на весь мир — дочь выдаю замуж. Милости просим на свадьбу в посаженые отцы к моей Варваре, а там выедем поохотиться на большую дорогу, и ты посмотришь сам и расскажешь своим засурским приятелям, как на Хопре веселятся добрые молодцы.

Хозяин обещался приехать, а Глинский, погостив у него денька три, отправился в обратный путь и доехал благополучно домой.

Вот уж остался один день до свадьбы, вот и девичник справили. Беззащитная дочь Глинского заливалась горькими слезами: она была девица кроткая, благочестивая и не могла

подумать без ужаса, что будет женою этого разбойника Сокола. Три ночи уж сряду бедная сиротинка рыдала и молилась перед святыми иконами; днем она не смела ни плакать, ни молиться: злодей Глинский грозился убить ее из своих рук, если она станет грустить или хоть наморщится, когда священник поведет ее вокруг налоя. Вот наступил и Фомин день, отпели заутреню, ударили к часам, а Сицкий все не едет. Вот и обедня отошла, а посаженого отца нет как нет. Я вам уж сказывал, что Глинский не любил ничего откладывать, и когда заблаговестили к вечерне, то он закричал как бешеный: «Не хочу дожидаться посаженого отца! Ступайте под венец!» И вот длинный поезд потянулся от барского двора до церковной паперти. Вечерня кончилась, и началась венчальная служба. Стоя перед налоем подле будущего супруга и повелителя, полумертвая сирота глотала свои слезы, старалась улыбаться и тихо, но твердым голосом отвечала на вопросы священника; словом, все было в порядке, а, несмотря на это, старики покачивали головами. «Эх, не ладно! Эх, не к добру!» — шептали меж собою все барские барышни и сенные девушки. И подлинно, было чего испугаться: свеча, которую держала молодая, пылала ясным и чистым огнем, но та, с которою стоял Сокол, горела тускло, дымилась, как погребальный светоч, и без всякой причины три раза сряду гаснула.

Когда венчанье кончилось, то Глинский, как сущий богоотступник, не дав молодым приложиться к местным иконам, повел их вон из церкви, и поезд двинулся обратно на барский двор.

— Что это шумит там, вдали? — спросил Глинский, садясь на коня, — уж не едет ли наш запоздалый гость?

— Никак нет, барин! — отвечал один из слуг. — Нам гостей надо ждать не с этой стороны. Ведь это что-то гудит там, за Волчьим оврагом.

— Вы, господа, все хорошо знаете этот овраг, — продолжал Иван Алексеевич, обращаясь к своим собеседникам, — теперь зовут его Чертовым Беремищем. Он был в старину сборным местом шайки Глинского и кладбищем всех проезжих, зарезанных разбойниками на большой дороге.

— Это верстах в двух от вашего дома? — сказал я.

— Нет, версты полторы, больше не будет, — отвечал хозяин. — Ну вот, — продолжал он. — Молодые уселись за свадебный стол; пошло пированье, — заздравный кубок начал переходить из рук в руки, все начали пить и веселиться; один только Глинский сидел, нахмурив брови, и прислушивался с беспокойством к отдаленному гулу, который час от часу становился сильнее. Вот уж дело пошло за полночь, вдруг двери на-

стежь отворились, и давно жданный гость, приятель Сицкий, вошел в столовую.

— Хорош посаженый отец! — вскричал хозяин, вскочив из-за стола и идя к нему навстречу. — Уж мы тебя ждали-ждали, да и ждать-то перестали.

— Виноват, любезный, — отвечал Сицкий, — позамешкался, выехал из дому, да вот у твоей околицы близко часу провозились. Что за диковинка такая?.. И подо мной и под моими холопями кони словно белены объелись: храпят да упираются! Уж мы бились-бились, ну, хоть зарежь — ни с места! Я оставил моих ребят в поле, а сам дошел пешком до твоего дома. Да что, иль к тебе еще гости едут?.. Вон там, правее, за лесом такой шум, гам и свист, что и сказать нельзя. Ну вот, слышишь?

— Слышу, — отвечал Глинский, посматривая робко вокруг себя, — но только я никаких гостей не жду.

— Постойте-ка, дядюшка, — прервал Зарецкий, — никак ваш рассказ на деле свершается? Слышите ли, какой гул идет за дубовой рощею?

— Видно, ветерок разыгрался, — сказал Иван Алексеевич, взглянув на окно. — Ведь здесь как подымется погода, так по оврагам и перелескам пойдет такой вой, что и боже упаси!.. Да не перерывай меня, племянник!.. Ну, вот опять сбил!.. Да!..

— Но что ж мы стоим у дверей, — продолжал Сицкий, — подведи меня к молодым.

— Вот они! прошу любить и жаловать, — сказал хозяин, подходя с своим гостем к столу, за которым сидели новобрачные.

— Ба, ба, ба! — вскричал Сицкий, отступая с удивлением назад, — что это?.. Уж не мерещится ли мне?.. Нет!.. Так вот твой зять! — промолвил он, указывая на Сокола, который вдруг побледнел как мертвец.

— Ну да! чему ж ты дивишься?

— И ты выдал за него свою дочь?

— Так что ж? Он дворянского отродья, служил жильцом в Москве и хоть роду не знаменитого...

— Да, братец, да! Он точно роду не знаменитого, — подхватил с громким хохотом Сицкий, — его мать была цыганка, а отец — татарин.

— Ты лжешь! — закричал Глинский.

— Да если я лгу, так что ж твой дорогой зять не вымолвит ни словечка? Иль у него язык отнялся?

В самом деле, Сокол сидел как приговоренный к смерти и не только не мог выговорить ни слова, но не смел поднять глаз и взглянуть на своего тестя.

— Не ведаю, служил ли он жильцом в Москве,— продолжал насмешливо Сицкий,— а знаю наверное, что во всей лагерной челяди панов Лисовского и Сапеги не было ни одного коновала досужее и коновала удалее твоего любезного зятюшки.

Около минуты просмотрел Глинский молча на своего зятя; вдруг глаза его засверкали, и он сказал грозным голосом:

— Все равно! Теперь он зять мой и, если кто-нибудь дерзнет порочить Андрея Сокола...

— Да разве его зовут Соколом? — спросил Сицкий.

— А почему же и не так? Он молодец из молодцов и поделом прозывается ясным Соколом.

— О, если так, то прошу прощенья! — подхватил Сицкий.— Коли он заелся в чины, так, видно, в самом деле был на службе царской. Шутка ли, подумаешь! из коршунов махнул прямо в соколы.

— Из коршунов? — вскричал Глинский.

— Ну да! его теперь прозывают Соколом, а в наше время он звался просто Черным Коршуном.

— Черным Коршуном! — повторил страшным голосом хозяин.

Взоры всех присутствующих невольно устремились на Глинского, все с трепетом ожидали чего-то ужасного. Вдруг завыл буйный ветер, погасли свечи перед святыми иконами, а над трубою дома закаркал ворон и прокричал человеческим голосом:

— Глинский! черный коршун приютился под твоею кровлею!

— И свил гнездо, чтоб жить вместе с белой горлинкой,— промяукал мохнатый кот, выглядывая из-за печки.

Стук, стук! — раздалось под окном, и отвратительный сиповатый голос прохрипел:

— Глинский, выходи на крыльцо, принимай гостей!

Вдруг сверкнул в руке Глинского широкий нож, и Сокол повалился мертвый на землю. Как безумный бросился убийца вон из столовой и пробежал в эту самую комнату, где мы теперь сидим и в которую кроме его никто не хаживал. Он схватил большую книгу в черном переплете, хотел ее раскрыть — да не тут-то было! Железные застежки как будто бы спаялись, книга не развертывалась, а за лежанкою и по всем углам поднялся такой нелепый хохот, что чародейная книга выпала из онемевших рук его. Меж тем все небо вспыхнуло

и зарделось, как от сильного пожара, и тут-то начался этот *ночной поезд*, который, по словам стариков, каждые двадцать пять лет в тот же самый день и час повторяется и поныне в этом доме. По дороге от Волчьего оврага показались незваные гости; вокруг их ревела буря, и от конского топота широкие поля тряслись, как зыбкое болото. Впереди всех ехал на лошадином остове удавленный накануне свадьбы купец в белом саване; за ним тянулся длинный ряд мертвецов: кто с перерезанным горлом, кто с размозженной головой, и при свете кровавого зарева не видно было и конца этому ужасному поезду. Они подъехали к барскому двору, с громким скрипом распахнулись ворота...

Иван Алексеевич замолчал.

— Ну что ж вы, дядюшка, остановились? — спросил Заруцкий.

— Постой-ка, брат Алексей! — шепнул хозяин,— что это такое?.. Слышите?

— Да,— сказал Кольчугин,— это уж не ветер воет.

Мы все стали прислушиваться: в самом деле, что-то похожее на свист, песни и громкий человеческий говор сливалось с воем ветра. По временам можно было даже различить стук колес по неровной дороге и сильный конский топот.

— Кому бы, кажется, ехать так поздно? — промолвил почти с робостию хозяин.— Большая дорога отсюда далеко, а к себе я никого не жду. Уж не подгулял ли мой приказчик? Чего доброго, пожалуй, вздумает прокатить гостей по селу. Ведь он сегодня справляет свои именины.

— А как его зовут? — спросил я.

— Его зовут Фомою.

— Фомою! — повторили мы все в один голос и взглянув невольно друг на друга.

— Итак, сегодня Фомин день? — сказал я.— Тот самый, в который...

— Чу! — вскричал исправник.— Слышите ль?.. Отпирают ворота!

Вдруг как будто бы целая ватага пьяных с неистовым криком хлынула на барский двор, как бешеные подскакали к подъезду, и шум от скорых шагов, по-видимому, многолюдной и буйной толпы людей раздался на крыльце. У нас в комнате было тихо, как на кладбище, мы все едва смели дышать; один Кольчугин казался поспокойнее других, но зато на хозяине и на остальных гостях лица не было.

— Господи боже мой,— прошептал, заикаясь, Черемухин,— да что ж это такое?.. Слышите ли? они в сенях... Если это гости, так зачем они нейдут налево, в переднюю? Они подходят к нашей стене... Чу!.. Что это?

Вот с треском и громом посыпались кирпичи и отбитая штукатурка на каменный пол сеней.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вскричал хозяин.— Слышите ль? они проламывают закладенные двери!.. они хотят ворваться в эту комнату!.. Так точно!.. Господа, это *ночной поезд!*

Мы все повскакали с наших мест. Стук беспрестанно увеличивался. Вот уж в стене остается один только ряд кирпичей... Мы ясно слышим какой-то странный говор, крик, дикий хохот... Вот падают последние кирпичи... Один только ковер, которым прикрыты были закладенные двери, отделяет нас еще от сеней. Вдруг свежий, холодный воздух врывается в наш теплый покой, ковер начинает колебаться, и мы все бросаемся стремглав вон из комнаты!

— Тише, господа, тише! — закричал Кольчугин.— Вы перебьетесь до смерти: здесь так темно, что зги не видать!

И подлинно, мы все как полоумные бежали по коридору, спотыкались, падали и давили друг друга. Вот кой-как мы выбрались на простор, но все еще в потемках. Парадные комнаты не освещены; только в одной столовой светится огонек: мы бросились туда. Все люди Ивана Алексеевича, робко прижавшись один к другому, стоят в куче посреди комнаты; в передней никого, а в сенях ужасная возня, которая вовсе не утихает, а становится час от часу сильнее.

— Да что ж мы, в самом деле, так опешили? — проговорил наконец Кольчугин.— Нас человек двадцать: чего нам бояться? Я один-одинехонек ужинал с целой дюжиной чертей, да ведь ничего же со мной не было. Эх, господа! что робеть, то хуже! Дайте-ка мне свечу!.. Ну-ка, ребятишки, перекреститесь да с молитвою за мной!

Мы все толпою двинулись за нашим предводителем. Почти рядом с ним шел хозяин, а позади всех, едва переставляя ноги, тащился насмешник Черемухин. Вот мы вошли в переднюю. Кольчугин приостановился у сенных дверей, оградил себя крестным знамением; мы все — и слуги и господа — кто про себя, кто вслух творили молитвы, и хотя трепещущим голосом, но громче всех восклицал: «Да воскреснет бог!» — наш полумертвый от страха ариергард. Кольчугин, держа в одной руке свечу, толкнул другою двери; они распахнулись. Все наше христолюбивое воинство заколебалось, попятилось назад

и примкнуло к ариергарду, который сделал уже налево кругом и приготовился к ретираде.

— Смелым бог владеет! — закричал Кольчугин, переступая через порог.

И что ж?.. О чудо!.. Вдруг все замолкло: и стукотня, и шум, и крик. За Кольчугиным вошел хозяин, за ним — исправник, я и Заруцкий, за нами — вся толпа слуг, а часть ариергарда, то есть Черемухин остался в лакейской и высунул только из дверей свою голову. Наш храбрый предводитель поднял кверху свечу: в сенях никого! Мы кинулись к закладенным дверям; ни один кирпич не выломан, штукатурка не обита; кругом все смирно, тихо; половая щетка, приставленная к стене, и несколько изломанных стульев стоят преспокойно на своих местах; дверь на крыльцо заперта, и даже крючок не вынут из пробоя...

На другой день рано поутру я простился, и, к несчастью, навсегда, с добрым и почтенным Иваном Алексеевичем. Я думал прожить несколько дней в Сердобске, чтоб похлопотать о своем деле, но вместо того должен был провести целый месяц в деревне Заруцкого. Бедный мой приятель едва не умер от отчаяния: он оставил свою невесту совершенно здоровою и нашел ее в гробу. Она занемогла поутру в субботу, а ночью на воскресенье, *ровно в двенадцать часов,* скончалась, назвав его в последний раз по имени.

ИЗ ЦИКЛА
"МОСКВА И МОСКВИЧИ.
ЗАПИСКИ
БОГДАНА ИЛЬИЧА
БЕЛЬСКОГО,
ИЗДАВАЕМЫЕ
М. Н. ЗАГОСКИНЫМ"





ОТ ИЗДАТЕЛЯ



не люблю читать предисловий, очень редко пишу их сам и всегда стараюсь, чтоб они были как можно короче, но на этот раз должен поневоле отступить от моего правила и начать эту книжку следующим предисловием, или, как говорилось в старину, кратким *возглашением.*

Любезнейшие читатели и почтеннейшие читательницы! Хотя на заглавном листе этой книжки напечатано, что я только издатель, а сочинитель ее Богдан Ильич Бельский, но, может быть, вы примете это за шутку. Чтоб уверить вас в противном, мне должно рассказать, по какому случаю я сделался издателем этих записок.

Месяца три тому назад, возвратясь домой после обыкновенной моей утренней прогулки, я нашел на своем письменном столе огромный запечатанный пакет без надписи; по словам моего человека, его принес незнакомый слуга, весьма опрятно одетый, но какой-то грубиян, потому что на все расспросы моего Андрея, кто он таков и от кого прислан, отвечал только: «Велено отдать твоему барину». Наружная форма и толщина этого пакета ничего доброго не предвещали. «Ахти! — вскричал я,— верно, какая-нибудь переводная мелодрама или комедия, переделанная на русские нравы! Да неужели я должен публиковать в газетах, что это уже вовсе до меня не касается и что я не обязан *по долгу службы* читать почти каждый день драматические произведения семинаристов, гимназистов и даже глубокомысленных московских гегелистов, из которых некоторые весьма усердно занимаются театром!..» Я распечатал пакет: письмо на мое имя и кругом исписанная тетрадь; однако ж не драматическое сочинение, а записки какого-то Богдана Ильича Бельского.— Прочтем, что он ко мне пишет.

«Милостивый государь! (я не прибавлю *мой,* потому что вы старее меня чином)».

— Ого,— подумал я,— да это какой-то старовер! Он еще держится правила: «Чин чина да почитает». Посмотрим, чего он от меня хочет.

«Я вас давно уже знаю, мне случалось иногда встречаться с вами в разных обществах, вероятно, и вы также меня знаете, но только под настоящим моим именем. Хотя принятое мною в этих записках прозвание Бельского могло бы, по всей справедливости, принадлежать мне как единственному и прямому наследнику этого знаменитого исторического имени, но я решился остаться при моем, весьма обыкновенном, которое ни разу не упоминается в русских летописях; следовательно, весьма прилично человеку с умеренным состоянием и вовсе нечиновному, потому что у нас,— да, я думаю, и везде,— для поддержания знаменитого имени необходимы или богатство, или чины. Ну рассудите сами, какую жалкую роль играет человек с громким историческим именем, если он сам по себе ровно ничего не значит? Представьте, как смешно или, лучше сказать, грустно было бы видеть отставным коллежским регистратором Скопина-Шуйского или становым приставом какого-нибудь князя Пожарского! Но я, может быть, надоел вам моей болтовнею, а мне нужно поговорить с вами об одном весьма важном для меня предмете. Вот в чем дело: я давно уже веду записки,— не о домашней моей жизни: в ней не было ничего особенно замечательного,— но о всем том, что касается до Москвы и ее жителей, относительно их частного, политического и исторического быта. Я изучал Москву с лишком тридцать лет и могу сказать решительно, что она не город, не столица, а целый мир — разумеется, русский. В ней сосредоточивается вся внутренняя торговля России; в ней процветает наша ремесленная промышленность. Как тысячи солнечных лучей соединяются в одну точку, проходя сквозь зажигательное стекло, так точно в Москве сливаются в один национальный облик все отдельные черты нашей русской народной физиономии. Европейское просвещение Петербурга; не вовсе чуждое тщеславия хлебосольство наших великороссийских дворян; простодушное гостеприимство добрых сибиряков; ловкость и досужество удалых ярославцев, костромитян и володимирцев; способность к письменным делам и необычайное уменье скрывать под простой и тяжелой наружностью ум самый сметливый и хитрый — наших некогда воинственных малороссиян; <...> страсть к псовой охоте степных помещиков;

щегольство богатых купцов отличными рысаками; безусловное обожание всего чужеземного наших русских европейцев и в то же время готовность их умереть за славу и честь своей родины; безотчетная ненависть ко всему заморскому наших запоздалых староверов, которые несмотря на это не могут прожить без немецкой мадамы или французского мусью; ученость и невежество, безвкусие и утонченная роскошь, одним словом, вы найдете в Москве сокращенье всех элементов, составляющих житейский и гражданский быт России, этого огромного колосса, которому Петербург служит головою, а Москва — сердцем. Москва — богатый, неисчерпаемый рудник для каждого наблюдателя отечественных нравов. Может быть, во мне недостало уменья разработать как следует этот богатый рудник; впрочем, и то хорошо, если мне удалось открыть его и указать человеку более меня искусному, где должен он искать не одной руды, вовсе не походящей на металл, который в ней скрывается, но чистых самородков, не всегда золотых — это правда, но ведь золото везде редко, а томпак, семилер и всякая другая блестящая композиция, которую иногда стараются выдавать нам за пробное червонное золото, право, не стоят нашего простого железа... Да об этом после; дело состоит в том, что я решился напечатать мои записки.

Я человек не очень богатый, так прежде всего должен был подумать о том, во что мне обойдется издание этой книги, а для этого мне нужно было посоветоваться с человеком знающим и опытным. Вы, вероятно, слыхали о книгопродавце Иване Тихоновиче Корешкове; мы с ним люди знакомые — я даже прошлого года крестил у него сына.

«Чего ж лучше,— подумал я,— мой куманек тридцать лет занимается книжной торговлею, так уж, верно, сочтет мне по пальцам, что будут стоить бумага, печать, обертка — одним словом, все, а может статься, и манускрипт у меня купит: это было бы всего лучше».

Лишь только я хотел послать за Иваном Тихоновичем, а он ко мне и в двери.

— А, любезный куманек! — вскричал я,— милости просим... Очень кстати! ведь у меня есть до тебя дельце.

— Рады служить, Богдан Ильич! что прикажете? — сказал Корешков с низким поклоном.

— Садись-ка, любезный!.. Вот изволишь видеть: ты знаешь мои записки?

— Как же, батюшка, вы мне еще прошлого года читали из них разные этакие штучки — очень интересно!

— Я хочу их напечатать.

— Ну что ж, сударь, с богом!

— Да вот что: я человек непривычный, до смерти боюсь всяких хлопот. Знаешь ли что, любезный? Купи у меня манускрипт в вечное и потомственное владение: я дешево продам.

— Нет, Богдан Ильич,— извините! Мы этим не занимаемся. Дело другое на комиссию...

— Впрочем,— продолжал я с видом совершенного равнодушия,— для меня все равно, книга моя не залежится. Уж одно название этих записок разлакомит покупщиков: «Москва и москвичи»!

— Да-с! название бенефисное.

— А как ты думаешь, куманек, дорого мне будет стоить напечатать эту книгу?

— Да если всю, так не дешево-с.

— Как всю? да разве можно будет печатать ее по частям?

— А почему же нет, Богдан Ильич? Ведь если я не ошибаюсь, так книга ваша, так сказать, отрывочная, то есть не то чтоб какой-нибудь романчик или история, а вот вроде тех, которые выдаются теперь в Петербурге: «Сто писателей», «Сказка за сказкой» и прочие другие. Вы не извольте только выставлять на заглавном листе: «Часть первая», «Выход» или «Выпуск первый».

— Да разве это не все равно?

— Помилуйте! уж кто написал «Часть первая», так как будто бы обещает вторую часть непременно, а «Выпуск» что значит?.. Будет, дескать, время, так выпущу другую, а нет — так не прогневайтесь!..

— А что ты думаешь? ведь это правда.

— Как же, батюшка!.. Одну книжку напечатать не фигура и можно дешевле пустить, так авось и поразберут, а там, если она понравится да пойдет, так и выпускайте себе вторую, третью — сколько душе вашей угодно.

— Спасибо, куманек, за добрый совет. Итак, решено: я буду выдавать мои записки отдельными книжками; их число и время их выходов будет совершенно зависеть от моей воли и от приема, который сделает им публика.

— Да-с! только смею вас спросить: вы объявите свое имя?

— Нет, я хочу назваться в моих записках Бельским.

— А, понимаю-с! это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим... как бишь они называются?

— Псевдонимы.

— Да-с! точно так-с. Только, воля ваша, Богдан Ильич, напрасно-с! это не даст ходу вашей книжке.

— Так ты думаешь, что лучше выставить на заглавном листе мое настоящее имя?

— Оно, если хотите, сударь, все равно. Не прогневайтесь, батюшка, вы по книжному делу человек вовсе неизвестный. Вот если бы вы уж печатали да вас разика два похвалили в «Библиотеке», в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» или в «Русском вестнике», так это бы другое дело, а хоть будьте вы человек распреумный, с большим талантом...

— Да что ж еще надобно?

— Имя, сударь, имя! это всего нужнее в нашей книжной коммерции.

— Да где ж мне прикажешь его взять?..

— Вот то-то и дело! Не знакомы ли вы с каким-нибудь сочинителем, который в ходу, то есть которого все знают?.. Попросите его...

— Что, что,— вскричал я, вскочив с моих вольтеровских кресел,— да неужели ты думаешь, что я допущу кого бы то ни было называться сочинителем моих записок?

— Позвольте!..— прервал Корешков, вставая также с своего стула.

— Чего тут позвольте! — продолжал я весьма неравнодушно.— Стану я из подлых барышей прибегать к таким средствам!.. Я трудился, писал, и, надеюсь, не вовсе дурно, а кто-нибудь другой...

— Да выслушайте, Богдан Ильич...

— Полно, кум! вы все, торгаши, на один покрой. Что такое для вас книга? — товар — и больше ничего! Для вас произведение высокого таланта, творческое создание гения и какой-нибудь новейший песенник — одно и то же...

— Нет, сударь, иногда песенник и лучше, если он ходчее идет. Да дело не в том. За что вы изволите гневаться? ведь я хотел вам сказать: попросите какого-нибудь известного автора, чтоб он назвался не сочинителем, а издателем ваших записок...

— Какой вздор! да разве имя издателя ручается за достоинство сочинения?

— А как же, сударь? всякий скажет: «Видно, дескать, отличная книжка, если издает ее известный писатель».

— Ну, ну! хорошо! — сказал я, когда встревоженное мое самолюбие поуспокоилось,— может быть, куманек, ты и дело говоришь. Да кого же я стану просить об этом?

— Мало ли, сударь, в Москве сочинителей. Да вот хоть, недалеко идти: г-н Загоскин... Не то чтоб он был какой-нибудь знаменитый писатель — нет! есть, батюшка, гораздо почище его, да ему как-то посчастливилось: выдал «Юрия Милославского», попал в народность, да и пошел пописывать разные романчики, а там опера «Аскольдова могила»... Что за опера такая!.. Вы изволили ее видеть?

— Как же!.. И ты думаешь, что г-н Загоскин согласится?

— А почему знать? попробуйте!..

— Я напишу к нему письмо.

— Да знаете ли, этак, повежливее — польстите ему... «Позвольте, дескать, украсить вашим знаменитым именем...»

— Куманек! а не ты ли сейчас говорил...

— И, батюшка! да разве вы не знаете, что ложь бывает иногда во спасение? Хвалите его на убой — ну что за дело? бумага все терпит!..

— А если он подумает, что я над ним смеюсь?..

— Не подумает, батюшка!.. Знаем мы этих сочинителей! Иной ломается так, что не приведи господи!.. «Мы да мы!» — а что сделал? Водевильчик перевел или статейку напечатал в журнале!.. Я много с ними обращался, Богдан Ильич. Случалось иногда, по надобности, начнешь хвалить иного в глаза — русским Вальтер Скоттом назовешь... Верите ль богу, самому стыдно — а он лишь только ухмыляется. Уж, видно, они все родом так, батюшка!

Вот вам, милостивый государь, слово от слова мой разговор с Иваном Тихоновичем Корешковым. Я не скрыл даже от вас, что он не слишком высокого мнения о вашем таланте. Из этого вы можете заключить, что я не в точности исполнил его совет, то есть не прибегал к лести, чтоб склонить вас быть издателем моих записок. Если вы на это не согласитесь, то я поневоле должен буду подумать, что мой кум лучше моего знает, чем можно угодить вообще всем писателям и в особенности вам, милостивый государь.

С чувством истинного почтения честь имею остаться вашим покорнейшим слугою

Богдан Бельский».

Теперь вы видите, любезные читатели, в какое затруднительное положение поставил меня г-н Бельский. Принять его предложение мне вовсе не хотелось, а не принять его я не смел: г-н Бельский мог бы подумать, что я рассердился на его кума за то, что он не хочет признать меня знаменитым писате-

лем. Конечно, это очень обидно, но вы понимаете, любезные читатели, что я ни в каком случае не могу показывать, до какой степени огорчает меня это мнение почтенного г-на Корешкова, а для этого я должен был непременно согласиться на сделанное мне предложение. Но еще раз повторяю, что не намерен брать на себя чужих грехов и быть ответчиком за г-на Бельского, с которым во многом я даже не согласен. Он говорит иногда слишком резко правду, а я этого терпеть не могу. Ну что за охота называть в глаза горбатого горбатым, кривого — кривым? Ведь и того и другого исправит одна только могила,— так зачем же их и дразнить? Впрочем, я долгом считаю прибавить, что г-н Бельский человек не злой; он только немного крутенек, подчас бывает слишком откровенен да любит иногда придержаться известного правила,

Что вовсе не грешно
Над тем смеяться, что смешно.

МОСКОВСКИЙ СТАРОЖИЛ

> Воскреснем ли когда от чужевластья мод,
> Чтоб умный, добрый наш народ,
> Хотя по языку, нас не считал за немцев.
>
> *Грибоедов*

сли б я писал роман, то, конечно, не имел бы никакой надобности знакомить с собой моих читателей, но в этих записках я говорю прямо от своего лица, описываю собственные мои действия, замечания и даже приключения, следовательно, должен прежде всего сказать несколько слов о самом себе моим, надеюсь снисходительным и, без всякого сомнения, многочисленным, читателям. «Многочисленным!» Да, милостивые государи, я в этом совершенно уверен, как и всякий начинающий писатель; разница только в том, что другие это думают про себя, а я говорю вслух. Без этой уверенности, которую не всегда могут поколебать даже и постоянные неудачи, никто не стал бы печатать своих сочинений. Поверьте мне: все эти ссылки на друзей, *по настоятельной просьбе которых* будто бы книга печатается,— одно жеманное пустословие. Мы обыкновенно печатаем для *всех* и очень бы оскорбились, если б нас прочли одни только приятели.

Кто из москвичей не знает Пресненских прудов, но, может быть, не всякому случалось бывать по ту сторону этих прудов, в узких и кривых переулках, которые довольно круто подымаются в гору. В одном из них, недалеко от обсерватории, стоит на полугоре небольшой деревянный домик, осененный спереди несколькими кустами бузины и акаций. Из окон надворной стороны дома видна внизу, под самой горой, часть города, примыкающая к трем холмам, знаменитым во всей Москве своей *трехгорной* водою. Когда вы смотрите в окно, ваш взор, быстро пробежаг по кровлям, невольно останавливается на обширном поемном лугу, по которому змеится наша изгибистая Москва-река; прямо за ней чернеются рощи Воробьевых гор, налево подымается колокольня Новодевичьего монастыря, а еще левее, как сквозь туман, мелькают кровли домов и кресты церквей отдаленного Замоскворечья. Этот вид везде

бы назвали прекрасным, но в Москве уж верно никто не придет им полюбоваться. Мы, москвичи, избалованы прекрасными видами; мы встречаем их на каждом шагу и привыкли смотреть равнодушно на эти великолепные панорамы, которые пленяют всех иностранцев своей роскошной красотою и дивным разнообразием. Маловодная Москва-река и ничтожная речка Яуза вовсе незамечательны как реки, но зато какие у них живописные берега!

В этом-то уединенном домике я, Богдан Ильич Бельский, живу почти безвыездно с 1814 года, то есть двадцать восемь лет сряду. Я никогда не мог назваться богатым человеком, однако ж было время, что и у меня был каменный дом на Никитской, что и я не понимал, как может порядочный человек жить за Пресненскими прудами в каком-нибудь кривом переулке, в глуши, где каждый проезжающий экипаж обращает на себя всеобщее внимание. Я начал служить довольно рано и вышел в отставку ротмистром. В 1812 году вступил снова в службу, участвовал в Бородинском сражении, был в деле под Тарутином и едва остался жив после сражения под Малым Ярославцем, где разбитый неприятель должен был, к явной своей гибели, вместо сытной и привольной Калужской дороги продолжать свое отступление по Смоленской, совершенно опустошенной и своими и чужими. Я был так тяжело ранен, что пролежал без чувств почти целый день между убитыми, без всякого приюта и помощи. К счастию, зимние холода еще не наступили, несмотря на то что *побежденный неприятель бежал уже из России совершенно разбитый и расстроенный.* Это обстоятельство противоречит несколько мнению иностранцев, которые стараются доказать, что одна зима спасла Россию. Я имею большую веру ко всему тому, что пишут о нас чужеземцы, и в особенности уважаю известное всему миру беспристрастие французских писателей; но в этом случае не могу даже согласиться и с ними, потому что непременно бы замерз под Малым Ярославцем, если б французов победил и выгнал из России один только зимний холод. Вероятно, многие, подобно мне, имеют неограниченную веру ко всему, что пишут французы, а меж тем не были так же, как я, под Малым Ярославцем, то легко, может быть, иной подумает, что я из патриотизма, который он, без всякого сомнения, назовет *квасным,* говорю неправду; в таком случае я попрошу его прочесть, что пишет об этом наш знаменитый партизан Д. В. Давыдов. Он доказывает *фактами* и словами самих неприятелей, что первые весьма легкие морозы начинались спустя три дня после сражения под Малым Ярославцем, следовательно, французов гнал из России русский штык, а не русский мо-

роз, который помогал только впоследствии нашим казакам истреблять отсталых солдат неприятельской армии, когда она уже не дралась и даже не отступала, а просто без оглядки бежала вон из России.

Уволенный за ранами в отставку с чином подполковника, я отправился прямо в Москву. Я знал, что она горела, но никак не воображал увидеть то, что увидел, когда подъехал к Дорогомиловской заставе!.. «Москва! Да где же она?» — спросил я с удивлением. «Вот, батюшка!» — отвечал ямщик, указывая перед собою. Представьте себе ребенка, который, расставшись на несколько дней с своею матерью, цветущею здоровьем и красотою, возвращается домой, спешит обнять ее, спрашивает, где его родная — и ему, указывая на каменную плиту, отвечают: «Ты ищешь своей матери — вот она! Под этим камнем». О, уверяю вас, этот ребенок не заплакал бы горчее того, как заплакал я, окинув испуганным взглядом эти беспредельные развалины... Развалины! нет, под этим словом мы привыкли разуметь что-то величественное, прекрасное или, по крайней мере, живописное. Мы украшаем искусственными развалинами сады наши; а это огромное пепелище, которому не видно было и конца, эти безобразные кучи кирпичей и обгорелых бревен, которые, казалось, еще дымились, этот бесконечный лес из одиноких, почерневших труб и кой-где закопченные дома без кровель с обвалившимися стенами... Развалины!.. Мы любуемся остатками языческого Рима; развалины Пальмиры или Бальбека с целыми рядами гранитных колонн, обвитых плющом и диким виноградом, полуразрушенные портики, из-за которых весело подымаются высокие пальмы,— да это прелесть! Вид этих развалин не возмутит души вашей, не омрачит ее никаким грустным чувством; над ними пролетели века, и те, которые жили в них, давно уже не существуют. Вы смотрите на эти развалины как на древний могильный памятник, заросший травою: он нравится вам своей формой, возбуждает ваше любопытство, но, глядя на него, вы не думаете о смерти, вам не представляется труп человека, который вчера был жив, а теперь спит непробудным сном... А Москва? О! Москва показалась мне свежей, еще не засыпанной могилою!.. Но что говорить об этом! Благодаря бога, Москва стала краше прежнего, а слава и честь остались при ней. Она сгорела, это правда,— да зато подпалила крылья хищному орлу, который хотел забрать весь мир в свои когти.

Когда я доехал до Кудрина, сердце мое сильно забилось. «Что-то мой домик на Никитской? — думал я.— Почему знать? может быть, и уцелел!» Вот уж я проехал Никитские ворота — вон мой приход... Церковь цела, быть может, и мой дом...

Нет! вот он, голубчик, без кровли!.. Вот венецианское окно которым освещалась моя парадная гостиная... оно без рам... кругом все покрыто копотью... Эх, если б уцелел хоть нижний этаж, в котором я жил!.. Подъезжаю поближе... Гляжу — и что ж? Господи боже мой!.. Передняя стена дома в развалинах, почти все комнаты нижнего этажа раскрыты, как напоказ! Вот столовая с узорчатым лепным карнизом, вот диванная с двумя колоннами под мрамор, а вот — так точно, мой кабинет... Праведное небо! Кабинет, в котором стены так искусно были расписаны моим домашним живописцем Степкою... в нем приютились извозчики!.. Он служит им биржею, и лошади их преспокойно кушают сенцо из моего камина!.. «Разбойники! — закричал я. — Да знаете ли, что в этом кабинете бывали литературные вечера, что в нем читались творения русских поэтов, что один из них назвал даже этот кабинет московским Атенеем, а вы сделали из него конюшню!..» Извозчики скинули шапки, выпучили на меня глаза, разинули рты, и когда я закричал неистовым голосом: «Вон отсюда!» — они кинулись к своим лошадям и начали их взнуздывать. Но горе меня одолело: я махнул рукою, велел ехать на постоялый двор и на другой день отправился в мою подмосковную. Хотя она была не близко от большой дороги, однако ж французы в нее завертывали; из двадцати изб осталось пять, и большая часть мужичков жила в землянках. На барском дворе уцелела какая-то баня с предбанником. На первый случай я расположился в нем. Со мною было несколько денег; я, сколько мог, пособил крестьянам обзавестись всем необходимым, прожил в предбаннике целый год, продал две трети моего именья, чтоб привести в порядок дела и поправить остальных мужичков, потом променял мой сгоревший каменный дом на деревянный домик за Пресненскими прудами и переехал на житье в Москву.

Теперь, любезные читатели, когда уже вам известны все важнейшие приключения моей жизни, позвольте мне сказать несколько слов о самом себе.

Изо всего предыдущего вам нетрудно заключить, что для меня наступила та грустная эпоха жизни, в которую нас перестают уже называть молодыми и даже зовут иногда стариками, но только еще не в глаза. Я не стал бы жеманиться и сказал бы вам прямо, сколько мне лет от роду, да боюсь огорчить моих ровесников, тем более что в числе их найдутся черноволосые молодцы, у которых в головах нет ни одной сединки и которые до сих пор еще смотрят такими губителями сердец, что упаси господи! Правда, и они всегда скрывают свои лета. Вот один из этих господ, который уж лет тридцать

восемь служит в офицерском чине, очень часто и даже при дамах горюет о своей прошедшей молодости, приговаривая: «Скоро уже, скоро стукнет мне сорок лет!» Но, однако ж, все-таки лучше поберечь их и не сказать вам ничего положительного о моих годах. Не знаю, должен ли говорить о своей наружности тот, кто в 1812 году был уж ротмистром; впрочем, почему ж и нет? Разве мы не любуемся прекрасными развалинами? Разве эти развалины, если б только они могли говорить, не имели бы права сказать с гордостию: «Посмотрите, какой я был великолепный город!» Да, было время, что и меня называли прекрасным мужчиною; и теперь еще современницы мои, московские старушки, не шутя говорят, что я очень моложав и если б только побольше стягивался, красил волосы да одевался по моде, так мог бы еще — этак в сумерки — показаться весьма приятным мужчиною. Теперь мне осталось вам сказать одно, что я человек совершенно одинокий, близких родных у меня нет, а женат я никогда не был — не потому, чтоб я не хотел жениться, да как-то все не случалось. Один знаменитый английский философ сравнивает холостого человека, который вступает в законный брак, с глупцом, опускающим руку в мешок, чтоб вытащить из него угря, который лежит один-одинехонек в этом мешке с целой сотнею змей. Боже меня сохрани поверить этому грубияну! Нет, любезные читательницы, если я не женат, так на это есть совсем другие причины. Мне всегда хотелось, чтоб будущая моя супруга соединяла в себе несколько качеств, которые казались мне необходимыми для общего нашего счастья. Во-первых, я желал, чтоб моя жена принадлежала к тому же самому разряду общества, к которому и я принадлежу, то есть чтоб она была дворянкою; за этим, кажется, у нас дело не станет; во-вторых, чтоб она была женщина с образованием — и это бы еще ничего: у нас хорошо воспитанных благородных девиц довольно; да вот что беда: я хотел, чтоб девица, которой я отдам мою руку, не походила ни на французскую *мудемуазель,* ни на немецкую *фрайлейн,* ни на английскую *мисс,* а была бы просто образованная, просвещенная *русская барышня,* которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи. Вещь, кажется, самая простая: я хотел, чтоб русская барышня была русская, а вот тут-то именно и вышел грех! Уж я искал, искал! Сначала в Москве, что за странность такая? встречался я с девушками очень любезными; милыми; посмотришь — иная по всему мне пара: я охотник до музыки — она большая музыкантша; я порядочный знаток в живописи — она от нее без памяти; я люблю словесность — она знает всех французских поэтов и выписывает в свой альбом целые страницы из «Новой Эло-

изы»; я страстен к истории, она читала «Анахарсиса», Гибона и даже Боссюэта. Все это прекрасно, да вот что худо: начну говорить по-русски — мне отвечают по-французски; заведу речь о русских художниках — и на розовых губках появляется такая презрительная улыбка, что я с досады готов сквозь землю провалиться. Наших родных писателей она знать не хочет, а об русской истории и не заикайся — как раз назовет Владимира Мономаха святым, да и то потому только, что у папеньки ее Владимир на шее. Одна умирает от нашего климата и вздыхает об Италии; другая была уже в Париже, и все русское сделалось для нее противным; третья сбирается еще только в Париж, а уж к ней и приступу нет. «Постой! — подумал я, — дай поищу русскую барышню в провинции». Что ж вы думаете? И там то же самое! Правда, случалось иногда, в каком-нибудь уездном городке, познакомиться с девушкой, которой и наружность мне понравится, и обычай придет по сердцу: с ног до головы русская. Хвалит все свое, любит в мороз прокатиться на лихой тройке, летом — в горелки поиграть, об святках золото хоронить и не только не жалует французов, а особливо Наполеона, но ругает их на чем свет стоит. Чего же, кажется, недостает? А вот чего: она, конечно, говорит со мною всегда по-русски — да это потому, что не знает никакого другого языка; не просится в Италию, да зато едва ли и слыхала, что есть на свете такая земля. Побеседуешь с ней раз, другой, а там и скучно. О чем ни заговоришь, все невпопад: заведешь речь об изящных художествах — она начнет посматривать то направо, то налево; перейдешь к словесности — она и ротик разинет да примется зевать — очень мило — это правда, но ведь зевота вещь прилипчивая. Да и что это за барышня? Чем она отличается от своей горничной? Разве только тем, что носит декосовое, а не затрапезное платье? «Ах, боже мой! — думал я, — что это за неуловимое существо такое русская барышня?.. Уж полно, есть ли на свете русская барышня?.. Не миф ли это какой? Или уж правду говорит мой слуга Никифор: «У русского-де народа натура такая: немножко дай форсу, тотчас и зазнается». Вот, например, эта же самая девица, о которой была речь, получи она какое-нибудь образование, выучись болтать по-французски, умей только кстати сказать: «Кесексе, киселя?»[1], так уж все русское будет ей нипочем. Ну, делать нечего, видно, пришлось сидеть у моря и ждать погоды.

Надобно вам сказать, что все это происходило лет двадцать пять тому назад. Вот я жду-пожду, а время идет да идет.

[1] Что это такое? *(искаж. фр.)*

Я живу на своих Пресненских прудах, хоть очень смирно, однако ж не вовсе отшельником: и у меня бывают люди, и я выезжаю в свет — посматриваю, замечаю, прислушиваюсь; худо, очень худо! все по-старому! Одна мода сменяет другую, а эта проклятая мода парижанит да вторит во всем французам, словно корни пустила в русскую землю. Но что всего досаднее, с некоторого времени стали мне встречаться русские барыни с умом, с образованием, а меж тем чисто русские; следовательно, мой идеал русской барышни существует, да мне-то он, как клад, не дается, а время летит да летит. Вот, наконец, стал я замечать, что в нашем хорошем обществе начинают гораздо чаще прежнего похваливать и произведения русских художников, и стихи русских поэтов. Уж несколько раз удавалось мне слышать, что наши барыни и барышни разговаривают минут по пять сряду на русском языке. Жуковский, Батюшков, Пушкин лежат уже на дамских столиках рядышком с Ламартином, Виктором Юго и Казимиром Делавинь. Прошло еще несколько лет, и в нашей словесности стала проявляться необычайная деятельность: начали писать не только стихами, но и прозою, рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало, стали появляться сочинения совершенно русские, народные; любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества; одним словом, все предвещало, что эта безусловная страсть ко всему иностранному, это второе татарское иго скоро будет сброшено. У меня были еще и другие приметы, которые очень поддерживали эту надежду. Однажды, кажется на каком-то гулянье, осанистый русский купец шел вместе с своею дочкою, разодетою по последней моде. Около нее увивался франтик с козлиной бородкою, в коротком сюртуке и белой шляпе. Я вспомнил, что видал его в рядах за прилавком. Этот *лев* суровской линии изъяснялся с купеческой дочкою на французском диалекте и называл ее попеременно то мадемуазель, то Матреной Карповной; они начали спорить, и Матрена Карповна отпустила нижеследующую фразу: «Финисе, финисе, кель гонт![1] Уж вы и этого не знаете, что это не клек, а бурнус... ах, ву!» Я готов был прыгать от радости, а особливо когда вскоре после этого узнал, что большая часть секретарских и купеческих дочек не только говорят по-французски и толкуют о Париже, но даже, потихоньку от своих стариков, без милосердия позорят матушку святую Русь! «Славно! — говорил я, потирая руки. — Славно! Дело идет отлично хорошо! Видно, эта французская дурь вы-

[1] Полноте, полноте, какая честь! *(искаж. фр.)*

ходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества». Вы можете представить после этого, в какой пришел я восторг, когда русские стихи и проза, обличающие не только истинный талант, но даже совершенное познание языка, начали появляться в печати за подписью дам, принадлежащих к лучшему нашему обществу. Однажды поутру, думая об этом, я сказал вслух:

— Ну, кажется, теперь пора, теперь я найду для себя невесту!

— Что вы это, батюшка Богдан Ильич, бог с вами! — сказал мой Никифор, устанавливая против меня зеркало и бритвенный ящик, — где уж нам с вами думать о невестах.

Я взглянул в зеркало, и руки у меня опустились.

— Честь имею вас поздравить, — прибавил этот злодей, — с днем вашего рожденья! вам сегодня ровно стукнуло...

— Знаю, братец, знаю! — прервал я с досадой.

— Да извольте, сударь, бриться, — сказал, помолчав, Никифор, — вода простынет. Волосы-то у вас больно жестки стали... с тех пор как у вас борода поседела...

— Да отвяжись! — закричал я. — Ну, что ты пристал? я не хочу бриться!

И, чтоб доказать это, взял со стола басни Крылова, с которыми никогда не расстаюсь.

— Впрочем, — продолжал я вполголоса, разгибая книгу, — полно, не лучше ли, что я остался холостым? Все эти женщины такие капризные, своевольные создания, такие...

Я готов был произнести ужаснейшую клевету, готов был назвать женщин кокетками, как вдруг язык мой онемел. Представьте себе: книга раскрылась, как будто бы нарочно, на известной басне «Лисица и Виноград». Ну, уж если б я меньше уважал и любил Ивана Андреевича Крылова, быть бы этой книге под столом!

Теперь вы знаете, любезные читатели, что я за человек, какого чина, каких лет, какая у меня наружность, почему я не женат и что делал прежде; а что делаю и чем занимаюсь теперь, вы также узнаете, если не поленитесь прочесть эту книжку.

ВЗГЛЯД НА МОСКВУ

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.

А. Пушкин

кого из нас нет любимой, если не страсти, то, по крайней мере, маленькой страстишки или слабости, которую мы лелеем и тешим, как избалованное дитя? Один любит похвастаться своим домом, по милости которого у него все именье в закладе. Другой платит втридорога за какую-нибудь золотую табакерку, величиной в сундук, из которой он никогда не будет нюхать, но которая ему необходима, потому что у него целая коллекция точно таких же уродливых и неуклюжих табакерок. Третий разоряется на рысаках, прославляющих его имя на бегу, а ездит сам на клячах, которые, по крайней мере, выполняют свое лошадиное назначение, то есть возят того, кто их кормит. Четвертый щеголяет необыкновенным покроем своих платьев и готов нарядиться шутом для того только, чтоб не походить на других. Пятый любит ездить по гостям, с утра до вечера таскается с визитами, а так как в Москве иного визита нельзя сделать без подставных лошадей, то он убивает последнюю копейку на то, чтоб держать лишнюю четверню и каждый год менять свой экипаж. Шестой не ездит в гости ни к кому, но зато не пропустит ни одного публичного собрания, ни одного гулянья, ни одного народного сходбища и — даже трудно поверить, однако ж это правда — ни одних похорон. Вы встретите его везде, где только есть люди, для чего бы они ни собрались, веселиться или горевать — ему все равно. Этот жить не может без театра — не то чтобы он очень любил театр, а потому что привык к своим абонированным креслам, потому что может сказать с гордостию: «Я сижу на них пятнадцать лет сряду!» Посадите его на другие, и он не станет узнавать актеров, не будет понимать, что они говорят, зачахнет, умрет со скуки. Тот любит каждый день приехать в Английский или Дворянский клуб, походить по комнатам, посидеть поперемен-

но подле каждого карточного стола, посмотреть, как играют на биллиарде, вздремнуть в газетной комнате за «Инвалидом» и ехать в первом часу домой, с усладительной надеждою, что завтрашний день пройдет для него так же приятно, как прошел этот настоящий и как, вероятно, прошли и все прочие дни его деятельной и полезной для общества жизни. Я думаю, нетрудно догадаться, что я говорю все это для того только, чтоб приготовить читателей к собственной моей исповеди. Что грех таить! и у меня также есть господствующая слабость: я люблю... показывать Москву — да еще с каким кокетством, с какой сноровкою! О, в этом уменьи *выказать товар лицом* я не уступлю не только самому бойкому гостинодворцу, но даже любой московской барыне, когда она в первый раз знакомит со светом свою милую Зеничку, Катишь или Мими, которая была бы очень завидная невеста, если б у нее не было четырех сестер и пяти братьев. Вы не можете себе представить, как я забочусь о том, чтоб показать Москву с самой выгодной для нее стороны; как стараюсь соблюдать эту необходимую постепенность, посредством которой возбуждается сначала внимание, потом любопытство, а там удивление и, наконец, полный восторг. Конечно, все это стоит мне больших хлопот, но зато как я бываю счастлив, когда достигну моей цели, с каким восхищением, с какою гордостию смотрю я на иноземца, пораженного красотой и величием моей Москвы. Да, моей! — В эту минуту мне кажется, что Москва моя, что я сам Москва, что он удивляется мне! Вообще я показываю Москву охотнее иностранцам, чем своим. Если свой приехал из провинции, а особливо из Казани или Одессы, то он не слишком восхищается Москвою, во-первых, потому, чтобы не уронить своего собственного достоинства, а во-вторых, потому, чтобы не выказать себя провинциалом, который всему удивляется. Если же он приехал из Петербурга, то, рассудите сами, может ли он любоваться Москвою? Конечно, Москва называется столицей, она многолюднее Новгорода, побольше Твери, покрасивее Торжка, а все-таки провинциальный город. Правда, есть много исключений, не все так думают; но мне как-то чаще удавалось встречаться с людьми, которые весьма легко поговаривают о нашей белокаменной и даже не верят, что мы в Москве, ни дать, ни взять, как в Петербурге, пьем цельное шампанское вино, нюхаем неподдельный французский табак и точно так же, как они, едим прескверные устрицы.

В прошедший понедельник, рано поутру, получил я от моего старинного приятеля, живущего в Смоленске, письмо; он рекомендует мне в этом письме одного путешественника, г-на

Дюверние, который едет взглянуть на Москву. Тут же приложена была небольшая записка на французском языке от самого г-на Дюверние: он уведомлял меня, что вчерашнего числа поздно ночью, не доехав до Москвы, остановился в Кунцеве у своего единоземца г-на Д***, который нанимает там дачу. В заключение своей записки он просил меня уведомить его, когда может ко мне приехать. «Вот,— подумал я,— прекрасный случай пощеголять Москвою! Этот француз приехал ночью, не видел еще Москвы, следовательно, увидит ее так, как я хочу. Да только вот беда: смоленский-то въезд больно плох — что за улица, какие пустыри!.. Вида никакого, дома прескверные. Первое впечатление будет самое невыгодное, а для француза это все! Нет, уж так и быть! лошади у меня добрые, прокачу его порядком». Я отдал кой-какие приказания моему Никифору, велел заложить коляску четверней в ряд и отправился.

Я застал г-на Дюверние за утренним туалетом: он очень извинялся, что позволил себя предупредить и вообще показался мне весьма умным и любезным человеком. Я пригласил его к себе на русский стол и предложил отправиться до обеда вместе со мною смотреть Москву. Когда мы выехали на Смоленскую дорогу и стали приближаться к заставе, я сказал ему: «Знаете ли что? Теперь еще рано, утро прекрасное: чем нам ехать прямо в город, не лучше ли взглянуть на его окрестности? Здесь же пойдут места гористые, с которых весьма приятный вид на Москву».

— Очень рад! — отвечал француз.— Я совершенно в ваших приказаниях.

— Ступай направо! — закричал я кучеру.

Мы свернули с большой дороги, проехали шибкой рысью мимо Скотного двора[1], переправились подле мельницы через речку Сетунь, которая в этом месте впадает в Москву-реку, и стали подыматься в гору. Сначала мы не видели ничего, кроме мелкого кустарника и глинистых бугров, посреди которых прорезалась довольно плохая дорога. Потом, когда поднялись на первые возвышенности Воробьевых гор, налево стали обрисовываться, на самом краю горизонта, отдаленные части города: ближайших не было еще видно, но мой путешественник, как будто бы предчувствуя, что перед ним готова открыться великолепная картина, не спускал глаз с левой стороны нашей дороги. Мы въехали по узкой дорожке в мелкий, но частый лес. Вот он стал редеть, дорожка круто поворотила влево, мы выехали на открытое место, и третья часть Москвы, со

[1] Загородный дом, принадлежащий Воспитательному дому.

всеми своими колокольнями, церквами и каланчами, которые так походят на турецкие минареты, разостлалась, как нарисованная, под нашими ногами. Впереди всего подымался Новодевичий монастырь с своими круглыми башнями и высокой колокольнею, посреди необозримых лугов тихо струилась в своих песчаных берегах капризная Москва-река: то приближалась к подошве Воробьевых гор, то отбегала прочь, то вдруг исчезала за деревьями, которые росли кой-где по скату холмов. Как в волшебной опере, менялись поминутно декорации этой обширной сцены: при каждом повороте дороги, при каждом изгибе гор Москва принимала новый вид.

— Это прелесть! Чудо! — кричал Дюверние.— Я готов стать на колени перед Москвою!

Я чуть было не вымолвил:

— Нет, уж это слишком много! Мне совестно! — Но опомнился и не сказал ничего.

— Впрочем, все это,— прибавил через минуту путешественник,— вероятно один оптический обман.

Меня обдало холодом.

— Как? — вскричал я.

— Да! — продолжал Дюверние.— Я был в Константинополе: издали это великолепнейший город в мире; а въезжайте в него — скверные улицы, безобразные дома, гадость, грязь...

— Да что же общего,— спросил я,— между Константинополем и Москвою?

— Как что общего? Да что ж такое ваша Москва? Сотни две барских огромных домов, несколько тысяч деревянных домиков; рядом с дворцами хижины, множество церквей какой-то странной азиатской архитектуры; одним словом, не город, а собрание деревень — c'est connu[1].

— У вас в Париже, вероятно, это знают из путешествия Олеария,— сказал я почти с злобной улыбкою.

— Да разве Москва походит на европейский город? — спросил с удивлением Дюверние.

— И да и нет. Да вот вы сами это увидите.

Я замолчал. Нас быстро провезли мимо Васильевского, и я не обратил даже внимания на то, что путешественник был поражен необычайной красотою этого загородного дома. Мне кажется, я даже не отвечал на его вопрос, кому принадлежит *этот зáмок* (ce château); одним словом, я просто сердился и молчал вплоть до Калужской заставы. Да и не удивительно: после такой личной обиды не скоро успокоишься!

---

[1] это известно *(фр.)*.

— Вот и Москва! — прошептал Дюверние, когда опустился за нами шлагбаум.

— То есть мы въехали в одно из ее предместий,— сказал я,— в котором, как вы видите, нет еще настоящих городских домов. Все эти небольшие домики с обширными садами можно скорее назвать дачами, чем домами. Вот налево Нескучный сад. Вам надобно побывать в нем: он очень живописен...

— Что это за монастырь? — спросил путешественник, взглянув направо.

— Это Донской монастырь. Он основан в 1596 году в память победы, одержанной царем Феодором Ивановичем над крымским ханом, следовательно, существует только двести сорок шесть лет. У нас в Москве есть монастыри несравненно древнее и любопытнее этого. Вот например...

— Quel superbe Hôtel![1] — прервал мой француз.— Какие принадлежности! Какой двор!

— Это летний дворец русской императрицы. Из его сада прекрасный вид на Москву-реку.

— А это также дворец? — сказал Дюверние, указывая на Голицынскую больницу.

— Нет, это больница...

— А это что за великолепное здание? — спросил он через полминуты.

— Больница.

— Ого! — прошептал француз.— Извините! — сказал он помолчав несколько времени,— я надоедаю вам моими вопросами.

— Сделайте милость!

— Позвольте спросить, что это за огромный дом?..

— Больница.

— Ну! вашим больным жить хорошо!

— Я уверен, что вы это повторите в настоящем и буквальном смысле, когда заглянете во внутренность этих зданий.

— Три больницы, похожие на дворцы, и все три почти сряду!..— шептал путешественник.

— Есть недалеко отсюда и четвертая.

— Следовательно, эта часть города исключительно назначена для человеколюбивых заведений?

— О, нет! и в других частях города есть странноприимные дома и больницы, ничем не хуже этих.

— Вот это прекрасно! — сказал Дюверние.— Это признак истинного просвещения, это делает честь Москве!

---

[1] Какая великолепная гостиница! *(фр.)*

Через несколько минут мы выехали на Полянскую площадь. Я велел повернуть по Козмодемьянской улице, на Каменный мост. Так как эта часть города не из самых красивых, то я заговорил с моим товарищем о Париже. Француз закипел, начал мне рассказывать *о своей столице всего просвещенного мира* и вовсе не замечал, где мы едем. Я оставил его в этом восторженном положении до тех пор, пока мы ехали до Каменного моста; тут я велел остановиться и сказал ему:

— Посмотрите направо!

Дюверние поднял глаза и ахнул — перед ним Москва-река в гранитных берегах, с широкой набережною, с красивыми чугунными решетками; за ней с одной стороны громада каменных зданий и длинный ряд кремлевских садов, с другой, как целый город, колоссальный Воспитательный дом; за ним, уставленный каменными домами, красивый холм, который, впрочем, я не люблю называть по имени, а посреди зеленая гора, подпертая высокими стенами, опоясанная цепью башен и увенчанная святыми храмами, под благодатной сенью которых возвышаются чертоги царские и древние терема — эта священная колыбель всех царей православной и могучей России.

— O, que ce beau![1] — вскричал Дюверние.— Это Кремль?

— Да! — отвечал я.— Это наш русский Капитолий, наш Кремль, которого не могли разрушить ни татары, ни поляки, ни...

— Ни французы? — сказал с улыбкой путешественник.— Вы напрасно их обвиняете.

— Однако ж, в двенадцатом году...

— Они хотели подорвать весь Кремль,— прервал Дюверние.— Обвиняйте в этой не слишком европейской попытке не французов, а того, кто привел их в Москву. Мы взрываем крепости, но дворцы, исторические памятники и стены, за которыми не спрячешься от ядер, мы уж, конечно, разрушать не станем.

«Сказал бы я тебе и на это кое-что,— подумал я,— да ты любуешься Кремлем, так бог с тобой!»

— Знаете ли,— продолжал француз,— что это все так прекрасно, так живописно, что я, может быть, предпочел бы Москву многим европейским городам, если б она была хотя несколько многолюднее, а то мне кажется, извините, улицы ваши очень пусты.

«Злодей! — подумал я.— Заметил, как заметил! Да постой

---

[1] О, как это прекрасно! *(фр.)*

же, я попотчую тебя народом». Держи правее, по набережной! — закричал я кучеру. — На Москворецкий мост!

Когда мы переехали через этот красивый мост и стали подыматься вверх по Москворецкой улице, Дюверние заметил, что тут вовсе нет недостатка ни в проходящих, ни в проезжающих. Первый предмет, который обратил на себя все его внимание, был Покровский собор, который мы привыкли называть *Василием Блаженным.*

— Что это? — вскричал он. — Я в жизнь мою ничего подобного не видел! Это ни на что не походит! Это так пестро, так тяжело... а чрезвычайно любопытно!

Он не успел еще наглядеться на этот чудный памятник шестнадцатого столетия, как мы выехали на Красную площадь и остановились подле Лобного места, против самой Ильинки, которая была вся запружена экипажами и народом.

— Вот, — сказал путешественник, — вот это жизнь, движение! И это бывает здесь каждый день?

— Разумеется! Здесь средоточие московской торговли. На Кузнецком мосту экипажей несравненно больше, но зато менее народу.

— Какая странная противоположность! Здесь везде движется народ, везде заметна деятельность, суета, а там, где мы ехали...

— Да мы ехали Замоскворечьем: там живут по большей части наши русские купцы, которые ведут жизнь тихую и сидячую; жены их не любят шататься по улицам, и ворота их домов всегда заперты, вы можете даже по этому тотчас отличить купеческий дом от дворянского. Притом же большая часть обывателей Замоскворечья с утра до вечера здесь.

— А! — подхватил француз, обратив, наконец, внимание на ряды, — так это-то ваш *базар?* Il est immense![1]

— Он, как видите, занимает всю площадь. Эта колоссальная группа, которая стоит против самой его середины, изображает спасителей России в 1612 году, князя Пожарского и гражданина Минина. Теперь, если хотите, мы пойдем в Кремль.

— Позвольте еще один вопрос: что значит это каменное круглое возвышение, похожее на огромную кафедру?

— Это *Лобное место,* на котором в старину...

— Рубили головы? — прервал с живостью француз. — Так точно!.. Вот здесь вводили на него преступников... вот там, вероятно, лежала роковая плаха... Да, да, непременно там!.. Посмотрите!.. Замечаете ли вы на этих камнях следы кровавых пятен?.. О! я не забуду этого в моих записках!.. Какая странная

[1] Он громаден! *(фр.)*

вещь наше воображение! — продолжал Дюверние, не давая мне вымолвить ни слова. — Один взгляд на исторический памятник, и минувшие века восстают из своего праха; времена варварства, пыток и казней, все оживает перед вами. Поверите ли? мне кажется, я вижу на этом отвратительном эшафоте целые груды отрубленных голов, обезображенные трупы...

— Да успокойтесь! — сказал я. — На этом Лобном месте никого не казнили; с него объявляли только царские указы и совершали молебствия.

Мой француз успокоился, и когда мы подъехали к Спасским воротам, он спросил меня:

— Почему все входят в эти ворота с непокрытой головою?

— Быть может, оттого, что тут чудотворный образ, — отвечал я, — или, если верить народному преданию, это делается потому, что князь Пожарский, освободив Москву, вошел Спасскими воротами в Кремль.

— Я всегда уважал народные обычаи, — сказал Дюверние, — и весьма охотно снимаю вместе с вами мою шляпу.

Мы въехали в Кремль, вышли из коляски, обошли кругом все соборы, поглядели на Ивана Великого, подивились Царь-колоколу, который, по воле ныне царствующего императора, явился, наконец, на свет божий, взглянули на огромную пушку и молча прошли мимо тех самых пушек, которые некогда громили всю Европу, а теперь лежат себе преспокойно на деревянных подмостках и не обижают никого. Не знаю, догадался ли мой француз, что эти пушки ему сродни, только он что-то очень на них косился; однако ж не спросил меня, почему они, сердечные, выставлены на показ целому миру и лежат без всякого приюта. Когда мы пересмотрели все арсенал, сенат, терема, Николаевский дворец, монастыри Чудов и Вознесенский, Грановитую и Оружейную палаты, то подошли к самой закраине кремлевской горы. Дюверние взглянул и обомлел от восторга. Я не буду описывать этот неизъяснимо пленительный вид с кремлевской горы на все Замоскворечье. Кто из москвичей не бывал в Кремле? А кто вовсе не знаком с Москвой, тот, право, может в нее приехать для того только, чтоб полюбоваться хоть раз в жизни этой очаровательной панорамою. Когда мы сели в коляску, и я приказал кучеру ехать Троицкими воротами на Моховую, Дюверние объявил мне, что он без ума от нашего Кремля.

— Да вы видели его в будничном наряде, — сказал я, — теперь в нем все мертво и тихо. Нет, вы посмотрели бы его при русском царе! О, вы не можете себе представить, как прекрасен этот Кремль, когда державный его хозяин посетит свою Москву! Эта дворцовая площадь, на которой теперь так пусто,

покроется и закипит вся народом, из которого многие ночевали на этой площади, для того только, чтоб занять повыгоднее место и взглянуть лишний раз на своего государя. Вы посмотрели бы на Кремль тогда, как загудит наш большой колокол и русский царь, охваченный со всех сторон волнами бесчисленной толпы народа, пойдет через всю площадь свершать молебствие в Успенском соборе.

— Как?—прервал Дюверние.—Да неужели ваш государь идет по этой площади, пешком, при таком стечении народа?..

— Да, да! пешком; и даже подчас ему бывает очень тесно.

— Что вы говорите!.. Но, вероятно, полиция?..

— Где государь, там нет полиции.

— Помилуйте! Да как же это можно?.. Идти посреди беспорядочной толпы народа одному без всякой стражи...

— Я вижу, господа французы,—сказал я, взглянув почти с состраданием на путешественника,—вы никогда нас не поймете. Нашему царю стража не нужна: его стража весь народ русский.

— Удивительно!—прошептал Дюверние.—Ну, надобно признаться, я вижу и слышу здесь такие неожиданные для меня вещи, такие странности...

— Каких вы не видите и не слышите в Париже? Да так и быть должно: ведь и все путешествуют для того, чтоб слышать и видеть что-нибудь новое.

Мой путешественник согласился с неоспоримой истиной этого заключения и замолчал. Мы отправились по Моховой к Охотному ряду. Я показал моему товарищу крытую площадь, которую мы называем манежем, наш великолепный университет, Благородное собрание, в котором зал едва ли не один из лучших по всей Европе, и Большой театр, в котором парижская опера может поместиться, как в самом просторном футляре, потому что наш московский театр целым аршином шире знаменитого Сен-Карла. Потом мы выехали на Никольскую площадь и повернули Кузнецким мостом на Тверскую. Мимоездом Дюверние любовался также нашими водометами, которые, украшая площади кругом Кремля, поят всю Москву такой чистой и здоровой водою. Когда, проехав всю Тверскую до Страстного монастыря, мы повернули по бульвару к Никитским воротам, Дюверние удостоверился самою очевидностию, что в Москве гораздо более огромных барских домов, чем он думал, и что во многих и весьма обширных ее частях не только нет *хижины,* но даже *ни одного* деревянного дома. А когда мы проехали всю Поварскую, то он согласился со мной, что наши оштукатуренные или просто выкрашенные деревянные дома, построенные по всем правилам изящной ар-

хитектуры, несравненно красивее этих шестиэтажных полукирпичных и полудеревянных изб, которыми наполнена вся Германия.

Я приехал с моим гостем домой, совершенно довольный нашей прогулкою, но настоящее и полное торжество ожидало меня за обедом, за которым Дюверние объявил мне торжественно, что русская янтарная уха из свежих стерлядей и жирных налимов вкуснее всех возможных супов, даже и французских, а Москва прекраснее, живописнее и разнообразнее всех известных ему городов, разумеется, исключая Парижа, с которым, несмотря на его грязные улицы, ничто в мире сравниться не может.

МОСКОВСКАЯ СТАРИНА

> Бяше град Москва видети великъ и чуденъ градъ и много множество людей в немъ кипяше богатствомъ и славою.
>
> *Ростовский летописец*

а прошлой неделе сосед мой, Николай Степанович Соликамский, обещал завернуть ко мне сегодня часов в 9 поутру, чтоб ехать вместе в Оружейную палату. Николай Степанович принадлежит к весьма малому числу моих искренних приятелей; он почти одних со мною лет, бездетный вдовец, великий антикварий и ужасный библиоман. Конечно, не у многих найдется такое любопытное собрание старинных русских печатных книг и манускриптов, из которых, однако ж, иные весьма для меня подозрительны, а особливо какой-то исписанный, бог знает какими буквами, бесконечный свиток, который, по мнению моего приятеля, есть истинный и подлинный список "Слова о полку Игореве". Николай Степанович очень добрый, умный и образованный человек, но у него есть одна слабость, впрочем самая невинная и безгрешная: он видит везде славян, находит во всех древних языках сходство с славянским языком и даже не шутя готов уверять, что греки Омировой "Илиады" все чистой славянской породы. Не знаю наверно, а кажется, ему первому пришла в голову догадка, что царя Менелая прозвали этим именем, потому что он со всеми ругался и что ему часто говорили: мене лай! Несмотря, однако ж, на эту странную *славеноманию,* он человек истинно ученый и, конечно, один из первых русских археологов нашего времени. Прождав его к себе с полчаса, я подумал, что он купил на Смоленском рынке какой-нибудь древний манускрипт или выменял у раскольника старинный требник, занялся поверкою текста и решительно забыл свое обещание. Читать мне не хотелось; вот от нечего делать я присел к письменному столу, взял в правую руку перо, указательным пальцем левой руки уперся в лоб и начал думать. «Писать — да о чем?» При этом вопросе, который я задал самому себе, глаза мои нечаянно остановились на боль-

шом плане Москвы, который висит у меня в кабинете. «О чем? — повторил я. — Да я еще ничего не писал о московской старине, чего же лучше? давай писать об основании Москвы!»

«Не говоря уже о Новгороде и Киеве (так начал я, подумав несколько минут), есть много городов в России гораздо старее Москвы. Однако ж имя ее встречается в летописях первой половины двенадцатого столетия, следовательно, Москва существует уже семьсот лет. В 1147 году суздальский князь Юрий Владимирович угощал в ней князя Святослава Ольговича Северского. Около того же времени в южной России она была известна под настоящим своим именем и под названием Кучкова. В 13 веке ее причисляли к *Залесским городам.* Говорят также иные летописцы, которых не очень уважают в ученом мире, но которым я, как истинный москвич, готов от всей души поверить, что будто бы Москва основана еще в 882 году знаменитым Олегом, который, проезжая из Новгорода в Киев, построил городок на речке Неглинной, в том самом месте, где она впадает в Москву реку. Впоследствии этот городок, вместе с своим округом, перешел во владение суздальского боярина Степана Ивановича Кучки. Дом этого боярина стоял на берегу *Поганого пруда,* который в начале 18 столетия, неизвестно почему, переименован *Чистым.* Вся окружность этого пруда, составляющая нынешнюю Сретенскую часть, называлась *Кучковым полем.* Насильственная смерть боярина Кучки, убитого князем суздальским Юрием Владимировичем, женитьба сына его Андрея Боголюбского на дочери умерщвленного боярина, а потом, спустя много лет, ужасная месть, совершенная сыном Кучки над этим же самым Андреем Боголюбским; необычайная казнь убийц великокняжеских, которых посадили живыми в деревянные короба и бросили в озеро Плещеево, где, по народному преданию, они и теперь еще плавают,— все это так занимательно и так походит на какой-то романтический вымысел, что, может быть, строгий критик не решится никак назвать эти происшествия историческими фактами. Впрочем, как бы то ни было, но то верно, что о Москве упоминается в летописях 12 столетия и что в 1328 году Москва была уже столицей всей России, потому что Иоанн Данилович Калита перенес в нее из Владимира свой великокняжеский престол. Есть еще предание, о котором я не смел бы и заикнуться, говоря с ученым профессором истории. В этой легенде рассказывают о каком-то отшельнике *Букале,* который, в незапамятные годы, жил на нынешней кремлевской горе, покрытой тогда сплошным непроходимым бором, отчего этот холм и назывался в старину *Боровицким.* Теперь остались только в Кремле три памятника, напоминающие нам о существовании этого дрему-

чего леса: собор Спаса-на-Бору, церковь Рождества Иоанна Предтечи-на-Бору и Боровицкие ворота.

Кругом всей Москвы считается тридцать пять верст; она, как Древний Рим и Византия, лежит на семи холмах; как от столицы святого Константина почти вся Греция именовалась Византиею, а от Рима получила свое название вся Римская империя,— точно так же в старину все иностранцы называли Россию, по имени ее столичного города, Московиею, а русских *московитянами:* последнее название сохранилось и до нашего времени в Польше и Малороссии. Сначала Кремль, вместо каменных стен, был обнесен дубовым тыном. После нашествия Батыя, эти деревянные стены были возобновлены; а в 1367 году великий князь Даниил Иванович, с братом своим Владимиром, задумал, по словам летописца, «поставить город камен Москву», то есть обнести Кремль кирпичными стенами. Первую в Москве каменную соборную церковь, во имя Успения Божией Матери, заложил святой Петр митрополит, при великом князе Иоанне Даниловиче, который в том же году...»

— Здравствуй, Богдан Ильич!—сказал позади меня кто-то знакомым, но очень странным голосом.

Я обернулся и вскричал от удивления. Передо мной стоял сосед Николай Степанович Соликамский, бледный, растрепанный, с таким вывороченным наизнанку лицом, что я не шутя испугался.

— Боже мой!—сказал я.—Здоров ли ты? Что с тобою?

— Да ничего, братец.

— Как ничего?—продолжал я с беспокойством.—На тебе лица нет! Ты не говоришь, а хрипишь. Ты болен, точно болен!

— Что за болен! Расстроен немножко, это правда. У меня сейчас был Грибовский.

— А! этот отъявленный враг всякой русской старины! И ты верно с ним спорил?..

— Да еще как! Два часа сряду!

— Это заметно.

— Несносный человек! Для него нет ничего святого; он ничему не верит, ничего не признает!.. Э! да лучше о нем вовсе не говорить, а то у меня бросится опять вся кровь в голову... Что ты это пишешь?

Я подал ему тетрадь.

— Что это?—вскричал он...—Олег!.. Так ты веришь в Олега? Ты думаешь, что Олег в самом деле был?.. Какой вздор! Игорь и Олег, Аскольд и Дир—все это мифы, братец! Спроси у Грибовского, так он докажет тебе, что и Святослав ничто иное, как миф, несмотря на то, что византийский историк Лев Диакон говорит о нем и называет его Свентославом; несмотря

на то, Нестор... Да что Нестор! Неужели ты не знаешь, что Несторова летопись подложная, что она писана — как бы тебе сказать?.— лет несколько тому назад, что «Слово о полку Игореве» сочинено каким-нибудь перервенским семинаристом, что все это вздор, выдумки!.. Уж не думаешь ли ты, что Мамаево побоище в самом деле когда-нибудь было? — Какое легковерие! — Русский мужик выгравировал лубочную картинку, назвал ее Мамаевым побоищем, и все наши историки ну писать о Мамаевом побоище!.. А первые русские князья?.. Неужели ты не видишь этого жалкого подражания наших летописцев Священному писанию и византийским историкам? — У Ноя было три сына: Сим, Хам и Афет; а у нас три князя: Рюрик, Синав и Трувор; у греков была царица Елена, а у нас великая княгиня Ольга. Посмотри, какими баснями наполнены наши летописи. Тут деревянные идолы, которых побросали в Днепр, стонут человеческими голосами; там злой чародей передает свое имя реке, на которой стоит Новгород. Правда, в летописях других народов еще более этого басен, да это совсем другое дело! Мы можем сомневаться в том, что дикая волчица была кормилицею Ромула, однако ж должны верить, что Ромул основал Рим, а если мы встречаем в русских летописях, что змея ужалила из лошадиного черепа Олега и что это было ему предсказано, то мы вправе не верить даже и тому, что этот Олег существовал. Ты скажешь, пожалуй, что мы, русские, происходим от славян... Какое заблуждение!.. Мы — так!.. сброд, остатки каких-то неизвестных племен, какая-то разнобоярщина — бог знает что такое!.. Да и сами-то славяне что такое?.. Неужели ты думаешь, что они были когда-нибудь самобытным и воинственным народом?.. Громили Византию, основывали города... Сказки, братец, сказки!.. А знаешь ли ты...

Тут Николай Степанович поперхнулся и начал кашлять. Я воспользовался этой минутной остановкою, взял трость, надел перчатки и сказал ему:

— Ну, полно, братец! Пора в Оружейную палату... Да брось ты этого Грибовского!.. И что тебе за дело, что он бредит вздор?

— Как что за дело? — вскричал Николай Степанович, продолжая откашливаться.— Вот этим-то равнодушием вы все и губите!.. Что за дело! Когда этот клеветник осмеливается говорить, что мы происходим не от славян...

— Эх, братец! да разве мы не все дети Адама?.. Ну, не все ли равно, от кого бы мы ни происходили? Главное только в том, что теперь-то мы русские, а об этом и Грибовский не станет с тобою спорить. Пойдем!

— И как может прийти в голову такая дурацкая мысль? — ворчал Соликамский, выходя вместе со мной на крыльцо. — Мы происходим не от славян! Да от кого же?.. Уж не от китайцев ли? Что, мы говорим маньчжурским наречием что ль?.. И как язык повернется у человека сказать, что Несторова летопись, этот перл всех древних летописей, не что иное, как монашеская выдумка, подлог...

— Что ж делать, любезный, — прервал я, — у всякого своя булавочка в голове: один хлопочет, как бы доказать, что Россия существует только со вчерашнего дня; другой производит русских по прямой линии от славянского царя Менелая...

— Что ж это? — сказал Николай Степанович, садясь в мою коляску. - Ты это погуливаешь на мой счет, что ль?

Я не отвечал ничего. Приятель мой надулся и во всю дорогу не говорил ни слова. Через несколько минут мы приехали в Кремль; Оружейная палата была еще заперта.

— К чему изволил торопиться? — проговорил Николай Степанович, нахмурив брови. — Ну что мы приехали ни свет ни заря?.. Что мы будем теперь делать?

— А вот что, — отвечал я, вылезая из коляски, — мне давно хотелось походить с тобою по Кремлю и порасспросить у тебя, где что прежде было. Никифор останется здесь и придет нам сказать, когда отопрут Оружейную палату.

Брови у моего приятеля раздвинулись, наморщенный лоб сделался гладким, и он, как молодой человек, выпрыгнул из коляски.

— Ведь это, мой друг, — продолжал я, — твоя стихия, не правда ли?

Соликамский улыбнулся очень весело.

— Ты, верно, знаешь, — прибавил я, — древний Кремль почти так же хорошо, как новый?

— Ну нет, Богдан Ильич! хоть и не так же, а знаю хорошо — хорошо знаю! С чего бы нам начать?.. Да вот, например, известно ли тебе, когда построены эти кремлевские стены?..

— Знаю, мой друг, знаю! При великом князе Иоанне Даниловиче.

— А вот и не знаешь! — прервал с приметным удовольствием Николай Степанович. — То были другие, а эти построены при великом Князе Иоанне Васильевиче Третьем. А знаешь ли ты, сколько в Кремле было ворот?

— Да я думаю, столько же, сколько и теперь.

— Нет, Богдан Ильич! Их теперь всего пять, а было шесть: Фроловские, Никольские, Курятные, Боровицкие, Тайницкие и Константино-Еленинские. Фроловские и Курятные переиме-

нованы; первые зовутся теперь Спасскими, вторые Троицкими, Константино-Еленинские заложены.

— А что было на этом месте, где теперь Оружейная палата? — спросил я.

— Не на самом этом месте, а подле, против переулка, отделяющего Чудов монастырь от сената, стоял дом, а впоследствии и дворец царя Бориса Годунова.

В этом дворце, по приказанию самозванца, умерщвлены супруга и сын Годунова, Феодор Борисович, который был уже по праву наследства царем русским. В нем же, когда Москва стонала под игом поляков, жил польский коронный гетман Жолкевский. Ближе к Троицким воротам стояло Троицкое подворье, по имени которого названы и ворота. Это подворье достопамятно тем, что в нем совершилось избрание на царство Михаила Феодоровича Романова. Прямо из него пошел келарь Авраамий Палицын, со всем духовенством и государственными сановниками, на Лобное место, чтоб объявить народу об избрании царя.

— Как жаль, — сказал я, — что это здание не было поддержано.

— Да, конечно, — промолвил со вздохом Николай Степанович.

Потом, помолчав несколько времени, прибавил:

— Лет около сорока тому назад и дворец Годунова и это подворье были проданы на сломку с аукциона. Но пойдем дальше... иль нет! постой на минуту! Видишь ли ты эту башню, которая стоит за кремлевской стеною, в голове моста, ведущего к Троицким воротам?..

— Вижу!.. Ну что ж такое?..

— Ничего. Я хотел только тебе сказать, что в старину ее звали башня Кутафья. Теперь повернем налево, мимо кавалерских корпусов.

Мы прошли несколько шагов; Соликамский остановился и спросил меня, что я вижу перед собою.

— Ордонанс-гауз, — отвечал я, — комендантский дом, а левее конюшенный двор.

— На этом-то самом месте, — сказал Николай Степанович, — стоял дом боярина Милославского, в этом доме давались первые зрелища в Москве и, вероятно, во всей России; бывали иногда маскерады, в которых немцы играли на органах и *фиолах*, и происходили разные другие потехи. Когда царь Алексей Михайлович женился на первой своей супруге, дочери боярина Милославского, то этот дом стал называться Потешным дворцом. Впоследствии, при царевне Софье Алексеевне, давались в этом дворце разные театральные пиесы, в роде

древних мистерий; как то, «Олоферн», «Притча о блудном сыне», «Шемякин суд»; некоторые из этих пьес, как полагают, были сочинены самой царевною. По словам издателя «Статистического описания Москвы», театральные представления в Потешном дворце продолжались до 1701 года; в этом году построена для них, сначала на Красной площади, а там у Красных ворот, так называемая деревянная комедия, которая сломана, наконец, в 1753 году. Идя от Троицких ворот подле первой конюшенной башни, меж строений Потешного дворца, был *лебединый* пруд. Почти все нынешние кавалерские корпуса составляли одну связь и назывались *дворцовыми покоями;* в числе их была замечательно расписанная по золоту *Ольгина палата,* названная сим именем в честь великой княгини Ольги.

В продолжение этого разговора мы подошли нечувствительно к тротуару, который окаймляет вершину кремлевского холма и с которого такой великолепный вид на все Замоскворечье.

— Вот направо,— продолжал Соликамский,— эта церковь во имя рождества Иоанна Предтечи, построенная на холме, от которого начинается съезд к Боровицким воротам, едва ли, после Спаса-на-Бору, не самая древнейшая в Москве. Она первоначально была срублена из брусьев и существовала 140 лет; потом в 1461 году перестроена в каменную и стоит доныне, следовательно, от основания ее прошло слишком пять столетий. Прямо за ней под горою стоял *житный двор;* левее, по скату горы, расстилались царские сады или, как говорили в старину, *огороды,* принадлежавшие ко дворцу царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича. В этом дворце было много великолепных покоев; дворцовая палата, золотая, средняя подписная, царицына золотая палата, *брусяная столовая изба,* в которой происходили царские свадебные церемонии, столовая набережная, сенники царские, комнатный сад, в котором водились вишни и сливы, постельная палата, ответная или посольская палата, панихидная палата, крестовая палата... Да ты меня не слушаешь, Богдан Ильич! — вскричал Соликамский, прервав свой рассказ.

— Слушаю, мой друг, слушаю! Я только позагляделся на этот прекрасный вид.

— Прекрасный вид!.. Да что ты в первый раз, что ль, смотришь отсюда на Замоскворечье?

— Да разве можно когда-нибудь на это насмотреться?

— Ну, Богдан Ильич! ты не в наших старичков: они об этом, видно, не очень думали. Знаешь ли, что тут, где мы стоим, все было застроено; по всей закраине кремлевского холма,

начиная от дворца, почти до самой Константино-Еленинской башни, тянулось сплошное строение, в котором помещались все приказы, а впоследствии коллегии. Тогда проходящие не могли любоваться этим прекрасным видом, который, как мне кажется,— прибавил Соликамский с приметною досадой,— занимает тебя гораздо более моих рассказов.

— Что ты, мой друг, напротив! В первый раз, как ты будешь свободен, я попрошу тебя обойти со мною весь Кремль.

— А почему же не теперь?

— Теперь ты будешь моим чичероне в Оружейной палате.

— Да она еще не отперта.

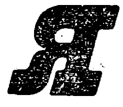
— Никак нет, сударь,— сказал Никифор, подойдя к нам,— отперта-с, и публика такая, что и сказать нельзя! так друг друга в дверях и давят.

Мы отправились в Оружейную палату. Мимоходом Николай Степанович успел мне сказать, что на том месте, где теперь сенат, был некогда дом князей Трубецких, конюшенный двор Чудова монастыря и три церкви: Козьмы и Дамиана, св. Петра митрополита и Введения пресвятыя богородицы. А там, где возвышается огромный арсенал, стоял *Стрелецкий Лыков двор*— гнездо неугомонных крамольников, столько раз посягавших на жизнь нашего великого Петра.

Мы проходили часа два по обширным залам Оружейной палаты, в которой, несмотря на множество посетителей, вовсе было не тесно. Я не берусь, да и не могу описать то, что мы видели в эти два часа; самый поверхностный обзор любопытных вещей, находящихся в Оружейной палате, составил бы том вчетверо более этой книжки; но когда-нибудь в отдельной главе скажу хотя несколько слов об этом, во всех смыслах драгоценном, хранилище царских сокровищ и нашей русской старины.

КОНТОРА ДИЛИЖАНСОВ

> Завистники России говорят, что мы имеем только в высшей степени переимчивость, но разве она не есть знак превосходного образования души?.. Учители Лейбница находили в нем также одну переимчивость.
>
> *Карамзин*



думаю, многие из моих читателей помнят то время, когда дорога между Москвы и Петербурга была самым тяжким испытанием человеческого терпения для того, кто ехал в собственном экипаже, и решительно наказанием небесным для всякого, кто ехал на перекладных. Я предпочитал, однако ж, всегда последний способ путешествия, точно так же, как предпочитают жестокую, но кратковременную болезнь медленной и изнурительной, которой не видишь и конца. У меня и теперь еще волосы становятся дыбом, когда я вспомню про эту каменную мостовую, перед которой всякая городская мостовая показалась бы вам гладким и роскошным паркетом, и эта-то мостовая была для путешественника отдохновением, когда он въезжал на нее, проехав верст триста по дорожной бревенчатой настилке, которую уж верно бы Данте поместил в свой ад, если б ему случилось прокатиться по ней в телеге верст полтораста или двести. Теперь мы едем от Москвы до самого Петербурга по ровному шоссе, нас не тряхнет ни разу, а если иногда придется проехать с четверть версты по дурно вымощенному селению, мы начинаем гневаться и кричать, почему у нас нет еще до сих пор железных дорог и паровозов. Видно, уж человек так создан: он тотчас забывает все дурное и привыкает ко всему хорошему; я не говорю о новом поколении: оно не знает, каково было ездить из Москвы в Петербург, но сколько есть людей, которые изведали на опыте эту адскую пытку, а меж тем весьма равнодушно поговаривают о петербургском шоссе, как будто бы оно сделалось само собой и существовало еще до первого нашествия татар.

Эту попытку усвоить себе изобретение *битых дорог*, конечно, можно назвать подражанием. Но такова участь России: мы долго еще должны подражать другим, не во всем – избави

господи! Я всегда был ненавистником рабского, безусловного подражания, которое есть верный признак не просвещения, а грубого невежества, желающего прикинуться просвещением. Всякий раз, когда я встречаю русского человека, который отпускает казенные французские фразы, одевается по модному парижскому журналу, толкует без толку о просвещении *Запада* и позорит на чем свет стоит свое отечество, мне кажется, что я вижу перед собой какого-нибудь островитянина южного океана, на котором нет даже и рубашки, но который воображает, что он одет по-европейски, потому что на него надели галстук и треугольную шляпу. Конечно, перенимать истинно полезное и хорошее должны все друг у друга, а и того более мы, русские, которых тяжкое иго татар не только остановило на одном месте, но даже отбросило назад, в то время, как западные народы, хотя и очень медленно, а все-таки шли да шли вперед. Впрочем, Русь и в подражаниях своих сохраняет то, что отличает ее от всех других народов. Она мелочей не любит: ей надобно разгулье, простор; ей все давай в колоссальных размерах, все считай сотнями да тысячами верст! Наше первое шоссе раскинулось не на сто, а разом на семьсот верст, следовательно могло бы опоясать Францию во всю ее ширину, начиная от савойской границы до Атлантического океана, и протянуться от Дувра до Эдинбурга, то есть во всю длину Англии и южной Шотландии.

Вместе с учреждением петербургского шоссе появились в России первые почтовые кареты. Сначала только одно было заведение дилижансов, и, может быть, они уступали несколько в удобстве иностранным; иначе и быть не могло — всякое улучшение бывает следствием трех необходимых условий: времени, опыта и соревнования или, верней сказать, соперничества. Но теперь пусть всякий, кто бывал за границею, скажет по чистой совести, есть ли где-нибудь дилижансы красивее, спокойнее и удобнее тех, в которых мы ездим из Москвы в Петербург и из Петербурга в Москву? Я не говорю ничего о дешевизне; разумеется, в Англии не повезут вас в спокойной и просторной карете от Дувра до Эдинбурга за семьдесят пять рублей, но это совершенно ничего не значит — цена есть вещь относительная и условная; благодаря бога, у нас деньги не сделались еще самым дешевым товаром, следовательно, и цены на все должны быть ниже. Теперь в Москве считают шесть заведений, из которых одни отправляют дилижансы в Петербург каждый день, а другие три раза в неделю. Сверх того одно, которое отправляет дилижансы в Петербург и Ригу; одно в Тулу, Орел, Курск и Харьков; одно во Владимир и Нижний Новгород, и недавно учрежденные при московском по-

чтамте почтовые кареты и брички, которые поспевают в Петербург в двое суток с половиной. Все эти заведения процветают или, по крайней мере, вовсе не в убыток своим основателям, потому что экипажи приметным образом улучшаются и делаются с каждым годом удобнее и спокойнее для путешественников.

Николай Степанович Соликамский, с которым в предыдущей главе я познакомил моих читателей, заехал ко мне вчера, часов в восемь утра, объявить, что он отправляется по своим делам на несколько дней в Петербург.

— Когда ты едешь? — спросил я.

— Сейчас,— отвечал Соликамский.— Я взял место в дилижансе, который выезжает в девять часов.

— Так я тебя провожу, а меж тем посмотрю хоть одно из этих заведений. Я думаю, они все очень похожи одно на другое?

— Да, конечно. Я перебывал во всех конторах: разницы большой нет. Однако ж, если хочешь, так поедем, пора! У меня пролетка широкая, усядемся оба.

Мы отправились и минут через десять остановились на Тверской у подъезда лучшей московской гостиницы. Войдя в сени и повернув налево мимо великолепной лестницы, мы очутились в просторной комнате, не щеголевато убранной, однако ж довольно опрятной. В ней сидело несколько дам и мужчин в дорожных платьях. В одном углу прикидывали на весах чемоданы, шкатулки, погребцы и разные другие дорожные укладки, в другом сидел за прилавком конторщик и писал что-то в толстой шнуровой книге. Соликамский, узнав, что дилижансы отправляются не прежде получаса, пошел в столовую позавтракать, а я остался в комнате пассажиров.

Когда я бываю с людьми, совершенно мне незнакомыми, то очень люблю отгадывать по их физиономии, платью, речам и ухваткам, к какому разряду общества они принадлежат, какого характера и что в эту минуту их занимает. Разумеется, я часто ошибаюсь, но иногда отгадываю довольно верно. Некоторые из дорожных стояли подле весов и наблюдали за конторским служителем, который взвешивал их поклажи; другие сидели на диване и креслах, обитых не слишком красивым ситцем. Ближе всех были ко мне двое отъезжающих, из которых один весьма толстый пожилой купец с окладистой бородою, а другой детина молодой, с усиками, но без бороды, в нанковой сибирке и красной шелковой рубашке с косым воротом. Толстый купец считал что-то по пальцам, от времени до времени поглаживал правой рукою свою густую бороду

и бормотал себе под нос «Отправлено фамильного два места, да цветочного три цибика итого в остатке... да, так точно!..»

Мне не трудно было отгадать, что этот толстый купец торгует в овощном ряду, и предпочтительно чаем, что он человек богатый, потому что бедный торговец не стал бы так важно и с таким самодовольным видом поглаживать свою бороду, и наконец, что он рассчитывает в эту минуту барыши, которые должна ему принести поездка в Петербург. Вот он шепнул что-то своему соседу, и тот бросился опрометью вон из комнаты; из этого я заключил, что молодец в нанковой сибирке его сиделец и что толстый купец характера крутого, взыскательного и любит, чтоб его приказания исполнялись без малейшего отлагательства. Тут я обратил внимание на другого дорожного, который сидел поодаль от всех, развалясь весьма небрежно в креслах. На нем был долгополый косматый сюртук, застегнутый на все пуговицы, а на шее слабо завязанный пестрый шелковый платочек. При первом взгляде на его рыжеватую козлиную бородку и длинные виски, в роде кудрявых пестиков, я принял его за польского жида, но тотчас же увидел свою ошибку: на нем не было ермолки, а всем известно, что польский жид не расстанется ни за что с этой скуфьею, которая отличает его от всех иноверцев. «Так точно,— подумал я,— это какой-нибудь щеголек из панского ряда, которому раскольник-отец не дозволяет обрить бороды, но который, однако ж, желает, хотя издалека, идти за веком, то есть носить жилетку, галстук и вместо русского кафтана долгополый сюртук» В то время, как я делал эти наблюдения и внутренно радовался моей проницательности, гостинодворец с рыжей бородкою подошел к конторщику и спросил его — представьте мое удивление! — по-французски, самым чистым парижским наречием, во сколько суток дилижансы поспевают в Петербург? «Ах, батюшки.— подумал я,— принять парижанина, быть может, какого-нибудь маркиза, сначала за жида, а там за купеческого сынка из панского ряда!.. Ай да отгадчик!..» Меж тем француз продолжал толковать с конторщиком, который на все его вопросы отвечал, пошатывая головою: «Не понимаю, батюшка, не понимаю! я по-немецки не говорю!» Мне стало жаль бедного француза, который начал уже от нетерпения топать ногою и произносить не вовсе приличные восклицания. Я подошел к прилавку и предложил ему мои услуги, но едва успел перевести ответ конторщика, как вдруг подошел к нам какой-то барин в плисовых сапогах, шелковом ватном халате, подпоясанном носовым платком; он держал в одной руке кожаный картуз, а в другой шитый серебром сафьянный кисет и пенковую трубку с волосяным чубуком и ян

тарным наконечником. Этот господин казался очень встревоженным.

— Позвольте узнать,— сказал он,— кто здесь старший?

— А что вам угодно?— спросил конторщик.

— Я, батюшка, пассажир, надворный советник Щипков.

Конторщик поклонился.

— Позвольте вам сказать,— продолжал г-н Щипков,— что это такое? с меня требуют за мою поклажу почти половину того, что я заплатил за место в дилижансе.

— Кто ж виноват, сударь, если у вас так много поклажи.

— Да помилуйте! Все вещи нужные, необходимые, без которых никто в дорогу не ездит.

Конторщик подошел к весам.

— Эта все ваша поклажа?— сказал он.— Ну, сударь, да с вами целый воз всякого хламу!.. Что у вас в этом кульке?.. Помилуйте!.. Окорок ветчины! каравай хлеба!.. Ах, батюшки! полголовы сахару!..

— Я, сударь, всегда по дорогам пью мой собственный чай.

— Да ведь это выйдет вам дороже, сударь.

— Покорнейше вас благодарю! Я знаю, как дерут с проезжих по большим дорогам!

— А эта киса чем набита?.. Позвольте, что в этой жестянке?.. Ой, ой, ой!.. Да ее насилу подымешь!

— В ней, батюшка, костромской табак: я другого не нюхаю.

— А это что?.. Колодка... сапожные щетки... четыре пары сапогов... Ну вот, зачем вы это с собой берете?

— Как, батюшка, зачем? Да что мне в Петербурге-то босиком что ль ходить?

— Ну, воля ваша! только вы за все заплатите весовые деньги!

— Как за все? Да разве у вас в положении не сказано, что всякий пассажир может взять с собою...

— Двадцать фунтов поклажи... да, сударь; а тут с лишком четыре пуда.

— Так что ж прикажете мне делать?..

— Не хотите платить, так оставьте все лишнее здесь.

— Покорнейше благодарю!.. Нет, уж я лучше заплачу́.

— Как вам угодно.

— Ах ты боже мой!— продолжал барин, вынув из-за пазухи довольно туго набитый бумажник и расплачиваясь с конторщиком.— Прошу покорно! тридцать рублей за одну поклажу!.. Ну вот скажите пожалуйста!.. А еще говорят — дешево ездить в дилижансах!

— Батюшка барин! — сказал вполголоса слуга этого господина, человек лет за сорок, с небритой бородою, в фризовой шинели, подвязанной какой-то мочалкою. — Да уж прикажите хоть колодку-то оставить, право, она не стоит того, что за провоз заплатите!

— Дурак!.. А на чем ты станешь в Петербурге-то сапоги чистить?

— Мы там, батюшка, купим другую ногу.

— А на что мне две ноги?

— Да ведь одна-то придется нам даром, сударь.

— Вот еще, стану я на пустяки деньги тратить!.. Пошел, дурак, укладывайся! Да постой, и я с тобой пойду: надобно уложить так, чтобы все было под руками.

Барин и слуга вышли из комнаты, а я сел возле двух дам, подле которых стояла с узлом в руках довольно смазливая служаночка. Одна из этих дам казалась женщиной пожилою, другой было на вид лет около двадцати, они разговаривали между собою вполголоса. По *смешению французского языка с нижегородским,* мне не трудно было отгадать, что я имею честь сидеть подле русских барынь.

— Как скучно! — говорила молодая. — Nous sommes venus trop tôt, maman[1].

— Non, ma chère[2], мы приехали как должно.

— Так чего ж мы дожидаемся?..

— Чего дожидаемся?.. Порядок хорош!.. Да это всегда у нас: заведут на иностранный манер, расхвалят, распишут, а там посмотришь — гадость!..

— Я думаю, что давно уже десять часов, maman?

— А что на твоих часах — voyez[3], ma chère!

— Да они стоят.

— Опять не завела? Ах, Sophie! Comme c'est ridicule![4] Всякий раз!

Я воспользовался этим случаем, чтоб начать разговор с моими соседками — вынул часы, посмотрел и сказал:

— Вам угодно знать, который час? Без десяти минут девять.

— Merci, monsieur![5] — прошептала маменька. — А я думала, что гораздо позднее.

— Вы изволите ехать в Петербург?..

— Да-с! теперь в Петербург...

---

[1] Мы приехали слишком рано, маменька *(фр.).*
[2] Нет, дорогая *(фр).*
[3] Посмотри *(фр.).*
[4] Ах, Софи! Как это смешно! *(фр.)*
[5] Спасибо, сударь *(фр.).*

— А оттуда à l'étranger[1],— прервала с живостию дочка,— на пироскапе.

— Позвольте спросить, вы московские жительницы?

— О, нет!— проговорила маменька с такой обидной улыбкою, что меня зло взяло.

— Так вы,— продолжал я после минутного молчания,— проездом в Москве?

— Да, мы хотели здесь пробыть одни только сутки и вместо этого должны были прожить целых две недели.

— Ну что, понравилась ли вам Москва?

— Помилуйте, да что ж в ней хорошего? Большой город, в котором умирают от скуки, и больше ничего.

— А какой театр!— прибавила дочка.— Dieu comme c'est mauvais![2]

— Это уж слишком немилостиво,— сказал я.— Впрочем, вероятно вы имеете полное право быть взыскательными, и если вы были за границею...

— Ах, нет еще!— промолвила со вздохом маменька.— Но я надеюсь, что нынешним летом мы увидим чужие краи.

— Так, конечно, вы бывали в Петербурге и, сравнивая тамошний театр с здешним...

— Je vous demande pardon, monsieur[3],— подхватила дочка.— Мы с маменькой никогда не были в Петербурге.

— Так позвольте же вас спросить, откуда вы изволите ехать?

— Из Костромы.

К счастию, я держал мой платок в руке и успел им закрыться.

— Здравствуй, Богдан Ильич!— сказал кто-то подле меня густым басом; я обернулся и увидел перед собой моего старого сослуживца, Андрея Даниловича Еруслaнова, с которым мне должно познакомить короче моих читателей.

Андрей Данилович — человек лет сорока пяти, среднего роста, плечистый, здоровый и краснощекий. Он может по всей справедливости назваться, и в моральном и в физическом смысле, самым чистым, без всякой примеси, русским человеком. Русская беспечность и русский толк; радушие и удальство, по временам необычайная деятельность и подчас непреодолимая лень; одним словом, вы найдете в нем все то, в чем упрекают и за что хвалят русский народ. Несмотря на то, что многие называют его старовером, невеждою, отста-

---

[1] За границу *(фр.)*
[2] Боже, какой плохой! *(фр.)*
[3] Прошу прощения, сударь! *(фр.)*

дым, он человек образованный, много читал, много видел, но вообще небольшой обожатель Запада и любит Русь, как любили ее в старину наши предки, то есть не только с пристрастием, но даже с ослеплением, которое иногда, надобно сказать правду, выходит изо всех границ.

— Здравствуй, Андрей Данилович! — сказал я. — Ты также отправляешься в дилижансе?

— В дилижансе?.. Что ты, братец, перекрестись! Я зашел проститься с Соликамским. Поеду я в дилижансе! Вот нашел человека!

— А почему же не поедешь? Если б мне нужно было прокатиться в Петербург, я непременно бы поехал в дилижансе.

— Поехал! Да кто тебе сказал, что ты едешь в дилижансе? Нет, не едешь: тебя везут, голубчик! Напихают вас в этот курятник, как тюки с товарами, да и потащат!..

— А тебе бы все скакать сломя голову.

— Да воля твоя, Богдан Ильич, не люблю я этой аккуратной немецкой езды. Ну какая в ней поэзия?.. Тоска, братец! Ведь наша Русь не то, что чужие краи: там живут тесно; проехал версту — село; проехал две — пригородье; а верстах на десяти в трех городах побываешь. В одном государстве позавтракаешь, а в другом придется отобедать. Нет, брат! русская земля не то: и широко, и просторно, и гладко, так что ты себе хоть шаром покати. Поезжай-ка у нас в дальнюю дорогу в каком-нибудь рыдване немецкой трухою, с ума сойдешь! Все то же да то же в глазах. Ну то ли дело наш родимый экипаж? И беспокойно да весело. Заляжешь в просторную телегу, завернешься в шинель, да и покатывай! Эх, как вспомнишь, братец! случится иногда попасть на удалого ямщика — ах, ты господи! Коренная рвется из оглобель, пристяжные визжат — ну вот так и грызут землю!.. Бравый ямщик встряхнет кудрями, шапку набекрень, присел кой-как бочком, прибрал возжи, гаркнул — и света божьего не взвидишь! Только что по кочкам попрыгиваешь, да любуешься русской удалью. Кати, лихая тройка!.. Захлебывайся, валдайский колокольчик!.. Летите мимо, поля, леса и перелески!.. Любо да и только! Вот засинелся вдали черный бор... глядь, а ты уж в нем!.. Вот порой проглянет деревенька, мелькнет в стороне боярская усадьба — ау!.. поминай как звали!.. Ну, словно вихрем несет тебя на край света, словно крылья тебе подвязали и ты мчишься туда, где небо сходится с землею!.. Вот это, братец, езда!.. Не успеешь оглянуться, а станция и тут! Хлебнул чайку, впрягли, и пошел опять по всем по трем!

— А бока-то что, Андрей Данилыч?

— Бока!.. Эх, братец, нерусский ты человек!.. Эка важность, отобьет тебе бока, ну что за беда?.. Приехал домой, сходил в баню и как с гуся вода!

— Пожалуйте садиться! — проговорил громким голосом кондуктор, растворив обе половинки дверей.

Все поднялись с своих мест и стали понемногу выбираться из комнаты; я вышел также вместе с другими на крыльцо. В несколько минут оба дилижанса наполнились пассажирами, но Соликамского между ними не было. Я поспешил воротиться назад и нашел его в столовой комнате — вы думаете за завтраком? Нет! перед ним стояли две котлеты и порция бифстекса; но он еще до них не дотрагивался, а спорил с каким-то ученым мужем, который, сколько я мог понять, сомневался в подлинности известного Острожского Евангелия, писанного дьяконом Григорием в начале второй половины одиннадцатого столетия. Я застал этот ученый диспут в самом его разгаре, и, надобно сказать правду, не случись меня на ту пору, пришлось бы Соликамскому гнаться за своим местом и чемоданом до первой станции. Когда я почти насильно вытащил его из столовой, дилижансы уже отправились, и мы с трудом догнали их у Петровской заставы, да и то потому только, что тут обыкновенно все проезжающие останавливаются на несколько минут, чтоб прописаться в караульной и запастись на всю дорогу московскими калачами и сайками.

ДВА МОСКОВСКИХ БАЛА В 1801 ГОДУ

Я провожу, говорит, время с крайним удовольствием: барышень, говорит, много, музыка играет, штандарт скачет.

Гоголь



о второй главе этих записок я намекнул мимоходом о ложном понятии, которое многие из петербургских жителей имеют о Москве. Москва, по мнению их, конечно, большой город, но город решительно провинциальный, в котором вы должны непременно подвергаться разным лишениям, весьма чувствительным для человека, привыкшего ко всем удобствам и роскоши петербургской жизни. Да это бы еще ничего,— пускай бы уж они думали, что в Москве, точно так же, как в Новгороде или в Архангельске, все порядочное должно выписывать прямо из Петербурга, но эти господа полагают даже, что большая часть жителей Москвы, и среднего и высшего класса, имеет на себе *какой-то особый отпечаток*, что почти все москвичи сплошь Фамусовы, Репетиловы, Молчалины и Загорецкие[1]. Я должен, однако ж, сказать, что этот образ мыслей принадлежит почти исключительно только тем, которые никогда не бывали в Москве, и весьма редко встречается у людей, живущих в лучшем обществе, но зато ступайте к какому-нибудь петербургскому старожилу, который во всю жизнь свою не видал ничего выше Пулковой горы и живописнее Парголова, у которого свой дом на Песках, в Коломне или у Таврического и который, нанимая каждое лето избенку на Петербургской или Выборгской стороне, с тридцатью квадратными саженями болота и пятью тощими березками, воображает, что живет на даче; заговорите с ним о Москве, и вы увидите, что он в грош ее не ставит, а особливо с тех пор, как появилась на сцене комедия Грибоедова. Как будто бы есть в целом мире такой город, в котором не нашлось бы дюжины две комических лиц, и как будто бы эти лица должны быть непременно представителями и образчиками целого общества? Конечно, Москва во многом не походит на Петербург, но это вовсе не оправдывает мнения тех,

[1] Действующие лица комедии «Горе от ума».

которые воображают, что она отстала от него целым столетием. Разумеется, Москва, как и всякий большой город, имеет свою собственную физиономию: в ней еще сохранились кой-какие предания старины, некоторые общественные и религиозные обычаи, неизвестные в нашей северной столице. Вы встретите в ней оригиналов, которых, может быть, не увидите в Петербурге. Там попадается иногда на Тверском бульваре отчаянный франт в таком фантастическом наряде, что вы невольно остановитесь. Вероятно, вы не увидите также на Невском проспекте какого-нибудь барина в уродливом картузе собственного изобретения или в *пальто*, похожем на широкую юбку с рукавами или в шляпе величиною с открытый зонтик. В Петербурге даже и в крещенские морозы все ходят в обыкновенных круглых шляпах, а в Москве зимою носят бобровые каскеты, эриванки и круглые шапки с кистями, похожие на греческие *фески*. Конечно, это несколько напоминает Азию, да зато голове тепло, и уши не зябнут. Что ж делать, мы, москвичи, народ смирный, по большей части отставные, живем на покое — так где нам воевать с морозом. Теперь я спрошу всякого: неужели эти мелкие и ничтожные особенности что-нибудь значат? Неужели Москва не может быть таким же просвещенным городом, как и Петербург, потому только, что в ней побольше пестроты и разнообразия? Поверьте, не только Москва, но и провинции наши вовсе не походят на то, чем они были лет сорок тому назад. Тогда — о, тогда, конечно, московское общество отделялось резкими чертами от петербургского, но это время прошло и, вероятно, уж не воротится. Я давно живу на свете, так помню эту старину. Я не забыл еще того времени, когда существовало в Москве старое поколение коренных русских бояр, когда граф Ш***, граф Р***, князь Д***, граф О***, граф С*** и некоторые другие были по праву представителями московской аристократии. Все эти магнаты жили с необычайной роскошью, но эта роскошь была совершенно азиатская. Огромные дома, по большей части убранные без всякого вкуса, бесчисленное множество слуг, крепостные театры, доморощенные танцовщицы, домашние оркестры, ежедневные обеды, богатые не качеством, а количеством блюд, и балы, на которые съезжалась вся Москва. Многие из петербургских жителей думают, что этот образ жизни, но только в уменьшенном размере, и, следовательно, лишенный даже своего восточного характера, и теперь еще не в диковинку у нас в Москве. Я могу уверить их, что они решительно ошибаются и, чтоб дать понятие — не им, а моим согражданам — до какой степени в течение последних сорока лет

изменились нравы и обычаи нашей Москвы, расскажу, что видел некогда собственными моими глазами, хотя уверен заранее, что этот рассказ примут многие за вымысел и только разве самые доверчивые скажут, покачивая головами:

Свежо предание, а верится с трудом.

Я воспитывался в Петербурге в первом кадетском корпусе и знал Москву по одной только наслышке. Когда я был выпущен офицером, дальний мой родственник, генерал Д***, взял меня к себе в адъютанты. Он ввел меня в лучший круг петербургского общества. Я был хорош собою, ловок, танцевал прекрасно и болтал очень мило по-французски. Благодаря этим блестящим качествам, я сделался в короткое время самым модным молодым человеком. В числе искренних моих приятелей был один природный москвич, Иван Андреевич Двинский. Отправляясь перед Рождеством на свою родину, он предложил мне ехать с ним вместе, провести в Москве святки и посмотреть, как погуливают там наши старики.

— Эх, братец,—говорил он,—вы здесь не знаете, что такое веселье. Погляди-ка, любезный, как тешатся у нас в Москве. По два, по три бала в вечер, домашние театры, обеды, катанья; у Медокса в маскераде битком набито, в Благородном Собрании давка; одним словом, такая гульба, братец, что когда придет великий пост, так все в растяжку лежат. Ну, конечно, ты не найдешь у нас такого утончения, таких парижских форм, такого приличия, какими щеголяют здесь. Может быть, кое-что покажется тебе и странным, да зато, любезный друг, мы в Москве и живем, и веселимся, и гуляем—все нараспашку!

Увлеченный красноречием моего приятеля, я взял отпуск и отправился вместе с ним в Москву. Мы приехали на четвертые сутки довольно поздно вечером и остановились у родной тетки Двинского, Марьи Степановны Заозерской, которая жила в своих наследственных деревянных хоромах на Чистых прудах. Я не знаю, что больше меня поразило, наружная ли форма этого дома, построенного в два этажа каким-то узким, но чрезвычайно длинным ящиком, или огромный двор, на котором наставлено было столько флигелей, клетушек, хлевушков, анбаров и кладовых, что мы въехали в него точно как будто в какую-нибудь деревню. В лакейской мы разбудили нашим приходом двух слуг, которые преспокойно почивали на деревянном конике; один из них был в поношенной ливрее, с напудренной головою, другой в суконном сюртуке с оборванными петлицами. Спросонья они кинулись, как шальные, скидать с нас шубы, засуетились и уронили столик о трех

ножках, на котором стояла шашечница и горела сальная свеча, воткнутая в бутылку. На этот шум вышел из столовой и, к счастию, со свечою, толстый старик, в немецком кафтане и камзоле, с красной рожею, отвислым подбородком и огромным чревом: это был дворецкий Марьи Степановны.

— Батюшка Иван Андреевич! — вскричал он, увидев племянника своей барыни. — Милости просим!.. Пожалуйте ручку!

— Здравствуй, Трифон Семенович! — сказал Двинский. — Ну, что тетушка?

— Все слава богу!.. Уж мы вас, сударь, ждали, ждали!

— Что, тетушка дома?

— Как же, батюшка, дома-с! В боскетной... Пожалуйте!

Толстый Трифон Семенович пошел перед нами со свечою. Пройдя большую столовую и две гостиные, мы подошли к полурастворенным дверям освещенной комнаты. Дворецкий распахнул обе половинки дверей и проговорил торжественным голосом:

— Иван Андреевич, сударыня!

Вместе с этими словами поднялась ужасная кутерьма: тетушка-старушка, лет шестидесяти пяти, в гродетуровом шлафроке и белом чепце, с радостным восклицанием вскочила с дивана. Весь двор ее пришел в движение: зеленый попугай засвистел, как соловей-разбойник, со всех сторон кинулись к нам под ноги с громким лаем три болонки, две моськи и одна поджарая английская собачонка. Пожилая калмычка, Федосья Тихоновна, вскрикнула, молоденькая фаворитка Глашенька ахнула, а Михеич, безобразный карла, с огромной головою, бросился унимать собачонок, из которых одна успела уж мне прокусить сапог.

— Друг мой, Ванечка! — говорила Марья Степановна, обнимая своего племянника. — Насилу ты приехал!.. А я уж думала, не случилось ли что с тобою?.. Ах, ты, мой душенька!.. Да ты, мне кажется, потолстел?.. Право, потолстел!.. Ну, слава богу!.. Давно ли ты из Петербурга?.. Говорят, дорога такая гибель, что не приведи господи!.. А ведь ты, я думаю, все скакал!.. Да что это у тебя нос-то?.. Уж не отморозил ли?.. Постой-ка!.. Нет, нет! обветрило только!.. Ах, ты, мой сердечный!.. То-то, чай, умаялся!.. Глашенька, чаю!.. Проворней, проворней!.. Однако ж, Ванечка, послушайся меня, как ляжешь спать, натри себе нос гусиным салом. Фенечка, приготовь ему!.. Право, я боюсь, кажется, прихватило немножечко!.. Ах ты, мой милый друг!.. Ах, ты, мой голубчик!..

Во все продолжение этой семейной сцены я играл довольно жалкую роль; казалось, никто не замечал моего присутствия; наконец, Двинскому удалось промолвить словечко.

— Тетушка,— сказал он,— честь имею вам рекомендовать моего искреннего друга и сослуживца, Богдана Ильича Бельского.

Я, как следует, подошел к руке.

— Ах, батюшка,— сказала Марья Степановна, целуя меня в щеку,— извините; я совсем обезумела от радости!..

— Я уговорил его приехать со мною в Москву,— продолжал Двинский,— и надеюсь, тетушка, вы не позволите ему жить нигде, кроме вашего дома.

— Разумеется!.. Очень рада, Богдан Ильич!.. Будьте здесь, как у себя... Все друзья моего Ванечки мне свои.

— Но мне, право, совестно...— проговорил я.

— Что вы, что вы?.. Да неужели я допущу вас жить в каком-нибудь трактире? Нет, батюшка, этого в Москве не водится... Может быть, у вас в Петербурге... А мы живем по старине! Милости просим гостить у меня, хоть вплоть до самой весны... Чем дольше, тем лучше!.. Фенечка, займись-ка, матушка, вели прибрать зеленую да голубую комнаты!.. Да скажи Трифону, чтоб он поторопился ужином...

— Позвольте нам не ужинать,— сказал Двинский.

— Не ужинать! Что ты, мой друг? Может быть, у вас в Петербурге не ужинают — по-иностранному, а мы люди русские, мы всегда ужинаем.

— Да мы сейчас будем пить чай, тетушка.

— Чай чаем, батюшка, а ужин ужином. Да что это мы стоим?.. Богдан Ильич, прошу покорно! Садись, Ванечка!

Мы сели; и вот тетушка принялась рассказывать племяннику разные семейные и городские новости: как двоюродный братец Степан Степанович женился на Анне Дмитриевне Фурсиковой; как дядюшка Иван Николаевич отказал полковнику Бирюлькину, который вздумал посвататься за его старшую дочь Агаточку; как две недели тому назад в маскараде у Медокса одна тульская помещица разрешилась от бремени; как на последнем бале у графа О*** княжна Филанцета Димитриевна поссорилась с княжною Ариной Михайловной за то, что та перебила у нее пару в длинном польском; как Аграфена Тихоновна подымала Иверскую божию Матерь, по случаю тяжкой болезни своего мужа, которому, благодаря бога, теперь гораздо лучше; как Иван Павлович третьего дня завел ужасную историю в Благородном собрании и вызывал на дуэль Алексея Степановича, который был во второй паре и, не спросясь у него, переменил фигуру в экосесе, и как Настасья Прохоровна отказала от дому князю Башлыкову за то, что он не приехал сам, а прислал человека поздравить ее со днем ангела. Этот длинный монолог продолжался до самого ужина, после кото-

рого мы отправились в отведенные нам комнаты, разделись и, утонув в огромных пуховиках, заснули, как убитые.

На другой день поутру Двинский поехал делать визиты, а я отправился смотреть Москву. Я воротился домой ровно в два часа и, к крайнему моему удивлению, узнал, что меня давно уже дожидаются к обеду. За столом Двинский объявил мне, что я буду вечером на двух балах: во-первых, у Катерины Львовны Завулоновой, а потом у графа О***.

— У Катерины Львовны немножко тесненько,— сказал мой приятель,— домик небольшой, но она такая милая умная женщина! Вся Москва ее любит и уважает. У нее чрезвычайно обширное знакомство, и хотя она сама принадлежит к лучшему здешнему кругу, но ты встретишь у нее образчики почти всех здешних обществ. Мы поедем к ней часу в восьмом, пробудем до девятого и отправимся к графу; там ты увидишь всю московскую аристократию. Сам хозяин в мундире и во всех орденах, разумеется, и все гости также в мундирах, однако ж это нимало не мешает веселиться на только молодым, но даже и весьма пожилым людям, из которых многие так-то выплясывают матрадуры да экосесы, что любо-дорого посмотреть. Вот, припомни мои слова: когда станут танцевать алагрек, так в первой паре непременно будет кавалер в ленте и звезде. Нет, мой друг, у нас в Москве не то, что у вас: у нас старики подают пример молодым, как веселиться. Да зато уж мы и веселимся не по-вашему.

— Правда!—промолвила тетушка.— В Москве как начнут веселиться, так некогда и лба перекрестить! А коли придет желание богу помолиться, так наша матушка Москва и на это хороша. Святой город, батюшка!.. Была бы только охота, а то и в Киев незачем ехать.

Мы отправились с Двинским ровно в семь часов и приехали почти в половине осьмого к Катерине Львовне Завулоновой. Мы сбросили наши шинели в передней и продрались кой-как сквозь толпу лакеев, из которых иные были навьючены, как верблюды, салопами и шубами своих господ. В небольшой зале, освещенной сальными свечами, танцевали круглый польский. С величайшим трудом пробираясь подле самой стенки, дошли мы, наконец, до хозяйки дома. Двинский меня представил. Катерина Львовна наговорила мне тьму приятных вещей и, надобно сказать правду, в несколько минут очаровала меня совершенно своей любезностью и милым обращеньем. Между тем польский кончился, и музыканты заиграли экосес; прежде чем мы с Двинским отыскали себе танцовщиц, во всю длину залы вытянулись уже два фронта, один из кавалеров, а другой из дам, и нам решительно негде было приютиться.

В эту самую минуту подбежал к хозяйке довольно рослый горбун в полосатом сюртуке.

— Катерина Лимоновна,— сказал он,— Катерина Лимоновна, посмотри, как я отхватаю локасею!

И с этим словом, припевая под музыку какие-то не слишком пристойные рифмы, он ворвался в средину экосеса и пустился догонять в присядку первую пару, которая сходила вниз.

— Что это, братец, такое? — сказал я, не веря глазам моим.

— Это Федька Горбун,— отвечал весьма хладнокровно Двинский.— Он один из самых знаменитых московских дураков — преумная бестия!.. Однако здесь становится очень душно; пойдем в другие комнаты.

Мы вошли в первую гостиную, в которой было также тесно, потому что столах на пяти играли в бостон. Подле одного из играющих, толстого барина с владимирским крестом на шее, стояла дама лет тридцати, одетая не только без всяких претензий, но даже с каким-то неряшеством. В ее грубом и мужиковатом голосе не было ничего женского; точно так же, как и в продолговатом лице, которого резкие черты выражали, однако ж, какое-то добродушие. В ту минуту, как мы вошли в гостиную, она говорила толстому барину:

— Врешь, врешь, князь, давай синенькую!

— Да у меня, кажется, нет мелких,— проговорил толстый барин, раскрывая нехотя свой бумажник.

— Все равно, я сдам!.. Да вот синенькая, давай ее, давай!.. А, Иван Андреевич! — продолжала она, увидев Двинского.— Какими судьбами?

— Вчера приехал из Петербурга,— отвечал мой приятель, поцеловав с большим почтением ее вовсе не прелестную ручку.

— Полно, полно врать! Чай, недели две живешь в Москве, а ко мне глаз не покажешь! Хорош, батюшка, очень хорош!

— Право, я вчера только приехал; спросите у тетушки.

— Ну, добро, добро! Бог тебя простит!.. Давай синенькую!.. Для бедной вдовы... пятеро детей... есть нечего: жалость такая, что не приведи, господи!

— Позвольте уж мне предложить вам десять рублей,— сказал Двинский, подавая ей красную ассигнацию.

— Спасибо, мой отец, спасибо! — проговорила барыня, поклонясь в пояс Двинскому.— Вот это бог тебе зачтет! Это уж, батюшка, истинно добровольное подаяние!

«Да,— подумал я, — по русской пословице: добровольно, наступя на горло».

— Э,—вскричала барыня,—да вон, кажется, Ведеркин!.. С него можно и беленькую слупить—откупщик! Чай, так-то разбавляет свое вино водицею!.. Прокофий Сергеич!.. Прокофий Сергеич...

Но догадливый откупщик как будто бы не слышал и спешил продраться в залу, чтоб как-нибудь улизнуть от этой сборщицы добровольных подаяний. Она пустилась за ним в погоню, а мы пошли далее.

— Что это за строгая барыня?—спросил я у Двинского.

— Это очень известная дама, Настасья Парменовна Нахрапкина; ее знает вся Москва.

— Ну, мой друг, если у вас много таких дам...

— А что? Тебе не нравится ее слишком простодушный тон?.. Да на это никто не обращает внимания; все к этому привыкли. Конечно, она походит несколько на переодетого мужчину, не слишком вежлива, и коли примется кого-нибудь отрабатывать, так я тебе скажу!.. Но, несмотря на это, женщина предобрая и, если надобно бедному помочь или оказать услугу кому бы то ни было, знакомому или незнакомому, всегда первая.

Пройдя вторую гостиную, мы остановились в дверях небольшого покоя, который, вероятно, по случаю бала, превратился из спальни в приемную комнату. Посреди этой комнаты стоял длинный стол, покрытый разными галантерейными вещами. Золотые колечки, сережки, запонки, цепочки, булавочки и всякие другие блестящие безделушки разложены были весьма красиво во всю длину стола, покрытого красным сукном. За столом сидел старик с напудренной головою, в черном фраке и шитом разными шелками атласном камзоле. Наружность этого старика была весьма приятная и, судя по его благородной и даже несколько аристократической физиономии, трудно было отгадать, каким образом он мог попасть за этот прилавок. Да, прилавок, потому что он продал при нас двум дамам, одной золотое колечко с бирюзою, а другой—небольшое черепаховое опахало с золотой насечкою; третья, барышня лет семнадцати, подошла к этому прилавку, вынула из ушей свои сережки и сказала:

— Вот возьмите! Маменька позволила мне променять мои серьги. Только, воля ваша, вы много взяли придачи—право, десять рублей много!

— Ну, вот еще много!—прервал купец.—Да твои-то сережки и пяти рублей не стоят.

— Ах, что вы, князь!—возразила барышня.—Да я за них двадцать пять рублей заплатила.

— Князь!—повторил я шепотом.

— Да, Богдан Ильич,— сказал мне на ухо Двинский.— Это отставной бригадир, князь Н***. Он промотал четыре тысячи душ наследственного именья и теперь видишь, чем промышляет. Ты будешь часто встречать его сиятельство с этим же самым подвижным магазином; с некоторого времени он сделался почти необходимой принадлежностию всех балов.

— Ну, какие я вижу у вас чудеса!

— И, мой друг, да это что еще! Посмотрел бы ты наши гулянья, а особливо лет десять тому назад. Этот бедный князь торгует поневоле, а там по собственной охоте выкидывают иногда такие балаганные штуки, что глазам своим не веришь, Вот, например, известный богач Д*** выехал однажды в таком экипаже, что уж подлинно ни пером описать, ни в сказке рассказать — все наперекор симметрии и здравому смыслу: на запятках трехаршинный гайдук и карлица, на козлах кучером мальчишка лет десяти, а форейтором старик с седой бородою; левая коренная с верблюда, правая с мышь. Другой барин не покажется на гулянье иначе, как верхом, с огромной пенковой трубкою, а за ним целый поезд конюхов с заводными лошадьми, покрытыми персидскими коврами и цветными попонами. Третий не хочет ничего делать, как люди, зимою ездит на колесах, а летом на полозках; четвертый... Да где перечесть всех наших московских затейников. Воля, братец!.. Народ богатый, отставной; что пришло в голову, то и делает. Но вот, кажется, первый экосес кончился; пойдем скорей ангажировать дам на второй. Через полчаса нам должно ехать, так третьего не дождемся, а ведь, право, неловко, если ты для первого раза вовсе танцевать не будешь.

Мы пошли опять в залу, протанцевали один экосес, потом отправились втихомолку и через четверть часа попали в веревку, то есть в длинный ряд экипажей, который начинался за полверсты от дома графа О***. Вот, наконец, дошла и до нас очередь. Я воображал, что увижу огромные каменные палаты, а вместо этого мы подъехали к большому деревянному дому, вовсе не красивой наружности. Внутренность его также не ослепила меня своим великолепием. Конечно, комнаты были просторны и отделаны богаче, чем в доме Катерины Львовны Завулоновой, но зато они почти все были обезображены огромными изразцовыми печами самой старинной и неуклюжей формы. Бесчисленное множество слуг, и богато и бедно одетых, рассыпано было по всему дому. В танцевальной зале, также не очень великолепной, но довольно обширной, гремела музыка. Мы нашли в этой зале почти всех гостей и самого хозяина, который, в полном мундире и во всех орденах своих, сидел посреди первых сановников и почетных московских

дам. Этот аристократический круг, эти кавалерственные дамы и седые старики в лентах и звездах, эта толпа молодых людей, которые, все без исключения, были в мундирах, все это вместе придавало какой-то важный и торжественный вид балу, который во всех других отношениях, конечно, не мог бы назваться блестящим. Двинский подвел меня к хозяину; он обошелся со мною очень просто, но с большой лаского и радушием; просил веселиться, танцевать и ездить к нему без всякого зова по всем понедельникам. Чтобы не ввести в слово моего приятеля, который рекомендовал меня отличным дансером всем своим кузинам, а их было у него с полсотни, я принялся прыгать с таким усердием, что под конец совсем выбился из сил. После ужина, который, если сказать правду, отличался только великолепным серебряным сервизом, да полнотою и обилием блюд, музыка опять заиграла и начался бесконечный алагрек. Я не участвовал в этом последнем танце и присел отдохнуть недалеко от хозяина. Вот проходит полчаса, алагрек все продолжается; одна фигура сменяет другую, и кавалер первой пары, несмотря на то, что ему гораздо за пятьдесят, кажется, решительно не знает усталости; вот он начинает пространную фигуру, что-то похожее на хороводную потеху «заплетися, плетень»,— все пары перепутываются, подымаются суматоха, хохот, беготня и — что ж?.. В самую минуту этого танцевального разгула, вдруг хозяин привстал и закричал громовым голосом: «Гераус!»[1], то есть: «Вон!» Музыка остановилась, кавалеры раскланялись с дамами, и в две минуты во всей зале не осталось ни одного гостя. Я до того был поражен таким неожиданным заключением бала, что не вдруг опомнился, вышел из залы последний и с трудом отыскал Двинского в толпе гостей, которые теснились в официантской комнате и передней.

— Что это, братец? — сказал я.— Так этак-то у вас провожают гостей?.. Ну!!!

Двинский улыбнулся.

— Надеюсь,— продолжал я,— в следующий понедельник хозяину угощать будет некого.

— Право? — сказал Двинский.— Не хочешь ли побиться об заклад, что все гости, которых ты видел сегодня, приедут опять сюда на будущей неделе?

— Как? После такой обиды?

Двинский засмеялся.

— Обиды! — повторил он.— Ох, вы, петербургские! Да чем тут обижаться? Все знают, что добрый хозяин рад своим го-

[1] **Heráus!** — Вон! *(нем.)*

стям, а это у него такая привычка: у него почти все балы так оканчиваются; иногда он закричит «гераус», а в другое время протрубит на валторне, что также значит: «ступайте вон». И уверяю тебя, что за это на него никто не сердится.

— Не может быть!

— Да посмотри вокруг себя: ну, видишь ли ты хотя одно недовольное лицо?

В самом деле, ни на одном лице не заметно было не только досады, но даже удивления: все казались и веселы и спокойны, как будто бы не случилось ничего необыкновенного. Меж тем закричали нашу карету, мы сбежали с лестницы, сели и отправились домой.

Вот, любезные читатели, самый верный очерк двух московских балов, на которых я танцевал тому назад с лишком сорок лет. Хотя в этом рассказе я не позволил себе ни малейшего отступления от истины, хотя в нем все от первого до последнего слова совершенная правда, но эта правда так походит на вымысел, что я вовсе не удивлюсь, если никто из нового поколения московских жителей не даст веры моим словам. Не странно ли после этого встречать людей, которые воображают, что Москва до сих пор еще сохранила эти простодушные нравы, невежественные причуды и безвкусную роскошь, которые, с примесью какого-то собственно московского европеизма, составляли некогда отличительные черты ее *прежней*, хотя не очень красивой, но зато решительно самобытной физиономии.

МОСКОВСКИЕ БАЛЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Толпа мазуркой занята,
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда шпоры,
Летают ножки милых дам...

Пушкин



х, какой я был охотник в старину до балов, как любил танцевать до упаду!.. сначала для того только, чтоб танцевать, а потом для того, чтоб танцевать или, лучше сказать, разговаривать свободно с той, с которой я не мог иначе говорить, как в присутствии строгой и подозрительной маменьки, а эти маменьки — избави, господи!.. Они взвешивают каждое ваше слово, готовы ко всему придраться, перетолковать все по-своему и, смотря по обстоятельствам, или включить вас в число женихов своей дочери, или запереть от вас двери своего дома. Я помню, бывало, как мне не посидится на одном месте, как бьет меня лихорадка, как нетерпение мое превращается в совершенную тоску, когда, окончив мой туалет, я ожидаю блаженной минуты, в которую мне можно будет отправиться на бал. Часы нейдут, время не двигается. «Боже мой! — думаю я бывало. — Да что ж это за бесконечный вечер?.. Вон уже фонари, кажется, тухнут по улицам, а все еще восьмой час в начале!..» И вот, наконец, бьет половина девятого. Я бросаюсь в карету, скачу... Дом освещен, но у подъезда всего-навсего только два или три экипажа... Что за дело! Пусть зовут меня провинциалом... Вхожу... Хозяин рассыпается в похвалах моей аккуратности: я приехал ровно в назначенный час. Вот начинают съезжаться; в гостиных становится тесно... Вот гремит неизбежный на всех балах польский: «гром победы раздавайся!» Танцевальная зала наполняется гостьми; старики *подымают* почетных дам, молодежь спешит вслед за ними, я один не танцую... И до того ли мне? Скоро десять часов, а ее нет как нет!.. Уж будет ли она?.. О, непременно!.. А если не будет?.. Мне кто-то сказывал, что маменька ее нездорова... сестра больна... старуха тетка приехала из Калуги... Да, кажется, на последнем бале у Горемыкина она долго дожидалась кареты... а у этого глупого полубоярина на лестнице холод, в сенях дует... Что, если она... Боже мой!.. Вот двери из передней настежь... Сердце мое замирает... Она?.. Нет,

семейство Коврижкиных, маменька чуть дышит, дочери с огромными носами, у одной все лицо в веснушках... И охота же этим уродам ездить по балам!.. Чу!.. Один, два... восемь... десять часов... а ее все нет!.. О, она верно не будет!.. Вот опять отворяются двери... О, боже мой, несносный Фуфлыгин с своей седой головою, красными раздутыми щеками и с клеймом дурака на лбу!.. А вот и его супруга, эта полуфранцузская и полумордовская барыня, эта жеманная кривляка в пятьдесят лет!.. Ну, беда, она меня увидела, идет ко мне!.. Эта старая кокетка вопьется в меня, как пиявка, начнет интересничать, мучить, пытать, тянуть из меня жилы!.. Скорей куда-нибудь... в дальнюю комнату!.. И вот я за полверсты от бальной залы, чуть слышу музыку, стою подле ломберного стола, смотрю, как играют в карты, не различаю мастей, ничего не вижу, ничего не слышу... Проходит несколько минут, я иду назад, шатаюсь из комнаты в комнату, нигде не найду места... О, боже мой, как скучно, как темно на этом бале!.. Какие у всех длинные лица!.. Как скверно играет музыка!.. Вдруг позади меня шорох. Я обертываюсь — *она*!.. О, как один этот взгляд, одна эта милая улыбка изменяет все в глазах моих!.. Этот бал прелесть!.. Как все вокруг меня светло, весело, живо!.. Я жму руку у Фуфлыгина, смеюсь его тупым остротам, говорю вежливости его супруге; огромные носы девиц Коврижкиных кажутся мне целым вершком короче; одним словом, я всем доволен, все мне нравится; я счастлив — я блаженствую... О молодость, молодость!.. Ты прошла, моя молодость,— да и бог с тобою!.. Пусть жалеют о тебе другие, а я вовсе не жалею. Подумаешь, что осталось от этих бурных дней моей юности, когда, томимый жаждою наслаждений, я искал их везде,— что осталось от них? Одно воспоминание о каких-то неполных, скоротечных радостях, о каком-то тревожном, лихорадочном состоянии души, что-то похожее на смутный сон, в котором существенное было только одно — пресыщение и тоска. «О чем?» — спросите вы.— И сам не знаю, по крайней мере, не знал тогда. Я только чувствовал, что мне чего-то не доставало, что вся эта суета, все эти порывы страстей, эта минутная любовь, минутные друзья, минутные радости... Да что говорить об этом; я вижу, вы готовы уж перевернуть страницу, не читая. Не бойтесь, я не хочу вас делать участниками моих психологических размышлений, а поговорю с вами о бале, на котором, может быть, и вы были вместе со мною, если только вы бываете на балах.

Кто из постоянных московских жителей не знает или, по крайней мере, не слыхал об Андрее Николаевиче Радушине, который так счастливо соединяет в себе любезность и обра-

зованность нашего времени с русским хлебосольством и добродушием старинных московских бояр? Во всяком другом городе, разумеется, исключая Петербурга, его роскошные обеды, блестящие балы и барское житье вошли бы в пословицу, но здесь, в нашей гостеприимной Москве, это вовсе не в диковинку; мы точно так же привыкли к великолепным пирам, как пригляделись к живописным видам, которыми так богата наша белокаменная. Говорят, что у нас в старину живали еще веселее. Да, это правда! Мы все, теперешние старики, жили гораздо веселее прежде, да полно, не оттого ли, что были молоды? Впрочем, если эта веселость измеряется числом даваемых праздников и количеством тех, которые посещают эти праздники,— то, конечно, в старину или больше веселились, или меньше занимались делом; вы можете из этих двух заключений выбрать любое.

В пригласительном билете на бал, который я получил от Андрея Николаевича Радушина, хозяин просил пожаловать к нему на бал и ужин в осемь часов пополудни. Это показалось бы мне довольно странным, когда бы я не знал, что Радушин хотел испытать, не съедутся ли к нему все гости часу в десятом, если он будет приглашать их ровно в осемь. Я люблю сам делать разные опыты и, признаюсь, ожидал с нетерпением назначенного часа, чтоб посмотреть, как примет это нововведение московская публика и захочет ли она веселиться, не вредя своему здоровью и не утомляя бедного хозяина, которому, после всех дневных и ночных хлопот, право, не мешало бы прилечь отдохнуть хотя в первом часу ночи. Я приехал к Радушину в половине девятого часа. Прекрасный дом его был освещен, как фонарь, у подъезда стояли жандармы, у дверей швейцар, в сенях и по лестнице лакеи в богатых ливреях, по всем комнатам официанты, в обширной бело-мраморной зале музыканты настраивали свои инструменты, и во всем доме, кроме хозяина и его семейства, не было никого: я приехал первый. «Что делать,— подумал я,— времена переходчивы! В старину гости не только съезжались, но даже и уезжали по желанию хозяина, а теперь он просто не хозяин, а нижайший слуга тех, которым угодно к нему пожаловать, то есть должен за свою хлеб-соль покоряться безусловно их причудливой воле и модным капризам». Вот ровно в десять часов раздался второй звонок (первый раз прозвонили в колокольчик для меня) через несколько минут в приемной комнате, в которой помещался буфет, прошептали тоненьким голоском: «Ах, maman, я вам говорила, что рано!» И несколько дам вошло в первую гостиную. Через четверть часа прозвенели в третий раз, вскоре за тем в четвертый, потом чаще чаще — и вот зво

нок забил тревогу; гости начали входить толпами, и, наконец, часу в двенадцатом ночи загремела музыка. Люди не танцующие составили партии; несколько стариков, по прежней привычке, засели в вист, а все другие принялись козырять в преферанс — эту бестолковую, но забавную игру, которая сбила с поля и затейливый бостон и глубокомысленный вист и завладела, вероятно, надолго всеми ломберными столами Российской империи. Звонок продолжал до самой полуночи возвещать изредка о приезде новых гостей. Впрочем, по моему замечанию, эти запоздалые гости были почти все молодые люди, которые надеялись еще натанцеваться досыта. Один только господин пожилых лет приехал также в двенадцать часов, но зато как же он был и наказан! Как не принятая Хароном тень на берегах Стикса, скитался он, бедняжка, из одной комнаты в другую. Тут играют, там играют, везде играют, а он лишь только смотрит!.. Долго следил я за этим сиротою: то присядет он, сердечный, к висту, то приютится к преферансу. Вот за одним столом партия кончилась, осталось разыграть пульку. Надежда ожила в сердце бесприютного горемыки. Играли втроем, следовательно, он мог как-нибудь пристать четвертым — и вдруг — о, небеса!.. на пульку ставят ремиз, два ремиза... десять ремизов!.. Я взглянул на запоздалого гостя и ужаснулся: лицо его осунулось, помертвело, не походило даже на человеческое!.. Чтоб рассеять неприятное впечатление, произведенное во мне отчаянием этого господина, я отправился смотреть танцы. Залитая светом огромная зала была наполнена гостьми. Две французские кадрили, обхваченные со всех сторон толпами зрителей, помещались на таких малых пространствах, что танцующие едва могли шевелиться, а к дамам, которые сидели вдоль стен, не было никакой возможности подойти. Я заметил, наконец, в одном углу порожний стул; нелегко было до него добраться, но мне как-то посчастливилось, я протеснился вслед за двумя дамами сквозь толпу, нашел этот благодатный стул еще не занятым и сел. Моими соседями были с правой стороны одетая сильфидою толстая барыня лет тридцати, а с левой — какой-то господин, который, вероятно, так же, как и я, приехал на бал вовсе не для того, чтоб танцевать. Несмотря на его довольно свежее лицо и румяные щеки, нетрудно было отгадать, что он давно живет на свете; на нем был форменный камергерский фрак, сшитый не очень модно, однако ж, и не по-стариковски. Мне с первого взгляда понравилась его открытая и веселая физиономия.

— Фу, какая духота! — прошептал этот господин, протирая свои золотые очки, которые запотели от жару.

— Да, кажется, в зале очень тесно,—сказал я.

— Ужасно! Впрочем, так и быть должно: что за бал, на котором и прохладно и просторно.

Я что-то ему отвечал, и вот мы, слово за слово, разговорились, наконец, как старинные знакомые.

— Позвольте вас спросить,—сказал я,—кто эта прекрасная брюнетка с огненными черными глазами, которая, проходя мимо нас, протянула вам свою руку?

— О,—отвечал мой сосед,—это одна из самых блестящих созвездий нашего общества. В Лондоне ее непременно назвали бы *львицею,* а мы, москвичи, просто зовем ее любезной, милой женщиной, которая умела без танцев и карт привлечь в свой дом все то, чем может похвастаться московское общество. Вы встретите в ее гостиной и наших вельмож, и литераторов, и художников, и, конечно, по ее приему не отличите действительного тайного советника от какого-нибудь ученого профессора или поэта.

— Да кто же она?—спросил я. Мой сосед назвал ее по имени, и тут я узнал, что эта блестящая дама—жена человека, которого уважает вся Москва и которого нельзя не любить всякому, кто любит ум, честь и истинное просвещение.

— Видите ли вы,—сказал мой сосед,—эту даму высокого роста в черном бархатном платье, вот направо, против самой люстры?..

— Какая прекрасная женщина!—вскричал я невольно.

— Какой ангел доброты, сказали бы вы, если б она была с вами знакома. Знаете ли, почему я хотел обратить ваше внимание на эту даму? Она может служить живым доказательством, что из всех известных средств, сохраняющих нашу телесную красоту, самое действительное и самое верное заключается в чистоте и спокойствии души нашей. Знаете ли, что этой даме, которая, вероятно, кажется вам моложе своей соседки, хотя она пятнадцатью годами ее старее, знаете ли, что ей—страшно вымолвить—с лишком сорок лет.

— Нет, вы шутите!

— Уверяю вас! Прибавьте к этому, что она в жизни своей натерпелась много горя, но она не знала никогда ни злобы, ни зависти; сердце ее не волновали бурные страсти; она умела только любить и прощать, и вот вы видите, как она до сих пор еще прекрасна. Как жаль, что к ней подсел этот господин, одетый по модному парижскому журналу. Бедненькая, он задушит ее своими пошлыми французскими фразами! Посмотрите, как он развалился, как всякое движение его, как этот надменный взгляд, эта обидная улыбка, как все в этом русском

денди напрашивается на дерзость и вызывает грубость на язык того, кто имеет несчастие с ним разговаривать.

— А кто этот барин?

— Да как бы вам сказать?.. Вы знаете, каких людей называли некогда на Руси баскаками?..

— Как же! Это были татарские сборщики податей.

— Ну, да! То есть чиновные и знатные татары, которые приезжали в Россию, чтоб сбирать оброки с русских крестьян, давить своею гордостию русских бояр, говорить с презрением о земле русской и потом, собравши, а иногда и награбив, кучу денег, отправляться с ними обратно на житье в свою орду. Ну, вот этот господин точно такой же баскак: он живет всегда за границею, каждые пять лет приезжает на короткое время в Россию, чтоб собрать все недоимки со своих десяти тысяч душ, посмеяться над русскими обычаями, поговорить о нашем варварстве и невежестве, изъявить свое душевное презрение к земле, которая его поит и кормит, и потом, накопив побольше денег, отправиться снова проживать их в свою орду — Париж.

— Да, вы правы! — сказал я. — Этот господин точно напоминает татарских баскаков, но, впрочем, он все-таки не татарин, и, вероятно, хотя из приличия, скрывает истинные свои чувства.

— Скрывает?.. Что вы?.. Он хвастается ими. Конечно, ему не всегда проходит это даром. Вот на этих днях, споря с одним умным и почтенным стариком, который доказывал ему, что мы, русские, точно так же, как и все другие народы, созданы по образу и подобию божьему, он вошел в такой азарт, что сказал при всех: «Вы можете защищать, как хотите, вашу Россию, а я вовсе не патриот и говорю решительно: я жалею, что я русский». — «И все русские также об этом жалеют», — сказал весьма хладнокровно старик, оборотясь к нему спиною.

Тут две дамы, проходя мимо моего соседа, кивнули ему ласково головами.

— Вот, — сказал он, — я желал бы, чтоб этот полуфранцуз, о котором мы сейчас говорили, показал мне двух парижанок, которые были бы милее, просвещеннее и любезнее этих двух русских барынь. Как я люблю видеть их вместе! Вот, эта, у которой белоснежное лицо, округленное руками самих граций, так привлекательно, так мило, у которой глаза не черные, не голубые, а просто прекрасные глаза, кипят таким чувством и жизнию, — побеседуйте с нею, поговорите, о чем вам угодно, и я уверен, что в два или три часа, которые покажутся вам несколькими минутами, она успеет совершенно обворожить вас своим умом, любезностию и заставить от души пожалеть

о том, что вы не были с нею знакомы прежде. Другая дама, в лице которой вы можете заметить какую-то задумчивость, которая придает такую необычайную прелесть ее очаровательной улыбке, постарее годами, но она сохранила вполне эту мечтательность, эту живость ума и милую простоту, которые так часто гибнут вместе с нашей молодостию. Чтоб получить ясное понятие о тех женщинах, которые царствовали в аристократических гостиных Парижа, надобно видеть эту русскую барыню, когда она принимает гостей в своем роскошном доме. С каким *тактом* или, говоря по-русски, с какой сметливостью обходится она с каждым из своих гостей, как умеет самого неловкого и застенчивого провинциала сделать в несколько минут не только развязным, но почти любезным, и как чересчур свободный щеголь становится в ее доме приличным, вежливым и даже скромным. Она несколько раз была за границею, объехала почти всю Европу и не вздыхает о том, что живет в Москве. У ней друзей немного, но если кто имел счастие попасть в число этих избранных, тот может смело быть уверен, что прекращение этой дружеской связи не зависит от какой-нибудь минутной прихоти или женского каприза: в этом случае она вовсе не женщина.

— А, здравствуй, mon cher[1]! — сказал, подойдя к моему соседу, смуглый мужчина, лет сорока пяти, приятной наружности и довольно видный собою.

— Ба, ба, ба, — вскричал мой словоохотливый камергер, — Разгуляев! Ты в Москве?

— Пятый день, мой друг.

— Как это ты решился приехать на бал?

— И сам не знаю! Да зато сейчас еду: надобно выспаться, я завтра рано поутру отправляюсь.

— В Петербург?

— Разумеется?.. А, да! кстати: на будущей неделе в воскресенье я обедаю дома ровно в три часа — не забудь, мой друг! Прощай!

— Что это за господин такой? — спросил я камергера. — Что, он служит при почтамте что ль?

— Нет, он нигде не служит. Славный малый, хороший приятель, человек умный, любезный и сверх того большой путешественник.

— Право?

— Пренеутомимый! Беспрерывно в дороге.

— Что, он путешествует по одной Европе?

---

[1] Мой дорогой *(фр.)*.

— Да, по одной Европе: из Москвы в Петербург, а из Петербурга в Москву; и надобно отдать ему справедливость, в этом отношении он истинно русский человек: ему семьсот верст нипочем. Сегодня он угощает вас обедом в своем московском доме, а через три дня обедает в Петербурге у кого-нибудь из своих приятелей; потом через неделю приедет к нам в Москву напиться чаю и дней через пять после этого вы легко можете его увидеть в петербургском театре, а особливо если дают в первый раз новую оперу или балет.

— Вот странная охота,— сказал я,— ездить так часто по этой скучной петербургской дороге!

— Странного тут ничего нет,— прервал с улыбкою мой сосед.— Один путешествует для того, чтоб видеть новые предметы, другой потому только, что любит быть в дороге. Мой приятель принадлежит к этому последнему разряду путешественников, а так как петербургское шоссе едва ли не лучшее во всей Европе, так он круглый год по нем и катается... Однако ж,— продолжал мой сосед, обтирая платком свой лоб,— здесь становится уж слишком жарко. Не знаю, как вы, а я выпил бы охотно стакан лимонаду.

— И я от этого не прочь.

— Так пойдемте в буфет,— сказал камергер, вставая.— Пойдемте скорей,— повторил он, схватив меня за руку,— к нам идет одна дама, от которой я готов убежать на край света.

— Что ж это за страшная барыня такая?

— Она очень добрая женщина, но так раздушена этим гнусным *пачули*, что от нее пахнет за версту аптекою!.. И как могла быть мода на эти отвратительные духи?.. Какой-то запах камфоры, проникнутый мускусом... Фуй, мерзость какая!

Я засмеялся.

— Вам смешно,— продолжал камергер,— что я говорю с таким жаром о каких-нибудь духах. Да у меня личная к ним ненависть; я не могу хладнокровно говорить об этой заразе — да, заразе! Человек, раздушенный этой гадостью, походит на чуму: он заражает все своим прикосновением; ему стоит только пожать вашу руку, и вы на целый день получите запах египетской мумии.

Мы вошли в буфет, то есть в столовую комнату, обставленную кругом прилавками, на которых в хрустальных чашах лежали грудами плоды и конфекты; в граненых разноцветных графинах стояли освежительные напитки, и кипела вода в серебряном самоваре. В этой комнате было также довольно тесно. Пока мы дожидались нашей очереди, чтоб напиться лимонаду, один приземистый барин успел пропустить в себя пять чашек чаю и проглотить с полдюжины сдобных булочек, но,

по крайней мере, он ничем не запасался, а в двух шагах от него какая-то пожилая барыня преспокойно набивала конфектами свой огромный ридикюль, который начинал уже принимать форму довольно увесистого кулька. Признаюсь, я очень обрадовался, когда заметил по выговору этой запасливой дамы, что она хотя и барыня, да только не русская. Меж тем камергер, напившись лимонаду, вступил в разговор с тремя господами, из которых один, судя по его речам, был петербургский житель, а двое других природные москвичи. Дело шло о бале, то есть эти господа, наперерыв один перед другим, критиковали все.

— Какой это бал! — говорил один из москвичей.— Это базар! Здесь не достает только гостинодворцев с бородами.

— Да! — подхватил другой москвич.— Что за народ! С какой площади хозяин нахватал этих гостей? Я, конечно, видел до пятидесяти лиц, с которыми встречаюсь в первый раз от роду.

— Но, вероятно, вы также встретили здесь и всех ваших знакомых? — сказал камергер.

— Да, конечно, но я желал бы...

— Чтоб хозяин пригласил к себе на бал только тех, которые имеют честь быть с вами знакомы?

— Я не говорю этого, но согласитесь, однако ж, что если б выбор гостей был несколько построже...

— Так их было бы гораздо меньше,— прервал камергер,— и, может быть, вы первые тогда бы сказали, что бал был скучен, вовсе не оживлен, что танцевать было некому, что в зале мерзла вода, а в гостиных надобно было сидеть в шубах.

— Почему вы думаете, что я сказал бы это?

— Не вы, так другой. Что ж делать! мы все любим осуждать, уж такова натура человеческая вообще, а московская в особенности.

— Я в этом случае,— сказал петербургский житель,— вовсе не судья; я человек приезжий и почти никого здесь не знаю, но если смею заметить, так мне кажется — туалет московских дам...

— Хуже петербургского? — прервал камергер.— Вот это я очень часто слышу и, признаюсь, никак не могу отгадать причины этой разницы. Кажется, моды здесь те же самые, большая часть наших московских барынь бывают часто в Петербурге и за границею, модные торговки у нас также все француженки, так отчего бы, кажется?.. Уж не климат ли этому причиною?..

Петербургский житель улыбнулся и хотел что-то сказать, как вдруг подошел к разговаривающим молодой человек, причесанный а-ля мужик, в широкополом фраке, который

с первого взгляда походил на распахнутый сюртук, в бледно-палевых перчатках и щегольских сапогах из лакированной кожи.

— Знаете ли, господа,— сказал он,— что делается на дворе?

— А что такое?— спросил один из москвичей.— Уж не метель ли?

— Не может быть!— сказал другой москвич,— теперь градусов двадцать морозу, а при таком холоде метели не бывает.

— Совсем не то!— продолжал щеголь.— Наши кучера точно так же пируют на дворе, как мы веселимся здесь.

— Наши кучера?

— Да! Их поят сбитнем.

— Неужели?— вскричал один москвич.

— Diable!— прошептал петербургский житель.— Comme c'est Moscovite[1]!

— Да нет, ты шутишь!— сказал другой москвич.

— Да, да! Уверяю вас, их поят сбитнем и кормят калачами.

Москвичи и петербургский житель засмеялись.

— А позвольте вас спросить, господа,— сказал камергер,— что тут смешного? Вместо того, чтоб смеяться, вам бы должно было сказать спасибо доброму хозяину за то, что он, угощая вас, позаботился и о том, чтоб кучера ваши, которые дрогнут всю ночь на морозе, посогрелись и отвели чем-нибудь свою душу. Неужели просвещенье и хороший тон требуют непременно, чтоб эти невольные участники ваших ночных забав не имели никакой отрады? Неужели радушный хозяин, который хочет, чтоб не только господа, но и слуги их остались довольны его угощением, должен казаться вам смешным, потому только, что это не водится ни в Париже, ни в Лондоне?.. Эх, господа, господа! Перенимайте себе что хотите у иностранцев, обедайте в семь часов, приезжайте на балы в двенадцать, одевайте жен и дочерей ваших в газовые платья, тогда как в сенях, в которых они дожидаются своих экипажей, бывает подчас десять градусов морозу,— одним словом, делайте все, что вам угодно, только оставьте в покое тех, которые не хотят еще, ради европейства, покинуть вовсе гостеприимные обычаи своих предков. Ведь уж этих чудаков осталось немного, подождите, они скоро все переведутся. Еще годков десять или двадцать, и мы будем знать только по преданию, что русские были когда-то большими хлебосолами и славились роскошным гостеприимством.

— Ну, в этом я с вами не соглашусь,— сказал щеголь с насмешливой улыбкою.— Я думаю, вы знаете, что гостеприим-

---

[1] Черт! Как это по-московски! *(фр.)*

ство есть добродетель всех непросвещенных и варварских народов; следовательно, мы еще очень долго, а может быть и навсегда, останемся гостеприимными.

Хотел бы я очень — только никак не могу — описать вам, хотя приблизительно, этот взгляд, исполненный глубочайшего презрения, которым отвечал мой бывший сосед на эту нелепую фразу московского европейца.

— А вот, кажется, и мазурка! — вскричал франт.

Он кинулся опрометью в залу, москвичи и петербургский житель отправились вслед за ним, и через несколько минут в буфете не осталось никого, кроме меня, камергера и той самой барыни, которая запасалась на всю зиму конфектами, только видно, она успела найти где-нибудь складочное место, потому что ридикюль ее показался мне порожним.

Часу во втором ночи гости стали понемногу разъезжаться, но большая часть, а в том числе и я, остались ужинать. Стол был прекрасный, вина также. «Ну, — думал я, отправляясь домой, — не дешево стал этот праздник Радушину! И если не все довольны его балом, так уж верно все скажут ему спасибо за ужин!» Размышляя таким образом, я сошел потихоньку с лестницы, послал моего слугу отыскать карету, а сам, накинув шубу, остался в сенях. Передо мною стояли два господина: один человек нестарый, высокого роста и очень толстый; другой пожилых лет, худощавый и весьма невзрачный собою. Они разговаривали вполголоса.

— Ну что, mon cher, — говорил худощавый, — что ты скажешь об ужине?

— Да что, братец, — отвечал толстый, — так: майонезы были порядочные, дичь плохо изжарена, а осетрина... избави господи!

— Да, это правда осетрина и дурно сварена и без толку приправлена. Впрочем, кушанье и туда и сюда, блюда два-три было порядочных, но вино, mon cher, срам! плохенькое марго, дюжинный сотерн, а шампанское!.. фу, дрянь какая, — рублей по осьми бутылка!

Тут возглас жандарма, который прокричал мою фамилию, помешал мне дослушать разговор этих господ; я сел в карету и отправился. Дорогою, размышляя о всем том, что видел и слышал на этом бале, я вспомнил мой разговор с татарским мурзою Алтын-беем, с которым три года тому назад познакомился в Касимове. Этот татарин был родом из Самарканда, человек не глупый, и хотя он провел большую часть своей жизни на Востоке, однако ж понимал и говорил весьма порядочно по-русски. Он очень любил со мною беседовать о наших

столичных обычаях, и вот слово от слова один из этих разговоров.

— А что, бачка, хочу я тебя спрашивать,— сказал однажды Алтын-бей, поглаживая свою густую черную бороду,— что такая балам?

— Балам?.. То есть бал? — спросил я.

— Да, бачка,— балам.

— А вот что, Алтын-бей: какой-нибудь богатый барин или барыня выберет один вечер, осветит свой дом, наймет музыку, наготовит всякого кушанья, различных напитков и позовет своих знакомых,— обыкновенно в девять или десять часов они съедутся, около полуночи...

— Ай, ай, ай, бачка! Зачем так поздна?

— Так уж водится. Одни гости сядут играть в карты, другие начнут танцевать, а третьи не делают ничего: ходят только взад и вперед по комнатам, кушают конфекты, всякие плоды, пьют разные прохладительные напитки и разговаривают меж собою.

— Так, бачка, так!.. Ну, а хозяина что?

— Хозяин всех принимает, хлопочет о том, чтоб все были заняты, чтоб всего было довольно...

— Так бачка, так! Ну, хозяина много работа!

— Да, конечно, хозяину и хозяйке хлопот довольно. Вот как натанцуются, наиграются и наговорятся досыта, сядут все ужинать, а там перед рассветом начнут разъезжаться, а как все разъедутся, так хозяева лягут спать. Вот что, Алтын-бей, называется балом.

— Так, бачка, так! Ну, эта балам хорош!.. А что, хозяина много деньга тратил?

— Каков бал, иному хозяину бал стоит несколько тысяч рублей...

— Ай, бачка, много деньга!

— Зато уж бал бывает хорош.

— Правда, бачка, правда!.. То-та, чай, вся гость дает большая поклон хозяину.

— Нет, любезный, плохо кланяются; напротив, почти всегда осуждают хозяина; на всех не угодишь: одному то не нравится, другому другое, а если в самом деле что-нибудь не так-то хорошо — музыка попадется дурная или дом худо освещен, так распозорят хозяина на чем свет стоит.

— Ай, ай, ай!.. Да зачем же хозяина и балам дает? Да что им, бачка, за охота за свои деньга лиха покупать?

— Ну уж на этот вопрос, Алтын-бей, и я тебе ответа дать не могу: спроси у них.

МАРЬИНА РОЩА

> Вы можете смеяться, но утверждаю смело, что одно просвещение рождает в городах охоту к народным гульбищам, о которых не думают грубые азиатцы и которыми славились умные греки.
>
> *Карамзин*



уда подумаешь, как богата наша матушка-Москва садами, бульварами и всякими другими частными и народными гульбищами. Чего другого, а уж в этом мы вовсе не нуждаемся. Взойдите летом на Ивана Великого, взгляните кругом, и вы увидите перед собою не город, а беспредельное зеленое море, усыпанное домами. Уверяю вас, это вовсе не пиитическая выходка, а самое верное выражение истины. Исключая середину города, где строение по большей части сплошное, вы редко встретите дом, при котором не было бы хотя маленького садика или по крайней мере нескольких кустов бузины и акации. В Москве считается садов публичных шесть, ботанический один, частных *тысяча двадцать четыре* и пятнадцать бульваров, из которых иные могут назваться садами. Из городских садов, открытых для публики, самые лучшие: Дворцовый сад за Москвою-рекою, Нескучное, Лефортовский, или Слободской, сад и Пресненские пруды. Кремлевские сады прекрасны, но они более походят на затейливые бульвары, чем на сады. Весной лучшее московское общество гуляет до обеда на Тверском бульваре, а купцы после обеда в кремлевских садах. В этих же садах есть довольно обширный луг, который так же, как и Тверской бульвар, может назваться аристократическим гуляньем, но только не взрослых, а детей. Всякий раз, когда мне случается проходить кремлевскими садами весной, часу в двенадцатом утра, я останавливаюсь и смотрю иногда по целому часу на веселые игры и беготню этих милых крошек, любуюсь их прелестными нарядами и гляжу также с некоторым удовольствием на этих, по большей части молодых и щеголевато одетых, нянюшек, которые, играя в горелки и мячики со своими малютками, посматривают украдкою на проходящих и, обдергивая измятые платьица детей, не забывают приглаживать собственные свои волосы и оправлять свои газовые косынки.

Не знаю, существует ли еще в Петербурге знаменитый сад г-на Ганина, если уж он опустел и зарос, если его дощатая башня-*древлянка* развалилась и деревянный Вольтер перестал кланяться всем гуляющим, то я могу сказать его поклонникам: «Утешьтесь! тип этих садов не вовсе погиб: у нас в Москве есть также сад, который едва ли еще не затейливее сада г-на Ганина. Он не велик, это правда, но сколько в нем необычайных и особенного рода красот! Какое дивное смешение истины с обманом! Вы идете по крытой алее, в конце ее стоит огромный солдат во всей форме. Не бойтесь! он алебастровый. Вот на небольшой лужайке, посреди оранжерейных цветов, лежит корова... Какая неосторожность!.. Успокойтесь! она глиняная. Вот китайский до́мик, греческий храм, готическая башня, крестьянская изба, вот гуси и павлины, вот живая горная коза, вот деревянный русский баран, вот пруд, мостики, плоты, шлюпки и даже военный корабль! Одним словом, вы на каждом шагу встречаете что-нибудь неожиданное и новое, и все это, если не ошибаюсь, на одной десятине земли. Этот сад можно также причислить к разряду публичных садов, потому что он благодаря радушному хозяину о́ткрыт для всех, желающих полюбоваться его затейливым разнообразием.

Наши загородные гульбища также очень многочисленны, у нас есть свой *пратер,* свое *тиволи;* оба эти названия вы можете прочесть в афишах, в которых с таким красноречием приглашают вас за тридцать копеек серебром гулять сколько вам угодно по тенистым дорожкам, смотреть безденежно на *чрезвычайные* представления эквилибристов, быть зрителем морских сражений, происходящих на покрытых зеленью прудах и узеньких канавах, восхищаться пятидесятирублевым фейерверком или дивиться изобретательности ума человеческого, смотря на воздушный шар из китайской бумаги, который, как извещают обыкновенно в афишках, *будет пущен при звуках военной музыки.* Петровский парк, Останкино, Сокольники, Марьина роща и Петровское-Разумовское — вот загородные гулянья, более других посещаемые московскими жителями. Я не говорю уже о прогулках в Коломенское, Кусково, Кунцево и еще несколько далее от Москвы: в Царицыно, Архангельское, Спасское, Братцово, Марфино, Кузьминки — все эти царские потешные дворцы и подмосковные русских бояр, очаровательные или местоположением своим, или роскошью своих садов, открыты для всех посетителей.

Я люблю вообще противоположности: вечное лето мне точно так же бы надоело и сделалось несносным, как и беспрерывная зима. Мне приятно иногда провести ночь на пышном бале, в кругу лучшего московского общества, полюбо-

ваться великолепным убранством и освещением наших аристократических гостиных, посмотреть на этот роскошный цветник московских красавиц, на их воздушные и легкие наряды, подчас довольно тяжелые для мужей и отцов. Но я люблю также иногда просидеть вечером у какой-нибудь замоскворецкой барыни, у которой дом освещен рублевыми кенкетами и сальными свечами; люблю попировать на свадьбе русского купца, у которого каждого гостя встречают молодые при звуке труб и литавр, где во время бала вас угощают брусничной водой, чаем, виноградным вином, шоколадом, финиками, сладкой водкою и балыком и где за ужином хозяин и хозяйка просят вас кушать непременно за четверых, приговаривая: «Да уж сделайте милость, батюшка, поневольтесь!» Мне случалось также, и, право, не без удовольствия, трапезничать у русского мужичка, когда он справляет храмовый праздник своего селения, пить вместе с ним сыченую брагу, кушать вареную баранину или пирог с капустою и лакомиться калеными орехами. Я люблю особенно эти противоположности тогда, когда между ними нет никаких постепенных переходов, и они, так сказать, встречаются меж собою, и вот почему решился в последнее воскресенье прошлого июля месяца побывать в один и тот же день в Марьиной роще и в Петровском парке. Эти два загородные гулянья не в дальнем расстоянии друг от друга; но общества, их посещающие, до такой степени различны меж собою, что даже цыгане, которые поют в Петровском воксале, не хотят знаться и водить хлеб-соль с цыганами и цыганками, забавляющими посетителей Марьиной рощи. Время было прекрасное; тихо — нигде ни облачка. Я велел заложить мою пролетку и отправился.

От Пресненской заставы до Марьиной рощи я ехал Ходынским полем, мимо летнего бега и скачки; потом, оставив на левой руке Петровский парк и Бутырки, доехал по дороге, проложенной меж огородов и лугов до березовой рощи, перерезанной во всю ее длину широкой просекою.

Я приказал кучеру дожидаться меня у большой рощи, а сам пошел пешком. Эта роща отделяется от другой, не очень обширной, которая примыкает к Лазареву кладбищу, широким и продолговатым лугом. На нем бывает в семик одно из лучших годовых московских гуляний. Марьина роща, или Марьины рощи, бывшие некогда немецким кладбищем, принадлежат теперь графу Шереметеву. Олеарий, в своем путешествии по России при царе Михаиле Феодоровиче, упоминает о немецком кладбище за Покровскими воротами, следовательно, должно было бы полагать, что в Марьиной роще погребали иноверцев еще при царе Борисе Федоровиче Году-

нове, но надпись на одном могильном камне, на котором вырезан тысяча шестьсот шестьдесят осьмой год, противоречит этой догадке; впрочем, можно сказать утвердительно, что в царствование Петра Великого это кладбище было вовсе оставлено и, судя по названию «Немецкие станы», которое и доныне еще старики дают Марьиной роще, вероятно, превратилось в загородное гулянье иноземцев, живших тогда в Немецкой слободе... В большой роще гуляющих было немного, кой-где сидели отдельными группами семейства купцов и ремесленников. Одни пили чай на каменных могильных плитах, из которых многие совсем уж вросли в землю, другие курили трубки и беседовали за бутылкой кроновского пива. Эти мирные наслаждения добрых и трудолюбивых людей были в совершенной противоположности с тем, что происходило в двух трактирах, которые стоят на лугу, между большой и малой рощами. В наружной галерее одного из этих трактиров играла музыка, то есть какой-то краснощекий артист, с затекшими от перепоя глазами, заливался на кларнете, безобразный старик с небритой бородою колотил в турецкий барабан и полупьяная немка, примаргивая правым глазом, отпускала удивительные трели на скрипке. Вокруг этого оркестра толпились цыганки в запачканных платьях и красных мериносовых платках, записные гуляки в венгерках, удалые купеческие сынки в щеголеватых сибирках и пьяные старики с такими беспутными и развратными рожами, что гадко и страшно было на них взглянуть. В другом трактире, как целая псарня голодных собак, с визгом и завыванием ревела толпа цыган, а перед дверьми трактира, на песчаной площадке, двое растрепанных оборванцев отхватывали *трепака,* этот классический танец всех загородных питейных домов и трактиров самого низшего разряда. Я заметил, однако ж, что большая часть гуляющих по лугу или вовсе не обращала никакого внимания на эти притоны разврата, или смотрела на них с явным отвращением. Я пошел вслед за толпами, которые спешили в небольшую рощу, примыкающую к Лазареву кладбищу. При самом входе в это средоточие народного воскресного гулянья я был поражен звуками, которые сильно потрясли мою душу; они воскресили в ней память о давно прошедшем, перенесли меня за семьсот верст, в ту деревню, где я, будучи еще ребенком, слышал так часто эту самую хороводную песню, которая раздавалась теперь в одном углу рощи. Разумеется, я пошел прямо туда, протерся кой-как сквозь густую толпу народа и стал в первом ряду зрителей. Почти весь хоровод был составлен из молодых крестьян, и только две или три сельские девушки в шелковых повязках и ситцевых сарафанах

вмешались как будто бы нечаянно в этот мужской круг. Внутри хоровода ходила пара: краснощекая девушка с потупленными глазами и молодой, видный собой детина, который от времени до времени отпускал разные *коленцы,* то есть помахивал своим красным платком, подергивал левым плечом и припадал бочком к своей даме, которая продолжала ходить по-прежнему, опустив книзу свои *ясные очи* и не обращая никакого внимания на пантомиму своего кавалера. Когда кончилась песня, под которую происходил танец, *по образу пешего хождения,* танцевавшая пара облобызалась и уступила свое место другой паре. Я пошел далее. Влево за деревьями подымалось несколько зданий, около которых теснился народ. В самом большом из них помещается главный трактир или, если вам угодно, ресторация Марьиных рощей; на высоком ее крыльце пели русские песенники, а вокруг ходили толпами цыганки и приставали к каждому гуляющему, хотя несколько похожему на такого человека, который может для своей забавы бросить полтину серебра и даже при случае не постоит за целковый. Одна из этих цыганок, безобразная как смертный грех, подбежала ко мне и проговорила сиповатым голосом:

— Барин, голубчик! прикажи спеть песенку!

— Спасибо, любезная! — отвечал я очень сухо, оборотясь к ней спиною.

— Ах ты, сокол мой ясный! — продолжала цыганка, забежав с другой стороны, — да прикажи! потешь, золотой, и себя и нас.

— Я, душенька, не охотник до песен, ступай к другим.

Тут подлетела ко мне еще цыганка, также очень смуглая, но довольно миловидная собой.

— Ах, сжальтесь над нами! — сказала она, устремив на меня свои сверкающие черные глаза, — прикажите нам спеть!

— Хочешь, красное солнышко, — прервала первая цыганка, — мы споем тебе «Ты не поверишь» или «Общество наше». Уж распотешим — прикажи!

К этим двум цыганкам присоединилось еще с полдюжины других. Не зная, куда мне от них деваться, я вошел в трактир, взглянул мимоходом на буфет, в котором человек десять прохлаждали себя ерофеичем, и остановился послушать разговор двух мастеровых, из которых один был уже под хмельком.

— То-то, брат Иван! — говорил он другому мастеровому, — раненько ты стал погуливать! тебе бы не след сюда шататься.

— А почему ж, Никита Степаныч? Ведь ты пришел же сюда погулять?

— Я?.. Ах ты, глупая голова! Да я-то разве ты?

— Да что ж ты, Никита Степаныч, так кочевряжишься? Ты подмастерье, и я подмастерье...

— Эк рассудил!.. Дурачина ты этакий! Да вот, примером сказать, крестьянская кляча лошадь, и графский рысак лошадь, а разве они равны? Я был мастером и буду мастером; я приеду домой размертвецки — хозяин не посмеет мне слова сказать. А ты что? Нахлюстаешься, а тебя завтра и по шеям!.. Нет, Ванюха, выучись-ка прежде хорошенько своему мастерству, а там и погуливай!

Тут подле меня началась какая-то ссора; явился городовой, и я, как человек миролюбивый, поспешил выйти из трактира и пошел по дорожке, которая вела прямо к Лазареву кладбищу. Эта усыпанная песком дорожка может назваться местом гулянья самого избранного общества Марьиной рощи: тут на скамейках сидело несколько купцов с своими женами, два или три пожилых чиновника в форменных фраках; по этой дорожке ходили взад и вперед какие-то дамы в щеголеватых бурнусах и даже один франт в альмавиве и белой соломенной шляпе. Он шел рука об руку с другим молодым человеком, который, вероятно, так же в своем уголку считался записным денди: его бакенбарды сходились на подбородке, волосы были острижены в кружок, на манишке блистала стразовая булавочка, по бархатному жилету висела цепочка, вероятно бронзовая, но что более всего изобличало в этих господах самых отчаянных львов своего квартала, так это было то, что от них пахло за версту *пачули* и что они говорили, во услышание всем, на французском диалекте; по крайней мере, один из них, проходя мимо меня, сказал другому: «Ком ву зет плезант, мон шер!»[1] Пройдя несколько раз по этой дорожке, я вышел опять к трактиру и остановился против дощатого балагана, у которого верхняя часть построена в виде сквозной галереи; в ней с правой стороны две женские куклы в обыкновенный человеческий рост, в белых кисейных платьях и с букетами в руках, кружились на одном месте; с левой стороны другие две куклы небольшого размера возбуждали беспрерывный смех в толпе любопытных зрителей; одна из них, представляющая лысого старика с красным носом, закидывала назад голову и пила из деревянного стакана, а другая, которую почтенная публика называла экономкою, поминутно нюхала табак. Посреди галереи вертелись на кругу небольшие лодочки, в которых сидели посетители этого — по словам вывески — *машинного парохода.* Я подошел к дверям и прочел на них надпись: *Вход в ботаническую галерею.*

---

[1] Как вы забавны, мой дорогой! *(искаж. фр.)*

— Ты, братец, хозяин этой комедии? — спросил я у русского мужичка, который сидел при входе за небольшим прилавком.

— Я, батюшка! — отвечал он, приподняв свою шляпу.

— А что за вход?

— Пятак серебром.

— Вот тебе гривенник, любезный, только растолкуй мне, почему у тебя написано: «Вход в ботаническую галерею»?

— А как же, сударь?.. Ведь у меня там вертятся машинные боты.

— А, вот что!.. Так, любезный, так!.. Ты сам придумал эту надпись?

— Сам, батюшка, — отвечал русский механик, поглаживая свою бороду, — мы уж давно в этом упражняемся. Да милости просим — пожалуйте, сударь!

Я не мог воспользоваться этим приглашением, потому что торопился в Петровский парк. «Как это странно, — подумал я, идучи к моим дрожкам, — в Москве самые любимые гулянья простого народа: Ваганьково и Марьина роща; Ваганьково — кладбище за Пресненской заставой, Марьина роща — также старое кладбище, в двух шагах от Сущевского кладбища; одним словом, это место самых буйных забав, пьянства и цыганских песен окружено со всех сторон кладбищами. В этой Марьиной роще все кипит жизнию и все напоминает о смерти. Тут, среди древних могил, гремит разгульный хор цыганок; там, на гробовой плите, стоит самовар, бутылки с ромом, и пируют русские купцы. Здесь у самой насыпи, за которой подымаются могильные кресты Лазарева кладбища, раздается удалая хороводная песня, кругом мертвые спят непробудным сном, а толпа живых, беспечно посматривая на эту юдоль плача, скорби и тления, гуляет, веселится и *безумствует,* не думая нимало о смерти. Что за чудная страсть у нашего простого народа веселиться на кладбищах? Отчего происходит это совершенное равнодушие к месту, которое должно бы возбуждать не веселье, не житейские помыслы, но чувство грусти и христианского умиления? Уж не остаток ли это наших языческих обычаев? В древние времена мы справляли *тризну* по усопшим; в наше время простой народ пьет вино и гуляет на *поминках* почти так же, как на свадебном пиру; следовательно, изменилось одно только название этого обычая. Быть может, в старину русский народ любил так же, как и теперь, сбираться в известные дни пировать на гробах своих предков и передал этот обычай своим потомкам. Я скорей хочу верить этому, чем думать, что наши мужички и ремесленный народ веселятся среди могил по какому-то грубому и без-

отчетному равнодушию к смерти, свойственному одним бессловесным животным».

Рассуждая таким образом, я вовсе не думал встретить в этой же Марьиной роще неоспоримое доказательство тому, что есть люди, которые, наблюдая обычаи просвещенной Европы, стоят еще ниже в моральном отношении этих развратных мещан, гуляк-мастеровых и безграмотных мужиков. Пробираясь к моим дрожкам, я остановился против одного из трактиров, о которых сказал уже несколько слов моим читателям. На крыльце этого трактира в толпе цыган, которые пели плясовую песню, стоял молодой человек лет тридцати; он присвистывал, приплясывал и, по-видимому, был в совершенном восторге от песни. Тут нет еще ничего странного, но вот что меня поразило: у этого молодого человека шляпа была обвернута крепом, а на обшлагах черного фрака нашиты широкие плерезы, следовательно, он недавно еще, быть может несколько дней тому назад, лишился отца, матери или жены, и, несмотря на это, не снимая даже своего глубокого траура, приехал слушать цыган в Марьину рощу!.. Поглядев несколько минут на этого чудака, я сел в мою пролетку и велел кучеру ехать в Петровский парк, о котором порасскажу кой-что читателям не в этой, а в следующей книжке моих записок, если только эта следующая книжка выйдет, что, впрочем, совершенно зависит от приема, который сделают читатели этому первому опыту «Московских очерков», может быть, весьма неискусных, но, если не ошибаюсь, довольно верных и чуждых всякого пристрастия.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК И ВОКСАЛ

...По моему сужденью,
Пожар способствовал ей много
к украшенью.
Грибоедов

ероятно, эти два стиха из комедии «Горе от ума» заставляли вас всегда смеяться — и я также, слушая их, смеюсь, а ведь если рассудить хорошенько, так Сергей Сергеич Скалозуб говорит совершенную правду. Конечно, пожар двенадцатого года весьма способствовал к украшению Москвы. Постепенное улучшение, не допускающее никаких насильственных мер, требует много времени; нельзя заставить хозяина какого-нибудь безобразного и уродливого дома сломать его и построить новый; если же этот дом сгорел, то правительство вправе требовать, чтоб при постройке нового дома соблюдены были все необходимые условия если не изящной, то, по крайней мере, правильной архитектуры. Но это еще один дом, а что будете вы делать с целыми улицами, кривыми, тесными, в которых один дом стоит вкось, другой боком, третий прячется назад, а четвертый выходит вперед и захватывает половину улицы, и без того похожей на узкий переулок,— тут уж горю пособить нечем. «Следовательно,— скажет какой-нибудь насмешник,— мы должны радоваться, что в двенадцатом году Москва почти вся сгорела». Избави господи! я говорю только, что она не была бы так хороша, если б ее не нужно было всю вновь перестраивать. Как жаль, что сравнение с фениксом, который возрождается из своего пепла прекраснее, чем был прежде, так часто употреблялось некстати и сделалось до того пошлым, что почти совестно употребить его, говоря о Москве. А ведь трудно найти сравнение, которое было бы во всех отношениях вернее этого — начиная даже с того, что Москва превратилась в пепел не случайно, не по воле врага, но по собственному своему желанию. Нельзя довольно надивиться, когда посмотришь, что сделано для Москвы в течение последних двадцати пяти лет под управлением того, который, облеченный доверенностию русского царя, так долго и с таким постоянным рвением

заботится об ее благосостоянии. Не говоря уже об огромном Петровском театре, о великолепной набережной по той стороне реки, между Каменным и Москворецким мостами, о бульварах и о множестве других улучшений, имеющих целию одну красоту и великолепие города,—сколько сделано в течение этих двадцати пяти лет для существенной пользы и блага московских жителей! Крутые спуски, от которых езда по Москве не всегда была безопасною, везде срыты, и грязные, заплывшие тиною пруды превратились в светлые бассейны, обсаженные тенистыми липами. Придет ли кому в голову, что этот широкий бульвар на *Трубе,* с своими зелеными полянами и гладкими дорожками, был не так еще давно почти непроходимым и зловонным болотом! Кто поверит что несколько лет тому назад на том самом месте, где теперь красивые сады опоясывают западную часть Кремлевской стены, был безобразный ров, заваленный всякою отвратительною нечистотою? Любуясь изящной и легкой архитектурою Москворецкого моста, вспомните, что недавно еще один только Каменный мост соединял весною все Замоскворечье с остальной частию города. Сколько раз, бывало, проездом в Троицкую лавру, останавливался я в Больших Мытищах, для того только, чтоб напиться знаменитой мытищинской воды, которая издавна славится своею свежестию, чистотою и чрезвычайно приятным вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием всякого вкуса—главным достоинством хорошей пресной воды. Как часто жалел я, что предложение императрицы Екатерины II не было исполнено и что эта превосходная вода не проведена в Москву. И вот уже несколько лет, как она в самой средине города, на всех площадях, окружающих Кремль, бьет из водометов, украшенных прелестными группами московского художника Витали. И вот уж мы почти забыли, что это величайшее благодеяние, оказанное московским жителям, принадлежит нашему времени. Пройдет еще несколько лет, и нам будет казаться, что это всегда так было, и даже—я уверен в этом—мы станем гневаться за то, что у нас нет фонтанов во всех частях города. Уж, видно, человек так создан: с улучшением его положения всегда умножаются его требования, и то, что вчера казалось ему благодеянием, становится завтра естественною обязанностию, за выполнение которой он даже и благодарить не должен.

Создание Петровского парка принадлежит также нашему времени. Если вы, любезные читатели, не забыли мою прогулку в Марьину рощу, то, вероятно, вспомните также, что я намерен был проехать из нее в парк для того, чтоб в один и тот же день взглянуть на два общества, совершенно различные

между собою. «Давно ли, думал я, подъезжая к этому любимому гулянью московской аристократии,— давно ли было здесь чистое поле, на котором не росло ни одного деревца, не красовалось ни одного домика; направо однообразное и бесконечное Ходынское поле, налево — продолжение того же поля, песчаная земля, глиняные копи, кой-где гряды с тощей зеленью и несколько лачужек, в которых жили огородники,— вот все, что представлялось вашим взорам, когда вы, миновав Петровский дворец, прекрасное здание мавританской архитектуры, *переделанной на европейские нравы,* продолжали ехать к Тверской заставе».

А теперь!.. Посмотрите, каким роскошным ковром раскинулся этот веселый парк, как разбегаются во все стороны его широкие, укатанные дороги, с каким изящным вкусом разбросаны его рощи, опушенные цветами и благовонным кустарником, какой свежей и яркой зеленью покрыты его обширные поляны, как мил и живописен этот небольшой пруд с своими покатыми берегами и прелестными мостиками! А это тройное шоссе с двумя бульварами, обставленное с обеих сторон загородными домами, которые, начинаясь от заставы, тянутся до самого парка; эти дачи, которые обхватили такой разнообразной и красивой цепью строений большую часть парка; эти чистые и веселые домики, которые столпились кругом дворца; этот игрушка летний театр с своим греческим портиком и огромный воксал со всеми своими затеями — лет десять тому назад обо всем этом и речи не было.

При самом въезде в парк я должен был сойти с дрожек, потому что мимо воксала было каретное гулянье, в котором смиренному экипажу в одну лошадь не дозволяется участвовать. Я пошел пешком по широкому тротуару, минуты через три попал в толпу гуляющих и, пройдя несколько шагов, остановился, чтоб взглянуть сначала на горы, а потом на круглые и висячие качели и разные другие детские забавы, которые подчас забавляют и людей пожилых. Я удостоверился в этом, глядя на одного человека лет тридцати. Куря весьма важно свою сигарку, он сидел на деревянном коне, который то опускался, то подымался на своей гибкой перекладине. Признаюсь, я почти позавидовал стоическому спокойствию и совершенному равнодушию, с которым этот пожилой дитя поглядывал на толпу любопытных зрителей, несмотря на то что многие из них указывали на него пальцами и смеялись. Миновав воксал, огромное и красивое здание, право, не знаю какой архитектуры, я дошел до небольшой рощи, в которой играла музыка. Вдоль по опушке этой рощи, в открытых беседках, построенных простыми навесами, сидели по большей

части дамы, только уже вовсе не похожие на тех, которых я видел в Марьиной роще. Я нашел в одной из этих беседок порожний стул, сел на него и очень обрадовался, когда узнал в моем соседе с левой стороны того самого словоохотливого камергера, с которым я провел вечер на бале у Андрея Николаевича Радушина. Мы тотчас возобновили наше знакомство.

— Странная вещь! — сказал камергер, — у меня было предчувствие, что мы сегодня опять с вами встретимся, — точно, предчувствие! Мне кажется, что всякий раз, когда я бываю на бале, на гулянье, в театре — одним словом, в большом обществе, я непременно должен с вами сойтись. Не знаю почему, но только мне с вами так ловко, так свободно, как будто бы мы век прожили вместе. Уж не двойники ли мы?

— А почему знать, — сказал я с улыбкою, — может быть, я и в самом деле ваш двойник.

— Надеюсь, по крайней мере, на сегодняшний вечер, — прервал камергер... — Вы будете в воксале?

— Как же! я для этого и приехал... А скажите мне, отчего здесь так много народу? что сегодня, праздник, что ль какой?

— Нет, просто воскресенье и хорошая погода.

— И все, что мы видим, будет в воксале?

— О, это другое дело! За гулянье не берут ничего, а за вход в воксал платят деньги. Однако ж, я думаю, сегодня и в воксале не вовсе будет пусто.

Тут подошел к моему приятелю человек небольшого роста, в сюртуке нараспашку, в легком суконном каскете и с толстой палкою в руке. Если б сосед мой не сказал мне после, что этому господину без малого семьдесят лет, то я никак бы не отгадал этого. Все движения его были так свободны и так быстры; его румяные щеки, веселый взгляд, ласковые речи и приветливая улыбка исполнены были такого юношеского простодушия и жизни, что я невольно вспомнил про некоторых известных мне двадцатилетних философов и отчаянных гегелистов, которые показались бы старыми перед этим семидесятилетним стариком.

«О премудрые юноши! — подумал я, — что-то с вами будет, когда вы доживете до этих лет? «Мы, дескать, все *мыслители*, — мы все идем за нашим веком». Нет, господа! Вы только заедаете ваш собственный век. Ну что за жизнь, в которой нет ни весны, ни лета, а только одна осень да зима? Кто говорит, хорошо и молодому человеку отрешать себя от этих ничтожных забав света и суеты мирской — да только не ради Гегеля».

— Ну что, моя душа, — сказал этот любезный старик, пожимая дружески руку у моего соседа, — будешь в воксале?

— Буду.

— Так пора: чрез полчаса зажгут фейерверк. Э! да это, кажется, княгиня Вера Андреевна!—продолжал он, взглянув на пожилую даму, которая сидела в одной с нами беседке.—Да, так точно!.. И с обеими дочерьми!.. О, да их надобно непременно завербовать. Без них бал не бал!.. А вот и Матрена Дмитриевна с племянницей... Какой у них щегольский экипаж!.. Пора в воксал, Матрена Дмитриевна!.. Вы будете?.. Да!.. А! князь Иван!.. Постойте-ка, батюшка, ваше сиятельство, одно слово! А ты, мой друг, отправляйся в воксал. Я сейчас буду!..

— Пойдемте,— сказал мне камергер.

Мы встали.

— Вот истинно счастливая старость!—продолжал он, идя вместе со мною к воротам воксала.—Сколько еще жизни в этом семидесятилетнем старике! И как полна была его жизнь! Попробуйте, заведите с ним разговор о старине, так он порасскажет вам о таких диковинках, что вы заслушаетесь! Он служил при дворе во времена Екатерины, имел счастие беседовать с Суворовым и представлялся Наполеону, когда еще он был только первым консулом. Кого он не знал, чего он не видал и чего не испытал, не исключая горя, да еще какого!.. О, в жизни его были тяжкие минуты, но природная веселость одолела все. Подлинно, если можно чему позавидовать, так это счастливому характеру человека, сохранившего и под старость всю беспечную веселость юноши, который горюет и смеется почти в одно и то же время.

У ворот воксала мы взяли билеты и, пройдя несколько шагов двором, подошли к крыльцу, на котором стояли жандармы и полицейский чиновник. В самом воксале почти никого еще не было.

Надобно сказать правду, трудно было бы придумать что-нибудь лучшее и приятнее этого сборного места посетителей Петровского парка. Крытые широкие террасы, прекрасные галереи, чистые красивые комнаты и огромная зала в два света истинно изящной архитектуры; совершенная свобода: все мужчины в сюртуках, все дамы в шляпках; хороший ужин, музыка для желающих танцевать, отличный хор цыган для тех, которые любят цыганские песни—а этих любителей в Москве очень много; полковая музыка и фейерверк для всех. Одним словом, воксал Петровского парка мог бы стать наряду с лучшими европейскими заведениями в этом роде, если бы у нас было побольше хороших летних дней и поменьше людей, для которых за морем все мило, а дома все не по душе.

Исполнение первого условия зависит не от нас, хотя и в Москве иногда лето бывает прекрасное; что ж касается до второго условия, то, бог милостив, авось и оно когда-нибудь

сделается для нас возможным: ведь не век же нам оставаться детьми, для которых чужая игрушка всегда кажется лучше своей.

Через полчаса собралось в воксале человек полтораста. Вот первая ракета зашипела, взвилась под облака и рассыпалась огненным дождем над кровлею воксала.

В одну минуту опустели все залы: боковые террасы и средний балкон покрылись зрителями. Я также вместе с моим неразлучным товарищем вышел на балкон. Огненная потеха продолжалась минут десять и окончилась, как следует, павильоном, или букетом, то есть полсотней ракет и двумя бураками, которые взлетели в одно время на воздух. Мы возвратились в большую залу, прошли по ней раза два и, когда музыка заиграла вальс, присели в уголку подле двух дам. Их лица показались мне знакомыми; но если б мой товарищ не назвал этих дам по имени, то я не скоро бы отгадал, что имею честь сидеть подле двух артисток французской труппы. Они разговаривали между собою довольно громко, и, разумеется, дело шло о притеснениях и обидах — обыкновенный разговор всех актрис, из которых я еще не встречал ни одной, которая не была бы чем-нибудь обижена или притеснена. В особенности одна из этих артисток, женщина лет за сорок, горько жаловалась на несправедливость начальства, не дозволяющего ей играть *молодых любовниц* и отдающего эти роли девчонке неопытной, бездарной, которая нравится публике только потому, что всем делает глазки и перемигивается с креслами.

— Представьте себе, — говорила она, разумеется по-французски, — эта мерзкая интриганка, которой бы следовало занимать в нашей труппе место *ютилите* или даже *аксессуара,* лезет в первые *амплуа* и хочет играть все роли г-жи Алэн! Надобно же иметь медный лоб!.. А как дерзка, как нагла! Третьего дня она до того кривлялась и кокетничала с каким-то господином, который сидел в первом ряду кресел, что забыла свою *реплику,* начала врать вздор, сбила совершенно с толку суфлера да его же, бедного, толк ногою в самый нос!

— Что вы говорите?

— Да, да! этого никто не заметил, а я видела — точно, видела!

— Так что ж он не пожалуется?

— И, ma chère![1] Да как он смеет? Ведь у нее так много протекторов: весь город и все предместья.

— Как вы злы, ma chère!

---

[1] моя дорогая! *(фр.)*

Сначала я слушал с некоторым любопытством эту закулисную болтовню, но под конец мне сделалось скучно, и я обратил все внимание на французскую кадриль, в которой кавалеры танцевали в шляпах, а дамы в шляпках, в мантильях и даже одна в своем бурнусе. Глядя на кадриль, я невольно вспомнил, как отличался тому лет сорок назад в этом классическом танце, с какой отчетливостию выделывал свои *балансе, па-де-коте* и *шасе анаван,* с какой легкостию выполнял я этот блестящий *па-де-ригодон,* доступный только для первых учеников незабвенной памяти знаменитого московского танцмейстера Миранвиля.

«И эти пешеходы,—подумал я, поправив с гордостию мой галстук,—воображают, что они танцуют французскую кадриль!.. Нет, господа! мы не так ее танцевали в старину!.. Что это такое?.. Дамы еще как будто бы делают какие-то па, а эти жалкие кавалеры... да они просто ходят, и даже не в такт... И это называют танцами!..»

Первая кадриль кончилась, вслед за нею составилась другая.

— Кто эта молодая девица?—спросил я у моего товарища.—Вот что танцует против нас... в розовой газовой шляпке с белыми цветами?.. Как она хороша собою!

— Да, это правда! Только она не девица.

— Неужели замужем?

— И уж давно, то есть несколько лет.

— Вот этого бы я никак не подумал. Как она грациозна!

— Да!

— Какая пленительная улыбка!

— Да!

— Я думаю, она должна быть очень любезна и мила?

— Да! говорят, что она любезна и мила.

— Говорят? Так вы с нею не знакомы?

— Нет, знаком; да мне без малого пятьдесят лет, а эта дама разговаривает и даже кланяется только с теми, которым не более тридцати. Уж видно, у нее такая привычка.

— Однако ж она разговаривает с своим кавалером, а он, кажется, человек пожилой.

— Кто! этот господин с рыжеватой бородкою?.. О, это другое дело! Он один из *московских львов,* а эти господа пользуются всеми правами молодых людей; да и кому придет в голову, что человек пожилой решится носить бороду, одеваться по модной картинке и танцевать до упаду?

— Понять не могу, как есть люди, которые, прожив полвека...

— Дурачатся наравне с молодыми повесами?.. Да, это, конечно, странно! а особливо когда между ними встречаются, хотя и очень редко, однако ж все-таки встречаются, люди весьма неглупые. То-то и есть — видно, ум и благоразумие не всегда уживаются вместе.

— Полно, так ли? — сказал я. — Англия наполнена чудаками, которых странные поступки и нелепые причуды не доказывают большого благоразумия, а ведь, право, англичане люди вовсе не глупые и весьма благоразумно обрабатывают свои дела, а если надобно подняться на хитрости, так проведут хоть кого и за пояс заткнут своих ветреных соседей, несмотря на все их остроумие.

— Об англичанах не говорите! Их странности имеют своим основанием совсем другую причину. Англичанин оденется каким-нибудь шутом или станет поступать вопреки всем принятым обычаям вовсе не для того, чтоб обратить на себя внимание или отличиться чем-нибудь от других; он это делает по гордости. У себя дома он еще соблюдает некоторые приличия, но вне своего отечества англичанин ставит себя выше всякого общего мнения: он делает все, что ему придет в голову, и, выполняя свои причуды, не заботится нимало, что скажет об этом общество, которого мнением он вовсе не дорожит. Да вот, кстати! посмотрите на этого господина, у которого сюртук опускается до самых пяток... ну вот, что танцует с дамою в лиловой шляпке. Он путешественник, англичанин и, могу вас уверить, человек очень умный.

Я взглянул и онемел от удивления. Представьте себе господина пожилых лет, высокого и худощавого, в долгополом неуклюжем сюртуке, в башмаках и штиблетах; представьте себе на длинной, бесконечной шее угрюмое и бледное лицо, осененное огромным носом, гладко выбритый подбородок, обхваченный снизу тонкой каймою рыжих волос, и пару серых оловянных глаз, из которых в правый воткнута черепаховая лорнетка. Представьте себе, что это святочное пугало не танцует французской кадрили — хотя и это было бы довольно забавно, но работает, как лошадь, коверкается, изгибается, прыгает, переплетает ноги и выделывает ими такие узоры, что глазам не веришь. Его дама закрывает платком рот. Все вокруг его смеются вслух, хохочут ему в глаза; что ж он — сердится? — нет. Сам смеется? — нет. Он продолжает с тем же самым важным и неподвижным лицом вырабатывать с механической точностию разные танцевальные сальтомортали, один другого вычурнее и глупее. Ну точь-в-точь огромная выпускная кукла, которая двигается и прыгает до тех пор, пока в ней не сойдет пружина.

— И вы говорите,— сказал я камергеру,— что этот нарядный шут умный человек?

— И умный, и рассудительный, и очень просвещенный.

— Да помилуйте! станет ли умный человек выкидывать такие балаганные штуки в присутствии целого общества?

— Но если он совершенно равнодушен и к похвалам и к насмешкам этого общества, так оно как будто бы для него не существует.

— Как не существует, когда он из кожи лезет, чтоб позабавить всю честную компанию?

— Да он вовсе никого не забавляет — и не думает об этом.

— Так из чего же он трудится?.. Зачем делает такие удивительные скачки?..

— Зачем?.. Чтоб вспотеть хорошенько. Он говорит, что это необходимо для его здоровья.

Кадриль кончилась; англичанин обтер платком лицо, кивнул головой даме, запустил обе руки в карманы своего сюртука и пошел, переваливаясь с ноги на ногу, в ту сторону, где раздавались песни цыган. Мы отправились вслед за ним. В конце длинной галереи сидели полукружием смуглые певицы, не слишком красивые собою, но все с блестящими черными глазами. Трудно было бы отгадать по их платью, что они цыганки, их прежний наряд, с перекинутым через одно плечо платком, был гораздо живописнее. Теперь они как две капли воды походят на горничных девок самого низшего разряда, которые принарядились, чтоб идти под качели. Позади их стояли рослые цыгане в купеческих кафтанах и сибирках. Насупротив, также полукругом, поставлены были в несколько рядов стулья; на них сидели по большей части дамы, а мужчины толпились кругом, ходили взад и вперед или сидели вдоль стены залы на обитых ситцем скамьях.

Цыгане пели, и довольно дурно, какую-то протяжную песню в три голоса.

— Вот это вовсе не по их части! — сказал я камергеру.— Мне не очень нравятся их дикие, неистовые вопли, их бешеные выходки и визготня, составляющие отличительный характер цыганских песен; но, по крайней мере, в этом музыкальном бесновании есть что-то оригинальное, поражающее вас своею новостию, странным смешением разладицы с согласием, неожиданными переходами из одного мотива в другой и какой-то жизнию — безумной, это правда, но исполненной силы и движения; а это вялое пение, на манер французских романсов, приправленное какими-то глупыми, некстати приткнутыми руладами; эти черствые, полуосипшие голоса, которые прикидываются нежными,— все это, по-моему, чрезвычайно

дурно, и, признаюсь, я не могу надивиться терпению наших дам... Посмотрите, с каким вниманием слушают они это дурацкое мяуканье... Нет, нет! вот, кажется, одна начинает уж понемножку морщиться.

— Кто?.. Вот та, что сидит крайняя в первом ряду?.. Да, я думаю, что ей тошно. Это одна из наших московских барышень-певиц, которая стала бы наряду первых европейских артисток, если б родилась не дворянкою. Теперь только одни избранные могут восхищаться ее пленительным голосом и жалеть, что случай и общественные условия заключили в такие границы огромный талант, для жизни которого всегда необходимы простор и рукоплескания очарованной толпы.

— А кто эта дама, что сидит подле нее?

— А! — сказал с улыбкой камергер, — вы заметили?.. Не правда ли, что хороша?

— Удивительно!.. Ее можно бы назвать совершенной красавицею, если б она была немножко потоньше...

— И очень любезной женщиною, если б она не так занималась своей красотой, поменьше рисовалась и не думала, что эта красота дает ей право самовластно царствовать даже и над теми, которые почли бы за счастие быть ее друзьями, но вовсе не имеют желания умножить собою число ее подданных. Ей не мешало бы иногда подумать, что власть красоты есть самая ненадежная из всех властей и что поклонники ее, точно так же как и поклонники богатства, ужасные эгоисты: и те и другие любят не вас, а ваше богатство или красоту. Первое еще можно сохранить до самой смерти, а ведь красота дело скоропреходящее... Да что ж это такое? — прибавил камергер. — Уж я никак начал говорить поучительные речи?.. Послушаемте-ка лучше цыган; вот они сбираются петь что-то хором.

Один из цыган, детина среднего роста, в обшитом позументами казакине, вышел вперед; он держал в руках гитару.

— Это, верно, их запевало? — спросил я.

— Да! он старший в их таборе.

— Однако ж не летами. Какой бравый детина! как он ловок, развязен! сколько огня во всех его движениях. Ну, подлинно молодец!

— А знаете ли, сколько лет этому молодцу!

— Под сорок...

— Давным-давно за шестьдесят.

Тут этот почти семидесятилетний бандурист ударил по струнам своей гитары. Глаза его засверкали; все смуглые певицы встрепенулись; одна старая, толстая и безобразная цыганка завертелась, как беснующаяся, на своем стуле. Цыган мах-

нул отрывисто правой рукою, и вот грянул хор и разразился каким-то ураганом оглушающих, диких и в то же время гармонических звуков. Подле нас стояли два француза. Они, казалось, были в восторге от этого бешеного хора.

— Comme c'est echevelé![1] — шептал один из них.

— C'est ravissant![2] — восклицал другой.

— Да, да! — проговорил позади их исковерканным французским языком тот самый англичанин, который так усердно танцевал французскую кадриль. — Годдем![3] Как эти голоса напоминают мне вой моих охотничьих собак, когда их запрут на псарню!

Вот мотив песни изменился. Голоса стихнули, тоненькое, едва слышное сопрано пропело несколько тактов, и вот снова грянул хор, и тихий голосок утонул в этом приливе звуков, как одинокая капля... чуть было не сказал: в бурном море; да, к счастию, вспомнил, что в прозе дозволяется быть поэтом только до некоторой степени. В двух шагах от меня сидел около стены человек пожилых лет; взглянув на него нечаянно, я заметил, что он необыкновенно бледен; это заставило меня еще раз оглянуться. В эту самую минуту цыгане, кончив свой хор, запели плясовую песню. Вдруг пожилой господин, на которого я смотрел, покачнулся и грянулся об пол. Вслед за этим раздались пронзительные крики. Жена и две дочери этого несчастного бросились к нему на помощь. Все засуетилось, пришло в движение. Толпа, окружавшая цыган, стеснилась вокруг умирающего.

— Доктора, скорей доктора!.. Ему надобно пустить кровь!.. — кричали со всех сторон.

Англичанин схватил его за руку, засучил рукав и вынул из кармана перочинный ножик.

— Позвольте, позвольте! — раздался громкий голос.

Толпа расступилась, и один из наших известных московских медиков подошел торопливо к лежащему без чувств господину, взял его за пульс; потом приложил руку к сердцу и, помолчав несколько времени, сказал вполголоса:

— Он умер!

О, каким ужасом поразили эти слова толпу, за минуту до того веселую и беспечную!.. Как изменились все лица, когда на этот пир, кипящий жизнию, пожаловала нежданная, непрошеная гостья — гостья неминучая и дорогая, но которую мы так редко встречаем с радостию и веселием. В полминуты во

---

[1] Как это беспорядочно! *(фр.)*
[2] Прелестно! *(фр.)*
[3] Черт побери! (от *англ.* god damn)

всех освещенных залах воксала не осталось никого, кроме нескольких полицейских чиновников и отчаянной семьи умершего. Я вышел вслед за другими, отыскал мою пролетку и отправился домой.

Не стану рассказывать вам, что думал я дорогою; кажется, было о чем поразмыслить и повторить не раз так часто повторяемый нами вопрос: «Ну, скажите, что такое жизнь человеческая?..»

Думал ли этот отец семейства, отправляясь в воксал, что дни его сочтены и что он — страшно подумать — умрет под цыганскую песню!.. Боже мой, боже мой! как ничтожна эта земная жизнь, которую мы ценим так дорого! Мы станем смеяться над тем, кто будет украшать и отделывать с большим старанием постоялый двор, на котором сбирается прожить несколько часов, а сами... Да что говорить об этом!.. Кто из нас не разыгрывает в лицах русскую пословицу: «Гром не грянет, мужик не перекрестится»? Утихнет гроза, взойдет солнышко, и мы как ни в чем не бывало опять затянем гулевую песню до новой грозы и нового удара!..

Рассуждая таким образом, я вспомнил об одном давно уже забытом послании, из которого очень кстати пришли мне на память следующие, весьма посредственные, но совершенно справедливые четыре стиха:

Сегодня я здоров, а завтра бил мой час,
И часто, может быть, забыв, о друг мой милый,
Что жизнь зависит не от нас,
Мы *пляшем* над своей могилой.

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ

> Ну что ваш батюшка? Все Английского клоба
> Старинный, верный член до гроба?
>
> *Грибоедов*



Москве четыре клуба: Английский, Дворянский, Купеческий и Немецкий. Довольно замечательно, что ни один из этих клубов не оправдывает вполне своего названия. В Дворянском клубе многие из членов не дворяне, в Купеческом не все купцы, в Немецком большая часть членов русские, а в Английском едва ли наберется человек десять англичан. Английский клуб первый по старшинству своего основания, решительно также первый и во всех других отношениях — это неоспоримая и ничем неопровержимая истина; против этой истины не осмелятся восстать даже и те бессрочные кандидаты, которые, провисев на стенке лет пятнадцать и, не видя конца своему искусу, решились завести свой собственный клуб и назвать его Дворянским. Попасть в члены Английского клуба довольно трудно; число членов, ограниченное уставом, почти впятеро менее числа кандидатов, из которых многие, как я уже имел честь докладывать, ждут лет по пятнадцати своей очереди. Не подумайте, однако ж, чтоб эта трудность побеждалась одним терпением. О, нет!.. Дождавшийся своей очереди кандидат баллотируется, и если не будет избран, то должен навсегда отказаться от чести быть членом Английского клуба, потому что вторичная баллотировка воспрещается уставом. Для многих этот день страха и тревожных ожиданий остается на всю жизнь днем достопамятным и незабвенным. Я знаю одного члена, и надобно сказать, что он вовсе не один в своем роде, который разделяет свою жизнь на четыре главные эпохи: рождение, производство в первый офицерский чин, женитьбу и поступление в члены Английского клуба. Чему же дивиться, что один из этих господ, в минуту восторга, захотел сделать всю Москву участницею своей радости и напечатал на визитных карточках: «Андрей Андреевич Мухоморов, член Английского клуба». Го-

ворят, будто бы какой-то насмешник прибавил: «и разных других ученых обществ». Но я решительно этому не верю — это сказка. Каждый из членов Английского клуба имеет право записывать гостем всякого иногороднего и даже московского жителя, если только он не служит и не имеет собственного дома, но этим правом должно пользоваться с большою осторожностию. Ваш гость может требовать все, что ему угодно: кушать устрицы, разварных стерлядей, пить шампанское и сверх того проиграть несколько тысяч рублей, не заплатя за все это ни копейки; от него ничего не потребуют, ему даже не намекнут, что в Английском клубе едят и пьют за деньги, а на мелок никогда не играют; он, как гость, не обязан этого знать; за все будет отвечать тот член, которым он записан. Если вы, опасаясь беды, не станете сами никого записывать, то вас будут просить об этом другие, потому что каждый член имеет право записать одного только посетителя. Разумеется, в этом случае ваш отказ будет оскорбителен: это все равно, если б вы сказали, что не полагаетесь на честь того, который просит вас об этом. Опытные члены изобрели весьма хорошее средство отстранить и это неудобство; они постоянно записывают в книгу посетителей — разумеется, по очереди — имена двух или трех приятелей, которые или вовсе не бывают в клубе, или бывают очень редко; их личная безопасность ограждена и в то же время они могут всегда отвечать с приличной вежливостию: «Ах, извините!.. Мне очень жаль, но я уж записал одного из моих знакомых».

Московский Английский клуб открыт в 1802 году на Петровке, в бывшем доме князя Гагарина; в этом доме помещается теперь новая Екатерининская больница. Я был в то время одним из самых ревностных членов клуба, но в 1812 году, вступая снова в службу, не возобновил моего билета и с тех пор ни разу не был в клубе. Я знал только по рассказам, что он с Петровки перешел на Дмитровку в дом Муравьева, а потом на Тверскую в великолепные палаты графа Разумовского. Старики бывают иногда так же причудливы, как прекрасные женщины и избалованы, как дети. С лишком тридцать лет не думал я о клубе, и вдруг, недели две тому назад, пришла мне смертная охота возобновить мой билет и снова начать ездить в клуб. В то время, как я придумывал, как бы поскорее приступить к этому важному делу, заехал ко мне Захар Иванович Илецкий, старый холостяк, который лет сорок тому назад был блестящим молодым человеком, *царем паркета,* украшением московских балов, любимцем всех женщин и предметом зависти всех мужчин. Предание гласит, что он точно был некогда московским ловеласом и что по милости его бесчислен-

ное множество влюбленных девиц сошло с ума, зачахло и умерло от любви, отчаяния, чахотки, воспаления в мозгу и разных других телесных и душевных болезней. Разумеется, Захар Иванович, живя одними воспоминаниями, не мог любить настоящего времени; да и как любить его?.. В старину Захар Иванович был молод и здоров; в старину все веселились — то есть он веселился, а теперь все скучают — то есть ему скучно. Бывало, ему не достает времени на удовольствия, а теперь он не знает, куда с ним деваться. На балах он лишняя мебель, на званые обеды доктор запрещает ездить; все молодые дамы смотрят на него так смело, все мужья с ним так ласковы!.. Тоска да и только!.. Захар Иванович Илецкий попал в члены Английского клуба в тот самый год, когда перестал танцевать и получил отказ от третьей невесты, за которую сватался; ему было тогда ровно пятьдесят пять лет. Теперь он решительно покинул свет и бывает в одном только клубе.

— Я заехал к тебе на минутку,— сказал Илецкий.— Скоро семь часов, а мне надобно непременно побывать в Английском клубе, чтоб записать гостем одного из моих приятелей.

— Ты в чем приехал? — спросил я.

— В моей каретке. На дворе прескверная погода — дождь так и льет.

— Захвати и меня с собою. Я хочу сегодня быть в клубе.

— Нет, шутишь?..

— Право.

— Что это тебе вздумалось? Уж, кажется, лет двадцать, как ты его покинул?

— Нет, мой друг, с лишком тридцать...

— И ты хочешь возобновить свой билет?

— Хочу, только не знаю, как это делается...

— Очень просто: ты заплатишь триста рублей штрафу за твою долговременную отлучку из клуба и станешь по-прежнему в него ездить.

— А что, мой друг, встречу ли я там кого-нибудь из прежних моих сотоварищей?.. По крайней мере, я многих давно уже потерял из виду. Я думаю, почти все перемерли.

— Почему знать? Может быть и отыщутся. Ведь у нас есть старички, которые к себе никого не принимают, а сами ездят только в клуб, так не диво, что ты многих из них потерял вовсе из виду... Однако ж, время, мой друг, поедем!

Мы отправились.

— Ты знаешь, кому принадлежал прежде дом, который нанимает Английский клуб? — спросил меня Илецкий, когда мы поворотили с бульвара на Тверскую.

— Его, кажется, построил граф Разумовский.

— Нет, мой друг! Главный корпус, в котором собственно помещается Английский клуб, существовал гораздо прежде,— это был дом знаменитого русского писателя Хераскова. Граф Разумовский пристроил к нему только деревянные флигеля, которые ты, верно, до сих пор принимал за каменные.

— Да, это правда!.. Я даже никогда не подозревал, что эти двухэтажные, огромные флигеля, придающие такой величественный вид всему зданию...

— Построены из деревянных брусьев?.. Конечно, теперь это странно, но в Москве до двенадцатого года много было огромных деревянных домов, которые ни в чем не уступали каменным палатам. Теперь осталось в этом роде два образчика: дом графа Шереметева в Останкине и дом графа Разумовского на Гороховом поле. Когда подумаешь, как живали в старину наши московские бояре!.. Хоть, например, этот дом графа Разумовского на Гороховом поле... Кому придет нынче в голову построить в средине города не дом, а дворец, не из кирпича, а из корабельного мачтового леса, что, конечно, стоит вдвое дороже, и развести позади этого дома на двадцати пяти десятинах сад, в котором вы могли прокатиться на шлюпке по светлому озеру, купаться в реке Яузе и даже подумать, что вы за сто верст от Москвы. Все это в наше время кажется сказкою. У нас уж нет теперь десяти или пятнадцати барских домов, которые наперерыв угощали всю Москву; зато,— продолжал с насмешливой улыбкою Илецкий,— у нас есть клубы, в которых мы сами себя угощаем. Там, бывало, одевайся, тянись, представляйся хозяину, а здесь то ли дело: накинул на себя какой-то шушун, который французы называют *пальто,* закурил сигарку, да и знать никого не хочешь.

— Что ж это, Захар Иваныч, ты это говоришь в насмешку, что ль?..

— В насмешку?.. Что ты, Богдан Ильич! Где нам старым парикам насмехаться над этим молодым поколением, остриженным а-ля мужик, лишь только бы над нами-то не смеялись...

— Так что ж, по-твоему...

— Известное дело, все новое лучше старого, братец.

— А вот и неправда,— сказал я шутя,— и старое вино лучше нового, и старый друг...

— Ну, уж о друзьях-то не говори! В наш просвещенный и положительный век смело можно повторить слова одного древнего мудреца: «Друзья, на свете нет друзей!» Но вот мы и приехали.

Нам помог выйти из каретки рослый и дюжий швейцар. Видный унтер-офицер, обвешенный медалями, отворил двери стеклянной перегородки, которая отделяла сени от велико-

лепной двойной лестницы. Когда мы взошли по ней в прихожую, нас встретил другой швейцар; мы отдали ему шинели, шляпы и палки и вошли в первую комнату, по стенам которой висели разные объявления от старшин клуба, отчет за протекший месяц и бесконечный список кандидатов, из которых последнему надобно будет прожить лет сто, чтоб дождаться своей очереди.

— Вот комната,— сказал Илецкий,— которую можно было бы назвать лобным местом Английского клуба, потому что в ней не только вывешиваются отчеты и разные объявления от старшин, но происходит также и моральная казнь недостойных членов клуба, исключаемых за разные нарушения устава и неприличные поступки. Их имена, с подробным описанием преступления, вывешиваются на черной доске. Конечно, эта политическая смерть ограничивается одними пределами Английского клуба и не лишает виновного никаких гражданских прав, но, не менее того, попасть на черную доску вовсе не забавно. Разумеется, хорошему человеку бояться нечего: он ведет себя хорошо не из страха наказания, но «в семье не без урода», гласит русская пословица, а шестьсот человек семейка порядочная. Следовательно, можно сказать утвердительно, что, по милости этого спасительного страха, благочиние, порядок и приличие весьма редко нарушаются в клубе! Теперь завернем на минутку в эти две комнаты. Тут,— продолжал Илецкий,— играют в лото. Посмотри, в каком здесь все порядке, с какою роскошью устроены эти машины, посредством которых выходят номера; как все до последней мелочи щеголевато, удобно и красиво!

— Да, конечно! Только это для меня совершенный сюрприз. Я никак не ожидал, чтоб лото, эта старинная, давно забытая игра...

— Ну, да, вошла опять в моду точно так же, как старинная мебель а-ля помпадур, резьба на дереве, готическая архитектура, китайские куклы, наклейные столы и множество других вещей, на которые разорялись наши предки и которые несколько лет тому назад казались нам самыми вычурными и смешными образцами безвкусия. Поверь, мой друг, ничто не ново под луною. Мы думаем, по нашей гордости, что все идет вперед, а, в самом-то деле, мы лишь только кружимся на одном месте.

— Что ты, Захар Иванович. Да неужели художества и все изящные искусства не идут вперед?

— А дошли ли они до той степени совершенства, на которой находились у древних греков и римлян?

— Но, по крайней мере, ты согласишься, что науки...

— А почему знать, мой друг, может быть, все наши ученые ничто иное, как школьники в сравнении с учеными, которые жили до потопа?.. Да что толковать об этом! Мы еще успеем наговориться. Прежде всего надобно тебя провести по всем комнатам клуба.

Я пошел за Илецким.

— Вот,— сказал он,— эта огромная гостиная, в которой играют теперь всего на шести столах, известна под названием «детской».

— «Детской»?— повторил я.— Уж не потому ли, что здесь очень шумят?

В самом деле, в эту минуту за одним карточным столом поднялся ужасный крик.

— Ого,— сказал я,— да тут никак ссорятся?

— О, нет,— прервал Илецкий,— здесь никогда не ссорятся.

— Да разве ты не слышишь, как эти четыре господина кричат?

— Это оттого, мой друг, что они все четверо немного крепки на ухо. Вот,— продолжал Илецкий,— вторая гостиная: в ней редко играют в карты. Тут, по большей части, как и теперь, сидят на диване и беседуют о всякой всячине; всего чаще о политике. Это столбовые члены клуба, о которых Грибоедов говорит, что они вовсе новизны не вводят.

. . . . А придерутся
К тому, к сему, а чаще ни к чему,
Поспорят, пошумят и... разойдутся.

Мы вышли из второй гостиной в великолепную галерею, в которой столах на восьми играли в вист.

— В первой гостиной,— сказал Илецкий,— играют так же, как и здесь, но там еще забавляются, а здесь уж работают. Там обыкновенно играют в вист по полтине и никогда больше одного рубля, а здесь козыряют по два, по три и даже по пяти рублей. Там, играя, разговаривают о посторонних вещах, шумят, смеются, а здесь все заняты своим делом и посторонних речей не услышишь; там пятьдесят рублей большой проигрыш, а здесь почти всегда рассчитываются сотенными ассигнациями. Вот,— продолжал Илецкий,— направо из этой галереи выход на террасу; с нее по отлогой дорожке ты спустишься незаметно в сад, в этом саду есть и тень и прекрасные деревья; разумеется, он не огромен, однако ж, в нем можно досыта нагуляться, поиграть, если хочешь, в кегли и потом отдохнуть на красивой галерее, на которой ты можешь, точно так же как в палерояльской ротонде, кушать мороженое, пить чай

и даже ужинать. Ты, кажется, любил в старину играть на биллиарде? Милости просим сюда, налево! Вот к твоим услугам три биллиарда, едва ли не лучшие во всей Москве. В огромной зале, в которой они поставлены, был некогда зимний сад. И я когда-то прогуливался в этом саду,— промолвил со вздохом Илецкий.— Тогда об Английском клубе и разговоров не было; тогда еще в Москве веселились.

— И ты еще танцевал и кружил головы московским красавицам!— прервал я с улыбкою.

— Да, все прошло.

— И не воротится, мой друг.

— Так что ж?.. По крайней мере, есть что вспомнить. А нынешние-то молодые люди? Да они, братец, хуже прежних стариков! Мы жили, а они что?

— И они живут, только по-своему. Если день на день не приходит, так почему же настоящий век должен непременно походить на прошедший?

— А если прошедший-то был хорош?

— Для нас, потому что мы были молоды. Я помню, однако ж, стариков, которые не очень были им довольны, а их деды и отцы, вероятно, стояли за свой век — это всегда так было и всегда так будет. Все молодые любят настоящее, все старики хвалят прошедшее, а на поверку-то выходит, что мы любим не век, а то время собственной своей жизни, когда мы были молоды, здоровы, веселы и когда будущее, теперь весьма для нас ограниченное, казалось нам почти бесконечным.

— Ну, хорошо, хорошо! Ведь тебя не переспоришь! Теперь прошу приготовиться и войти, если не с трепетом, то, по крайней мере, с должным уважением в эту комнату.

— Что ж особенного в этой комнате?

— А то, что в ней деньги решительно теряют свою цену. В детской комнате, то есть первой гостиной, двадцать пять рублей больше значат, чем здесь тысяча. Не подумайте, однако ж, что в этой комнате играют в азартные игры. Боже сохрани! Здесь не играют даже в экарте. Невинные *палки,* классический пикет — вот единственные игры, известные в этой комнате. Играют также иногда и в преферанс, но это так — от нечего делать. Мне случилось однажды только видеть здесь партию в преферанс, которая заслуживала некоторого внимания: играли до десяти рублей серебром фишку.

— По десяти рублей серебром?.. Ну!!

— Да это еще что!— продолжал Илецкий.— Вот если б ты поглядел, как здесь поигрывают в пикет... Я думаю, ты знаешь, что в эту игру можно легко проиграть более пятисот призов. Ну, отгадай же, почем иногда играют здесь в пикет?

— Неужели также по десяти рублей серебром?

— Побольше, мой друг. Я однажды был свидетелем, как играли в пикет по тридцати рублей серебром.

— О, господи! — вскричал я невольно.

— Впрочем, не пугайся, — продолжал Илецкий, — это не так страшно, как ты думаешь. В этих случаях почти всегда играет не один игрок против другого, а целая партия против другой; следовательно, и проигрыш и выигрыш делятся между многими. Правда, случаются иногда такие неустрашимые и закаленные в боях герои, которые не хотят ни с кем поделиться ни славою решительной победы, ни стыдом совершенного разбития. Но эти случаи бывают очень редко; обыкновенно сражаются только двое, а в самом-то деле *стена идет на стену*, и смертельно раненных с обеих сторон почти никогда не бывает.

— А это налево что за комната? — спросил я.

— Это комната отдохновения. Посмотри, с какой прихотливой точностию соблюдены в ней все условия этого утонченного, английского комфорта. Попробуй, сядь против камелька на эти кресла. Ну, что?.. Не правда ли, покой, нега; встать не хочется?.. Приляг на этот диван и скажи мне, случалось ли тебе спать на постели, которая была бы так покойна и располагала бы тебя к такой усладительной дремоте, как этот, зыблющийся под тобою роскошный диван? Хочешь ли ты не спать, а только отдохнуть и понежиться в этом бездейственном забытьи, этом итальянском иль-дольче фар-ниэнте[1] — садись сюда, на эти кресла с высокой эластическою спинкою, и покачивайся в них, как в люльке. В этой комнате после упорного сражения какой-нибудь отчаянный боец может отдохнуть и перечесть свои раны или полюбоваться своими трофеями, то есть смекнуть на просторе, сколько прибыло или сколько убыло в его бумажнике — разумеется, ломбардных билетов. Убыль и прибыль ассигнаций для первоклассного игрока не значат ничего: это все то же, что лихому партизану получить легкую контузию или взять в плен какого-нибудь обер-офицера. Теперь пойдем, я покажу тебе нашу журнальную библиотеку.

Мы вышли опять в ту комнату, где, по словам моего товарища, происходят такие знаменитые побоища. На этот раз поле сражения было почти пусто, вероятно потому, что главные войска еще не подошли. Я заметил только мимоходом небольшую схватку между двумя фланкерами, которые от нечего делать перестреливались рублика по три в палки. Пройдя

[1] Ничегонеделание *(ит.)*.

небольшим коридором, мы вошли в прекрасную залу; по стенам ее стояли шкапы с книгами, а посредине один длинный стол и два другие стола поменее, покрытые журналами и газетами. Нельзя не полюбоваться отличным порядком и чистотою, в которой содержится эта журнальная комната. Особенного рода освещение, очень яркое, но не вредящее зрению, спокойная мебель, строго наблюдаемая тишина, множество и разнообразие периодических изданий,— одним словом, тут все придумано для удовольствия и удобства читающих.

— Не знаю, в каком порядке была эта часть в твое время,— сказал Илецкий,— а теперь мы можем ею похвастаться; клуб выписывает русских двадцать три журнала и двадцать газет, французских журналов и газет пятнадцать, немецких четыре и один английский «Revue[1]», который, впрочем, кажется, никто не читает, вероятно, потому, что клуб называется Английским,— прибавил с улыбкой Илецкий.

— А что,— спросил я,— у вас те комнаты, в которых играют в карты, имеют также каждая свое определенное назначение, то есть в первой гостиной играют не больше рубля, в третьей...

— И, нет, мой друг! Каждый член волен играть где ему угодно и почем угодно, но ведь ты знаешь, что привычка сильнее всякого закона. Члены, играющие по *маленькой,* привыкли собираться в *детской,* то есть первой гостиной, и ты никак не найдешь себе партии по полтине в вист в третьей гостиной, где люди, уж *возмужалые,* играют как следует в серьезную игру тихо, смирно и с большим вниманием. В свою очередь, тот, кто играет в эту серьезную игру, в которую можно проиграть рублей триста или четыреста, не найдет себе партии в комнате, где сторублевая ассигнация не значит ровно ничего. И вот почему все играющее общество Английского клуба разделяется на несколько кругов, которые сделали уже привычку сбираться каждый в особенной комнате. У нас есть и такие члены, для которых весь клуб ограничивается одною избранною ими комнатою и даже одним местом в этой комнате. Иной будет везде в гостях, исключая комнаты, в которой он поселился. Тут он дома, эта комната его мир, это место — его собственность. Тут он каждый день сидит, курит трубку, беседует с приятелями, пьет чай, ужинает, дремлет после обеда и только не спит ночью, потому что может за это, наравне с запоздалым игроком, заплатить довольно значительный штраф. Из этой комнаты по середам и субботам он отправляется в гости в столовую пообедать и каждый день

---

[1] Обозрение *(англ.).*

в журнальную комнату прочесть «Северную пчелу», «Инвалида» и «Московские ведомости». Эти последние выезды для него совершенно необходимы, потому что он любит извещать первый всех своих приятелей об испанских делах, о перемене французских министров, о продаже имений с публичного торга, об отъезжающих за границу, и в особенности о наградах и производствах в чины, потому что тут всегда представляется обширное поле для всяких рассуждений, замечаний и глубокомысленных заключений. Да вот, всего лучше, войдем, присядем где-нибудь и послушаем.

Мы отправились назад тою же самою дорогою и сели на длинном диване в проходной комнате, которая отделяет билльярдную от третьей гостиной. На другом конце дивана сидели четверо господ, из которых один, человек очень пожилых лет, но довольно еще свежий, что-то рассказывал.

— Да, батюшка,— говорил он,— чудное дело, истинно чудное! Я знал Подольского еще ребенком... так, мальчишка глупенький, лет десяти, Сережа! Отец его был человек простой, нечиновный и связей никаких не имел. А сынок его... вот, что мы Сережей-то называли, произведен, сударь, в действительные статские советники!.. Ну, давно ли, кажется?.. Много, много лет тридцать пять, в курточке ходил, а теперь ваше превосходительство!.. Бывало, в старину, увидишь шляпу с пухом, так уж знаешь вперед: человек с именем, почтенный!.. А теперь!.. Ну, нечего сказать, чудные дела делаются, чудные!..

— А правда ли,— спросил один из слушателей,— говорят, будто бы Андрею Ивановичу Макшанову дали Анну через плечо?

— И, нет, батюшка! Станислава.

— Как же мне сказали...

— Да уж позвольте, я знаю наверное — Станислава. Вот также пожаловаться на службу не может. Летит, сударь, летит!.. Ну, да этот другое дело — голова... и связи большие. Ведь матушка его была урожденная княжна Красноярская, а, вы знаете, Красноярские в свойстве со всею знатью, так тут дивиться нечему, а вот что любопытно,— продолжал рассказчик, понизив голос,— знаете ли вы, что Степан Иванович Стародубский уволен от службы?..

— Неужели?

— Да, да! Говорят, будто бы какой-то иностранный двор настоятельно требовал этой отставки.

— И, что вы, Алексей Дмитрич, иностранный двор!.. Да какое право имеет иностранный двор?..

— Уж там говорите себе, а слетел, сударь! Политика, батюшка, политика!.. Знаете ли, бывают этакие разные диплома-

тические обстоятельства... Мы сделаем, и для нас сделают... понимаете?

— Конечно, конечно!.. Однако ж это что-то странно?.. Какое бы, кажется, дело?..

Старик улыбнулся, понюхал табаку и сказал:

— Да, сударь, да!.. Кто не посвящен в таинства политики, тому многое должно казаться странным!..

— Алексей Дмитрич,— проговорил один господин, идя скорыми шагами из биллиардной,— сейчас принесли в журнальную последний номер «Северной пчелы», меня тащат в вист, так я не успел его пробежать... не хотите ли вы?..

Старик вскочил с дивана, товарищи его также встали. Он отправился в журнальную, они разошлись по разным сторонам, и я остался один с Илецким.

— Пойдем и мы,— сказал Илецкий,— посмотрим, не найдешь ли ты в первой гостиной кого-нибудь из прежних твоих сотоварищей.

— Нет,— прошептал я с невольным вздохом, когда мы вошли в эту комнату,— я не вижу здесь ни одного знакомого лица.

— Посмотри хорошенько.

— Чего смотреть! Я вижу только, что в этой комнате, которую вы называете детской, большая часть господ вовсе не дети: один другого старее!..

— Да, конечно, народ пожилой.

— Вот, например, что сидит у крайнего стола?..

— Этому еще только семьдесят пять лет.

— А вот этот, что кушает чай?

— Ну, этот немного постарее: ему за восемьдесят.

— И этот, я думаю, не моложе,— спросил я, указывая на дряхлого старика, который шел, не подымая ног, шаркал ими по полу и двигался, как будто бы не своей, а какой-то посторонней силою.— Как его фамилия?

— Курильский.

— Иван Андреевич?

— Да!

— Ах, боже мой! Да я баллотировал его в члены Английского клуба... Он был еще такой молодец!

— А теперь...

— Да это, братец, все ребятишки! вот посмотри на этого барина, который расхаживает так бодро и с такой странной припрыжкою по комнате.

— А кто он такой?

— Иван Сергеевич Саянов.

— Что ты? В уме ли?.. Иван Сергеевич Саянов?.. Не может быть! Да он уж лет двадцать как умер.

— Нет, Богдан Ильич, не прогневайся — живехонек да еще, может быть и нас с тобой похоронит.

— Да помилуй, двадцать семь лет тому назад я игрывал с ним в бостон; он и тогда говорил, что ему за семьдесят! Сколько же ему лет?

— Без малого сто.

— А, почтеннейший Захар Иванович! — вскричал какой-то худощавый господин лет сорока пяти, протягивая руку Илецкому. — Вас вчера не было в клубе, — верно, изволили быть в концерте?

— Нет, не был.

— Так поэтому вы Листа уж слышали?

— Нет, еще не слышал.

— Неужели?.. Ну уж я вам скажу, что за диковина этот Лист!.. Удивительный, сударь, человек, удивительный!.. Этакого проворства я никогда не видывал! Как он работает пальцами, ах, господи!.. Молния, сударь, молния!.. Детина такой видный... острижен в кружок... нос большой... Необычайный артист, сударь, необычайный!.. Нет, Захар Иванович, поезжайте, поезжайте! Право, стоит раз послушать. А что, пойдете по рублику в вист?

— Нет, я больше полтины не играю.

— Эх, Захар Иванович, пуститесь!.. Партия приятная: Иван Андреевич, Степан Трифоныч, я... Ну, что за беда?.. Рискните раз по рублику!

— Помилуйте!.. на что мне менять игру?

— Так не угодно ли вам? — продолжал этот вистный вербовщик, обращаясь ко мне.

— Извините, — отвечал я, — я также не играю по рублю.

— Да вот вам четвертый, — прервал Илецкий, — Андрей Михайлович, четвертого нет — по рублику! Хотите?

Андрей Михайлович, человек лет шестидесяти пяти, толстый, осанистый, с брюзглым лицом и важною выступкой, остановился и, поглядев прямо в глаза Илецкому, спросил:

— По рублю? Во что?

— В вист.

— В вист? — повторил толстый барин таким ужасным голосом, что у меня волосы стали дыбом. — Кто, я в вист?.. Ха, ха, ха!

— Ох, Андрей Михайлович! — сказал Илецкий. — Что это вы так страшно смеетесь?

— Мне играть в вист?.. Нет, батюшка, нет!.. Покорнейше благодарю!..

— Что это с вами сделалось? Вы, кажется, вист любите?

— Да он-то меня не любит. Два месяца сряду проигрываю — каждый день, каждый день!.. Нет, будет! Во что угодно: в бостон, в преферанс, а в вист — ни за что!.. Сейчас проиграл четыре роберта, да еще какие!.. И добро бы играл несчастливо — нет, карты идут!

— Так отчего же вы проигрываете?

— Контры, Захар Иванович, контры, каких я в жизнь мою не видывал. Да вот хоть последний роберт: представьте себе, я играю с Федором Кирилловичем Граниковым, против нас, под рукою у меня, Онисим Алексеевич Туренин, за рукою Федор Дмитрич Шахонской. У них партия двенадцать, у нас четыре; у них записано три, у нас девять. Вскрывают козыря — пики. Я беру карты, у меня король сам-шесть с маленькими козырей, четыре старших треф от короля, туз бубен и туз, король червей — наша ли игра?

— Ну, конечно.

— Так слушайте! Мой ход; разумеется, я козыряю с маленькой, Туренин не дает козырей, мой товарищ кладет даму, Шахонской бьет тузом и идет в десятку бубен; я бью тузом и козыряю с короля. Туренин сбрасывает какую-то фоску, мой товарищ не дает козырей, Шахонской кидает пятерку; у него остаются валет, десятка, девятка и осьмерка — все четыре старшие козыря! Теперь слушайте. Разумеется, я иду в короля треф Шахонской хлоп тузом — и пошел! Козырь, другой, третий, четвертый — да шестеро старших бубен! Три было записано, пять леве и два онера — вышли!.. Ну, батюшка, что скажете?

— Удивительно!

— Мой ход. У товарища козырная дама, а у меня король сам-шесть козырей, четыре старших треф от короля, туз, король масти и туз масти.

— Да, это странно!

— И с этою игрою только две взятки!..

— Подлинно, большое несчастие! — заметил худощавый господин, который искал четвертого в вист.— Зачем вы козыряли?

— Как зачем!.. Король сам-шесть козырей, все масти, и я не стану козырять? Помилуйте!

— Воля ваша, а мне кажется...

— Ну, уж позвольте мне знать, что я делаю! — прервал толстый барин.— Я могу играть несчастливо — это другое дело, но как разыграть игру — извините, в этом я ни у кого совета не попрошу!

Проговорив эти слова со всем достоинством обиженного таланта, толстый господин отправился в другую комнату.

— Ого, какой сердитый барин! — шепнул я.

— Нет, он человек смирный, — сказал Илецкий, — но это слабая его сторона; он уверен, что лучше всех в мире играет в коммерческие игры, а так как это одно, чем он может гордиться, то и малейшие сомнения в его карточной непогрешимости приводят его в совершенную ярость. Сказать ему, что он дал выиграть игру или сам проиграл по ошибке, это все равно, что назвать его негодяем или бесчестным человеком. Избави, господи, если кто-нибудь докажет ему, что он плохо играет в вист — этот человек будет его убийцею.

— Да, — прервал худощавый барин, — Андрей Михайлович тяжел! Все у него дурно играют, а ему не смей и слова сказать. То ли дело Тимофей Сергеевич: крепонек на ухо, это правда — кричать надобно, а какой приятный игрок!.. А, да вот и он! Здравствуйте, Тимофей Сергеевич!..

— Слуга покорный! — сказал небольшого роста старичок с плешивой головою и добрым, простодушным лицом.

— Ну что, как ваше здоровье?

— Да, батюшка, поздненько сегодня приехал.

— Ну, вот говори с ним! Не хотите ли, Тимофей Сергеевич, по рублику в вист?

— Что, батюшка, Лист?.. Да, говорят, хорошо играет!.. В старые годы и я бы послушал, а теперь что будешь делать!..

— Я вам говорю: не хотите ли по рублю в вист?

— Слышу, батюшка! вы предлагаете мне партию в вист. Почем?..

— Если вам угодно, по рублю.

— Вы не играете по рублю?.. Извольте, я и по полтинке сяду.

Худощавый господин понатужился и закричал во все горло:

— Вас просят по рублю!

— Давайте, батюшка, давайте! Это обыкновенная моя игра.

— Человек, отборные карты! вон туда, на крайний стол!.. Пожалуйте, Тимофей Сергеевич, пожалуйте!

Тут подошли к Илецкому с предложением составить вист; я попал в четвертые. По всегдашнему моему обыкновению, проиграл три роберта сряду, потом поужинал, то есть съел котлетку, и отправился с Илецким домой.

— Ну, что? — спросил он меня, когда мы уселись в каретку. — Теперь ты имеешь понятие о нынешнем Английском клубе? Как он тебе кажется?

— В старину он был не так роскошен.

— Не правда ли, что этот дом...

— Великолепен!

— А услуга?

— Прекрасная.

— А все то, что служит к удовольствию, удобству и занятию членов?..

— Что и говорить, все придумано и устроено отличным образом.

— И все это стоит каждому члену только семьдесят пять рублей ассигнациями в год.

— Да, конечно, это не дорого.

— Не дорого! Скажи лучше, дешево до невероятности. Представь себе, что ты человек очень бедный, не можешь почти ничего тратить на твои удовольствия, но тебе посчастливилось попасть в члены Английского клуба, и вот ты, каждый день, напившись у себя чайку, отправляешься в клуб провести вечер. Ты там совершенно дома; ты можешь быть в сюртуке, даже в модном пальто-сак, то есть почти в халате. Ты находишь здесь большую часть твоих знакомых; хочешь беседовать с ними — беседуй, не хочешь — займись чем-нибудь другим. Тебе нечего проигрывать, следовательно, ты не играешь ни в карты, ни в лото; в биллиард также не станешь играть, потому что надобно платить за партии, но никто не мешает тебе играть в шахматы, за которые ничего не платят, или читать журналы, за выписку которых клуб истрачивает несколько тысяч рублей в год. У себя дома ты провел бы вечер в какой-нибудь низенькой комнатке, плохо освещенной сальным огарком, плохо вытопленной, а здесь ты также дома, и все эти огромные, великолепные комнаты, в которых и тепло, и светло, и просторно, принадлежат тебе. Дома прислуга твоя состоит из какой-нибудь полусонной кухарки или оборванного полупьяного лакея, а здесь сорок официантов, ловких, вежливых, проворных, смотрят тебе в глаза и предупреждают все твои желания. Каждую среду и субботу в клубе обед. Положим, что ты не можешь платить и по три рубля, разумеется, не серебром, за обед, который стоит клубу вдвое дороже, но если ты не очень совестлив, то можешь каждую среду и субботу приходить в клуб не обедать, а завтракать. По уставу клуба, за завтрак, и надобно заметить, весьма сытный, не берут ничего. Конечно, немногие пользуются этим правом, однако ж это право существует для каждого члена. Сверх того в известное время года каждый член может присылать в клуб одного или многих бедных с своей запискою, и им, по усмотрению старшин, выдают редко менее десяти рублей, а иногда до пятидесяти. Я не говорю уже о разных других мелочных правах и удобствах, которыми пользуются члены клуба. И за все это вы платите семьдесят пять рублей ассигнациями в год,

то есть меньше двадцати трех копеек медью в день. Кажется дешево?

— Да, это правда! Если б какому-нибудь бедняку сказали, что он может за эту цену провести целый вечер, как человек, получающий двести тысяч в год доходу, то он конечно бы подумал, что ему рассказывают сказку из «Тысяча одной ночи». Ну как же после этого ты можешь предпочитать прошедший век настоящему? Лет пятьдесят тому назад бедный человек знал только понаслышке, как живут богатые...

— И был гораздо счастливее, чем теперь,—прервал с жаром Илецкий.—Если он имел какое-нибудь образование, то всегда мог попасть в хорошее общество, и, следовательно, быть участником этих наслаждений, которыми дарят нас просвещение, богатство и роскошь. Если же он был человеком не очень грамотным, то жил попросту в своей семье, не гнушался убогим домиком, играл при свете сального огарка с приятелями в дурачки и свои козыри, читал с наслаждением письмовник Курганова и сочинения Эмина, ел щи и гречневую кашу, а пил вместо шампанского и лафита домашнюю наливку. Теперь, если он побывает в Английском клубе, не покажется ли ему скверным чуланом та самая комната, которую он находил до того и чистою и опрятною? Не захочет ли он, чтоб в этой комнате было светлее и чтоб его простой кожаный диван был на пружинах?.. В старину европейская утонченная роскошь была запрещенным плодом для всех бедных людей, не имеющих никакого права жить в высшем обществе; теперь эта роскошь, по милости клубов, доступна для каждого. Как же ты хочешь, чтоб, вкусив раз от этого запрещенного плода, какой-нибудь бедняк не захотел, как можно чаще, пользоваться этим наслаждением? И вот он из хорошего семьянина мало-помалу превращается в самого усердного члена Английского или Дворянского клубов, и, вместо того, чтоб позаботиться, как бы прокормить свое семейство и помочь жене хозяйничать, таскается каждый день в клуб и становится, наконец, человеком, совершенно чуждым для своего семейства.

— Да что с тобою сделалось?—прервал я.—Ты, кажется, сначала хвалил Английский клуб, а теперь нападаешь на него с таким ожесточением? Да неужели, по-твоему, человек семейный не может никуда ездить в гости? А мне кажется, ездить по вечерам в гости или ездить в Английский клуб—одно и то же.

— Нет, извините! Вы едете в гости с женою, с вашим семейством. Да это еще ничего! Ты верно заметил, что в Английском клубе бывают не одни только старики?.. А я спрашиваю тебя: что такое для молодого человека общество, из которого

исключены женщины?.. На что он сделается похожим, если пристрастится к этому обществу? Вечно с сигаркою в зубах, плохо выбритый, в сюртуке или пальто, в шароварах... Да что тут говорить! — продолжал Илецкий с возрастающим жаром.— Посмотри на нынешнюю молодежь: что это такое? Какой тон, что за манеры! На бале хозяйка дома не знает, что делать с бедными девицами; один не танцует, у другого нога болит, тот сел играть в преферанс, а этого не выгонишь из буфета — срам да и только!.. А начнут танцевать, так истинно гадко видеть — насилу двигаются! Ни один ноги поднять не хочет! Ходят взад и вперед, разваливаясь, как разбитые лошади!..

Я засмеялся.

— Ну, чему ты смеешься? — спросил Илецкий.

— Так, мой друг! Я вспомнил, как ты танцевал в старину, и очень понимаю теперешнее твое негодование. Общий наш учитель, танцмейстер Меранвиль, приходил в восторг, смотря на твои чудесные ригодоны и отчетистые *шасе-ан-аван.*

— Да, конечно, мы танцевали и разговаривали с нашими дамами, а спроси, что теперешние-то молодые люди говорят во время танцев?..

— Ну, это, любезный, не по нашей части. Что бы они ни говорили, а уж, верно, их слушают охотнее, чем нас с тобой, Захар Иванович!

— Так, так! Ты всегда горой стоишь за новое поколение.

— Да ведь и мы были во время оно новым поколением, мой друг, и про нас то же говорили тогдашние старики... Однако, что ж это значит, если ты до такой степени не жалуешь все клубы, так зачем же ты сам бываешь почти каждый день в Английском клубе?

— Что я, братец?.. Я бобыль!

— Да еще вдобавок — старый.

— Старый, старый!.. Есть и старее меня.

— Ну, хороши и мы с тобой!.. Да дело не о том; мне кажется, что из всего, что мы говорили и видели сегодня, можно с довольной справедливостию заключить, что молодым людям и людям семейным не мешало бы пореже ездить в Английский клуб, но что для людей одиноких и пожилых, которые не вовсе еще расстались с обществом, а меж тем, по своему плохому здоровью и привычке к спокойной домашней жизни, не могут выезжать в свет, Английский клуб, так как он есть теперь, может назваться самым благодетельным заведением. Конечно, и против этого найдется что сказать; да разве есть что-нибудь на свете, что не имело бы своей дурной стороны?..

— О, конечно, есть! — прервал Илецкий.

— А что бы такое?

— Мало ли что. Да вот, например, хоть выдумка крытых экипажей. Посмотри, какой льет дождь, а мы этого не замечаем, сидим преспокойно в нашей каретке, беседуем, нам тепло, спокойно... Ну, найди мне в этом какую-нибудь дурную сторону.

— Я советую тебе обратиться с этим вопросом к твоему кучеру Федоту.

— Да разве ему на дрожках-то было бы лучше?

— Разумеется, не лучше, но если б крытые экипажи не были еще выдуманы, то, вероятно, ты сидел бы сегодня дома.

Каретка остановилась у моих ворот. Я простился с Илецким, поблагодарил его за компанию и дал слово в первую субботу отобедать с ним в клубе и составить его партию — разумеется, по полтине в вист.

ВАНЬКА

На лихом извозчике не далеко уедешь,
а на Ваньке хоть в Питер ступай.

Народная поговорка



очему все дешевые извозчики, которые появляются в Москве зимою, а исчезают летом, называются Ваньками? Неужели потому, что первый крестьянин, который вздумал покинуть зимою свою деревню и приехать в Москву извозничать, назвался Иваном?.. Или не потому ли, что крестьяне вообще любят это имя, и что почти всегда из трех мужиков, взятых наудачу, один называется Иваном? — Впрочем, как бы то ни было, а мы привыкли уже называть Ванькою каждого крестьянина, который зимою приезжает из деревни извозничать в Москве. Не так еще давно водились у нас и летние Ваньки; их экипажи были довольно уютные тележки и волочки, т. е. небольшие роспуски, весьма похожие на роспуски ломовых извозчиков, только несравненно менее. Теперь они исчезли совершенно, и рессорные дрожки, начиная от смиренного *калибера* до роскошных *пролеток,* остались единственным экипажем всех летних московских извозчиков, из которых самый оборванный и запачканный не откликнется вам, если вы назовете его Ванькою; точно так же, как и всякий городской сторож, хотя несколько уважающий самого себя, не станет отвечать, когда вы осмелитесь назвать его не часовым, а будочником. Всех московских извозчиков можно разделить на два разряда: на Ванек, приезжающих из деревень зимою, и постоянных извозчиков, которые занимаются этим промыслом круглый год. Ваньки почти все походят друг на друга: у каждого лубочные пошевеньки, плохая упряжь и безобразная, но не знающая устали, крестьянская лошаденка. О постоянных извозчиках нельзя этого сказать; они вовсе не одинакового достоинства. У одних дрожки отличаются от прежних волочков только тем, что к ним приделаны крылья и четыре куска железа, довольно похожие на низенькие рессоры, у других летний экипаж действительно походит на дрожки, не слишком красивые — это правда — но, по

крайней мере, сидя на них, вы чувствуете, что едете не в телеге. Извозчики-аристократы, известные под названием *лихих*, составляют совершенно отдельную касту. Их гордость и презрение ко всем другим извозчикам не имеют никаких границ. По их мнению, тот, кто не может выехать на рысаке, иноходце или, по крайней мере, на красивой заводской лошади — не извозчик, а Ванька, хотя бы он выезжал летом на рессорных дрожках, а зимою в городовых санках, обитых бронзою и выкрашенных под орех. Впрочем, так и быть должно. Ваньки, проживающие по зимам в Москве, не слишком уважают своих земляков, которые никогда не видали белокаменной; с Ваньками не любят знаться городские их товарищи, которых, в свою очередь, презирают лихие извозчики; а с лихим извозчиком и говорить не захочет какой-нибудь кучер-наездник, который славится на бегу, правит знаменитым рысаком и не боится соперничать с Бычком, Похвальным, Барсом и Могучим[1]. На свете все круговая порука.

Однажды — это было зимою — я собрался ехать с визитом к одному приезжему, который остановился на постоялом дворе у самой Преображенской заставы. Дорого бы я дал, чтоб избавиться от этого путешествия. Да! путешествия: от Пресненских прудов до Преображенской заставы мерных восемь верст; но делать было нечего. Этот господин, которому я должен был визитом, приехал из провинции, а я уже изведал на опыте, как строго наблюдается в губернских городах этот обычай и как позорят и казнят тех, которые не платят *счетом* визит за визит. Вот я распрощался со всеми домашними, надел теплые сапоги, шапку, закутался в енотовую шубу и, перекрестясь, отправился в дорогу. Только что я стал выезжать на Кудринскую площадь, наскакал на меня тройкою в санях какой-то удалой барин в длинных усах и отчаянной ериванке, сбил с ног мою пристяжную, исковеркал сани и помчался, как ни в чем не бывало, вдоль по Садовой; к счастию, я и кучер мой остались целы. Надобно признаться, что я, по своему характеру, или темпераменту, или, лучше сказать, по моей русской натуре, человек довольно ленивый и чрезвычайно тяжелый на подъем, но если подымусь, так ничто на свете меня не удержит. Вот я приказал кучеру воротиться домой, а сам решился нанять извозчика и ехать к Преображенской заставе. Нельзя не подивиться сметливости и догадке наших извозчиков: я не сказал ни слова, не сделал ни одного движения, по которому можно было бы отгадать во мне *седока*, а уж на ближайшей бирже все пришло в движение, и не прошло не-

---

[1] Первые рысаки на московском бегу.

сколько секунд, как со всех сторон обсыпали меня извозчики и принялись кричать:

— Куда прикажете, батюшка?..

— Садитесь, барин, садитесь!..

— Пожалуйте, пожалуйте!..

— Тише, ребята, тише! — сказал я.— Дайте выговорить: к Преображенской заставе и назад.

— Садитесь без ряды, сударь! Прокачу! — закричал ловкий детина в синем кафтане и шелковом кушаке.— Графский рысак, батюшка!.. Утешу...

— Эх, барин! — прервал рыжебородый извозчик в щегольской шапке с бобровым околышем,— садитесь ко мне — лихой иноходец!.. Плетеные саночки. В пять минут доставлю!

— Что больно скоро! — подхватил рослый извозчик в обыкновенной кучерской шапке.— Вишь лихач какой!.. В пять минут!.. Задохнешься!.. Пожалуйте, батюшка, лучше ко мне: городовые сани с полостью.

— Сюда, барин, сюда! вот санки!.. Садитесь!..

Тут снова поднялся такой шум, что я вышел из терпения.

— Да полноте, пострелы! — закричал я.— Дайте порядиться!.. К Преображенской заставе и назад сюда, к Пресненским прудам. Ну что?..

— Извольте, сударь,— сказал извозчик в шелковом кушаке.— Что торговаться: красненькую!

— Везу за два целковых! — закричал извозчик с рыжей бородою.

— Синенькую!..

— Три полтиничка!.. Целковый! — загремели вокруг меня голоса.

В эту минуту проезжал мимо в новеньких пошевеньках, запряженных небольшой, но плотной лошадью, Ванька в сером зипуне и красной поношенной шапке. Я махнул ему рукою.

— Что вы, батюшка? — сказал извозчик в шелковом кушаке.— Да вам стыдно будет сесть на этого Ваньку. Помилуйте — дерюга этакая!

— Доеду и на нем, братец.

— Так вы бы, сударь, к бирже-то и не подходили! — промолвил рыжебородый извозчик, надевая свою бобровую шапку. Смотри, Андрюха,— продолжал он, обращаясь к извозчику в шелковом кушаке,— экий конь — добра лошадь!.. А сбруя-то, бруя!

— Да, брат, упряжь мочальная, конь богатырский!..

— По Сеньке шапка, по седоку извозчик.

Все эти насмешки на меня не подействовали: я сторговался с Ванькою за полтинник.

— Смотрите, барин! чтоб вам не пришлось покормить!—закричал рыжебородый.—Не довезет до Преображенского.

— Ах, ты, щеголек этакой!—возразил Ванька, прибирая вожжи.—Садись и ты, так я и тебя свезу. Видали мы вашу братью, лихачей: версту вскачь, а там и плачь!.. Ну, ты!

И мой Ванька, вероятно, желая доказать на самом деле, что его лошадка не без удали, пустился вскачь по Арбату.

— Держи! держи!—раздался за нами крик, прерываемый громким хохотом.—Батюшки, бьет!.. Держи, держи!

— Ох вы, скалозубы этакие! каторжные!—бормотал Ванька, сдерживая свою лошадку.—Вам бы только пьяниц да буянов возить!.. Сами житьмя живут по трактирам да со всякой дрянью знаются... У самого шапка с бобровым окольшем, а жене перекусить нечего!..

— Что это, брат, ты так их позоришь?—спросил я.

— Да как же, батюшка! Вот этот, с рыжею-то бородою, ведь я его знаю: он из нашего села—четыре года извозничает, а домой гроша не прислал; все на чаю пропивает. Ребятишки в людях живут; жена милостинку просит, а он в синих кафтанах ходит; катает на своем иноходце купеческих сынков да вместе с ними погуливает... Чай, и бога-то забыл!.. И то сказать: с кем поведешься, таким и будешь.

Я очень люблю разговаривать с русскими мужичками, а особливо с теми, которые приезжают из дальних деревень. Постоянно живущие в Москве крестьяне и даже крестьяне из самых близких подмосковных теряют почти всегда свой природный характер, эту смесь простодушия и лукавства, невежества и ума, суеверия и набожности; они превращаются в каких-то полумещан и, по большей части, утрачивая все хорошие свои качества, остаются при одних дурных. Судя по некоторым словам моего Ваньки, я тотчас догадался, что постоянное его жилище неблизко от Москвы.

— Откуда ты родом, любезный?—спросил я.

— Владимирский, батюшка.

— Господский или экономический?

— Господский. Может статься слыхали об Алексее Андреевиче Черноярском? Мы его. Село Завалихино, Шуйского уезда.

— Так это неблизко от Москвы?

— Да верст около трехсот будет.

— Что, у тебя есть хозяйка?

— Как же, сударь! Без хозяйки и дом не стоит.

— Баба еще молодая?..

— В поре, батюшка. Баба такая знатная, повадливая, работящая; Феклой зовут.

— И детки есть?

— Были, батюшка, да бог взял. Одна дочка осталась.

— Ну что, барин у вас каков?

— Грешно пожаловаться: человек добрый, ничем нас не обижает. Покойный его батюшка, старый наш барин, так тот был, не тем помянут, крутенек! Вот теперь, коли два мужика повздорят да придут к барину на суд, так он выслушает и рассудит. Ты, дескать, прав, а ты, дескать, виноват; а бывало, к старому барину и не ходи: из своих рук замаит!

— Как? и правого и виноватого?

— Обоих, батюшка. Ты, дескать, не художествуй, а ты не жалобись.

— Так поэтому при нем мужички-то не часто ссорились?

— Все так же, батюшка, и судиться так же ходили. Ведь наш брат, мужик, упрям! Я и сам к нему на суд ходил с моим шабром, Федькой рыжим; думаю, что за беда, что барин поколотит? Да пусть себе потешится! Лишь только бы Федьку-то буяна порядком отвалял.

— Э, брат, да какой же ты злой!

— Что ж делать, сударь — и в курице есть сердце. Да этот же рыжий такой озорник, что и сказать нельзя! Вот уж подлинно, кабы на эту крапиву да не мороз, так из деревни вон беги. Теперь он вовсе от нас отшатнулся: извозничает здесь в Москве.

— Здесь? Не он ли это в Кудрине лихой извозчик на иноходце?

— Он самый, батюшка!.. Ну ты, сердечная!..

— А что,— сказал я, помолчав несколько времени,— ты каждую зиму сюда приезжаешь?

— Да, сударь! Вот уж четвертый год, как я в Москве извозничаю.

— Так поэтому тебе выгодно?

— А как же, батюшка! Да что бы я добыл зимою-то, лежа на печи? Ведь под лежачий камень и вода не течет. Конечно, год на год не приходит, а все-таки сотни полторы, а иногда и две свезешь домой; и оброк заплатишь, и подушное, и рекрутское, и всякие другие подати, а все копейка заляжет. Привезешь жене кумачу на сарафан, фату шелковую; девчонкам — кому колечко, кому сережки.

— Девчонкам? Да как же ты говорил, что у тебя одна только дочь?

— Одна, батюшка, да две... как бы этак сказать?.. Сиротки, не сиротки, а хуже сирот.

— Родные что ль тебе?

— Нет. Вот дочки шабра-то моего, Федьки рыжего.

— Как! этого лихого извозчика?

— Его, батюшка.

— Да ведь он тебя обижал? ты ходил с ним судиться к барину?..

— Так что ж? Барин нас рассудил: поколотил обоих — вот и все! А детки его чем виноваты?.. Сердечные! родная мать покинула, пошла в какие-то странницы, отец с ними не живет, кровных никого нет... Вот мы с хозяйкой и подумали: у нас всего довольно, господь бог нас не покидает, так и нам не след их покинуть... Дело соседское... Да и то сказать: у нас всего-на-все одна дочка — так не съедят же нас две сироты.

— И вы их любите?

— Как родных дочерей, батюшка, видит бог, как родных! Коли Тане пряник, так и всем по прянику. Да еще, батюшка, они-то жалчее. Свою иногда потеребишь за волосы, а на них и рука не подымается. Горемыки этакие!.. При живом отце и матери круглые сироты!..

— Ну, брат... Как тебя зовут?

— Иваном, батюшка.

— Ну, брат Иван, добрый ты человек!

— И, сударь! кинь хлеб-соль назад, будет впереди! Не узнаешь, может статься, и наша Танюша останется сиротою, так и ее господь помилует; мы призрели сирот, и ее добрые люди не покинут... Ну, ты, сивка! иль кнута захотела?

В продолжение этого разговора мы выехали на Сретенку. Не доезжая до конца улицы, мой Ванька повернул направо в переулок.

— Куда ты, братец? — спросил я.

— А вот, батюшка, мы тут выедем как раз на вал, а там уж прямо Дербенским переулком до самого Каланчевского поля.

— Да ведь все равно и по Сретенке.

— Нет, сударь, все-таки выкинем уголочек; да и дорога-то поглаже.

— Ну, как хочешь; ступай!

Я заметил, что мой Иван, проезжая этим переулком, беспрестанно и с особым вниманием посматривал вперед на небольшую площадку или, лучше сказать, перекресток, на котором, у плохой и до половины развалившейся биржи, стоял один извозчик в синей плисовой шапке и кормил сенцом своего пегого коня.

— Ну, так и есть! — прошептал мой Иван. — Батюшка барин! — продолжал он вполголоса, останавливая лошадь, — подержите на минутку! — И, не дожидаясь моего ответа, бро

сил мне вожжи, спрыгнул с саней, подбежал к извозчику, который стоял у биржи, и принялся, не говоря ни слова, пороть его своим кнутом. Извозчик, детина дюжий и рослый, вместо того, чтоб обороняться, засуетился, кой-как заворотил свою разнузданную лошадь, упал в санки и поскакал, сломя голову, прочь от биржи. Вся эта экспедиция продолжалась не более полуминуты. Мой Иван воротился, сел преспокойно на свое место и повез меня далее.

— Что это, братец? — спросил я. — За что ты его бил?

— Как за что, сударь? Ведь эта биржа-то наша. Мы деньги за нее платим, а этот колотырник, прах его знает, кто такой... вишь для него припасли... мошенник этакой! — вздумал у чужой биржи лошадь кормить. Иногда случится второпях и сенца оставишь, а эти чужехваты тут и есть! Ведь в Москве, батюшка, много этаких шишимор; не хочет за место платить, да по чужим биржам и таскается. А проворен, разбойник: не успел его десяти раз хлестнуть.

— Да как же это, братец, ты так на него кинулся? Ты мужик небольшой, а он, кажется, детина такой ражий; ну, если б он стал обороняться?..

— Обороняться?.. Да как он смеет?.. Каков бы он ни был человек, а все-таки знает, что я не напрасно перепоясал его кнутом.

«Вот оно естественное-то право, — подумал я, — этот закон совести».

— Уж коли захватили вора в горохе, — продолжал мой Ванька, — так где ему обороняться: малый ребенок прибьет.

— Нет, любезный, — сказал я, — у нас не по-вашему: у нас иногда и поймаешь вора в горохе, да не смей ему сказать, что он вор.

— Вот еще!.. Что вы, батюшка?.. Да неужели вору-то кланяться?

— Пожалуй себе не кланяйся, да чести-то его не смей порочить.

— Да что, сударь, за честь у мошенника?..

— Эх, братец! вы народ необразованный, вы этого не понимаете...

— Конечно, батюшка, где нам! Мы люди темные; по нашему глупому разуму: кто плут, так плут, кто честный человек, тот честный.

— Вот то-то и есть! Это по-вашему, а у нас не так; у нас две чести, братец: одна честь та же, что у вас...

— А другая-то, батюшка, какая?

— А вот какая. Если тебя поймают в плутовстве, да назовут в глаза мошенником, так ты не покоряйся. «Я, дескать, сам

знаю, что я мошенник, да не люблю, чтоб мне это говорили; так не угодно ли со мною за это разделаться».

— Разделаться? Как разделаться?..

— Да как хочешь: или на саблях рубиться, или на пистолетах стреляться.

— Ах, господи! — вскричал мой Ванька.— Да за что ж это?.. Меня же обидели, да я же и живота лишайся!

— А не захочешь ответить, так не прогневайся: честным-то человеком останется он, а бесчестным будешь ты.

Эти последние слова до того поразили моего Ивана — который, вероятно, никогда не слыхивал о дуэлях — что он решительно онемел от удивления. Желая удостовериться, точно ли я говорю не шутя или смеюсь над ним, он опустил вожжи и обернулся ко мне лицом. Лошадка воспользовалась этою оплошностию, повернула в сторону, зацепила за надолбы, пошевеньки упали на бок, а вместе с ними, разумеется, и мы.

— Ах, батюшки! — вскричал Иван, вскочив на ноги.— Виноват, сударь, зазевался!

— Ничего, братец,— сказал я, отряхая мою шубу, покрытую снегом.— Ты только вперед, разговаривая со мной, не оглядывайся.

— Ахти! — сказал Иван, подымая свои пошевеньки.— Да ведь лошадка-то распряглась!.. Батюшка-барин, уж не прогневайтесь, повремените немного. Сейчас запрягу, а вы извольте в санки-то сесть. Эка проклятая! ну, лишь только вожжи опусти, тотчас повернет направо или налево!

Я сел в сани, а Иван принялся вправлять дугу, которая выскочила из гужей. В эту самую минуту поравнялись со мною парные сани; в них сидел барин лет тридцати, мужчина видный и красивый собою. Он приказал кучеру остановиться и закричал:

— Здравствуйте, Богдан Ильич!

Признаюсь, я не очень обрадовался этой встрече. Федор Андреевич... ну, все равно — назовем его хоть Мишурским. Федор Андреевич Мишурский принадлежит к числу тех выглаженных, ошлифованных и натертых чужим умом или, лучше сказать, чужими фразами, глупцов, которые, по милости этих готовых фраз, слывут людьми просвещенными, остроумными и живут иногда полвека на счет какого-нибудь острого французского словца, удачно переделанного на русские нравы. Мишурский получил — как обыкновенно выражаются — хорошее образование, то есть говорит иностранными языками, толкует о живописи и музыке, рассуждает о политике и литературе, беспрестанно говорит о Западе и врет такую чепуху, что все второклассные дураки смотрят на него, как на чудо, а родной

его дядя, Иван Михайлович Сурский, человек очень умный, слушая его, приходит в отчаяние. «Какое несчастие! — сказал он мне однажды почти сквозь слезы. — И нужно было моего племянника учить языкам! Ну, был бы просто дурак на русском языке, а то дурак на французском, дурак на немецком, дурак на итальянском; легко вымолвить: дурак на четырех диалектах!» Этот Мишурский женился на одной московской красавице, которая несмотря на то, что ее голова была набита идеалами и французскими романами, могла бы сделаться препорядочною женою, если б муж ее был только что глуп; но он был и глуп и развратен и, что всего хуже, вовсе не стыдился, а щеголял своим дурным поведением.

— Здравствуйте, Богдан Ильич! — повторил Мишурский, выпрыгнув из своих саней. — Здоровы ли вы?

Не видя никакой возможности отделаться от этого барина, я принял очень ласковый вид и, с этой официальной улыбкою, которая, как известно, ровно ничего не значит, отвечал:

— Слава богу! Покорнейше вас благодарю! А вы?

— Голова болит. Не выспался: вчера ужинал у Шевалье[1].

— А ваша Марья Александровна?

— Кажется, здорова. Я с нею со вчерашнего утра не видался.

— Ай, ай, ай, Федор Андреевич! Давно ли вы женаты?

— Право, не помню. Да что это вы так строго поговариваете?.. А сами втихомолочку... на извозчике... Богдан Ильич... Куда это изволите ехать?

— К знакомому.

— Уж не к знакомой ли?.. Только я, право, не понимаю, к чему эти предосторожности? Вы человек свободный. Ну, дело другое, наш брат женатый. On a des procédés avec sa femme[2]. Вот и я пробираюсь иногда на извозчике к какой-нибудь закулисной сильфиде. А, кстати! Вы были вчера в театре?

— Нет, не был.

— Какую я видел там фигурантку!.. В первый раз показалась на сцене. Прелесть!.. Что? улыбаетесь, Богдан Ильич?.. Чай, думаете: какой он ветреник! Вот то-то и дело, что нет!.. Je suis inconstant par principes[3]. Жизнь коротка — надобно ею наслаждаться.

— Ну, ты! — крикнул мой Ванька, прибирая вожжи.

— До свиданья! — сказал Мишурский, садясь в свои сани. — Bonne chance![4]

---

[1] Известный московский ресторатор.
[2] В тяжбе со своей женою *(фр.)*.
[3] Непостоянство — мой принцип *(фр.)*.
[4] Успеха! *(фр.)*

Проехав несколько минут молча, я завел опять речь с Иваном о его промысле.

— А что,— спросил я,— что этак ты можешь выездить в целый день?

— Не ровен день, батюшка,— отвечал Иван, пошевеливая вожжами.— Иногда промерзнешь на бирже до полуден — нет седоков, да и только! Выедешь куда-нибудь на бойкое место — стоишь, стоишь!.. К другим садятся, к тебе нет. Ну, верите ль, батюшка, для почину за грош бы куда-нибудь поехал. Так нет — словно заколдовано! Да это еще ничего: не привез денег домой, зато лошадка отдохнула, а как иногда наймет какой-нибудь щеголек — катает, катает по городу, да где-нибудь в проходном доме велит дожидаться у калитки, а сам нырнет в задние ворота и поминай как звали. Зато случится в другой раз такая задача, что денег брать не успеваешь — так седоки и валят! Да еще какие!.. Вот хоть вчера — ну, уж вышел денек!

— А что, много возил, что ль?..

— Седоков было немного, да выручка-то была знатная. Я выехал вчера с фатеры не так чтоб рано — вот этак в обедни; не доехал еще до биржи, слышу, кричат: «Извозчик!» Гляжу, идет ко мне молодой купчик, не великонек ростом, а такой бравый, в лисьей шубе, в шапке с собольим окольшем. «Куда хозяин?» — «Давай санки, а я уж скажу, куда ехать!» — «Ого! — подумал я, — без ряды! Ну, тут, может статься, перепадет!» Купец сел в санки и говорит: «Ступай к Покровской заставе».— Приехали.— «Пошел за заставу по большой дороге!» — «В Андроньевку, что ль, хозяин?» — «Нет подальше: в Перовский трактир».— «Вот оно что! — подумал я,— гульнуть, видно, захотелось!» Вы, батюшка, чай, знаете, что от Покровской заставы до Перовского трактира версты две с походцем будет? А делать-то нечего: вез четыре версты, так поневоле еще две повезешь — авось не обидит! Вот как мы приехали к Перовскому трактиру, гляжу — стоят трое саней, одни тройкою — упряжь такая знатная, с медными бляхами да побрякушками. «Что, батюшка, назад поедете?» — спросил я. «Нет, братец! — сказал мой седок.— Меня приятель довезет. Вот тебе!» — Да и швырк мне двугривенный. А я меньше бы полтинника ни за что не поехал. Я туда, сюда!..— «Помилуйте, да как? да что?..» — А мой купчик махнул рукою да и в двери. Я было за ним... Куда! выскочили двое таких дюжих ребят, да ну-ка меня по затылку!.. Что будешь делать? не город — хоть ты себе до завтра кричи караул, никто не придет на выручку; и еще так тебе бока отломают, что вовсе зачахнешь. Вот я стал за уголок, чтоб дать лошадке вздохнуть, а не равно и попутчик

набежит. Прошло этак немного времени — слышу, поднялся такой шум и гам в трактире!.. Драка. Кричат: «Бей его, бей в мою голову!» Гляжу, бежит мой купчик, растрепанный такой, вся шуба в лоскутах, одна пола оторвана, а за ним двое молодцов с кулаками... Не знаю кто, товарищи что ль позадержали их немножко, а мой седок прямо ко мне в санки да и кричит: «Вези скорей в Москву!» — «Нет, хозяин! — сказал я,— постой, без ряды не поеду».— «Ну, ну! хорошо! К Сухаревой башне».— «Давай синенькую».— «Как синенькую?» — «Да так! меньше не везу». Купчик было заломался; да как глядь назад — ох, худо! два молодца так к нему и рвутся. Сробел мой детина — кричит: «Даю!» Я ударил по лошади, отъехал саженей двадцать и остановился. «Что ты?» — «Да вот что, хозяин: давай-ка синенькую-то вперед. Ведь ты, пожалуй, опять отвалишь двугривенный».— «Эх, братец! со мною денег нет».— «Эва — на! Вот дурака нашел! Приехал в трактир гулять, да денег нет. Да что калякать-то: или деньги давай, или с санок долой! Дойдешь и пешком до заставы». А на дворе-то, батюшка, поднялась погода, закрутило так, что и господи! Шубенка-то у него вся в лоскутах, так стало морозцем прохватывать. Ну, нечего делать, помялся, да вынул из бумажника синенькую. Зато уж во всю дорогу он меня позорил на чем свет стоит. А мне и горюшка мало — пожалуй себе лайся сколько хочешь, а синяя-то бумага у меня в мошне!.. Ей, ты!..

— Ну, а после кого ты возил? — спросил я.

— От Сухаревой башни,— отвечал Иван,— подрядили меня за пятиалтынный на Мясницкую купец с женою — такие оба толстые, насилу в санки-то уселись. Видно, они за что-нибудь повздорили: всю дорогу прогрызлись. Хозяин-то, кажись, мужик смирный и трезвый, а хозяйка под хмельком и такая злющая — избави, господи! Он скажет слово, другое, а она так и засыпет. Я, дескать, дура этакая, вышла замуж за нищего — такие ли у меня женихи были! Кабы не я, так тебе бы век оставаться в подносчиках — голь этакая!.. Ты по мне и в люди-то пошел!.. Жить с тобой не хочу. Отдай мое добро, лапотник этакой!» Ну вот так его поедом и ест! «Слава тебе, господи! — подумал я,— что моя Фекла из бедного дома: вот она — богатая-то жена!»

— Эх, брат Иван! — прервал я, — по-мужичьи ты судишь!

— А по-вашему как же, батюшка?

— По-нашему первое дело, чтоб за невестою было большое приданое.

— Конечно, батюшка, кто и говорит: лишняя деньга не беда; да с богатой-то женой ладить трудновато; чуть не по ней, и пошла хлестать тебя по глазам своим богатством. Ты хо-

чешь быть хозяином в дому, а она норовит упрятать тебя в батраки.

— Да это, братец, у вас.

— А в вашем господском быту не бывает?

— Никогда.

— Вот что!.. Ну, конечно, ваше дело господское... А мне покойник батюшка — дай бог ему царство небесное! — всегда говаривал: «Ванюха! не зарься на богатую невесту; у богатой жены и родня богатая, как раз попадешь в кабалу; да и честнее, коли муж кормит жену, а не жена мужа... Ей, ты!..

— Ну что ж, Иван,— сказал я,— как ты отвез своих седоков на Мясницкую?..

— Так поехал, батюшка, шажком вдоль по улице. Вдруг из одного большого каменного дома выбежал барин, махнул мне рукою и говорит: «На Никольскую и назад — да только смотри, живо! Хорошо поедешь, полтинник дам!» Я припугнул сивку, где вскачь, где рысью — мигом приехали на Никольскую. Барин велел остановиться подле одной... как они? лавки не лавки? Ну, вот еще над ними подписи с орлами...

— А!.. У маклера.

— Не знаю, батюшка! Пождал я маленько — гляжу, бежит назад мой седок, а с ним какой-то приказный, под мышкою большая книга. Сели в санки.— «Ступай проворней,— закричал барин,— еще полтинник прибавлю».— Я ударился вскачь и слышу, что они меж собой разговаривают.— «Боюсь,— говорит барин,— не застанем: больно плох».— «Вот то-то и есть,— молвил приказный,— поздненько хватились!» — «Что ж делать? — сказал барин.— И слышать не хотел: насилу уломали».— «Ну да все равно,— шепнул приказный,— лишь бы только подмахнул как-нибудь...» — «Вот и приехали!» — закричал барин, кинул мне целковый, да и шмыг в дом вместе с приказным; а я поехал на фатеру. Будет покамест: зашиб в полдня почти десять рубликов... Ну ты, сивко!

— Так ты этим и покончил вчерашний день? — спросил я, помолчав несколько времени.

— Нет, сударь! День был хорош, а вечер и того лучше. Я задал моей лошадке корму, а сам пообедал да отдохнул вдоволь и выехал опять с фатеры гораздо после вечерен. Против Николы в Грачах подрядили меня за гривенник до театру две барыни с узелками; одна помоложе, в знатном лисьем салопе, а другая постарее и одета похуже. Дорогой они все толковали, что опоздают приехать, что какой-то Иван Николаевич обещался прислать санки, да обманул. Та, что постарее, журила все ту, что помоложе. «Вот то-то и есть, Машенька,— говорила она,— вы всегда так! зачем вы отпустили карету?» Как

мы стали подъезжать к театру, барыни приказали мне остановиться у задних дверей — там, где стоят театральные кареты. Гляжу, у самых дверей прижался к стенке барин — молодец такой, с усами. Как увидела его молодая-то в лисьем салопе, так на него и вскинулась, да не успела порядком поругать: выбежал какой-то господин, такой сердитый, да как закричит: «Что вы тут болтаете? Ступайте проворней! дилектур сердится!» Они было в двери, а я молоденькую-то за салоп. «А деньги-то что ж, барыня?» — «Молчи, дурак! — шепнул господин с усами.— На вот тебе! Пошел!» Он дал мне полтинник, я снял шапку, поклонился и поехал шажком от театра, по Трубе. Вот я еду себе да мурлыкаю песенку; стал уж подъезжать к Самотеке; слышу — кличут меня из одного домика. Подъехал. Гляжу — в сенях стоит со свечою старуха, провожает какую-то барыню в малиновой бархатной шубе, а на голове у нее покрывало. Вот эта барыня села ко мне в санки и шепнула таким тоненьким голоском: «На Кузнецкий мост!» Дорогой она все охала; видно, о чем-нибудь тосковала, сердечная! И однажды так громко сказала: «Ах, боже мой, боже мой! верно, он болен!» Как мы выехали на Кузнецкий мост, она указала мне дом и велела остановиться у ворот, подальше от фонаря, спрыгнула с санок, развязала узелок у своего платочка, пошарила, пошарила, да и сунула мне в руку бумажку».— «Матушка! — сказал я,— у меня мелких нет; повремените немного, сейчас разменяю в лавочке».— «Не надо!» — шепнула барыня да бегом в ворота. Я к фонарю... глядь на бумажку — красненькая!.. Экой выдался денек! Я повернул назад и как заехал с другой стороны дома... что за диковинка такая!.. Против магазеи стоит четверкою карета, и лакей сажает в нее — ну, точь-в-точь такую же барыню, какую я привез с Трубы.

— Неужели? — вскричал я.

— А может статься, и не та, батюшка,— проговорил Иван, почесывая затылок,— темненько было.

— Что ж, после этого ты поехал домой?

— Нет, сударь! Подождал у театра разъезду, да как-то попутчиков не случилось, а вдаль ехать не хотел, так и отправился порожняком на фатеру. И как стал распрягать лошадь, глядь, в санках лежит мешочек. Видно обронила барыня, что я возил с Трубы на Кузнецкий мост. Другому некому.

— Что ж, этот мешочек пустой?

— Почитай пустой. Ключик маленький, да какие-то записочки. Я было взял его сегодня с собою, чтоб свезти в часть, да раздумал.

— А что?

— Так, батюшка, чтоб не вышло чего-нибудь. Неравно еще в полиции доищутся чей мешочек. Ну, что хорошего!.. Коли в самом деле у этой барыни своя карета, так зачем ей на извозчиках таскаться. Ан и выходит дело-то неладное. Она такая добрая, пожаловала мне десять рублей, а я стану на нее выводить... Да бог с ней! Не наше дело, батюшка.

— Ты мог бы сказать, что нашел его на улице.

— И это думал, да страшно: пожалуй скажут, что в мешочке деньги были. Вот он,— продолжал Иван, вынимая из-за пазухи щеголеватый ридикюль.— Бархатный, батюшка! Купите: за полтинник уступлю.

Мне давно хотелось подарить что-нибудь моей экономке: ридикюль показался мне совершенно новым. Я положил его в карман и отдал полтинник извозчику. Минут через десять мы доехали до Покровской заставы.

— Куда прикажете? — спросил Ванька.

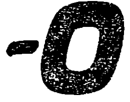
— Налево, на двор! Сойдя с санок, я отыскал дворника, и хотя с трудом, а добился, наконец, где живет мой знакомый. Его слуга объявил мне, что барина нет дома, но что он сейчас за ним сбегает.

— Они, сударь, у своего приятеля, через улицу,— сказал мне этот деревенский личарда во фризовой шинели, с небритой бородою и, если не ошибаюсь, немного под хмельком.— Извольте пообождать полминутки!.. Пожалуйте в комнату.

Я вошел в горницу, не очень опрятную, или, верней сказать очень неопрятную. В ней лежали чемоданы, стояло несколько стульев топорной работы и канапе, обитое черною кожею, которая от старости вся сморщилась и порыжела. Слуга пошел за барином, а я, оставшись один, начал, от нечего делать, рассматривать мою покупку. В ридикюле, точно, не было ничего, кроме одного ключика и двух записок. Первая, которая попалась мне в руки, была без надписи и на французском языке от какой-то Алины — вероятно, Алены. Она уведомляла свою Софи, что на бале у князя Вельского танцевала три раза сряду с каким-то Волдемаром, то есть Владимиром, что реченный Волдемар был не только любезен, но даже очарователен, и что она, нижеподписавшаяся Алина, совершенно от него без ума. Вторая записочка была на русском языке и с надписью. Я взглянул на адрес и прочел — не скажу с удивлением, однако ж, и не вовсе равнодушно — написанные четкими буквами имя и фамилию супруги Федора Андреевича Мишурского.

ПЕРВОЕ МАЯ

Сокольники, хоть вас поэты не поют,
Не хвалят вас и вашу жизнь простую,—
Но я люблю и ваш приют,
И ваших сосен тень густую.



—Отвори окно, Никифор!..—сказал я.— Кажется, дождик перестал.

— Нет еще, сударь, моросит немножко, словно ситом сеет, да скоро пройдет: позади все прочистилось.

— В самом деле?

— Ни одной тучки, сударь, знатный будет день.

— И подлинно, какой приятный, благорастворенный воздух,—сказал я, садясь подле окна.—Я думаю, будет градусов шестнадцать тепла?

— Нет, сударь, в столовой на градуснике дошло до осьмнадцати.

— В шестом часу после обеда!.. Да это почти летний день... Что это на улице так пусто?—продолжал я, помолчав несколько времени.—Хоть по нашему переулку ни ходьбы, ни езды большой нет, однако ж все-таки изредка и пройдет и проедет кто-нибудь, а вот с полчаса, как живой души не видно на улице.

— Да кому быть, сударь? вся Москва в Сокольниках.

— В Сокольниках? Да разве сегодня первое мая?..

— А как же, сударь!

— Скажи пожалуйста! чуть было не пропустил любимого гулянья!.. Ступай, вели скорей закладывать дрожки!.. Да я бы себе никогда этого не простил... Ну, что ж ты стоишь?

— Батюшка Богдан Ильич!..—сказал Никифор, почесывая в голове,—прикажите заложить коляску, да и меня возьмите на запятках с собою: хочется взглянуть на гулянье.

— Ну, хорошо! да только вели закладывать проворней!

— Разом будет готово, сударь!

Не побывать первого мая в Сокольниках, а особливо в такую прекрасную погоду, не полюбоваться этим первым весенним праздником—да это бы значило лишить себя одного из величайших наслаждений в жизни! Забыть, что сегодня пер-

вое число мая!.. Что за странная вещь наша память! Я помню все, что читал тому лет тридцать и более назад; помню малейшие подробности моей детской жизни; помню даже иные сны, которые видел в ребячестве; но имена и числа, как заколдованный клад, мне не даются. Из всех наук одна хронология была для меня решительно недоступной наукою; я никогда не помню ничьих именин и очень часто забываю имена моих приятелей. Хорошо еще, что у нас на Руси так много сиятельных, которых вместо того, чтоб называть по именам, можно величать графами и князьями. Без этого счастливого обстоятельства я был бы иногда человеком совершенно погибшим.

Через несколько минут вошел ко мне Никифор и доложил, что коляска готова. Мешкать было нечего: от Пресненских прудов до Сокольников будет верст восемь, если не более, я отправился и проехал, не встретив почти никого, до самой Сухаревой башни. Тут стали показываться экипажи; пешеходов было мало — они обыкновенно отправляются на гулянье, как и везде, гораздо ранее. Повернув мимо Спасских казарм, я выехал к Красному пруду, из которого вытекает речка Чечора.

Я думаю, большая часть московских жителей и не подозревает существования этого ручья, впадающего в Яузу, которая столь же мало имеет права называться рекою, как этот проток — речкою. Впрочем, это общая привычка русского народа: он любит называть речками не только едва заметные ручьи, но даже стоячие грязные пруды, и крестьянка, отправляясь мыть белье на свою запруженную лужу, всегда скажет: «Я иду на речку». Когда я миновал Красный пруд, сцена совершенно переменилась: передо мною открылось большое плоское пространство, усеянное экипажами и бесчисленными толпами запоздалых пешеходов. Кареты, коляски, дрожки и щеголеватые купеческие тележки неслись шибкой рысью врассыпную по обширному Сокольничьему полю; большая часть из них съезжалась на деревянном мосту, перекинутом через другой ручей, который, также не знаю почему, называют речкой Рыбенкой. Вот вдали, на темно-зеленом поле сосновой рощи, окаймленной красивыми дачами, обрисовались белые столбы Сокольничьей заставы. Вот налево замелькали разноцветные кровли Красного села — села, в котором нет ни приходской церкви и ни одной крестьянской избы. Это собрание не дач, а загородных домиков, составляющих несколько улиц и переулков, походит на красивый уездный городок, в котором не построены еще соборный храм, гостиный двор и не устроена базарная площадь с присутственными местами. На левой руке, в близком расстоянии от заставы, была некогда знаменитая

дача графа Ростопчина. Теперь остались одни развалины дома и запустелый сад, по дорожкам которого растет трава и ездят иногда, для сокращения пути, мужички в своих телегах. Тут же проходит и водопроводный канал мытищинской воды, подымаемой посредством паровой машины в резервуар Сухаревой башни. От самой заставы начинается сосновая роща или, лучше сказать, бор, который примыкает к огромной лесной даче, известной под названием *Лосиного острова*. До заставы я ехал свободно и попал в веревку, или ряд экипажей, тогда только, когда въехал в широкую просеку, ведущую к обширному лугу. По обеим сторонам этой просеки толпился народ, а посреди двух рядов экипажей разъезжали разных родов кавалеристы: в мундирах, фраках, сюртуках и венгерках. Одни галопировали с большой ловкостию между каретными колесами и, вероятно ради удальства, гарцевали и рисовались в самых тесных местах, заставляя прыгать своих борзых коней, покрытых пеною. Другие вели себя гораздо степеннее, ездили шажком, не вдавались ни в какие опасности и не тиранили своих лошадей; они, конечно, не обращали на себя внимания публики, но зато и не были смешны, как иные из этих лихих наездников, из которых один при каждом прыжке своей лошади бледнел как смерть и почти вслух творил молитву, а другой, вследствие неудачной лансады, перекувырнулся на воздухе и упал, к счастию не под колесо, а подле колеса проезжающей кареты. Я после встретил его в роще и слышал, как он рассказывал какой-то даме, что лошадь его опрокинулась и хотя упала с ним вместе, однако ж никак не могла выбить его из седла. Более всех забавлял меня один щеголь — настоящая карикатура английского денди. Длинный, худой, с маленькой бородкою, в коротком сюртуке и цветном галстуке, он сидел на каком-то лошадином привидении, и ростом и статями похожем на чахлого верблюда; эта скаковая, кровная кляча с отрубленным хвостом удивительно жеманилась: то пятилась боком, то прыгала, то скребла ногою землю, шла задними ногами в галоп, а передними рысью и при каждом ударе хлыста лягалась и перебрасывала своего ездока с седла к себе на шею. Он, впрочем, не терял никак от этого своей уверенности, сидел подбоченясь и сквозь стекло своей лорнетки, воткнутой в правый глаз, глядел на всех с таким величием и гордостию, что невозможно было от смеху удержаться.

— Экий уродина! — шептал позади меня Никифор. — Да где это он достал такого аргамака? Чай, таких и на живодерне мало. Вон подошел к нему такой же долговязый мусью в суконном балахоне...

— То есть в пальто,— сказал я.— Да почему же ты называешь его мусью?

— Да должен быть какой-нибудь иностранец, батюшка. Посмотри-ка, засунул обе руки в карманы.

— Так что ж?

— Как что, Богдан Ильич? У русского человека руки всегда на свободе; не ровен час — поди их вытаскивай из карманов!

— Что это у тебя, Никифор, всегда драка на уме!

— Какая драка, помилуйте! А все-таки, сударь, знаете ли, этак настороже не мешает быть. «Еду не свищу, а наеду не спущу!»

— Ну, полно, полно, заврался!

— Слушаю, сударь!

Я не доехал еще и до середины гулянья, а начал уже скучать и посматривать с завистью на свободных пешеходов, которые шли куда хотели и делали все, что им было угодно. Кто выезжает на гулянье не верхом, а в каком-нибудь экипаже, тот должен отказаться на несколько часов от величайшего из благ земных, от своей нравственной свободы. Он уже не *лицо*, а *вещь*, он не гуляет, а его возят, под арестом, в карете или коляске. Он желал бы ехать и стоит, не двигаясь, на одном месте; хотел бы остановиться, а его везут вперед. Задумает ехать домой, а ему, ради соблюдения порядка, говорят: «Не угодно ли вам еще прокатиться», то есть проехать версты четыре шагом. Конечно, тот, кто является на гулянье в щегольском экипаже, имеет еще кой-какие вознаграждения за потерю своей свободы: для него гулянье то же, что выставка для фабриканта, сцена для актера и концертная зала для музыканта. Развалясь в своей откидной карете или коляске, он смотрит с наслаждением и гордостию на толпу, которая повторяет его имя и ахает от удивления, смотря на десятитысячную четверню. Мои весьма обыкновенные лошади не могли доставить мне этого «высокого» наслаждения; и как бы я ни разваливался в моей старой коляске, никто не обратил бы на нее внимания, и потому я решился при первом удобном случае свернуть в рощу и отправиться гулять пешком. Благодаря искусству моего кучера Петра, это желание через минуту исполнилось, и я снова вступил в права человека, то есть мог как существо разумное и одаренное свободной волею располагать моими действиями. Время было истинно прекрасное: теплый, влажный воздух, напитанный ароматическим испарением сосен, весенние голубые небеса, кой-где подернутые прозрачными облачками; эта жизнь и всеобщее движение; эти то близкие, то отдаленные звуки полковых оркестров, расставленных по лесу; этот бесконечный ряд экипажей, посреди которых беспре-

станно мелькали белые султаны и кивера лихих кавалеристов; эти балаганы, битком набитые людьми всякого звания, и аристократические палатки, наполненные прекрасными женщинами; эти веселые лица и веселый говор бесчисленной толпы народа,— все это вместе составляло такую великолепную картину, такой роскошный *пир весны,* что, глядя на него, сердце невольно радовалось и забывало всякое горе. Я прошел во всю длину гулянья, до обширной поляны, окруженной с трех сторон густым бором; на ней вокруг шатра, увенчанного елкою, и дощатого балагана, в котором показывали свое искусство канатные балансеры, толпился простой народ. В числе разносчиков, предлагавших свой клюквенный квас, каленые орехи, пряники, сайки и калачи, двое потчевали мужичков мороженым, и несколько мальчиков занималось продажею сигар. Кто бы мог подумать, что заморская выдумка — мороженое — и это табачное зелье, которое еще так недавно русский народ называл *чертовой травою,* найдут покупщиков у самых дверей питейного дома? Однако ж я видел своими глазами, как один мужичок с бородою курил сигару, а другой изволил кушать сливочное мороженое, но, к сожалению, это европейское наслаждение просвещенных народов не помешало им, спустя несколько минут, отправиться под елку. Возвращаясь к моей коляске, я присел отдохнуть на скамье подле одной палатки, которая, судя по выставленному у ее дверей самовару величиною с порядочную бочку, была одним из временных трактиров, разбросанных по всему гулянью. Я стал смотреть на проезжающие экипажи. Из числа их одна откидная карета, которая отличалась богатой английской упряжью, две щеголеватые кабриолетки и красивый штуль-ваген, запряженный парою англизированных лошадей, обратили на себя мое внимание. Как страстный охотник до всех противоположностей, я полюбовался также патриархальной наружностию некоторых карет и долго смотрел на один дормез, весьма пожилых лет, на козлах которого рядом с кучером сидела легавая собака. Вдруг кто-то звучным, тоненьким голоском произнес мое имя... Я обернулся: мимо меня проезжало целое дамское общество в огромной линейке. Этот простой экипаж показался мне красивее всех других; и подлинно: в ясный летний день что может быть прекраснее линейки, разумеется, если она, так же как в этот раз, служит для прогулки десяти или двенадцати красавиц, на которых вы можете любоваться, не подымая кверху головы и не заглядывая в узкие окна кареты... В то самое время, как этот подвижной цветник проезжал мимо, кто-то взял меня за руку; я оглянулся и увидел подле себя мо-

его бального знакомца, камергера, который сказал мне с улыбкою:

— Здравствуйте, любезный двойник! Вот мы опять с вами встретились; только сегодня это вовсе не случай: я искал вас по всему гулянью. Подвиньтесь-ка немного, я присяду подле вас и отдохну. Вот,— продолжал он, поместясь рядом со мною на скамью,— вот это можно назвать гуляньем! И просторно и тепло, народу бездна, вокруг зелень, пыли нет...

— Так вы довольны сегодняшним гуляньем?

— Очень! мне так весело, что я даже без досады смотрю на эти уродливые шляпы, которые в нынешнее лето надели на себя все москвичи.

— Да, модные шляпы не красивы: аршинная тулья, сплющенные крылья.

— Знаете ли что,— прервал камергер,— мне, право, кажется, что парижане придумали носить на своих головах эти глупые башни для того только, чтоб испытать, до какой степени простирается наше рабское, безотчетное подражание всем их дурачествам. Я помню исковерканные шляпы à la Cendrillon[1], помню шляпы, которые походили на измятые колпаки, и остроконечные шляпы с едва заметными крыльями, напоминавшие формой цветочные горшки; все эти моды были очень безобразны, но их безобразие можно назвать красотою в сравнении с этим вавилонским столпотворением, которое мы должны носить вместо шляп, потому что так угодно Парижу. И добро бы еще дурачились одни молодые люди, а то посмотрите: вон идет старик, он едва передвигает ноги, а на голове у него не шляпа, а каланча! Боже мой, да что ж это такое? да будет ли когда-нибудь конец этому непонятному ослеплению? Перестанем ли мы когда-нибудь одеваться не только

Рассудку вопреки, наперекор стихиям,

но даже вопреки вкусу и красоте, из угождения к прихоти чуждого нам по всему народа. Придет ли когда-нибудь время, что одни только молодые, очень молодые люди и женщины, которые никогда не стареются, станут повиноваться законам моды, не размышляя о том, прилична ли эта мода нашему климату и служит ли эта мода если не к удобству и спокойствию, то, по крайней мере, к украшению нашей наружности.

Этот длинный монолог моего соседа был прерван каким-то невнятным шепотом: один щеголеватый экипаж обратил на себя всеобщее внимание. Прекраснейшая коляска, четверня великолепных лошадей, богатая упряжь — все в этом экипаже

---

[1] под Золушку *(фр.)*.

должно было возбуждать удивление и похвалу, а вместо этого я слышал вокруг себя какой-то насмешливый хохот и восклицания, из которых некоторые были даже не очень вежливы.

— Что ж это значит?—спросил я,—чему смеются эти господа? Да это самый лучший экипаж из всего гулянья. Лакей и кучер одеты прекрасно, и в коляске сидит человек вовсе не смешной наружности... Мне кажется... да, так точно... он должен быть иностранец?

— Вы не ошиблись!—отвечал камергер.

— Верно, какой-нибудь чиновник посольства?

— Не отгадали.

— Так, вероятно, знаменитый путешественник.

Камергер покачал отрицательно головою.

— А, понимаю! мотоватый сынок богатого банкира?

— Совсем не то.

— Да кто ж он такой?

— Артист, и даже не первоклассный.

— Нет, шутите?

— Право, не шучу. Эта четверня представляет сбор двух концертов, а коляска, вероятно, куплена ценою нескольких музыкальных вечеров.

— Так он музыкант? бедняжка! Ну, если он как-нибудь вывихнет палец?

— Да, это будет грустно; ведь вовсе не весело при свисте и хохоте толпы пересаживаться из этой великолепной коляски на какие-нибудь оборванные дрожки плохого извозчика. Ну, теперь понимаете ли, чему смеются?

— Да, это и смешно и жалко.

— Нет, покамест только смешно. Вы знаете басню о лягушке, которая хотела сравняться с быком. О ней можно было пожалеть, когда она лопнула, но пока она хвасталась и надувалась — так, вероятно, все, глядя на нее, смеялись, а не плакали.

— Вот лошади!—вскричал я невольно, взглянув на красивую пролетку, заложенную парою вороных коней необычайной красоты.

— И, верно, пришлись очень дешево хозяину,—прервал камергер.

— А кто он такой?

— Также артист, но только совсем другого роду.

— Кто ж он такой? скульптор, живописец?..

— Нет, механик—да еще какой! Перед ним и знаменитый Боско ничего не значит.

— А, так он фокусник?

— Преудивительный! Если б вы знали, какие чудеса он делает картами! Попробуйте сто раз сряду из целой колоды карт поставить какую вам угодно *ва-банк* — всегда ляжет направо. Необычайное искусство!

— Вот что! И, верно, он называет это искусство удачею и случаем?

— Разумеется — истинный талант всегда скромен.

— Однако ж посмотрите, сколько у него знакомых! Он беспрестанно раскланивается направо и налево; неужели это все такие же, как и он, артисты?

— Избави господи! да тогда бы надобно было бежать вон из Москвы.

— Так поэтому не всем знакомым его известно...

— Чем он промышляет? Да это знают даже и те, которые с ним вовсе незнакомы.

— И несмотря на это...

— Да, несмотря на это с ним кланяются, ему жмут руку, и люди очень честные не стыдятся водить с ним хлеб и соль.

— Скажите пожалуйста!.. Что же значит после этого общее мнение?

— Да ровно ничего! Оно страшно только для бедняков, а тот, кто может сыпать деньгами, смеется над этим «общим мнением». Все станут ругать какого-нибудь миллионщика-негодяя, и все к нему поедут обедать, лишь только бы у него была уха из аршинных стерлядей да шампанского вдоволь. Прочтите басню «Суд зверей», вот вам «общее мнение». Кто слаб, того оно задушит, кто силен, тому оно повалится в ноги.

— Да, конечно, Грибоедов прав:

Кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы!

Но кто же в этом виноват? Все-таки не общее мнение; оно делает свое дело, да мы-то своего не делаем. Оно клеймит без пощады порок, прославляет добродетель, уважает ум, смеется над глупостию...

— И, конечно, скажете, всегда бывает справедливо? — прервал с живостию камергер.— Вот то-то и беда, что нет! Сколько раз на моей памяти это «общее мнение» поддерживало ничем не заслуженную славу бездарного писателя, губило возникающий талант и помогало распространяться гнусной клевете; сколько глупцов, по милости того же «общего мнения», слывут во всю жизнь свою людьми умными, и сколько истинно умных людей разжаловано им если не в глупцы, то, по крайней мере, в совершенно пустые и ни на что не способные лю-

ди. Общее мнение!.. Да уж не говорите мне об этом общем мнении!..

— Однако ж недаром же есть пословица: «Глас народа — глас божий».

— Да! если б этот глас народа был всегда справедлив или, по крайней мере, выражал общее мнение, а то ступайте, покатайтесь по Москве, послушайте!.. Вот какая-нибудь сиятельная или превосходительная дама, которая в своем углу разыгрывает большую барыню, примется все осуждать, всех казнить, позорить — и тот дурен, и этот не хорош. «Помилуйте, батюшка, на что это походит? Кого нам дали? Что это за человек?.. Его «Москва не любит!..» То есть я — Матрена Власьевна — его терпеть не могу. А там, глядишь, другой барин начнет вам рассказывать такие нелепые новости, что у вас волосы дыбом станут; вы посомнитесь, и он тотчас вам скажет: «Да, сударь, да, это верно — Москва говорит!» А кто это Москва?.. Какой-нибудь отставной бригадир Панкратий Ильич с своей супругою да кумушка из соседнего прихода... Да что об этом говорить,— продолжал мой собеседник, вставая,— вы, верно, приехали сюда не философствовать, а подышать весенним воздухом, погулять, позевать на толпу, так пойдемте лучше в лес да посмотрим, как веселятся те, которые приехали сюда не в щегольских экипажах, а в плохих колясках, тележках, на извозчиках и, как обыкновенно выражаются господа пешеходы, на «паре вороных», то есть просто пешком.

Оставив в стороне большую дорогу, по которой тянулись длинные ряды нарядных экипажей, мы повернули в лес и не успели сделать двадцати шагов, как сцена совершенно переменилась. Вместо роскошного столичного гулянья мы увидели перед собою сельский праздник во всей незатейливой красоте его, но в таких колоссальных размерах, что вовсе нетрудно было догадаться, из какой деревеньки пришел весь этот православный народ потешиться, погулять и напиться чайку под тенью зеленеющих сосен, которые недели четыре тому назад, занесенные снегом и покрытые инеем, стояли как мертвецы в своих белых саванах. Все пространство, какое только можно окинуть взором, усеяно было пестрыми толпами горожан, которые сидели на земле отдельными кружками. В одном месте курили молча трубки и сигары, в другом разговаривали, в третьем слушали заливные песни цыганок, в четвертом потешал честную компанию удалой детина, играя на берестовом рожке. Везде забавлялись и везде пили чай. Эта необходимая потребность нашего купечества, эта единственная роскошь наших небогатых мещан, это праздничное высочайшее наслаждение всех трезвых разночинцев, фабричных ма-

стеровых и даже мужичков — наш русский кипучий самовар дымился на каждом шагу. Мы подошли к одному из этих самоваров, вокруг которого сидело на траве человек пять рабочих людей из крестьян и две молодицы в нарядных телогреях. Все они сидели чинно, попивали чаек, и не стаканами, а из фарфоровых чашек.

— Ну, вот это хорошо, ребята,— сказал мой собеседник,— вы вместо вина пьете чай. Оно дешевле и здоровее...

— Да и батюшка не заказывает,— сказал один молодой парень, кладя в рот кусочек леденца, который служил им вместо сахару.

— Знаете ли,— продолжал камергер, обращаясь ко мне,— ведь это уже не в первый раз, что я встречаю простых крестьян, которые, желая повеселиться, пьют чай, а не вино — этот медленный яд, который хуже всякого другого, потому что он в одно время убивает и тело и душу.

— Почему же яд? — сказал я.— В нашем климате умеренное употребление вина не только не вредно, но даже полезно.

— Умеренное, да вот то-то и беда, что умеренность редко бывает добродетелью русского человека. В нужде наш мужичок будет сыт куском черствого хлеба, но если он расположится погулять, то есть попить и поесть сколько душе угодно, то уж, конечно, съест за троих немцев, а выпьет за пятерых. Немцу что надобно? — бутылку пива, много две. А видели ли вы, как наши мужички пьют брагу? Иной столько нальет в себя этого хмельного питья, что весь растечет и сделается почти прозрачным. Немец выпьет с расстановкою небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно, а русский человек коли уж выпил один стаканчик «казенного», так подавай ему целый штоф! Нет, конечно, можно будет порадоваться, если у нас так же, как и в Соединенных Штатах, простой народ станет понемногу привыкать пить вместо вина чай...

— Да почему же не сбитень? — прервал я.

— Сбитень? — повторил камергер.— Конечно, зимою русскому мужичку, когда он продрогнет на морозе, хорошо выпить стакан сбитню с перцем или имбирем, да это наслаждение совсем другого рода. Притом же с этим сбитнем много хлопот, его надо варить умеючи, и для этого есть даже особенные мастера, и обойдется-то он гораздо дороже чаю.

— Неужели дороже?

— Разумеется. Попытайтесь-ка напоить сбитнем русского мужичка, да напоить, как говорится, до отвалу, так он у вас на полтину выпьет. А чай что такое? Был бы только самовар, вода непокупная, чаю для троих довольно на двадцать копеек, на десять — леденцу; и вот наш мужичок примется пить не то-

ропясь, с прохладою; выпьет чашек десять горячей воды, которая пахнет немного чаем, и протешится часа два за медную гривну. Оно и дешево и безвредно, а между тем есть чем и похвастаться. «Были, дескать, в Сокольниках, на бар посмотрели, чаю пили вдоволь... Неча сказать — потешились, погуляли досыта!» Однако ж,— промолвил мой собеседник,— вот моя пролетка, пора домой!

— И мне также пора,— сказал я,— теперь еще ехать можно свободно, а как все разом хлынут с гулянья, так и на Сокольничьем поле будет тесно. Здесь же все ездят шагом, а там начнется такая скачка, что упаси господи! Все кучера с ума сойдут, кинутся во все стороны, начнут перегонять друг друга, благо жандармов нет — воля, гони себе и в хвост и в голову!.. Беда, да и только!

— И это также,— сказал камергер, садясь в свою пролетку,— характеристическая черта русского народа. Заставили его поездить часика четыре тихо, чинно, по-немецки, а там как дали волю русской удали, так уж только держись!

Я простился с камергером, отыскал свою коляску и отправился домой. Когда я стал подъезжать к Красному пруду, то оглянулся назад — все Сокольничье поле было усыпано экипажами: немецкое гулянье кончилось, и началась русская скачка.

ПИСЬМО ИЗ АРЗАМАСА

Воскреснем ли когда от чужевластья мод?..
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев...

Грибоедов



не случилось однажды быть в обществе, где чрезвычайно много толковали о разных европейских вопросах, о требованиях века и в особенности о народном просвещении, или, по-нынешнему, *цивилизации.* Более всех разглагольствовал один барин с рыжей бородкою и длинными волосами «а-ля мужик»... Он с удивительным жаром доказывал необходимость заведения повсеместных школ в России: называл эти школы нормальными[1], говорил так красноречиво и таким непонятно ученым языком, что все слушали его в почтительном молчании. В числе этих слушателей нашелся, однако ж, такой бессовестный человек, который, вместо того чтоб скрывать свое невежество, не постыдился спросить у этого барина, что такое *нормальная* школа. Вы не можете себе представить, до какой степени этот неожиданный вопрос смутил моего красноречивого мудреца: он вспыхнул, замялся, пробормотал что-то сквозь зубы и тотчас переменил разговор,— одним словом, нельзя было не заметить, что он и сам не знал порядком, что такое *нормальная* школа, и, говоря вообще о первоначальных учебных заведениях, называл их нормальными ради того только, чтоб придать более важности своим речам. Впрочем, подобные случаи бывают у нас нередко, и вы можете встретить на каждом шагу людей, которые, как ученые попугаи, повторяют натолкованные им слова, не понимая сами настоящего их смыслу.

Нет! вовсе не таков старинный мой приятель Андрей Яковлевич Миронов. Прослужив с честью лет сорок, он живет теперь на покое в уездном городе Арзамасе. Андрей Яковлевич не может похвастаться ученостью, не знает иностранных языков, не имеет никакого понятия о немецкой философии; однако ж старик неглупый, большой охотник до чтения и в неко-

---

[1] от фр. école normale.

тором отношении человек очень любознательный. Например, если он встретит в книге какое-нибудь новое для него слово, то не успокоится до тех пор, пока не доберется до настоящего смысла этого слова. Он пересмотрит все словари, переговорит со всеми учителями уездного училища и если найдет их толкования неудовлетворительными, то при первом случае поедет в губернский город и отнесется прямо к господину директору гимназии; но, видно, и это последнее средство не всегда удается моему приятелю, потому что я на днях получил от него преогромное письмо, которое почти все составлено из одних вопросов. «Я, батюшка, человек не многоязычный,— говорит он в начале письма,— я знаю только свой родной язык, и, кажется, знаю его порядочно, а вот с некоторого времени стали мне попадаться, особенно в одном журнале, такие странные слова, каких я в жизнь свою не слыхивал. Конечно, Богдан Ильич, в ученом свете часто создаются новые науки и делаются важные открытия, которым надобно же давать какие-нибудь названия — да неужели их нельзя найти в нашем собственном языке... Вот, например, искусство посредством солнечного света делать верные снимки с лиц человеческих и с разных других предметов французы называют дагерротипом (фу, батюшки! насилу выговорил!). А ведь мы умели же это новое изобретение назвать по-русски — и, воля ваша! слово «светопись» понятнее и вернее французского слова «дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит. Да что об этом толковать! Я человек простой, где мне состязаться с людьми учеными: мне бы только понимать то, что они пишут; и вот почему, Богдан Ильич, я покорнейше прошу вас истолковать мне, хотя приблизительно, значение нижеследующих слов».

Тут начинался предлинный список словам, из которых многие действительно могли бы сбить с толку не только человека неученого, но даже знаменитого кардинала Меццофанти, который говорит и пишет свободно на семидесяти двух различных языках и наречиях. Я решился отвечать Андрею Яковлевичу не письменно, а печатно — во-первых, потому, что, может быть, в этом ответе и читатели моих записок найдут что-нибудь дельное, а во-вторых, для того, что это небольшое рассуждение о словесном нашествии иноплеменных будет, кажется, совершенно у места в записках старого москвича, который любит свой родной язык не потому только, что этот язык называется русским, а потому, что он истинно прекрасен; потому что в его могучих и роскошных звуках отражается вся юношеская сила и вся мощь народа русского; потому что этот язык так же самобытен, так же неистребим, так же ве-

лик, как наша родина святая, которую не могли сокрушить ни татарские погромы, ни завоевания поляков, ни нашествие французов, ни даже собственные смуты и междоусобия. Теперь об этих народных смутах и речи нет, но в словесности нашей они еще водятся. Одни хотят переделать наш язык на французский образец, нарядить этого русского великана в какой-то пестрый шутовской наряд; другим это вовсе не по сердцу. Одни уверяют, что по-русски нельзя и простого письма написать порядочно, а другие убеждены, что русский, который не напишет порядочного письма по-русски, не напишет его ни на каком языке. Одни ругаются именами Ломоносова, Державина и Карамзина, другие гордятся этими великими именами. Одни уверяют, что «История русского народа» все то же, что история грудного ребенка, а другие говорят, что Русь и при Владимире Святославиче не походила уже на малое дитя. Теперь вы видите, что в нашей словесности действительно есть смуты и *усобица;* не льется только кровь христианская, не гибнет народ православный, но зато чернила льются рекою и писчая бумага гибнет целыми стопами.

Ответное письмо Андрею Яковлевичу Миронову.

Любезнейший Андрей Яковлевич!

Я получил ваше дружеское письмо, и надобно сказать правду: оно заставило меня призадуматься. Ну, задали вы мне порядочную задачу! Я ужаснулся, когда окинул взглядом бесконечный список этих исковерканных и перековерканных на русский лад иностранных слов; они, конечно, были для меня не новостию, но прежде эти изувеченные пришлецы встречались со мною поодиночке, а теперь, когда я увидел перед собою это безобразное полчище *тенденций, консеквенций, субстанций, абстракций, эксплуатаций,* то, признаюсь, волосы стали у меня дыбом. Господи боже мой!.. Да это второе нашествие галлов и с ними двадесяти язык! И добро бы еще все эти уродливые слова были для нас необходимы, но когда подумаешь, что почти каждое из них можно перевести буквально на русский язык или по крайней мере заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл, то поневоле скажешь: «Ну, господа преобразователи! много надобно иметь вам гордости, упрямства и ненависти ко всему отечественному, чтоб решиться на такое нелепое искажение своего родного языка! Как бы порадовался знаменитый профессор *элоквенции,* Тредьяковский, если бы мог провидеть, какие у него будут достойные последователи! Ведь и он также, не тем будь помянут, любил употреблять без всякой нужды иско-

верканные иностранные слова, и он также называл достоинство *меритом* и говорил вместо принадлежности — *атрибут*, а вместо последовательности — *консеквенция*. Бедный Тредьяковский! жаль, что ты не дожил до нашего времени!»

Несмотря на все мое желание угодить вам, почтеннейший Андрей Яковлевич, я никак не могу отвечать на все ваши вопросы: для этого мне пришлось бы составить целый пояснительный словарь. Позвольте мне, на первый случай, истолковать вам значение только тех слов, которые, как вы сами говорите, более других тревожат ваш любознательный и пытливый ум. Вот эти слова: *тенденция, субстанция, цивилизация, гуманность, юмористика, меркантильная индустрия, ирритация и беллетристика*.

Тенденция (tendance). По-русски *наклонность*, а в некоторых случаях — *направление*. Преемники Тредьяковского, вероятно, написали бы: «Тенденция умов совершенно гармонировала с действиями правительства» или «жители Океании имеют прононсированную тенденцию к воровству». А русский человек скажет: «*Направление* умов совершенно *согласовалось* с действиями правительства. Жители Океании имеют явную *наклонность* к воровству». Лет около ста тому назад, когда несчастный русский язык напоминал вавилонское столпотворение, слово *тенденция* было неизвестно, но вместо него часто употреблялось слово *пропензия* (propention), которое значит почти то же самое.

Субстанция (substance). Слово от слова по-русски: *сущность*. Даже в обеих грамматиках, русской и французской, часть речи, называемая по-русски имя *существительное*, а по-французски le nom substantif, происходит от одного и того же корня. Теперь я спрашиваю: что за необходимость из этих двух совершенно тождественных слов употреблять непременно французское слово, понятное только для тех, которые знают этот язык? Вероятно, господа восстановители школы Тредьяковского скажут мне: «Да какой же порядочный человек не знает по-французски?» А я так думаю, что в Англии, Германии и в разных других государствах много есть порядочных людей, которые не знают французского языка, и что за странный вывод такой? Что за *курьезная консеквенция*: «Если хочешь понимать русский язык, учись французскому»?

Цивилизация (civilisation). Производное речение от слова «civil», то есть вежливый, общежительный; следовательно, «civilisation», или «цивилизация», значит одно и то же, что наше *образованность*, а в смысле более обширнейшем — просвещение. Спросите у любого грамотного француза, что он понимает под словом «civilisation», и вы увидите, что он разумеет

под ним именно то же, что мы разумеем под словами «просвещение» и «образованность», то есть — общежительность, вежливость, науки, художества, изящные искусства и образ мыслей, сходный с понятиями нашего века; следовательно, мы могли бы прожить и без этого новенького словца, которое не обогатило ни на волос ни наш язык, ни наши понятия. У французов есть еще слово «les lumières», которое в смысле нашего «просвещения» заменяет иногда слово «civilisation». Уж нам бы взять и его; ну, чем слово «люмиеры» хуже «цивилизации»? Оно так же непонятно для русского человека и точно так же придает какой-то ученый вид разговору, а ведь мы из этого только и бьемся.

«Просвещение»!.. Подумаешь, какое это чудное слово!.. Мы все им очарованы, все пленяемся, а между тем никто еще не взял на себя труда определить настоящий смысл этого слова. Каждый толкует его по-своему; для одного просвещение — дар божий, для другого — наказание небесное, и как послушаешь, так они оба правы, а, кажется, истина должна быть одна? Уж не оттого ли это, что в здешнем мире все имеет свою дурную и хорошую сторону? Ведь самое благодетельное целебное лекарство может превратиться в яд, если мы станем употреблять его не так, как должно.

Вообще наши понятия о просвещении бывают до того различны, что одни часто находят его в полном развитии там, где другие не замечают и малейших его признаков. Одни говорят, что просвещение начинает уже проникать во все слои нашего общества, другие, и в особенности усердные поклонники Запада, уверяют, что оно не делает почти никаких успехов в нашем отечестве, что мы стоим все на одном месте и отличаемся от своих предков только платьем и обритой бородою. Одним словом, что мы точно такие же неучи, какими были лет за сто назад. Я желал бы спросить этих страстных обожателей Запада: «Да что ж такое, господа, по-вашему — просвещение?.. Если вы разумеете под этим распространение полезных знаний, художеств и наук, смягчение нравов, повсеместное учреждение учебных заведений, умножение всех житейских удобств, улучшение мануфактурных изделий, усовершенствование ремесленной промышленности и устроение удобных путей сообщения, дающих новую жизнь внутренней торговле государства, — так это все у нас делается; быть может, по-вашему, слишком медленно, да ведь вы знаете, господа, что в деле просвещения поспешность и скачки никуда не годятся. Ну что бы вы сами сказали о человеке, который, не сделав еще потолков и не сведя кровли над своим домом, начал бы штукатурить и расписывать в нем стены потому только,

что соседи его, у которых давно уже дома построены, принялись за эту окончательную работу. Вероятно, и вы нашли бы этот поступок необдуманным — так чего же вы хотите?.. Уж полно, то ли вы разумеете, господа, под вашей *цивилизациею* и *прогрессом*? Не полагаете ли вы, что русские тогда только сделаются просвещенным народом, когда совершенно превратятся во французов, немцев или англичан? То есть станут жить как они, переймут все их обычаи, будут смотреть их глазами, мыслить их головой, закидают грязью все родное и заговорят все вашим исковерканным полурусским языком? Да разве это просвещение? О, конечно нет! Это не просвещение, а самое жалкое и презрительное обезьянство. Если образованные немцы, англичане, голландцы, шведы и даже италиянцы, вовсе не походя на французов, имеют право называться просвещенными людьми, так почему же русский не может заслужить этого названия, не утратив своей народной самобытности? Нет, господа, в наше время безусловное подражание всему иноземному есть чистый анахронизм. Одни только дети подражают всему не рассуждая, а нам уж пора выйти из пеленок.

Гуманность. Я думаю, что в этом слове не всякий француз узнает свое «humanité», тем более что при переделке «на русские нравы» оно получило смысл гораздо обширнейший. Гуманность можно перевести русским словом *человечность*, то есть способность сочувствовать всему, что составляет истинное достоинство человека, или вообще любовь ко всему человечеству, и, разумеется, в самом высоком значении этого слова. Гуманность заменила у нас другое выражение, которое уже несколько поизносилось, а именно *космополитизм*. Вероятно, господа космополиты, сиречь — *граждане вселенной*, оправдывают это странное гражданство своей любовию ко всему человечеству; следовательно, *гуманный* человек и космополит почти одно и то же; надобно только сказать, что есть два рода космополитизма, или *гуманности*; один выражается не словами, а делом, другой по большей части ограничивается одним красноречивым пустословием; первый имеет своим основанием закон божий, второй опирается на просвещение и философию, а самый опыт не раз нам доказывал, как хрупки и ненадежны эти опоры. Любовь ко всему человечеству — какое прекрасное, высокое чувство! В духовном смысле это едва ли не первая христианская добродетель; но посмотрим, то ли оно будет в своем приложении к нашему мирскому, греховному быту. Космополит, сиречь человек гуманный, не хочет знать никакой исключительной любви; он любит всех одинаким образом и заботится не о частном благе одного

поколения или одного народа, но о всемирном, общем благе всего рода человеческого; для него мало быть хорошим отцом семейства, полезным членом общества, верным сыном своей родины — он выше всего этого: он гражданин вселенной. Все это прекрасно, звучно и великолепно на бумаге, а в самом-то деле почти всегда служит благовидным предлогом, чтоб не думать ни о чьем благе, кроме своего собственного. Друг человечества, гражданин вселенной!.. Какие очаровательные слова и в то же время какой верный расчет! Эта многолюдная семья, которую мы называем отечеством, требует от нас иногда большого самоотвержения, великих жертв, а что может требовать от одного человека вся вселенная?.. Будет и того, что он ее любит.

Здесь кстати упомянуть о *филантропии*, близкой родственнице этой модной *гуманности* и заштатного *космополитизма*. Филантропия — греческое составное слово, которое бог знает почему попало в наш язык. Французы начали употреблять его потому, что в их языке нет решительно выражения, которое заключало бы в себе точный и полный смысл этого слова; а мы зачем взяли его у французов? У нас есть звучное, прекрасное слово: «человеколюбие», которое и по смыслу и по составу своему совершенно одно с греческим словом «филантропия», составленным так же, как русское, из двух слов: «любовь» и «человек». И есть же люди, которые называют это обогащением языка! Я согласен, что язык обогащается, когда мы переносим в него слова, заключающие в себе новую мысль или понятие, для которых в нашем языке нет верного и приличного выражения, но если мы свое коренное слово заменяем без всякой нужды совершенно тождественным иностранным словом, то, конечно, вовсе не обогащаем, а разве истощаем и портим свой собственный язык.

Юмористика — производное речение с английского слова «юмор», которое, в свою очередь, происходит от французского: «humeur». Слово «юмор» дает понятие о какой-то особенного рода веселости, свойственной англичанам или, вернее сказать, некоторым английским писателям, во главе которых стоит имя известного юмориста Стерна, написавшего роман «Жизнь и мнения Тристрама Шанди». Если вы спросите меня, можно ли слово «юмористика» перевести хотя приблизительно на русский язык, то, может быть, я отвечал бы вам утвердительно, если б не боялся, что меня закидают камнями. Мне кажется, лучше будет, когда я предоставлю вам самим разрешение этого вопроса. Вот что понимают англичане под словом «юмор», разумеется, в том значении, о котором идет речь. Английский словарь «Royal Dictionary english and french» [1] определе-

[1] «Королевский англо-французский словарь» *(англ.)*.

ляет смысл этого слова следующим образом: «Юмор — свойство воображения, дающее всему оборот забавный, оригинальный и фантастический; особенная способность ума показывать все *в потешном, смешном и шутовском* виде (grotesque)». Ну, теперь я спрошу вас, как назовете вы русского человека, обладающего этой способностью?.. Я вижу отсюда, что вы боитесь только вымолвить, а название этого человека вертится у вас на языке. Не правда ли, что этих людей зовут у нас *балагурами?..* Да не пугайтесь! Во всяком случае, каменьями станут бросать не в вас, а в меня, потому что я скажу, не запинаясь, что английский юмор и русское балагурство, или веселость, в существе своем одно и то же и если они выражаются различным образом, так это оттого, что каждый народ имеет свою собственную народную физиономию. Английская веселость, которую мы называем «юмором», резка, карикатурна и в то же время не чужда какого-то простодушия, глубокого чувства и даже грусти. Французская веселость жива, остра, легка и насмешлива. Немецкая тяжела, натянута и почти всегда походит на какую-то заказную веселость, которая не просто выливается из души, а преподается с кафедры по всем правилам науки. Этот немецкий юмор менее всех других походит на разгульную и удалую веселость нашего народа, на это затейливое балагурство, исполненное насмешки и иронии. Русский человек почти всегда назовет какого-нибудь урода — красавцем, недоростка — великаном, дурачка — умницей, и если вы услышите на улице, что народ хохочет и кричит: «Держи, держи!.. Батюшки, разбила!..», то будьте уверены, что дело идет о каком-нибудь лошадином остове, который едва передвигает ноги. «Да помилуйте,— скажут мне,— что общего между благородным английским юмором и нашим площадным балагурством?» — Площадным?.. А разве, вы думаете, английский юмор никогда не бывает площадным? Все зависит от того, кто обладает этой врожденной способностью. Он может быть и человеком образованным, и каким-нибудь трактирным балясником. Ведь и русские балагуры бывают разных родов. Вы можете повстречаться в гостиных нашего лучшего общества с каким-нибудь милым, любезным и весьма остроумным балагуром; вы найдете балагура также и в кабаке, только в этом случае его любезность и остроумие будут совершенно другого рода. Посмотрите, как шутит Грибоедов, как потешается Пушкин, как балагурит иногда Гоголь, и взгляните потом на иную статью журнального балагура, который воображает, что его пошлые, отвратительные шуточки, площадная брань и литературное кощунство исполнены самочистейшего юморизма.

Впрочем, я вовсе не предлагаю заменить русским словом «балагурство» английское слово «юмор». Пусть оно останется в нашем языке для названия веселости, собственно принадлежащей англичанам. Я замечу только, что производное от него слово «юмористика» составлено весьма неудачно. Юмор есть не что иное, как отдельное достоинство всякого сочинения, принадлежащего к изящной словесности, какого бы содержания и рода оно ни было. Говоря о книге, написанной с умом и веселостию, вы скажете, что в ней много юмору. Но разве вы не говорите также, что в таком-то сочинении много занимательности, ясности, живости, силы, однако ж никому еще не приходило в голову составлять из этих частных достоинств всякого хорошего сочинения какие-нибудь особенные отрасли словесности. Мне возразят, может быть, что ясность, занимательность, живость и сила не имеют в себе ничего исключительного и принадлежат равно всем, а «юмор» есть особенного рода веселость, по преимуществу принадлежащая англичанам. Согласен!.. Позвольте только спросить вас, чем отличаются вообще наши волжские песни?.. Не этим ли русским *удальством*, по преимуществу свойственным нашему народу? Следовательно, если б кто написал что-нибудь в духе этих разгульных песен, то мог бы назвать свое сочинение *удалистикой?* Разумеется, это было бы смешно и даже нелепо, а между тем он имел бы на это полное право. Если из юмора, этой народной веселости английских писателей, можно было составить «юмористику», так почему ж из русской удали, этой отличительной черты наших народных песен, нельзя сделать *удалистики?*

Ирритация. По-русски слово от слова: раздражение.

Меркантильная индустрия. Также слово от слова: мелочная промышленность.

Беллетристика. Вы спрашиваете меня, Андрей Яковлевич, что это за наука такая и для чего ей дали такое неблагозвучное название? Что грех таить! увидев в первый раз слово *беллетристика,* я и сам подумал, что это какая-нибудь новая наука, и очень жалел, что для этой науки, может быть весьма полезной, придумали название, которое так странно и так неприятно звучит для русского уха. Разумеется, я не мог долго ошибаться и, порассмотрев внимательно эту незваную гостью, тотчас узнал в ней нашу старую знакомую, которую до сих пор звали «изящной словесностью». «Неужели,— спросите вы,— эта бесстыдница, мадам беллетристика, то же самое, что наша чинная барыня, изящная словесность?» Жаль, Андрей Яковлевич, что вы не знаете иностранных языков, а то бы я попросил вас заглянуть во французский академический сло-

варь, и вы увидели бы тогда, что слово «belles lettres», из которого состряпали «беллетристику», значит все то же, что наше слово «изящная словесность». Преобразователи русского языка не ограничились, однако ж, этой переделкой, они сочинили еще слово «беллетрист», которое не может даже похвастаться и своим иноземным происхождением, потому что у французов нет слова «un homme de belles lettres», а есть только «un homme de lettre» — по-русски *словесник,* да еще слово «un homme lettre», то есть человек ученый.

Вот вам, любезный Андрей Яковлевич, довольно подробное истолкование этим модным словам, которые я выбрал из вашего огромного списка. Не правда ли, что эти иностранные слова с русским окончанием походят на каких-то одетых в шитые кафтаны французов, которые воображают, что мы их примем как наших кровных и родных, потому что они надели на свои пудреные головы русские шапки с заломом. Нет, почтенные иноземцы! этот святочный, шутовской наряд не обманет никого! Надевайте-ка опять ваши треугольные шляпы с плюмажем; ведь наша русская шапка вам вовсе не к лицу.

Теперь вы спросите меня, Андрей Яковлевич, из чего хлопочут эти господа преобразователи и что им за радость увечить без всякой нужды свой родной язык? Что за радость? Да разве вы не знаете, что они давно уже объявили войну нашему богатому, роскошному, звучному языку, которым мы вправе гордиться перед всеми, потому что из всех новейших языков он один заключает в себе почти все достоинства древнего греческого языка, едва ли не первого из всех языков человеческих. Записные враги русского языка называют его грубым, бедным, неуклюжим и, чтоб доказать это на самом деле, пишут таким уродливым языком, который равно непонятен и для безграмотного мужика, и для просвещенного человека. Но это бы еще ничего; пусть себе какой-нибудь удалой скоморох коверкает и корчит рожи, чтоб потешить толпу зевак; но что вы скажете, если этот гаер потребует, чтоб и все также ломались и искажали свое человеческое обличье? Что скажете вы, если он будет ругать невеждами, ограниченными *пуристами* и староверами всех тех, которые не желают ему подражать? Что скажете вы, если он начнет кричать: «Чему вы смеетесь, неучи? Уж не думаете ли, что я какой-нибудь площадной шут и кривляюсь ради вашей потехи? Да знаешь ли ты, не способная ни к какому процессу мышления, невежественная толпа, что это все гумористика и беллетристика! Я хотел было инисиировать[1] тебя во все таинства гуманности, эксплуати-

[1] Посвятить (от *фр.* initier).

ровать[1] твой грубый интеллект, приготовить тебя к цивилизации, но я вижу, что в тебе нет ни малейшей тенденции к прогрессу, потому что ты, стюпидная толпа[2], составлена вся из детей с отсталым понятием и ребяческими взглядами». Разумеется, вы скажете ему: «Нет, господин паяц! Дети, может быть, и станут тебя передразнивать; они, по легкомыслию, свойственному их летам, любят и сами покувыркаться, попрыгать на одной ноге, подразниться языком; а мы, люди взрослые, мы можем забавляться твоим гаерством и даже платить за это деньги, но уж, верно, сами не пойдем к тебе в ученики». Конечно, это не уймет скомороха; напротив, он начнет кричать и дразниться языком пуще прежнего, надоест всем порядочным людям — они разойдутся, а все-таки этот отчаянный фигляр не останется без публики. Что ж делать; ведь у нас так же, как и везде, много есть простодушных и не слишком грамотных людей, которые до смерти любят площадных шарлатанов и верят им во всем на честное слово.

Может быть, вы мне сделаете еще вопрос: «Почему же есть люди умные, даровитые, владеющие прекрасно русским языком, которые, однако ж, заменяют иногда без всякой нужды русское слово иностранным?» Почему?.. Да так! По какому-то необдуманному подражанию, по любви к новости, а чаще всего по лени. Зачем переводить иностранное слово, если добрые люди успели к нему приделать русское окончание и употребляют его без малейших оговорок, как будто оно давно уже усвоено нашему языку. Иногда не вдруг придет на память русское слово, выражающее ту же самую мысль, а это переделанное словцо уж совсем готово, под руками! Конечно, не все грешат против русского языка по этой причине. Есть люди, которые коверкают его потому только, чтоб подражать во всем каким-нибудь знаменитым *беллетристам,* к которым они питают беспредельное уважение. «Да за что ж они так уважают этих отъявленных врагов русского языка?» — спросите вы. Ну, уж на это я вам отвечать не стану, а если б вы знали французский язык, я бы вам посоветовал прочесть до конца первую песнь из поэмы Буало: «L'art poétique»[3], вы нашли бы в ней самое удовлетворительное разрешение этому вопросу.

Прощайте, любезнейший Андрей Яковлевич! Будьте здоровы и любите по-прежнему вашего искреннего приятеля,

Богдана Бельского.

---

[1] Здесь: обработать, разработать (от *фр.* exploiter).
[2] Тупая толпа (от *фр.* stupide).
[3] «Поэтическое искусство» *(фр.).*

ПРОГУЛКА В СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ

> Всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Симонова монастыря.
>
> *Карамзин*



то из приезжающих в Москву, особенно летом, не побывал на Воробьевых горах и у Симонова монастыря, чтоб взглянуть с двух сторон на нашу златоглавую красавицу Москву. Я не говорю уже о постоянных жителях московских; конечно, многие из них очень редко бывают на Воробьевых горах, но зато почти все ездят летом в Симонов монастырь; одни, чтоб помолиться богу и послушать благолепное пение монастырских иноков, умиляющее душу своим неизъяснимо благозвучным согласием; другие для того, чтоб полюбоваться колоссальной панорамою одного из самых живописных городов в мире. Разумеется, зимою бывают в Симоновом монастыре одни богомольцы. Изредка только посетит его или иностранный путешественник, которому не удалось побывать у нас летом, или какой-нибудь любитель зимних прогулок. Я однажды ездил нарочно в Симонов монастырь, чтоб посмотреть оттуда, какова наша матушка белокаменная в своем зимнем наряде. День был светлый, вдали все кровли бесчисленных домов сливались в одну снежную, волнистую равнину, над которою подымались главы церквей и пирамидальные вершины колоколен. Все это горело и сверкало в солнечных лучах, которые расстилались по снегу золотом и самоцветными каменьями. Да, хороша Москва и под этим пушистым белым покрывалом, но она во сто раз лучше в своей летней зеленой мантии, сотканной из тысячи садов!

Не знаю, помните ли вы, любезные читатели, приятеля моего, Николая Степановича Соликамского, большого знатока и страстного любителя русской старины. В первом выходе моих записок я познакомил вас с этим чудаком, который простит вам от души всякую личную обиду и возненавидит как врага, если вы посомнитесь в подлинности несторовой летописи или — от чего да сохранит вас боже — скажете при нем,

что мы, русские, происходим не от славян. На прошлой неделе он явился ко мне часов в шесть после обеда, в ту самую минуту, когда я садился в коляску, чтоб ехать за город.

— Куда ты отправляешься? — спросил он.

— Да так, — отвечал я, — куда глаза глядят. В такую хорошую погоду грешно сидеть дома. Не хочешь ли со мною?

— Нельзя, мой друг; я еду пить чай в роще Симонова монастыря.

— Один?

— Нет, с княгиней Зориной, дочерью ее, княжной Ольгой, племянником Александром Васильевичем Прилуцким и Богданом Ильичом Бельским.

— Сиречь со мною? Пожалуй, для меня все равно, куда ни ехать.

— Так поедем же! Княгиня тебя только и дожидается.

Соликамский сел ко мне в коляску, и мы отправились. Вы знаете, любезные читатели, что я, начиная какой-нибудь рассказ, имею привычку всегда знакомить с вами те новые лица, о которых я не упоминал еще в моих «Записках». Чтоб не отступить от этого правила, я скажу вам несколько слов о княгине Зориной, ее дочери, княжне Ольге, и родном племяннике Александре Васильевиче Прилуцком.

Княгиня Зорина родилась и воспитывалась в Москве, на двадцатом году она вышла замуж, уехала в Петербург и, прожив там почти сорок лет, решилась, после смерти своего мужа, возвратиться на старое свое пепелище, то есть в Москву, на Покровский бульвар, в каменный дом о двух жильях, построенный ее дедушкою, заслуженным бригадиром Андреем Никитичем Прилуцким. Я был знаком с нею, когда она была еще девицею и занимала первое место в числе московских красавиц. С тех пор, до самого возвращения ее в Москву, мне не удалось ни разу с нею повстречаться, следовательно, ничто не могло изгладить прежних моих впечатлений и, когда я вспоминал о княгине Софье Николаевне Зориной, урожденной Прилуцкой, то предо мною являлась всегда дивная красавица с томными глазами, черными ресницами, прелестным станом и обворожительною улыбкою. Разумеется, первое наше свидание могло показаться очень забавным для других, но уж, конечно, не для нас; мы ахнули, ужаснулись и принялись было, как следует, лгать без всякого стыда и зазрения совести, но, видно, мы с княгинею плохие артисты; я говорил заикаясь, что узнал ее с первого взгляда, она уверяла меня сквозь слезы, что я почти совсем не переменился, — одним словом, мы очень дурно разыграли эту трудную сцену первого свидания; к счастью, что все это происходило с глазу на глаз, и над на-

ми некому было посмеяться. Княгиня Зорина была некогда самой усердной поклонницею одного русского молодого поэта. Этот сочинитель гладеньких стишков, чувствительных повестей и небольших журнальных статеек сделался впоследствии одним из тех великих писателей, которые составляют эпохи в словесности каждого народа, но княгиня не хотела и знать об этом; для нее он остался по-прежнему очаровательным поэтом, певцом любви и всех ее страданий, милым рассказчиком и любимым сыном русских аонид. Ей и в голову не приходило прочесть его «Историю государства Российского», но зато она знала наизусть «Бедную Лизу», «Наталью боярскую дочь», «Остров Борнгольм» и говорила с душевным убеждением:

— Нет, уж теперь не умеют писать таких стихов, какими написаны послания «К неверной», «К Филлиде», «К женщинам». Нет, уж нынче никто не скажет:

Возьмите лавр, а мне в награду... поцелуй!

Дочь ее, княжна Ольга Дмитриевна, принадлежит к числу тех умных, просвещенных русских барышень, которые, благодаря бога, начинают нередко появляться в наших обществах. Она получила самое блестящее воспитание; отличная музыкантша, изъясняется прекрасно по-французски, говорит свободно по-английски и читает в подлиннике Шиллера, но все это не мешает ей знать свой собственный язык, если не лучше, так, по крайней мере, не хуже всех этих иностранных языков. Она любит русскую словесность, радуется успехам наших художников и уверена, что мы, русские, вовсе не лишены способности идти вперед, просвещаться и сохранять в то же время нашу народную самобытность. Княжна не менее своей матери уважает ее милого поэта, она с любовию и благоговением произносит имя этого знаменитого историка и бессмертного преобразователя русского слога, но решительно предпочитает его стихам стихи Жуковского, Пушкина и даже других второстепенных наших поэтов. Когда ей случается говорить об этом, княгиня обыкновенно пожимает с презрением плечами и, вместо ответа, шепчет про себя:

Ручей два древа разделяет,
Но ветви их, сплетясь, растут;
Судьба два сердца разлучает,
Но вместе чувства их живут!

Племянник Зориной, Александр Васильевич Прилуцкий, красивый мужчина лет тридцати пяти, по рождению — москвич, по воспитанию — западный европеец, по образу жиз-

ни — англичанин; по своим поверхностным познаниям, светской любезности и легкомыслию — француз; по любви к праздности, по лени, беспечности, мотовству, хлебосольству, благородному образу мыслей и врожденной чести — настоящий русский столбовой дворянин; по душе — добрый малый; по уму человек очень дюжинный; на словах — любитель всего изящного, на самом деле, — любитель хороших обедов, цельного шампанского и скаковых лошадей. Княгиня давно хочет женить своего племянника, и он бы не прочь от этого, да боится, что жена помешает ему ездить каждый день в Английский клуб, конечно, ему там скучно, в этом Прилуцкий сам сознается, да уж он сделал привычку, а для русского человека, как бы он ни прикидывался иностранцем, привычка всегда будет второй натурою. Разумеется, Александр Васильевич, как человек богатый и свободный, объездил почти всю Европу, задолжал, порасстроил свое имение и воротился назад, чтоб заняться хозяйством и накопить денег или, как он сам выражается: «пожить в деревне годика два на подножном корму». Теперь Прилуцкий сбирается опять за границу, только еще не решился, куда ехать, потому что он одинаковым образом любит и английский комфорт, и парижскую уличную жизнь, и итальянское far niente[1]. Я думаю, однако ж, что Прилуцкий отправится в Лондон, потому что с некоторого времени он очень пристрастился к английским пудингам и начал их запивать вместо шампанского портером. Александр Васильевич — отъявленный поклонник Запада; он очень забавно насмехается над варварством и невежеством своих соотечественников и поговаривает иногда весьма непочтительно про нашу матушку святую Русь. А между тем за границею два раза стрелялся с людьми, которые, не будучи русскими, говорили о России точно то же, что он говорит о ней, живя в Москве. Впрочем, в этом нет ничего особенного: мы, русские, вообще любим побранить самих себя, да это тогда только, когда мы дома, а на чужой стороне наших не тронь! «Свой своему поневоле брат!» — говорит русская пословица. Конечно, бывали русские, которые и дома и в гостях злословили свою родину, да ведь это случаи необыкновенные. Нравственные уроды точно то же, что уроды физические: они так же редки и так же ничего не доказывают; разница только в том, что одних показывают за деньги, а других можно видеть даром, вероятно, потому, что они уже слишком отвратительны.

От Пресненских прудов до Покровского бульвара с небольшим четыре версты, разумеется, самой ближайшей дорогою,

[1] Ничегонеделанье *(ит.)*.

то есть по большой Никитской в Кремль, потом Спасскими воротами на Ильинку, а там, выехав из Китай-города прямо Покровкою на бульвар. Проезжая Спасскими воротами, я и Соликамский, по древнему обычаю всех москвичей, сняли наши шляпы.

— А знаешь ли ты, любезный друг,— спросил меня Соликамский,— почему, проезжая этими воротами, мы сняли шляпы?

— Да если верить преданию,— отвечал я,— так это в память того, что в тысяча шестьсот двенадцатом году князь Пожарский, победя поляков, вошел с православным русским войском этими воротами в освобожденный Кремль.

Соликамский улыбнулся.

— Ох, вы, романисты!— сказал он.— Так по-вашему до тысяча шестьсот двенадцатого года, проходя этими воротами, русский человек и шапки не ломал. Нет, любезный, лет за сто еще до Пожарского, все православные проходили сквозь эти ворота с непокрытыми головами и, вероятно, потому, что, по их понятию, эти ворота были святые.

— Да почему же они считали их святыми?— прервал я.

— А вот почему, Богдан Ильич: в Спасских воротах благоверные цари русские, святители московские и бояре торжественно встречали следующие святые иконы: Владимирскую божию матерь из Владимира, Всемилостивого Спаса и Спаса Вседержителя из Новгорода, Благовещенье пресвятой Богородицы из Устюга, Спаса Нерукотворного из Хлынова и Святого Николая Великорецкого из Вятки, а сверх того, в старину, из двенадцати ежегодных крестных ходов, девять проходили Спасскими воротами. Теперь понимаешь ли, почему все москвичи и до сих пор еще снимают шляпы, проезжая и проходя этими воротами?

— Понимаю, любезный, но признаюсь, что это поэтическое предание, о котором я тебе говорил...

— Больше тебе нравится, чем простая истина?.. Вот то-то и есть: вы, господа поэты, только что сказочки рассказываете; вам жить легко, а мы, труженики, из одной любви к истине разбираем рукописи, копаемся в старых архивах, перечитываем столбцы.

— И все это для того,— прервал я,— чтоб доказать, что Адам был славянин и говорил сербским наречием?

— Шути себе, шути,— прошептал Соликамский, взглянув на меня почти с презрением,— я за это не рассержусь: ведь безграмотные всегда смеются над теми, которым грамота далась!

Соликамский замолчал. Через несколько минут мы выехали на Покровский бульвар и остановились у подъезда больпо-

го каменного дома, не очень затейливой, однако ж, вовсе не безобразной архитектуры. Соликамский сказал правду: княгиня Зорина меня только и дожидалась. Мы поместились все, то есть, хозяйка с дочерью, Прилуцкий, Соликамский и я, в большой линейке, заложенной шестериком. Красивые заводские лошади тронулись с места крупной рысью, и мы, переехав Яузу, стали подниматься в гору. Полюбовавшись мимоездом на великолепный дом Шепелева, мы повернули мимо Таганского рынка, оставили в правой руке Ново-Спасский монастырь и доехали, наконец, до Крутиц.

— Постой! — закричал Соликамский, в ту минуту, как кучер повернул налево, чтоб выехать к городскому валу.

Мы остановились.

— Не угодно ли вам, княгиня, — продолжал Соликамский, — взглянуть на этот клочок стены и ворота, принадлежавшие некогда знаменитому Крутицкому монастырю, которым управляли епархиальные епископы крутицкие и можайские. Эта уничтоженная епархия была учреждена князем Александром Ярославичем Невским и называлась при нем Сарскою и Подонскою. Рассмотрите хорошенько эти ворота, не правда ли, что они прекрасны?

— В самом деле, — сказала княгиня, — это что-то очень недурно. C'est tout à fait rococo[1].

— Ах, как они хороши! — вскричала княжна. — Вот истинно русская архитектура!.. Ее нельзя никак назвать ни готической, ни византийской. Нет!.. В ней есть свой собственный, особый характер... Как хороши эти окна... А эти покрытые резьбою столбики, как они легки и красивы!.. Посмотрите, Богдан Ильич, на эти карнизы и простенки, выложенные изразцами; может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что в древней архитектуре мавров есть что-то похожее на этот изразцовый мозаик?

— Да, вы точно правы, — сказал я. — Так вам нравятся эти ворота?

— Очень! Все это вместе и странно и пестро, а прелесть как хорошо. Да что ж ты, Александр, не смотришь? — продолжала княжна, обращаясь к своему двоюродному брату. — Посмотри!

Прилуцкий вынул из жилетного кармана лорнетку, воткнул ее в первый глаз, взглянул на ворота и сказал с улыбкою:

— Подлинно прелесть: тяжело, уродливо и безвкусно! Ты правду говоришь, кузина: это истинно русская архитектура!

— Уродливо! — повторил Соликамский.

---

[1] Это настоящее рококо *(фр.)*.

— Знаете ли,— продолжал Александр Васильевич,— что мне напоминает этот закопченный домишко с воротами, изразцовыми стенами и столбиками? Не правда ли, ma tante[1], что он очень походит на эти безобразные кафельные печи, которые казались так красивы нашим почтенным предкам?

— Ах, в самом деле!— вскричала княгиня.— Я помню за Москвой-рекой, в одном барском доме, где мы так часто с вами встречались, Богдан Ильич, во многих комнатах были огромные печи с такими же столбиками... Что этот дом, существует или нет?

— Нет, он давно уже сломан,— отвечал я.

— И слава богу!— сказал Прилуцкий.— Я всегда радуюсь, когда истребляют эти памятники варварства и невежества наших предков.

— Есть чему радоваться,— подхватил Соликамский.— Ах, вы, господа русские чужестранцы!.. Да если не из любви к своему родному, так по крайней мере из подражания вашему Западу, перед которым вы стоите на коленях, не разрушайте древних памятников, а берегите их так же, как их берегут и поддерживают немцы, англичане, итальянцы...

— Да это совсем другое дело!— прервал Прилуцкий.— Им как не беречь своих памятников: у них есть развалины римских зданий, феодальные замки, старинные аббатства...

— Да чем же наши церкви и монастыри уступают вашим западным аббатствам?— вскричал Соликамский, задыхаясь от негодования.

— И, полноте спорить,— сказала княгиня,— мы этак век не доедем до Симонова монастыря!.. Ступай, Никифор!

Проехав версты полторы вдоль городского вала, потом мимо пороховых магазинов, мы подъехали, наконец, к Симонову монастырю, оставили за оградою нашу линейку и вошли главными воротами в монастырь. Сначала мы осмотрели соборную церковь, а потом огромную колокольню, построенную по плану архитектора Тона. Эта монастырская *звонница*, не говоря уже о ее прекрасной архитектуре, замечательна тем, что она выше всех московских колоколен. В ней, не полагая в счет основание или фундамент, слишком сорок семь сажень, следовательно, она гораздо выше Ивана Великого, в котором с небольшим тридцать восемь сажень вышины. Разумеется, мы зашли также посмотреть палату, в которой живал по постам царь Федор Алексеевич, особенно любивший Симонов монастырь. Эта палата обращена теперь в братскую зимнюю трапезу. Над папертью или сенями этой трапезы возвышается

---

[1] тетушка *(фр.)*.

красивая четвероугольная башня с открытой площадкою или террасою. Послушник, который показывал нам монастырские здания, предложил княгине взойти на башню, чтоб взглянуть оттуда на окрестности монастыря.

— Не ходите, ma tante! — шепнул Прилуцкий.

— Отчего же мне не идти? — спросила княгиня. — Я хочу сверху полюбоваться на Москву.

— Ну, смотрите, чтоб у вас голова не закружилась!

— В самом деле, — промолвила княгиня, остановясь на первой ступени, — какая крутая лестница!

— Лестница! И это называют у вас лестницею?

— А что, — прервал Соликамский, — чай, в ваших-то западных аббатствах все лестницы парадные, мраморные...

— По крайней мере, такие, — возразил Прилуцкий, — по которым можно ходить и молодым и старым людям, а по этой стремянке...

— Таким старухам, как я, ходить не можно? — подхватила княгиня. — А вот я тебе докажу, Александр, что я вовсе не так стара, как ты думаешь!

Княгиня начала довольно бодро подниматься по узенькой лестнице, а вслед за нею и мы все, исключая Прилуцкого: он остался внизу. Взойдя на площадку башни, мы долго не могли налюбоваться разнообразием и красотою монастырских окрестностей. Прямо по реке, от самой подошвы Симоновской горы, начинается обширный зеленый луг с небольшими прудами; посреди его, в песчаных берегах, извивается Москва-река; за нею тянется, вплоть до Данилова монастыря, Серпуховская часть Замоскворечья, со своими садами и огромными фабриками. Направо поднимается амфитеатром вся Заяузская сторона Москвы, со своими каменными палатами и великолепными церквами. Вы обернетесь назад, и вот перед вами, вместо высоких холмов, усыпанных домами, широкие луга, темный сосновый лес, засеянные поля, живописные перелески, рощи, несколько деревень, Перервинский монастырь и вдали, на самом краю небосклона, знаменитое село Коломенское.

Сойдя с башни, мы не нашли в сенях Прилуцкого; он дожидался нас за оградою, в монастырской роще, подле самовара, около которого хлопотала Аксинья Федоровна, ближняя барская барыня княгини Зориной. Мы сели все на разостланном ковре; княгиня начала разливать чай. Прилуцкий закурил сигару, а княжна обратилась к Соликамскому с вопросом, не знает ли он, когда и кем основан Симонов монастырь.

— Как не знать, — сказал Соликамский. — Симонов монастырь принадлежит к числу исторических монастырей нашей родины. Его основал при князе Димитрии Иоанновиче Дон-

ском инок Федор, племянник преподобного Сергия Радонежского, но только не здесь, а шагах в двухстах отсюда. Вон, видите, близехонько от заставы, на правой руке, несколько изб и домиков?

— Кругом небольшой каменной церкви?

— Да. Эта слободка и до сих пор называется Старым Симоновым.

— Так вот где был сначала Симонов монастырь!.. А почему он называется Симоновым?

— Потому что это урочище принадлежало некогда одному именитому человеку из рода Головиных, по имени Симону. Когда перенесли монастырь на теперешнее его место, святой Феодор заложил во имя Успения божией матери соборную церковь, ту самую, которую мы с вами осматривали.

— Так она должна быть очень стара?

— Да. Она строилась двадцать шесть лет и освящена в тысяча четыреста пятом году, следовательно, от основания ее прошло четыреста шестьдесят семь лет.

— То есть, без малого пять веков? Ну, это древняя церковь.

— Древняя! — прервал Прилуцкий. — Конечно, для нас, русских, очень древняя — ребенку и тридцатилетний человек кажется стариком. Большая древность пятьсот лет! На Западе об этом и говорить бы не стали.

— Как же! — подхватил Соликамский. — Ведь там есть здания, построенные тотчас после потопа.

— Не слушайте его, Николай Степанович, — шепнула княжна, — он и мне надоел до смерти своим Западом. Скажите лучше, что эта церковь в Старом Симонове, также древняя?

— Да, она давно уже построена. Ей почти триста шестьдесят пять лет. Впрочем, это уже вторая; первая была десятью годами старее Симоновского собора. А знаете ли, княжна, чем особенно замечательна эта церковь. Вы русскую историю читали, так, вероятно, помните, что в Куликовскую битву, которую простой народ называет Мамаевым побоищем, сражались с татарами и положили свои головы за святую Русь два чернеца из обители святого Сергия.

— Как же, помню: один из них назывался Пересвет, а другой... странное такое имя...

— Ослябя. Эти сподвижники Димитрия Донского, эти иноки-богатыри, погребены...

— Неужели в этой церкви? — прервала княжна.

— Да, в ней.

— О, так нам должно сходить поклониться их могилам!

— В самом деле, господа, — сказала княгиня, вставая, — пойдемте в эту церковь!

Все наше общество поднялось. Прилуцкий также встал, но, казалось, он вовсе неохотно покидал мягкий ковер, на котором ему было так спокойно лежать и курить сигару.

— Я должен вас предуведомить,— сказал Соликамский, идя подле княгини,— что гробницы Пересвета и Осляби вовсе не древние, они поставлены на могилах этих иноков по приказанию Екатерины Второй.

— Да это все равно!— отвечала княгиня.— Главное, что они тут похоронены. Признаюсь, я очень люблю эти грустные перелинажи! Для души чувствительной, для сердца нежного, все эти меланхолические воспоминания чрезвычайно приятны!.. Знаете ли что, Николай Степанович, теперь вы нас ведете на могилы этих монахов, а после я вас поведу взглянуть на пруд, в котором утопилась бедная Лиза.

— Какая Лиза?— спросил Прилуцкий.

— Какая Лиза? Ну, та самая, которую погубил злодей Эраст. Да неужели ты не знаешь, кто была бедная Лиза?

— Нет, тетушка. Я много знавал и бедных и богатых Лиз, только из моих знакомых ни одна не утопилась.

— Так ты не читал этой прелестной повести?

— Повести?.. Постойте!.. А, точно... теперь вспомнил!.. Я читал ее, когда еще был мальчиком лет десяти; тогда эта повесть мне очень нравилась.

— А теперь?

— И, ma tante, ведь я уж не ребенок!

— Кажется, и я не дитя, Александр,— возразила с приметною досадою княгиня,— однако ж я и теперь восхищаюсь этим образцовым произведением... Может быть оттого, что не похожу на этих бездушных людей...

— Которые не имеют голоса на дворянских выборах,— подхватил Прилуцкий.— Кузина, каков каламбур?

— Я каламбуров не люблю, а особливо, когда их не понимаю,— сказала очень сухо княжна.

— Так ты не знаешь,— продолжал Прилуцкий,— что на дворянских выборах все помещики, у которых нет ста душ, не имеют голосов, и называются, смотря по их состоянию, малодушными или даже вовсе бездушными?

— А я,— сказала княгиня,— называю бездушными тех, которые над всеми смеются, всеми пренебрегают, ничего не любят, для которых хороший страсбургский пирог приятнее всякого сердечного наслаждения...

— Ну, нет, ma tante!— прервал Прилуцкий.— Вот если б вы сказали *сытнее*, так я не стал бы с вами спорить.

— Да что с тобою говорить, Александр; мы друг друга никогда не поймем!

Прилуцкий улыбнулся и не отвечал ни слова. В продолжение этого разговора мы дошли до Старого Симонова. Услужливый пономарь отпер нам церковь, показал надгробные камни Пересвета и Осляби, несколько древних икон и остался очень доволен двугривенным, который дал ему за труды Николай Степанович Соликамский.

— Ну,— сказала княгиня, когда мы сошли с церковного погоста,— теперь моя очередь быть вашим чичероне.

— Видите ли вы вон там, за городским валом, эту семью унылых берез, они растут на берегу пруда, в котором утонула бедная Лиза.

— Я вижу два дуба,— сказал Прилуцкий,— из которых один высох, да несколько берез, если не унылых, так, по крайней мере, очень жалких.

— В самом деле,— прервала княгиня,— куда девались эти огромные, развесистые березы, которые склонялись так живописно над водою? Я помню, они были все покрыты надписями.

— Да, может быть, мы и теперь найдем какие-нибудь надписи,— сказал я.

— Но уж верно не такие,— подхватила княгиня,— какие сочиняли в старину московские поэты. О, сколько в этих стихах было истинного чувства. Нет, нынче не умеют так писать. Я помню, один из московских поэтов, князь Платочкин, написал при мне карандашом на березе четыре стиха; я их не забыла:

Я здесь люблю мечтать,
Под тению березы,
О бедной Лизе вспоминать
И лить сердечны слезы.

— Не правда ли, Оленька, что эти стихи очень милы?

— Может быть, маменька; только мне кажется, что и я бы могла написать такие стихи.

— То-то и есть, что кажется, а попробуй, так и не напишешь. Нет, мой друг, князь Платочкин был в свое время известным поэтом. Я помню, как мы все гонялись за ним в Слободском саду, а он этого как будто и не замечает, идет себе задумавшись, остановится, вынет карандаш, попишет у себя в книжке и пойдет опять. Конечно, Платочкин далеко не был таким поэтом, как автор бедной Лизы, но какие он писал мадригалы, триолеты, так я тебе скажу, прелесть!.. Ну вот мы и пришли!

Я помог княгине взойти на земляную насыпь, которая окружает со всех сторон небольшой прудик, более похожий на дождевую лужу, чем на пруд.

— Посмотрите, тетушка,— сказал Прилуцкий, указывая на одну березу,— не при вас ли были писаны эти стихи?

— Где, мой друг? Где?

— А вот здесь! Видите?.. Карандашом.

— Да, точно! Только я никак не могу разобрать. У тебя, Александр, глаза помоложе моих, прочти-ка, мой друг!

Прилуцкий не вдруг разобрал надпись, однако ж прочел, наконец, кое-как следующие стихи:

Созданье легкое минутного каприза,
Пустая выдумка и дичь!
Ну что за Сафо эта Лиза?
И что за Ловелас какой-нибудь москвич?

— Ах, боже мой! Да это, кажется, эпиграмма?

— Да, тетушка, и мне кажется, что это не мадригал.

— Хороши же ваши теперешние стихотворцы!.. Бездушники! Да что и говорить, для них нет ничего святого!

— Постойте, тетушка! Вот еще другие стихи — может быть эти лучше.

— Не верю: если они писаны недавно, так верно какая-нибудь гадость, однако ж так и быть, прочти!

Прилуцкий прочел довольно бегло следующее двустишие:

Ну можно ль поступить безумнее и хуже:
Влюбиться в сорванца и утопиться в луже.

— Фи, какая глупость! — вскричала княгиня.— Да уж не ты ли нам все это сочиняешь, Александр?

— Я, ma tante? Что вы! Да я и прозою-то по-русски плохо пишу.

— Ну, не правду ли я говорила, что в наше время поэты были не то, что теперь; тогда умели чувствовать и выражали это в прекрасных стихах... а нынешние писатели что такое?.. Грязная проза, дурные стихи... Неправда ли, Богдан Ильич?

— Извините, княгиня,— отвечал я,— стихи нынче пишут вообще гораздо лучше прежнего — в них больше мыслей, но зато в них часто выражаются какие-то неистовые, буйные страсти. Эта модная поэзия, которую французы называют *растрепанной* (échevelée) в отношении к прежней нашей поэзии, скромной, опрятной, но несколько бесцветной, то же самое, что исполненная огня и силы безумная цыганская пляска в сравнении с чинным, благопристойным, но почти безжизненным менуэтом. Что ж делать — век на век не приходит. В наше время поэты ворковали как голубки, а теперь они ревут под-

час, как дикие звери. Бывало, нежная мать, убаюкивая свое дитя, поет:

Спи, мой ангел, успокойся!
Баюшки-баю!

А теперь в какой-нибудь колыбельной песне та же маменька поет:

Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю!

— Ах, что вы, что вы! — вскричала княгиня. — Да неужели в самом деле пишут такие ужасы?

— И пишут, княгиня, и печатают!

— А что ж по-вашему, — сказал Прилуцкий, — лучше что ли это прежнее голубиное воркованье?

— Нет, Александр Васильевич, по мне и то и другое не хорошо; можно и не ворковать и не бесноваться. А что можно, так это нам доказывали и теперь доказывают писатели с истинным дарованием, которые никогда не гоняются за минутным успехом.

— Пойдем, Оленька, — прервала княгиня, — я не хочу здесь дольше оставаться. Богдан Ильич, дайте мне вашу руку. Ну, скажите мне, — продолжала она, идя со мной к монастырю, — неправда ли, что в старину все было лучше нынешнего? Не правда ли, что наше новое поколение, наши молодые люди...

— Гораздо нас помоложе, княгиня? Да, правда. И признаюсь, я за это на них очень зол.

— Вы все шутите, а я вас спрашиваю не шутя. Ну, скажите, на что они похожи?

— Я думаю, что они очень походят на то, чем мы были с вами лет тридцать пять тому назад. А если многое, что казалось нам прекрасным, кажется им смешным, так это весьма естественно. Вспомните, как мы смеялись над пудреными париками и робронами наших дедов и бабушек, а ведь они были уверены, что лучше наряда придумать не можно. Что ж делать, я уж вам сказал, что век на век не приходит; одни только страсти наши остаются неизменными, а нравы, обычаи, понятия и общественные условия не могут не изменяться. Чтоб оградить их от этого изменения, мы должны бы были, как наши соседи китайцы, никого к себе не пускать и сами никуда не ездить. Всегда ли эти изменения бывают к лучшему, это другой вопрос, но что они сделались для нас неизбежными, об этом, кажется, и говорить нечего.

— Неизбежными!.. — повторил Соликамский, который шел позади нас вместе с Прилуцким. — Неизбежными!.. Да этак, по

жалуй, кончится тем, что мы сделаемся французами или немцами.

— О, нет, любезный,— сказал я,— это совсем другое дело. Нам точно так же нельзя сделаться французами, как французам русскими. Все эти изменения в нравах и обычаях, как необходимые следствия просвещения, опыта и частых сношений с соседними народами, могут со временем сблизить все поколения, но эти, так сказать, кровные, родовые свойства каждого народа, его недостатки и достоинства, хорошие и дурные склонности, быть может, облекутся в лучшие формы, получат другие названия, но в существе своем останутся все те же. Например, какое найдете вы сходство у нынешних парижан с теми, которые жили в Париже, когда еще он назывался *Лютециею*? А несмотря на это совершенное изменение в понятиях и образе жизни, французы остались все теми же французами. Они, конечно, очень много переняли у своих завоевателей, однако ж не сделались римлянами и даже вовсе не походят на итальянцев, которые ведут свой род прямехонько от римлян.

— Точно так же, как и мы не сделались татарами,— промолвила княжна.

— Да, Ольга Дмитриевна! Самобытность — эта жизнь народная, имеет большое сходство с отдельным существованием каждого человека. Всякий из нас был некогда ребенком, перенимал все у тех, которые его постарше, учился, потом вырос, возмужал и сделался совершенно не похожим на то, чем был прежде, а между тем все-таки не стал другим человеком, потому что для этого надобно переродиться.

Мы подошли опять к монастырским воротам.

— Александр,— сказала княжна,— ты не хотел взойти с нами на башню, так погляди хоть отсюда на Москву.

— И, кузина! — отвечал Прилуцкий.— Как тебе не надоело восхищаться все одним и тем же; ну, право, я начинаю думать, что ты приходишь в восторг для того только, что это тебе к лицу.

— А почему ты это думаешь? — спросила княжна с приметной досадою.

— Да, да! Я уверен, это все комедия, и надобно тебе отдать справедливость, ты мастерски разыгрываешь свою роль.

— Знаешь ли, Александр, что это становится несносным! Так по-твоему, нельзя любоваться этим прелестным видом?

— Да чем тут любоваться, особливо мне? Я был в Риме, в Неаполе, смотрел с колокольни Notre-dame на Париж; все это мне прискучило; надоело, que voulez-vous, ma chére, je suis blasé surtout![1]

---

[1] Если хотите, дорогая, я этим особенно пресыщен! *(фр.)*

— Blasé!..[1] — повторила княжна. — Это любимое словечко людей без всякой поэзии, без чувства, воображения... Ведь им надобно же оправдать чем-нибудь свое равнодушие ко всему прекрасному.

Прилуцкий вспыхнул, но не отвечал ни слова. Мы уселись по-прежнему в линейку и поехали. Наша прогулка началась довольно весело, а кончилась очень скучно. Во всю дорогу никто не вымолвил ни слова. Прилуцкий дулся на свою кузину, княгиня гневалась на стихотворцев, которые насмехались над бедною Лизою. Соликамский досадовал на Прилуцкого за его неуважение к русской старине. Один я ни на кого не сердился, но от этого мне легче не было; ведь вовсе не весело ехать целый час, боком, в тряской линейке, с людьми, которые молчат и дуются друг на друга. Когда мы доехали до Яузы, я сказал, что мне нужно завернуть в Воспитательный дом, простился с княгинею, пересел в коляску и отправился на свои Пресненские пруды.

---

[1] Пресыщен *(фр.)*.

К ЧИТАТЕЛЯМ



ыдавая четвертую книжку моих записок, я решился отступить несколько от принятого мною плана по нижеследующим причинам.

Многие из моих читателей полагают, что в книге, которая называется «Москва и москвичи», должно говорить об одной Москве и ее жителях. Основываясь на этом, довольно логическом, выводе, они осуждают меня за то, что я нередко, вопреки названию моей книги, говорю обо всем, что мне придет в голову. Другие замечают и, может быть, также справедливо, что мои записки, как произведение чисто литературное, не должны походить на статистическое или топографическое описание Москвы, что москвичи вовсе не составляют какой-нибудь отдельной касты, что они точно такие же русские, как и все, которые живут на святой Руси, и что, ограничиваясь описанием этих едва заметных особенностей, которыми Москва отличается от других русских городов, я непременно сделаюсь единообразным, мелочным, или, что хуже и того, буду не описывать, а сочинять, то есть взводить на бедных москвичей тяжкие грехи, которым они вовсе не причастны, выдумывать небывалые обычаи, нелепые поверья и разные другие, более или менее забавные, клеветы, вроде тех, которыми так щедро осыпают нас иностранные туристы.

Эти два совершенно противуположные мнения привели меня в большое затруднение. Конечно, я мог бы отвечать на замечания моих критиков известными стихами Сумарокова:

Коль слушать все людские речи,
Придется нам осла взвалить на плечи.

Но я желал бы, по возможности, угодить моим читателям, да как это сделать?.. Я думал, думал и вот что, наконец, пришло мне в голову: покойный мой приятель, Иван Андреевич Барсуков, любил очень рукописи всякого рода; у него было

большое собрание анфологионов, октаиков, синопсисов, диоптр, космографий, летописей и сборников. Не подумайте, однако ж, что Иван Андреевич был ученый антикварий — о, нет, его археологические познания были весьма ограниченны, он любил свои рукописи потому только, что они рукописи, точно так же, как все скупые любят деньги не за то, что на них можно все приобрести, но за то, что они — деньги. Я знаю одного скупого, который с утра до вечера пересчитывает свою огромную казну, разглаживает утюгом ассигнации, чистит мелом серебряные рублевики, а меж тем, несмотря на свое богатство, питается круглый год одним вареным картофелем и начинает топить свои печи только тогда, когда у него в комнате замерзает вода. Покойный мой приятель точь-в-точь, как этот скупой, любовался своими рукописями, обметал с них пыль, переставлял с полки на полку, а сам их не читал и не давал читать никому. Хотя Иван Андреевич любил особенно древние рукописи, однако ж не пренебрегал и новейшими. У него были целые тетради, исписанные стихами Ломоносова, Сумарокова, Державина и даже многих современных нам писателей; зато печатных книг было у него немного; кажется, полное собрание «Московских Ведомостей», большая коллекция «Академических Календарей», Требник Петра Могилы и древний, изданные в Стретине, Псалтырь Франциска Скорины. Эту печатную книгу, по ее необычайной редкости, покойный мой приятель уважал не меньше рукописи, и она стояла у него на почетной полочке рядом с рукописною комедиею, глаголемою: «Акт комедиальный о Калеандре, Цесаревиче Греческом и о мужественной Неонильде Цесаревне Трапезондской, скомпонованной в Москве». Иван Андреевич, зная мою любовь к русской старине, отказал мне по духовной свою библиотеку. Не разделяя с покойным моим приятелем этой исключительной страсти ко всему писанному, я занялся разбором, или, лучше сказать, браковкою всех новейших рукописей; отобрал к стороне дюжины две плохих списков с печатных книг, отдал на обертки целую связку учебных тетрадей какого-то семинариста, огромную кипу расходных книг, писанных рукою Феодосьи Никитишны, бабушки покойного моего приятеля, и из всего собрания новейших рукописей оставил только у себя красиво переписанную «Телемахиду» Тредьяковского, его же поездку на остров Любви и одну толстую тетрадь, которая обратила на себя мое внимание по следующей отметке, написанной рукою покойника:

«Сей сборник, именуемый «Рассказы о былом» или «Осенние вечера моего дедушки», составлен из достоверных расска-

зов некоторых особ, из коих многие и поднесь находятся в живых, сам же собиратель оных давно уже кончил свое земное поприще. Рукопись сия тем драгоценнее, что она никогда не подвергалась печати и может назваться единственною в своем роде». Это собрание рассказов, перемешанных с разговорами бывалых людей, показалось мне довольно занимательным по своему разнообразию и какой-то простодушной веселости, которую я не смею назвать болтовнею, потому что неизвестный сочинитель «Осенних вечеров», кажется, человек с большими претензиями; я это думаю потому, что на заглавном листе этого сборника написана, в виде эпиграфа, русская пословица, или народная поговорка: «Не раскуся ореха, о зерне не толкуй». Только воля его, это просто хвастовство: автор хочет пустить пыль в глаза своим читателям.– «Вы, дескать, думаете, что я так балагурю, шучу... Нет, разберите-ка хорошенько, так вы увидите, что в этой болтовне много дела, сиречь, всякой глубины и философии». Не знаю, как посудят другие, я, по крайней мере, не заметил ничего особенного, а нахожу, что эта безделка написана довольно хорошо, читается без скуки и, может быть, выведет меня из затруднительного положения, о котором я имел уже честь докладывать вам, любезные читатели.

В моих записках я говорю – или должен говорить – об одной только Москве и москвичах; а в этих «Осенних вечерах» говорят обо всем. Действие происходит не в одной Москве, а во всей России, и даже в некоторых рассказах переносится за границу, следовательно, в них гораздо более разнообразия; и вот почему я решился печатать их отдельной статьею в каждом выходе моих записок. Я очень бы желал угодить этою переменою моим читателям, разумеется, благосклонным; тем, которые меня не жалуют, я уж, конечно, ничем не угожу, потому что, ради их потехи, не намерен изменять мой образ мыслей, то есть прославлять людские страсти, поклоняться, как божеству, нашему земному разуму, валяться в ногах у Запада и идти *непременно* за веком, куда бы этот век ни шел.

НЕСКУЧНОЕ[1]

Несносен мне зимой суровый наш климат,
Глубокие снега, трескучие морозы;
Но летом я люблю и русские березы,
И наших лип душистый аромат.
Как часто в знойный день под их густою тенью
В Нескучном я душою отдыхал...

В-н



ного есть садов лучше нашего Нескучного, которое скорее можно назвать рощею, чем садом; но едва ли можно найти во всей Москве и даже в ее окрестностях такое очаровательное место для прогулки, а особливо если вы идете гулять не для того только, чтоб людей посмотреть и себя показать. Это Нескучное, поступившее ныне в ведомство московской Придворной конторы, принадлежало некогда К. Ш., человеку доброму, радушному и большому хлебосолу. Я не знаю, кому принадлежал этот сад прежде, но только помню, что когда он не был еще собственностию К. Ш., то порядочные люди боялись в нем прогуливаться и посещали его очень редко. Тогда этот сад был сборным местом цыган самого низкого разряда, отчаянных гуляк в полуформе, бездомных мещан, ремесленников и лихих гостинодворцев, которые по воскресным дням приезжали в Нескучное пропивать на шампанском или полушампанском барыши всей недели, гулять, буянить, придираться к немцам, ссориться с полуформенными удальцами и любезничать с *дамами,* которые, по изгнании их из Нескучного, сделались впоследствии украшением Ваганькова[2] и Марьиной рощи. На каждом шагу встречались с вами купеческие сынки в длинных сюртуках и шалевых жилетах, замоскворецкие франты в венгерках; не очень ловкие, но зато чрезвычайно развязные барышни в купавинских шалях, накинутых на одно плечо, вроде греческих мантий. Вокруг трактиров пахло пуншем, по аллеям раздавалось щелканье каленых орехов, хохот, громкие разговоры,

---

[1] Написано в 1840 году.

[2] Кладбище за Пресненской заставою, любимое гулянье простого народа.

разумеется на русском языке, иногда с примесью французских слов нижегородского наречия: коман ву партеву! тре бьян! бон жур! мон шер![1] Изредка вырывались фразы на немецком языке, и можно было подслушать разговор какого-нибудь седельного мастера с подмастерьем булочника, которые, озираясь робко кругом, толковали меж собою о действиях своего квартального надзирателя, о достоверных слухах, что их частный пристав будет скоро сменен, и о разных других политических предметах своего квартала. С изгнания цыганских таборов из Нескучного и уничтожения распивочной продажи все это воскресное общество переселилось в разные загородные места, и в особенности в Марьину рощу. Когда я познакомился с новым владельцем Нескучного, этот сад принял уже совершенно другой вид: дорожки были вычищены, знаменитый мост, соединяющий обе части сада, мост, который, к сожалению, теперь уж не существует, исправлен, укреплен и сделан безопасным; домики украшены, и к воротам сада подъезжали не одни уж рессорные тележки и ухарские пары, но очень часто четвероместные кареты, а по тенистым аллеям бегали миловидные дети и мелькали соломенные шляпки московских дам высшего общества. Потом выстроили в Нескучном воздушный театр, то есть театр без кровли, в котором давали не только водевили и дивертисменты, но даже большие комедии, трагедии и балеты[2]. Эта новость понравилась, и Нескучное сделалось любимым гуляньем московской публики.

Но знаменитость и слава земная — прах! Когда Нескучное было в ходу и жители Большого Калужского проспекта начинали уж поговаривать без всякого уважения о Тверской улице и при всяком удобном случае рассказывать с гордостию, что их дома в двух шагах от Нескучного, за Петербургской заставою, тихо и безмолвно, вырастал опасный его соперник. Петровский парк был еще в младенчестве, но он мужал не по дням, а по часам, и вдруг, как будто бы волшебством, возникли на чистом поле прекрасные дачи, разостлались широкие дороги, зазеленели бархатные луга, усыпанные куртинами, поднялся красивый портик театра, прекрасного как игрушка, на которую нельзя было не полюбоваться, и выросло из земли огромное здание воксала со всеми своими принадлежностями. Вся Москва хлынула за Тверскую заставу; Нескучное опустело, его воздушный театр превратился в пепел, то есть

---

[1] Как вы поживаете! очень хорошо! добрый день! мой дорогой! *(искаж. фр.)*

[2] Я очень помню, как однажды в проливной дождь дотанцевали последнее действие «Венгерской хижины» почти по колено в воде.

он был продан на дрова; диковинный мост обвалился, и обыватели Большой Калужской улицы стали обращать внимание на каждую проезжающую карету, сбавили половину цены с найма своих домов и не хвастались уже своим близким соседством с Нескучным садом, в котором стало очень скучно, по крайней мере для любителей многолюдной толпы, то есть для девяноста девяти сотых частей гуляющей публики.

Вот краткая современная история Нескучного. Теперь позвольте мне сказать о нем несколько слов в топографическом отношении и описать его так, как оно было в счастливые времена своей мимолетной славы и минутного величия.

Этот сад, начинаясь от рощи, принадлежавшей князю Д. В. Голицыну, оканчивался за Калужскою заставой. Одной стороною он обращен к Донскому монастырю, другая тянется по крутым и гористым берегам Москвы-реки. Войдя главными воротами в широкую аллею, ровную и гладкую, как Тверской бульвар, вы никак не отгадаете, что вас окружают если не пропасти, то по крайней мере такие буераки, что я не советую никому ходить вечером по левой стороне аллеи, между деревьями, которые растут на самых закраинах обрывистых и глубоких оврагов. Когда вы доходили до конца аллеи, вам открывался на правой стороне окруженный цветниками господский дом со всеми своими принадлежностями. Этот дом исчез также с лица земли, но он отжил свой век. И тогда уже страшно было смотреть на этого маститого старца; сквозь тесовую обшивку, покрытую желтой краскою, проглядывали его трещины, точно так же, как, несмотря на толстые слои белил и румян, прорезываются глубокие морщины на лице какой-нибудь допотопной красавицы, которая хочет остаться вечно молодою. От дома начиналась прямая дорожка, ведущая на длинный мост. Не бойтесь, ступайте смело за мною: этот мост поставлен на деревянных срубах и хотя на взгляд очень подозрителен, но гораздо прочнее и надежнее господского дома. Вот мы дошли до его средины. Теперь остановимся, обопремся на перила и поглядим, что у нас под ногами. Если и это нельзя назвать пропастью, так что ж это такое? овраг? Нет, воля ваша! у меня язык не повернется назвать таким пошлым именем первую диковину Нескучного. Представьте себе поросшее сплошным лесом ущелье, мрачное и глубокое для всякого человека с хорошими глазами и почти бездонное для того, кто имеет несчастие быть близоруким. Столетние деревья, растущие на дне его, кажутся вам деревцами, потому что вы видите только одни их вершины. Их корни омывает едва заметный проток, составляющий по ту сторону моста небольшой пруд. Если вы сойдете по извилистой тропинке на дно этой... ну да!

этой пропасти, то вам надобно будет лечь на спину, чтоб, не свихнув себе шеи, посмотреть на многолюдную толпу гуляющих по мосту, который как будто бы висит на воздухе; но я не советую вам сходить в эту преисподнюю, если вы не любите ужей: это их подземное царство, из которого они выползают иногда в аллеи сада, вероятно для того, чтоб полюбоваться на свет божий и погреться на красном солнышке.

Сколько раз встречал я полночь на этом мосту. Я жил тогда в Нескучном. Однажды — никогда не забуду этой ночи! — мне что-то не спалось; я встал, оделся на скорую руку и пошел бродить по саду. Ночь была лунная, воздух теплый, влажный, напитанный ароматом. Дойдя до средины моста, я остановился; мертвое молчание, густая тень деревьев и под ногами эта пропасть — жилище пресмыкающихся и приют летучих мышей — все располагало мою душу к каким-то таинственным ощущениям, все переносило ее в мир чудес и очарований. Мне казалось, что я стою у входа в знаменитую «волчью долину», что на дне ее льют роковые пули и *черный стрелок* выглядывает из-за толстого пня сухой березы, которая, как мертвец в белом саване, отделяется от темной зелени живых деревьев. Вот яркий луч месяца прокрался между листьями и заблестел на чешуйчатой спине красноголового ужа; вот что-то зашелестело над моей головою, и летучая мышь, крутясь по воздуху, исчезла в глубине ущелья. Вот набежала черная туча, луна скрылась за нею, мрак сгустился, и сотни *светляков,* как звездочки, затеплились на кустах и высокой траве, которая растет привольно на дне этих неприступных стремнин и буераков, и в то же самое время на вершине высокой сосны *заохал* вещий филин. Я не могу рассказать вам, что за странные ощущения, похожие на тихую грусть, не чуждые какого-то страху, но вместе с этим чрезвычайно приятные, овладели моей душою. Страх — чувство болезненное, но эта безотчетная робость, от которой замирает слегка наше сердце, имеет в себе какую-то неизъяснимую прелесть. Более часу простоял я как прикованный к одному месту; я не замечал, как звезды исчезали одна за другою, как скрылся месяц, как запылали облака и море света разлилось на востоке. Веселое чиликанье пробудившихся птиц заставило меня очнуться. Неугомонный филин давно уже убрался в свое дупло, летучие мыши также попрятались, и сквозь просвет частых деревьев засверкал позлащенный крест высокой колокольни Новодевичьего монастыря.

Вы очень ошибаетесь, если подумаете, что эта пиитическая ночь создалась в моем воображении. Всякий, кто живал в Нескучном, подтвердит мои слова. В этом саду попадаются

очень часто ужи, водятся летучие мыши, блестят по ночам светляки, и когда я жил в Нескучном, каждую ночь, перед рассветом, раздавались отвратительные крики сов и стонал зловещий филин.

За этим мостом, которого теперь и следов не осталось, начинается и другая часть сада. Прямая дорожка, проложенная между густых куртин березовых и липовых деревьев, приводила вас к одноэтажному домику, в котором некогда помещалась ресторация; в двух шагах от него, на небольшом возвышении, стояла беседка; она соединялась подземным ходом с нижним этажом другого домика, которого существования нельзя было и подозревать, потому что он выстроен был на скате глубокого оврага; из верхнего его жилья можно было пройти в беседку крытым переходом или какою-то висячею галереей, не очень благонадежною, но зато очень живописною. Все это было в совершенном запустении; кругом дичь, высокая трава, огромные деревья и немного пониже — источник прекрасной и чистой, как хрусталь, воды. Позади беседки небольшой мост соединял с садом что-то похожее на остров, который вместо воды окружен был со всех сторон обрывистыми оврагами. Теперь мы воротимся с вами назад и взглянем на великолепную липовую аллею, где вы можете и в самый полдень найти прохладную тень и укрыться от палящего солнца. Подле, на пространном лугу, возвышался некогда деревянный колизей под скромным названием воздушного театра. Не знаю теперь, а тогда было тут прекрасное эхо, которое повторяло с удивительною точностию двусложные слова.

Сколько раз, бывало, я проходил один или вместе с любезным семейством Ге...вых пробуждать этот чудный отголосок. Однажды под вечер я стоял уж с полчаса против театра и радовался, как дитя, когда эхо повторяло каким-то насмешливым голосом: «Девка!.. кошка!.. слушай!.. молчи!..»

— Не прогневайтесь, сударь,— сказал мне один из садовых сторожей, который уж несколько минут стоял подле меня и покачивал головою,— напрасно вы изволите этим забавляться.

— А что, любезный?

— Да так-с! нехорошо.

— Почему ж нехорошо?

— Ведь он не любит, сударь, чтоб его тревожили.

— Его! да о ком ты говоришь?

— Ну вот что вас передразнивает.

— А что ж ты думаешь, кто это?

— Известное дело — хозяин.

— Какой хозяин?

— Ну, иль домовой, сударь. Его трогать не надобно: ведь не ровен час, как пристанет, так не отвяжется.

— Ах ты, дурак, дурак! — сказал я с громким смехом.

«Дурак, дурак!» — повторило эхо и захохотало так натурально, что бедный сторож вздрогнул, пробормотал что-то под нос и плюнул, вероятно на лукавого, а может быть, и на меня как на совершенного безбожника.

В конце липовой аллеи сходились две дорожки, одна шла направо, к Москве-реке, другая вела к самому живописному месту Нескучного. Мы зайдем туда после, а теперь я попрошу вас со мною на берег реки. Вот мы спускаемся вниз по изгибистой тропинке, прерываемой в нескольких местах деревянными лестницами, и сходим наконец на песчаный берег Москвы-реки. Позади нас пруд, за ним вдали, как будто опираясь на вершины деревьев, тянется длинный мост. Перед нами несколько красивых домиков, колодец и красивая галерея для ходьбы в ненастную погоду. Это заведение искусственных минеральных вод. «Какие минеральные воды? — спросите вы. — Да ведь они на Остоженке». Да, теперешние на Остоженке, а первые искусственные воды — воды, которыми никто не лечился, несмотря на то что они стоили очень дорого хозяину, — были в Нескучном. Вот краткая история их начала, бытия и кончины. Один глубокомысленный испытатель естества, досужий и оборотливый немец, заметил хозяину, что в его колодце вода минеральная, потому, дескать, что в ней есть частицы известковые, железные и разные другие, и что хотя и в обыкновенной воде бывает не без примеси, но его колодезная вода имеет особенную целебную силу; но так как эта сила не то чтоб отличная какая сила, а только сила укрепляющая и утоляющая жажду, то не мешало бы завести около колодца и другие разные воды, имеющие разнородные силы, и что он берется сделать все это самым легким, вновь изобретенным способом, не требуя ничего, кроме посильного денежного вспоможения, необходимого для устроения сего филантропического и чисто европейского заведения. Добрый и благородный К. Ш., обрадованный мыслию, что он может положить основание такому благодетельному и общеполезному заведению, приступил немедленно к делу. Сначала, пока строили домики для ванн, залу для питья вод и галерею для прогулки больных, можно было видеть, по крайней мере, на что выходят деньги; но как дошло дело до химической части, то добрый К. Ш. призадумался. «Ох уж мне эти машины! — говаривал он довольно часто. — Не успеешь сделать одну, подавай другую! Да ведь как дороги, проклятые! Расходы ужасные, а взглянуть не на что. Ну, видно, плакали мои денежки!»

И действительно, первая попытка завести в Москве искусственные минеральные воды не имела никакого успеха. Вот решились, наконец, прибегнуть к самому сильному и последнему средству: воды составлял и всем распоряжался все тот же глубокомысленный испытатель естества, а смотрителем при них, то есть сторожем, был простой русский человек; на место его сделали смотрителем какого-то физиканта с толстым чревом и важным лицом; у этого мусью была преудивительная фамилия, и он ни слова не говорил по-русски. Кажется, чего б еще? — нет! и это не помогло. В ванны никто не садился, воды не пили, в галерее не гуляли, а физикант брал по пятисот рублей в месяц жалованья, а испытатель естества придумывал все новые машины и сам назначал им цену. Тяжко пришло хозяину! Конечно, он имел удовольствие пить свою собственную зельцерскую воду и потчевать ею своих приятелей; но если б счесть, во что обошлась ему эта забава, то для него гораздо бы выгоднее было вместо домашней зельцерской воды пить старый ренвейн и потчевать своих гостей столетним венгерским вином. Между тем под руководством знаменитого профессора Лодера положено основание нынешнему заведению искусственных вод на Остоженке; их скоро открыли, они вошли в моду, и участь первоначального заведения была решена. Теперь не только не осталось следов ванн и галереи, но даже засыпан и колодец. Долго я добивался, но никак не мог узнать, кому вошла в голову странная мысль вырыть этот колодец? Он уже давно существовал, а никто не подозревал в нем никакой целебной силы; следовательно, нашелся же человек, который задумал выкопать колодец с обыкновенной, но только дурною водою, на самом берегу реки, в которой вода весьма приятного вкуса.

Однажды — это было в мае месяце — я встретился в Москве с старинным моим приятелем Б****. Он жил безвыездно в Петербурге и в первый еще раз в жизни приехал взглянуть на белокаменную и поклониться ее святым угодникам. Если б я родился в Италии, то уж, верно бы, попал в цех записных *чичероне.* Одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтоб показывать приезжим все диковинки и редкости города, в котором я живу. Четыре дня сряду я угощал моего приятеля Москвою, возил его из одного конца города в другой, ездил с ним в Коломенское, Царицыно, Кунцево, к Симонову монастырю; сходил вместе с ним под большой колокол, взлезал на Сухареву башню и смотрел с Ивана Великого на матушку-Москву православную; наконец, дело дошло и до Нескучного. Я начал с того, что познакомил моего приятеля с хозяином; он обласкал приезжего гостя, показал ему свое целеб-

ное заведение и напоил нас зельцерской водою домашнего изделия. Мы оставили хозяина на берегу Москвы-реки, а сами пустились в гору; устали до смерти и, наконец, пройдя мимо липовой аллеи, повернули направо, вышли на самое живописное место Нескучного и сели на скамье, чтоб отдохнуть и полюбоваться очаровательным видом, который вдруг развернулся под нашими ногами. Внизу излучистая река, за нею обширные луга и Новодевичий монастырь; правее по берегу реки длинный ряд красивых Хамовнических казарм, а за ними сады и бесчисленные кровли домов; еще правее, вниз по течению реки, огромный амфитеатр, составленный из белокаменных зданий и разноцветных церквей; подымаясь все выше, он оканчивается усыпанным позлащенными главами державным Кремлем. При первом взгляде, казалось, на его высоких башнях покоились небеса, посреди которых выше всего блистал на главе Ивана Великого животворящий крест, осеняя своею благодатью священные гроба угодников божиих, святые соборы и древнее жилище православных царей русских. Налево, вверх против течения реки, возвышаются на полугоре большое каменное здание и церковь — это Андреевская богадельня; выше начинается сад или роща, примыкающая к Васильевскому, великолепному загородному дому, который принадлежит теперь графу Мамонову. За Васильевским подымаются Воробьевы горы; они тянутся по берегу Москвы-реки к Смоленской заставе и оканчиваются там, где речка Сетунь впадает в Москву-реку. Все это можно окинуть одним взглядом и, не переменяя положения, сидя спокойно на скамье, любоваться в одно время и Москвою и ее прелестными окрестностями. Мой приятель был в совершенном упоении. Великолепная Нева с своими островами и море, на которое москвичи смотрят с таким восторгом, давно уже ему пригляделись, а то, что было теперь у него пред глазами, он видел в первый раз.

— Боже мой,— сказал он,— какой очаровательный вид! У нас все так гладко, однообразно, за сто шагов ничего не видно, а здесь — мы гуляем в саду, и вся Москва у наших ног!.. Вот одно из всех земных наслаждений,— продолжал он,— которое не оставляет пустоты в сердце — и одно только, которое доступно и понятно для всякого.

— *Доступно* — это правда,— отвечал я,— но *понятно ли* для всякого — не знаю. И нищий может взойти на гору, и у него будут перед глазами прелестные виды; но станет ли он ими любоваться — это другая речь.

— Как! — вскричал мой приятель,— да неужели ты думаешь, что необразованный простолюдин совершенно равнодушен к прекрасному и что один только просвещенный человек

смотрит с удовольствием на живописное местоположение? Нет, мой друг! я уверен, что самый простой и безграмотный мужик поймет всю прелесть того, что теперь у нас перед глазами. Ведь это не картина, которую должно разбирать по правилам искусства; прекрасное в природе не подчинено никаким законам; оно пленяет нас без всякого предварительного разбора и нравится безотчетно, следовательно, действует одинаким образом и на того, кто проходил эстетику, и на того, кто не знает грамоты.

— Полно, так ли, мой друг? Я уверен, что и в высшем сословии есть люди, для которых существуют *прекрасные* поля, а вовсе нет прекрасных видов. Я знаю одного довольно образованного человека, который, сидя теперь с нами, не заметил бы, что отсюда вся Москва как на блюдечке, а не спустил бы глаз с Лужников, и, вероятно, сказал бы с восторгом: «Вот, батюшка, место-то!.. Что, если б все эти луга засеять клевером или завести трехпольное хозяйство!» А попытайся обратить его внимание на эту роскошную панораму, так он тебе скажет: «И, сударь! что такое вид! Была бы только почва хороша, а дальновидное место ничего! Вот моя деревня в лощине, да зато голый чернозем, а хочешь вдаль посмотреть, ступай на колокольню — с нее за пять верст кругом видно!..»

— Да это, мой друг, выродки, о них и говорить нечего! В их глазах только то и хорошо, что может приносить выгоду. Разумеется, тот, кто думает об одних доходах, не станет любоваться красотами природы, и я уверен даже, что бедный безграмотный человек поймет это высокое наслаждение лучше всякого богача, который заводит обширные сады и создает в них свою собственную природу, вытянутую в струнку, жалкую, изувеченную, или, не видав никогда солнечного восхода, приходит в восторг, когда на сцене театра подымается кисейный туман и всходит хрустальное солнце. Да вот, например,— продолжал мой приятель,— видишь ли ты вон там, за оврагом, на высоком холме будку?

— Вижу.

— Оттуда вид должен быть еще прекраснее здешнего. Не хочешь ли биться об заклад, что будочник, у которого этот вид с утра до вечера перед глазами, понимает всю красоту его и, может быть, не менее нашего им наслаждается?

— Зачем биться об заклад,— сказал я, вставая,— пойдем и спросим его самого.

— Пойдем, пойдем! — вскричал мой приятель.— Только не вздумай требовать от него красноречивых фраз и пиитических восторгов; не забывай, что он будочник и восхищается по-своему.

— Не беспокойся.

Мы вышли задними воротами сада и через несколько минут подошли к будке. В самом деле, от нее вид был еще живописнее. У будки стоял городовой страж пожилых лет. Этот хранитель общественного покоя был очень некрасив собою. На груди у него висели две медали, следовательно, он служил прежде в армии и дрался с неприятелем; но, вероятно, это было очень давно, потому что в нем вовсе уж не было заметно этой молодецкой выправки, которою отличается наш фрунтовой солдат. Все лицо его было в морщинах, и красный нос с синим отливом почти касался подбородка, покрытого седой щетиною. Положив на руку свой грозный бердыш и прищурив левый глаз, он нюхал с расстановкой табак из берестовой тавлинки; казалось, он был совершенно погружен в это чувственное наслаждение и не замечал нашего присутствия.

— Эй, будочник! послушай! — сказал мой приятель.

Старый воин не пошевелился и даже не удостоил нас взглядом.

— Будочник! — повторил мой приятель. Городской страж взглянул на него исподлобья, втянул в свой огромный нос последнюю напойку табаку и отвернулся.

— Да он никак глух? — молвил мой товарищ.

— Помилуй! — шепнул я, — где слыхано, чтоб кто-нибудь называл будочника будочником? ведь это смертная обида.

— Как обида?

— Ну да! ты этак от него и полслова не добьешься. Ты бы еще назвал его костыльником или куроцапом. Эх, друг сердечный! как ты плохо знаешь наши простонародные обычаи вообще и нравы будочников в особенности! Посмотри, как он у меня заговорит.

— Эй! часовой!

Будочник выпрямился и опустил правую руку по шву.

— Послушай-ка, служба!..

— Чего изволите, ваше благородие? — вскрикнул бодрым голосом старый воин, отдав мне честь, то есть вытянув горизонтально левую руку, в которой держал свою секиру.

— Какая здесь часть?

— Хамовническая, ваше благородие.

— А что, любезный! — сказал мой приятель, — у тебя нет никакого другого оружия, кроме этого топора?

Будочник нахмурился и взглянул почти с презрением на моего товарища.

— Да чем же эта *алебарда* дурное оружие? — прервал я, стараясь поправить ошибку моего приятеля.

— Да, конечно, ваше благородие! — отвечал будочник,— и алебардой обороняться можно, а то ли дело наш батюшка штык-молодец!

— Ты в каком полку служил, любезный?

— В двадцать третьем егерском.

— А давно ли служишь в городской страже?

— Пятый год.

— И все стоишь здесь?

— Никак нет, сударь. Я прежде был в Пятницкой части и стоял на Болоте.

— На Болоте! — повторил мой приятель.— Я думаю, ты очень обрадовался, когда тебя перевели сюда?

Старый воин посмотрел с удивлением на г. Б**** и пробормотал сквозь зубы:

— Да! есть чему радоваться!

— Помилуй, любезный! — вскричал мой приятель,— да что хорошего на Болоте? Скверные лавки, грязь, вонь...

— Что грязь! — возразил будочник,— грязь ничего, зато место людное, три раза в неделю базар. Тут поленце упадет с возу, там клок-другой сенца — только подбирай!.. Иной раз мужичок, как сбудет свой товар с барышом, сам на радости в кабак, а служивому грош на табак. Там, глядишь, калачник уважит калачиком или квасник почествует стаканчиком медового, а в этом захолустье век стой, ничего не выстоишь; и хоть бы приютили где-нибудь в лощинке — так нет! Поставили будку на самом юру!.. Как осенью потянет ветерок с полуночи или зимою начнет мести сверху и снизу, так господи помилуй!.. Да что и говорить — поганое место!

— Да неужели, любезный,— прервал мой приятель,— ты никогда не любуешься этим прекрасным видом?

— Видом! каким видом?

— Да вот что у тебя пред глазами.

— А что́ у меня пред глазами-то?

— Как что?.. Посмотри кругом!

Будочник посмотрел направо и налево, потом повернулся опять к моему приятелю и сказал:

— Да что вы тут видите, сударь?

— Экий ты, братец, какой! да неужели ты можешь смотреть без восторга на это очаровательное местоположение?

Будочник выпучил глаза.

— Вот изволишь видеть, любезный,— сказал я, спеша на выручку к моему приятелю,— он спрашивает: любо ли тебе смотреть на эти горы, овраги, буераки?

— Да что в них хорошего?

— На Москву-реку, на эти луга...

— Эка невидаль!

— А Новодевичий монастырь? а Кремль?

— Да что мне, впервые, что ль? иль я Кремля-то не видывал?

— Ну, все-таки, братец, место дальновидное, веселое, куда ни обернись, любо-дорого посмотреть!

— Да, нечего сказать!.. Эх, сударь, помилуйте, то ли дело стоять на Болоте! Вот там есть чем полюбоваться: каменные дома, лавки, харчевни, лабазы, а в базарный день народу-то, народу — неотолченная труба!.. Мужички гуляют, шумят, дерутся; их разбираешь — любо!.. А здесь что? пустырь!

Как ни старался мой приятель доказать этому невежде, что он ошибается, но все было напрасно. Мы дали ему по двугривенному и пошли назад в Нескучное.

— Ну, что, мой друг? — спросил я.

— Что! — повторил г. Б****. — Ну да! этот будочник настоящий варвар, но разве это что-нибудь доказывает? Ты сам говорил, что и в нашем быту есть люди, для которых изящная природа не существует.

— То есть, по-твоему, этот будочник выродок?

— Без всякого сомнения.

— Ох уж вы мне, господа теоретисты, с вашими высшими взглядами! Что и говорить, вы смотрите высоко, да только под носом-то у себя ничего не видите! Уйметесь ли когда-нибудь судить о людях и вещах не так, как они есть в самом деле, но так, как бы вам хотелось, чтоб они были. Конечно, и у простого крестьянина есть свои наслаждения, но они не имеют ничего общего с твоими; их понятия о красоте, о чести и даже о самом счастии совершенно различны с нашими. Попытайся уверить какого-нибудь крестьянина, что женщина с воздушным станом и бледным лицом может быть прекрасна. Тебе также, верно, случалось видеть, что два мужика поссорятся, дадут друг другу по оплеухе — и преспокойно разойдутся в разные стороны, а человек образованный идет стреляться насмерть за одно обидное слово. Крестьянин счастлив, когда у него теплая изба, новый овчинный тулуп, вдоволь хлеба, три-четыре лошади, дойная корова, корчага браги и лишний рубль, чтоб в день своих именин или в храмовой праздник выставить штоф пенника и угостить пирогом своих деревенских соседей; то ли нам с тобою надобно, — не для того, чтоб быть счастливыми — в нашем быту эта вещь едва ли возможная, — но чтоб другие могли сказать о нас, что мы счастливы? Эх, мой друг! оставь мужичка мыслить, чувствовать и понимать по-своему!

— То есть, — прервал мой товарищ, — не мешай ему тонуть по уши в невежестве и стоять только на один волосок повыше

бессловесных животных; не старайся образовать его ум, не просвещай его...

— Сохрани господи! нет, мой друг, есть просвещение, которое необходимо для всякого; это просвещение не кидается в глаза, оно не имеет надобности ни в латинском языке, ни в ученых фразах, но зато оно проникает, и гораздо легче, под соломенную кровлю безграмотного бедняка, чем в мраморные палаты ученого-переученого богача. Это просвещение премудрые философы восемнадцатого столетия величали фанатизмом, а мы, русские варвары, благодаря бога, называем еще верою; и вот это-то просвещение, по милости которого злой человек становится добрым, скупой — милосердым, пьяница — трезвым, ленивый — трудолюбивым, а строптивый — покорным и смиренным,— оно-то одно и необходимо для крестьянина. Без этого просвещения и образованный человек бывает иногда хуже дикого зверя. Так чем же должен сделаться тот, для которого не существуют ни наши условные приличия, ни строгие понятия о чести, ни это уважение к общему мнению, которое все-таки может удержать нас иногда если не от тайных, то, по крайней мере, от явных нарушений нравственности и законов общежития..

— Я в этом совершенно с тобою согласен,— сказал мой приятель,— а не менее того желал бы от всей души, чтоб русский народ полюбил и земное просвещение.

— И я этого желаю, но только с небольшим условием. Просвещая наш простой народ, я хотел бы, чтоб мы почаще вспоминали одну басню Крылова.

— Какую басню?

— Да вот ту, которая начинается следующими стихами:

Полезно ль просвещенье?
Полезно, слова нет о том,
Но просвещением зовем
Мы часто роскоши прельщенье
И даже нравов развращенье...

— Я что-то ее не помню.

— Вот в чем дело: один простоватый человек, думая придать более цены золотому червонцу, принялся его чистить песком, толченым кирпичом и, наконец, дочистился до того, что

Подлинно как тар червонец заиграл:
Да только стало
    В нем весу мало,
И цену прежнюю червонец потерял.

А я прибавлю к этому, что и штемпель-то с него стерся совсем, так что нельзя было отгадать, какая это монета — фран-

цузская, татарская, немецкая или русская, что, вероятно, также ему цены не прибавило.

— Так что ж, по-твоему, надобно делать? — прервал почти с досадой мой приятель.

— Не мешать и даже помогать тем, у которых есть врожденная любовь к просвещению, потом предоставить все времени — этому нетороплливому, но лучшему учителю народов. «Не скоро, да здорово», — говорит русская пословица, и в этом случае она совершенно справедлива. А меж тем не мешало бы нам поменее говорить о просвещении наших крестьян, а пободее заботиться о их благосостоянии.

— В том-то и дело, — прервал мой приятель, — ведь просвещение-то и делает человека счастливым.

— Да, — то, о котором я говорил тебе прежде, а то, о котором ты говоришь теперь, тогда только для нас полезно, когда придет нам по плечу. Хорошо идти за веком тому, кому нет надобности ходить за сохою. Да и с чего ты взял, что ты счастливее безграмотного человека, потому что знаешь больше его? Нет, мой друг! исправный, то есть зажиточный, крестьянин несравненно благополучнее нас с тобою: его не беспокоит наша житейская суета, не тревожит честолюбие. Он, человек безграмотный, знает, что век останется крестьянином, и спит себе преспокойно; а посмотри, как иногда какой-нибудь коллежский секретарь, который занесся в чины, сохнет оттого, что его долго не производят в титулярные советники!

— Толкуй себе как хочешь, а я все-таки желаю, чтоб наш простой народ...

— Эх, мой друг! оставь его в покое! А если хочешь чего-нибудь желать, так пожелай лучше общего просвещения для тех людей, которые могут и *должны* быть просвещены. Безграмотный мужик не беда, а вот худо то, когда сам помещик читает по складам.

— Да этаких уж мало, мой друг.

— Несравненно меньше прежнего — кто и говорит; а не мешало бы, чтоб их и вовсе не было.

Наш разговор был прерван нечаянным появлением хозяина Нескучного.

— Насилу-то я вас нашел, господа! — сказал он, идя к нам навстречу, — уж я ходил, ходил по саду!.. Представьте, какая случилась со мною неприятность: я остался без вас на минеральных водах, чтоб осмотреть, в порядке ли ванны, — вот слышу, шумят подле целебного колодца. Что такое? Гляжу: какой-то барин, совсем раздетый, чуть не бьет моего смотрителя-немца. Я подбежал к ним. В чем же дело? представьте себе, этот господин лезет купаться в колодец!.. — «Помилуйте,

батюшка, что вы?» — «Как что? ведь это вода целебная?» — «Ну да, целебная!.. Да ведь ее пьют, а не купаются в ней». — «Вот вздор какой! я слыхал, что на Кавказе и пьют и купаются». — «То на Кавказе, а здесь совсем другое дело». — «Почему ж другое? вода всё вода!» Я чтоб урезонить — куда! так и рвется!.. А колодец глубокий, вода почти вровень с краями, — юркнет, проклятый, и поминай как звали!.. Я ухватился за него и кричу немцу: «Держи, держи!..» Насилу-то вдвоем оттащили его прочь! Такой здоровый — и в голове-то порядком закачено. Что будешь делать — привязался ко мне, шумит, кричит!... Я так, я этак, и лаской и всячески — не отстает! Уж я поил, поил его зельцерской водою, насилу, разбойник, провалился — устал с ним до смерти. Теперь прошу ко мне, господа! — продолжал хозяин, вытирая платком свое лицо. — Милости просим позавтракать чем бог послал. Не взыщите, если мой пирог простыл; что делать? целый час провозился с этим пьяницей.

Мы отправились вместе с хозяином и, к совершенному удовольствию этого гостеприимного и радушного человека, нашли, что его отлично-вкусный пирог не совсем еще остыл.

ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА

Вступление



Дедушка мой, Лаврентий Алексеевич Закамский, вступил в службу еще в начале царствования Екатерины Второй. В старину весьма немногие из родовых дворян начинали свое служебное поприще в звании канцеляристов и губернских регистраторов; обыкновенно все дворянские дети поступали почти со дня своего рождения на службу в царскую гвардию, то есть они записывались в полки солдатами и, разумеется, считались в отпуску; но их служба шла своим чередом. Этих заочных солдат производили в ефрейторы, ефрейт-капралы, каптенармусы и даже сержанты. По милости этого обычая, Лаврентий Алексеевич явился также на службу лейб-гвардии в конный полк не солдатом, а старым ефрейт-капралом. Прослужив слишком двадцать лет офицером, дедушка мой вышел, наконец, в отставку полковником и отправился на житье в свою наследственную Пензенскую отчину. Лаврентий Алексеевич нашел в ней развалины господского дома, обширный фруктовый сад, который служил выгоном для дворового скота, сотни две крестьянских изб, ветхую деревянную церковь и царское кружало, то есть кабак. Вокруг этого питейного дома, всегда по праздникам и очень часто по будням, толпились православные, вероятно, потому, что тут бывали мирские сходки, на которых в старину все дела оканчивались обыкновенно общей попойкою. Разумеется, Лаврентий Алексеевич отвел другое место для народных совещаний, выгнал из сада коров, начал строить высокие хоромы с бельведером и заложил каменную церковь. Потом принялся хозяйничать: выстроил винокуренный завод для дохода, завел псовую охоту ради потехи и музыку, я думаю, для того, чтоб не даром кормить своих дворовых людей, которых значилось у него, по ревизским сказкам, без малого двести душ; одним словом, мой дедушка исполнил в точности всю обязанность богатого помещика тогдашнего времени; то есть покутил порядком смолоду, послужил верой и правдою матушке па-

рище, прожил на службе третью часть отцовского именья и приехал, наконец, доживать свой век барином в то самое наследственное село, где он родился, провел свои детские годы и певал некогда по воскресным дням на клиросе, вместе с дьячком, у которого учился грамоте. В одном только дедушка не последовал примеру большей части помещиков, живущих на покое: он завелся всем дворянским хозяйством, только не выбрал себе по сердцу хозяюшки. Впрочем, Лаврентий Алексеевич вовсе не жалел об этом. Он любил дочь своего брата, то есть мою покойную мать, как не всякий отец любит свое родное дитя. «Да на что бы я женился?» — говаривал он всегда, обнимая племянницу. «Что у меня семьи что ль нет? Пусть себе говорят, что я старый холостяк, бесплодная смоковница,— вздор, матушка! По милости Божьей, у меня есть и дочь, и сын, и даже внучек»,— прибавлял он всегда, целуя меня в маковку.

Мне не было еще и десяти лет, как я остался круглым сиротою на руках моего дедушки. Он с такой нежной заботливостью пекся о моем воспитании, так нянчился со мною, что его не грешно было назвать не только вторым отцом моим, но даже моей второй матерью. Когда я подрос, он отвез меня в Петербург и записал в один из гвардейских полков юнкером. Сдав меня с рук на руки полковому командиру, который был некогда его сослуживцем, Лаврентий Алексеевич отправился назад в свою пензенскую отчину. Меня произвели в офицеры за несколько дней до выступления гвардии в поход против всей Западной Европы, которая в 1812 году, как необъятная громовая туча, налегла на святую Русь. Мне очень хотелось показаться дедушке во всей красоте моего обер-офицерского звания; но это желание не могло исполниться прежде окончания войны. Вот, наконец, увенчанные лаврами храбрые гвардейские полки возвратились в Петербург, я взял отпуск и поскакал на перекладных в Тужиловку — так называлось село, в котором жил мой дедушка. Это было в глубокую осень, в самую ужасную слякоть и распутицу. И зимою деревенский быт не много имеет приятностей; но в дурную и дождливую осень эта единообразная жизнь превращается в какое-то тюремное заключение, которое становится под конец совершенно несносным. Прогуливаться по колено в грязи вовсе не весело, прокатиться под дождем также большой забавы нет. А эти туманные небеса, этот ленивый осенний дождь, который не идет, а капает с утра до вечера, эти ранние вечера, бесконечные темные ночи — все это наведет на вас такую тоску, что вы поневоле станете завидовать суркам, которые спят по нескольку месяцев сряду. Конечно, для псовых охотников и эта

глухая пора имеет свою прелесть. Сначала они охотятся *в узерку,* а там, при первом снеге, тешутся по пороше, и время проходит для них, если не всегда приятным, то, по крайней мере, совершенно незаметным образом. Мой дедушка держал псовую охоту; но по своим летам и хворости не мог уже выезжать в поле иначе, как в хорошую погоду. К счастию, у него было много добрых соседей, которые посещали его ежедневно и даже гостили по нескольку дней сряду.

Мой приезд очень обрадовал дедушку; он несколько раз принимался обнимать меня, называл своим красавцем, молодцом, и когда налюбовался мною досыта, то представил меня своим гостям, из которых многие знали меня еще ребенком.

— Вот, господа,— сказал Лаврентий Алексеевич,— нашего полку прибыло. Мы, Володя,— продолжал он, обращаясь ко мне,— рассказываем по вечерам друг другу сказки, то есть не Бову Королевича, а вот, знаешь, этак разные истории, всякие были; ну, конечно, иногда и небылицы. Да ведь делать-то нечего,— осенние вечера долговаты, и коли станешь все на одной правде выезжать, так далеко не уедешь. Вот сегодня вечером, как ты поотдохнешь, мы посмотрим и твоей удали.

Я отвечал дедушке, что я весьма плохой рассказчик и едва ли буду в состоянии отправить мою очередь.

— Да кто тебе говорит об очереди? — прервал Лаврентий Алексеевич.— Мы все после чаю, вплоть до самого ужина, сидим вместе, беседуем, болтаем кой о чем... придет что-нибудь к слову, милости просим — рассказывай! Не придет — так молчи и слушай других. У нас неволи нет.

Прежде чем я начну пересказывать вам, любезные читатели, о том, что слышал на этих вечерних беседах, мне должно вас познакомить с обществом, которое я нашел в доме моего дедушки. У него на этот раз гостили следующие соседи: Игнатий Федорович Кучумов, Сергей Михайлович Онегин со своей женой, Максим Степанович Засекин, Александр Дмитриевич Кудринский, Богдан Фомич Бирман и княжна Пелагея Степановна Задольская. Я начну по порядку.

Отставной секунд-майор Игнатий Федорович Кучумов, старинный приятель и сослуживец моего дедушки, был самым близким его соседом; он очень походил на Лаврентия Алексеевича своим образованием, простодушием и веселым нравом. Игнатий Федорович был некогда женат на окрещенной турчанке, которую ему удалось спасти от смерти при взятии Измаила. Прожив с нею лет десять, он овдовел и остался совершенным сиротою. Детей у него не было, близких родных также, а был какой-то внучатый племянник, который жил в Москве; он навещал только изредка своего дядю — и, вероят-

но, как единственный его наследник, возвращался всегда в Москву с душой, исполненной прискорбия: Кучумов был человек приземистый, плотный, краснощекий и, несмотря на свои седые волосы, такой здоровый старик, что, глядя на него, всякий наследник пришел бы в отчаяние. Такие люди, как он, живут обыкновенно за сто лет, а ему было только с небольшим семьдесят.

Сергей Михайлович Онегин был из числа новых соседей моего дедушки. Он не более пяти лет как переселился из Москвы в свою Засурскую деревню — и, говорят, будто бы у него были на это весьма уважительные причины. Онегину досталось после отца очень хорошее дворянское состояние; но, к несчастию, ему вздумалось побывать за границею, а потом прожить несколько лет в Москве истинно по-барски. Три зимы сряду он давал роскошные пиры, дивные балы и чудесные маскерады; одним словом, веселил всю Москву, которая, как водится, и спасибо ему за это не сказала. Вот, наконец, пришла четвертая зима, но она уж не застала Онегина в Москве. Несмотря на свое необдуманное мотовство и неуместную тороватость, эту довольно общую слабость всех русских дворян, Сергей Михайлович был человек вовсе не глупый, наружность он имел весьма приятную, и хотя ему было, конечно, лет за сорок, однако ж, он вовсе не казался пожилым. Супруга его, Наталья Кирилловна, была также очень приятная женщина: стройная, прекрасная собою и, разумеется, большая щеголиха; в этом отношении она была для всех молодых барынь нашего Городищенского уезда настоящей модной картинкою. Мы все любили Онегиных за их ласковый и приветливый обычай; конечно, и они имели свои слабости: муж при всяком удобном случае и даже иногда вовсе некстати рассказывал о своих московских балах; а жена очень часто говорила о том, что они прожили шесть месяцев в Париже. Впрочем, это простодушное хвастовство Сергея Михайловича не обижало никого, а маленькое чванство Натальи Кирилловны казалось даже всем очень естественным. Разумеется, теперь, когда путешествие за границу сделалось совершенною пошлостью, никто не станет этим хвастаться; но лет тридцать тому назад как-то нельзя было взглянуть без особенного уважения на человека, который побывал в Париже. Да если сказать правду, так я сам, в старину, не упускал случая намекнуть, что для меня Париж не диковинка, что я часто посещал большую оперу, ходил каждый день в cafe de mille colonnes и знаю Пале-рояль как свои пять пальцев.

Максим Степанович Засекин чаще всех посещал дедушку, и хотя деревня, в которой он жил, была только в десяти вер-

стах от нашего села, однако ж, он нередко гостил недели по две сряду у Лаврентия Алексеевича. Засекин был человек пожилой, дородный, неуклюжий, с полным, широким лицом, на котором изображалось всегдашнее спокойствие, беспечность и даже лень; но когда он начинал говорить о чем-нибудь с одушевлением, то это полусонное лицо становилось очень выразительным. Увидя в первый раз Максима Степановича, вы, верно, бы подумали, что он человек угрюмый; а он был превеселого характера, только эта веселость выражалась совершенно особенным образом: он почти всегда с преважным видом рассказывал пресмешные вещи и очень часто рассуждал шутя о вещах вовсе не шуточных. Засекин служил два трехлетия нашим уездным предводителем; его любили все дворяне, как отлично доброго и честного человека; но весьма немногие из них догадывались, что под этой тяжелой и неуклюжей оболочкою простодушного *добряка* скрывался ум истинно светлый и вовсе не дюжинный. Может быть, в наше время ясный и положительный ум Максима Степановича показался бы мелочным и неспособным ни к чему высокому и прекрасному; но лет тридцать тому назад мы были еще до того отсталыми, что уважали этот пошлый здравый смысл. Теперь мы не то—теперь нам давай поэзию. Мы ищем ее везде: в остроге, в кабаках, во всякой грязной луже; а так как этот грубый здравый смысл не усыпает никогда зловонной грязи цветами и называет все по имени и стоит на том, что отвратительное не может быть прекрасным, так мы его, голубчика, и знать не хотим.

Александр Дмитриевич Кудринский принадлежал также к числу новых соседей моего дедушки. Он служил несколько времени по ученой части и, чтоб получить диплом на звание доктора философии, ездил в Германию. Александр Дмитриевич был один из самых усердных слушателей известного профессора Окена, весьма прилежно изучал немецкую философию и, по особенной милости божией, возвратился в Россию не вовсе полоумным. В Германии он женился на дочери какого-то профессора всеобщей европейской статистики, науке также чрезвычайно любопытной, но уж, конечно, вовсе не положительной. Кудринский, прощаясь со своим тестем, обещал ему доставить самые подробные статистические сведения о России вообще и о Пензенской губернии в особенности. И надобно отдать справедливость Александру Дмитриевичу: он несколько лет очень усердно занимался этим делом. Его статистические таблицы Городищенского уезда были уже совершенно окончены; но по случаю всеобщего ополчения, скотских падежей и пожаров, которые истребили две фабрики

и несколько винных заводов, эти таблицы сделались до того неверными, что он, как человек добросовестный, решился оставить их без всякого употребления, тем более, что, по последним известиям, его тесть отдал в приданое за второй дочерью свою кафедру всеобщей европейской статистики, а сам начал преподавать теорию эстетики, основанной на одних началах чистой психологии.

Я уж имел честь вам докладывать, что Кудринский, изучая немецкую философию, не вполне утратил свой русский толк, то есть не превратился в какого-нибудь глубокомысленного *Гелертера*, в устах которого самая простая и доступная истина, бывшая до того «светлее дня», становится непременно «темнее ночи»; но я должен вам сказать, что Александр Дмитриевич вывез кой-что из этой романтической и сантиментальной Германии. Он любил мечтать, страдал иногда припадками необычайной чувствительности, часто говорил о мире невещественном и вообще весьма охотно облекал в пиитические образы и людей и предметы, вовсе не достойные этой чести. В его глазах *энергический* разбойник никогда не был отвратительным душегубцем. Конечно, он не во всяком уличном воришке видел драматического Обелино или благородного Карла Моро, однако же говорил с чувством сострадания об этих несчастных жертвах сильных страстей. Чтоб познакомить вас вполне с Александром Дмитриевичем Кудринским, я скажу вам несколько слов о его наружности. Он был роста среднего, худощав, бледен, примаргивал немного левым глазом и имел привычку поправлять беспрестанно свой огромный галстух, который спереди закрывал у него весь подбородок, а с боков подымался до самых ушей.

Богдан Фомич Бирман был некогда штатным медиком нашего Городищенского уезда. Дослужась до чина надворного советника, он вышел в отставку, купил себе маленькую деревеньку в двадцати верстах от нашей Тужиловки и зажил помещиком. Богдан Фомич был родом из немецкого города Швейнфурта; он выехал оттуда с лекарским дипломом, прожил у нас в губернии без малого сорок лет, совсем обрусел, стал называться, вместо Готлиба, Богданом, и выучился говорить по-русски так правильно и хорошо, что его почти грешно было называть немцем. Не знаю, потому ли, что Богдан Фомич не мог с первого раза примениться к русской натуре, или по другой какой причине, но только сначала он был как-то несчастлив на руку; потом стал лечить удачнее, понаторел, и, наконец, сделался весьма искусным практиком. Старик Бирман был человек очень добрый, и если иногда лечил неудачно, так, по крайней мере, всегда самым добросовестным и беско-

рыстным образом; бедных людей он пользовал даром, а богатых лечил тогда только, когда находил это совершенно необходимым. Богдан Фомич был небольшого росту, лысый старичок лет шестидесяти пяти, довольно толстый, с коротенькими ножками, длинным носом и вечно улыбающимся лицом, которое я назову просто красным, потому что не могу употребить грамматической превосходной степени и назвать его прекрасным, не введя в заблуждение моих читателей. Богдан Фомич любил выпить рюмочки две-три доброго рейнвейна, не чуждался также хорошей русской настойки, и хотя называл диету лучшим лекарством от всех болезней, однако ж, сам кушал весьма исправно. Он был очень разговорчив, часто вспоминал о своей родине и в особенности любил рассказывать о гражданских подвигах своего дяди, почетного бюргера и члена магистрата, Генриха Блюдвурста, которого, по словам Богдана Фомича, все жители благополучного города Швейнфурта называли премудрым Соломоном.

Княжна Пелагея Степановна Задольская славилась некогда своею красотою; приданого было за нею около тысячи душ; все родство состояло из людей чиновных, знатных и богатых. Как бы, кажется, после этого не найти себе мужа? — Найти! Да я думаю, что, при всех вышесказанных обстоятельствах, ей вовсе не нужно было искать себе жениха, они от нее не прятались, и она смело могла бросить платок первому молодцу, который пришел бы ей по сердцу, тем более,

Что женихи, как на отбор,
Презнатные катили к ней на двор.

Вы, верно, знаете разборчивую невесту Крылова, так мне нечего вам рассказывать, по какому случаю эта знатная и богатая красавица не вышла ни за кого замуж. У Крылова разборчивая невеста кончила тем, что обвенчалась с каким-то уродом; но наша княжна, которая также распугала всех своих женихов, не решилась, однако ж, выйти замуж за одного кривого и лысого камергера, который посватался за нее, когда ей стукнуло ровно сорок лет. Княжна Пелагея Степановна принадлежала ко Двору императрицы Екатерины Второй и до самой ее кончины жила в Петербурге. Сначала она переехала было на житье в Москву; но эта древняя столица, со своим простодушным русским гостеприимством и старыми обычаями, могла ли понравиться женщине, которая в последнее время жила постоянно в кругу французских эмигрантов, лично была знакома с Дидеротом и привыкла к самой утонченной европейской роскоши. В наше время княжна Пелагея Степа-

новна не стала бы долго думать — сейчас в Петербург, на пироскап и поминай как звали! Но тогда поездка в чужие края называлась путешествием, а не прогулкою; да и что бы стала делать наша княжна за границею? В Италию еще никто не ездил, в Германии она умерла бы со скуки, а во Францию вовсе не было езды: там бушевала первая революция, и вместо пленительных дюшесс, очаровательных дюков и милых маркизов, которые все разлетелись по Европе, как пестрые бабочки, княжна Пелагея Степановна нашла бы в Париже одних диких зверей в человеческом образе — неистовых трибунов черни и этих буйных, отвратительных рыбных торговок, которых, бог знает почему, называют женщинами. Княжна Задольская приехала в Москву к концу лета, то есть в самую глухую пору. Она промаялась в совершенном одиночестве всю осень; вот наступила зима, московские бояре прибыли из своих деревень, и первый бал, на который была приглашена наша княжна, сделал ее навсегда соседкою моего дедушки. На этом бале она увидела в первый раз всю московскую знать; сам хозяин и все мужчины были в мундирах, дамы разряжены в пух, и тут же вместе с ними толкались дураки в оборванных французских кафтанах и шутихи в запачканных робронтах; в комнатах стояла позолоченная мебель и в то же время во всех люстрах горели сальные свечи. Княжна ахнула от ужаса! Но это было еще начало сюрпризов. В бальной зале, довольно тесной, принялись танцевать; хозяин, поглядев несколько времени на танцы, велел себе подать небольшие клавикорды и заиграл на них:

Заря утрення взошла,
Ко мне Машенька пришла.

Княжне сделалось дурно. В одиннадцатом часу подали ужин; после ужина принялись опять танцевать. В половине двенадцатого хозяин взял у одного из музыкантов валторну и затрубил таким нелепым образом, что княжна чуть не умерла от испуга; впрочем, эта повестка убираться восвояси испугала только нашу петербургскую барышню. Все гости преспокойно раскланялись с хозяином и отправились по домам. Возвратясь с балу, княжна Пелагея Степановна надела свой пудремант и стала рассуждать следующим образом, по крайней мере, она сама так рассказывала. «Да с чего я взяла, что живу в столице? Да эта столица хуже всякой мордовской деревни! Нет, завтра же вон из этой фатальной Москвы! Уеду в мое Краснополье; там, по крайней мере, я не обязана буду сидеть с сальными свечами, и уж верно никакой сосед не осмелится

выгнать меня таким брютальным образом из своего дома»... Сказано и сделано. На другой же день княжна Задольская села в дорожную карету и отправилась в Пензенскую губернию. Не знаю, полюбилась ли Пелагее Степановне эта единообразная, но тихая и спокойная деревенская жизнь, или по каким-нибудь другим причинам, только она жила уже осемнадцатый год безвыездно в своем Краснополье—прекрасном и богатом селе, верстах в тридцати от нашей Тужиловки. Княжна Пелагея Степановна очень любила Лаврентия Алексеевича, который был с нею знаком тогда еще, когда она кружила всем головы; я не поручусь даже, что в числе этих пострадавших голов не досталось слегка и голове моего дедушки, по крайней мере, Лаврентий Алексеевич был всегда необычайно любезен со своей сиятельной соседкой. Я не смею сказать утвердительно, что дедушка за нею волочился, а ухаживать очень ухаживал, и когда принимался нам рассказывать о ее дивной красоте, то приходил в такой восторг, что глаза у него блистали, как у молодого человека. Хотя княжна Задольская решилась под конец сделать некоторые изменения в своем туалете, то есть перестала наклеивать себе на лицо бархатные и тафтяные мушки, вместо фижм стала употреблять маленькие *бочки*, однако ж, носила еще длинный шиньон, пудрила свои седые волосы и каждый день... ну, право, совестно сказать, а делать нечего,—«шила в мешке не утаишь»,—говорит русская пословица,—Пелагея Степановна, несмотря на то, что ей было лет семьдесят, каждый день румянилась. Она любила также иногда пожеманиться и, чтоб казаться интересною, ужасно коверкала русский язык. Хвалила *тражедии* господина Вольтера или рассказывала, что ее укусила муха, которая мед делает. Конечно, это было довольно смешно; но кто бы не простил доброй княжне этих маленьких странностей: она была такая милая, гостеприимная старушка, так умела обходиться с людьми и обласкать всякого человека, что все дворяне Городищенского уезда, начиная от самых богатых, до самых мелкопоместных, были от нее совершенно без ума.

Теперь, когда я познакомил вас, любезные читатели, с моим дедушкою и со всем его обществом, мне следовало бы описать вам самого себя; но как же это сделать? Во мне много слабостей, недостатков, быть может, много и смешного—лгать я не хочу, а на самого себя подымать руки мне и подавно не хочется. Нет, уж лучше помолчать об этом! Впрочем, любезные читатели, вы можете думать, что я очень умный, чрезвычайно образованный, прекрасный собою и даже предобродетельный молодой человек—и за это на вас гневаться не стану.

Вечер первый

Мы все сидели вокруг стола, посреди которого кипел гостеприимный русский самовар. Наталья Кирилловна Онегина разливала чай, а муж разговаривал о чем-то вполголоса с Максимом Степановичем Засекиным; Александр Дмитриевич Кудринский казался погруженным в глубокие размышления, Игнатий Федорович Кучумов допивал свою огромную чайную чашку, княжна Задольская кушала чай из своей миниатюрной саксонской чашечки; я, как человек походный, пил чай из стакана, а Богдан Фомич Бирман и дедушка курили трубки. Я должен вам сказать мимоходом, что они не всегда пользовались этим правом; сначала княжна Пелагея Степановна не могла выносить табачного запаха; но, видно, под конец обоняние ее несколько притупилось, и она разрешила Лаврентию Алексеевичу и Бирману курить при ней табак, но только непременно с серальскими благовонными лепешечками, которых запах был для нее не противен.

Пересказывая чей-нибудь разговор, а особливо если в нем участвует целое общество, мы поневоле должны очень часто называть по именам разговаривающих и, сверх того, повторять беспрестанно: такой-то сказал, такая-то отвечала, он возразил, она подхватила; чтоб избежать этих вовсе не нужных повторений, я решился, за исключением отдельных рассказов, облечь в драматическую форму все остальные разговоры нашего общества.

Лаврентий Алексеевич (вытряхивая свою трубку). У, батюшки!.. Слышишь, Игнатий Федорович?

Кучумов. Да, это уж не осенний дробный дождичек,— так и льет, как из ведра.

Лаврентий Алексеевич. Ну, завтра, чай, и проезду не будет!.. Эх, подумаешь: то ли дело наш батюшка русский мороз!

Онегина. Ах, Лаврентий Алексеевич, да что хорошего в нашем морозе?

Лаврентий Алексеевич. Нет, матушка,— хорошо!

Онегина. Вы это говорите потому, что никогда не бывали за границею.

Кучумов. Как не бывать! Мы с Лаврентием Алексеевичем и в Польше были, и под шведа ходили...

Онегина. Да что такое Польша и Швеция? Вот если б вы знали, какой климат в Париже...

Я. Извините, Наталья Кирилловна, я сам был в Париже: там почти всю зиму точно такая же погода, как у нас теперь; так, воля ваша, и по-моему мороз гораздо лучше.

Онегин. А я, признаюсь, люблю подчас дурную погоду: она возбуждает во мне, разумеется, при некоторых условиях, всегда приятное чувство; да вот хоть теперь: на дворе света божьего не видно, холод, непогодица, слякоть, а я и знать этого не хочу, сижу себе в теплой комнате, в приятном обществе, мне и светло и спокойно...

Кудринский. Фуй, какое эгоистическое чувство! И вы можете им наслаждаться?

Онегин. Да почему же нет?

Кудринский. Вам спокойно и тепло, так вы ничего и знать не хотите; а каково тем, которые теперь на открытом воздухе?

Онегин. Ну, разумеется, хуже моего; да разве я в этом виноват?

Кудринский (с горькой улыбкою). О, конечно, нет! Вы даже и в том не виноваты, что живете в чистом и опрятном доме, а ваши крестьяне в грязных лачужках.

Засекин. Да, кажется, Александр Дмитриевич, и ваши мужички-то живут не в хоромах?

Кудринский. Ах, не говорите! Как подумаю об этом, так у меня сердце вот так и разрывается!

Засекин. То есть вам совестно? Верю, батюшка, верю! — Эх, Александр Дмитриевич! вот то-то и есть, зачем вы построили себе такие барские хоромы?

Кудринский. Как зачем?

Засекин. Разумеется! Уж если вам не под силу выстроить для каждого крестьянина хорошенький домик, так вам бы, сударь, и самим жить в такой же курной избе, в каких живут ваши мужички. А то, помилуйте, вы живете по-дворянски, они по-крестьянски — ну, на что это походит?

Лаврентий Алексеевич. Да что вы, господа, о курных-то избах говорите; потолкуйте-ка об этом с мужичками! Вот я хотел было завести у себя на селе побольше белых изб с трубами, так мои крестьяне так и завопили! В белых, дескать, избах и угару не оберешься, и тепло не держится, и то и се...

Кудринский. Да отчего они это говорят?

Лаврентий Алексеевич. Это уж, батюшка, другое дело. У нас речь идет о том, что коли наши мужички сами любят жить в курных избах, так отчего ж вашему сердцу разрываться?

Кудринский. Да если русские крестьяне восстают против всякого улучшения, так не должны ли мы стараться...

Засекин. Чтоб наши мужички жили не хуже немцев? Конечно, как об этом не стараться. Да только, не прогневайтесь,

батюшка, и это также другая речь. Что будет впереди, про то знает Господь, а покамест наш крестьянин потягивает с наслаждением свою русскую брагу, так что ж нам плакать о том, что он не пьет английского портеру? Вот, примером сказать, если б человека образованного, который привык ко всем удобствам жизни, заставили насильно жить в какой-нибудь курной хате, так, конечно, о нем можно было бы пожалеть.

Онегин (вздыхая). Ах, да, это правда! Кто жил некогда с большой роскошью и умел пользоваться своим богатством, для того бедность ужаснее всего на свете.

Княжна Задольская. Конечно, конечно! Для этого нужна большая резиньяция. Ах, как подумаю, сколько я видела таких несчастных!

Лаврентий Алексеевич. Где, Пелагея Степановна?

Княжна Задольская. В Петербурге, во время французской эмиграции. Представьте себе, какой-нибудь шевалье, граф, маркиз, у которого в Париже была прекрасная отель, несколько наследственных замков, должен был, чтоб не умереть с голоду, идти в гувернеры, то есть учители! Впрочем, надобно сказать правду, эти благородные иностранцы не могли пожаловаться на Россию: их тотчас разбирали по рукам.

Засекин. Вот что! Так, видно, эти эмигранты были все люди ученые?

Княжна Задольская. Ну, этого сказать нельзя. Французские дворяне были вообще очень вежливы, милы, любезны; но что касается до учености, так я слышала, что сам знаменитый дюк де Ришелье, который переписывался с Вольтером, был человек вовсе не ученый и даже худо знал французскую орфографию.

Засекин. Так почему ж их так охотно брали в учители?

Княжна Задольская. Ах, Максим Степанович, да как же можно было поступать иначе? Во-первых, этого требовало гостеприимство, а меж тем иметь при своем сыне гувернером графа или маркиза... Помилуйте, да разве это безделица?

Засекин. Правда, правда, сударыня! Виноват, я об этом и не подумал.

Кучумов. А что, матушка княжна,— я чаю, между этими знатными выходцами попадались иногда претеплые ребята?

Княжна Задольская. Теплые?.. Я вас не разумею.

Кучумов. То есть этакие, знаете ли, продувные мошенники, самозванцы; ведь тогда в Париже времена-то были смутные! Теперь попытайся какой-нибудь француз назваться графом, так ему всякий исправник скажет: «Пожалуйте-ка, ваше сиятельство, паспорт, да нет ли у вас и других законных документов?» А тогда дело другое: «Ушел, дескать, из тюрьмы в

чем мать родила! До паспорта ли, когда мне хотели голову отляпать?.. Унеси только, господи!»

Княжна Задольская. Вы, Игнатий Федорович, напомнили мне престранный случай.

Лаврентий Алексеевич. А что такое, Пелагея Степановна?

Княжна Задольская. Так, одно приключение, в котором я играла не очень авантажную роль. В то время я об этом прималчивала, а теперь уж прошло без малого тридцать лет, так сказать можно.

Лаврентий Алексеевич. Сделайте милость!

Княжна Задольская вынула из кармана свою круглую золотую табакерочку с эмалью, понюхала табаку и начала следующим образом.

Эмигрант

— Я вам сейчас говорила, что положение французских эмигрантов было истинно ужасно: из них многие не имели ни пристанища, ни куска хлеба; но были, однако ж, и такие, которые могли назваться богатыми: одни привезли с собою значительные капиталы; другие, разумеется, люди знатные и чиновные, вступили в русскую службу и; по милости императрицы, жили сообразно своему званию. Дюк де Монсо, один из этих знатных эмигрантов, был очень коротко знаком со мною. Ему было шестьдесят два года, но вы никак бы не дали ему этих лет, и надобно сказать правду: я мало встречала таких очаровательных людей, как этот милый дюк. Что за тон, какая манера!.. Ну, точно как теперь смотрю: шитый французский кафтан, стальная шпага, парик а-лель-де пижон, распудренный о фрима, бриллиантовые перстни на пальцах, золотые брелоки у часов и пуан-далансоновые манжеты! А что за ловкость! ...Бывало, закинет ногу на ногу, развалится в креслах, почти лежит! Сделай это другой, так будет невежливо и даже неблагопристойно, а к нему все шло. Начнет ли он играть своей золотой табакеркой или обсыпет табаком жабо и отряхнет пальцами манжеты... Ведь, кажется, ничего, что за важность такая? А посмотрели бы вы, как он это делал! В каждом его движении были такие грасы, такая прелесть!.. О, конечно, в этом отношении прежние французы были неподражаемы!.. Зато уж нынешние — надо отдать им справедливость — хороши голубчики!.. Я бы именным указом запретила им говорить по-французски!.. Какие они французы, бонапартисты проклятые!.. Мужики, грубияны!.. Ну, да что об них!

Однажды поутру заехала ко мне приятельница моя, графиня Прилуцкая, и говорит мне: «Ах, ma chère[1], какая жалость! У меня был вчера эмигрант, шевалье д'Естеньвиль, что за прекрасный молодой человек!.. И какой интересный! Представь себе, mon ange[2]: в Париже его везли уж на эшафот; вдруг сделалось на улице какое-то возмущение, народ стал драться с войском; шевалье воспользовался этой минутою, выскочил из экипажа, в котором его везли, и спрятался в лавочке у одного хлебника. К счастию, этот хлебник был тот самый, у которого он покупал всегда крендели и булки; этот добрый человек из благодарности продержал его несколько дней в своем доме, а после помог выехать из Парижа. Пока он пробирался до границы, с ним было множество всяких приключений, и как он об этом рассказывает, ma chère! Теперь он здесь, разумеется, без куска хлеба и хочет войти куда-нибудь в дом учителем... Подумаешь: шевалье д'Естеньвиль, потомок знаменитой фамилии, человек богатый!.. Да, мой друг, у него недавно был великолепный замок в Лангедоке и огромное поместье в Провансе, которое давало ему на одном провансском масле слишком сто тысяч франков доходу! И вот теперь он ищет места гувернера и готов ехать из куска хлеба в Кострому, в Саратов, в Вятку—куда хочешь!» «Вот кстати,—сказала я,—мне пишет из Костормы моя кузина, что ей очень нужен французский учитель; так ты попроси своего шевалье д'Естеньвиль, чтоб он завернул ко мне сегодня вечером; мы с ним об этом поговорим».

Надобно вам сказать, что я тогда жила еще во дворце, следовательно, занимала не очень обширную квартиру и обыкновенно принимала гостей в небольшой диванной, за которой была моя спальня. Часов в восемь после обеда, когда я была совершенно одна, доложили мне, что какой-то француз желает меня видеть. Натурально, я догадалась, что это должен быть шевалье д'Естеньвиль, и велела просить его к себе в диванную. Гляжу, входит ко мне молодой человек лет тридцати, весьма приятной наружности: лицо бледное, худое, черные глаза такие быстрые и собой довольно видный мужчина; кафтанчик на нем весьма поношенный, впрочем, хорошего покроя и бархатный; из камзольных карманов висят две золотые цепочки, а под мышкою совсем истертая шляпа, однако ж, с плюмажем. Я прошу его садиться—он кланяется; я повторяю мое приглашение—он продолжает кланяться и даже не очень ловко.

[1] Дорогая *(фр.)*
[2] Мой ангел *(фр.)*

— Я, кажется, имею честь говорить с шевалье д'Естеньвилем? — спросила я.

— Oui, madame! — отвечал француз. — Графиня Прилуцкая...

— Да, я просила ее пригласить вас ко мне. Да садитесь, сделайте милость!

Француз еще раз поклонился, окинув робким взглядом всю комнату, и сел на кончик табурета, на котором лежала моя болонка.

— Вам здесь неловко, — сказала я.

— О, напротив, мадам, очень ловко! — промолвил француз, продолжая сидеть на хвосте моей Амишки.

Я взяла ее на колени и, поверите ль, глядя на этого жалкого молодого человека, едва могла удержаться от слез. «Бедняжка!» — подумала я, — он так смущен, что чуть было второпях не раздавил моей Амишки; не знает, куда деваться с руками, смотрит таким странным образом... Боже мой!.. Ну, походит ли этот робкий, неразвязный мужчина на какого-нибудь ловкого французского шевалье?.. Вот как бедность и несчастье убивают человека».

— Мне говорила графиня Прилуцкая, — сказала я, не смея взглянуть на моего гостя, — что несчастные обстоятельства вынуждают вас искать места гувернера...

— Да, княжна, — отвечал француз, — я хочу посвятить себя образованию русских дворян.

— И решаетесь ехать для этого в провинцию?

— С большим удовольствием, и чем дальше, тем лучше.

— Я вас понимаю, — сказала я, взглянув с участием на бедного шевалье. — Если б мне пришлось быть гувернанткою во Франции, то и я также не захотела бы жить в Париже. Я вполне чувствую, как должна быть тяжела для вас эта ужасная деградация; но для чего же вы идете в учители? Почему вам не вступить в нашу службу? Вы еще молоды, происходите от знатного рода, теперь же в Петербурге много ваших компатриотов, некоторые из них довольно близки ко Двору... Почему знать, может быть, в числе их вы встретите ваших знакомых, приятелей, родных...

— Родных?.. О, нет, княжна, — они все погибли на эшафоте! Конечно, у меня были очень знатные родственники; вот, например, родной мой дядя, дюк де-Монсо...

— Что вы говорите? — вскричала я. — Как это счастливо! Ведь дюк де-Монсо здесь!

— Здесь? — повторил с ужасом шевалье. — Казимир Эдуард, дюк де-Монсо?

— Да, да! Казимир Эдуард, дюк де-Монсо,— сказала я, глядя с удивлением на моего гостя.— Чего ж вы испугались, шевалье? Это ваш дядя...

— И величайший мой враг, княжна! Он убьет меня при первой встрече.

— Убьет своего племянника!..— Что вы, шевалье!

— Непременно убьет!.. Честь французского дворянина — о, мадам, вы не знаете, как это важно.

— Да что ж вы такое сделали?

— Не спрашивайте меня! Но знаете, княжна, что если он кинется на меня с обнаженной шпагою, я не стану защищаться, я скажу ему: «вот грудь моя!»...

Тут шевалье размахнул так неосторожно руками, что зацепил за мой тамбурный столик и опрокинул его ко мне на колени; Амишка завизжала, спрыгнула на пол, а шевалье бросился поднимать столик, запутался в ковре и повалился мне прямо в ноги. Признаюсь, я немного испугалась.

— Что ж это значит? — сказала я, когда француз встал и уселся опять на своем табурете.— Да разве вы, шевалье, преступник?

— О, княжна,— отвечал мой гость,— если страстная, пламенная любовь преступление, то, конечно, вы видите перед собой преступника!

Эти слова поразили меня, он же сказал их с таким чувством... Боже мой, преступник от любви!.. Я так много читала об этих преступниках, никогда их не видала, и вот один из них стоит передо мною!.. Надобно сказать правду: я забыла все неловкости моего гостя, и он сделался для меня во сто раз интереснее... Да, да, господа, в эту минуту шевалье показался мне совершенно Сен-Пре!

— Так любовь причиною ваших несчастий? — сказала я, помолчав несколько времени.— Бедный молодой человек!.. Верно, та девица, которую любил ваш дядя, предпочла вас?..

— О,— прошептал француз,— если б она была девица!

— Как, шевалье, так вы были влюблены в замужнюю женщину?..

— О, мадам, если б она была только что замужняя женщина!

— Ах, боже мой, да в кого ж вы были влюблены?

— Вы хотите знать об этом — извольте, княжна!.. Красота и чувствительность всегда бывают неразлучны!.. Я не боюсь открыть вам эту ужасную тайну: я был страстно влюблен... в жену дюка де-Монсо!..

— В вашу родную тетку?

— Да, княжна!.. Теперь вы знаете все! Презирайте меня, выгоните меня из своего дома, но пожалейте обо мне.

Тут шевалье хотел броситься передо мной на колени; но, к счастию, я его удержала; он был в такой пассии, что непременно задавил бы Амишку, которая лежала у моих ног. «Ну,— подумала я.— конечно, это интересно, очень интересно, только уж слишком по-французски... Родной племянник!.. И что ему сделала моя Амишка? Он решительно хочет умертвить ее!»

Я взяла опять на колени мою собачку и сказала:

— Успокойтесь, шевалье: кто умеет так чувствовать свою вину, того презирать не можно. Но как же узнал об этом ваш дядюшка?

— Ему попалась в руку и моя записка.

«Ох эти записочки! — подумала я.— От них всегда беда!»

— Я долго не решался писать к дюшессе,— продолжал француз,— наконец, решился — послал письмо с моим камердинером Франсуа. Это письмо перехватили. Дюк вышел из себя, хотел со мною резаться, но тут подоспела революция и нас разлучили. Дюк де-Монсо эмигрировал, мне также удалось уйти из Парижа, и я, конечно, бы не приехал в Россию, если б знал, что могу здесь встретиться с моим дядею.

Шевалье договаривал еще эти слова, как вдруг дверь отворилась, вошел слуга и доложил мне, что приехал дюк де-Монсо. Мой гость побледнел как полотно.

— Я погиб! — вскричал он.

В гостиной послышались шаги.

— Спасите меня! — шептал француз, бегая по комнате, как сумасшедший.— Спрячьте меня куда-нибудь!

И прежде, чем я успела на что-нибудь решиться, он кинулся ко мне в спальню и прихлопнул за собою дверь. Признаюсь, мое положение было довольно критическое. Конечно, я была уж не в первой молодости, однако ж, не дожила еще до тех лет, перед которыми молчит злословие. Боже мой, какие бывают странные обстоятельства в жизни!.. Что бы стали обо мне говорить, если б узнали, что я прятала к себе в спальню молодого человека, а меж тем я не могла себя ни в чем упрекнуть! Дюк де-Монсо вошел ко мне, по обыкновению, с улыбающимся лицом, но, кажется, мое показалось ему вовсе не веселым.

— Что вы, княжна? — спросил он, опускаясь в кресла.— Здоровы ли вы?..

— Да, мне что-то нездоровится,— прошептала я, поглядывая невольно на двери моей спальни.

— Что с вами? вы так бледны...

— Да, дюк, мне что-то не по себе.

— А вот теперь вдруг покраснели... Да у вас лихорадка... точно, лихорадка.

Лихорадки у меня не было, но я чувствовала, что вся горю, как на огне. Да и было от чего: эта скверная треугольная шляпа с плюмажем лежала на полу: вероятно, шевалье обронил ее второпях. «Ну,— подумала я,— теперь надобно на все решиться. Мосье де-Монсо непременно увидит эту шляпу и, разумеется, не скажет ни слова; но что он будет обо мне думать!» Меж тем дюк окинул взглядом всю комнату, и вдруг взор его остановился — вы отгадываете на чем?

— О! да вы в самом деле нездоровы! — проговорил он, вставая.— Прощайте, княжна! Я не хочу вас беспокоить, тем более что болезнь ваша очевидна: она в глаза бросается...

— Останьтесь, мосье де-Монсо,— сказала я твердым голосом.— Мне нужно поговорить с вами.

— Если вам это угодно,— шепнул дюк, опускаясь снова в кресла,— но я, право, думаю, что вам лучше остаться одной.

— Позвольте вас спросить,— сказала я, стараясь смотреть ему прямо в глаза,— вы не оставили во Франции никого из ваших родных?

— Живых никого,— отвечал грустным голосом дюк.— Я выехал из Франции с моей женою, но имел несчастие потерять и ее: она умерла в Берлине.

— Как же я слышала, что у вас есть родной племянник?

— Извините, княжна, у меня нет племянника.

— А шевалье д' Естеньвиль?

— Шевалье д'Естеньвиль? — повторил дюк. Он замолчал, понюхал табаку и, отряхая свои манжеты, сказал очень сухо: — Да, у меня был племянник, шевалье д'Естеньвиль, но он умер на гильотине.

— Правда ли также,— спросила я,— что вы ненавидите этого племянника?

— Кто это мог вам сказать,— прервал дюк, посмотрев на меня с удивлением.

— Мосье де-Монсо,— продолжала я,— вы называетесь моим другом, так позвольте же говорить с вами по-дружески. Как бы ни был виноват перед вами шевалье д'Естеньвиль, но он ваш племянник. И то ли теперь время, чтоб вам питать ненависть к родным? Неужели вы не протянули бы ему руки, даже и тогда, если б встретили его на чужой стороне, брошенного на произвол судьбы, в бедности, нищете, без всякого покровительства?.. Конечно, поступок вашего племянника неизвинителен; но вспомните, дюк, что и вы также были молоды, что и в вашей жизни были также эти безумные годы, когда рассудок молчит, а говорят одни страсти... Позвольте, позволь-

те! — продолжала я, заметив, что дюк собирается меня прервать. — Я знаю, что вы хотите сказать: он мог влюбиться в дюшессу, но должен был скрывать эту страсть.

— Что вы это говорите? — вскричал дюк. — Я вас не понимаю, княжна!

— О, вы очень меня понимаете! — сказала я. — Конечно, вы должны находить странным, что я стала с вами говорить о таком деликатном предмете; но когда дело идет о том, чтоб примирить вас с преступным, но истинно несчастным племянником...

— С каким преступным племянником? — прервал дюк. — Позвольте вам сказать, княжна, это уж начинает походить на какую-то мистификацию. Да с чего вы взяли, что шевалье д'Естеньвиль, этот честный и рассудительный малый, был влюблен в свою родную тетку?

— К чему эта скрытность, мосье де-Монсо? — возразила я. — Вы видите, я знаю все. Будьте же великодушны — сжальтесь над вашим племянником, простите его!

— Помилуйте, княжна! — сказал дюк. — Да что мне ему простить, и на что ему мое прощенье, если бы он и в самом деле был виноват передо мною? Я уж имел честь вам докладывать, что моему племяннику отрубили в Париже голову.

— А если вы ошибаетесь?

— Нет, княжна, я не могу в этом сомневаться: я был свидетелем его казни.

— То есть вы видели, как его везли на эшафот?

— И видел и слышал, как эта подлая чернь ругалась над бедным шевалье д'Естеньвилем; называла его чудовищем, уродом... Конечно, мой покойный племянник был необычайно дурен собою...

— Что вы говорите! — сказала я с ужасом.

— Да, княжна, природа была для него совершенной мачехой: он был горбат, крив, небольшого роста...

— Боже мой! — вскричала я невольно. — Так кто же теперь сидит в моей спальне?

— Извините, княжна, — промолвил, улыбаясь, дюк, — на этот вопрос я отвечать вам не могу; вы это должны знать лучше моего.

— Да этот человек называет себя шевалье д'Естеньвилем и говорит, что он ваш племянник; он вовсе не крив, не горбат и даже весьма приятной наружности...

— В самом деле?.. Так, видно, он похорошел после смерти... Это очень любопытно... позвольте, княжна!

Дюк встал, подошел к дверям моей спальни и сказал громким голосом:

— Милостивый государь, не угодно ли вам пожаловать сюда, к нам.

Ответа не было.

— Господин шевалье д'Естеньвиль,— продолжал дюк,— если вы не хотите сделать нам эту честь, так мы должны будем позвать людей... Да полноте манериться, любезный племянник,— выходите! — продолжал дюк,— отворяя обе половинки дверей.— Прошу сюда поближе к свету! — промолвил он, схватя за руку и таща за собой моего гостя.

Признаюсь, мне стало жалко, когда я взглянула на этого бедного француза; во всю жизнь мою я не видывала такого испуганного и несчастного лица.

— Что я вижу! — вскричал дюк.— Франсуа!.. Это ты, бездельник?

Вместо того, чтобы отвечать на этот ласковый вопрос, француз освободил свою руку, кинулся опрометью вон из комнаты и выбежал из лакейской так проворно, что мои люди не успели оглянуться.

— Да кто ж этот господин? — спросила я.

— Слуга или,— если вам угодно,— камердинер моего покойного племянника,— отвечал спокойно дюк, открывая свою табакерку.

У меня руки так и опустились. Камердинер, слуга!.. И я позволила себя обмануть таким грубым образом!.. Приняла лакея за знатного барина!.. Боже мой, что подумает обо мне дюк?.. Вероятно, он заметил мое смущение и, как человек отлично вежливый и умный, сказал мне:

— Я не удивляюсь, княжна, что этот негодяй вас обманул: он очень неглупый малый и получил даже некоторое образование... Но по какому случаю вы сделались его покровительницею?

Я рассказала все дюку; он обещал мне не говорить об этом никому; разумеется, я также молчала, и вот только теперь, спустя тридцать лет, решилась рассказать вам эту странную историю. Я не знаю, куда девался мосье Франсуа; но уж, верно, он успел пристроиться к хорошему месту, потому что, сколько я помню, у этого негодяя выговор был самый чистый парижский.

Лаврентий Алексеевич (набивая свою трубку). Ай да молодец мусью! Вот они каковы французы-то! Совести ни на денежку, да зато и в карман за словом не полезут.

Кучумов. Что и говорить — лихой народ! На иного взглянуть не на что, а как примется врать, так только слушай!

Онегина. О, конечно! Мне иногда случалось в Париже разговориться с каким-нибудь портье или оборванным разнос-

чиком — удивительно!.. Такие начнет отпускать фразы, что поневоле скажешь ему: «мосье».

Онегин. Да, это правда. Когда я жил в Москве, так у меня очень часто бывали на балах французские вояжеры, графы, бароны, маркизы, а может статься, и такие же шевалье д'Естеньвили — кто их знает! У нас дело другое. Вот, например, ваш Пахом, Лаврентий Алексеевич, или мой Терентий, да оденься они хоть по модной картинке, кто их за господ примет?

Кучумов. Это оттого, Сергей Михайлович, что во Франции народ уж такой. Там, говорят, все под одну масть. Ведь свет-то велик, батюшка! В одном месте так, в другом этак. Поговорили бы вы с моим соседом, Иваном Евстафьевичем Курильским; вы знаете, служил он во флоте и ездил по разным морям. Послушаешь его, — господи боже мой, чего-то нет на белом свете, каких обычаев, поверьев! И все это он видел своими глазами.

Онегин. Ну хоть и не все, Игнатий Федорович! Я этому Курильскому плохо верю. Удалось ему как-то обойти кругом света, так он уж и думает, что может лгать, сколько душе его угодно.

Лаврентий Алексеевич. Да, у него за красным словцом дело не станет.

Засекин. А бог знает, может быть иногда и правду говорит! Мало ли что нам кажется невероятным потому только, что мы об этом никогда не слыхали. Конечно, он иногда рассказывает такие диковинные вещи, что поневоле вспомнишь книжку: «Не любо не слушай, а лгать не мешай». Да вот, на прошлой неделе он был у меня и рассказывал, между прочим, об одном странном обычае, который свято соблюдают на острове Борнео.

Кучумов. А что это за остров, батюшка?

Засекин. Самый большой изо всех островов Китайского моря. Представьте себе: если на этом острове какой-нибудь небогатый человек живет честно и трудится в поте лица своего, то обыкновенно питается круглый год одним рисом, маньоном, бананами и разве только изредка может полакомиться мясцом. Но лишь только этот честный, работающий человек избалуется, сделается мошенником, вором, разбойником, то его тотчас схватят, запрут в тюрьму и начнут кормить каждый день мясом.

Онегин. Какой вздор!

Княжна Задольская. И надобно же иметь медный лоб, чтоб выдумывать такие вещи!

Лаврентий Алексеевич. Да, нечего сказать, пересолил!

Кудринский. Помилуйте, да что ж тут странного, что добрые люди стараются облегчить судьбу несчастного преступника? Я, по крайней мере, удивляюсь только тому, что такая истинно филантропическая идея могла развиться в Азии, на каком-нибудь острове Борнео, который вовсе не славится своим просвещением. Да, господа, по мне всякий уличный разбойник, как человек совершенно погибший, достоин всякого сожаления.

Засекин. Так, батюшка, так! Истинно, всякий душегубец достоин сожаления; дело другое человек невинный, которого он уходил; о том чего жалеть: ведь уж его нет на свете.

Кудринский. Вы шутите, Максим Степанович, а я говорю не шутя. Разбойник потому уже достоин сожаления, что он разбойник; все смотрят на него с ненавистью и презрением, он должен вечно томиться в цепях, лишен навсегда свободы, а виноват ли он, бедняжка, что природа дала ему такие неукротимые страсти?..

Засекин. Да, батюшка, да, вы, точно, правы. Ну, виноват ли бедняжка тигр, что природа дала ему такие острые зубы и длинные когти? Зачем держать его в клетке? Пусть он себе ходит по воле да кушает на здоровье добрых людей.

Кудринский. Ваше сравнение ровно ничего не доказывает, Максим Степанович. Дикий зверь всегда останется зверем: это его природа, его назначение; а человек существо мыслящее: он действует не по животному инстинкту, но по своей свободной воле. Вы с ужасом смотрите на осужденного преступника, но ведь этот закованный в железо преступник был точно таким же человеком, как вы. Он разбойник, а известно ли вам, отчего стал разбойником?.. И знаете ли вы, к чему способен этот убийца, если в нем проснется, наконец, человеческое чувство? Знаете ли вы, что этот же самый разбойник, которого так немилосердно вы называете тигром, решится, может быть, умереть за своего благодетеля?

Онегина. Да, Максим Петрович, и я то же скажу. За границею очень часто бывают такие разбойники.

Засекин. Как же, сударыня, а особливо в немецких драмах: там сплошь да рядом все воры и разбойники пречестные люди.

Онегина. Я не говорю вам о театральных пиесах, Максим Степанович, а о том, что слышала от людей достоверных; вот, например, итальянские бандиты...

Засекин. Да-с, в стихах они должны быть очень хороши.

Онегина. Мне рассказывали о них такие удивительные черты великодушия и благодарности.

Засекин. Да ведь это за границею, Наталья Кирилловна; видно, там и разбойники-то почище наших. Впрочем, и со мною был один случай, которого я никогда не забуду, и, если угодно, расскажу вам это приключение.

Лаврентий Алексеевич. Просим покорно, батюшка!..

Благодарный вор

— Это было лет двадцать тому назад,— сказал Максим Степанович Засекин, придвигаясь поближе к столу.— Я еще жил тогда в Москве и бывал очень часто у княгини Варвары Алексеевны Линской, которая, прожив лет десять за границею, приехала в Москву повидаться с родными и заложить остальное именье в опекунский совет. Княгиня Варвара Алексеевна была женщина весьма приятная, страстно любила все изящные художества, слыла большою музыкантшею, говорила отлично по-итальянски, превосходно по-французски и даже очень недурно по-русски; одним словом, она была в полном смысле женщина замечательная. Разумеется, ее общество состояло также из людей недюжинных. К ней езжали все современные знаменитости, артисты, музыканты, писатели, иностранцы, особенно по вторникам — это был ее день. Княгиня жила в огромных палатах, на Тверской; ее небольшая прислуга состояла почти исключительно из одних французов, кроме швейцара и метр-д'отеля, то есть дворецкого. Первый был толстый, тяжелый немец; второй, который, по-видимому, пользовался всей доверенностию княгини и держал себя очень благородно, был какой-то кривой итальянец, впрочем, человек не старый и вовсе не безобразный собою. Из этого описания вы видите, что княгиня Линская жила совершенно на иностранную ногу. Обедать она у себя никого не оставляла; об ужине и речи не было, чаю также не подавали, но зато по вечерам подчивали всех гостей мороженым, и хотя это было зимою, а в обширных комнатах ее сиятельства большого тепла не было, однако ж, я помню, что многим очень нравилось это итальянское угощение, тем более что оно вовсе не походило на наше пошлое русское хлебосольство.

Однажды вечером я заехал довольно поздно к княгине; так как это было не во вторник, то я застал у нее всего человек двух или трех гостей, и в том числе одного знаменитого московского философа и поэта, которого я не назову по имени, потому что вы едва ли когда-нибудь о нем слыхали: он трудился вовсе не для потомства, а для одних только дамских

альбомов, и, надобно сказать правду, в свое время его мадригалы и триолеты были в большом ходу. Когда я вошел в гостиную княгини, этот поэт говорил с величайшим восторгом о знаменитой шиллеровой трагедии «Разбойники». Надобно вам сказать, что эта трагедия, переведенная на русский язык господином Сандуновым, имела необычайный успех на московском театре; об ней только и говорили. Я сам не пропускал ни одного представления, и, как теперь помню, когда Карл Моро, получив письмо от брата, вбегает на сцену и говорит с исступлением: «О, люди, люди, порождение крокодила!»... или когда он клянется над трупом своего отца отомстить его убийце и восклицает: «О ты, возжигающий огнь твой превыше нощи!» — у меня всякий раз так волосы дыбом и становились. Конечно, я и тогда не очень понимал, что такое «возжигать свой огнь превыше нощи», но самый звук этих слов мне так нравился, что я вовсе не заботился о смысле. Одно только мне было не по сердцу: всякий раз, когда я смотрел эту трагедию, преступление и порок переставали мне казаться отвратительными; были даже минуты, что я видел в этих разбойниках каких-то притесненных героев, несчастных жертв людской несправедливости и, признаюсь, мне до смерти хотелось, чтоб не их перехватало правительство, а чтоб они разбили наголову посланное против них войско. «Нет, — думал я, когда этот драматический чад выходил из моей головы, — лучше, если б Шиллер не сочинял этой трагедии! Ну, что хорошего?.. Я человек тихий, смирный, а вот два часа сряду смотрел с любовью на разбойников и, коли правду сказать, во все это время жил с ними душа в душу».

— Вы видели новую трагедию Шиллера? — спросила меня хозяйка, когда я раскланялся и сел.

— Несколько раз, княгиня, — отвечал я.

— Как она переведена?

— Очень хорошо.

— А что вы об ней думаете?

— Я думаю, что она с большими достоинствами и что ее мог написать только человек гениальный; но я очень жалею, что Шиллер выбрал такой безнравственный и неблагодарный предмет для своей трагедии.

Поэт кинул на меня презрительный взгляд и улыбнулся самым обидным образом.

— Неблагодарный! — повторил он вполголоса. — А почему, сударь, этот сюжет кажется вам неблагодарным?

— Потому, — отвечал я, — что Шиллеру нельзя было представить разбойников в настоящем их виде: они были бы тогда слишком отвратительны и возбудили бы в зрителях одно чув-

ство омерзения; следовательно, он должен был, чтоб облагородить своих героев, наклепать на них добродетели, которые вовсе им не свойственны; а, воля ваша, представлять в пленительном виде злодеев, усыпать цветами гнусный порок...

— А что ж по-вашему,— прервал стихотворец,— цветами должно усыпать добродетель что ль? Ведь вы сами, господа моралисты, говорите, что она в этом не нуждается; и что можно сделать из этой бесконечной до...бро...де...тели, которую нельзя даже и в порядочный стих упрятать! Нет, сударь, наш век идет вперед, его требования гораздо выше этого. Давайте нам сильные, необузданные страсти, неистовую любовь и даже порок, лишь только умейте облекать его в пиитическую форму.

— Помилуйте,— сказал я,— да что ж хорошего, если, благодаря этой пиитической форме, порок будет мне казаться прекрасным?

— Так что ж?— возразил поэт.— В этом-то и заключается великая тайна гениального писателя. Он возьмет кусок скверной грязи, и она в руках его превратится в чистое золото; возбудит в толпе участие к страждущей невинности, к великодушному человеку, к добродетельной женщине — большая диковинка! Но заставить меня любить злодея, смотреть без отвращения на убийство, грабеж, преступную любовь, одним словом, поэтизировать все то, что мы называем пороком,— вот истинное торжество гениального писателя, этого чародея, который, вопреки нашему рассудку, увлекает нас за собой неизъяснимой прелестью своего таланта!

Я доложил этому восторженному поэту, что совершенно с ним согласен, что представлять в очаровательном виде самые отвратительные людские страсти может только человек гениальный, и что морочить до такой степени добрых людей, конечно, дело не шуточное и требующее необычайного таланта; но что нам, то есть людям, стыдно бы, кажется, отбивать лавочку у бедного черта, который также не без дарования и, как всем известно, давно уж занимается этим же самым делом. Хозяйка и другие гости улыбнулись; но, вероятно, моя шутка не очень понравилась господину поэту: он посмотрел на меня ни дать, ни взять как грозный Карл Моро на своего окаянного брата, то есть с глубочайшим презрением, и повернулся ко мне спиною.

— Ваше замечание совершенно справедливо,— сказала княгиня, обращаясь ко мне:— но я, однако ж, не во всем согласна с вами: я не нахожу, чтоб Шиллер ошибся в выборе своего сюжета. Во-первых, Карл Моро не простой разбойник; при других условиях он мог бы сделаться великим человеком, героем,

и если несчастные обстоятельства и людская злоба превратили его в разбойника...

— Нет, княгиня,— прервал я,— не обстоятельства и не людская злоба, а Шиллеру угодно было сделать из него разбойника. Я, по крайней мере, думаю, что такие благородные душегубцы могут только существовать на сцене.

— Извините меня,— сказала княгиня,— это оттого, что вы не имеете понятия о пиитических разбойниках Италии; знаете ли, что эти калабрские бандиты очень часто напоминают Карла Моро? Да вот хоть известный Фра-диаволо,— слыхали ли вы о нем?

Я признался в моем невежестве.

— Так я вам расскажу, что сделал однажды этот знаменитый разбойник,— продолжала княгиня.— Одна богатая и немолодая уже вдова, графиня Дольчини, жила в своей загородной вилле, недалеко от Портичи. Ей так много рассказывали об этом Фра-диаволо, который одних грабил, другим сам давал деньги, то показывался под именем знатного путешественника в лучших обществах Неаполя, то в монашеской рясе ходил по деревням и говорил проповеди на площадях, и даже, по рассказам весьма достоверных людей, являлся в один и тот же день в Терачино, в Калабрии и Солерно. Все эти рассказы возбудили, наконец, в величайшей степени любопытство графини, и она часто говорила, что дорого бы дала, чтоб взглянуть хоть раз на этого Фра-диаволо.

Однажды, после обеда, графиня прогуливалась в своем саду; она шла по дорожке, проложенной вдоль стены, которая отделяла ее сад от небольшой оливковой рощи. Вдруг шагах в десяти от нее раздался шум: казалось, что-то тяжелое упало со стены, и почти в ту же минуту вышел из-за кустов, прямо к ней навстречу, молодой человек, высокого роста, очень складный собою, с прекрасным смуглым лицом и черными блестящими глазами. Судя по его национальной калабрской одежде, он принадлежал не к высшему классу общества; впрочем, этот незнакомец был одет не только щеголевато, но даже с некоторой роскошью. За поясом у него заткнуты были пара пистолетов в богатой оправе и короткий итальянский стилет, то есть трехгранный кинжал. Разумеется, графиня испугалась.

— Что вам угодно? — вскричала она.— Зачем вы здесь?

— Я здесь по вашему желанию, экселенца,— отвечал незнакомец, снимая вежливо свою шляпу.

— По моему желанию? Да позвольте узнать, кто вы?

— Меня прежде звали Домиником Лампиери, а теперь зовут Фра-диаволо.

У бедной графини ноги подкосились от ужаса.

— Успокойтесь, синьора,— продолжал разбойник,— чего же вы испугались? Ведь вы сами много раз говорили, что желали бы меня видеть, не правда ли?

— Да! — прошептала графиня,— я точно говорила...

— И даже прибавляли к этому, что дорого бы заплатили за то, чтоб взглянуть на этого разбойника Фра-диаволо. Вот я теперь перед вами — извольте смотреть.

Графиня сняла молча с руки золотой браслет, осыпанный бриллиантами.

— Не трудитесь, синьора,— сказал разбойник,— я не возьму вашего браслета; вы можете мне гораздо дороже заплатить за то, что я исполнил вашу волю.

— Чего ж вы от меня хотите? — промолвила графиня дрожащим голосом.

— Позвольте мне поцеловать вашу прекрасную ручку,— сказал Фра-диаволо.— Больше этого я ничего не хочу.

Графиня поглядела сначала с удивлением, а потом с приметным участием на этого милого разбойника, который предпочитал ее сорокалетнюю ручку золотому браслету, осыпанному бриллиантами.

— Ах, синьор Фра-диаволо,— сказала она, протягивая ему свою руку,— как жаль, что вы разбойник!

Вдруг за стеною сада раздался свист.

— Как?! — вскричал Фра-диаволо.— Неужели это Антонио?..

Вслед за свистом послышался близкий конский топот.

— Маледето! — прошептал разбойник.— Проклятый зевака! Чего ж он думал?.. Графиня,— продолжал он,— ваша вилла должна быть теперь окружена жандармами; меня предостерегали... но мне так давно хотелось исполнить ваше желание... Впрочем, что бы ни случилось, а меня не возьмут живого... Прощайте, синьора! И когда бедного Фра-диаволо не будет на свете, так пожалейте о нем и помолитесь о его душе!

— Нет,— сказала графиня решительным голосом,— я вас не выдам. Вы гость мой. Пойдемте со мною, синьор Фра-диаволо, и будьте спокойны: эти сбиры не найдут вас.

В самом деле, полицейский чиновник, с целым отрядом жандармов, обыскал всю виллу, обшарил весь сад и нигде не нашел Фра-диаволо.

Спустя год после этого происшествия графиня Дольчини ехала из Терачино в Порт-Корво со своим двоюродным братом, синьором Ташинарди. Проезжая одним узким и чрезвычайно диким ущельем, графиня с приметной робостию посматривала во все стороны.

— Уж не боитесь ли вы разбойников, сестрица? — спросил Ташинарди.— Не беспокойтесь, с тех пор, как я занимаю место уголовного судьи в Тарачино, здесь все тихо. Месяцев шесть тому назад перехватали всю шайку Фра-диаволо; он сам как-то ускользнул, но жена его попалась к нам в руки.

— Его жена? — повторила графиня.— Бедная женщина!.. Что ж вы с ней сделали?

— Да то же, что и с другими разбойниками: ее повесили. Конечно, у нее нашлись защитники, но я настоял на этом. Женщина, которая ходила вместе с мужчинами на разбой, не женщина.

Синьор Ташинарди не успел еще договорить этих слов, как вдруг лошади остановились, раздались ружейные выстрелы, кучер слетел с козел, и целая шайка разбойников окружила карету. Разумеется, наших путешественников заставили из нее выйти.

— Графиня Дольчини! — вскричал один высокий и статный мужчина, закутанный в широкий плащ.— Стойте, товарищи!.. Прочь, говорят вам!

Разбойники, которые принялись было обирать графиню, выпустили ее из рук. Фра-диаволо — это был он — подошел к ней и сказал:

— Я очень рад, экселенца, что с вами не случилось никакого несчастия. Извольте ехать — вы свободны! Что ж касается до тебя, господин уголовный судья,— продолжал он, устремив сверкающий взор на синьора Ташинарди,— так тебе торопиться нечего; мы еще с тобой поговорим, проклятый убийца моей доброй Лауреты!..

Синьор Ташинарди хотел что-то сказать, но Фра-диаволо не дал выговорить ему ни слова.

— Молчи, кровопийца! — сказал он.— Теперь моя очередь быть твоим судьею!.. Извольте ехать, графиня!

— Синьор Фра-диаволо,— вскричала графиня,— он брат мой!

— Ваш брат? — повторил разбойник.— Этот злодей?..

— Да, он брат мой!

Фра-диаволо задумался; несколько минут продолжалось это ужасное молчание.

— Графиня,— промолвил, наконец, разбойник,— ваш кучер и слуга убиты, прикажите этому палачу, которого вы называете своим братом, сесть на козлы и везти вас в Понте-Корво; да посоветуйте ему сходить на поклонение к Лоретской божией Матери за то, что ему не пришлось на этот раз умирать без покаяния. Прощайте, графиня! — промолвил он, когда си-

ньор Ташинарди, взобравшись на козлы, погнал без ума лошадей.— Кажется, теперь я вполне расквитался с вами.

— Вот, Максим Степанович,— сказала княгиня Варвара Алексеевна, окончив свой рассказ,— видите ли, что и разбойники умеют быть благодарными?

— Вижу, княгиня,— отвечал я,— вижу!

— Много ли вы найдете честных людей, которые поступили бы так великодушно, как этот Фра-диаволо? Ну, что вы о нем скажете?

— Я скажу, княгиня, что в нем очень много театрального. Прекрасный разбойник!.. А позвольте спросить: вам рассказывала об этом сама графиня Дольчини?

— Нет, я слышала это от хозяина гостиницы, в которой останавливалась, проезжая Терачино.

«Вот, подумал я,— иностранцы-то каковы! У них не по-нашему: трактирщики настоящие поэты; разбойники такие приличные — целуют у графинь ручки!.. Нет, где нам до них!»

Меж тем разговор переменился: стали говорить об итальянской музыке. Вот уж тут я сделался совершенно лишним человеком. Я имею несчастие не любить итальянской музыки и глупость признаваться в этом публично; конечно, глупость, потому что я сумел бы не хуже всякого прикинуться самым отчаянным дилетанте, то есть кричать «браво, браво, брависсимо!» и корчить превосторженные и преудивительные рожи. Что делать, видно, я так уж создан; и мог бы, кажется, да ни за что не стану удерживаться от зевоты, когда мне хочется зевать. Сначала я слушал довольно спокойно умные речи хозяйки: она только что жалела о тех, которые не понимают всю прелесть итальянской музыки; но когда господин поэт заговорил, что этих негодяев нельзя даже называть и людьми, что они бездушные болваны, деревяшки, не способные ни к чему прекрасному, то, признаюсь, я не вытерпел: схватил мою шапку, раскланялся и отправился домой. Я сказал вам «мою шапку», потому что тогда еще не в одних деревнях, а и в столицах носили по зимам теплые собольи и бобровые шапки. Теперь эта ни с чем не сообразная и глупая мода прошла. Когда я сел в мои сани, мне вздумалось погулять. На дворе было светло как днем; ночь была морозная, лунная, а вы знаете, господа, как весело прокатиться в светлую лунную ночь по нашей матушке Москве белокаменной и посмотреть, как эта русская красавица засыпает понемногу своим богатырским сном. Я приказал моему Ивану ехать за Москву-реку, чтоб посмотреть оттуда на Кремль. Покатавшись с полчаса, я отправился домой, то есть на Знаменку. Когда переехал Каменный мост и

поровнялся с Кривым переулком, который выходит на Неглинную, мне послышались громкие голоса; кричали:

— Караул! Держи, держи! — и в ту же самую минуту какой-то запыхавшийся человек вскочил на запятки моих саней.

— Что ты? — вскричал я. — Пошел, пошел!

— Батюшка, спасите, — прошептал этот человек, с трудом переводя дыхание, — за мной гонятся!

В самом деле, из переулка начали выбегать люди.

— Гонятся? — повторил я. — Так поэтому ты вор?

— Батюшка, я бедный человек, жена, дети; спасите, бога ради!

— Вот он! Вот он! — раздались в близком расстоянии голоса. — Вот стоит за санями!.. Держите его, держите!.. Вор!..

Тут пришел мне в голову рассказ княгини Линской. «Дай спасу и я также этого бедного вора, — подумал я. — Почему знать, может быть, он станет обо мне век бога молить? Уж если этот несчастный отец семейства понадеялся на мое великодушие, так не грешно ли мне выдать его руками?»...

— Пошел! — сказал я.

Иван ударил по лошадям, и не прошло полминуты, как мы, поворотив направо по Ленивке, выехали на Знаменку. Когда мы поравнялись с переулком, который идет позади Пашкова дома, вор соскочил с запяток, сорвал у меня с головы бобровую шапку и кинулся бежать. Вот и я также закричал: «Караул! Держи, держи!» — но держать было некому, да и некого: этот бедный отец семейства шмыгнул на какой-то двор — и поминай как звали!

Максим Степанович замолчал.

Онегина. Вот уж этого я никак не ожидала. Неужели тем и кончилось?

Засекин. Нет, Наталья Кирилловна, этим не кончилось. Я простудил голову, занемог и целых два месяца был болен.

Лаврентий Алексеевич. Ништо тебе, Максим Степанович. Кабы ты помнил русскую пословицу: «вора помиловать, доброго погубить», так тебе бы не пришлось покупать новой шапки.

Засекин. Что ж делать, Лаврентий Алексеевич, я и сам после догадался, что больно сплоховал. Ведь княгиня рассказывала мне о разбойнике, а это что?.. Так, шишимора, уличный воришка!

Кучумов. И, что вы, батюшка! Да, по-моему, разбойник во сто раз хуже всякого вора.

Лаврентий Алексеевич. Эх, любезный, да разве ты не видишь, что Максим Степанович изволит балагурить?

Кудринский. Я не знаю, шутит он или нет; но и мне также кажется, что отъявленный разбойник гораздо способнее ко всякому великодушному поступку, чем какой-нибудь мелочной, ничтожный мошенник.

Княжна Задольская. Да что это, господа, вам за охота говорить о разбойниках? Они надоели мне и в романах госпожи Радклиф. Ну, скажите сами, что в них интересного, и можно ли принимать участие в судьбе какого-нибудь убийцы, разбойник ли он, или нет?..

Онегин. Нет, княжна, не говорите! Разбойник и убийца,— две вещи совершенно различные. Убийцы бывают всякого рода,— например, убийца от любви...

Княжна Задольская. Ох, и это ужасно!

Кудринский. А преступление, сделанное в минуту бешенства, когда оскорбленный не помнит самого себя?

Онегина. А обиженный человек, который убьет своего противника на дуэли?

Кучумов. Или как мой Гришка, который однажды на кулачном бою одного убил, а трех изувечил?

Онегин. Или как покойный мой брат, который на охоте застрелил нечаянно своего приятеля?

Засекин. Или доктор, который даст невпопад лекарство? Ведь умирать-то все равно, от пули или от пилюль!

Лаврентий Алексеевич. Слышишь, Богдан Фомич? Ну, что ты на это скажешь?

Бирман. Да что, Лаврентий Алексеевич, на нас, бедных врачей, всегда нападают. А виноваты ли мы, что люди не бессмертны? Ведь мы не боги, и кому определено умереть, того не вылечишь.

Кучумов. Правда, правда! Всякому есть предел, коего не прейдеши.

Засекин. Конечно, на иного господь пошлет смертельную болезнь, на другого искусного медика...

Бирман. Смейтесь, Максим Степанович, смейтесь! Теперь вы, слава богу, здоровы, а случись вам занемочь, так без нашего брата не обойдетесь. Кто говорит, и мы также иногда в жмурки играем и ходим ощупью, а все-таки кой-что знаем, чему-нибудь да учились.

Лаврентий Алексеевич. Кстати, любезный! Мне давно хотелось у тебя спросить, что это значит: на моем веку я много знавал докторов, русских очень мало, французов также; куда ни посмотришь, все доктора немцы. Что ж это у вас в немецкой-то земле всех что ль этой науке учат?

Бирман. Это оттого, Лаврентий Алексеевич, что в Германии много университетов и что в каждом университете есть

медицинской факультет, то есть класс, в котором преподают медицину, и в нем обыкновенно слушателей бывает несравненно более, чем в других факультетах.

Лаврентий Алексеевич. Отчего же это, батюшка?

Бирман. Да оттого, Лаврентий Алексеевич, что до сих пор не было еще примера, чтоб доктор медицины умер с голоду, а доктора прав, философии, математики и разных других наук частехонько сидят без куска хлеба.

Онегин. А что, Богдан Фомич, правда ли, говорят, что в Германии получить лекарский диплом вовсе не трудно?

Бирман. Нет, Сергей Михайлович, столько хлопот, что не приведи Господи! У меня был приятель, который слушал курс медицины в Геттингенском университете; кажется, он не хуже был других, а насилу добился, чтоб ему позволили практиковать, да еще с каким условием!.. Правда, тут было особенное обстоятельство... Да вот, если угодно, я вам расскажу историю моего приятеля.

Лаврентий Алексеевич. Расскажи, любезный, а мы послушаем.

Богдан Фомич положил к стороне трубку, откашлялся и начал свой рассказ следующим образом.

Лекарский диплом

Мой приятель, которого называли Готлибом, был так же, как я, родом из города Швейнфурта. Готлиб ходил еще в школу, когда умер его отец; вскоре потом он лишился матери, и то, что досталось ему после их смерти, уж, конечно, нельзя было назвать состоянием. Проживши кое-как до двадцати лет, Готлиб смекнул, наконец, что ему скоро придется умирать голодной смертью. Вот он пошел к члену швейнфуртского магистрата, достопочтенному г-ну Блюдвурсту и стал просить у него совета, что ему делать: заняться ли каким-нибудь ремеслом, или идти по ученой части? — «Я присоветовал бы тебе,— сказал господин Блюдвурст,— заняться каким-нибудь ремеслом: ученых в Германии и без тебя много; да ты поздно хватился: тебе уж двадцать лет, а скоро ли ты попадешь не только в мастера, но даже в подмастерья? Делать нечего, ступай в университет, да только вот мой совет: учись там чему-нибудь дельному, а пуще всего не пленяйся философиею; я заметил, что эта наука идет в прок только тем, которые обладают природным даром говорить очень много, и говорить так, что их сам черт не поймет. Ты человек неглупый, в тебе есть толк, да речь-то у тебя простая; парень ты вовсе не затей-

ливый и верно не сумеешь доказать, что дважды два пять, или что бытие и небытие одно и то же, так уж, верно, никогда не добьешься кафедры; а без кафедры профессор все то же, что граф без графства: чести много, а есть нечего. Ступай-ка лучше по медицинскому факультету; будешь лекарем, а может статься и доктором. Не дадут тебе места в университете, так что ж: у тебя больные останутся, и коли бог поможет тебе вылечить какого-нибудь известного человека, так ты и пошел навсегда в люди».

Разумеется, Готлиб поблагодарил за благой совет господина Блюдвурста, простился с ним и отправился пешком в Геттинген. По милости декана медицинского факультета, г-на Гешваленга, к которому Готлиб имел рекомендательное письмо, приятель мой без всяких затруднений поступил в число своекоштных студентов университета. Сначала все шло наилучшим образом: Готлиб учился прилежно, жил смирно, не обижал филистимлян,— так называют немецкие студенты всех граждан, не имеющих ничего общего с университетом,— не буянил, не выходил ни с кем на дуэль и по воскресным дням выпивал только по одной кружке пива. Все это весьма не нравилось его товарищам, но зато профессоры были им очень довольны и даже сам ректор университета, Бухфресер, решился, наконец, не в пример другим, пригласить его к своему обеденному столу. Кому пришло бы в голову, что эта высокая честь будет причиною всех неудач и бедствий моего злосчастного приятеля? Когда он вошел в гостиную комнату господина ректора, его глазам представилось такое поразительное зрелище, что он, конечно, и до сих пор не может вспомнить об этом без сердечного трепета. В широких кожаных креслах покоился от своих ученых трудов высокоименитый господин Бухфресер, без парика, в ситцевом халате и шерстяных вязаных туфлях. В одной руке держал он огромную пенковую трубку, другая была вооружена кожаной хлопушкою, которою он бил нещадно мух. С правой его стороны, в домашней кофточке и зеленом наглазнике, сидела достопочтенная госпожа Бухфресер и вязала бумажный колпак, вероятно, для своего мужа. Вы скажете, может быть, что в этой семейной картине не было еще ничего особенно поразительного — о, конечно; но на первом плане этой картины стояла дочь г. Бухфресера, девица Шарлота.— Господи Боже мой!.. Подумаешь, как родятся такие красавицы? Представьте себе томные голубые глаза, длинные ресницы, розовые щечки, пунцовый ротик и мягкие, как шелк, с золотистым отливом локоны, которыми, однако ж, мой приятель любовался уж впоследствии, потому что на этот раз Шарлота была в кисейном чепце. Эта

дивная красавица стояла у окна; на левом плече ее сидела ручная канарейка, а в правой руке держала она розан. Готлиб взглянул на нее, онемел, растерялся и вместо того, чтоб отвечать каким-нибудь умным комплиментом на приветствие хозяина, заикнулся, пробормотал несколько невнятных слов и вспыхнул, как красная девушка. Эта неловкость очень понравилась господину ректору. Вероятно, он принял ее за робость, весьма приличную бедному студенту, который в первый раз имел счастие находиться в такой высокопочтенной компании.— «Не робейте, молодой человек,— сказал он.— Вы здесь не студент, а гость мой. Прошу садиться!» Разумеется, во время обеда Готлиб смотрел все на Шарлоту, не ел почти ничего и, верно бы, отказался даже от любимого своего кушанья, говядины с черносливом, если б госпожа ректорша не сказала, что это блюдо готовила сама Шарлота,— сама Шарлота, своими пухленькими ручками!.. О, магические слова, вы подействовали на моего приятеля сильнее всяких желудочных капель. Он положил на свою тарелку двойную порцию, съел, или, лучше сказать, проглотил ее в одну минуту, и, конечно, облизал бы у себя пальчики, если б это не было противно всякому приличию. Словом, бедный мой приятель влюбился по уши в дочь г. Бухфресера. Несчастный, он забыл, что между ректором университета и бедным студентом такое неизмеримое пространство, что страшно и подумать! Но кто бы не забыл об этом? Кто не захотел бы на его месте сделаться Вертером этой прелестной Шарлоты? Да, надобно правду сказать: Шарлота была необыкновенная девица: хороша как ангел, умна, чувствительна до высочайшей степени и в то же время такая хозяйка, каких немного найдете и в самом Швейнфурте, который всегда славился своими патриархальными нравами. Сколько раз случалось, что она читает вместе с моим приятелем трагедии Гете, Шиллера; потом вдруг, не докончив какой-нибудь интересной сцены, побежит на кухню жарить картофель и вернется назад во сто раз милее и прекраснее!.. Вы улыбаетесь, Наталья Кирилловна? И вы также, княжна?.. Я знаю, что у вас теперь в голове, только вы ошибаетесь! Шарлота очень часто помогала кухарке готовить кушанье; но, уверяю вас честию, от нее никогда не пахло кухнею.

Господин Бухфресер полюбил моего приятеля и позволил ему приходить к себе, не обедать — этого рода приглашения делаются у нас довольно редко — а так, побеседовать, поговорить кой о чем. В Германии образ жизни вовсе не походит на здешний: там живут очень скромно. Знакомые посещают друг друга, особенно в праздничные дни, для того только, чтобы выкурить вместе несколько трубок, смотря по состоянию: или

доброго кнасера, или дешевенького дрейкених, который делается из картофельных листьев; сыграть партию в шахматы, потолковать о политике, и даже выпить иногда по рюмке старого рейнвейна. Немцы вообще очень любят эти мирные беседы, которые вовсе не убыточны для хозяина и весьма приятны для гостей, разумеется, если они сыты. В первый раз Готлиб почти ничего не говорил с Шарлотою, во второй зашла у них речь о луне, в третий о симпатии и сродстве душ; потом случилось им танцевать на одном свадебном бале, и вот этак месяца через два, на заветной страничке Шарлотина альбома, появились два сердца, проткнутые насквозь стрелою, с надписью: «страдают, но счастливы». Потом две буквы, увенчанные миртами, также с надписью: «Их уста молчат, но их души понимают друг друга». Об учебных тетрадях Готлиба и говорить нечего: они все были исписаны стихами, из которых многие, право, были не дурны, особливо одни; помнится, они начинались вот так:

Шарлотхен, Шарлотхен!
Ди либе ист ди зеле...

Да что об этом говорить! Это дело давно прошедшее.

Готлиб и Шарлота любили друг друга, но эта любовь выражалась не словами, они ни разу еще не сказали друг другу: «я люблю тебя». Так прошло более полугода. И вот, наконец, наступил день вечнопамятный для моего приятеля, день неизъяснимых восторгов и невыразимых мук. Однажды — это было летом в жаркий ясный день — Готлиб пришел после обеда к г. Бухфресеру. Он отдыхал. Госпожа ректорша, занятая каким-то домашним делом, предложила моему приятелю погулять в их саду. Надобно вам сказать, что сад господина Бухфресера славился во всем городе. Под ним было, конечно, не менее доброй русской полудесятины, и все это пространство, за исключением небольшого цветника, было засажено деревьями, по большей части фруктовыми; но были, однако же, и целые куртины сплошных акаций, сиреней и воздушных жасминов, среди которых узенькие, усыпанные песком дорожки разбегались во все стороны и так искусно были перепутаны между собою, что этот, по-здешнему небольшой садик показался бы вам, если не парком, так уж, конечно, большим и чрезвычайно тенистым садом. Готлибу он показался на этот раз краше земного рая, и не удивительно: вдали, сквозь густую зелень кустов, мелькало по временам что-то похожее на белое платьице. Готлиб едва мог переводить дух, ноги его с трудом двигались, и вот, наконец, дорожка, по которой он

шел, вывела его на небольшой лужок, посреди которого стояла решетчатая беседка, обросшая кругом виноградными лозами. В этой беседке сидела на скамье дочь господина Бухфресера и читала какую-то книгу.

— Ах,— вскричала она,— это вы, господин Готлиб?

Мой приятель отступил назад, поклонился и сказал заикаясь:

— Да, мамзель Шарлота, это я!

Надобно думать, что в эту минуту лицо моего друга было пресмешное, потому что Шарлота улыбнулась и сказала своим тоненьким, очаровательным голоском:

— Куда же вы бежите? Отдохните! Садитесь подле меня!

У бедного Готлиба подкосились ноги, захватило дух, в глазах потемнело,— ну, просто он захлебнулся от восторга; однако ж вошел в беседку и сел подле Шарлоты. Прошло несколько минут, а Готлиб все еще не мог выговорить ни слова. Шарлота также молчала.

— Что вы это читаете? — спросил, наконец, мой приятель, не смея, однако ж, прикоснуться к книге, которая лежала на коленях Шарлоты.

— Идиллии Соломона Геснера,— отвечала она.

— Геснера,— повторил Готлиб,— этого певца природы и любви; этого очарователя, который переносит нас в блаженный век аркадских пастухов? О, как люди были тогда счастливы! Не правда ли, мамзель Шарлота?

— Да! — прошептала со вздохом девушка.

— Тогда любовь не считалась преступлением,— сказал Готлиб,— люди не знали этих тягостных условий общества, этих глупых приличий, этого неравенства состояний...

— Ах да! — прошептала опять Шарлота.

— Тогда,— продолжал с жаром мой приятель,— какой-нибудь пастушок спрашивал пастушку: «Любишь ли ты меня, Хлоя?» А пастушка отвечала вовсе не краснея: «Да, я люблю тебя, Дафнис!» Ну, вот точно так, как бы я теперь спросил вас: «Здоровы ли вы, мамзель Шарлота?» А вы бы мне отвечали: «Слава богу, господин Готлиб!»... Счастливые времена! Не даром вас называют золотым веком!

— О, конечно,— промолвила Шарлота.

Вдруг что-то зашумело между кустов. Готлиб вскочил.

— Ничего,— сказала Шарлота,— это моя собачка. Мими, поди сюда!.. Садитесь, мой милый Готлиб, не бойтесь: мы здесь совершенно одни.

«Мой милый Готлиб!.. Мы здесь совершенно одни»... Фу, какая тревога поднялась в груди моего приятеля! Он слушал последний курс медицины, но если б его спросили в эту минуту:

«Готлиб, где у тебя пульс?» — то он верно бы отвечал: «Не знаю!» Вся кровь кипела в его жилах... Вот она, блаженная, счастливейшая минута в жизни!..

— Шарлота, — сказал он, задыхаясь от избытка чувств.

— Готлиб! — прошептала девушка, покраснев, как роза.

— Шарлота, — повторил он, — ты любишь меня!

— О, твоя, навек твоя! — вскричала Шарлота, бросаясь в объятия моего друга.

— Врешь, негодная! — раздался из-за кустов голос, и господин Бухфресер, с хлопушкою в руке, явился перед глазами онемевших от ужаса любовников. — Я никогда не назову сыном этого нищего! — продолжал он. — Твоим мужем будет мой друг, почтенный профессор, господин Гешволенган! А ты, подлый обольститель, — прибавил господин Бухфресер дрожащим от бешенства голосом, — вон из моего дома!

Делать было нечего, Готлиб должен был повиноваться; но я могу вас уверить, что он не побежал вон из сада, как подлый трус, а вышел потихоньку; и хотя разгневанный отец забылся до того, что ударил его вдогонку хлопушкою, но он не прибавил шагу и сохранил до конца все достоинство, приличное благородному немцу, для которого честь дороже всего на свете.

С тех пор Готлиб не видал уж более Шарлоты. С нею поступили самым варварским образом. Жестокая мать надавала ей пощечин и заперла в темный чулан. Но эта бесчеловечная мера не послужила ни к чему; Шарлота была девица с необычайным, высоким характером. Она сказала отцу и матери, что «будет любить Готлиба вечно». Бездушные родители не сжалились над бедною дочерью; напротив, они увеличили свои гонения, терзали ее, мучили, морили голодом, целый месяц продержали на одном васер-супе; но ничто не помогло: Шарлота продолжала говорить, что решительно нейдет замуж за этого старого черта Гешволенгана, что она принадлежит Готлибу, что души их обвенчаны и что никакие истязания не заставят ее отказаться от этого священного союза. Мой приятель узнал все эти подробности от их кухарки, очень доброй женщины, которая горько плакала, рассказывая ему о страданиях своей несчастной барышни. Разумеется, эта плачевная история не могла долго оставаться тайною для городских жителей. Университетские товарищи Готлиба обрадовались этому случаю: со всех сторон посыпались на него насмешки. Мамзель Бухфресер называли нежной Шарлотою, а его — несчастным Вертером. Он долго отмалчивался; но когда один наглец осмелился послать к нему при самой язвительной записке, огромный пистолет, заряженный горохом, то он вы-

шел, наконец, из себя, вызвал этого негодяя на поединок и, несмотря на то, что его, как водится, защищали с двух сторон секунданты, обрубил ему уши. Это несколько поусмирило господ студентов, но в то же время восстановило против него всех прежних покровителей. Этот дерзкий насмешник, которого он окорнал, как моську, был сын ординарного профессора медицины, племянник прозектора, читавшего курс патологической анатомии, и будущий зять проректора университета, господина Штокфиша, который преподавал патологию, симиотику и всеобщую терапию. О декане медицинского факультета, господине Гешволенгане, и говорить нечего: Готлиб, как вы уж знаете, был его соперником. Бывало, на всех экзаменах приятеля моего осыпали похвалами, а теперь, лишь только он разинет рот, кругом его поднимается неприязненный шепот и по всем углам аудитории начнут повторяться, сперва потихоньку, а потом во весь голос, чрезвычайно обидные восклицания: «Азофус! Игнарус! Индоктус! Инептус!» и даже «Азинус!!» Другим, которые не стоят его и мизинца, дают баллы, а ему пишут нули — горе да и только! Вот наступил последний и окончательный экзамен; почти все товарищи Готлиба получили лекарские дипломы, и даже один глупец, которому вы бы не позволили лечить вашей кошки, удостоился звания доктора медицины, вероятно, потому, что матушка его очень часто угощала господ профессоров, а прилежный и знающий свое дело Готлиб остался ни при чем. Вы можете себе представить отчаяние этого бедного сироты; он не знал, куда ему деваться, не знал, что делать с собою!.. Как вдруг, вовсе неожиданно, его пригласили в университетское присутствие, и господин проректор Штокфиш, который по болезни ректора занимал председательское место, объявил ему, что из уважения к его недостаточному состоянию, и ради того, что он природный немец, ему не откажут в лекарском звании, если только он даст письменное обязательство не лечить никого во всей Германии.

— Помилуйте,— завопил Готлиб,— да к чему же мне послужит лекарский диплом?

— А вот к чему,— отвечал господин Штокфиш: — по милости этого диплома, все будут обязаны признавать вас за медика, а так как вы не имеете достаточных познаний, чтоб быть врачом...

Мой приятель хотел что-то возразить, но проректор не дал выговорить ему ни слова.

— Да, господин Готлиб,— продолжал он,— вы не имеете для того достаточных сведений — это решено; а что решит немецкий университет, то свято и ненарушимо, и мы, сберегая

честь нашего ученого сословия, не можем дозволить вам заниматься практикою в таком просвещенном государстве, какова Германия. Но мы не запрещаем вам ехать за границу. Ступайте с богом, и всего лучше на Восток, то есть в Турцию, Персию или Россию: там и плохой цирюльник найдет себе практику. Подписку вы дадите теперь, а завтра ступайте к господину письмоводителю университетского правления, вы получите от него диплом. Но знайте, господин Готлиб, если вы осмелитесь употребить во зло нашу доверенность, то университет, в силу данной вами подписки, отберет обратно свой диплом, который вы получаете не по достоинству, а по снисхождению и великодушию ваших прежних наставников. Во всяком случае, я советую вам отправиться как можно скорее из нашего города; здесь вам нечего делать; здесь ни в одной аптеке не отпустят по вашему рецепту лекарства и тотчас донесут университету, что вы, несмотря на сделанное с вами условие, пишете рецепты и беретесь лечить больных. Мой приятель был человек не глупый и тотчас смекнул в чем дело. Он понял, что в этой речи господина проректора милосердие и великодушие были одни только громкие слова. Университет мог признать его недостойным лекарского звания, но не имел никакого права выгнать вон из города, а господину ректору и будущему его зятю очень было нужно услать бедного Готлиба куда-нибудь подальше от мамзель Шарлоты. Конечно, мой приятель страстно любил дочь господина Бухфресера и вовсе не желал ехать на восток; но ему не хотелось также умирать и голодной смертью; вот он подумал, подумал, да и решился, наконец, покинуть навсегда свое отечество... Ну вот, Сергей Михайлович, теперь вы видите, что и в Германии не так-то легко достаются лекарские дипломы и что мой приятель дорого заплатил за то, чтоб иметь право называться медиком.

Онегин. Да, конечно! Да ведь это случай необыкновенный; при других обстоятельствах ваш приятель получил бы свой диплом даром.

Бирман. Извините, Сергей Михайлович, вы ошибаетесь. По милости этих обстоятельств, с моим приятелем поступили несправедливо в университете, это само по себе, но сверх того он должен был порядком поплатиться, да еще вдобавок его обругали самым обидным образом. Письмоводитель, от которого ему следовало получить лекарский диплом, жил на даче. Готлиб выпросил у одного приятеля лошадь и отправился к нему верхом. Приехав к крыльцу загородного домика господина письмоводителя, он спешился и постучал в дверь.

— Войди! — закричал кто-то грубым голосом.

Готлиб вошел и, вместо письмоводителя, увидел перед собою его супругу, самую толстую, безобразную и злую женщину из всего Геттингена.

— Что вам надобно? — спросила она так ласково, как будто бы хотела сказать: зачем пришел, бездельник! — Что тебе надобно? — повторила она еще вежливее, догадываясь по смиренному виду и поношенному платью Готлиба, что перед нею стоит человек бедный и вовсе не чиновный.

— Я приехал к господину письмоводителю за моим лекарским дипломом,— отвечал Готлиб, смотря с удивлением и ужасом на огромный красный нос и рыжие усы этой отвратительной женщины.

— Моего мужа нет дома,— проворчала она.— Впрочем, все равно. Ведь тебя зовут Готлибом?

— Точно так.

— Так подожди, дружок, я схожу за твоим дипломом.

Через полминуты госпожа письмоводительша воротилась.

— Вот, твой диплом,— сказала она.

Я протянул руку.

— Постой, постой!.. Видишь какой проворный! Отдай прежде деньги.

— Деньги? — вскричал Готлиб.— Какие деньги?

— Известно какие: за пергамент, за печать, за то, за другое... Всего пятьдесят гульденов.

Пятьдесят гульденов!.. А у бедного Готлиба только и было сто гульденов за душою.

— Помилуйте,— сказал он,— уж если я непременно должен платить, хотя мне об этом и не говорили, так нельзя ли взять поменьше: я человек бедный.

— Да оттого-то с тебя и берут только пятьдесят гульденов,— прервала эта ведьма,— с порядочных людей мы берем гораздо больше. Да что с тобою говорить: давай деньги или убирайся вон!

Готлиб хотел было еще поторговаться, но госпожа письмоводительша и слушать его не стала. Делать было нечего: он отсчитал ей пятьдесят гульденов, взял диплом и отправился. Готлиб садился уже на лошадь, как вдруг пришла ему в голову несчастная мысль посмеяться над этой грубой бабою. Он воротился назад.

— Что там еще? Зачем? — спросила ласковая хозяюшка.

— Извините, сударыня! — сказал Готлиб самым вежливым голосом.— Вы такие милостивые и добрые, довершите ваши благодеяния: уж если вы изволили мне пожаловать за пятьдесят гульденов один лекарский диплом, так не можете ли уступить за ту же цену и другой?

— Другой,— подхватила хозяйка.— Кому?

— Моей лошади,— отвечал Готлиб с низким поклоном.

Отпустив эту шуточку, он думал, что разобидит до смерти гордую письмоводительшу, что она взбесится, начнет его позорить,— не тут-то было! Эта спесивая барыня поглядела на него весьма равнодушно и сказала прехладнокровным образом:

— Твоей лошади, голубчик? Пожалуй!.. Уж если я выдала лекарский диплом ослу, так почему же его не дать лошади?

Лаврентий Алексеевич (смеясь). Ай да хват баба!.. Вот как огорошила!

Бирман. Да, Лаврентий, Алексеевич, поверите ль, и теперь вспомнить не могу: так меня с ног и срезала.

Кучумов. Тебя, Богдан Фомич? Так это был ты?

Бирман. Ах, нет, извините! Я хотел сказать: моего приятеля.

Лаврентий Алексеевич. Полно, полно, Богдан Фомич!.. Уж коли сболтнул, так признавайся!

Бирман. Ну, делать нечего,— пришлось каяться. Да, Лаврентий Алексеевич, я рассказал вам собственную мою историю.

Княжна Задольская. Так это были вы, Богдан Фомич! Как это интересно! Ну что, вы не знаете, что сделалось с дочерью этого господина, Бух... как бишь его?.. ну, с вашей мамзель Шарлотою?

Бирман. Я лет двадцать не имел об ней никакого известия, а потом узнал и совершенно неожиданным образом, что она жива и здорова.

Онегина. Как же вы это узнали?

Бирман. От одного университетского товарища, который переселился из Германии в Саратовскую губернию и живет теперь в Сарепте. Он видел ее накануне своего отъезда в Россию.

Онегина. Ну, что ж он вам рассказывал? Что ваша Шарлота?

Бирман. Ничего, все слава богу! Живет по-прежнему в Геттингене, похоронила двух мужей и сбиралась выйти за третьего.

Онегина. За третьего мужа?

Бирман. Вы, сударыня, этому удивляетесь, а я вовсе не дивился. Мамзель Шарлота должна была похоронить двух мужей и выйти за третьего, я знал это наперед.

Онегина. Почему ж вы это знали?

Бирман. А вот почему, Наталья Кирилловна. Когда я увидел, что мне не остается никакой надежды и это я должен навсегда расстаться с Шарлотою, то горесть моя превратилась

в совершенное отчаяние; я вовсе обезумел: метался из стороны в сторону и рвал на себе волосы. К счастию, на ту пору завернула ко мне кухарка господина Бухфресера. Эта добрая женщина стала утешать меня и сказала, между прочим: «Послушайтесь меня, господин Бирман, не горюйте, а благодарите бога, что вам нельзя жениться на мамзель Шарлоте. Теперь я могу открыть вам преважную тайну; вы от нас уезжаете, так об этом никто не узнает. Одна знаменитая ворожея, которая никогда еще не ошибалась, предсказала мамзель Шарлоте, что она будет жить очень долго, горя натерпится вдоволь, похоронит двух мужей и выйдет за третьего. Теперь подумайте, господин Бирман: ведь вы были бы у нее первым мужем, так какая же тут для вас приятность? Ну, рассудите сами!» Признаюсь, Наталья Кирилловна, эти слова очень на меня подействовали, не то чтоб я совсем утешился, а все как будто бы полегче стало.

Онегин. Ах, Богдан Фомич!.. Вы человек ученый, а верите таким вздорам!

Бирман. Да ведь это предсказание сбылось.

Онегин. Так что ж? Один случай ничего не доказывает!

Кудринский. Вы называете это случаем, Сергей Михайлович? Нет, я убежден, что предсказания, явления духов, таинственные сны, предчувствия, одним словом, все эти отголоски мира невещественного вовсе не вздор, а совершенная истина. Эти минутные проблески бессмертной души, заключенной в своем земном теле, бывают очень редко, и только при известных условиях; но что они возможны, в этом нет ни малейшего сомнения.

Кучумов. Да, батюшка, и я скажу, что ворожеи и колдуны есть, это так верно, как то, что меня зовут Игнатием Федоровичем Кучумовым.

Княжна Задольская. А я так решительно согласна с Сергеем Михайловичем: все это совершенный вздор, детские сказки, и больше ничего. Когда я была еще при дворе, мне несколько раз случалось встречаться в обществах с знаменитым французским философом мосье Дидеро, который был тогда в Петербурге. Однажды зашел при нем разговор о предчувствиях и о предсказаниях,— боже мой, как он стал над этим смеяться! Да с какой остротой, с каким умом!..

Кудринский. Ну, вот еще, княжна, нашли человека!.. Да разве этот мосье Дидеро чему-нибудь верил?

Засекин. Извините, Александр Дмитриевич, этот господин Дидерот многому верил. Вот, например, он верил, что часы могут составиться случайно, сами собою, что для этого вовсе не нужно часовщика, и даже называл ханжою, кажется,

вовсе не набожного человека, а именно Волтера за то, что он был противного мнения и находил весьма естественным, при виде часов, предполагать часовщика, который их устроил. Господин Дидерот верил, и свято верил, что только то существует в природе, что можно видеть глазами, ощупать руками, постигнуть умом, доказать правильным силлогизмом и объяснить наукою. Он не сомневался также, что в некоторых случаях никак не должно верить не только миллионам очевидных свидетелей, но даже собственным своим чувствам.

Лаврентий Алексеевич. Ах, батюшка, да кому же прикажете верить?

Засекин. Разумеется, тому, который никогда не ошибался и не может ошибиться, который все знает, все отгадал, для которого нет никакой тайны в природе, одним словом, нашему земному разуму.

Кучумов. Нашему разуму? Помилуй, Максим Степанович? Да ведь у всякого свой разум в голове; ты думаешь так, я этак, а кто из нас прав?..

Засекин. Ну, разумеется, тот, кто ничему не верит, по крайней мере, так говорит господин Дидерот.

Лаврентий Алексеевич. Ах, матушка, княжна, и вы были знакомы с таким человеком!.. Ну, что за диво, что он смеялся, когда при нем стали говорить о предчувствиях и предсказаниях. Вот Сергей Михайлович вовсе не вольнодумец, а называет это вздором. Да и ты, Володя, что-то ухмыляешься: видно также не слишком этому веришь?

Я. Да, дедушка, прежде я этому не верил, но после одного случая...

Лаврентий Алексеевич. Вот что! Так и с тобою уж бывали случаи?

Кучумов. Еще бы! Ведь Владимир Николаевич не дома сидел. Мы с тобой были в Швеции и в Польше, а он до самого Парижа доходил. И помоложе нас, да больше видел.

Онегина. Что ж это был за случай такой?

Я. С одним сослуживцем моим и приятелем, которого я очень любил. Престранный случай!

Онегина. Так расскажите нам.

Лаврентий Алексеевич. В самом деле, Володя, потешь честную компанию — расскажи!

Я. Извольте, дедушка, только не прогневайтесь, — рассказчик-то я плохой.

Лаврентий Алексеевич. Ничего, любезный! Мы все люди добрые, не взыщем.

Предсказание

— Вы знаете, дедушка,— так начал я, обращаясь к Лаврентию Алексеевичу,— что в двенадцатом году меня не было при главной армии; я находился тогда в отдельном корпусе графа Витгенштейна и служил в сводном кирасирском полку, сформированном из запасных эскадронов кавалергардского и конногвардейского полков. Со мною служил в одном эскадроне поручик Порфирий Иванович Лидин. Мы шли весь поход вместе, на биваках спали в одном шалаше, на переходах всегда ехали рядом, одним словом, почти никогда не расставались. Лидин был несколькими годами постарее меня, собой прекрасный мужчина, отлично храбрый офицер, но тихий и скромный, как красная девушка. Я редко видал его веселым даже и тогда, когда ему случалось, ради компании, покутить со своими товарищами, то есть выпить лишний бокал шампанского. Другие офицеры чем больше пили, тем громче разговаривали, шумели и веселились, как говорится, нараспашку; а он с каждым новым стаканом вина или пунша становился все тише и молчаливее. Лидин очень любил музыку и сам играл прекрасно на флажолете, который всегда носил с собою.

Вот, если не ошибаюсь, пятого октября, то есть накануне полоцкого сражения, мы расположились биваками верстах в пятнадцати от Полоцка, из которого должны были на другой день во что б ни стало выжить французов. Зная, что нам придется вставать чем свет, мы с Лидиным поторопились напиться чайку и залегли в своем шалаше, чтоб выспаться порядком до утра; но сон дело невольное: прошло часа два, а нам не спалось. Лидин, который казался задумчивее обыкновенного, вынул из кармана свой флажолет и заиграл на нем похоронный марш.

— Да полно, Лидин! — сказал я.— Что ты отпевать что ль нас собрался? Чем бы тебе радоваться, что у нас завтра пир на весь мир...

— У нас! — повторил Лидин.— Нет, Владимир, разве у вас, а мне на этом пиру не пировать!

— Это почему?

— Потому, что мертвые не пируют.

— Да ведь ты, кажется, жив?

— Не надолго.

— А почему ты это думаешь? — спросил я.

— Да как тебе сказать,— промолвил Лидин, помолчав несколько времени.— Я бы сам ничего не думал, да вот тут кто-то над моим ухом шепчет: «Порфирий, насмотрись вдо-

воль на эти чистые, ясные небеса, полюбуйся этими яркими звездами, да и простись с ними навсегда! Другой уже ночи для тебя не будет!»

— Как тебе не стыдно, Порфирий! — сказал я. — Неужели ты веришь предчувствиям? Да это совершенная глупость, суеверие...

— Нет, Владимир, — отвечал Лидин, — если б я был суеверен, так мне бы и в голову не пришло, что меня завтра убьют. Ты не веришь предчувствиям, а веришь ли ты предсказаниям?

— Да это одно и то же, Порфирий; разница только в том, что если мы верим предчувствиям, так сами себя обманываем; а если верим предсказаниям, так нас обманывают другие. Да что, разве тебе было что-нибудь предсказано?

Лидин не отвечал ни слова. Я повторил мой вопрос.

— Да! — проговорил, наконец, мой товарищ. — Мне предсказано, что я умру не прежде, как увижу то, чего до сих пор, кажется, никто еще не видал, так, вероятно, и я не увижу.

— Что ж это такое?

— А вот послушай. Ты помнишь, что у нас был растах в уездном городе Невеле. Тебя послали вперед заготовлять фураж, а мне, вместе с артиллерийским капитаном Прилуцким, отвели квартиру у одного богатого купца. После сытного обеда, которым угостил нас хозяин, мы хотели было отдохнуть, как вдруг в сенях нашей квартиры поднялся шум.

— Эй вы! — закричал Прилуцкий. — Что у вас там?

— Да вот, ваше благородие, — сказал денщик Прилуцкого, входя в нашу комнату, — какая-то полоумная лезет сюда без докладу.

— Да кто она такая?

— А шут ее знает! Кажись, цыганка.

— Молоденькая? — спросил Прилуцкий.

— И, нет, ваше благородие! Старая карга; да рожа-то какая — взглянуть страшно!

— Что ж, она милостинку что ль просит? — сказал я.

— Никак нет, ваше благородие; хочет вам поворожить.

— Вот что! — молвил Прилуцкий. — Ну хорошо, пусти ее! Денщик сказал правду: во всю жизнь мою я не видал ничего безобразнее этой старой цыганки, и, судя по ее диким, бессмысленным глазам, ее точно можно было назвать полоумною.

— Послушай, голубушка, — сказал Прилуцкий, — мы люди военные, так нам не худо знать, вернемся ли мы живы и здоровы домой. Вот тебе на ладонку, — промолвил он, подавая ей двугривенный, — поворожи! Да прежде всего скажи, здорова ли моя жена и дети?

— Изволь, молодец,— проворчала цыганка.— Подай-ка мне свою ручку... Шутишь, барин,— продолжала она,— у тебя нет ни жены, ни детей, да и слава богу!

— А что?— спросил Прилуцкий.

— Да так!..

— А что, голубушка, что ж меня французы убьют что ль?

— Умирать-то всем надобно,— промолвила цыганка,— да только ты, молодец, умрешь не так, как другие.

— А как же он умрет?— прервал я.

— Да нечего сказать, не по-людски: он умрет, сидя верхом на медном коне.

Мы оба засмеялись.

— А мой товарищ?— спросил Прилуцкий.

Цыганка посмотрела мне на руку и сказала:

— И тебе, молодец, несдобровать; ты умрешь в ту самую минуту, как увидишь церковь Божию на облаках.

Разумеется, мы засмеялись громче прежнего.

— А если не увижу?— спросил я.

— Коли не увидишь, так тебе и смерти не видать.

— Вот что, Владимир, было мне предсказано,— промолвил Лидин, оканчивая свой рассказ.

— Какой вздор!— сказал я.— И ты называешь эти бессмысленные слова полоумной бабы предсказанием?

— Уж там как хочешь, Владимир,— отвечал Лидин,— а ведь Прилуцкого-то убили под Клястицами.

— Ну, что ж?

— Так ты не слыхал, как его убили? В ту самую минуту, как открылся огонь с одной маскированной неприятельной батареи и ему первым ядром оторвало голову, знаешь ли, что он сидел верхом?

— На медном коне?— прервал я.

— Да, почти; он сидел верхом на своей пушке, а ведь ты знаешь, что у нас в артиллерии чугунных пушек нет.

— Ну, конечно, случай довольно странный... Впрочем, если эта цыганка действительно предсказывает будущее, так тем лучше для тебя. Верхом на пушку сесть можно, можно даже по нужде назвать эту пушку медным конем, а построить церковь на облаках, воля твоя, уж этого никак нельзя.

— А вот увидим,— промолвил Лидин, принимаясь опять за свой похоронный марш.

Я повернулся на бок, закутался в шинель, заснул и, вероятно, по милости этой плачевной музыки, видел во всю ночь пренеприятные сны, особенно один, который я и до сих пор забыть не могу. Мне казалось, что я точно так же убит, как Прилуцкий, что меня хоронят со всеми военными почестями

и, вместо орденов, несут перед гробом на бархатной подушке мою оторванную голову.

Наш полк выступил в поход до рассвета. Часа три мы шли лесом по такой адской дороге, что я и теперь не могу вспомнить о ней без ужаса. Грязь по колено, кочки, пни, валежник, и на каждой версте два или три болота, в которых лошади вязли по самую грудь. Солнце взошло, а мы все еще не могли выбраться из этой трущобы, то есть пройти с небольшим верст десять. Мы все умирали от нетерпения, потому что наш авангард давно уж был в деле и мы слышали перед собой не только пушечную пальбу и ружейную перестрелку, но под конец, несмотря на беспрерывный гул, могли даже различать человеческие голоса и это родное громогласное «ура», с которым русские солдаты всегда бросаются в штыки. Вы можете себе представить, как весело было нам все это слышать и ничего не видеть!.. Вот нашему полку велели остановиться и дать вздохнуть лошадям. Потом мы прошли еще с полверсты; этот бесконечный бор стал редеть, запахло порохом, и мы выехали на опушку леса. Сначала мы ничего не видели перед собою, кроме обширной равнины и густого дыма, который стлался по земле, клубился в воздухе и волновался вдали, как необозримое море; но когда нас подвинули вперед, то мы стали различать движения колонн, атаки конницы и беспрерывную беготню наших и неприятельских застрельщиков, которые то подавались вперед, то отступали назад, в одном месте собирались в отдельные толпы, а в другом дрались врассыпную. Когда мы стояли на опушке леса, то видели только издали, как неприятельские ядра ломали деревья, или, бороздя и взрывая землю, с визгом взмывали опять на воздух, а теперь уж они ложились позади нас. Я еще никогда не бывал в деле, и поэтому, как вовсе не опытный новичок, был чрезвычайно вежлив, то есть встречал всякое неприятельское ядро пренизким поклоном. Товарищи надо мной подшучивали, да я и сам после каждого поклона смеялся от всей души. Лидин, казалось, вовсе не думал о том, что смерть летала над нашими головами. На грустном лице его не заметно было ни малейшей тревоги; он был только бледнее и задумчивее обыкновенного. С правой стороны, шагах в пятнадцати от нашего полка, начиналась мелкая, но занимающая большое пространство и очень густая зарость. Лидин смотрел уж несколько минут, не сводя глаз, на этот кустарник.

— Владимир,— сказал он,— погляди, вот прямо, сюда... Что это?.. Показалось что ль мне? Ты ничего не видишь?

— Ничего,— отвечал я.

— Вот опять,— продолжал Лидин.— Вон за березовым кустом... Ты не заметил?

— Да что такое?

— В этом кустарнике кто-нибудь да есть.

— Вероятно, наши егеря.

— Так зачем же на них синие мундиры?

— И, что ты? — сказал я.— Да как попасть сюда французам?.. Помилуй, позади наших колонн!

— Егеря! — проговорил вполголоса Лидин.— Ну, может быть, да только не наши. Мне показалось, что и кивера-то этих русских егерей очень походят на французские.

— Ну, вот еще! — прервал я.— Да как можно отсюда отличить русский кивер от французского?.. Полно, Порфирий... Конечно, и я слышал, что эти наполеоновские волтижеры большие проказники; но уйти за две версты от своей передовой линии — нет, воля твоя, уж это было бы слишком дерзко!

Лидин не отвечал ни слова и продолжал смотреть на кусты.

— Ты бывал когда-нибудь в Полоцке? — спросил я, помолчав несколько времени.

— Бывал,— отвечал Порфирий.

— Ведь он должен быть близко отсюда?

— Да, недалеко.

— Что ж мы его не видим?

— Его не видно за дымом.

— За дымом? Так он должен быть вон там,— сказал я, указывая на дымные облака, которые, сливаясь в одну огромную черную тучу, закрывали перед нами всю нижнюю часть небосклона.

Лидин кивнул головой.

— Постой, постой! — продолжал я.— Вот, кажется, поднялся ветерок, так, может быть, этот невидимка, Полоцк выглянет из своей засады.

В самом деле, облака стали расходиться, в вышине засверкали золотые кресты, дымная туча рассеклась надвое и посреди ее разрыва обрисовался, облитый солнечными лучами белый иезуитский костел со своим высоким куполом.

— Ах, какая прелесть! — вскричал я невольно. — Посмотри, Лидин, — точно театральная декорация!.. Не правда ли, что этот костел стоит как будто бы на облаках?

Лидин вздрогнул, протянул мне руку и сказал твердым голосом:

— Прощай, Владимир!

В эту самую минуту по опушке кустарника пробежал дымок, замелькали огоньки и пули посыпались на нас градом. Лидин тяжело вздохнул и упал с лошади. Это был последний его вздох: пуля попала ему прямо в сердце.

Кучумов. Вот изволите видеть!.. Так и выходит, что цыганка-то отгадала. Ну, что вы на это скажете, Сергей Михайлович?

Онегин. Да то же, что говорил прежде: случай, и больше ничего.

Лаврентий Алексеевич. Случай! У вас, господа, все случай. А вот если я расскажу вам, что было со мной, так уж этого никак нельзя назвать случаем. Ты помнишь, Игнатий Федорович, — это, кажется, было в апреле месяце, после взятия краковского замка, который захватили обманом конфедераты?

Кучумов. Как не помнить! Мало ли тогда об этом толков было. Одни говорили, что ты, отправляясь за приказаниями, слишком понагрузился, сиречь хлебнул через край; другие вовсе верить не хотели, а наш полковой лекарь, Адам Карлыч, стоял на том, что у тебя на тот раз была белая горячка.

Лаврентий Алексеевич. Да я разве был один? А вахмистр Бубликов, а фурман?..

Кучумов. Адам Карлыч говорил, что у вас у всех троих была белая горячка.

Лаврентий Алексеевич. У всех троих в одно время?.. И нам троим все одно и то же мерещилось?.. Да это было бы еще чуднее того, что мы видели.

Кучумов. А что вы такое видели?

Лаврентий Алексеевич. Если хотите, так я завтра вам расскажу, а теперь уж поздно, пора ужинать. Да вот и Кузьма пришел доложить, что кушанье готово. Милости просим, гости дорогие!

Лаврентий Алексеевич подал руку княжне Пелагее Степановне; я, как ловкий петербургский кавалер, подвернулся к Наталье Кирилловне Онегиной, и мы все отправились в столовую.

Канцелярист

— ...Ну, вот какой был со мною случай,— сказал Игнатий Федорович Кучумов, кладя на стол свою трубку.— Это, помнится, было в тысяча семьсот девяносто четвертом году. Я жил тогда в моем селе, верстах в десяти от Курска. Вот слышу, что в губернском городе хотят строить новые присутственные места и вызывают на торги желающих взять на себя поставку кирпича. У меня на ту пору был изрядный кирпичный заводишка... Чего же лучше? В нашей стороне не скоро дождешься такого сбыта,— поеду торговаться! И уж, верно, поставка останется за мною,— ведь я больших барышей не хочу: нашему брату, дворянину, стыдно казну грабить. Сосед мой, Сергей Кондратьевич Барсуков, крепко мне отсоветовал брать на себя эту поставку. Да я и слушать его не стал.

— Эх, Игнатий Федорович,— говорил он мне,— не за дворянское ты дело берешься! Какой ты подрядчик? Ты любишь жить барином: летом и осенью гуляешь по отъезжим полям, а зимою задаешь банкеты в губернском городе. Нет, друг сердечный, коли хочешь быть подрядчиком, так не прогневайся: надевай-ка сам армяк да ступай к себе в приказчики, дворянскую-то спесь под лавку: тому поклонись, тут подмажь...

Я не дал ему договорить.

— Господи боже мой! Чтоб я пустился на такие воровские дела... И ради чего я стану это делать? Хороший кирпич и без этого примут, а дурной пускай себе бракуют. Вот нашел человека! Стану я подкупать приемщиков и обманывать нашу матушку Царицу!..

Сергей Кондратьевич покачал головой и, прощаясь со мной, сказал:

— Эй, Игнатий Федорович, припомни мое слово: наплачешься ты с этой поставкой; конечно, честь твоя при тебе останется, да останутся ли за тобой твои деревеньки?..

Нечего сказать: умный был старик, дай бог ему царство небесное! Не хотел я, глупый сын, слушать его разумных речей,— да зато после и каялся.

Я поехал в Курск, явился в губернское правление,— торги еще не начинались. Гляжу, стоят четверо подрядчиков, что не первые мошенники в городе. Как я вошел в канцелярию, они меж собой перемигнулись, а я думаю про себя: «Что, ребята, видно, я для вас не гостинец?.. Небось, теперь стачки не будет,— не станете вы, плуты, казну-то обирать!» Вот они меж собой пошептались, и один из них, купец третьей гильдии, Парамонов, такой осанистый, с толстым брюхом и окладистой седой бородой, подошел ко мне, поклонился низехонько

и говорит: «Ваше высокоблагородие, вы также изволите нашим делом заниматься — сиречь касательно сегодняшней поставки?»

— Да, любезный,— отвечал я,— мы с вами поторгуемся.

Купец поглядел вокруг себя, подошел ко мне поближе и сказал вполголоса:

— А что, батюшка, ваше высокоблагородие! Не лучше ли, знаете ли, этак на мировую?.. Вы, сударь, богатый помещик, что вам в наши торговые делишки мешаться? Что толку-то, батюшка, коли вы цену собьете,— казну не удивишь; у нее шея-то потолще нашей. Не торгуйтесь, ваше высокоблагородие, а мы бы вам отсталого дали...

Я вспыхнул и, помнится, ругнул порядком этого краснобая, а он как ни в чем не бывало погладил свою бороду, поклонился мне в пояс и пошел опять толковать со своими товарищами. Вот приехал губернатор, и торги начались... Батюшки, какая пошла резня! Купцы спускают по гривне, а мое дело дворянское,— дойдет очередь до меня, кричу: «рубль!» Вот они стали спускать по копеечке — и я съехал на полтину... Глядь-поглядь, а уж цена-то больно мелка становится. Мои купчики начали переминаться: у одного в горле пересохло, с другим перхота сделалась, а я себе и в ус не дую. Поверите ль, в такой пришел азарт, что света божия не вижу; ну точно как будто бы опять на штурме Измаила,— выпучил глаза, да так и лезу. «За вами, Игнатий Федорович! — сказал губернатор.— Честь имею поздравить!» Я посмотрел на торговый лист... Фу, батюшки, разбойники-то меня вовсе в нитку вытянули! А делать нечего, поставка за мной... Отправился я в свое село, построил еще два кирпичных сарая, нанял работников, приставил к ним приказчика; казалось, человек хороший, а вышел пьяница и сущий негодяй. Сначала все шло порядком; вот и думаю: «Приказчик у меня малый честный, досужий, пойдет и без меня!..» Дал ему на расход денег, а сам поехал в мою здешнюю вотчину, да все лето и всю осень проохотился. По первому пути я отправился опять в Курскую губернию, приехал в мое село, приказчик сейчас ко мне явился.

— Ну, что, братец, поставка? — спросил я.

— Кончено, сударь.

— Совсем?

— Совсем, Игнатий Федорович?

— Ну, слава богу! Так браковка была небольшая?

— Да, почитай, на половину.

— На половину? Как же ты говоришь, что поставка кончена?

— Кончена, сударь; только половина-то кирпичей куплена на ваш счет, и с вас взыщут двадцать пять тысяч рублей.

— Помилуй, да вся поставка была в тридцать тысяч!..

— То с подряду, сударь, а ведь на наш счет покупали кирпич по вольным ценам.

Двадцать пять тысяч! Господи боже мой!.. Да где их возьмешь? ...Вот тебе и кирпичики.

— Что ж ты мне об этом не писал, разбойник? — сказал я приказчику.

— Писал, сударь, да от вас никакой отповеди не было: видно, мои письма до вас не доходили.

Мошенник этакий!.. Я узнал после, что он ни одного письма ко мне не писал и что всем делом заправлял безграмотный староста Никита, а он погуливал на мои денежки, да с утра до вечера из кабака не выходил.

На другой день я отправился в город и заехал по дороге к соседу моему Барсукову.

— Ну вот, Игнатий Федорович, — сказал мне Барсуков, — не говорил ли я тебе, что ты наплачешься с этой поставкой? Мне третьего дня губернатор сам изволил говорить, что если ты не внесешь двадцати пяти тысяч, так твое именье продадут с публичного торгу. Коли можешь внести, так поторопись, любезный, а не можешь, так десять тысяч я тебе дам, а уж остальные пятнадцать попытайся где-нибудь занять в городе; авось найдешь!

Я поблагодарил Сергея Кондратьевича, отправился в Курск, объездил всех знакомых, — все обо мне сожалеют, а денег никто не дает.

На другой день, поутру, поехал я к губернатору; гляжу, в приемной стоит купец Парамонов — тот самый, что на торгах давал мне отступного.

— Что, ваше высокоблагородие, — сказал он, — не угодно ли вам будет продать мне кирпичиков? Мне сказывали, что казна у вас забраковала без малого половину всей пропорции; так остаточек должен быть не малый... Я вам, сударь, заплачу по вашей же подрядной цене.

— А на что тебе, любезный, мои кирпичики? — спросил я.

— Есть казенная поставочка, ваше высокоблагородие! Чай, и вы изволили слышать: у нас собираются строить новую соборную колокольню.

— И ты хочешь купить у меня бракованный кирпич?

— Ничего, сударь! Наше дело торговое — сойдет! Я возьму у вас изрядное количество, — хоть на пятнадцать тысяч, только деньги заплачу не прежде двух месяцев, а теперь угодно вам получить тысячу рублей задатку? — продолжал купец, вы-

нимая из-за пазухи огромный бумажник, набитый ассигнациями.

Разумеется, я согласился на его предложение. Вот меня позвали к губернатору: он повторил мне то же, что я слышал от моего соседа Барсукова.

— Ваше превосходительство,— сказал я,— теперь у меня и половины этой суммы нет, и прежде двух месяцев я не могу никак внести все эти деньги сполна; так нельзя ли как-нибудь отсрочить?

— Я уж об этом вчера писал к моему начальству,— отвечал губернатор.— А всего лучше поезжайте-ка сами в Петербург да похлопочите; и коли ответ на мое представленье должен быть неблагоприятный, так уж это ваше дело, постарайтесь, чтоб его там позадержали. До получения указа мы здесь ни к чему не приступим,— станем дожидаться, а время-то идет да идет.

Что будешь делать! Хоть мне вовсе не хотелось ехать такую даль, и, может статься, по-пустому, а думать-то нечего: скорей в поход! Я взял подорожную, приехал через неделю в Петербург и остановился там у одного приятеля, который был знаком с секретарем того присутственного места, где производилось мое дело. Он дал мне записочку к этому чиновнику. Вот на другой день я надел мой штаб-офицерский мундир и явился в присутственное место; скинул в прихожей мою шубу, отдал ее Ваньке и вошел в канцелярию. Гляжу, за столами сидят разные лица,— одни пишут, другие беседуют меж собою; я всем поклон, а мне никто. Спрашиваю у одного из этих неучей, где господин секретарь? — молчит. Я к другому — и тот поглядел на меня, протер свои очки, пробормотал что-то под нос и отвернулся в другую сторону... Экий народец, подумаешь, и слова-то даром не хотят сказать! Гляжу, за одним столом сидит молодой парень, собою больно некрасив, такой черномазый; кафтанишка на нем затасканный, рукава коротенькие, рожа небритая, ну точь-в-точь как все наши курские подьячие. «Авось,— думаю,— добьюсь от него толку; кажись, барин небольшой». Я подошел к нему и спросил, где мне найти секретаря.

— Он теперь в присутствии,— отвечал очень вежливо этот чиновник.— Сейчас выйдет! Да не угодно ли вам отдохнуть? — продолжал он, подвигая ко мне порожний стул. Я присел, мы с ним поразговорились; я рассказал ему мое дело, а от него узнал, что он служит пятый год канцеляристом и надеется скоро быть сенатским регистратором.

— Вот и его высокоблагородие г. секретарь,— сказал канцелярист, указывая мне на пожилого человека, который вышел из присутствия. Секретарь принял от меня записку, прочел и,

пожав плечами, объявил мне, что не может ничего для меня сделать.

— Это уж дело решенное,—сказал он,—указ подписан, сегодня сойдет в регистратуру, а завтра имеет быть отправлен в курское губернское правление, которому строго предписывается приступить немедленно к продаже вашего имения.

— Нельзя ли как-нибудь приостановить ход этого дела?—промолвил я.

— Невозможно. Начальник у нас человек строгий, исполнительный, и если что заберет себе в голову,—так не прогневайтесь!

— Да неужели этого дела нельзя ничем поправить?

— Я думаю, что так. Оно, конечно, если б его превосходительство захотел, так можно бы... Да человек-то он не такой, барин знатный, богат, с ним, сударь, не сговоришь.

— Нельзя ли мне самому дойти до его превосходительства?

— Доложить о вас можно, я сейчас прикажу. Только из этого ничего не выйдет.

— Уж так и быть, позвольте!.. Попытка не шутка...

— Как вам угодно.

Обо мне доложили и этак через полчаса пригласили в присутствие. Фу, батюшки!.. Что за великолепие такое!.. Ну, это уж не наше курское правление!.. Стены расписаны сусальным золотом, все кресла обиты бархатом, зеркала в узорчатых рамах... За красным сукном сидят, не нашим советникам чета, особы важные,—у кого в петлице, у кого на шее... А главный-то начальник—так уж подлинно барин, вельможа истинный! Человек рослый, дородный, лицо полное, с подбородком; высокие, черные брови дугою—в кавалерии! ...Сидит так важно—одна нога закинута на другую; в правой руке золотая табакерка с камнями, левая заткнута за камзол... что греха таить,—на первых порах я сробел немножко, да скоро оправился... Что, в самом деле, мы и на штурмы ходили!.. Я поклонился всем присутствующим, подошел к начальнику и сказал:

— Честь имею явиться, ваше превосходительство, секунд-маиор Кучумов.

— Что вам угодно, государь мой?—спросил начальник, ударив двумя пальцами по своей табакерке.

— Да милости приехал просить, ваше превосходительство,—и если вам угодно будет меня выслушать...

— Прошу покорно!

Вот я пошел,—и так, и так, и так... Гляжу, его превосходительство то губы надует, то брови подымет кверху, то спустит их вниз, а слушает внимательно.

— Очень сожалею, государь мой,— промолвил он, когда я кончил мой рассказ,— но отсрочки вам дать нельзя: это дело решенное.

— Да известно ли вашему превосходительству, что я потерпел все эти убытки от моего усердия к казне?

Его превосходительство улыбнулся.

— Убытки! — повторил он.— То есть вместо рубля на рубль вы нажили только полтину? Нет, государь мой, извольте это говорить другим, а я знаю, как у нас подрядчики-то разоряются, и с каким усердием они обирают казну...

— Позвольте доложить, ваше превосходительство...

— Извините, я очень занят... не угодно ли! — промолвил он, кивнув головою и указывая рукою на дверь, сиречь: милости просим вон!.. Признаюсь, у меня краска выступила на лице! Обидно!.. Ведь я хоть лыком шит, а все-таки камзол-то у меня в позументах. Он генерал!.. Да и я не обер-офицерик какой-нибудь... А делать нечего, ведь это не у нас в губернии, заедаться не станешь. Я вышел из присутствия, только никому не поклонился, видит бог, никому! Прошел не останавливаясь всю канцелярию; гляжу, в прихожей разговаривает с моим человеком тот самый канцелярист, который так ласково со мной обошелся.

— Что с тобой говорил этот черномазый? — спросил я Ваньку, когда мы вышли в сени.

— Да все выпытывал, сударь, где вы изволите жить.

— На что ему?

— А кто его знает?

Я приехал домой, спросил себе позавтракать; вдруг шасть ко мне в комнату — все тот же канцелярист.

— Не прогневайтесь, Игнатий Федорович,— сказал он,— что я незваный к вам приехал.

— Ничего, батюшка! Милости просим! Садись-ка, любезный, да не прикажешь ли чего-нибудь?..

Канцелярист присел, выпил рюмку водки, закусил и говорит мне:

— Я приехал, Игнатий Федорович, потолковать о вашем деле.

— Да что о нем говорить? — сказал я.— Напрасно только я исхарчился и к вам в Питер приезжал.

— Почему знать, Игнатий Федорович!.. Ведь вы деньги внести можете, только не прежде двух месяцев?

— На шесть бы недель помирился, да и того не дают.

— Бог милостив, сударь! По мне так дело-то ваше поправное.

— Поправное? Уж не ты ли его, голубчик, поправишь?

— А почему же нет, Игнатий Федорович?

— Что ты, что ты, любезный, перекрестись! Секретарь ничего не мог сделать — ваш генерал наотрез отказал; а ты, простой писец и канцелярист...

— И, сударь, да какое вам дело до моих чинов, лишь только бы отсрочку-то вы получили, а вы ее наверно получите. Да что из пустого в порожнее переливать!.. Давайте-ка лучше на чистоту...

Что, Игнатий Федорович, дадите ли пятьсот рублей?..

Я так и помер со смеху.

— Вот с чем подъехал!.. Да что я за дурак такой? Дам я тебе пятьсот рублей, за что?

— Уж я вам докладывал: за то, чтоб иметь два месяца отсрочки!

— Да, да, как же, подставляй карман! За пятьсот рублей ты мне, пожалуй, золотые горы посулишь, а как приберешь денежки к рукам, так тебя и поминай как звали!

— А вот позвольте: вы мне пожалуйте пятьсот рублей, а я вам расписку дам, в которой будет сказано, что эти деньги я обязан вам возвратить по первому востребованию. Если я ваше дельце обработаю, так вы мне расписку отдадите, а если нет, то вам все-таки опасаться нечего: ведь я у вас в руках.

Что за пропасть такая!.. Говорит так утвердительно... Неужели в самом деле?.. Да нет, быть не может!..

— Послушай, любезный,— сказал я,— если хочешь, чтоб я тебе поверил, так объясни мне прежде, как ты это сделаешь?

— Нельзя, Игнатий Федорович! Штука-то больно простая: коли я скажу, так вы, может быть, пятьсот рублей пожалеете. Да извольте быть благонадежны,— что господь даст больше, а уж на два-то месяца я вам головой ручаюсь.

Вот я подумал, подумал, что в самом деле, ведь не разорят же меня пятьсот рублей?.. Была не была — пущусь на удалую! Я отсчитал ему сполна все деньги, а он дал мне расписку и отправился. Моего хозяина целый день не было дома: когда он приехал, я рассказал ему обо всем.

— Что это, Игнатий Федорович,— закричал мой приятель,— тебе еще нет пятидесяти лет, а ты уж совсем из ума выжил! Кому ты дал пятьсот рублей?.. Эка важность — канцелярист, последняя спица в колеснице!.. Ну, что он может для тебя сделать? Эх, любезный, плакали твои денежки!

— Да у меня есть расписка.

— Куда ты с нею сунешься? Почему ты знаешь, свое ли он и имя-то подписал?

— А разве я не знаю, где он служит?

— Да, ищи его теперь в присутствии! И что ты объявишь? «Я, дескать, дал ему пятьсот рублей». За что? Ну-ка скажи!.. Разве ты не знаешь, что взяточник и тот, кто взятку дал, под одним состоят указом? Его обвинят, да и тебя не помилуют.

Я всю ночь не мог заснуть: и денег жаль, и досадно, что дал себя так обмануть. На другой день, часу в десятом, я отправился опять в присутствие; вошел в канцелярию — так и есть: злодея моего нет, а прямо ко мне идет навстречу секретарь.

— Вы, сударь,— спросил он,— опять приехали по вашему делу?

— Да-с,— отвечал я,— мне нужно кой о чем справиться.

— Напрасно беспокоились: указ о продаже находящегося в залоге села вашего послан сегодня в курское губернское правление, и я советовал бы вам отправиться скорее в Курск. Если уж нельзя никак спасти ваше именье, так постарайтесь, по крайней мере, чтоб оно за бесценок не пошло.

Меня так в жар и бросило... Проклятый канцелярист!.. Ну, Игнатий Федорович!.. Как это ты до штаб-офицеров дослужился?.. Дурак набитый!.. За что бросил пятьсот рублей?.. А туда ж в подряды лезет!.. По делам хлопочет!.. Сидел бы у себя дома, да зайцев травил, простофиля этакий!.. Я велел ехать к себе на квартиру. Вхожу в комнату — ба, ба, ба!.. Мой канцелярист тут!..

— Что, голубчик,— сказал я,— деньги принес?

— Никак нет, Игнатий Федорович,— я приехал за распиской.

— За распиской?..

— Да, сударь. Ваше дело кончено.

— Знаю, батюшка, что кончено; указ о продаже моего села отослан сегодня на почту!

— Отослан, Игнатий Федорович; ведь все казенные пакеты надписываю и отправляю на почту я, это по моей части.

— Да ведь в этом указе отсрочки мне не дают?

— Не дают, Игнатий Федорович.

— Так за коим же чертом ты изволил ко мне пожаловать?

— А вот позвольте! — сказал канцелярист, вынимая из кармана какую-то книжку в бумажной изорванной обертке.

— Это что? — спросил я.

— Документ, сударь.

— Документ? Какой документ?

— А вот сейчас увидите,— сказал канцелярист, перелистывая книжку.

— Постой-ка, любезный,— прервал я,— ведь это кажется... ну так и есть... старый календарь!

— Это так, сударь.

— Да что ж ты, господин канцелярист, иль смеешься надо мной?

— Сохрани господи! Что вы это, Игнатий Федорович!.. Не угодно ли вам прочесть вот тут, где подчеркнуто карандашом.

Я взял календарь и прочел:

«Иркутск — областной город, расстоянием от Санкт-Петербурга шесть тысяч двадцать пять верст»...

— То есть,— прервал канцелярист,— туда месяц езды, да назад столько же.

— Ну так что ж? — спросил я, глядя с удивлением на канцеляриста.

— А вот что, сударь: когда я надписывал пакет о вашем деле, так, видно, второпях, ошибся и надписал, вместо Курска, в Иркутск.

У меня руки так и опустились... Ну!! Подлинно штука простая, а поди-ка выдумай!

— Однако ж, любезный,— сказал я,— меня ты из петли вынул, да не попадись сам в беду; как этот пакет пришлют обратно из Иркутска, так, я думаю, тебя по головке не погладят!

— Да и казнить, Игнатий Федорович, не станут; посадят недельки на две под арест — вот и все.

— Ну то-то, брат,— смотри!

— Помилуйте,— ошибка в фальшь не ставится... И что за важность такая?.. Курск — Иркутск, да тут как раз ошибешься.

— Вот твоя расписка,— молвил я, прощаясь с канцеляристом.— Ну, нечего сказать: умен ты, любезный!

— И, сударь,— проговорил с большим смирением канцелярист,— такие ли бывают умные люди! Я что: пятый год служу, а еще лошаденки не завел.

— А, чай, теперь,— промолвил Игнатий Федорович, принимаясь опять за свою трубку,— давным-давно в карете разъезжает.

М. Н. ЗАГОСКИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ





С. Т. АКСАКОВ

Биография Михаила Николаевича Загоскина[1]

Род Загоскиных принадлежит к одной из старинных дворянских фамилий. В родословной книге князей и дворян российских, составленной по *бархатной книге* и изданной «по самовернейшим спискам» в 1787 году, сказано: «Загоскины выехали из Золотой Орды. Выехавший назывался Захар Загоско, а от него и родовое название принято». Михаил Николаевич Загоскин родился 14 июля 1789 года, Пензенской губернии и уезда, в селе Рамзае, принадлежавшем тогда его отцу. Загоскин воспитывался в деревне до четырнадцатилетнего возраста; в детстве его уже замечена была в нем необыкновенная, не часто встречаемая в детях, страстная охота к чтению, вследствие которой скоро оказалась склонность и способность сочинять самому. Одиннадцати лет он написал повесть под названием «Пустынник», которая начиналась небольшим предисловием, где сочинитель просил читателей и читательниц «быть снисходительными к его сочинению, приняв в уважение, что автор повести одиннадцатилетний юноша». Последние строки уже показывают, что этот юноша много читал и заимствовал авторский прием. Повесть «Пустынник» была так недурно написана для мальчика (хотя он и называл себя юношей), в ней столько было оригинальных мыслей и приемов (так казалось окружающим), что многие, которым отец Загоскина давал читать ее, не хотели верить, чтобы это было написано *Мишей,* как называли его в семействе, в кругу родных и близких знакомых. Ободренный блистательным успехом, одиннадцатилетний автор продолжал пи-

[1] При составлении этой статьи я основывался, особенно до 1815 года, на записке, сообщенной мне братом покойного, Маркелом Николаевичем Загоскиным. С 1826 г., живя постоянно в Москве и находясь в самых близких отношениях с автором «Юрия Милославского», я уже рассказываю то, что видел и слышал сам; разные документы и письма были доставлены мне сыном Загоскина, С. М. Загоскиным *(Прим. С. Т. Аксакова).*

сать; но все его сочинения, до первой печатной комедии, пропали, и впоследствии Загоскин очень жалел о том, единственно для себя, любопытствуя знать, какое было направление его детского авторства. Уцелела только одна трагедия в трех действиях «Леон и Зыдея», написанная какими-то «силлабическими» стихами с рифмами. Произведение совершенно детское, вероятно предупредившее повесть «Пустынник». Охота к чтению и жажда к знаниям были в нем так сильны, что он, живя в деревне, мало разделял обыкновенные детские забавы своих сверстников, хотя от природы был резов и весел; ребяческой проказливости он не имел никогда, всегда был богомолен и любил ходить в церковь. Почти все свое время посвящал он книгам, так что окружавшие боялись, чтобы от беспрестанного чтения он не потерял совсем зрение, которое и тогда было слабо, почему и были вынуждены отнимать у него книги; но любознательный мальчик находил разные средства к удовлетворению своей склонности. Между прочим он употреблял следующую хитрость: когда отец его входил в свой постоянно запертый кабинет, в котором помещалась библиотека, и оставлял за собою дверь незапертою, что случалось довольно часто, то Миша пользовался такими благоприятными случаями, прокрадывался потихоньку в кабинет и прятался за ширмы, стоявшие подле дверей; когда же отец, не заметивши его, уходил из кабинета и запирал за собою дверь — Миша оставался полным хозяином библиотеки и вполне удовлетворял своей страсти; он с жадностью читал все, что ни попадалось ему в руки, и не помнил себя от радости. Он оставался в кабинете иногда по нескольку часов, то есть до прихода отца; при первом звуке ключа он прятался опять за ширмы, и когда отец принимался сам за чтение или за письменные дела, Миша уходил потихоньку и нередко уносил недочитанную книгу. Наконец хитрость эта была открыта; предаваясь чтению с самозабвением, он не расслышал отворяющейся двери и был пойман отцом на месте преступления, с книгою в руках. Отец, видя в сыне такое необыкновенное стремление к чтению и образованию, чего, конечно, не мог не одобрить, разрешил ему брать книги из библиотеки с его позволения; книги выбирались преимущественно исторические, и молодой Загоскин мог удовлетворять свободно своей склонности, не предаваясь однако ей с излишеством, за чем уже наблюдали постоянно.

Доброта и вспыльчивость были отличительными качествами Загоскина в самых ранних детских летах. Вот пример того и другого: маленький Загоскин любил читать, лежа на диване и лакомясь изюмом и коринкой; один из меньших братьев часто влезал к нему на диван, начинал его трогать, щипать

и просить ягод; Загоскин отдавал часть лакомства с просьбою не мешать ему; через несколько минут маленький шалун опять являлся с прежними докуками; Загоскин отдавал весь изюм и коринку с условием: не входить к нему в комнату и не мешать его чтению; но через несколько времени, истребив весь запас лакомства, брат снова отворял дверь — и тогда Загоскин, вспылив, вскакивал с дивана, бросал книгу и принимался таскать за волосы неотвязчивого ребенка; впоследствии он любил этого брата с особенною нежностью.

Так шли дела до 1802 года. В это время Михайла Николаевич Загоскин, по 14 году, был отправлен отцом в Петербург, где и начал свою службу в канцелярии государственного казначея, куда определился канцеляристом в 1802 году 15 мая; оттуда перешел он служить в Горный департамент; потом был перемещен в Государственный заемный банк, и в 1811 году опять перешел в Департамент горных и соляных дел помощником столоначальника, в чине губернского секретаря. Очевидно, что статская служба Загоскина подвигалась вперед медленно. Наконец наступил 1812 год, загорелась отечественная война, и Загоскин, оставив статскую службу, записался 9 августа в петербургское ополчение. Нельзя предположить, чтоб в это десятилетнее пребывание и служение в Петербурге Загоскин не занимался литературою. К сожалению, никаких точных сведений я об этом получить не мог.

Знаю только положительно, что именно в это время Загоскин старался вознаградить недостаток своего образования, что, при вступлении в военную службу, он знал уже по-французски и несколько по-немецки. Знаю также и то, что именно в это время Загоскин очень нуждался в средствах к существованию и что нередко находился в совершенной крайности вместе с своим верным дядькой и слугой, Прохором Кондратьичем, которого вывел впоследствии в романе «Мирошев».

Кто знал Загоскина, хотя не в молодых годах, тот может судить, каким пылким молодым человеком был он на 24-м году своей жизни, когда вступил офицером в ряды петербургского ополчения, в корпус графа Витгенштейна. С детских лет, имея по преимуществу русское направление и пылкую натуру, он горел нетерпением запечатлеть кровью свою горячую любовь к отчизне; в сражении под Полоцком он был ранен в ногу и получил за храбрость орден Анны 3-й степени на шпагу. По излечении раны он возвратился к своему полку и по желанию графа Левиса был назначен к нему адъютантом; в этой должности находился он до сдачи Данцига, то есть до окончания войны. С прекрасной наружностью, внушавшей расположение и доверенность, вспыльчивый, живой, откровенный, добрый

и постоянно веселый, Загоскин был любим товарищами и всеми его окружавшими. Истинный русак, исполненный добродушного комизма, он имел множество самых смешных столкновений с немцами в продолжение долгой осады Данцига. Он любил об этом рассказывать даже в немолодых своих годах, и рассказывал так оригинально, живо и забавно, что увлекал всех своих слушателей, и громким смехом выражалась общая искренняя веселость. Некоторые происшествия, описанные Загоскиным в четвертом томе «Рославлева», действительно случились с ним самим или с другими его сослуживцами, при осаде Данцига.

После сдачи Данцига ополчение было распущено, и Загоскин, не желая продолжать военной службы, для чего он мог бы перейти в какой-нибудь армейский полк, отправился в Россию, на свою родину, в Пензенскую губернию, в свой любимый Рамзай, где, хотя на короткое время, обратился снова к прежним, дорогим его сердцу, занятиям: чтению и сочинению. Там в первый раз попробовал он себя на поприще драматическом и написал комедию в одном действии под названием «Проказник». Многие из тех, кому он читал свою пиесу, очень ее хвалили; но молодой автор не мог иметь доверенности к своим судьям; а потому по приезде своем в Петербург, в самом начале 1815 года, где он поступил опять на службу в тот же Департамент горных и соляных дел, тем же помощником столоначальника — Загоскин решился отдать на суд свою комедию известному комическому писателю, князю Шаховскому, хотя и не был с ним знаком. К такому поступку побудили его следующие причины: он не знал лично никого из петербургских сочинителей, на чье суждение мог бы положиться; кн. Шаховской был тогда в большой славе, и все его пиесы игрались на театре с блистательным успехом; наконец, самое важное обстоятельство — князь Шаховской служил при театре репертуарным членом, и от него вполне зависели принятие театральных пиес и постановка их на сцену. Скромный Загоскин, не будучи уверен в своем таланте, никак не мог решиться приехать прямо к князю Шаховскому; он написал к нему письмо от неизвестного, в котором просил: «прочесть прилагаемую пиесу и, приняв в соображение, что это первый опыт молодого сочинителя, сказать правду: есть ли в нем талант и заслуживает ли его комедия сценического представления? Если нет, то, не спрашивая об имени автора, возвратить рукопись человеку, который будет прислан в такое-то время». Этот человек — был сам Загоскин. Я не знаю этой пиесы: ее играли на театре с посредственным успехом, и она никогда не была напечатана; но впоследствии я слышал от князя Шахов-

ского, что он был приятно изумлен, когда между десятками бездарных произведений попалась ему в руки эта небольшая комедия, в которой он заметил много живости и неподдельной веселости. Князь Шаховской, разумеется, не возвратил ее, а просил, также через письмо, отданное самому Загоскину, пожаловать неизвестного автора к нему, прибавляя, что он находит пиесу весьма хорошо написанною и что очень желает лично познакомиться с сочинителем. Обрадованный Загоскин, часа через два, явился к знаменитому тогда драматургу и был им очень обласкан. С этих пор началось его знакомство с князем Шаховским, перешедшее потом в самую близкую и дружескую связь. В том же 1815 году, вскоре после появления на сцене большой комедии князя Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокеткам», которая, несмотря на блестящий сценический успех, нашла много порицателей, Загоскин написал комедию в 3-х действиях «Комедия против комедии, или Урок волокитам», представленную в Петербурге на малом театре в пользу актера Брянского 3 ноября 1815 года. Эта пиеса написана Загоскиным, который всегда уважал талант князя Шаховского, а теперь сделался одним из самых жарких его почитателей,—в защиту комедии «Липецкие воды», о чем и сам автор говорит в предисловии. Очевидно, что в литературном мире жестоко нападали на «Липецкие воды». Хотя публика не слушала этих нападений, хотя во время представления этой комедии театр всегда был полон и беспрестанно раздавались громкие рукоплескания, но Загоскину были так досадны выходки противников князя Шаховского, что он решился высказать на сцене в защиту «Липецких вод» все то, что можно было изложить в длинной полемической статье—и он написал «Комедию против комедии». Действуя тогда по горячему душевному убеждению (как и во всю свою жизнь), Загоскин своей комедией вооружил против себя большую часть тогдашних литераторов, что также можно видеть из предисловия к пиесе, написанного через год после ее представления на сцене, где она имела значительный успех. Для объяснения такого противоречия между успехами князя Шаховского на сцене, в публике светской, и гонений в кругу литературном, надобно сказать несколько слов о тогдашних литературных партиях. Князь Шаховской был славянофил того времени, шишковист, то есть принадлежал к партии Александра Семеновича Шишкова, весьма немногочисленной, но упорной и горячей. Название славянофильства было дано и употреблялось тогда так же неверно, как и теперь: это просто было и есть—русское направление. Шишков книгою своей «Рассуждение о старом и новом слоге» уже давно вооружил против

себя и против своих единомышленников почти всех литераторов, обиженных нападениями на Карамзина и его последователей. Но на князя Шаховского сердились даже более, чем на самого Шишкова, именно за комедию «Новый Стерн», в которой было осмеяно карамзинское чувствительное направление. Эту маленькую пиесу, которую теперь знают весьма немногие из молодого поколения литераторов, тогда знала вся читающая публика и хлопала ей на сцене без милосердия. Книга Шишкова забывалась понемногу, а «Новый Стерн», написанный недавно, игрался часто на театре.

В комедии же «Липецкие воды» осмеивалось балладное направление Жуковского, что также оскорбило многих. Нечего и говорить, что обе стороны были и правы, и виноваты. Теперь это ясно, но тогда было темно. Публика мало заботилась о том, кто прав, кто виноват: она смеялась и хлопала в театре Шаховскому, смеялась и знала наизусть эпиграммы, на него написанные, особенно следующую:

С какою легкостью свободной
Играешь ты природой и собой;
Ты в шубах Шаховской холодный,
В водах ты Шаховской — сухой.

Это была одна из самых удачных эпиграмм князя Вяземского, намекавшая третьим стихом на шуточную поэму князя Шаховского «Расхищенные шубы», а четвертым — на «Липецкие воды». В печати стояло вместо Шаховской — *Шутовской.* — Как бы то ни было, только «Комедия против комедии» была принята на сцене очень хорошо и давалась часто. Я сам слыхал, даже от противников князя Шаховского, что в пиесе Загоскина гораздо более живости действия, интереса завязки и комизма, чем в «Липецких водах»; хотя на искренность таких отзывов нельзя полагаться, ибо тут похвалою защитника бьют защищаемого, но комедия Загоскина точно имела достоинство, не только как первый дебют молодого писателя, как пиеса, написанная кстати, по обстоятельствам, как пиеса своего времени, но как литературное произведение с нравственной мыслью, высказанной на сцене живо и весело, языком чистым, легким и разговорным. Очевидно, что Загоскин уже много писал прежде, но не печатал, «набивал руку», как он сам мне говаривал. Тогда так легко и свободно писал для сцены только один Шаховской, заслуги которого разговорному языку, литературе драматической и сценической постановке — весьма важны и стоят благодарного воспоминания.

«Комедия против комедии» была началом и основанием известности Загоскина. В 1816 году 21 мая он вышел из Горного департамента и женился в Петербурге, а в 1817 году определен в Дирекцию императорских театров помощником члена репертуарной части; в этом же году была представлена и напечатана новая комедия Загоскина в 5-ти действиях «Господин Богатонов, или Провинциал в столице», посвященная князю Ивану Михайловичу Долгорукому, которому автор комедии был всегда сердечно предан. Эта пиеса имела большой успех на сцене, несмотря на то, что была дана в первый раз 27 июня, когда весь Петербург переселяется на дачи.

Удивительно, как трудно человеку забыть, хоть на одну минуту, свое настоящее воззрение и возвратиться к тем понятиям, к тому взгляду, которыми руководствовался он тому лет 40 назад и под условиями которых ложились на него впечатления окружающих его предметов и явлений. Я с особенною живостью почувствовал эту трудность, прочитав Богатонова в 1852 году. Он гораздо выше во всем «Комедии против комедии». В «Богатонове» выведено уже не пустое кокетство, не волокитство, а глупый богатый невежда, степной помещик, помешавшийся на связях со знатью и переехавший на житье в Петербург; лицо, на котором, как на оселке, пробуется и оказывается нечистая сущность столичных негодяев, с их иностранным, или лучше сказать, с французским направлением. В продолжение 35 лет наружные формы этих лиц так изменились, что нельзя представить себе их прошедшую действительность. Если б этот тип пропал совсем, то было бы легче вообразить его и не сомневаться в верности изображения; но он не перевелся, его все знают и видят, только совсем под другими формами,—и потому лица Загоскина кажутся теперь призраками, придуманными автором для назидания публики, а более для потехи зрителей, или ветряными мельницами, с которыми он добросовестно сражается. Приняв в соображение, что все условия французской комедии, чтимые и уважаемые беспрекословно самыми умными тогдашними людьми, теперь скучны и невыносимы даже в Мольере; что Мольер в малейших подробностях считался тогда непогрешимым образцом, что Загоскин, разумеется, благоговейно шел по тем же следам—надобно признать немало дарования в сочинителе, если его талант пробивается сквозь всю эту кору. Читая «Богатонова», именно чувствуешь почти на каждой странице это, так сказать, проступание природного комического дарования; некоторых сцен и теперь нельзя прочесть без смеха, а живая человеческая речь слышна у всех, даже иногда у добродетельных людей. Отсюда можно сделать заключение, как

должен был нравиться «Богатонов» в 1817 году. Оно так и было: как современник Загоскина, я имею полное право удостоверить в том читателей. Я могу ошибаться в собственных своих суждениях, а не в том, чему я был свидетелем. Несмотря на невыгодное время своего появления, «Богатонов» очень понравился, и его давали очень часто в продолжение лета, осени и всего зимнего карнавала; зрители постоянно смеялись и хлопали, и он долго оставался на репертуаре. Самобытность комического таланта в Загоскине была признана всеми; вскоре он утвердил это мнение новой комедиею в 3-х действиях, под названием «Вечеринка ученых», которая в 1817 году, ноября 12, была дана в Петербурге в бенефис актера Боброва. В том же году Загоскин был определен почетным библиотекарем в императорскую Публичную библиотеку.— «Вечеринка ученых», конечно, бедна своей интригою и содержанием, даже беднее предыдущих комедий Загоскина, уже потому, что повторяет одну и ту же завязку и развязку: везде надобно женить доброго человека на хорошей девушке, везде есть тетушка или сестра, несогласная на этот брак, везде есть друг, дядя или брат, ему покровительствующий, везде изобличают жениха негодяя, всегда графа или князя, и отдают невесту доброму человеку, ею любимому. Это общая тема с разными вариациями; но, несмотря на то, покровитель дядя в «Вечеринке ученых», г-н Волгин, так оригинален и смешон, что вариация вышла весьма удачна. Литературное заседание в доме сестры его, пожилой вдовы г-жи Радугиной, помешавшейся на сочинении стихов и прозы, так забавно, исполнено такого добродушного комизма, что эту сцену никто не выслушает и не прочтет без смеха. Может быть, литераторы и журналист, выведенные в пиесе, покажутся лицами неестественными, преувеличенными; но такие лица не только бывали тогда, но даже и теперь можно отыскать им подобных, конечно, уже людей немолодых, которые в светском кругу низшего слоя считаются даровитыми писателями. Нет, не призраки они были, а взяты из жизни, списаны с натуры и единственно потому эта небольшая комедия, своим третьим актом, всегда возбуждала общий смех и рукоплескания зрителей Петербургского театра. Я видел ее потом уже в 1821 году в Москве, и публика также смеялась и также хлопала. Без сомнений, Загоскин писал свои комедии легко и скоро: это чувствуется по их легкому содержанию и составу; иначе такая деятельность была бы изумительна, ибо в 1817 же году Загоскин вместе с г. Корсаковым издавал в Петербурге журнал «Северный Наблюдатель», который, кажется, выходил по два раза в месяц, и в котором он принимал самое деятельное участие; а в последние полгода — что

мне рассказывал сам Загоскин,— когда ответственный редактор, г. Корсаков, по болезни или отсутствию не мог заниматься журналом — он издавал его один, работая день и ночь, и подписывая статьи разными буквами и псевдонимами. Не имея в руках книжек этого журнала, ничего не могу сказать о достоинстве статей Загоскина.

В 1818 году Загоскин оставил службу при театре и был перемещен на штатную ваканцию помощника библиотекаря с жалованьем. Он принимал деятельное участие в приведении библиотеки в порядок и в составлении каталога русских книг, за что через два года был награжден орденом Анны 3-й степени. В непродолжительном времени, и именно 5 июля 1820 года, он оставил службу и должность штатного помощника и был переименован в прежнее звание почетного библиотекаря.

Вероятно, в этом году была написана Загоскиным новая большая комедия: «Второй Богатонов, или Столичный житель в провинции», которую я не видал на сцене, хотя она была с большим успехом играна, и которой я не читал; не знаю даже, была ли она напечатана. При всем моем старании, я нигде не мог ее достать.

В 1819 году литературная деятельность Загоскина ограничилась небольшой комедией в одном действии: «Роман на большой дороге». Эта пиеса не имеет значения и написана так, для развлечения, посреди хлопотливых занятий по делам устройства императорской Публичной библиотеки; а более для того, чтобы дать что-нибудь новенькое в бенефис своим любимым актерам, Сосницким, которых и публика также очень любила. Впрочем, и в этой безделке язык также очень хорош, разговор жив и весел. Молодой гусар Изборский, лицо, написанное для Сосницкого, который славился в подобных ролях, мастерски подражая тогдашней военной молодежи — нарисовано очень недурно; но зато интрига и развязка пиесы до такой степени неправдоподобна, условность доведена до такой наивности, что теперь она составляет своего рода комическое явление и заставляет смеяться читателя. Несмотря на все это, «Роман на большой дороге» был принят публикою с большим одобрением. Эту комедийку давали в первый раз в 1819 году, июля 29, на большом Петербургском театре, в пользу актера и актрисы г-д Сосницких.— В 1820 году Загоскин написал комедию в 3-х действиях «Добрый малый» и посвятил ее своему начальнику, директору Публичной библиотеки, Алексею Николаевичу Оленину. Это имя не будет забыто в истории русской литературы. Все без исключения русские таланты того времени собирались около него, как около стар-

шего друга, и вот почему Загоскин посвятил ему свою комедию. Она была представлена в первый раз на большом Петербургском театре 23 июня того же 1820 года.— В основе этой пиесы уже лежит более глубокая, более серьезная мысль. «Добрый малый» — не пустое, не временное, лицо, а вечное: протей по своему многообразию, он не переведется, покуда будут жить люди обществом; я думаю даже, что и между дикарями есть своего рода добрые малые. Хотя у Загоскина Вельский в действительности совсем не «добрый малый», а настоящий мошенник, но в комедии везде проведена мысль: *вот кого в свете называют добрым малым.* Так бы и следовало назвать комедию. Пиеса написана под прежними сценическими условиями, завязка, развязка и характеры действующих лиц, в своей основе, также прежние, с некоторыми приличными изменениями, но со всем тем комедия была признана публикою и литературным судом того времени — лучшим произведением Загоскина, из всего им написанного до тех пор, что и по моему мнению было справедливо. Выбрав одну из многих физиономий «Доброго малого», взглянув на него с своей точки зрения, Загоскин очень верно и даже смело нарисовал всю его фигуру и придал ему приличное внутреннее значение: Вельский последователен и не изменяет себе до конца пиесы. Сначала он своей угодливостью напоминает как-то Молчалина, но впоследствии это сходство исчезает. Заимствовать Загоскин не мог, потому что комедия Грибоедова написана гораздо позднее. В этой пиесе есть другое лицо, которое, мне кажется, выдержано и окончено лучше всех: это старик Ладов, безграмотный собиратель древностей, почти влюбленный в Вельского. Сцена между им и старинным его приятелем Стародумовым, который, зная Вельского за негодяя, старается образумить Ладова — выдержит современную строгую критику и написана с большим уменьем. Последняя сцена, где читают письмо Вельского и где он отделывает всех слушателей своего письма, также очень хороша и имеет некоторое сходство с последнею сценою «Ревизора». Комедия очень ловко оканчивается словами Ладова, которому ясно доказали, что Вельский мошенник, что он всех обманывал, обыграл наверное своего приятеля и хотел отбить у него невесту: «Эх, милый! все так... да малый-то он добрый!..» Вообще во всей пиесе много жизни и веселости — веселости, которую не может заменить никакое остроумие, никакое комическое положение действующих лиц. Разговорный язык даже лучше, чем в прежних пиесах Загоскина. Это была последняя пиеса, написанная им в Петербурге.

В 1820 году, в июле, Загоскин по семейным обстоятельствам переехал в Москву, где и продолжалась вся остальная литературная его деятельность. В Москве Загоскин короче познакомился, а потом и подружился с Фед. Фед. Кокошкиным, с которым был знаком и в Петербурге, но против которого он был предубежден князем Шаховским, не любившим Кокошкина без всякой основательной причины. Литературный круг «Переводчика Мизантропа», как его тогда величали, встретил Загоскина с полным радушием, и вскоре он сделался близким приятелем всех его членов.

До 1821 года Загоскин не писывал стихов; он не чувствовал падения и меры стиха, и сам признавался, что это не его дело. Один раз в кругу коротких приятелей рассердили его тем, что не хотели даже выслушать каких-то его замечаний на какие-то стихи, основываясь на том, что он в стихотворстве ничего не понимает. Загоскин вспылил и сказал, что он докажет всем, как понимает это дело, и через два месяца прочел прекрасное, довольно длинное послание к Н. И. Гнедичу, написанное шестистопными ямбами с рифмами. Оно стоило Загоскину неимоверных трудов: не имея уха, каждый стих он разделял черточками на слоги и стопы, и над каждым слогом ставил ударение; в иной день ему не удавалось выковать более четырех стихов, и из такой египетской, тяжкой работы стихи вышли легки, свежи, звучны и естественны! Все были изумлены. Тут проявилась вполне настоящая русская, разумеется, талантливая натура Загоскина; сказал: сделаю — и сделал, да еще едва ли не лучше учителей. Это послание, кажется, было напечатано в Петербурге, в журнале Общества соревнователей просвещения. Из писем Гнедича видно, что в 1821 же году Загоскин написал стихами сцены: «Авторская клятва» и потом: «Выбор невесты». Обе эти пиесы, написанные в драматической форме, были читаны в «Обществе соревнователей просвещения» в Петербурге, в журнале которого они и напечатаны. Вот что пишет Н. И. Гнедич к Загоскину от 19 апреля 1821 года: «После «Авторской клятвы» я уже перестану и удивляться твоим истинно блистательным успехам, любезный друг Михаил Николаевич... но удовольствие Крылова при слушании «Авторской клятвы» верно лучшая тебе порука за достоинство пиесы, основанной на действии и характерах и написанной живо и чисто. Самая же пиеса порука нам, что ты подаришь театр комедией в стихах...» Тогда же Загоскин написал несколько «разговоров в прозе», очень веселых и забавных, вроде учебных разговоров или диалогов. Гнедич, строгий судья и не охотник хвалить, пишет об этом в одном из своих писем 1821 года мая 19: «Не думаю, мой друг, чтобы хвалы мог-

ли избаловать тебя. Ты имеешь и ум, и совесть дарованья,— чтобы не ослепляться собою. Успехи действительно, во всем смысле этого слова, блистательны — так никто не начинал: ты понимаешь меня — не *начинал*... Я слышал и твои разговоры в прозе. Их читал Греч, и читал прекрасно. Мысль чрезвычайно оригинальная, веселая и выполнена отменно приятно. Род этот, то есть маленькие сочинения в разговорах, может быть лучшим упражнением твоего таланта для отдыхов от работ серьезных, то есть больших».

Ободренный успехом, Загоскин решился написать комедию стихами; с твердостью и, можно сказать, с самоотвержением засел за работу и через несколько месяцев написал довольно большую комедию в стихах, в одном акте, также шестистопными ямбами с рифмами: «Урок холостым, или Наследники», которая в 1822 году, 4 мая, была сыграна на Московском театре и тогда же напечатана. Всякая комедия, написанная прекрасными стихами, языком разговорным, была бы тогда замечательным явлением, и без той неизменной веселости и комической жизни, которой так много в «Наследниках». Публика и литераторы приняли пиесу с восхищением; стихи в этой пиесе вообще так хороши, что и теперь можно их прочесть с удовольствием. Конечно, тогда уже начинали писать гладкими стихами для театра; но в этой пустой щеголеватой гладкости состояло все их достоинство. Стихи Загоскина, напротив, при всей легкости разговорного языка, не пусты: в них есть содержание, сила, и мысль укладывается в стихе вся без остатка и без натяжки. В пиесе нет таких мест, которые бы ярко выдавались. Она вся написана хорошо, вся ровна. Выписываю совершенно на выдержку: бедная девушка Лиза живет из милости в доме своего дальнего родственника, жена которого, г-жа Звонкина, попрекает ей бедностью, а сын ее Любим, влюбленный в Лизу, ее смиренно защищает:

Лиза

Конечно, я бедна; но бедность не порок.

Звонкина

А что ж, сударыня, чай скажешь: добродетель!
Покойный твой отец, всемирный благодетель—
А нищий сам, как ты, точь-в-точь же рассуждал,
Престрогий был судья и взяток он не брал.
Тот домик выстроил, другой купил деревню,
А он прямехонько попал бы в богадельню.

Любим

Честнейший человек!

Звонкина

Скажи, сударь, гордец:
Хотел быть всех умней! Что ж вышло наконец?
Да что и говорить! он был совсем без правил.
Служил в палате век — а дочь с сумой оставил.

Любим

Все так, однако ж он...

Звонкина

Ну, полно врать — молчи!
Пошли ко мне отца; а ты достань ключи
От сахару — они в столе — отдай их Дуньке:
Да у меня смотри! прошу ходить по струнке!
Ступай!

Как хорошо обрисовывается натура Звонкиной, и как много слышно действительной жизни во всех ее словах, и какая естественность разговора! Сцены подлой угодливости наследников, когда приезжает их дядя богач и холостяк — очень живы и смешны. Старик, хорошо понимающий своих наследников, прикидывается, что сам хочет жениться на Лизе, и все родные, смертельно перепуганные, желая удержать богатство дяди в своей семье, спешат помолвить ее за Любима, о чем прежде не хотели и слышать. Старик того и желал; он отдает все свое имение внуку, и один из родственников, более всех потерявший, имевший сам виды на Лизу, оканчивает пиесу следующими стихами:

Турусин

О варвар, о злодей!.. Ну, выдумал я средство:
Без денег, без жены и даже — без наследства.

В том же 1822 году, мая 18, Загоскин поступил к московскому военному генерал-губернатору в число чиновников особых поручений, с исправлением должности экспедитора по театральному отделению. Для объяснения такого, странного теперь, назначения, надобно сказать, что тогда в Москве не было дирекции театра, а находилась контора, состоявшая под непосредственным заведыванием генерал-губернатора, князя Д. В. Голицына, который ценил Загоскина как литератора и очень любил его как человека.

В 1823 году Загоскин написал комедию-водевиль: «Деревенский философ», которая была сыграна 23 января, в бенефис Сабурова. Это очень забавная безделка с прекрасными куплетами. Выписываю один из них: его поет Волгин, мечтая о своем проекте: «устроение водяного сообщения между Черным и Каспийским морем»:

Чтоб подробно их исчислить,
Коротка вся жизнь моя;
Без восторга и помыслить
Не могу об этом я.
Персияне и китайцы,
Кашемирцы и бухарцы
Приплывут в Одессу к нам;
Мы соболью бросим ловлю,
А индийскую торговлю
Приберем тогда к рукам.

В 1823 году, марта 30, Загоскин определен в контору дирекции Московского театра (получившего свое особенное образование и особого директора) членом по хозяйственной части.

До 1828 года Загоскин ничего не напечатал; литературная деятельность его как будто приостановилась; на это были следующие причины; во-первых, он усердно занялся своей хлопотливой должностью; во-вторых, ему очень не нравилась служебная перспектива в чине вечного титулярного советника, потому что не воспитывавшись ни в одном казенном заведении, он не мог быть произведен в следующий чин, и Загоскин решился выдержать экзамен для получения чина коллежского асессора. К экзамену надобно было приготовиться, и Загоскин посвящал на это все свободное от службы время, в продолжение полутора года; он трудился с такою добросовестностью, что даже вытвердил наизусть «римское право». Наконец, он выдержал испытание блистательно, и сам требовал от профессоров, чтоб его экзаменовали как можно строже. Загоскин в письме ко мне очень забавно описывает свои экзамены и между прочим сердится на одного из профессоров, который предложил ему вопрос: кто такой был Ломоносов? — «Ну, можно ли об этом спрашивать (пишет Загоскин) не мальчика, а литератора, уже давно получившего некоторую известность? Я хотел было отвечать ему, что Ломоносов был сапожник». Свалив с плеч экзамен, Загоскин, давно ничего не писавший, принялся за большую комедию в стихах, которую ему и прежде хотелось написать; он писал долго, — и наконец, в 1828 году «Благородный театр», комедия в 4-х актах, была сыграна на московской сцене. Эта пиеса имела самый полный, самый огромный успех: зрители задыхались от

смеха, хохот мешал хлопать, и гром рукоплесканий вырывался только по временам, особенно по окончании каждого акта; только в последующие представления неумолкаемые рукоплескания раздавались вместе со смехом. Комедия вполне стоила такого успеха — не по мысли, которая не имела большой значительности и тогда, теперь же и совсем ее теряет (кто в 1852 году станет серьезно заниматься благородными спектаклями?.. а тогда занимались ими серьезно),— но потому, что вся пиеса исполнена такой неистощимой веселости, живости, естественности, до того проникнута комизмом характеров, положений и речей, написана такими прекрасными стихами, что собственно в этих отношениях не имеет себе равной. Кроме Любского, затеявшего у себя благородный спектакль, изображенного и выдержанного в совершенстве, кроме Волгина, грубого добряка, попадающего нечаянно в закулисный омут, вовсе ему чуждый и неизвестный, Волгина, который, по моему мнению, своим положением забавнее всех других лиц,— в этой комедии есть характер, задуманный весьма счастливо и выполненный прекрасно: это Посошков, человек умный, страстный любитель театра, сочинитель и актер, чувствующий, понимающий искусство, и только потому смешной и даже глупый, что ничего кроме искусства не видит и не понимает. Эта исключительность, эта односторонность, которые иногда бывают гибельны людям с истинными дарованиями, схвачены автором очень удачно. Я не помню, было ли лицо Посошкова замечено и оценено тогдашними критиками. Должно сказать правду, что необыкновенному успеху пиесы способствовало мастерское исполнение на сцене: пиесу ставил князь Шаховской, не имевший равного себе знатока в этом деле. Роль Любского была создана, так сказать, по средствам и особенности таланта Щепкина; Любский, с начала до конца, находится в тревоге и волнении, горячится, выходит из себя; только Щепкин, наделенный таким неистощимым запасом огня, мог выдержать эту роль, не заменяя криком внутренней горячности, не делаясь однообразным. Не видавши, нельзя себе вообразить того совершенства, с которым, 25 лет назад, играл Любского наш знаменитый артист. Мочалов — в роли Вельского, Сабуров — Посошкова и Рязанцев — Изведова (незабвенные потери для сцены) вместе с Кавалеровой, Репиной и со всеми другими без исключения — составляли такой лад в ходе пиесы, какого я, постоянный любитель театра, никогда после не видывал. По общему признанию и по справедливости «Благородный театр» — лучшая комедия Загоскина. Я хотел выписками подтвердить мои слова, но это невозможно: надобно выписывать всю пиесу.

С 1823 по 1829 год включительно Загоскин получил ордена 4-й степени св. Владимира и 2-й степени Анны и чины коллежского асессора и надворного советника.

Еще до окончания комедии «Благородный театр», овладела Загоскиным мысль: написать русский исторический роман. Ему до смерти надоело, как он сам мне часто говаривал: «таскать кандалы условных, противоестественных законов, которые носит сочинитель, пишущий комедию, да еще шестистопными стихами, с проклятыми рифмами». Вспомнив трудность, с какою Загоскин писал стихи, и охоту щеголять мудреными рифмами — легко понять, что он говорил очень искренно: впрочем, Загоскин иначе и говорить не умел. Роман казался ему «открытым полем, где могло свободно разгуляться воображение писателя». Немедленно, после первых представлений «Благородного театра», вполне удовлетворивших самолюбию Загоскина, принялся он готовиться к сочинению исторического романа. Он был весь погружен в эту мысль, охвачен ею совершенно; его всегдашняя рассеянность, к которой давно привыкли и которую уже не замечали, до того усилилась, что все ее заметили, и все спрашивали друг друга, что сделалось с Загоскиным? Он не видит, с кем говорит, и не знает, что говорит? — Встречаясь на улицах с короткими приятелями, он не узнавал никого, не отвечал на поклоны и не слыхал приветствий: он читал в это время исторические документы и жил в 1612 году. Наконец, обдумав содержание, выбрав эпоху и прочтя добросовестно все, к ней относящееся, с необыкновенным одушевлением принялся он писать, и в 1829 году напечатал «Юрия Милославского, или Русские в 1612 году», в 3-х томах. Появление этого романа составляет эпоху в жизни Загоскина, в литературном и общественном отношении. Восхищение было общее, единодушное: немного находилось людей, которые его не вполне разделяли. Публика обеих столиц и вслед за нею, или почти вместе с нею, публика провинциальная, пришла в совершенный восторг. Впоследствии, не так скоро, но прочно, без восторга, но с каким-то умилением начала читать и читает до сих пор «Юрия Милославского» вся грамотная Русь... и читает она его недаром: русский ум, дух и склад речи впервые послышались на Руси в этом романе. Все обрадовались «Юрию Милославскому», как общественному приятному событию; все обратились к Загоскину: знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы — обратились со всеми знаками уважения, с восторженными похвалами; все, кто жили или приезжали в Москву, ехали к Загоскину; кто были в отсутствии — писали к нему. Всякий день получал он новые письма, лестные для ав-

торского самолюбия. Жуковский писал: «Вот что со мной случилось: получив вашу книгу, я раскрыл ее с некоторою к ней недоверчивостью, с тем только, чтобы заглянуть в некоторые страницы, получить какое-нибудь понятие о слоге вообще; но с первой страницы перешел я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло наконец, что я все три томика прочитал в один присест, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня решительное доказательство достоинства вашего романа».— Пушкин выразился почти так же в своем письме: «М. Г. Мих. Ник. Прерываю увлекательное чтение вашего романа, чтоб сердечно поблагодарить вас за присылку «Юрия Милославского»,— лестный знак вашего ко мне благорасположения. Поздравляю вас с успехом полным и вполне заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи. Все читают его. Жуковский провел за ним целую ночь. Дамы от него в восхищении. В «Литературной газете» будет о нем статья Погорельского[1]. Если в ней не все будет высказано, то постараюсь досказать. Простите. Дай бог вам многие лета, т. е. дай бог нам многие романы» и пр. Января 11-го, 1830, Спб.» — Пушкин сдержал слово и написал об «Юрии Милославском» в «Литературной газете».

А. Н. Оленин, И. И. Дмитриев, кн. Шаховской, Гнедич, Крылов и другие горячо и искренно приветствовали торжество нового таланта. Один только Крылов не писал сам, по известной своей лени, но за него писали Пушкин, Гнедич и князь Шаховской.

В одном из писем князя Шаховского, писанном прежде писем Жуковского и Пушкина, интересно следующее описание литературного обеда у графа Ф. П. Толстого, которое показывает впечатление, произведенное «Юрием Милославским», при первом его появлении в печати: «Я уже совсем оделся, чтоб ехать на свидание с нашими первоклассными писателями, как вдруг принесли мне твой роман; я ему обрадовался и повез с собой мою радость к гр. Толстому. Но там меня ею уже встретили. Первое действующее лицо авторского обеда, явившееся на сцену, был Пушкин, и тотчас заговорил о тебе; Пушкин восхищался отрывками твоего романа, которые он читал в журнале; входит Крылов из дворца: расспросы о тебе и *улыбательные* одобрения твоему роману; входит Гнедич: в восхищении от прекрасного твоего романа; наконец является Жуковский и, сказав два слова, объявляет, что не спал вчера всю ночь — от чего же? Все-таки от твоего романа, который

[1] Известный псевдоним Алексея Алексеевича Перовского *(прим. С. Т. Аксакова).*

он получил, развернул, хотел прочесть кое-что, и, не сходя с места и не ложась спать, не мог не прочесть всех трех томов; а это самая лучшая похвала, какую он мог сделать твоему сочинению; он просил меня тотчас к тебе написать о действии, которое ты над ним произвел, о своей благодарности и о том, что хотя он еще не успел поднести твоего романа императрице, но предварил ее, что она увидит диво на нашем языке».

Многое изменилось вокруг Загоскина: недоброжелатели сделались друзьями, порицатели комика — хвалителями романиста, с важностью прибавляя, что наконец Загоскин попал на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными в общем деле, и много прекрасных писем получил Загоскин от женщин, совершенно ему незнакомых: одним словом, он сделался знаменитостью, модным человеком, необходимостью обедов, балов, раутов и бесед с литературным направлением, львом тогдашнего времени. Внимание, одобрение государя довершило торжество Загоскина.

«Юрий Милославский» и теперь считается самым лучшим произведением Загоскина. Свежесть его прекрасного таланта, новость характеров, в первый раз выступивших на сцену русского романа, а более всего жизнь, везде разлитая, и неподдельная веселость русского ума, придают столько достоинства роману, что в этом отношении он занимает первое место в русской литературе. Очевидно, чтение исторических романов Вальтера Скотта внушило автору мысль написать русский исторический роман; очевидно, что он заимствовал форму и даже приемы знаменитого шотландца; но этим ограничилась вся подражательность Загоскина. Его счастливая, по преимуществу русская, натура создала чисто русских людей, задуманных, может быть, по образцу чужому. Разумеется, настоящий герой романа — Кирша, а сам Юрий Милославский — лицо довольно бесцветное. Впрочем, многие герои романов Вальтера Скотта ничем его не лучше. Загоскин сам чувствовал, что Юрий Милославский мало возбуждает участия, и потому хотел оживить его, придав ему черты русского молодечества; он исполнил это не совсем удачно, потому что поступок с паном Копычинским не вытекает из характера Юрия Милославского; к тому же это анекдот новый, всем известный, и перемена рябчиков на гуся не помешала читателю вспомнить, что это случилось недавно, а не 200 лет тому назад. Такое воспоминание, по моему мнению, вредит впечатлению, не дает забыться вполне воображению и перенестись в ту эпоху, которую описывает сочинитель.

В «Юрии Милославском» большая часть сцен написана с увлекательною живостью, и все лица, кроме героя и героини ро-

мана, особенно там, где дело идет о любви (самое мудреное дело в народном русском романе) — лица живые, характерные, возбуждающие более или менее сочувствие в читателях всех родов; лицо же юродивого, Мити, явление исключительно русское, выхваченное из народной жизни, стоит выше всех и может назваться художественным созданием; оно написано с такою сердечною теплотою, которая проникает в душу каждого человека, способного к принятию такого рода впечатлений. Это характер очень трудный: малейшее несоблюдение меры, в ту или другую сторону, уничтожило бы его высокое достоинство. Чувство любви христианской и религиозного настроения, которыми постоянно был проникнут сочинитель, перешли на бумагу. Мне привелось это видеть своими глазами. Я пришел однажды к Загоскину довольно рано поутру, вошел в его кабинет и увидел, что он сидит за письменным столом. Я подошел к нему так тихо, что он меня не слыхал; когда я взглянул на него, то был поражен... Загоскина нельзя было узнать: слезы текли по его щекам и выражение духовного блаженства разливалось во всех чертах лица. Я не умею, не могу передать моего впечатления, хотя оно совершенно живо и свежо в моей памяти. «Что с тобой?» — спросил я. Загоскин взял тетрадь, всю закапанную слезами, и прочел мне смерть боярина Кручины Шалонского.

У нас не было еще народного писателя, в точном и полном смысле этого слова; наше отчуждение от народа и его малограмотность — прямые и очевидные тому препятствия; но Загоскин более других может назваться народным писателем. Кроме прочих сословий, его читали и читают все, знающие грамоте, торговые крестьяне; они рассказывают читанное ими, а иногда читают вслух многим другим безграмотным крестьянам. Огромное число табакерок и набивных платков, с изображением разных сцен из «Юрия Милославского», развозимых по всем углам необъятной России, поддерживают известность имени его сочинителя. Я встречал простолюдинов, которые знают не одного только «Юрия Милославского», но и выходившие после романы и повести Загоскина.

«Юрий Милославский» имел восемь изданий; он переведен на французский, немецкий, итальянский, голландский и английский языки и везде был принят с большими похвалами; на французский язык было сделано вдруг четыре перевода в Москве и Петербурге. Я видел у Загоскина много писем от разных европейских литературных знаменитостей, писем, наполненных лестными отзывами; было даже одно или два письма от Вальтера Скотта, но их (как и многих других) до сих пор не могли отыскать в бумагах покойного. Два письма, от Мери-

ме и Фон-Ольберга, писанные *по-русски,* и потому замечательные, я помещаю в приложении.— Перевод «Юрия Милославского» на чешский язык вышел прошлого года. Вот что пишет об этом один пражский ученый к известному нашему профессору славянских древностей, О. М. Бодянскому: «Прага, 6/18 июля 1851 года.— Недавно перевели «Юрия Милославского» Загоскина: вы не можете иметь понятия, как перевод был расхватан. Все ждали в типографии: один читал его в первой, а другие — во второй корректуре; остальные же, при освобождении листов из-под тисков, складывали оные и впивались в них чтением. Кажется, нет человека в Праге, который не прочел бы «Юрия Милославского, или Руссов в 1612 году». Без сомнения такой восторженный прием был приготовлен известностью Загоскина: вероятно, пражские литераторы писали прежде о нем в журналах, а может быть, и переводили отрывки из его сочинений.

Из всего сказанного мною об «Юрии Милославском» не подлежит сомнению, что он имел самый блистательный и прочный успех; но по какой-то странной причине, тогдашние журналы были очень умеренны в своих похвалах; положим, что двое из журналистов были сами романисты; но отчего другие, или холодно и двусмысленно хвалили, или упорно молчали? Отзывы журналов оставались в таком неблагосклонном расположении до смерти Загоскина, кроме «Библиотеки для чтения». Я недавно читал в одном из петербургских журналов, что рецензент, по случаю восьмого издания «Юрия Милославского», развернул его — и зачитался; «так легко и свободно читается этот роман», прибавляет он. Дело понятное: он хотел сказать, что других достоинств в нем не находится. В этом роде я читал и слышал много отзывов. Нет, милостивые государи: так нельзя объяснить огромный, повсеместный успех «Юрия Милославского» и собственное ваше сочувствие; не в одной живости и веселости рассказа, не в легкости языка надобно искать причины его, а в том, что весь роман проникнут русским духом, народностью. Вот отчего при чтении забываются, не примечаются его недостатки, в отношении к искусству, и, может быть, глубине взгляда на историческую эпоху. Чувство народности, согревающее весь роман, невольно пробуждает то же чувство, живущее в душе каждого русского человека, даже забитого европейским образованием; и это-то чувство народности понимают и ценят высоко самые иностранцы; и вот почему можно назвать Загоскина народным писателем. Если б весь народ знал грамоте, он читал бы с увлечением, не только «Юрия Милославского», но и другие сочинения Загоскина. Его по преимуществу рус-

ская натура, его самородный талант слышны в каждом слове, когда он не надевает на себя личины несродной ему природы. Чтобы задумать и заговорить вполне русским человеком, ему не нужно подслушивать, как думает и говорит русский народ: ему стоит только заговорить самому; этого не может сделать ни один из русских писателей. Напротив, Загоскину большого труда стоит изображение лиц, которые говорят хотя русскими словами, но думают и складывают речь свою не совсем по-русски, так что в этих изображениях он уступает многим нашим писателям: русский дух и склад речи проступают у него там, где они неуместны. Но зато, когда Загоскин вырывается на свободу, то говорит свое живое слово, а не чужую мертвую речь. Эта особенность таланта Загоскина, по моему мнению, составляет его замечательное и великое достоинство. Пожалуй, у нас в литературе есть свои русицизмы, искусственно составленные из слов настоящих русских людей, отлитые в известные формы, так сказать: русицизмы казенные, которые, будучи лишены духа и жизни, остались мертвой буквой и не только не возбуждают сочувствия, но, напротив, производят самое неприятное впечатление[1].

Князь Шаховской сделал из «Юрия Милославского» романтическое представление в 5-ти сутках; оно не имело успеха на сцене.

В 1830 году, апреля 30, Загоскин перемещен в должность управляющего Конторою императорских московских театров, а в 1831 — произведен в коллежские советники, определен в должность директора Московских театров и пожалован в звание действительного камергера двора его императорского величества.

Немедленно после выхода в свет «Юрия Милославского» Загоскин задумал писать другой исторический роман: «Рославлев, или Русские в 1812 году», напечатанный в 1831 году. Очевидно, что Загоскин взял на себя слишком тяжелое обязательство, невозможное в исполнении по близости эпохи, которой прошло только 18 лет; не говорю уже о громадности, о всемирном значении самого события. Он писал этот роман около двух лет; слух о нем прошел по всей России, и все с напряженным нетерпением ожидали его появления. Некоторые из литераторов предвидели трудность такой задачи, и вот что Жу-

[1] В 1830 году я написал самый строгий разбор «Юрия Милославского» и напечатал его в «Московском Вестнике». Я помещаю мою тогдашнюю критику в Приложениях, предполагая, что для некоторых читателей будет интересно сличить мнения одного и того же человека об одной и той же книге, написанные через 22 года, одно после другого *(прим. С. Т. Аксакова)*.

ковский писал к Загоскину: «Мне сказывал князь Шаховской, что вы, в pendant вашему 1612 году, пишете роман 1812 года; не хочу с вами спорить; но боюсь великих предстоящих вам трудностей. Исторические лица 1612 года были в вашей власти, вы могли выставлять их по произволу; исторические лица 1812 года вам не дадутся. С первыми вы могли легко познакомить воображение читателя, и он, благодаря вашему таланту, уверен с вами, что они точно были такими, какими ваше воображение их представило вам; с последними этого сделать нельзя; мы знаем их, мы слишком к ним близки; мы уже предупреждены насчет их, и существенность загородит для нас вымысел. Впрочем, нет невозможного. Я говорю только: трудно! На всяком шагу порог, и спотыкаться легко». Но по выходе «Рославлева» Жуковский писал следующее к Загоскину, от 14 июня 1831 года: «Благодарю вас и за подарок и за «Рославлева», почтеннейший Михаил Николаевич. И с ним то же случилось, что с его старшим братом: я прочитал его в один почти присест. Признаюсь вам только в одном: по прочтении первых листов, я должен был отложить чтение, и эти первые листы произвели было во мне некоторое предубеждение против всего романа, и я побоялся, что он не пойдет наряду с «Милославским». Описание большого света мне показалось неверно, и в гостиной князя Радугина я не узнал светского языка. Но все остальное прекрасно, и «Рославлев» столько же приманчив, как старший брат его. Благословляю вас обеими руками на романы: это ваше дело, и предметов бездна...» Хотя с Жуковским нельзя согласиться в мнении о «Рославлеве», но до его выхода из печати, общая уверенность, что «Рославлев» будет еще лучше, или по крайней мере еще интереснее «Юрия Милославского», была так велика, что в Москве произошло, в своем роде, также событие, неслыханное в летописях книжной русской торговли. Роман еще не был кончен, как стали просить Загоскина, чтоб он его продал: за право напечатать четыре завода, то есть 4800 экземпляров, предложили сочинителю сорок тысяч рублей ассигнациями (а тогда ассигнации имели большой лаж), с тем только, чтобы он не печатал второго издания в продолжение трех лет! Это невероятно, но дело было точно так и шло через меня. Еще невероятнее, что содержатель типографии, Н. С. Степанов, покупавший роман, не имел денег для такого предприятия, и что московские книгопродавцы купили экземпляров будущего неоконченного романа, в 4-х небольших частях, с обыкновенною уступкою 20 процентов за комиссию, на 36 тысяч рублей ассигнациями, и внесли деньги вперед, обязуясь продавать *не дороже* 20 рублей за каждый экземпляр! Кто знает незначительность капи-

талов наших московских книгопродавцев, их осторожность, даже робость во всех книжных оборотах, тот поймет, как велика была общая вера публики в талант автора «Юрия Милославского»: поступок книгопродавцев служит только ее выражением. «Рославлев» не вполне удовлетворил всеобщему ожиданию, и смелое предприятие Степанова не имело успеха. Две тысячи четыреста экземпляров, купленные книгопродавцами, разошлись, но затем требования на книгу прекратились. Главною причиною неудачи была холера в Петербурге; куда, вместо затребованных 800, отправлено 100 экземпляров. Впрочем, если б Степанов мог выдержать, переждать, то получил бы большие выгоды; но он не мог этого сделать, продал другую половину экземпляров за бесценок, и потерпел даже небольшой убыток. Впоследствии не только «Рославлев» разошелся, не сбавляя своей слишком высокой цены, но имел еще три издания; следовательно, приняв в соображение, что первое было вчетверо больше обыкновенного, он выдержал семь изданий. Хотя это доказывает почти такой же успех, какой имел «Юрий Милославский», но в сущности большинство читающей публики не так было довольно новым романом, как прежним. «Рославлев» не мог иметь ожидаемого успеха, хотя талант сочинителя, во многих частностях, выказался с прежнею силою и свежестью. Не только современное, величайшее в мире, событие, так близко к нам стоявшее, что глаз еще не мог оглянуть его, но и самое содержание романа, основанное на современном же, известном тогда, происшествии, не могло произвесть полного впечатления и возбудить сильного участия, которое должен произвесть роман. Потеряв достоинство голого факта, силу действительности, происшествие не имело и достоинства вымысла, ибо все его знали. Написать же картину двенадцатого года — мысль необдуманно смелая. Еще все актеры, кончивши великую драму, полные ею, стояли в каком-то неясном волнении, смотря с изумлением на опустевшую сцену их действий — как вдруг начинают им представлять их самих; многим из них это показалось кукольной комедией. К тому же справедливость требует сказать, что самые частности, так сказать, лоскутки картины двенадцатого года, кроме некоторых сцен (как например, превосходной сцены ямщиков), в «Рославлеве» слабы и односторонни, а характеры действующих лиц мелки, хотя многие из них написаны очень верно и забавно. Одним словом: выбор такого содержания был ошибкой Загоскина. Вспомним, что Вальтер Скотт испытал падение с своей историей Наполеона, написанной слишком рано. «Рославлев» был переведен на французский

и немецкий языки. Кн. Шаховской сделал из него драму, которая не имела успеха.

В 1833 году Загоскин напечатал роман в 3-х частях, который назвал: «Аскольдова могила, повесть из времен Владимира I». Эта повесть проявляет тот же талант сочинителя, но по своему составу, по множеству мелодраматических эффектов, по недостатку местного и современного эпохе колорита (который и воссоздать очень трудно), по содержанию политическому и любовному, мало здесь возбуждающему сочувствия в читателе, имела гораздо менее успеха, чем «Рославлев». Особенно никого не удовлетворило окончание, развязка повести; происшествия слишком спутаны, натянуты, рассказаны торопливо, как-то сокращенно, и смерть героя и героини повести, которые во время бури бросаются в Днепр с высокого утеса, от преследования варяжской дружины, несогласна с духом христианской веры, которою они были озарены и глубоко проникнуты. Это просто самоубийство, а не мученическая кончина. Но в сценах народных, принимая их в современном значении, в создании личности весельчака, сказочника, песельника и балагура, Торопки Голована, дарование Загоскина явилось не только с тою же силой, но даже с большим блеском, чем в прежних сочинениях. Торопка Голован, по моему мнению, в своем роде даже лучше знаменитого Кирши в «Юрии Милославском». Какая бездна неистощимой веселости, сметливости, находчивости и русского остроумия! Этот характер был загроможден, утоплен, так сказать, во множестве других лиц и происшествий романа; когда же он вырвался на сцену в опере, где он хотя не так полон, но зато сделался виднее — его высокое достоинство обозначилось ярко. Кроме того, в «Аскольдовой могиле» все сцены, в духе христианском написанные,— прекрасны и так искренни, что их нельзя читать без сердечного сочувствия. Много есть людей благочестивых, которые в этом отношении ценят «Повесть из времен Владимира I» выше всех других сочинений Загоскина. Она имела два издания. Другая блистательная судьба ожидала «Аскольдову могилу», когда Загоскин сделал из нее оперу, того же имени, которая была дана в первый раз 1835 года сентября 16. Конечно, успех оперы зависит от музыки, а не от либретто, но здесь сочинитель либретто отчасти разделяет торжество с сочинителем музыки. Этим нисколько не уменьшается заслуженная слава А. Н. Верстовского: музыка его сделалась народною; кто не знает ее, не любит и не поет?

Двадцать лет опера «Аскольдова могила» играется на театрах обеих столиц и на театрах провинциальных — и зрители не могут наслушаться и насмотреться на нее. Огромные сум-

мы принесла она дирекции театров, особенно в Москве, где она превосходно была поставлена, и где прелестный голос и до совершенства доведенная игра г-на Бантышева, в роли Торопки Голована, до сих пор восхищают зрителей. Всего более нравится в этой опере третий акт, прекрасно написанный Загоскиным в драматическом отношении. Он весьма счастливо воспользовался старинной воровской песней, в которой один из разбойников действует точно так же, как Торопка Голован, то есть, поет и словами песни сказывает своим товарищам, что надо делать, и что они тут же исполняют. Большая часть московских жителей, много раз, может быть, десятки раз, видали «Аскольдову могилу», но магическая сила третьего акта не слабеет. Здесь безусловно торжествует народность слова и музыкальных звуков! Многие, в том числе я сам, прихаживали в театр не за тем, чтобы слушать оперу, которую знали почти наизусть, а с намерением *наблюдать публику* в третьем акте «Аскольдовой могилы»; но недолго выдерживалась роль наблюдателя: Торопка обморачивал их мало-помалу своими шутками, сказками и песнями, а когда заливался соловьем в известном «уж как веет ветерок», да переходил потом в плясовую «чарочка по столику похаживает» — обаяние совершалось вполне; все ему подчинялось, и в зрителях отражалось отчасти то, что происходило на сцене, где и горбатый Садко, озлобленный насмешками Торопки, против воли пускался плясать вместе с другими.

В 1834 году произведен Загоскин в статские советники, а в 1837 году в действительные статские советники и утвержден директором императорских московских театров; в этом же году он напечатал «Повести Михайла Загоскина» в двух частях. В первой помещен «Вечер на Хопре», состоящий из вступления и семи рассказов, а во второй части — «Три жениха», в пяти главах и «Кузьма Рощин» в двух отделениях. Все семь вечерних рассказов на Хопре имеют *страшное* содержание, которое впрочем никого не испугает, а разве иногда рассмешит. Хотя все они написаны тем же прекрасным, свободным и живым языком, но область чудесного, фантастического, была недоступна таланту Загоскина: он — писатель действительности. Вторая часть повестей имеет гораздо большее достоинство. «Три жениха, провинциальные очерки» очень забавны, и драматическая форма, употребляемая в них иногда автором, придает много живости этим очеркам. Должно заметить, что Загоскину была не коротко знакома общественная жизнь губернских наших городов и вообще быт провинциальный: по четырнадцатому году его отправили в Петербург, и только после окончания войны 1812 года приезжал он, не

более, как на год, в пензенскую отцовскую деревню; с тех пор он жил безвыездно сначала в Петербурге, а потом в Москве. Итак, все написанное им впоследствии, по прошествии многих лет, написано по воспоминанию, по рассказам других. Русская натура его с помощью таланта разгадала многое, и многое нарисовано очень верно, как в «Провинциальных очерках» так и в других пиесах; но некоторые типы и обычаи уже отжили свое время и могут назваться теперь анахронизмами. «Кузьма Рощин» рассказ живой и занимательный. Он переносит читателя в те давно прошедшие времена, о которых всякий из нас слыхал что-нибудь в своем детстве. Несмотря на то, «Повести» Загоскина не имели большого успеха. Из «Кузьмы Рощина», в 1837 году, была сделана драма в 3-х актах не помню кем, не обратившая на себя внимания публики.

Содержание первого страшного рассказа, не совсем верно названного «Пан Твардовский» подало мысль Загоскину, гораздо прежде, написать оперу единственно для того, чтобы дать возможность известному нашему композитору Верстовскому испытать свои музыкальные дарования в сочинении оперы. Опера явилась еще в 1828 году, была хорошо принята публикой и довольно долго оставалась на сцене: цыганская песня «Мы живем среди полей», весьма удачно написанная Загоскиным и положенная на музыку Верстовским, особенно нравилась и долго держалась, да и теперь еще держится в числе любимых песен московских цыган и русских песельников.

В 1838 году Загоскин напечатал роман или повесть (назовите, как угодно) в трех частях, под названием «Искуситель». Суд образованной публики и суд литературный признали «Искусителя» самым слабым сочинением Загоскина, с чем автор сам соглашался и что будет весьма справедливо, если, произнося такой приговор, иметь в виду только две последние части этого произведения; первая часть ярко от них отличается. Автор рассказывает в ней детство и юность своего героя Александра Михайловича (фамилия его не названа), проведенные в деревне Тужиловке, в одной из отдаленных наших губерний,— и рассказывает просто, живо, тепло и увлекательно. Под именем Тужиловки Загоскин описал село своего отца, Рамзай, в котором он родился и воспитался; некоторые черты в характере героя романа, даже черты лица срисованы автором с самого себя: без сомнения, это обстоятельство способствовало теплоте и верности описания. В конце первой части Александр Михайлович переезжает на службу в Москву и вступает в свет. Здесь уже нельзя узнать прежнего сочинителя: все светские лица, лица не русские, лишены жизни и действительности,

и повесть делается скучною, неестественною, не возбуждающею интереса, хотя написана языком прекрасным и содержит в себе много прямых, здравых суждений и нравственных истин, выражающих горячую благонамеренность автора. Загоскин хотел представить, каким опасностям подвергается молодой человек, добрый, слабый и неопытный, вступая в испорченное светское общество; всю его порчу хотел он сосредоточить в одном лице, в каком-то загадочном бароне Брокене, придав этому искусителю, кроме ума и разных дарований, что-то фантастическое и дьявольское. Я уже говорил, что изображение людей, утративших русскую физиономию, а также изображение всего фантастического, было не в характере таланта Загоскина. «Искуситель» убедительно подтверждает мои слова: как только Александр Михайлович в конце третьей части, после всех заблуждений и самых затруднительных обстоятельств, из которых выпутывается неправдоподобным и непонятным образом, садится в коляску и возвращается домой, в деревню, в простой, русский быт — все переменяется, и рассказ автора получает живость, истинность и занимательность.

В 1839 году было напечатано новое произведение Загоскина «Тоска по родине», повесть в двух частях; успех ее был посредственный, но все она была принята лучше «Искусителя» и выдержала два издания. Она разделяется на четыре большие главы: первая написана очень живо и весело; по несчастию во второй начинается или, правильнее сказать, усиливается любовь, появившаяся еще в конце первой главы. Все любовные сцены, во всех без исключения произведениях Загоскина, выходили неудачны: точно то же выходит и здесь. Третья глава и почти вся четвертая содержит в себе путешествие, или проезд через Англию и Францию, и почти двухлетнее пребывание в Испании героя романа, Владимира Сергеевича Завольского. Хотя Загоскин довольно живо и ловко описывает и Лондон, и Париж, и Гранаду, и Алгамбру, но как-то чувствуется, что он сам их не видал: почерпнутые из чужих путешествий описания выходят бледны и читаются без интереса; в них недостает той оригинальности собственного взгляда, который вносит каждый, сколько-нибудь даровитый путешественник в свои дорожные записки. Нельзя заочно вообразить себе именно того впечатления, которое произвела бы самая действительность; впечатление воображаемое не может быть искренне и непременно будет ошибочно. Развязка повести, происходящая на песчаном берегу моря в Испании, куда прибыл для этого русский фрегат; чудесное избавление, из-под ножей убийц, героя романа тем самым морским офицером, от кото-

рого Завольский бежал в Испанию и который оказался родным братом, а не любовником героини романа,—все это слишком самовольно устроено автором и не удовлетворяет читателя. Но зато личность и характер слуги Завольского, Никанора Федотова, во всей повести проведены искусно, нарисованы верно и выдержаны вполне. Федотов не походит ни на слугу Юрия Милославского, Алексея (который также очень хорош), ни на Торопку Голована; но представляет в особом роде тип русского слуги, написанный мастерски.

В том же году Загоскин сделал из своей повести «Тоска по родине» оперу того же имени, а Верстовский написал для нее музыку. Она была дана 21 августа 1839 года. Опера не имела успеха и очень скоро была снята с репертуара. Я не читал либретто и не видал пиесы на сцене, но слышал прежде некоторые нумера музыки и помню, что они нравились всем.

С 1837 по 1842 год Загоскин оставался директором московских театров; в продолжение этого времени он с горячим усердием занимался своей должностью. Несмотря на то, что он, с высочайшего соизволения, построил Малый театр собственными средствами дирекции (за что получил всемилостивейше пожалованную табакерку с шифром), денежные дела ее находились постоянно в хорошем положении. В 1840 году, 13 апреля, Загоскин награжден был за усердную службу орденом св. Владимира 3-й степени. В 1842 году, 3 февраля, вследствие собственного желания и прошения, по высочайшему указу, определен директором Московской Оружейной Палаты: в этой должности оставался он до своей кончины. В продолжение последней десятилетней своей службы, в 1845 году, Загоскин был пожалован кавалером ордена св. Станислава 1-й степени, а в 1851-м—кавалером ордена св. Анны 1-й степени.

В продолжение этого пятилетия (с 1837 по 1842 год) Загоскин написал комедию в стихах «Недовольные», которая была представлена на Московском театре без большого успеха, несмотря на многие комические сцены и на множество прекрасных и сильных стихов. Впрочем, были люди очень довольные «Недовольными», и И. И. Дмитриев в письме к Загоскину очень хвалил комедию. Вообще в чтении она нравилась гораздо больше. Другая комедия в прозе «Урок матушкам», напротив, имела очень большой успех, и до сих пор остается на репертуаре: в самом деле, она очень весела и забавна. Загоскин составил или, лучше сказать, переложил ее слово в слово из одной своей повести «Три жениха», о чем я уже и говорил.

В 1842 году Загоскин написал роман в 4-х частях, под названием «Кузьма Петрович Мирошев, русская быль времен Екатерины II». Это сочинение не было оценено по достоинству:

большинство публики прочло его с удовольствием, но без всякого увлечения. Несмотря на то, «Мирошев» имел два издания. Литературный суд не обратил на него особенного внимания, признавая, что Загоскин с обыкновенным своим дарованием, но с излишнею плодовитостью, описал ничем не замечательную жизнь пошлого, бесхарактерного человека. По моему мнению, такое суждение поверхностно и несправедливо. Я считаю «Мирошева» лучшим произведением Загоскина, не исключая даже «Юрия Милославского». В основе романа лежит серьезная и глубокая мысль, которую мы не хотели понять и оценить по человеческой гордости и тщеславию; а может быть, тогда еще рано было оценить ее. Кузьма Петрович Мирошев существо тихое, скромное, покорное, по преимуществу доброе и вполне верующее, с благодарностью принимающее от бога и радость, и печаль: *человек божий,* в том высоком нравственном значении, в каком употреблялись эти слова в старину, но которыми теперь уже определяют у нас совсем другого рода человека. По-видимому, смирный и богобоязливый Кузьма Петрович лицо совсем не поэтическое, и его-то бесцветную жизнь и невидную долю рассказал нам автор — от детства до старости.

Глупая и злая мачеха невзлюбила Мирошева за то, что его звали Кузьмой; она чуть не била его отца, промотала его хорошее состояние (2000 душ), и после смерти родителей сыну осталось в наследство 300 рублей; деньги пришли очень кстати, потому что в это время его выпустили в офицеры из кадетского корпуса. Круглый сирота и совершенный бедняк, Кузьма Петрович имел сокровище — дядьку, Прохора Кондратьича, любившего его с материнскою горячностью. В этом лице Загоскин изобразил собственного своего слугу и дядьку, который точно так же любил его и разделял с ним нужду и бедность в продолжение десятилетнего пребывания в Петербурге с 1802 по 1812 год. Мирошев служил с примерным усердием, дрался с неприятелем храбро; других награждали — ему не давали ничего; Мирошев не роптал, не обвинял никого. Один трусишка офицер по протекции вышел в чины и сделался его командиром — Мирошев повиновался без ропота; командир стал его гнать (как случайного свидетеля своей трусости), стал придираться к нему на каждом шагу, и Мирошев, увидя, что дело плохо, вышел в отставку поручиком и отправился в Москву вместе с своим Прохором Кондратьичем искать честного куска хлеба по гражданской службе. Дорогой попали они в маленькую деревеньку Хопровку, которая очень понравилась Мирошеву красивым местоположением, а дядьке — полными хлебными гумнами. Вдруг открывается, что Ми-

рошев законный наследник этого имения, госпожа которого, его родная тетка, недавно умерла. Какое неожиданное благополучие! Но Мирошев узнает, что тут же живет воспитанница его тетки, бедная сирота, обер-офицерская дочь, и что покойница хотела, но не успела укрепить ей свои 50 душ — и Мирошев опять нищий: он отдает сироте свое родовое имение, исполняя волю умершей тетки. По счастью, девушка ему понравилась еще прежде, чем он узнал о своих правах на наследство. Мирошев женится на ней, и счастливый, благословляющий милость божию, живет спокойно 17 лет в своей красивой Хопровке. Но нужно испытание злату в горниле, и бог посылает Мирошеву испытание: единственная дочь, которую он и мать любят всею силою простых сердец своих, ничем другим не развлеченных, полюбила сына соседа, богатого и знатного родом; сын, разумеется, сам ее любит; но отец слышать не хочет о женитьбе сына на мелкопоместной дворяночке. Дочь сделалась больна, почти умирает, мать приходит в отчаяние. В то же время встала другая беда: крепостной человек, управитель графского соседнего имения, озлобленный за отказ его сыну, круглому дураку, которого он вздумал женить на дочери Мирошева, известный ябедник и делец, подает просьбу на бедного Кузьму Петровича и отнимает у него, без всякого права, почти всю землю, то есть совершенно его разоряет. Обидное сватовство «холопского» сына взбесило всю дворню Мирошевых, вывело из себя даже тихую и скромную супругу Кузьмы Петровича,— он один оставался кроток и тверд в своей кротости, он не позволил проводить сваху с бесчестием. Борьба с именем знатного вельможи и богача была невозможна: Мирошев везде проигрывает, и дело переходит в Московский Сенат; но он терпеливо переносит свое горькое положение, грозящее ему совершенным разорением, сокрушается только о больной дочери, и то без малейшего ропота на волю божию. Дочери помогает проезжий лекарь, и Мирошев, собрав последние крохи, едет хлопотать по своему делу в Москву. Разумеется, приказные в Сенате его грабят, и он наверное бы проиграл свою тяжбу, если бы один из его прежних сослуживцев (такой же бедняк, как и он) не вздумал затащить его обманом на обед к тому самому графу, с которым он тягался. Этот вельможа держал открытый стол, то есть у него мог обедать всякий порядочно одетый человек, никому не объявляя своей фамилии. Мирошев после обеда узнал, у кого он в гостях, ужасно переконфузился от мысли, что ел хлеб и соль у хозяина, с которым вел тяжбу, и спешил уйти домой. По несчастью или, лучше сказать, по счастью, сосед его за обедом (мошенник, переодетый в офицерский мундир)

украл ложку; подозрение падает на Мирошева! Его замешательство, когда при выходе спросили его фамилию и местожительство, превращает подозрение в уверенность. Графу доложили о покраже, и он приказывает отнести к Мирошеву, мнимому вору, еще 11 ложек: «пусть де будет у него полная дюжина». Здесь-то несчастный Кузьма Петрович, дороживший своим честным именем более всего на свете, доходит почти до отчаяния. Но истина скоро открывается; граф узнает все: просит у Мирошева прощения, чествует у себя в доме, прекращает тяжбу, снабжает сотнею рублей на возвратный путь и берет честное слово с Кузьмы Петровича, что он, немедленно по приезде домой, пошлет за управителем и прочтет ему бумагу и письмо, запечатанное графскою печатью. Мирошев исполняет в точности поручение графа: воротясь домой, обняв жену и дочь, посылает за управителем, распечатывает при нем графский конверт и находит купчую крепость на все графское соседнее имение, состоящее из 437 душ, и в том числе на самого управителя, совершенную на законном основании в Московской гражданской палате на имя Мирошева. Граф счел за долг честного человека вознаградить за все обиды и разорение, нанесенные, от его имени, неправедною тяжбою ни в чем не виноватому соседу. Надменный графский управитель, который не очень посматривал и на губернатора, разумеется, повалился в ноги новому помещику. Ни одной минуты не остановясь на мысли владеть своим врагом, не обидев его, ни одним грубым словом — «встань, Панкратий Лукич! Пусть простит тебя господь, как я тебя прощаю. Ступай сегодня же в город и пиши себе отпускную»,— сказал Мирошев. Между тем, другое, еще более радостное известие ожидало нежного отца: гордый и знатный сосед, но человек с добрым сердцем, побежденный постоянством и покорностью своего сына, согласился на его женитьбу на дочери Мирошева... Полное благополучие, заслуженная награда честности и христианского смирения, поселяется под кровом Мирошевых. Еще 15 лет жил, служил и любовался счастьем своих господ усердный слуга, Прохор Кондратьич. Умирая, он отдал Кузьме Петровичу ларчик: в нем лежала сверху икона преподобного Косьмы, епископа Халкидонского, мешочек с десятью целковыми и мелким серебром, две изломанные игрушки, тетрадка с детскими прописями и бережно завернутая в бумагу пара истертых сафьяновых башмачков, которые Кузьма Петрович носил в своем ребячестве...

Я счел за нужное рассказать содержание романа, может быть неизвестного многим моим читателям нового поколения. Все просто, все обыкновенно в «Мирошеве»; даже трудно

объяснить, что именно производит то глубокое и благотворное впечатление, которое оставляет в душе читателя чтение этой повести. Кузьма Петрович Мирошев — лицо невидное, бесцветное и бесстрастное; тот, кто взял его в герои своего романа, должен был носить в душе любовь и уважение к внутренней духовной высоте такого лица. Загоскин совершил многотрудный подвиг: он вывел так называемого добродетельного, в настоящем же случае, просто доброго человека, камень преткновения и для великих талантов — и добрый человек не скучен, а напротив возбуждает полное сочувствие. Мирошев, снисходительный и уступчивый во всем, что касается до его личности, до его самолюбия, до всего того, что свет называет благородством, — тверд и постоянен в сопротивлении всему, нарушающему его совесть, в которой заключается святость его верований и нравственность убеждений. Я хотел было выписать что-нибудь поболее из слов Мирошева, для определения его характера и для подтверждения моего мнения, но нечего выписать, не на чем остановиться: нет ни одного особенно замечательного слова, ни одного выдающегося движения: но таков и должен быть Мирошев. Он ничего не сделал необыкновенного; но читатель убежден, что если потребует долг, Кузьма Петрович поступит с полным самоотвержением, и что нет такого геройского подвига, которого бы он не совершил не задумавшись; одним словом: это русский человек — христианин, который делает великие дела, не удивляясь себе, а думая, что так следует поступать, что так поступит всякий, что иначе и поступить нельзя... и только русский человек — христианин, каким был Загоскин, мог написать такой роман. Загоскин сделал это без малейшего усилия; для всякого же другого это был бы подвиг слишком трудный, едва ли возможный. Загоскину не нужно было творчества; он черпал из себя, из своей собственной духовной природы, и подобно Мирошеву не знал, что он сделал и даже не оценил после: он признавался мне, что этот его роман немножко скучноват, что он писал его так, чтобы потешить себя описанием жизни самого простого человека; но я думаю, что нигде не проявлялся с такою силою талант его, как в этом простом описании жизни простого человека. На все есть время, а для настоящей эпохи оно летит с неимоверной быстротой. В десять лет много утекло воды, и может быть теперь «Мирошев» будет оценен гораздо выше: прямее, искреннее смотрим мы на нравственную высоту души и лучше начинаем понимать русского человека. Я знаю, что молодое поколение русских читателей мало читало сочинений Загоскина, разве прочло одного «Юрия Милославского». Знаю, что оно выросло под влиянием

неблагосклонных отзывов журнальных рецензентов, и потому я прошу каждого из них, кому дорог свой собственный взгляд и суд, прочесть «Мирошева», хотя для того, чтоб иметь полное право не согласиться со мною.

В 1842 году Загоскин выдал «Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского. Выход I». Эта книжка содержала в себе десять небольших статей. Две из них, III и VIII, то есть первая сцена из московской домашней и общественной жизни «Выбор жениха», вошли потом в состав последней комедии Загоскина, о которой я буду говорить в своем месте. В мелких статьях автор везде сохраняет свои обыкновенные достоинства: легкость и свободу языка, веселость и оригинальность взгляда. Очень часто можно не соглашаться с взглядом сочинителя, но всегда прочтешь с удовольствием все, им написанное. «Москва и москвичи, выход первый», заключает в себе любопытные известия о многих московских зданиях и окрестностях. Вероятно, по этой причине «первый выход» переведен на французский язык и немедленно был вторично издан на русском.

В 1844 году напечатал Загоскин второй выход «Москвы и москвичей». В нем находилось 11 мелких статей, более или менее относящихся к Москве, к образу жизни и нравам ее обитателей. Второй выход имел все достоинства первого; доставлял такое же приятное чтение, был также хорошо принят читающей публикой и также в непродолжительном времени был напечатан вторым изданием. Оба выхода «Москвы и москвичей» имели особенный интерес для московских читателей. В некоторых лицах многие узнали своих знакомых, а потому и во всех остальных искали с кем-нибудь сходства. В ласковом камергере, который часто встречался и беседовал с Богданом Ильичом Бельским, все узнавали самого сочинителя.

Между тем Загоскину захотелось возвратиться к историческим романам. Он снова занялся чтением, изучением и выписками из старинных рукописей и документов, и в 1846 году напечатал «Брынский лес. Эпизод из первых годов царствования Петра Великого», в двух томах. Публика обрадовалась ему. Этот роман напомнил читателям «Юрия Милославского»; он написан с тою же силою таланта, утратившего может быть только первую свежесть и новость; но, конечно, роман не произвел и не мог произвести такого же впечатления уже по одной разности эпох: в «Юрии Милославском», в 1612 году, дело шло о спасении русской земли: оно составляло главное содержание, а все прочее было придаточной обстановкой; а в «Брынском лесу» положение государства, конечно, весьма интересное и важное по своим последствиям, составляет не-

большую придаточную часть и служит, так сказать, введением в интригу романа, по несчастью — любовную. Любовь всегда была самою слабою стороною в романах Загоскина. Здесь она приторнее и несовременнее, чем во всех прежних. Я не знаю, каким образом любили в старину, но всякий скажет вместе со мною, что не так любили, не так думали и говорили, как герои романа в «Брынском лесу». Несмотря на то, самый ход рассказа очень интересен; автор весьма искусно, естественно вмешал в него тогдашних раскольников: они описаны живо и забавно; но взгляд на раскол, верный только с одной смешной стороны, слишком односторонен; в сущности раскола лежало гораздо более важного значения. Очень удачно нарисован боярин Куродавлев, осердившийся на царя за мнимое оскорбление своего родового старшинства и живущий по-боярски в своей отдаленной отчине; его помещичьи отношения к своим крестьянам, холопьям и бесчисленной дворне также описаны прекрасно, живо и даже верно, сказал бы я, если их придвинуть поближе к нам, то есть, если бы события романа происходили не в 1682, а хотя в 1742 году, двумя поколениями позднее. Едва ли можно предположить, чтобы отношения помещика к крестьянам допетровского периода были таковы, какими изобразил их автор. Впрочем, все достоинства и особенности таланта Загоскина: русская удаль, речь, шутка, жизнь — блестят яркими красками в этом романе, и он читается весело, с участием в ходе запутанных происшествий и в трудном положении действующих лиц. «Брынский лес» имел уже два издания и скоро будет издан в третий раз.

В 1848 году Загоскин напечатал свой последний исторический роман в двух частях. «Русские в начале осьмнадцатого столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I». Не нужно распространяться о том, какое обширное и богатое поле, исполненное самых важных исторических интересов, с каждым днем получающих для нас большую значительность, представлялось таланту романиста. Самое название романа обязывало автора к изображению общественного положения, в котором, как в зеркале, отражался бы переворот государственный. Разбирая этот роман, прежде всего надобно сказать, что дело идет не о том, до какой степени справедливо воззрение автора на это великое событие. Я совершенно устраняю этот вопрос, и по моему мнению, никто не вправе требовать от романиста, чтоб он так или иначе понимал исторические события. Взгляд Загоскина довольно объясняется во вступлении к роману. Итак, я постараюсь только определить: удовлетворительно ли он исполнил свою задачу, смотря на предмет с собственной, известной точки зрения автора? Вот в коротких

словах содержание рассказа: на сцене являются два молодых гвардейских офицера, Симский и Мамонов, книжная речь которых, пересыпанная дикими иностранными словами, приводит в изумление и досаду стариков того времени; оба молодые человека весьма охотно принимают новый порядок вещей и уже скучают старинными обычаями: это представители нового поколения. В противоположность им выведено три старика: Л. Н. Рокотов, пристрастный друг старины, ожесточенный враг новизны; М. П. Прокудин, также осуждающий нововведения и хранящий старые обычаи, но без ожесточения; читатель чувствует, что этот добрый старик, способный оценить хорошее в противной ему новизне, способен сделать уступки и сделает их со временем; наконец, третий, Д. Н. Загоскин, дядя Симского, уже добровольно уступивший новым мыслям и новому порядку вещей, обривший бороду и надевший немецкое платье, несмотря на вопли его окружающих и на сокрушение своей жены, которая, сказать правду, рассуждает в этом случае гораздо дельнее и логичнее своего супруга. Из женского пола выведена одна барыня средних лет, А. П. Ханыкова, которая также уже поддалась влиянию новых нравов; с нею живет временно родная племянница, О. Д. Запольская, воспитанная вместо дочери родным братом Ханыковой, Прокудиным. Эта девушка, героиня романа, сохраняя во всей чистоте старинные семейные понятия и нравы, без отвращения однако ездит со своею теткою на немецкие танцевальные ассамблеи, где и познакомилась с молодым Симским; разумеется, они полюбили друг друга. Надобно отдать справедливость Загоскину, что эта любовь уже гораздо сноснее всех прежних описаний любви в его романах. Завязка состоит в том, что Прокудин сначала не соглашается отдать свою племянницу за Симского, который в большом горе отправляется с своим полком на войну с турками. Из лагеря на Пруте, в самую отчаянную минуту, Петр I отправляет его с известным указом в Сенат[1], поручение очень опасно, но Симский счастливо избавляется от неминуемой смерти и доставляет указ Сенату. Благородным поступком с своим соперником, которого считал женатым на Ольге Дмитриевне Запольской, но которому уже давно отказал Прокудин, как подлому трусу, Симский смягчает предубеждение старика, нравится ему уважением к старине и получает руку своей любезной. Есть еще несколько лиц эпизодических, о которых не говорю. Судя по расходу книги и по отзывам тогдашней читающей публики,

[1] Указ этот, как теперь дознано, никогда не существовал *(прим. С. Т. Аксакова).*

роман не имел большого успеха. Все ожидали чего-то другого: интригу находили слишком простою, не возбуждающею любопытства, а благополучную развязку — не имеющею достаточных причин. Может быть, это отчасти справедливо. Но задача романа состояла не в том. В рецензиях журнальных не было сказано ничего определенного: слышалась только мысль, что автор не глубоко, а поверхностно черпал из любопытного времени своего романа. Я не разделяю этого мнения. Я думаю, что едва ли Загоскин мог черпать глубже, не преступив пределов романа и не коснувшись живых государственных вопросов. По моему мнению, сочинитель, верный собственному воззрению, обработал данный предмет со всею силою и жизнию своего таланта, и разнохарактерная картина общества с его замечательными оттенками написана верно. Из всех разнородных представителей общественного мнения автор никому не дает явного превосходства. Хотя мы знаем, с кем более согласен сочинитель, но противники предка его, Загоскина, и тогдашнего молодого поколения, особенно непреклонный Рокотов, говорят очень убедительно и дельно; сопротивление их новым идеям так естественно, так много в нем здравого русского толка, что действующие лица являются живыми людьми, а не отвлеченными призраками или воплощенными мыслями, выведенными для торжества известного принципа. Некоторые находили, что мало показан Петр I; но я не могу и с этим согласиться: более показать Петра I было невозможно и не должно; его огромная личность закрыла бы весь роман и, заставив побледнеть или уничтожив все другие интересы — все бы не удовлетворила читателя. В такую ли тесную рамку уставиться великану? — Придаточные лица в романе, каждое в своем роде, очень естественны, живы и веселы, кроме, может быть, немножко идеальной молдаванки, куконы Хереско. Небольшая сцена немецких генералов и французского бригадира, известного Моро де Бразе, в лагерной палатке на Пруте, при всей своей краткости и сжатости, передает очень живо всех этих господ. Русская речь также хороша, проста и сильна; одним словом — я считаю последнее произведение Загоскина не уступающим в достоинстве лучшим его прежним сочинениям, даже нахожу в нем большую зрелость мысли и силу языка. Последние два романа мало уступают «Юрию Милославскому» и, по-моему, даже превосходят его. Если б они вышли первые — успех был бы огромный. Но двадцать лет прошло — требования публики изменились.

В том же 1848 году Загоскин выдал третий выход «Москвы и москвичей». Он состоял из двенадцати небольших статей, относящихся до Москвы, ее обычаев, жителей и заведений;

одна из них, самая большая по объему и очень забавная по содержанию, а именно: статья IV, называющаяся «Поездка за границу», написанная в разговорах — послужила основанием комедии того же имени. Книжка не имела однако ж такого успеха, как два первые выхода. Менее всех показалась удовлетворительною 1-я статья: «Несколько слов о наших провинциалах». Автор, не выезжая из Москвы 30 лет, написал ее по слухам, а не по собственному личному убеждению, следствием чего было, во-первых, то, что он неосновательно обвинял современных писателей в пристрастии и умышленном оскорблении провинциальных жителей, будто бы терпящих напраслины, и, во-вторых, то, что все, написанное в защиту провинциального быта, вышло бледно, неверно, высказано без убеждения и наполнено общими местами; к тому же и содержание некоторых мелких статей — слишком мелко. Я уже говорил об этом, но счел за нужное повторить мои слова по поводу вышеназванной статьи. Справедливость требует сказать, что последняя статья: «Два слова о нашей современной одежде», при всей своей краткости и недостаточном развитии, имеет положительное достоинство и замечательна по своей мысли.

В 1850 году Загоскин напечатал комедию в 4-х действиях, в прозе: «Поездка за границу». Она была представлена на театре 19 января. Публика приняла ее на сцене очень хорошо, хотя причина благоприятной развязки, останавливающая только *на время* поездку за границу, несколько натянута: собственно тут нет поездки, а только сборы за границу, но зато эти сборы так забавны, что зрители смотрели комедию всегда с удовольствием. Надобно прибавить, что она была разыграна очень удачно.

В том же году вышла 4-я книжка или выход «Москвы и москвичей», заключавшая в себе 10 статей и небольшое предисловие, или вступление, под названием «К читателям». Загоскину показалось, что рамки, назначенные им для своих рассказов, слишком узки; он решился раздвинуть их, то есть решился говорить не об одной Москве и ее обычаях, о чем и предуведомил своих читателей. Он назвал свои анекдотические рассказы, содержание которых не касалось Москвы, «Осенними вечерами», которые однако не представили большой занимательности; статьи же, собственно относящиеся к Москве, были напротив очень интересны и, вероятно благодаря им, читающая публика приняла четвертый выход «Москвы и москвичей» гораздо лучше третьего.

Еще в 1841 году, во втором томе известного великолепного альманаха, «Сто русских литераторов», изданного Смирдиным, был напечатан довольно большой рассказ Загоскина под названием «Официальный обед». Из этого забавного, но несколько растянутого рассказа, в 1850 же году, автор сделал

комедию в прозе, кажется, в трех действиях: «Заштатный город». Вероятно на сцене она была бы очень весела и смешна; но пиеса эта, по независевшим от автора причинам, не была играна на театре и не была напечатана.

В 1851 году напечатана в Петербурге, сначала в журнале «Библиотека для чтения», а потом отдельно, последняя комедия Загоскина в четырех действиях, в стихах: «Женатый жених». Два ее акта составлены из двух сцен «Московской домашней и общественной жизни», напечатанных в первом выходе «Москва и москвичи». Эта комедия в том же году разыграна на московском театре, и весьма неудачно. Пиеса до такой степени была дурно или мало срепетирована, что некоторые актеры плохо знали роли. Причиною тому было особенное обстоятельство. Загоскин, отличавшийся всегда завидным здоровьем, с некоторого времени стал прихварывать и совсем не позаботился о репетициях. Пиеса не имела успеха, то есть, ее перестали давать; но при первом представлении зрители много смеялись, и автор был вызван единодушно, как и всегда, признательною московскою публикою. Впрочем, кроме плохого исполнения, сама комедия была неудачно составлена: не говорю уже о том, что два лучшие акта, в драматической же форме, но только написанные прозою, были давно известны публике. Эта пиеса — новое доказательство, что прекрасные, легкие и сильные стихи, оправленные часто в диковинные, мастерски прилаженные рифмы, и что даже забавные сцены (если взять их отдельно) не могут дать успеха комедии на театре, если в ней нет внутренней связи и единства интереса. Как бы то ни было, в первый раз случилось, что Загоскин был огорчен неудачей на сцене своего театрального произведения; он приписывал эту неудачу невниманию дирекции и актеров, что было справедливо только отчасти. Комедия «Женатый жених» — последнее произведение Загоскина, явившееся на сцене и в печати.

Загоскин начинал расхварываться: он чувствовал постоянный лом, по временам сильно ожесточавшийся в ногах и даже в груди, с каким-то наружным раздражением кожи; впрочем, сначала он терпел более беспокойства, чем боли. Доктора находили, что это артрическая острота (рассыпная подагра), перешедшая впоследствии в подагру атоническую — нервную. Загоскин не любил лечиться; первую зиму он перемогался, продолжал ежедневно выезжать, надеялся, что лето и верховая езда за городом, которую он очень любил, лучше докторов восстановят его здоровье. В первый год точно так и было: он видимо поправился летом, но к осени болезнь возвратилась с удвоенною силою. Загоскин принужден был приняться за лекарство; но лечился так неправильно, своенравно, так часто переменял методу лечения и самые средства, употребляя их нередко в страшном излишестве, следуя советам не врачей,

что без сомнения леченье ему повредило и придало болезни силу и важность. Страдания физические отняли у него возможность писать, а человеку, привыкшему в течение целой жизни к ежедневной умственной работе, такое лишение невыносимо. Загоскин принялся читать и перечитал все, что за недосугом было только просмотрено им или пропущено совсем. Сначала он выезжал по вечерам почти ежедневно, но ездил уже не в светское общество, а к самым коротким друзьям, где нередко увлекался своим живым характером, забывая на мгновение мучительные боли, горячился в спорах о каких-нибудь современных интересах, а иногда в спорах о картах за пятикопеечным ералашем: громкий голос его звучно раздавался по-прежнему, по-прежнему все были живы и веселы вокруг него, и взглянув в такие минуты на Загоскина, нельзя было подумать, что он постоянно страдал недугом, тяжким и смертельным. Наконец болезнь так усилилась, что он не мог выезжать по вечерам: обстоятельство очень тяжелое для Загоскина, потому что при огне он не мог читать; его вывозили только прогуливаться, и он, не вылезая из экипажа, делал визиты своим приятелям и знакомым. Кроме собственного его семейства, родной брат, М. Н. З., с женою, жившие тогда в Москве, были ежедневными его собеседниками. Друзья также навещали его, составляли приятельский вист или ералаш, и больной не давал задуматься своим посетителям, а напротив нередко заставлял их смеяться. Между тем беспорядочное, часто изменяемое, леченье героическими средствами продолжалось; приключилась посторонняя болезнь, которая при других обстоятельствах не должна была иметь никаких печальных последствий; некогда могучий организм и пищеварительные силы ослабели, истощились, и 23 июня 1852 года, в пятом часу пополудни, после двухчасового спокойного сна, взяв из рук меньшего сына стакан с водою и выпив немного, Загоскин внимательно посмотрел вокруг себя... вдруг лицо его совершенно изменилось, покрылось бледностью и в то же время просияло какою-то веселостью. Он вздохнул и — его не стало. Больной заснул тихим, спокойным, вечным сном. За четыре дня он приобщился святых тайн. Тело его предано земле в Новодевичьем монастыре[1].

---

[1] С. И. Клименков, почтенный и всем известный в Москве врач, который 15 лет был медиком и другом покойного Загоскина и всего его семейства, но которого, по несчастию, он не слушался в последние два года, призванный только за три дня до кончины Загоскина, полагает, что она произошла вследствие истощения сил больного, сначала гидропатией, потом средствами горячительными и раздражающими, наконец четырехмесячным употреблением Цитманова декокта; что наследственная подагра, гнездившаяся в нем издавна, несмотря на трезвую и правильную жизнь, при существовавшей тогда эпидемии в Москве кровавых дизентерий, бросилась на пищеварительные органы и произвела воспаление и антонов огонь *(прим. С. Т. Аксакова).*

Считаю излишним говорить о глубокой горести его семейства и особенно, больной с давних лет, его супруги.

Загоскин написал и напечатал 29 томов романов, повестей и рассказов, 17 комедий и 1 водевиль. В бумагах его найдено немного: прекрасный рассказ «Канцелярист» и несколько мелких статей, которые вместе с ненапечатанной комедией «Заштатный город» составят, как я слышал, пятый и последний выход «Москвы и москвичей»[1]. Говоря об «Юрии Милославском» и о «Мирошеве», я достаточно высказал мое мнение о таланте Загоскина. Не излишним считаю повторить в нескольких словах сказанное мною: талант Загоскина — самобытный, оригинальный, исключительно русский; в этом отношении он не имеет соперника, и потому я считаю его единственным исключительно русским народным писателем; основные качества его таланта — драматичность, теплота и простодушная веселость, дар драгоценный, редко встречаемый в самых знаменитых писателях. Это не то, что мы называем комизмом или юмором: Загоскин не возбуждает того высокого смеха, вслед за которым выступают слезы. Читая Загоскина, становится только весело на душе, и со дна ее незаметно поднимается чувство народности... Достоинство высокое! К этому должно прибавить, что все, написанное Загоскиным, проникнуто чувством нравственным, религиозным и пламенной любовью к родной земле; его же искренняя, горячая преданность к государю известна всем. Загоскин проводил русское направление, как он понимал его, везде, во всяком сочинении, и восставал, сколько мог, против подражания иностранному.

Загоскин был членом русского отделения императорской Академии наук, и также членом, а потом и председателем Общества любителей русской словесности при Московском университете. Сверх того он имел *авторские кресла* в театрах обеих столиц — награда, которой, кроме его, не был почтен ни один русский драматический писатель.

Определив, по крайнему моему разумению, согласно моим личным убеждениям, Загоскина как писателя, я должен теперь сказать о нем как о человеке. Говорить о служебной деятельности Загоскина не мое дело. Без сомнения, он, как человек честный, дорожил добросовестным исполнением своих должностей. Его формулярный список свидетельствует, что, кроме наград чинами, орденами и знаком отличия за 40-летнюю беспорочную службу, Загоскин получил восемь высочайших благоволений, из коих шестью удостоен, служа при те-

---

[1] К сожалению, это ожидание доселе не исполнилось *(прим. С. Т. Аксакова)*.

атре, «за хозяйственные распоряжения и соблюдения значительной экономии».

Основными качествами характера Загоскина были: честность, веселость, неограниченное добродушие и доверчивость; последними двумя качествами,— которые людская испорченность называет детскими, следственно не уважает, и даже смеется над ними,— разумеется, пользовались люди, имевшие к тому охоту и надобность; им особенно помогала вспыльчивость Загоскина, проходившая мгновенно и безвредно. Стоило только его рассердить, что было весьма не трудно — в горячности вылетало у него какое-нибудь резкое или грубое слово, мнимо обиженный прикидывался огорченным, жалким — и добрейший Загоскин готов был сделать все, чтоб загладить вину свою. Делая много добра, он никогда не помнил о том; ему приятно было, если помнили другие, и приятно только потому, что он радовался душою, находя в людях добрые качества. Загоскин никогда не жаловался и даже не любил, чтоб говорили и другие о каком-нибудь человеке, неблагодарном ему за добро. Я сам, выведенный из терпения одним таким господином, историю которого знал коротко, выразился о нем очень жестко, будучи наедине с Загоскиным... Загоскин огорчился и взял с меня честное слово не говорить никогда не только ему, но и никому о неблагодарности лица, о котором у нас шла речь. Признаюсь, я был поражен такой христианскою добротою. Загоскин во всю свою жизнь не сделал с намерением никому вреда. Это несомненная истина. В пылу горячего спора ему случалось сказать о человеке, даже при лишних свидетелях, что-нибудь могущее повредить ему; но когда горячность проходила, и Загоскину объясняли, какие вредные последствия могли иметь его слова, которых он не помнил,— боже мой, в какое раскаяние приходил он... он отыскивал по всему городу заочно оскорбленного им человека, бросался к нему на шею, хотя бы то было посреди улицы, и просил прощенья; этого мало: отыскивал людей, при которых он сказал обидные слова, признавал свою ошибку, и превозносил похвалами обиженного... Может быть, иным покажется это смешно, но высока эта смешная сторона. Будучи вспыльчив от природы, Загоскин совсем не имел того раздражительного авторского самолюбия, которым обыкновенно страдают писатели. Не только его друзья и приятели, но всякий мог сделать лично ему какие угодно жесткие замечания, и он принимал их всегда добродушно и спокойно, и готов был сознаться в ошибке, если чувствовал справедливость замечаний. Он не выносил только одного: если, нападая на Загоскина, задевали Россию или русского человека — тогда неминуемо следовала горячая вспышка. Загоскин был рассеян, и его

рассеянность подавала повод ко многим смешным анекдотам: он часто клал чужие вещи в карман и даже запирал их в свою шкатулку; сел один раз в чужую карету, к даме, не коротко знакомой, и приказал кучеру ехать домой, тогда как муж стоял на крыльце и с удивлением смотрел на похищение своей жены. В другой раз он велел отвезти себя не в тот дом, куда хотел ехать и где ожидало его целое общество; он задумался, вошел в гостиную, в которой бывал очень редко, и объявил хозяйке, с которой был не коротко, но давно знаком, что приехал прочесть ей по обещанию отрывок из своего романа; хозяйка удивилась и очень обрадовалась, а Загоскин, приметивши наконец ошибку, посовестился признаться в ней и прочел назначенный отрывок к общему довольствию и хозяев и гостей. Рассеянность не оставляла иногда Загоскина даже в делах служебных: он подал один раз министру вместо рапорта о благосостоянии театра счет своего портного; министр усмехнулся и сказал: «Ох, эти господа авторы».— Загоскин был не только рассеян, но и чрезвычайно беспамятен, отчего так конфузился на сцене, что почти не мог участвовать в благородных спектаклях, хотя иногда очень желал разделять со всеми эту забаву, бывшую в большом ходу в Москве в 1820 годах. Особенно был смешон один случай, который я расскажу, как характерную черту физиономии Загоскина. В день рождения кн. Д. В. Голицына, которого, как человека, любили все без исключения, был сделан ему сюрприз; Загоскин сочинил интермедию с куплетами под названием «Репетиция на станции». Прозу писал он, стихи — А. И. Писарев, а музыку — Верстовский. Это была веселая и забавная безделка; куплеты же Писарева — прелесть: таких куплетов уже не пишут с тех пор, как он умер. В интермедии Загоскин играл Загоскина, Писарев — Писарева, Верстовский — Верстовского, нарядившегося старым хористом. Кроме них участвовали в пиесе А. А. Башилов, Данзас и другие. Кто мог петь, тот пел куплеты, кто не мог — говорил их под музыку; Загоскин не пел и должен был последний, как сочинитель пиесы, проговорить без музыки свой самим им написанный куплет; опасаясь, что забудет стихи, он переписал их четкими буквами и положил в карман; опасение оправдалось: он забыл куплет и сконфузился; но достал из кармана листок, подошел к лампе, пробовал читать в очках и без очков, перевертывал бумагу, сконфузился еще больше, что-то пробормотал, поклонился и ушел[1]. Занавес

[1] Первое представление этой интермедии происходило в подмосковной кн. Д. В. Голицына, где посетителей было не так много: тогда кое-как Загоскин прочел свой куплет, и то принужден был взять его у суфлера и разбирать со свечкой; хозяин и небольшой круг гостей смеялись; рассказанный же мною анекдот случился при повторении интермедии в Москве, при многочисленной публике, в доме Ф. Ф. Кокошкина *(прим. С. Т. Аксакова).*

опустился. Когда актеры вышли в залу к зрителям, все окружили Загоскина и спрашивали: «что с ним сделалось?» Он отвечал, что стихи позабыл, а в карман ошибкой положил вместо куплета листок белой бумаги...— Когда я спросил его о том же в свою очередь, Загоскин шепнул мне на ухо: «так сконфузился, мой друг, что не мог разобрать своей руки: уж это я выдумал, что будто положил в карман белую бумагу; только молчи, никому не сказывай». Я и промолчал на тот вечер или на ту ночь, потому что ужин и бал продолжались до утра. На другой день я рассказал секрет всем приятелям, да и Загоскин с своей стороны сделал то же: разумеется, все посмеялись вдоволь.

Загоскин был постоянно весел в обществе и семейном кругу. Эта веселость происходила от невозмутимой ясности простой его души, безупречной совести и неистощимого благодушия; она невольно сообщалась другим и одушевляла всех: понятно, как он был любим в обществе, в кругу родных и в семье. Веселость не оставляла Загоскина даже в мучительной болезни; рассказывая о своих страданиях, он нередко употреблял такие оригинальные выражения, что заставлял смеяться окружающих и самого врача. Шуточное неконченное послание в стихах к А. Е. Аверкиеву, которое будет напечатано в последней книжке «Москвы и москвичей» [1], показывает, до какой степени сохранились в Загоскине веселость и спокойствие духа почти до самой кончины. Будучи сам неспособен не только к чувству зла, но даже к минутному недоброжелательству, он никогда не предполагал этих свойств в других людях. Лицемерия он не понимал совсем. Множество ошибок и поучительных уроков не излечили его от доверчивости, и ему всегда казалось, что он окружен прекрасными людьми.

Загоскин не получил в своей юности систематического, научного образования: он учился сам и образовал себя впоследствии необыкновенно обширным чтением книг. Имея ум простой, здравый и практический он не любил ни в чем отвлеченности и был всегда врагом всякой мечтательности и темных, метафизических, трудных для понимания, мыслей и выражений. В прежнее время, когда это направление было в ходу, он врезывался иногда, с русским толком и метким русским словом, в круг людей, носившихся в туманах немецкой философии и не только все окружающие, но и сами умствователи, внезапно упав с холодных и страшных высот изолированной мысли, предавались веселому смеху.

---

[1] Не знаю почему, книжка эта до сих пор не напечатана *(прим. С. Т. Аксакова).*

Из всего сказанного о Загоскине не трудно заключить, что он был бесцеремонен, прост в обращении: многим казалось, что эта простота доходила до излишества. Бывая иногда, по своему положению, в свете и по своей литературной славе, в кругу людей так называемого высшего общества, Загоскин не мог не грешить против его законов и принятых форм, потому что был одинаков во всех слоях общества; его одушевленная и громкая речь, неучтивая точность выражений, простота языка и приемов часто противоречили невозмутимому спокойствию холодного этикета. Его русская натура постоянно сквозила из-под камергерского мундира и на аристократическом бале, и во дворце. Некоторые пожимали плечами, улыбались значительно и удалялись от него, а некоторые именно за то очень любили и уважали Загоскина.

В заключение должно сказать, что ко всем прекрасным свойствам своего счастливого нрава, к младенческому незлобию души и неограниченной доброте, Загоскин присоединял высшее благо — теплую веру христианина... Да будет мир его душе...

Декабрь, 1852 года.
Деревня.

С. М. ЗАГОСКИН

Воспоминания ***(Фрагменты)***



од Загоскиных принадлежит к одной из древних русских дворянских фамилий. Родоначальник их Шевкал Загорь прибыл в 1472 году из Золотой Орды к великому князю Иоанну III и, наименованный во св. крещении Александром Акбулатовичем с прозванием Загоска, был жалован поместьями в Новгородском уезде, в Обонежской пятине. Из потомков его, называвшихся Загоскиными, многие служили воеводами и стольниками, а некоторые находились при разных посольствах. В начале род Загоскиных был весьма малочислен, так что в царствование царя Алексея Михайловича представителем его остался один Дмитрий Феодорович, стольник и воевода на Нерехте. Впоследствии у него был сын Алексей, служивший тоже стольником и убитый под Смоленском. Единственный сын Алексея, мой прапрадед, Лаврентий Алексеевич, находился в военной службе, но где именно — мне неизвестно; по-видимому, он был в числе лиц, приближенных к царице Марфе Матвеевне, так как она выдала за него свою крестницу, дочь шведского генерала Эссен, взятую в плен под Полтавою и подаренную Петром I. Сам государь был посаженым отцом новобрачной и благословил ее образом, хранящимся и поныне в потомстве старшего из двух сыновей Лаврентия Алексеевича — Николая, оставившего от брака с девицею Масловою многочисленное потомство, проживающее доныне, большею частью, в г. Пензе и в родовых своих имениях этой губернии. Другой сын Лаврентия Алексеевича, Михаил, был женат на богатой девице из древнего рода Бельских и имел единственного сына Николая, моего деда, родившегося 24-го октября 1761 года.

О жизни и службе моего прадеда я не имею никаких сведений; мне только известно, что он умер в молодых летах, вскоре после рождения своего единственного сына. Вслед за прадедом скончалась и его вдова, оставив своему малолетнему сыну большие и значительные имения в Пензенской губернии.

Осиротевший ребенок был взят на воспитание своим родственником Засецким, проживавшим в своих поместьях Пензенской губернии, и у которого он оставался до 16-летнего возраста. Воспитание деда шло более чем плохо: отсутствие всякого надзора, безотчетная свобода действий, шалости и игры в обществе многочисленной дворни имели пагубное влияние на его нравственное развитие, так что, поступив 16 лет на службу в лейб-гвардии Измайловский полк, он немедленно предался полнейшему разгулу в кругу молодых петербургских кутил того времени. Разгул, по собственным его словам, был столь велик, что долго продолжаться не мог. Будучи характера крайне своеобразного и самовольного, но, к счастью, обладая здравым умом и сильною волею, дед вскоре почувствовал всю неприглядность своей безнравственной жизни и, возгнушавшись всего, что незадолго перед тем составляло ея прелесть, решил разом навсегда покончить с своею обстановкою, посвятив себя уединению и молитве... решение было круто и энергично: он вышел в отставку, роздал большую часть своего состояния небогатым своим родственникам и отправился на жительство в Саровскую пустынь, где в то время находился известный строгий подвижник, отец Серафим. Построив собственноручно, вместе с Серафимом, келью и сделавшись неразлучным его товарищем, молодой отшельник вполне подчинился строгому монастырскому уставу. Препровождая время в молитве и посте и ревностно исполняя тяжелые возлагавшиеся на него послушания, он вскоре приобрел искреннюю дружбу и уважение Серафима. Несколько лет, проведенных дедом в Саровской пустыне, совершенно согласовались с тогдашним его душевным настроением и, казалось, служили ему подготовлением к дальнейшим отшельническим подвигам... но молодость взяла свое! Получив письмо от своих родственников Засецких, приглашавших его к себе в деревню для каких-то необходимых денежных расчетов, Николай Михайлович с стесненным сердцем и великою грустью покинул на время обитель и поехал к ним в Пензенскую губернию. Прогостив там несколько месяцев, молодой послушник грустил по своей уединенной келии и по своем товарище Серафиме, но, мало-помалу, привыкнув к новой обстановке, среди сельских развлечений, стал забывать пустынь, келью и Серафима... наконец, в сердце его запала искра теплой и нежной любви! — он полюбил молодую девицу, воспитанную в правилах высокого благочестия, Наталью Михайловну Мартынову. Любовь эта решила дальнейшую его службу: он сбросил мо-

нашескую ряску, покинул навсегда Саровскую пустынь и женился на Мартыновой[1].

После женитьбы Николай Михайлович поселился в Пензе, проживая по летам в родовом поместии Пензенского уезда, с. Рамзае. Несмотря на свой причудливый и несколько деспотический характер, он до конца жизни был хорошим мужем и добрым попечительным отцом. Семейство его состояло из семи сыновей и двух дочерей[2].

Вскоре после отечественной войны дед мой переехал из Пензы на жительство в Петербург, где в то время сыновья его находились на службе или в учебных заведениях. В Петербурге он нанял, на Невском проспекте, близ Надеждинской, обширный бельэтаж в доме Яковлева (находящемся и поныне за

---

[1] Отец Натальи Михайловны, Михаил Ильич Мартынов, довольно богатый помещик Пензенской губернии, имел от трех браков двадцать пять человек детей. Из сыновей его были известны: в московском обществе — Соломон Михайлович, а в петербургском — Савва Михайлович. Первый проживал в Москве и составил себе, через откупа, значительное состояние. Он был женат на Елизавете Михайловне Тарновской и имел трех сыновей и пять дочерей. Сыновья его были Михаил, женатый на Ушаковой, Николай (убивший на дуэли Лермонтова) — на Проскуровой и Дмитрий — на Демидовой. Дочери, Елизавета — за Шереметевым, Екатерина — за Ржевским, Юлия — за князем Гагариным, Наталья — за французом графом Турдонэ и Мария — за английским банкиром Берингом.

Савва Михайлович, проведший всю жизнь в Петербурге, был женат на Марии Степановне Поскочиной и известен своею крупною карточною игрою. Сын его Николай, офицер гвардейской артиллерии, пользовался большою известностью своею замечательною игрою на фортепиано. Дочери Саввы Михайловича были в замужестве: Мария — за Бемом, Анна — за князем Багратионом и одна (не помню, как звали) за генералом Анненковым. О бабушке моей, Наталье Михайловне, родившейся 26-го декабря 1770 г., люди, близко ее знавшие, отзывались как о женщине умной, любезной и добродетельной, что и подтвердили в своих воспоминаниях известный поэт, князь И.М.Долгоруков и Ф.Ф.Вигель, хорошо знавшие ее во время своего пребывания в Пензе.

[2] Сынья: 1) Михаил, мой отец. 2) Маркел, женатый на Любови Сергеевне Олсуфьевой, офицер лейб-гвардии Семеновского полка, а потом пензенский уездный предводитель дворянства. 3) Василий, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, а затем умерший в должности командира Азовского полка. 4) Павел, офицер лейб-гвардии Павловского полка, умерший юношею. 5) Николай, женатый на Екатерине Дмитриевне Мертваго (дочери сенатора). 6) Алексей, женатый на Александре Ивановне Эмме (дочери рижского коменданта) и 7) Иллиодор, женатый на дворянке польского происхождения Эмилии Александровне Изеншмидт. Три последние служили в корпусе путей сообщения. Дочери: София в замужестве за пензенским помещиком Ступишиным и Варвара в первом браке за Охлябининым, а во втором за Александром Алексеевичем Панчулидзевым, бывшим более двадцати пяти лет пензенским гражданским губернатором.

потомками того же владельца и той же фамилии) и хоть не имел прежнего значительного состояния, но зажил, однако, довольно широко, принимая гостей и нередко устраивая у себя домашние спектакли. Проживая с 1815 по 1820 год, вместе с старшим своим сыном Михаилом Николаевичем, в то время уже начинавшим вращаться в кругу литераторов, дед мой составил себе общество преимущественно из сих последних. В домашних его спектаклях принимали участие Крылов, Гнедич, Жуковский и другие, а декорации для сцены писал юноша, обладавший уже тогда значительным талантом; фамилия его была Брюло[1].

В 1820 году Николай Михайлович, после женитьбы двух старших сыновей снова возвратился в любимую им Пензу и скончался там 24-го апреля 1824 года, а бабушка умерла там же 17-го марта 1833 года.

Отец мой, Михаил Николаевич, родился в с. Рамзае 14-го июля 1789 года. Воспитание он получил дома и большею частью в деревне; но образование его шло так же плохо, как и образование его отца; зато все внимание родителей было обращено на развитие нравственной стороны ребенка. С детских лет, чувствуя не только влечение, но просто страсть к чтению, Михаил Николаевич посвящал все свое время чтению книг из довольно обширной библиотеки своего отца, состоявшей большею частью из книг серьезного направления. Таким образом, с самых юных лет, не получая никакого научного образования, он, по собственному влечению, постоянным чтением несколько пополнял недостаток своих познаний и, притом, обладая замечательною памятью, помнил все прочитанное. Из иностранных языков его учили лишь французскому и то поверхностно; впоследствии, в зрелом возрасте, он знал основательно этот язык, но в разговоре делал часто ошибки.

Одиннадцати лет, он в первый раз попробовал написать рассказ под названием «Пустынник». Это детское произведение было настолько хорошо написано, что родители автора и все их знакомые не хотели верить, чтобы подобное сочинение могло выйти из-под пера одиннадцатилетнего ребенка.

В мае 1802 года Михаил Николаевич, не достигнув еще и тринадцатилетнего возраста, был отправлен в Петербург для поступления на гражданскую службу. В спутники ему, сверх дядьки его, Прохора Кондратьевича[2], был дан уезжав-

---

[1] Подробности эти известны мне из кратких записок Николая Михайловича, писанных изредка на маленьких листках бумаги и хранившихся у дочери его Панчулидзевой. Впрочем, записки эти не представляют особого интереса, касаясь преимущественно семейных дел.

[2] Этот дядька выведен Михаилом Николаевичем в его романе «Кузьма Петрович Мирошев».

ший одновременно с ним из Пензы в Петербург внучатный брат его, юный Филипп Филиппович Вигель, впоследствии известный своим просвещенным, но едким умом, автор весьма интересных записок. С ранних лет отец мой, здоровый, крепкий и замечательно сильный мальчик, чувствовал особое влечение к военной службе и неотступно просил своих родителей определить его в один из гвардейских полков, но они, неизвестно почему, не исполнили его желания, хотя некоторые из братьев его, из которых один даже пользовался слабым здоровьем, были определены в военную службу, а прочие отданы в корпус путей сообщения.

По приезде в Петербург Михаил Николаевич, по ходатайству старого знакомого его родителей, богатого откупщика Злобина (свояка Сперанского), был определен в канцелярию государственного казначея канцеляристом, откуда, по производстве в сенатские регистраторы, переведен в горный департамент, а потом в государственный заемный банк и, затем, перед отечественною войною, перешел снова в департамент горных дел с чином губернского секретаря.

Про эти первые годы петербургской жизни моего отца я ничего не знаю; он мало о них вспоминал и только иногда рассказывал, что жил тогда более чем скромно, имел мало знакомых, усердно трудился на службе, много писал маленьких рассказов и повестей и постоянно нуждался в средствах к жизни.

Получая от своего родителя всего 300 р. ассигнациями в год и несколько десятков рублей казенного содержания, он в сильные морозы не раз оставался в неотопленной квартире и даже однажды изнемогая от холода, решился, за неимением денег, истопить печи деревянными стульями, составлявшими часть мебели его неприхотливой квартиры.

В 1812 году, при формировании ополчений, Михаил Николаевич, в чине коллежского секретаря, поступил в ополчение С.-Петербургской губернии подпоручиком и принимал участие в сражениях под Полоцком и других местах. Под Полоцком, получив сильную контузию в ногу, он был пожалован за храбрость орденом св. Анны на шпагу. Контузия лишила его надолго возможности участвовать в дальнейших военных действиях.

Приведу при сем случай, доказывающий огромную память отца в молодых его летах. Во время продолжительного лечения контузии в лазарете он как-то сказал одному из своих раненых товарищей, что может в короткое время выучить наизусть весь лексикон французских слов. Товарищ не поверил, заспорил, побился о какой-то заклад и проиграл его: отец вы-

учил в назначенный срок весь лексикон, и, заставив проэкзаменовать себя, блистательно выдержал экзамен[1].

После сдачи Данцига, по распущении ополчения, Михаил Николаевич возвратился в Россию и прожил некоторое время у своих родителей в с. Рамзае, где и написал комедию под названием «Комедия против комедии», или «Урок волокитам».

Пиеса эта, игранная в Петербурге, понравилась публике, имела большой успех, долго не сходила с репертуара и доставила автору некоторую известность среди драматических писателей того времени, но, будучи написана в защиту «Липецких вод», комедии князя А.А.Шаховского, принадлежавшего к литературному кружку Шишкова, враждебному знаменитому кружку «Арзамасцев», приобрела ему немало врагов из последнего кружка.

Все члены «Арзамаса», за исключением Жуковского и Вигеля, сделались сильными порицателями драматического таланта отца, и в особенности ожесточался против него Грибоедов, который, однако, позднее, познакомившись с ним, полюбил его и остался в приятельских с ним отношениях вплоть до своей трагической кончины[2].

В 1815 году Михаил Николаевич был помолвлен на пятнадцатилетней дочери старого знакомого своего отца, богатого помещика Чихачева. Молодые люди не чувствовали к друг другу никакого влечения и должны были вступить в брак единственно в угоду и по приказанию своих родителей. К счастию, брак этот, по настоянию жениха, не состоялся, и в следующем году Михаил Николаевич, по собственному влечению и выбору своего сердца, женился на незабвенной моей матери, память о которой для меня сохранилась не только как о женщине умной, просвещенной, но и редкой христианке, заслужи-

---

[1] И. И. Панаев, в своих воспоминаниях, упомянул об этом обстоятельстве, но не верно: он говорит, что М.Н., не знав в детстве французского языка, изучил для сего французский лексикон вскоре после своего назначения директором Московских театров. Это ошибочно: дело было, как мною рассказано со слов самого Михаила Николаевича.

[2] В Императорской Публичной библиотеке хранится переданное мною туда нижеследующее стихотворение Грибоедова, писанное им в форме письма к моему отцу, служившему в то время при Московском театре:

«Бич пороков и блинов!
Ныне Щепкин угощает
И приятельский свой зов
Чрез меня он посылает.
Приезжай нас позабавить.
Аппетиту нам прибавить
И съестного поубавить!»

вающей, без малейшего преувеличения, названия святой женщины.

Мать моя, обязанная бытием своим бригадиру Дмитрию Александровичу Новосильцову, была возведена, в младенчестве, в дворянское достоинство с фамилией Васильцовской[1] и со дня своего рождения (26-го июня 1792 года), находясь безотлучно при отце, получила тщательное воспитание; она прекрасно владела французским, немецким и итальянским языками, отлично пела, играла на фортепиано и рисовала, как артист.

При глубоком уме, обладая редкими душевными качествами и замечательною красотою, она была до крайности застенчива, вследствие чего казалась несколько необщительною, и только люди близко знавшие ее, могли оценить редкое сердце и бесконечную чисто христианскую любовь ее к ближнему. Отец мой несколько раз сватался за Анну Дмитриевну и, несмотря на то, что Новосильцов был старый приятель и товарищ по полку с дедушкою Николаем Михайловичем, он ни за что не соглашался выдать ее за его сына, и лишь по настоятельному и непреклонному желанию Анны Дмитриевны брак состоялся[2]. Невзирая на данное согласие, гордый, богатый и своенравный Новосильцов, желавший выдать свою дочь за человека с весом и положением, не мог в течение многих лет после ее свадьбы победить в себе чувство неприязни к ее мужу, не признавая в нем ни ума, ни таланта, ни даже каких-либо душевных качеств и считая его ничтожным молодым человеком без состояния и общественного положения. Неприязнь эта сильно и долго отравляла семейное счастие моих родителей.

Чтоб иметь понятие о характере Д. А. Новосильцова, приведу следующий анекдот, рассказанный мне крестным сыном его, князем Сергеем Николаевичем Урусовым[3]. Дмитрий Александрович, в царствование императрицы Екатерины II, будучи офицером Измайловского полка и находясь однажды с своею ротою в карауле на дворцовой гауптвахте, остался крайне недоволен поданным ему обедом с царской кухни, тем самым,

---

[1] У Новосильцова был еще сын, родной брат Анны Дмитриевны, Александр Дмитриевич Васильцовский, служивший в молодости в министерстве иностранных дел, а впоследствии бывший камергером высочайшего двора и преемником моего отца по управлению им Московскими театрами.

[2] Венчание моих родителей происходило в Петербурге в мае (не знаю какого числа) 1816 года в церкви Знамения на Невском проспекте.

[3] В царствование императора Александра II он был главноуправляющим II-м отделением собственной Е.И.В. канцелярии и с 1876 по 1882 год моим начальником.

который подавался государыне. Пригласив на гауптвахту гоф-фурьера, распоряжавшегося царским обедом, и сделав ему выговор за дурное будто бы кушанье, которое он осмеливался подавать императрице, Новосильцов приказал солдатам своей роты высечь его, что ими и было немедленно исполнено. За этот поступок он был уволен от службы, но, позднее принятый снова в оную, дослужился до бригадирского чина.

В течение первых трех лет супружества моих родителей у них родились: в 1817 г. дочь Наталья (умершая вскоре после своего рождения), в 1818 г. сын Дмитрий и в 1819 г. сын Николай. Оба сына впоследствии были очень красивы собою; старший, похожий на отца, был всегда ненавистен Новосильцову, второй, схожий с матушкою, пользовался постоянною его любовью.

Перед свадьбою Михаил Николаевич, оставив службу в горном департаменте, был определен в дирекцию императорских театров помощником члена по репертуарной части. Определению этому способствовала дружба его со всемогущим в то время в театральном мире князем А.А.Шаховским, искренне полюбившим его за защиту «Липецких вод».

В 1818 г. отец оставил службу при театре и определен помощником библиотекаря при императорской публичной библиотеке, а в 1820 г. получил орден св. Анны 3-й степени, в награду за составление каталога русских книг, и назначен почетным библиотекарем.

Служба его при библиотеке приобрела ему искреннее расположение директора ее, Алексея Николаевича Оленина, известного покровителя литераторов и художников, и вместе с тем приязнь и дружбу двух знаменитых библиотекарей: Ивана Андреевича Крылова и Николая Ивановича Гнедича. К этому времени относятся две комедии Михаила Николаевича: «Богатонов, или Столичный житель в провинции» и «Роман на большой дороге».

В 1820 г., дед мой, Загоскин, как я уже выше упомянул, возвратился на жительство в Пензу, а Новосильцов собрался переезжать в Москву, где до 1812 года он имел постоянное жительство и собственный дом. Не желая расставаться с своею дочерью, которую, несмотря на ненавистный для него брак, продолжал горячо любить, он предложил моему отцу перейти на службу в Москву и поселиться с ним на жительство в его доме. Предложение это привело в ужас Михаила Николаевича, жившего до то времени спокойно с своим семейством в квартире своих родителей и пользовавшегося даровою квартирою и обедом, что было для него весьма важно, так как доходы его ограничивались небольшим казенным жалованием,

незначительными литературными трудами и весьма скромным содержанием, получаемым его женою от Новосильцова, и только после долгих колебаний боязнь лишить нежно любимую им жену удобств в жизни, к которым она с детства привыкла, заставила его решиться на такое, можно сказать, самопожертвование и принять предложение Дмитрия Александровича.

В июне того же года мои родители переехали в Москву, где вскоре отец, по милости своего редкого сердца и неисчерпаемого веселого добродушия, приобрел много новых приятелей из среды московских литераторов и близко сошелся с Ф. Ф. Кокошкиным, С. Т. Аксаковым и М. А. Дмитриевым. В Москве он поступил на должность чиновника по особым поручениям при тогдашнем московском главнокомандующем князе Дмитрии Владимировиче Голицыне, под начальством которого находились в то время и московские театры.

Князь Голицын, как известно, был добрый, благородный и в полном смысле слова прекраснейший человек. Воспитанный за границею, он присвоил себе утонченные манеры французского маркиза, сохранив при том осанку русского вельможи. Обращаясь со всеми, а с своими подчиненными в особенности, вежливо и приветливо, Голицын, однако, нередко выказывал, как будто и сам того не подозревая, важность своего сана и происхождения, хотя в душе глубоко презирал людей заискивающих, льстивых и подобострастных. Считаю не лишним привести эпизод из первого свидания моего отца с своим новым начальником, хорошо обрисовывающий характер того и другого.

При первом представлении князю отец, явившись в мундире, вошел к нему в кабинет. Князь принял его, сидя за письменным столом, и, не протянув руки, стал любезно с ним разговаривать. Разговор, продолжавшийся несколько минут, затянулся, с официального перешел в чисто интимный. Тогда отец, считая себя уже не подчиненным, а гостем князя, начал рассеянно оборачиваться и как будто чего-то искать. На вопрос князя: «что с вами и что вы ищете» — он ответил: «кресло, чтобы сесть». Князь улыбнулся, позвонил и приказал вошедшему слуге подать кресло. С тех пор, при всяком свидании начальника с своим подчиненным, рука протягивалась, и кресло придвигалось.

В скором времени Голицын очень полюбил своего нового чиновника и до конца жизни оказывал ему знаки уважения и душевной приязни.

При таком начальнике служба Михаила Николаевича шла весьма успешно: в 1823 г. он был назначен членом конторы

дирекции московских театров, а со времени своего приезда в Москву по 1829 год получил ордена св. Владимира 4-й степени и св. Анны 2-й и чины коллежского асессора и надворного советника. По тогдашним правилам он не мог получить чина коллежского асессора без выдержания особо установленного для этого чина экзамена, а потому долго приготовлялся к нему и выдержал его отличным образом. При испытании его в русском языке профессор отечественной словесности предложил отцу, уже пользовавшемуся известностью как драматический писатель, следующий, довольно наивный вопрос: «Кто был Ломоносов?» — отец, неоднократно рассказывая об этом, всегда прибавлял: «мне хотелось ответить, что Ломоносов был сапожник».

Продолжая усердно заниматься службою при театре и не оставляя своих литературных занятий, Михаил Николаевич за время с 1820 по 1828 год написал комедии: «Урок холостым», «Благородный театр» и водевиль «Деревенский философ». Первые две пьесы были написаны стихами, что стоило их автору немалого труда, так как, не имея музыкального уха, он каждый стих разделял на слоги и на стопы и над каждым слогом ставил ударение. Ранее этих двух комедий он написал послание в стихах к Гнедичу под названием «Авторская клятва» и стихотворение «Выбор невесты». Эти стихотворные его опыты, заслужившие полное одобрение Гнедича и особенно Крылова, дали ему некоторую смелость написать стихами вышеупомянутые две комедии, которые и были играны с большим успехом на московской сцене.

До 1830 года отец с своим семейством проживал в Старой Конюшенной в доме Новосильцова, часто испытывая на себе странные придирки и выходки хозяина дома, настоящего деспота старого закала, вызывавшие немало обоюдных бурных вспышек и вследствие которых жизнь моих родителей в его доме становилась все более и более невыносимее, и мысль отделиться от Новосильцова не покидала отца ни на минуту. В то время материальные средства его несколько улучшились, однако не настолько, чтобы он имел возможность, как он сам выражался, «опериться» и жить самостоятельно.

Вскоре счастье улыбнулось ему: в 1828 году он задумал написать исторический роман. В течение почти целого года он усердно рылся в древних актах, изучал русскую историю и нередко проводил целые ночи за пером. Плодом этого усидчивого труда явился, наконец, в декабре следующего года, его первый исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Появление этого романа, как известно, составило эпоху в русской литературе, доставив автору его громкую известность не только в России, но и за границею. Пушкин, Жуковский, Крылов, Гнедич, Шаховской, одним словом, все лучшие писатели и поэты того времени громко приветствовали появление этого романа и рассыпались перед отцом в похвалах. Одним из первых поспешил поздравить его с блистательным успехом «Юрия Милославского» князь Шаховской: он прислал длинное письмо, в котором, между прочим, писал: «Я уже совсем оделся, чтобы ехать на свидание с нашими первоклассными писателями на литературный обед к графу Ф.П.Толстому, как вдруг принесли мне твой роман, я ему обрадовался и повез мою радость к графу Толстому. Но там меня ею же встретили. Первое действующее лицо авторского обеда, явившееся на сцену, был Пушкин и тотчас заговорил о тебе. Пушкин восхищался отрывками твоего романа, которые он читал в журнале. Входит Крылов из дворца; расспросы о тебе и улыбательные одобрения твоему роману. Входит Гнедич — в восхищении от прекрасного твоего романа; наконец, является Жуковский и, сказав два слова, объявляет, что не спал вчера всю ночь — отчего же? — все-таки от твоего романа, который он получил, развернул, хотел прочесть кое-что и, не сходя с места и не ложась спать, не мог не прочесть всех трех томов; а это самая лучшая похвала, какую он мог сделать твоему сочинению. Он просил меня тотчас к тебе написать о действии, которое ты над ним произвел, о своей благодарности и о том, что, хотя он еще не успел поднести твоего романа императрице, но предварил ее, что она увидит диво на нашем языке».

Затем А. С. Пушкин писал моему отцу: «Прерываю увлекательное чтение вашего романа, чтобы сердечно поблагодарить вас за присылку «Юрия Милославского» — лестный знак вашего ко мне расположения. Поздравляю вас с успехом, полным и заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи. Все читают его. Жуковский провел за ним целую ночь. Дамы от него в восхищении. В «Литературной Газете» будет о нем статья Погорельского[1]. Если в ней не все будет высказано, то постараюсь досказать. Простите, дай Бог вам многие лета, т. е. дай Бог нам многие романы».

Московское общество, с своей стороны, не осталось равнодушным к автору «Юрия Милославского» и наперерыв стало с ним знакомиться, а от дам и особенно великосветских львиц ему просто не было отбоя... один только старик Новосильцов нашел роман никуда не годным и, узнав, что отец продал его за 30000 рублей ассигнациями, с негодованием воскликнул:

[1] Псевдоним Перовского, автора «Монастырки».

«Неужели я дожил до того, что русские дают такие деньги за такую дрянь!»[1]

Как ни лестны были для Михаила Николаевича все расточаемые ему общие похвалы, весь внезапно окруживший его почет, но главное, душевная радость заключалась в том, что давнишняя заветная мысль его «опериться» могла уже осуществиться. Получив за свой роман значительную для того времени сумму, он немедленно купил в Москве прекрасный дом (в Денежном переулке, в приходе Покрова, что в Левшине), переселился в него с своим семейством и зажил, хотя не богато, но полным самостоятельным хозяином.

Впереди его ожидало еще большее...

В 1830 году император Николай Павлович приехал в Москву и пожелал видеть отца.

При входе его в царский кабинет в малом Николаевском дворце его величество, подав ему руку, осчастливил его следующими словами: «Будучи в Москве, я никогда не простил бы себе, если бы не познакомился с автором „Юрия Милославского"»[2]. Свидание это запечатлелось на всю жизнь в сердце Михаила Николаевича и было началом той глубокой любви и беспредельной преданности, которые он питал к Николаю Павловичу до конца своей жизни.

Определенный в этом году управляющим конторою московских театров, отец в короткое время был пожалован в камергеры и назначен в должность директора тех же театров.

В день пожалования придворным званием он был несказанно удивлен присылкою от Новосильцова подарка: то был первый подарок, полученный им от него со дня своей свадьбы — золотой камергерский ключ!.. с самого этого дня камергер Загоскин вступает в глазах гордого старика во все принадлежавшие ему человеческие и литературные права: он сделался для него прекрасным человеком и талантливым писателем...

Новосильцов торжествовал!.. К счастью, торжество это не ограничилось присылкою одного золотого ключа; вслед за тем последовал более существенный дар: он подарил моей матери имение во Владимирской губернии с 600-ми крестьянами и значительную сумму денег, на которую она приобрела имение в Тамбовской губернии с конным заводом.

В следующем году отец написал свой второй роман «Рославлев, или Русские в 1812 году», доставивший ему 40 000 рублей ассигнациями, на которые он купил небольшое имение в Серпуховском уезде Московской губернии.

---

[1] Кроме Новосильцова, романом остался недоволен и Булгарин.

[2] Слова эти были записаны моим отцом в его записной книжке.

По поводу этого романа Жуковский написал ему следующее письмо: «Благодарю вас и за подарок и за «Рославлева», почтеннейший Михаил Николаевич,—и с ним то же случилось, что с его старшим братом; я прочитал его почти в один присест. Признаюсь вам только в одном: по прочтении первых листов я должен был отложить чтение, и эти первые листы произвели было во мне некоторое предубеждение против всего романа, и я побоялся, что он не пойдет наряду с «Милославским». Описание большого света мне показалось неверным, и в гостиной княгини Радугиной я не узнал светского языка. Но все остальное прекрасно, и Рославлев столько же приманчив, как старший брат его.

Благословляю вас обеими руками на романы. Это ваше дело, а предметов бездна. Стою на том, чтобы вы написали Дмитрия Самозванца; лучше сюжета нет, а Булгарин его ужасно изуродовал. Потом примитесь описывать времена Петра; потом быт наших провинциалов: описывая истину, смешное смешным, дурное дурным, прекрасное прекрасным, вы произведете не только приятное, но и полезное.

Доселе никто еще не писал у нас верно с натуры. Более карикатуры, для коих образчики были не наши.

Трогая описанием прекрасного, противопоставляя высокие характеры, из натуры взятые, смешному или дурному, также из натуры взятому, вы дадите умам надлежащее направление. Без истины нет убежденья, а вы можете (ибо на это имеете талант) изобразить истину. Главная критика на оба ваши романа может относиться только к правильности языка. Много ошибок, которые бы заметил вам последний ребенок, который знает грамматику. Этих ошибок у вас быть не должно; но вы, имея истинный талант, должны непременно обратить внимание и на мелочи, не вредящие главному, но такого рода, что вы уже теперь обязаны не делать подобных проступков. Извините, что так искренно изъясняюсь: это доказательство живого участия, принимаемого мною в ваших успехах, а бывшие ваши успехи дают мне надежду на будущие, и в этом случае я не боюсь быть лжепророком. Экземпляр вашего Рославлева представлен мною государыне императрице и принят ее величеством с благосклонностью. Простите, будьте только здоровы—остальное все будет».

С начала 30-го года все в жизни моих родителей изменилось; настало полное материальное довольство и водворился нравственный покой. Отец мой отдохнул и телом и душой!..

Но недолго продолжался его душевный отдых: мать моя, никогда не отличавшаяся хорошим здоровьем, стала чувствовать в 1832 году внутренние боли, вначале не обращавшие ее

особенного внимания, но вскоре до того усилившиеся, что она должна была прибегнуть к совету лучших московских врачей, и, несмотря на все их старания, состояние ее быстро ухудшалось. Врачи, предположив существование внутренней болезни, могущей окончиться раком, объявили, что если есть какая-либо надежда на ее выздоровление, то оно может последовать только в случае нового приращения семейства. Матери моей было сорок лет, а младшему сыну — тринадцать, следовательно, подобной надежды представлялось мало или, вернее сказать, никакой...

Скорбь моих родителей была велика!..

Приступаю теперь к описанию случая, который послужил к большему укреплению их веры, и рассказ о котором, слышанный мною впервые в детстве, имел большое влияние на духовную сторону всей моей последующей жизни.

Вот этот чудный и только для истинно верующих понятный случай: мать моя, как я уже сказал, была женщина глубоко набожная и всегда, во всех радостных и тяжелых обстоятельствах жизни, прибегала к молитве. Смущенная решением докторов, она стала молиться об избавлении ее от страшного недуга. Однажды, стоя на вечерней молитве, перед иконами, она поражена была какими-то звуками, как будто пронесшимися около ее ушей, стала прислушиваться и довольно ясно услыхала слова: „молись св. Митрофану".

Озадаченная подобным явлением, она рассказала о нем моему отцу, который, однако, не придал особого значения ее рассказу, предполагая, что это ей „так показалось". На другой день, во время подобной вечерней молитвы, матушка снова услыхала те же слова, но более явственно, более отчетливо. Сомнение рассеялось: начались поиски о том, кто был св. Митрофан и когда существовал. Каково же было удивление моих родителей, когда вскоре после означенного явления они узнали, что в Воронеже обретены мощи епископа воронежского Митрофана! Отец немедленно отправил письмо к епископу Антонию с подробным описанием случившегося и просил его прислать какую-либо святыню с мощей новоявленного угодника божия.

Антоний исполнил желание родителей и прислал им серебряный крест с частицею мощей святителя и бархатную шапочку с его св. мощей, а матушка заказала образ св. Митрофана и непрестанно стала просить ходатайства его о совершенном ее исцелении.[1]

---

[1] Сей образ находится ныне с 1897 г. в склепе Загоскиных Троицко-Сергиев. пустыни близ Петербурга в Воскресенском храме, на могиле Сергия Михайловича Загоскина, автора сих записок.

15-го мая 1833-го года исцеление совершилось: она разрешилась от бремени сыном Сергием, пишущим эти строки.

С моим появлением на свет прежняя болезнь ее, согласно предвещанию докторов, исчезла, но в том же году она занемогла какою-то новою внутреннею болезнью совершенно другого рода, которая и продолжалась во всю остальную жизнь ее, т. е. почти двадцать лет. Болезнь эта не дозволяла ей делать сильных движений и выносить тряски экипажа, вследствие чего она никуда не выезжала, ограничивая свои выходы из дома продолжительными прогулками в собственном саду.

Осенью 1836 года матушка была очень огорчена внезапною кончиною своего отца, который, как я выше сказал, стал с 1830-го года не только вежлив и любезен к моему отцу, но и чрезвычайно ласков, а батюшка, по своему редкому незлобию и сердечной доброте, забыв все перенесенные им от старика неприятности, начал платить ему взаимностью. После смерти Новосильцева матушка получила, по духовному его завещанию, принадлежавший ему в Москве дом и некоторую сумму денег. <...>

До 1845 года зимы мы проводили в Москве, а лето в Петровском парке. С этого года, вследствие усилившейся болезни матушки, мы стали круглый год жить в Москве, а дачу, к великому моему огорчению, отдавать внаем. Я распростился с любимым мною парком и взамен привольного летнего житья среди роскошной зелени вблизи лесов ограничивал мои прогулки хождением по пыльным московским улицам да гуляньем по воскресеньям в Кремлевском саду.

К счастью, у нас был собственный тенистый сад, и я часто сиживал в нем, занимаясь долблением уроков.

Так как до 1847 года в моей однообразной детской жизни не произошло никаких перемен, и дни текли почти одинаково: „сегодня как вчера, а завтра, как сегодня", то воспользуюсь этим промежутком, чтобы обратиться назад и рассказать все, что мне было известно относительно службы, литературных занятий и образа жизни автора „Юрия Милославского".

В 1830 году, как я выше сказал, отец был назначен директором московских театров и оставался им до февраля 1842 года. Театр, по рассказам его современников, никогда еще не находился в столь цветущем состоянии, как под его начальством; особенно хороша была русская труппа, представителями которой были Щепкин, Мочалов, Живокини, Васильев, Репина, Сабурова и многие другие.

Несмотря на прекрасное состояние театра, некоторая часть публики была не совсем довольна им, в чем я убедился из рас-

сказа одного из приятелей батюшки, Петра Петровича Новосильцева, сообщившего мне, что однажды, сидя в директорской ложе вместе с тогдашним московским обер-полицмейстером Цинским, он был свидетелем вспыльчивости моего отца, вызванной неоднократным замечанием начальника полиции о том, что выбор дирекциею театральных пиес дурен и большинству москвичей не нравится.

Выведенный из терпения этими замечаниями, Михаил Николаевич сделал вопрос: „Да кто же это говорит!" — „Публика",— ответил обер-полицмейстер.— „Публика? — а вы верите ей?" — „Еще бы!" — „А я не верю",— сказал отец,— „и вот почему: та же публика говорит, что Москва плохо освещена, потому что обер-полицмейстер ворует масло! Согласитесь сами, что после такого вздора можно ли верить нашей публике?" — Разговор этот, по словам Новосильцева, тем и прекратился при общем смехе всех присутствующих и особенно самого обер-полицмейстера, однако слова последнего, конечно, им не выдуманные, служили доказательством, что в то время было немало москвичей, недовольных театром, а был ли Цинский действительно нечист на руку или человек честный,— мне неизвестно, но думаю, что батюшка, вспыльчивый от природы и легко выводимый из терпения, сказал ему эти остроумные, но неприятные слова без малейшего желания оскорбить его и единственно с целью доказать справедливость пословицы: „не всякому слуху верь".

Актеры, как русские, так и французские, любили своего директора и искренно сожалели о нем по оставлении им службы при театре. Как директор, он отличался самою строгою экономиею во всех театральных расходах, особенно при постановке новых опер и балетов, требовавших иногда значительных издержек. Можно утвердительно сказать, что едва ли до него и после него денежные средства московского театра были в таком блистательном положении, как во время его директорства и по милости которых он мог, без малейшего денежного пособия от министерства императорского двора, построить два театра: один в Москве, так называемый „малый", и другой в Петровском парке. За соблюдение значительной экономии отец в течение двенадцатилетнего управления театрами восемь раз удостоился получить высочайшее благоволение. Обращая внимание на хозяйственную часть, он, вместе с тем, усердно занимался и репертуарною, в чем немало помогал ему тогдашний инспектор репертуара Алексей Николаевич Верстовский, известный композитор, для которого отец написал несколько либретто опер. Ежедневно утром с 12-ти до 2-х часов директор находился в театральной конторе, а ве-

чера проводил в театре, большею частью в своей ложе, наблюдая за игрою актеров. В этой ложе постоянно собирались его приятели и, во время антрактов, пили чай. Бывал в ней и бессмертный наш поэт Пушкин, часто приезжавший погостить в Москву.

Невзирая на добросовестную и усердную службу, отец не пользовался расположением своего начальника, министра императорского двора, князя Петра Михайловича Волконского, который мало ценил его и даже делал ему замечания за самые ничтожные промахи по управлению театрами, как, например, за несколько позднее представление отчетов, за частое разрешение артистам отпусков в Петербург и, наконец, за врожденную рассеянность его[1], по милости которой он иногда не мог вспомнить фамилий незначительных артистов и кордебалетных танцовщиц, на которых указывал министр, ежегодно посещавший театр во время своих приездов в Москву. При личных же свиданиях с отцом князь Волконский был всегда вежлив и приветлив, и только по возвращении его в Петербург начинались замечания через посредство директора его канцелярии В. И. Панаева, передававшего их Михаилу Николаевичу в своих как будто частных и приятельских письмах.

По мнению отца, придирки эти имели совершенно другое основание, и суть дела была в следующем. Князь Волконский, человек честный, благородный и добрый, имел один недостаток, преобладавший над всеми его прекрасными качествами: это была неимоверная скупость, доходившая до абсурда, когда дело касалось выдачи казенных денег. Скорбя от всего сердца, что казна должна выплачивать пенсионы актерам, беспорочно выслужившим определенный для сего срок, министр, в интересах казны, придумал следующую меру: он дал приказание московскому театру, чтобы в случае, если актер, выслуживающий свою пенсию, будет замечен в каком-либо даже ничтожном проступке, увольнять его от службы до срока, без пенсиона; а как подобные поступки случались нередко и косвенными, неизвестными путями доходили до министра, то упомянутые приказания повторялись довольно часто, но под разными предлогами не приводились в исполнение директором, не считавшим возможным из-за пустяков лишать арти-

[1] Про рассеянность и, прибавлю, забывчивость отца, доходившие до того, что он иногда не мог вспомнить имена своих сыновей, упоминает С. Т. Аксаков в составленной им его биографии. Аксаков, между прочим, рассказывает, что однажды Михаил Николаевич, вместо отчета по театру, подал министру счет своего портного, и что министр нисколько на то не рассердился. Это действительно было так, и на этот раз князь Волконский только улыбнулся.

ста заработанного им куска хлеба. Вот причина, которая, по мнению отца, навлекала на него неудовольствие своего начальника, выражавшееся не только мелочными придирками, но и в оставлении непокорного директора московских театров подолгу, в сравнении с петербургским, без награды. Невзирая на такие отношения министра, Михаил Николаевич не питал к нему никаких враждебных чувств, а, напротив, отзывался о нем как о прекраснейшем человеке, считая себя вполне вознагражденным неизменным милостивым вниманием императора Николая Павловича, оказываемым ему не только во время пребывания его величества в Москве, но и во время приездов отца в С.-Петербург.

В доказательство особой милости государя к нему, как к русскому писателю, приведу случай, прекрасно обрисовывающий рыцарский, благородный характер Николая Павловича.

Вскоре после назначения отца директором московских театров император с императрицею прибыли в Москву. При первом посещении ими театра министр двора и директор находились близ царского подъезда, в коридоре, для встречи их величеств, как вдруг вбегает капельдинер и докладывает, что государь с государынею уже в театре, приехали с бутафорского подъезда и ходят по коридорам, отыскивая свою ложу. Пораженные этим известием, князь Волконский и отец побежали к их величествам и вскоре встретили их. Государь, ведя под руку императрицу, не обращая внимания на директора, гневным голосом сказал министру, что недоволен порядками в московском театре, так как директор не потрудился встретить императрицу, и, бросив грозный взгляд на отца, пошел с государынею далее к своей ложе, в сопровождении одного только князя Волконского, так как отец, считая себя совершенно правым, ожидая, вместе с министром, августейшую чету именно с того подъезда, с которого царская фамилия всегда приезжала, не пошел, как того требовали этикет и его обязанность, проводить их величества до царской ложи, а поспешно удалился в свою. Просидев целый акт в сильном волнении, ожидая плачевных последствий от своего неуместного и необдуманного поступка, он успокаивал себя лишь сознанием своей невинности и еще более рыцарским характером государя, всегда готового признать малейшую, случайную свою несправедливость. Но, только что наступил первый антракт, как в ложу вошел дежурный флигель-адъютант с повелением отцу явиться в царскую ложу. В сильном страхе, не зная, что ожидать, гнева или милости, отец пошел в ложу; войдя в нее и остановясь в почтительном расстоянии, он увидал обернувшегося к нему государя с веселою улыбкою на устах, прика-

зывающего ему приблизиться. Затем его величество, обратившись к императрице, сказал по-французски, что представляет ей Загоскина, как отличного русского писателя, но плохого директора театра, не потрудившегося встретить его при входе. После этих слов, сказанных с еще большею очаровательною улыбкою, государь, указав отцу на стул, стоявший около императрицы, приказал ему сесть и постараться быть любезным с ее величеством, дабы загладить свой проступок[1].

После этого спектакля, в продолжение которого отец сидел между их величеств, он часто удостоивался быть приглашенным на большие и малые вечера императрицы в Николаевском дворце, во все время пребывания царской фамилии в Москве. В один из этих вечеров государь еще раз доказал ему свое милостивое расположение следующим образом. На вечере было немного приглашенных, и все играли „aux petits jeux", и между прочим в „туалет". В одной игре, как известно, по команде распорядителя: „весь туалет!"—играющие должны вскакивать с своих мест и менять их, причем с того, кто останется без места, берется фант. Император был распорядителем игры и, стоя на стуле, скомандовал: „весь туалет!" — все вскочили с своих стульев и начали искать другие; в конце зала оставался лишь один порожний стул, к которому стремглав побежала императрица, но отец опередил ее и так быстро сел на стул на свободное место, что государыня чуть не упала на его колени. По окончании игры министр двора подошел к Михаилу Николаевичу и заметил ему, что не следовало опережать императрицу, а еще менее отнимать у нее стул. Замечание это было сделано настолько громко и с таким недовольным лицом, что не скрылось от Николая Павловича, который, подозвав отца, пожелал узнать, о чем с ним так горячо разговаривал министр. Отец передал его величеству слово в слово замечание князя Волконского, на что государь ответил, что снова начнет ту же игру и приказывает ему опять отнять место у императрицы. Игра началась, и когда высочайшее повеление было исполнено, то его величество, захлопав в ладоши, громко вскрикнул: „браво, браво, Загоскин!".

Прослужив довольно долго директором театров, батюшка стал тяготиться этою должностью и сопряженными с нею мелкими, но частыми неприятностями, а еще более обязательным, ежедневным посещением спектаклей, и потому в 1840 го-

[1] Подлинные слова государя я не могу привести здесь буквально, так как они не были записаны отцом, а только приблизительно переданы мне во время неоднократных его рассказов об этом великодушном поступке его величества.

ду решился всеподданнейшим письмом просить государя об увольнении его от занимаемой им должности и о назначении его почетным опекуном московского опекунского совета. На это письмо последовал от министра двора отзыв, что „государь император, оставаясь доволен его службою при театре, желает, чтобы он продолжал оную, тем более, что строящийся в Москве театр (малый) должен быть окончен при нем". Ходатайство отца не прошло, однако, ему даром: министр и тут нашел нужным сделать ему замечание за то, что он осмелился обратиться с своим прошением прямо к государю, помимо своего начальства.

Обрадованный милостивым одобрением монарха и мало огорченный выговором министра, Михаил Николаевич остался в своей должности до окончания постройки в 1842-м г. малого театра и тогда уже, в виду открывшейся вакансии директора оружейной палаты, немедленно вошел с прошением и, конечно, на этот раз через министра двора, о перемещении его на означенную должность или же об увольнении вовсе от службы. Несмотря на ходатайство многих лиц, добивавшихся этого спокойного и почетного места, государь милостиво исполнил желание отца и назначил его директором оружейной палаты.

Таким образом в феврале 1842-го года отец, покинув надоевшую ему донельзя службу при театре, занял место не административное, почти без всяких занятий, но доставившее ему, кроме желанного отдыха, и много свободного времени для литературных его работ. При увольнении из театра государь предоставил ему, как я выше сказал, кресло во всех театрах, но театр до того опротивел ему, что он в течение всей остальной своей жизни воспользовался этим правом всего раз — в день представления пиесы Константина Аксакова «Освобожденная Москва», и то только вследствие усиленной просьбы самого автора и, затем, был еще два раза в малом театре, но в директорской ложе, во дни представлений собственных его двух комедий: „Поездка за границу" и „Женатый жених". Авторское же кресло он передал в распоряжение моих братьев, но они не столько пользовались им сами, как давали его в пользование своих знакомых.

За службу при театре Михаил Николаевич получил, кроме вышеупомянутых высочайших благоволений, чин действительного статского советника и орден св. Владимира 3-й степени, а за постройку малого театра — табакерку, осыпанную брильянтами с вензелевым изображением имени его величества.

В должности директора оружейной палаты он оставался до конца своей жизни под начальством того же князя Волконского, но уже не получал от него ни выговоров, ни замечаний и то, вероятно, только потому, что оружие и драгоценности палаты мирно лежали на своих местах, а стоявшие в ней восковые всадники в старинных русских доспехах не требовали ни отпусков, ни пенсий.

Служба отца состояла лишь в том, что он два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, то есть в дни, назначенные для обозрения публикою оружейной палаты, проводил в ней утро с 12-ти до 2-х часов, а так как объяснения публике давались им лично, то популярность его в Москве стала с этого времени сильно возрастать; прежде знали его там только как автора „Юрия Милославского", а со времени назначения его директором оружейной палаты, можно утвердительно сказать, что все москвичи знали его в лицо и многие считали даже долгом при встрече на улице кланяться ему. В помощники ему был определен известный в то время писатель Александр Фомич Вельтман (автор „Кащея Бессмертного" и других романов), знаток и любитель русской старины, составивший впоследствии печатный „Обзор оружейной палаты". В числе чиновников находился также чрезвычайно образованный, трудолюбивый и умный молодой человек, Иван Егорович Забелин, ныне заслуживший своими замечательными историческими трудами громкую и почетную известность во всей России. Все чиновники пользовались казенными квартирами, а директор имел прекрасное, большое помещение в кавалерском корпусе в Кремле, но отец отказался от квартиры, не желая лишать матушку своего сада, а также предпочитая всем казенным квартирам свободную и ничем не стесняемую жизнь в собственном доме.

Новая служба Михаила Николаевича шла весьма однообразно, не представляя никакого особого интереса, и потому мне остается только сказать, что государь, во все приезды в Москву, постоянно посещал оружейную палату и по-прежнему был к нему милостив, а в 1845 г. пожаловал ему орден св. Станислава 1-й степени. Эта первая лента, полученная отцом, не столько, без сомнения, порадовала его, как меня. Не знаю почему, но мне было обидно видеть отца без ленты, и я пришел в великий восторг, узнав, что он будет ходить со звездою, подобно своим знакомым, занимавшим в Москве какой-либо начальнический пост и уже давным-давно со звездою путешествующим.

Рассказав почти все, что я припомню о службе отца до 1847 года, я не могу не упомянуть об одном обстоятельстве, слы-

шанном мною от него самого, а именно, что в 30-х годах (в каком году, не помню) тогдашний шеф жандармов граф Бенкендорф, бывший с ним в хороших отношениях, предлагал ему занять один важный пост в III отделении, с переименованием его в военный чин. Отец, поблагодарив графа за доверие, отвечал, что не чувствует себя способным к исполнению такой должности и, сверх того, не желает удивить публику известием, что автор „Юрия Милославского" надел голубой мундир! Предложение это было, конечно, сделано не без ведома государя, всегда желавшего иметь в числе высших лиц созданного им III отделения людей вполне честных и благородных и каковым, по всей справедливости, его величество считал моего отца. <...>

Что касается домашней жизни батюшки, то расскажу все, что мне стало известным с тех пор, что я начал часто видеть его, то есть со времени назначения его директором оружейной палаты. До того, вследствие постоянных его служебных занятий и ежедневных вечерних выездов, я мало видал его; притом мой ребяческий возраст не давал мне возможности ни запомнить, ни даже узнать всех мелочей его домашней жизни.

День отца распределен был чрезвычайно аккуратно: он вставал часов в восемь, брал ежедневно холодный душ и, затем, отправлялся в свою молельню, где оставался около часа. Молельня его, находившаяся в антресолях нашего дома, походила на маленькую часовню. Все стены были покрыты образами в ризах и в особых кивотах, перед которыми теплились лампады. В одном углу стоял аналой с евангелием и крестом и столик с молитвенными книгами. В эту комнату он удалялся не только утром и вечером, но нередко и днем. После молитвы он пил чай. Не могу не упомянуть об этом чае,— думаю, что никогда и никто не пил такого странного напитка, приготовлявшегося самим отцом: он клал в небольшой металлический чайник огромное количество дешевого, черного чая и кипятил его до тех пор, пока чай начинал сам выливаться из чайника в чашку. Этот напиток, имевший запах пареного сена, так нравился отцу, что в гостях он не мог пить другого чая, находя его безвкусным. Выпив две чашки такого ужасного настоя, он занимался ежедневно приготовлением себе, тоже особым способом, дневной порции нюхательного, французского, табака, растирая его с прибавлением нашатырного спирта и трюфельного сока; табак этот так прельщал его приятелей, табаконюхателей, что, при встрече их с батюшкою, они с жадностью набивали свои носы этим, по их выражению, „нектаром", способ приготовления которого он тщательно от всех скрывал. Окончив операции с табаком, отец шел в свой рабо-

чий кабинет, где и занимался до двух часов дня, и тогда никто из семьи не смел тревожить его. Занятия его перерывались только приездом какого-либо гостя-писателя или приятеля-москвича. В два часа он выезжал с визитами и, возвращаясь всегда к четырем, садился за обед, один в своем кабинете. Он редко обедал с семейством, потому что кушал позднее всех и любил, во время обеда, надевать халат, а между блюдами читать газеты и журналы. Кушанья подавались преимущественно русские, жирные и тяжелые; водки он совсем не употреблял и пил мало иностранного вина, но зато много воды со льдом, считая ледяную воду самым приятным и здоровым напитком. Когда же появились в продаже крымские воронцовские вина, то они не сходили с его стола. Отец радовался, что, наконец, русские могут пить свое собственное вино, и, хотя многие находили вино это невкусным, но он с удовольствием пил какое-нибудь рублевое «Ай-Данило», предпочитая его всякому дорогому французскому «Шато д'Икему». После обеда он отдыхал не более часа и потом занимался чтением и в девять часов уезжал на вечер, бал или в английский клуб, где играл, по маленькой, в вист, преферанс или мушку. В промежуток времени между занятиями и до и после выездов он заходил к матушке и проводил с нею несколько времени, а по возвращении домой с вечера или из клуба сидел у нее до двух часов ночи, рассказывая о всем, что слышал и видел в течение дня, при чем часто присутствовали мои братья и я.

Такой образ жизни несколько изменялся в летнее время, когда мы стали проводить лето в Москве, так как тогда, если погода дозволяла, батюшка посвящал все послеобеденное время верховой езде или прогулкам в кабриолете по окрестностям Москвы. Он правил сам, хотя был весьма близоруким; кабриолетная лошадь его была приучена останавливаться, по собственному ее усмотрению, перед каждою канавкою или рытвиною, что она весьма прилежно исполняла. Любимыми прогулками его были: Воробьевы горы, Петровский парк, Сокольники и дача «Студенец», на последнюю он ездил единственно с целью напиться холодной, знаменитой, ключевой, трехгорной воды. Зимою отец иногда устраивал в своем кабинете литературные вечера, на которые в то время я еще не допускался, и знаю только понаслышке, что у него бывали: Гоголь, Аксаковы, Дмитриев, Сушков, Павлов, Погодин, Вельтман и другие, а изредка и какой-нибудь приезжий из Петербурга писатель или журналист. После чтения некоторые гости садились играть в карты, и затем вся компания угощалась сытным ужином.

В один из таких вечеров произошел забавный случай с Константином Сергеевичем Аксаковым. Как известно, этот в то время еще совсем молодой человек был восторженным славянофилом и ненавидел все иностранное, отдавая во всем преимущество родному, русскому. В этот вечер в сильнейший мороз у батюшки собралось несколько литераторов и Константин Сергеевич. Кто-то из присутствующих имел неосторожность сказать, что холода стоят ужасные, и было бы приятнее находиться где-нибудь в Италии, а не в Москве. Аксаков вспыхнул, начал превозносить московский мороз и в доказательство, что холод для русского человека приятен, здоров и живителен, отворил форточку, высунул в нее голову и стал вдыхать холодный воздух. На замечание моего отца, что в такой жестокий мороз легко можно простудиться, Аксаков не обратил никакого внимания, продолжая оставаться в том же положении и громко восхваляя прелесть российского мороза. Наконец, минут через десять, по настоянию гостей, он вылез из форточки и, к великому своему удивлению и общему смеху, почувствовал и увидал, что кончик его носа отморожен!..

Когда у батюшки бывали литературные вечера, то до приезда гостей я любил сидеть в его большом кабинете, освещенном лампами и множеством свечей, и любоваться ярким его освещением, так как в другие дни кабинет освещался лишь двумя восковыми свечами и темнотою своею наводил на меня великий страх: во мраке как-то страшно выглядывали с верхушек книжных шкафов большие, окрашенные в черную краску бюсты Гомера, Сократа и других мудрецов...

При появлении первого гостя меня отсылали к матушке, но вскоре я от нее уходил и, пробравшись потихоньку к запертым дверям кабинета, подолгу стоял, подслушивая чтение писателей, хотя, в сущности, ничего не мог расслышать, а еще менее понять.

Один день в году, 8-е ноября, именины отца, я всегда ожидал с величайшим нетерпением. К этому дню все приемные комнаты особенно тщательно чистились и прибирались, а в самые именины кабинет батюшки переполнялся гостями, которых в это утро приезжало иногда более ста человек. В 4 часа подавался обед; к нему приглашались только родственники и близкие знакомые, а как, по случаю семейного праздника, я допускался во все комнаты и за обедом сидел со всеми, то день этот доставлял мне невыразимое удовольствие при виде множества гостей, из которых большая часть считала долгом потрепать меня по щеке или поцеловать в лоб.

У батюшки были некоторые предрассудки, свойственные, впрочем, многим людям: он никогда не зажигал трех свечей,

не терпел за столом тринадцати человек и не любил начинать какое-либо дело в пятницу. Сверх того, не носил платья из черного сукна; все его фраки, сюртуки и шубы были темно-зеленого, синего или вишневого цвета. Черный цвет он ненавидел, уверяя всех, что в молодости, когда ему случалось сделать черное платье, то вслед за тем всякий раз следовал для него траур. Вообще, он одевался, с тех пор, как я стал его помнить, по-стариковски и любил носить платья, свободно сшитые, не стеснявшие его движений, заказывая их у русского портного, а отнюдь не у иностранца. Шляпа его была оригинальная и единственная во всей Москве: она была с крайне низенькою тульею и огромными полями, зимою — черная, а летом серая или соломенная. Шляпа эта так бросалась всем в глаза, что однажды, в 1851 г., государь наследник Александр Николаевич, при посещении оружейной палаты, заметив ее в руках отца, обратился к нему с вопросом, зачем он носит шляпу вроде карбонарской,— отец ответил: «Моя шляпа, ваше высочество, полезна: летом защищает лицо от солнца, а зимою от снега», и, указывая на сопровождавшего великого князя, гофмаршала его двора В.Д.Олсуфьева, державшего в руках обыкновенный, высокий цилиндр, прибавил: «А вот шляпа у Василья Дмитриевича точно каланча, годная только для вывешивания пожарных знаков». Наследник очень смеялся этому сравнению.

В описываемое мною время родители мои не были богаты, но имели совершенно достаточное состояние, дозволявшее им жить прилично. Из получаемых с имений доходов и из своего жалованья батюшка не тратил на себя ни единой копейки, а ограничивался, для своих личных расходов, заработываемыми им деньгами, из которых некоторая часть шла на заказы разных шкатулок, баулов, погребцов и, особенно, лукутинских табакерок; до последних он был страстный охотник и имел значительную их коллекцию. Можно положительно сказать, что он был одним из первых москвичей, пустивших в ход лукутинские изделия, сделавшиеся впоследствии столь знаменитыми, тем более что почти всегда придумывал сам рисунки и формы для табакерок. Значительная же часть его собственных доходов шла на помощь бедным: каждую субботу двор нашего дома наполнялся нищими, которым камердинер отца раздавал медные деньги, по пятаку каждому, а перед большими праздниками отец сам, лично, раздавал милостыню всем нищим и убогим, попадавшимся ему на улицах или во множестве всегда стоявшим у папертей кремлевских соборов и приходских церквей.

Раздача эта происходила совершенно особым и необычным образом: выходя из дома, он брал порядочную сумму денег, размененную на разную серебряную монету, начиная с пятачка и кончая полтинником, и, перемешав ее с несколькими золотыми, клал в разные карманы по горсточке смешанных монет. Встречая нищего, он вынимал из кармана первую попавшуюся монету и отдавал ее, продолжая эту выдачу до последней копейки. Оказываемую таким образом помощь бедным батюшка тщательно от всех скрывал, и только когда я, случайно узнав о том, спросил, почему он раздает милостыню, не зная, кому достанется пятачок, а кому золотой, то отец ответил: «Я хочу помочь бедным, встречаемым мною на улице, но не знаю, кто нуждается в большей или меньшей помощи, и потому, перемешав монеты вместе, предоставляю самой судьбе распределить их, как ей заблагорассудится, в полной уверенности, что бог подаст всякому, сколько следует».

Любя ближнего и помогая ему своими трудовыми деньгами, батюшка всегда нравственно страдал, когда не мог дать взаймы просимую кем-либо у него сумму и всячески извинялся перед просителем, как бы считая себя перед ним виноватым. Будучи высоко честен и детски доверчив, он никак не мог допустить, чтобы, взяв деньги взаймы, можно не отдать их. Однажды, ссудив одного ловкого господина десятью тысячами рублей ассигнациями, без всякой расписки, под честное слово, что деньги через год будут возвращены, отец хотя и не получил их обратно, однако постоянно старался обелить этого господина, уверяя, что, если он не отдал долга, то потому, что не мог отдать его; а между тем было известно, что кредитор его имел состояние и ловко воспользовался добротою отца, чтобы выманить, под видом крайности, значительную сумму денег, и, затем, конечно, подобно всем светским мазурикам, не раз посмеяться над добротою честного человека. Совершенно прав С.Т.Аксаков, сказав об отце в составленной им биографии его, что, «делая много добра, он никогда не помнил о том; ему приятно было, если помнили другие, и приятно только потому, что он радовался душою, находя в людях добрые качества».

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

Из «Записок»



В 1815 году, откуда ни возьмись, показался новый комик, который в произведениях своих сделался известен не на одном драматическом поприще. Мне был он давно знаком, равно и тем, кои с некоторым вниманием прочтут меня. Никто не подозревал в родственнике моем, Михаиле Николаевиче Загоскине, тех редких способностей, которые труды и время развили в нем, а я, может быть, менее, чем кто другой. Отец его, почтенный чудак, исполнен был религиозного духа и любознательности, жил всегда в деревне и на ярмарках запасался всякого рода книгами, выходящими на русском языке; их давал он читать сыновьям своим. У старшего было чрезвычайно много живости в крови и мыслей в голове; к тому же с ребячества имел он любовь (которую я назову страстною) к истине и справедливости и какой-то свой особенный, но не менее того верный и ясный взгляд на людей и их недостатки. Одним словом, в нем воображение сочеталось с рассудком, а из чего же составляется ум? Проведя отрочество в деревне и первую молодость в среднем тогдашнем кругу, его наблюдательности представились сперва самые низшие слои общества. Он тем воспользовался, и я готов назвать его Крыловым в прозе и романах. Но кипеть его характера делала его рассеянным и невнимательным к той глазури света, которую посредственность, а часто и ничтожество, так удачно наводить на себя умеют. Как человек совершенно русский, он любил подтрунивать; видя зло, горячился, сердился, но никогда до ненависти, и в сегодняшнем враге так и хотелось ему видеть завтрашнего друга. Я всегда любил его за его доброту и веселонравие, но не имел довольно опытности, чтобы уметь достойным образом оценить качества его души и ума: в глазах моих всякий гостинный эмабельный дурак стоял выше его. До 12 года оставался он мирным канцелярским чиновником; казалось, что он не имеет ничего общего с военным ремеслом, как вдруг любовь к отчизне вызвала его

на поле брани; он вступил в Петербургское ополчение и храбро дрался с ним под Полоцком и под Данцигом. По возвращении из похода, всегдашняя страсть его к театру сблизила его с Шаховским; им ободряемый, он решился написать небольшую комедию «Проказник», довольно плохую, но которая дала ему почувствовать, что он в состоянии творить лучше.

Весной того же года решился, наконец, Жуковский приехать в Петербург на житье <...>

Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21-го сентября, праздновали у сего последнего; Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах, под названием: «Липецкие воды, или Урок кокеткам». Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие, кроме двух Оленистов.

Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров, в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое все дело перепортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся на счет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это все равно что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка был брошена; еще кипящие молодостию Блудов и Дашков спешили поднять ее <...>

Победа казалась на стороне Шаховского; новая пиеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказыва-

ли, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть <...> насмешники на его стороне». Торжество Шаховского пуще раздражало нас <...>

Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием: «Видение в какой-то ограде». Арзамасские любители словесности в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина, и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедовать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, чтоб она дошла до Шаховского, и в чашу радости его много подлила она горечи.

Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в «Сыне отечества» Греч начинал уже помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно, оттого-то согласился он напечатать в нем «Письмо к новейшему Аристофану» Дашкова, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было нетрудно: самым пристойным, почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил с плеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались оттого в неприятельском стане.

Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я и забавную сторону. С родственником моим, Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений; мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей на счет его патро-

на. С своей стороны и он не слишком щадил сих последних и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом, пламя раздора все более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам <...>

Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией «Урок волокитам», в трех действиях и в прозе. Она была недурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, я мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким никогда я не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал, чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностию рода своего, чем новостию своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию <...>

М. А. ДМИТРИЕВ

Воспоминания о М. Н. Загоскине



познакомился с Михаилом Николаевичем Загоскиным в 1820 году, в доме князя Ивана Михайловича Долгорукова, где мы с ним играли на благородном театре, бывали на вечерах и были членами великолепного литературного общества, которое я описал в жизни князя Долгорукова. Все воспоминания об нем связываются у меня с воспоминаниями нашей молодости, хотя он был гораздо меня старше. Он любил скрывать свои лета, но я очень помню, что он, будучи у меня, сказал одному приятелю по секрету, что ему 37 лет. Это было в 1824 году. Следовательно, в 1852 году, когда он умер, ему было 65 лет, а не как было сказано в московских газетах.

Загоскин был роду хорошего и старинного, уроженец пензенский. Из записок кн. Долгорукого видно, что он был влюблен в мать Загоскина и сохранил во всю жизнь сердечную привязанность ко всему их семейству. Но она была женщина скромная и добродетельная.

Где учился Загоскин, это мне неизвестно, но, кажется, он ничему не научился, потому что даже французскому языку он выучился уже в зрелых летах, самоучкою и прекурьезным образом, который доказывает его терпение, составлявшее, при всей его пылкости, одну из стихий его характера. А именно: он выучил наизусть весь французский словарь Татищева и до конца дней не догадался, что нужно выучить и грамматику. От этого он хотя понимал всё, но говорил по-французски преуморительно! Но об этом после.

Загоскин отличался всегда добродушием и лафонтеновскою простотою; всегда был рассудителен и в своих поступках с другими, и в жизни, и всегда самый добрый приятель. Другом он не мог быть: il n'avait pas assez d'étoffe pour cela[1]. Ум у него очень живой, но посредственный; не то, что называется

[1] У него не было достаточно данных для этого *(фр.)*.

у нас недалекий, а необъемлющий и неглубокий. Высшего просвещения нимало и познаний систематических никаких. Нрава он был необыкновенно веселого, что происходило от его чистого сангвинического темперамента.

Не знаю, где он начал службу, но знаю, что в 1812 году он был в ополчении. А в 1820, когда я с ним познакомился, он служил почетным библиотекарем Импер<аторской> публичной библиотеки, которая, как известно, в Петербурге, а он жил в Москве. Он был тогда титулярным советником: дальнейшему продвижению мешало неимение аттестата, который требовался указом 1809 года. Но потом он решился экзаменоваться, взял несколько уроков у московских профессоров, твердил наизусть статистику и получил наконец аттестат, взятый, надо отдать ему эту справедливость, памятью и терпением.

Он тогда жил в доме своего тестя Дмитрия Александровича Новосильцова и занимал в нем мезонин. Маленькая комната с одним окошком, похожая на коридор, была его кабинетом. Он был женат на побочной дочери Новосильцова, Анне Дмитриевне Васильцовской. После, когда «Юрий Милославский», или лучше сказать «Рославлев», доставили ему деньги, он купил дачу в Петровском парке, собственный дом в Денежном переулке и жил уже особо, своим домом.

Новосильцов был человек гордый; они не очень сходились с Загоскиным. Он часто оскорблял его добродушие и надменностью, и невниманием к его таланту. Однажды Загоскин говорит мне: «Нет, братец, мочи нет с Дмитрием Александровичем! Приезжает он к нам, а я в это время выхожу в переднюю в халате. Он только что увидел меня и говорит мне тоном выговора: „Что это, Мих. Ник., вы всегда в халате!" — „Дмитрий Александрович, во-первых, я дома и могу ходить в халате, а во-вторых... во-вторых, если бы я знал, что вы приедете, я конечно бы надел сюртук!"

Загоскин давно уже был известным писателем, а Новосильцов все еще этому не верил. Наконец решился попросить у него «Юрия Милославского». Загоскин обрадовался. Наконец вскоре приезжает ко мне в досаде. «Представь, братец, Дмитр<ий> Александр<ович> имеет привычку после обеда дремать, и в это время маленькая девочка ему что-нибудь читает, чтобы он уснул. Вхожу к нему, она ему читает, почти по складам, моего „Юрия Милославского"».

Большая часть его комедий писана в Петербурге. Они не дали ему большой известности, хотя «Г. Богатонов» и другая — «Богатонов в деревне» — имеют в себе много веселости, которая составляла одно из главных оснований характера За-

госкина, и имеют в этом отношении много достоинства. Веселость Загоскина была неисчерпаема и добродушна, забавное было в его натуре, но остроумия у него не было.

Веселость, простодушие, добродушие, терпеливость и минутные вспышки вспыльчивости — вот его характер. Какой бы он был писатель, если бы с этими качествами соединялись ум более глубокий, обширный, и просвещение!

Славу писателя доставил ему «Юрий Милославский». В первый раз читал он его у Вельяминовых. Все удивлялись этому роману. После чтения стали подходить к нему с похвалами, совершенно справедливыми, но между которых у иных слушателей выражалось такое приветствие: «Ну, Мих. Ник., мы этого *от Вас не ожидали!* — «Правда,— отвечал добродушный Мих. Ник.,— я этого и сам не ожидал!»

Он советовал мне писать романы, я отвечал, что никак не могу и не умею даже сладить происшествия. «Вот, братец, вздор какой! — вскричал Загоскин,— да хочешь ли я покажу тебе начерно начала моего Юрия? У меня было, что он едет к своей невесте, а после писал-писал, вышло, что он едет с письмом к Гонсевскому! Начало-то и переделал!».

Так он писал свои романы.

У него много было соображения и памяти, которая много помогала его воображению. Иногда брал он целиком из памяти. В одном романе у него раскольник сидит в дупле, и сцена пресмешная! Я говорю ему: «Мих. Ник., ведь это ты взял из «Известия о стригольниках» Андрея Иоанова».— «А, ты догадался,— отвечал Мих. Ник.,— ну, молчи!»

Я сказал, что Загоскин был в ополчении. Некоторые из анекдотов, помещенные им в одной его повести, например, о парламентере, о стуке мельницы, который офицер принял за канонаду, и проч.,— случились с ним самим.

Память у него, как я сказал уже, была прекрасная, но только на рассказ, на повествование, на происшествие, особенно на все оригинальное и смешное. Идеи не только не удерживались в его памяти, но даже и не укладывались в нее, даже и не приставали к ней. Все отвлеченные идеи для него как будто не существовали. И потому он любил только те книги, в которых что-нибудь рассказывается: или происшествие, или путешествие. Но те, в которых размышляется отвлеченно или хоть обыкновенно, но поглубже — были для него белая бумага. В истории существовали для него только резкие черты и необыкновенные подвиги, а не жизнь государства. Все, что было выше его понятия, он даже презирал и почитал вздором и педантством. Так, он терпеть не мог Гете, которого читал

в французском переводе. Он отменно любил книги с гравюрами, альманахи, кипсеки и проч.

Слог его, известно, был чист, гладок и жив, напоминая собою еще карамзинскую школу, за исключением шутливых выходок, балагурства и сцен простонародных, которые он изобретал верно и превосходно и в которых, натурально, требуется уже не слог писателя, а язык народа. Но светские сцены хорошего общества все у него не верны и не выдержаны ни в тоне, ни в языке. Его светские люди, особенно дамы, и в комедиях, и в романах, взяты из какого-то захолустья и написаны совсем не с натуры.

Слово *«юмор»* он переводил *«балагурство»*, совсем не понимая значения *юмора.* И потому, где он хотел быть юмористом, там он только балагур. В его книжках «Москва и москвичи» — не видно ни Москвы, ни москвичей; это какие-то люди из другого света. Он не изображал, а сочинял нравы, да потом их и осмеивал! Он и не замечал этого, потому что, смотря на людей и на свет с своей точки зрения, которая уславливалась его простоватостью и недостатком воспитания, он не мог заметить тонкие черты нравов и обычаев; он видел только наружность, которую вдобавок переводил на формы своего собственного понятия, из чего и выходило что-то очень угловатое и не верное подлиннику.

Поэзию понимал он только как стихи, в стихах видел только мысли, гладкость и рифмы. Но поэзия стиха была ему недоступна как тайна, которой он и не подозревал. Когда он сам писал стихи и находил мудреную рифму, он радовался как ребенок. Так, всем объявлял он как подвиг чудную рифму: был у тетки, просил на подметки; или: седенек, да много денег. Когда писал стихи, он беспрестанно ошибался в мере: ухом он не различал гармонии и для того всегда клал возле себя лист белой бумаги и считал стопы *черточками.* Весь лист был списан по шести черточек вместе. Ошибался в черточке, и стих выходил семистопный. Когда ему открывали семистопный стих, он долго не верил и долго перечитывал; наконец, когда убеждался, приходил в какое-то ребяческое отчаяние! Однажды Александр Иванович Писарев при этаком случае подал ему счеты. «На что это?» — спросил Загоскин. — «Считать стопы! — отвечал Писарев, — на счетах ловчее!»

При его всегдашней веселости иногда приходили на него и грустные минуты задумчивости, которыми, признаюсь, он всегда смешил меня. Однажды приезжает ко мне Михаил Николаевич: «Грустно, братец! Все думаю: что такое в нас душа?» — «Что тебе это вздумалось?» — «Да вот что: разные ли в нас души, или во всех одинакие? Ежели разные, то за что же

человек будет отвечать, что в нем душа или глупая или злая! А ежели у всех одинакие, то хорошо, как душа попадет в голову умному человеку, вот, например, как мы с тобой; а посадят ее в голову к дураку, она, чай, и думает: чем же я виновата, что сижу в потемках? Право так. Грустно, братец!»

В другой раз он приехал ко мне совсем расстроенный. Насилу добился, что с ним случилось. «Странно, братец, но, так и быть, скажу! Ты знаешь, что я каждый день езжу верхом. Я и люблю это, да мне и нужно для здоровья».— «Знаю!» — «Ну поверишь ли? Три дня не езжу, не могу сесть на лошадь: боюсь!» — «Это, Мих. Ник.,— сказал я ему шутя,— с тобой род истерики! Я тебя вылечу. Вели седлать свою лошадь, прими 30 гофманских капель, да ту же минуту на седло!» — Что же! На другое утро входит Мих. Ник. превеселый! Что такое? Принял гофманских капель и ездил верхом по-прежнему.

Вот некоторые примеры его необыкновенного простодушия:

У меня обедало несколько приятелей. Это было в 1824 году, когда я жил у Николы в Плотниках, в доме Грязновой. В это время в Москве был Грибоедов, которого я знал и иногда с ним встречался в обществе, но не был с ним знаком. Перед обедом Загоскин отвел меня в сторону и говорит мне: «Послушай, друг Мишель! Я знаю, что ты говорил всегда правду, однако побожись!» Я не любил божиться, но уверил его, что скажу ему всю правду.— «Ну, так скажи мне—дурак я или умен?» — Я очень удивился, но, натурально, отвечал, что умен.— «Ну, душенька, как ты меня обрадовал! — отвечал восхищенный Загоскин и бросился обнимать меня.— Я тебе верю и теперь спокоен! Вообрази же: Грибоедов уверяет, что я дурак».

Играли в театре его комедию, кажется «Домашний театр». Я сидел в первом ряду кресел, рядом с автором, а Грибоедов был в ложе директора Кокошкина; я видел, что Загоскин входил в его ложу. Вдруг он бежит ко мне, пробирается между кресел и кричит мне: «Вообрази, Мишель! Ведь Грибоедов признался, что я умен. Сейчас говорит мне: «Вы знаете, Мих. Ник., что я вас почитал дураком, но теперь, увидевши эту комедию, признаюсь, что вы умны».— «Ведь Грибоедов-то кричал!» — «Да Грибоедов,— сказал я,— кричал об тебе, а ты о самом себе!» Понял Мих. Ник. и замолчал.

Кстати об этой комедии. Я читал Пикара и Делиля. Как-то, говоря о театре, я сказал Загоскину: «Вот, Мих. Ник., Пикар брал иногда целую комедию из одного стиха Горация или Лафонтена. Вот тебе стих из Делиля:

Et la troupe est quelquefois un beau sujet de pièce[1].

---

[1] Толпа иногда бывает хорошей темой для пьесы *(фр.)*.

Загоскин начал ходить по Тверскому бульвару и придумывать свою пьесу. Всякий раз оттуда он заходил ко мне и рассказывал о плане. Я тогда жил на этом бульваре в доме Голохвастова. Так составилась эта комедия.

Загоскин был довольно рассеян, иногда забывчив. Вскоре после моей женитьбы на Вельяминовой раз он приехал к нам вечером и нашел, что жена моя разливает чай. Эта семейная картина очень его растрогала. «Вот, право, посмотрю я на тебя,— сказал он мне,— как ты счастлив! У тебя и жена есть!..» — «А Анна-то Дмитриевна?» — «Ах, батюшка! Что я говорю? *Я и забыл!!!*»

В другой раз стал он что-то рассказывать и начал так: «Покойная моя матушка...», потом вдруг остановился и перекрестился: «Что это я говорю! Ведь она еще здравствует!»

Он был довольно бережлив, но, получая довольно много денег за свои сочинения, любил иногда себя потешить разными безделками, совсем ненужными и которые стоили дорого. Например, беспрестанно заказывал Лукутину бумажные табакерки с разными картинами, выписывал восьмиствольные пистолеты, карманные барометры, складные удочки и проч. Наконец, кто не знает историю о его шкатулке?

Он вздумал сделать себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе *все*: и принадлежность туалета, и библиотеку, и зрительную трубку, и прибор для уженья рыбы, и часы, и принадлежности для письма, и табакерки, и сигары, которых он не курил,— словом *все*, что и нужно и не нужно, да может понадобиться! Он накупил вещей, собрал свои, обрезал по самые строки прекрасное маленькое издание французской библии, потому что оно не входило в местечко, и шкатулка вышла огромная и подлинно редкая. Ее делал футлярщик Торнеус. Загоскин показывал ее всегда с удовольствием, и первое слово его было всегда громкое и повелительное «отопри!». Замок был с секретом, и всякий, натурально, отказывался отпереть. Загоскин говорил с благородной гордостью: «а я отопру!». И отпирал.

Я застал его однажды у Торнеуса и говорю ему: «Я нахожу, Мих. Ник., что тут многого не достает!» — «А что бы такое, например?» — «Недостает складного ружья, складного вертела и утюга».— «На что же это?» — «Да случится дорогой застрелить птицу, захочешь ее и изжарить. А замараешь манишку, вздумаешь сам вымыть, надобно и выгладить».

Загоскин, натурально, принял это за шутку, однако по зрелом размышлении оказалось, что эта шкатулка действительно не содержит в себе самого нужнейшего для дороги, имен-

но столового прибора и других принадлежностей для стола. Загоскин заказал для этого другую шкатулку.

Когда и другая великолепная шкатулка была готова, оказалось, что они не устанавливаются в коляску. Загоскин заказал для шкатулок коляску.

Когда готова была и коляска, оказалось, что Мих. Ник. некуда ехать.

Наконец, придумал он ехать верст за 60 в деревню, к себе или к брату, не знаю. Он взял с собой своего брата Маркелла Николаевича и еще одного приятеля, кажется Илью Ивановича Полугарского. Только что приехали, Мих. Ник. разложил столовые приборы и завтрак, который был тоже во второй шкатулке, а сам вышел. Спутники принялись с дороги убирать завтрак, состоявший из колбасы, сыра и прочих удобно перевозимых съестных вещей. Мих. Ник. вошел и, увидевши опустошение, ужаснулся. Не оттого, чтобы он был скуп, а оттого, что шкатулка останется, по съестной части, совсем без начинки!

У князя Дмитрия Владимировича Голицына (московского военного генерал-губернатора) были литературные четверги. Я получил от него приглашение на эти вечера. Едучи по утру в сенат, я обогнал Загоскина и остановил его с вопросом, будет ли он у князя? — «Буду!» — «Ну, послушайте, Мих. Ник., — сказал я, — уговор лучше денег! Ты смотри, у князя оставь со мною свои прибаутки и по брюху меня не трепи!» Загоскин обещал и дал *честное слово*, в котором я знал его твердость.

У князя он держал себя очень хорошо. Отошли мы как-то человек пять в сторону; я и начал употреблять с Загоскиным его жесты и прибаутки и щелкать его самого по брюху. «Что же ты это делаешь? — сказал Загоскин, — с меня взял честное слово!..» — «В том-то и сила, — отвечал я, — я могу тебя щелкать, а ты не можешь, потому что ты дал честное слово!» Загоскин решительно выдержал пробу и сдержал свое честное слово.

На одном четверге князь стал хвалить какую-то новоприезжую танцовщицу. Желая угодить князю, кто-то распространился о ее скромных позах и сказал даже, что у нее даже в движении пальцев какая-то невинность! Загоскин вышел из терпения и рявкнул своим богатырским голосом: «Невинность! Хорошо вам говорить о ее невинности, как вы ее не пробовали, а я как попробовал, так знаю я, какова эта невинность!» — «Что такое? Что такое!» — раздалось отовсюду; все захохотали и приступили к нему с вопросами. Вышло, что она уговаривалась с дирекцией танцевать за такую-то сумму, а

после обманула Загоскина, стала просить больше и отказываться от балетов.

Вот как Загоскин получил камергерство. Это было в 1831 году, в ноябре. Загоскин был уже тогда директором театра. Государь приехал в Москву со всей царской фамилией. При дворе были маленькие вечера, на которые приглашались только люди близкие и на которых занимались между прочим разными играми: в кошку и мышку, в соседи и проч.

Государю сказали, что актер Щепкин мастерски импровизирует пьяного. Он захотел сделать сюрприз императрице и приказал министру двора князю Волконскому, чтобы на такой-то вечер был готов Щепкин и вошел неожиданно в круг играющих — в виде пьяного. Князь Волконский, думая, что надобно сохранить предварительный этикет двора, спросил государя: «Кому же прикажете его представить?» — «Вели просто привезти его с собой директору театра»,— отвечал государь.— «Да он сам не имеет входа ко двору».— «Это легко исправить,— сказал государь,— скажи ему, что он камергер». Так Загоскин сделался камергером.

Вот как рассказывал об этом вечере сам Загоскин: «Привез я Щепкина и поставил его в дверях за придворными официантами. Государь приказал мне, что когда будут играть в соседи и меняться местами, чтобы я сел подле императрицы, и что это будет знак, чтобы выходить Щепкину. Я, братец, знаешь, выгадал время, да и шлеп на кресло подле государыни! Вдруг Щепкин входит пьяный, да прямо ко мне: «Что ты, брат Михаил Николаевич, призадумался?» Императрица удивилась, но наконец государь захохотал, и все объяснилось!»

Раз ожидали императора в театре. Загоскин расставил камердинеров у всех входов, чтоб тотчас дали ему знать. Случилось, что государь прошел в какую-то дверь, у которой их не было. Загоскин идет по коридору, глядя в очки и ничего не видя, потому что он был и чрезвычайно близорук и рассеян, и вдруг встречается лицом к лицу с государем. Он нам это рассказывал; мы спросили его: «Однако как же это могло случиться?» — «Промеж ног проскочил!» — отвечал Загоскин.

В этот вечер всё были неудачи! Загоскин велел заранее вычистить царскую ложу. «За четверть часа до спектакля,— рассказывал он,— вхожу я посмотреть, все ли чисто. Что же я вижу? Весь потолок вымазан грязью! Словом, дерьмо над царской головой!» (это именно его точное выражение). «Они, злодеи, взяли грязную щетку, которой метут пол, да и обтерли ею потолок царской ложи».

Другой раз входит Загоскин, как директор театра, в царскую ложу и кланяется государю. «Удивился я,— говорит он,—

что и государь привстал и мне поклонился! Я и в другой раз поклон, и он мне поклон. Я думаю: «Да этому и конца не будет!», однако поклонился и в третий. Вдруг слышу за собой хохот! Оглянулся, а государь сидит за мной, а я это все кланялся Волконскому!» — «Ничего, ничего,— сказал государь,— я знаю, что ты близорук. Спасибо тебе за твой подарок!» — «Какой, Ваше величество? Я никакого подарка Вам не делал, да и смею ли я делать Вам подарки!» — «Как никакого? Да ты мне прислал нынче утром чрез князя Волконского свой роман!» — «Ах извините, Ваше величество! Я совсем забыл!» — «Ничего, ничего,— сказал государь,— я его еще не читал, у меня много дела, но прочитаю». Загоскин ободрился и отвечал в восторге: «Помилуйте, Ваше величество! Да если бы Вы его и в год прочитали, и то было бы для меня великое счастие!» Тогда и государь сказал в свою очередь: «Помилуй! За кого ты меня принимаешь, что я буду целый год читать роман?»

К особенностям Загоскина и к его простонародному складу надобно еще прибавить, что своего начальника, министра двора князя Волконского, он иначе не называл в разговоре как «мой-то Петруха»!

Один раз Михаил Павлович и великая княгиня Елена Павловна приняли его в своем саду, на Стоженке; посадили его между собой на садовую скамейку и начали с ним говорить о Московском университете. «Я, братец,— рассказывал Загоскин,— знаешь, и догадался, что они хотят меня выпрашивать! Нет, думаю, меня на это не подденешь!»

— Что, каков Московский университет, Мих. Ник.?

— Хорош, очень хорош!

— А профессора?

— Есть очень хорошие!

— А какого они духа?

— Да как бы Вам сказать, Ваши высочества! Есть старые профессоры, есть и молодые! Старые-то пни пнями; ну эти-то — покорные слуги Вашего высочества!

— А молодые?

— Ну, за молодых-то я не отвечаю.

Таким образом его приглашали несколько времени ко двору; приглашал к себе и великий князь Михаил Павлович! Но наконец как-то промолвила государыня: «Comme il a l'aire laquais, le m-r Zagoskin»[1]. И мало-помалу приглашения прекратились.

[1] Какой у господина Загоскина лакейский вид *(фр.)*.

Загоскин легко очаровывался всяким величием. Проведя половину своей жизни в недостатке, когда он получил первые деньги за своего «Юрия Милославского», он тотчас сшил себе медвежью шубу. И так он был очарован своей шубой, что, приезжая к приятелям, входил в гостиную в шубе и говорил: «А какова шуба? Весит всего столько-то! Из настоящих американских медведей! Да и заплатил дорого — столько-то!»

Точно так же он был очарован и двором. Он приехал как-то ко мне после кончины моей второй жены. Я был в убитом состоянии; а он был в очаровательном состоянии! И вдруг начинает говорить: «А у меня взавтра в театре будут тешить Михаила Павловича! Такой-то актер будет ходить на четвереньках, а Китар <?> будет танцевать чуть не вверх ногами!» Я сказал ему только: «Полно, Мих. Ник., мне право не до этого!» Он ужасно рассердился. Начал кричать: «Я знаю, ты их не любишь! Где же моя шляпа? Где моя шляпа?» Побросался из угла в угол, ища своей шляпы, выбежал из комнаты и уехал. После раскаялся и сам обвинял себя.

Но как же он был простодушен! Однажды мне он говорит: «Что, братец! Я уже и рад, что с меня лажа-то спала и что меня не зовут во дворец!» — «Отчего же это рад?» — «Что скрывать,— возразил Загоскин,— всю правду скажу. Возгордился, было, братец!»

При дворе он стоял и ходил *вольно*, чтобы показать другим, что ему не в диковинку; и над ним немножко подшучивали. А он и там не оставлял своих ласковых этикеток и поговорок.

Один раз перед большим парадным представлением он вдруг говорит мне, так что около нас могли слышать и другие: «Послушай-ка, *матушка*, посмотри-ка, *друг мой*, говорят у меня мундир сзади замаран, почисть немножко!» Я ему сказал: «Хорошо, Мих. Ник., по дружбе можно; а ты кстати вычисть мне башмак! Однако покажи, где у тебя замарано?» Мих. Ник. очень добродушно обернулся задом. Пятна никакого не было. «Кто тебе сказал, что замарано?» — «Князь Петр Голицын» — «Пойдем к князю Петру Голицыну» — Загоскин пошел за мной как ребенок. Я сказал Голицыну с улыбкой: «Что вы, князь, над ним при всех шутите? Посмотрите, что он сделал»,— и рассказал ему все. Князь извинялся тем, что ему так показалось. Мне только и нужно было это извинение, которое, впрочем, относилось не к одному мне, а столько же и к Загоскину, чего он и не заметил. Все смеялись, а Загоскин ни слова и пошел опять на свое место!

Мы представлялись в числе человек десяти великой княгине Елене Павловне. Загоскин стоял между мною и камергером

Солнцевым. Она, поговоря с Солнцевым, который знал свет и прекрасно говорил по-французски, обратилась к Загоскину с вопросом: «Faites vous de comédie, monsieur Zagoskin?» Загоскин, нахмурясь, отвечал наотрез: «Non, madame».— «Et pourquoi non?» — «Mais il n'y a pas moyen!»[1] — заговорил было Загоскин, но она догадалась, что дело идет о цензуре, и быстро повернулась ко мне и заговорила о моем дяде, о Екатерине Андреевне Карамзиной и о Дерптском университете. Таким образом, этим длинным разговором я был отчасти обязан à la rusticité de m-r Zagoskin[2].

Мы с Загоскиным были сделаны камергерами в одно время, а П. А. Новиков, наш приятель и самый честолюбивейший из нас прочих, оставался камер-юнкером, что было ему просто заноза в сердце. Загоскин презабавно над ним подшучивал. Бывало, как скоро мы все трое вместе, он начинает мне говорить: «Послушай, брат Мишель! Бросим знакомство с этой мелочью (указывая на Новикова). Ведь мы, брат, камергеры, так нам и неприлично с этакими знаться!» Новиков, натурально, принимал эту шутку за шутку, но все-таки сильно страдал.

Загоскин не был честолюбив, но когда получал отличие по службе, был добродушно рад и доволен. Он получил чин действительного статского советника прежде меня и чрезвычайно добродушно, с притворною гордостию говаривал мне: «Да ты не забудь, братец, что ты говоришь с генералом!» Ленту же Станислава я получил прежде. Он от души меня поздравил, примолвив только: «А мой Петруха и не думает о моей службе!»

Загоскин чрезвычайно не любил немцев за то, что не знал по-немецки, и когда был с ополчением в какой-то немецкой стороне, то никого не понимал и его не понимали. Эту ненависть перенес он и на немецкую литературу, и на немецких литераторов, особенно терпеть не мог Гете.

Однажды вечером приехал он ко мне, а у меня в кабинете сидели в это время мои тетки, приехавшие в Москву из Симбирска, бежа от холеры. Это было в 1830 году. Он их не знал. Они его не знали. Загоскин, как вошел, начал рассматривать на стенах портреты, наткнулся на портрет Гете и закричал: «Ах он каналья, мерзавец, сукин сын» и проч. Когда он уехал, тетки спросили меня — кто это? И когда оказалось, что это автор «Юрия Милославского», они не могли поверить: «За что же он бранит этот портрет, и чей это портрет?» Одним сло-

---

[1] — Пишете ли вы комедию, господин Загоскин?
— Нет, сударыня.— А почему? — Нет возможности. *(фр.)*

[2] неотесанности г-на Загоскина *(фр.)*.

вом, как я ни объяснял, все осталось непонятным; так что и Загоскин и Гете остались под сомнением.

О немецких ученых он отзывался по-своему: «Ведь у них, братец, ученых-то много, а есть-то нечего! Вот они и соберутся: «Вы, господин профессор и гофрат, нынешний год о чем читаете?» — «О человеке вообще».— «А вы о чем?» — «Я о человеческой руке».— «Ну, так я буду читать о мизинце!» Последний подумает и скажет с важностию: «Ну, а я... буду читать хоть об ногте!» Поверь, Мишель, что вся эта немецкая ученость — пустяки! Только друг другу хлеб дают!» И он был вполне в этом уверен.

Я сказал уже, что Загоскин говорил очень дурно по-французски. Это бы ничего, но он чрезвычайно любил говорить на этом языке, и все с одними и теми же ошибками: le maison, la public и даже un femme[1]. Однажды у графини Бролью играли в шарады; ему понадобился колокольчик, и он обратился с этим к одной девице, из чего вышел забавный разговор между ними: «Mademoiselle, faites apporter un clocher».— «Monsieur, c'est impossible!» — «Pourquoi?» — «Il ne pourra pas entrer dans cette chambre!» — «Mais un petit clocher?» — «Quelque petit qu' il soit, c'est impossible!»[2] Так и отстал Загоскин, что не понял. Иногда он французское выражение вдруг переводил на русскую поговорку: так родственно было ему все русское и все простонародное! Например, скажет громко: «Cela ne vaut pas un verre d'eau fraiche!»[3] и тут же прибавит по-русски: «то есть, выеденного яйца не стоит».

У него было множество шуток и поговорок, которые я от него только и слыхал. Вот главнейшие: «Ткни его пятым пальцем под девятое ребро!», «Проглочу, да не вы..., без вести пропадешь!», «Завалился за маковое зерно, да и думает, что он великий человек!», «Много ли тебя в земле-то, а на земле-то немного!» и проч. Он говорил мне, что перенял эти поговорки в Пензе, у дяди своего Мартынова.

Еще позабыл один из его придворных разговоров. Государь спросил его, не написал ли он чего нового? «Нет, государь,— отвечал Загоскин,— некогда писать, занят службою!» — «Вот будто это такая служба, что не дает и времени!» — «Хорошо говорить это, Ваше величество, тому, кто сам никогда не слу-

---

[1] Вместо «la maison», «le public», «une femme» — дом, народ, женщина *(фр.)*.

[2] «Сударыня, велите принести колокольню.— Сударь, это невозможно! — Почему? — Она не могла бы войти в эту комнату.— Но маленькая колокольня? — Как бы мала она ни была, это невозможно» *(фр.)*.

[3] Это не стоит стакана холодной воды *(фр.)*.

жил»,— отвечал Загоскин,— а послужи-ка, так и узнаешь!» Я нахожу, что это очень забавно: сказать государю, что он никогда не служит, позабывая, что значит управление целой империей! Это только и мог Загоскин, да только ему и могло с рук сойти.

Вот еще анекдот, доказывающий, что иногда он умел отвечать очень кстати; но и тут нужна была наивность и решимость Загоскина. Будучи начальником Оружейной палаты, он показывал прусскому посланнику какой-то земной глобус, сделанный в царствование императрицы Елизаветы. Пруссак не нашел на нем Кенигсберга и отнес это к тогдашнему непросвещению русских. «Нет,— отвечал Загоскин,— я думаю, потому не поставили Кенигсберга, что он тогда был взят русскими и принадлежал нам, то его, вероятно, считали нашим губернским городом».

Загоскин был крепкого сложения и силен и любил похвастаться силой, но между нами, тогдашними молодыми своими приятелями, он не находил себе ни соперника, ни поборника, и потому он очень забавно говорил об нас: «Дмитриев поборет Новикова, Новиков в крюк согнет Курбатова, а Курбатов совсем уничтожит... индейского петуха!», и даже в старости он иногда повторял эту шутку. Когда приехал в Москву известный Раппо, геркулес нашего времени, пуды и железная полоса не выходили из конторы театра: Мих. Ник. все поднимал и гнул и все пробовал свою силу! Очень бы хотелось ему побороться с Раппо, да чин и звание не позволяли.

Когда Загоскин писал свой роман «Тоска по родине», он говорит мне однажды: «Знаешь ли, что я описал в нем одну (кажется) мадридскую или лиссабонскую улицу точь-в-точь, какой дом подле какого и даже какой выкрашен краской! Хочешь скажу по секрету, как я это сделал? Купил у Дациоро раскрашенную картинку с изображением этой улицы, да по этой картине точь-в-точь и описал!» — однако это показывает большую догадку.

Написавши все это об Загоскине, я боюсь, чтоб люди, не знавшие наших отношений, не подумали, что я хотел осмеять его. Напротив, я хотел написать все то, что может представить его таким именно, каков он был; все то, чего нельзя было сказать его биографу С. Т. Аксакову и на что он мог только намекнуть. У нас нельзя писать биографии ни живого, ни мертвого, потому что наша цензура стирает все черты индивидуальности. Нет! Не хотел я осмеять этого доброго незабвенного человека! Напротив, вспоминая об нем все эти мелочи, я услаждал душу мою подробностию этих воспоминаний и переживал вновь то время, когда я видался ежедневно с За-

госкиным. Все это написано мною, разумеется, не для печати, потому что для печати или пишут официальную ложь, или скрывают истину под такою искусною и условною краскою, что ее лица бывает под ней совсем не видно. Если мне кому-нибудь случится это прочитать, может быть, слушатели и рассмеются, но все-таки узнают в этих мелочных чертах портрет человека доброго, простодушного, незлобивого как дитя: эти достоинства делали его любимым всеми! Если бы даже были у Загоскина враги, им не за что было бы ухватиться; его нельзя было оклеветать; он был весь наружи; кто его видел раз, тот уже знал его!

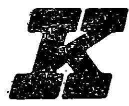
Да! Он был человек истинно добрый, открытый, прямой и религиозный. Кто знал Загоскина, как я, в продолжение 32 лет, с молодых лет и до старости, тот может себя поздравить, что в числе людей нашел он человека, опровергающего собою все клеветы на человечество и всякую мизантропию. Я уверен, что хорошо на том свете этому простодушному и незлобивому человеку!

Написавши от души эти слова, я вспомнил еще одно его изречение, которое узнают все его и мои приятели: «Ты, Дмитриев, шпилька!» Он, конечно, не сказал бы этого, если бы услышал мои последние об нем слова. Нет! Он увидел бы, что я выговорил эту последнюю ему похвалу с искренним чувством.

Я не рассматривал его сочинений, во-первых, потому что писал только мелочи, изображающие человека, а не автора; во-вторых, потому что после статьи С. Т. Аксакова о нем и его сочинениях я не могу написать ничего лучше.

И. И. ПАНАЕВ

Из «Литературных воспоминаний»



числу самых коротких людей дома Аксаковых принадлежал М. Н. Загоскин. Я редко встречал таких простосердечных и добродушных людей. Загоскин весь и всегда постоянно был нараспашку. Его бесхитростный, простой патриотизм часто доходил до комизма. Когда он бывал в расположении духа, он говорил без умолку и рассыпал в своем разговоре цинические пословицы, поговорки и выражения, сам восхищаясь ими и смеясь от всей души. Его круглое румяное лицо, вся его фигура — маленькая, толстенькая, но хлопотливая и подвижная — как-то невольно располагали к нему... Все в нем было искренно до наивности. Он имел взгляд на жизнь нехитрый, основанный на преданиях, на рутине, и вполне удовлетворялся им, отстаивая его с презабавною горячностию. Если кто-нибудь не соглашался с его убеждением и оспоривал его, он выходил из себя: черные глаза его сверкали из-под очков и наливались кровью, он топал ножками, размахивал руками и отпускал такие словца, которые можно только слышать на улице... Новых идей, проповедываемых молодежью, он терпеть не мог. «Поверь мне, милый, все это чепуха,— говорил он К. Аксакову,— завиральные идеи, взятые из вашей немецкой философии, которая, по-моему, и выеденного яйца не стоит... Русский человек и без немцев обойдется. То, что русскому человеку здорово,— немцу смерть. Черт с ним, с этим европеизмом, чтоб ему провалиться сквозь землю! Тебя, Константин, я люблю за то, что ты привязан к матушке святой Руси. Эта привязанность вкоренилась в тебя потому, что ты воспитывался в честном, хорошем дворянском семействе,— ну, а уж твои приятели... Этих бы господ я...» — Загоскин останавливался, сжимал руку в кулак и принимал энергическое выражение.

Загоскин разумел под приятелями Аксакова в особенности Белинского, которого он сильно недолюбливал. Ненависть

его ко всему иностранному была забавна... «Пьют лафиты,— говорил он,— да разные иоганисберги и шато д'икемы и хвастают этим, а не знают, что у нас есть свое родное, крымское, которое ни в чем не уступит их д'икемам и лафитам».

Однажды Загоскин пригласил меня обедать. За обедом он усердно угощал меня красным вином. «Каково винцо-то? — приговаривал он.— Букет-то какой!» Вино мне действительно показалось недурным, и я похвалил его... «Ну, а какое это вино?» — спросил он, устремляя на меня проницательный взгляд и улыбаясь.— Я не знáю...— отвечал я,— лафит, кажется?..— «Ах вы, европейцы! — вскрикнул Загоскин,— лафит! лафит!.. Нет, милый, я с Депре с вашим не имею знакомства... Это вино чисто крымское, из винограда, созревшего на русской почве... Чем оно хуже вашего лафита?.. Да и Депре-то ваш ведь надувает, я думаю, вас: он продает вам втридорога то же крымское, выдавая вам его за какой-нибудь шато-ла-роз, а вы смакуете да восхищаетесь: какой лафит! 15 р. бутылка! — а мне эта бутылка стоит 3 р. 50 к.! Пора нам стряхнуть с себя иностранную дурь!..»

Загоскин не знал иностранных языков, но когда он сделался директором московских театров, он почел необходимым учиться по-французски и учился без учителя. Он просто выучил наизусть почти весь лексикон Ольдекопа (память у него была удивительная) и говорил по-французски презабавно, большую часть без артиклей. Когда одна придворная дама в театре, в царской ложе, спросила у него бинокль, Загоскин начал отыскивать его по столам и стульям и метаться из угла в угол (он был очень рассеян) и потом, подойдя к даме, сказал: «Ублие, прянсес»...

Несмотря на мою близость с Белинским, Загоскин обнаруживал ко мне большую внимательность и расположение, вероятно потому, что встретил меня в доме С. Т. Аксакова, с которым он был очень дружен.

— Мы его сделаем москвичом,— говорил Загоскин Аксакову, ударяя меня по плечу.— Ему надо показать Москву во всей красоте. Я свезу его на Воробьевы горы.

Загоскин пригласил С. Т. Аксакова и меня обедать к себе. Он жил в Петровском парке на собственной даче. Тотчас после обеда был подан кабриолет и, к удивлению моему, с английской закладкой.

— Едем, едем... пора! — говорил мне Загоскин.— Эй, человек, шляпу, пальто!.. да не забыл ли я чего?

Он хватался за свои карманы, шарил на столе, не отдавая себе в рассеянности отчета, чего он ищет...

— Табакерка-то со мною ли? — спрашивал он у лакея...— Здесь, здесь! — кричал он, ощупав ее в кармане.

Наконец мы вышли на крыльцо. С. Т. Аксаков провожал нас. Загоскин сел в кабриолет и взял вожжи.

— Садитесь, садитесь скорей,— говорил он мне. Я сел... Лошадь поднялась на дыбы и рванулась.

— Не погуби, Михаил Николаич, молодого-то человека. Ты мне за него отвечаешь,— кричал нам вслед, смеясь, Сергей Тимофеич.

— Ничего, ничего, милый,— кричал Загоскин,— я доставлю тебе его в целости. Будь покоен!..

От Петровского парка до Воробьевых гор пространство огромное. Надобно проехать через всю Москву. До Триумфальных ворот мы проехали благополучно; но путешествие наше по Москве было сопряжено с опасностями на каждом шагу. Загоскин при каждой церкви опускал вожжи, снимал шляпу и крестился; лошадь начинала нести. Я замирал от страха и стыдился обнаружить его, но наконец не выдержал.

— Позвольте, я буду править,— сказал я Загоскину.

— Ничего, ничего, милый, не бойтесь... Это лошадь смирная, она уж знает мои привычки...

Когда мы выехали из Москвы, я отдохнул несколько. Въезжая на Воробьевы горы, я было оглянулся назад.

— Нет, нет — не оглядывайтесь,— вскрикнул Загоскин,— мы сейчас доедем до того места, с которого надо смотреть на Москву...

Минут через десять мы остановились. Загоскин попросил попавшегося нам навстречу мужика подержать лошадь, а сам повел меня к дереву, одиноко стоявшему на горе...

— Ложитесь под это дерево,— сказал он мне,— и смотрите теперь, смотрите! Отсюда лучший вид...

Я повиновался и начал смотреть. Действительно, картина была великолепная. Вся разметавшаяся Москва, с своими бесчисленными колокольнями и садами, представлялась отсюда — озаренная вечерним солнцем. Загоскин лег возле меня, протер свои очки и долго смотрел на свой родной город с умилением, доходившим до слез...

— Ну, что... что скажете, милый,— произнес он взволнованным голосом,— какова наша белокаменная-то с золотыми маковками? Ведь нигде в свете нет такого вида. Шевырев говорит, что Рим походит немного на Москву,— может быть, но это все не то!.. Смотри, смотри!.. Ну, бога ради, как же настоящему-то русскому человеку не любить Москвы?.. Иван-то Ве-

ликий как высится... господи!.. Вон вправо-то Симонов монастырь, вон глава Донского монастыря влево...

Загоскин снял очки, вытер слезы, навернувшиеся у него на глазах, схватил меня за руку и сказал:

— Ну что, бьется ли твое русское сердце при этой картине?

В экстазе он начал говорить мне «ты».

Чудный летний вечер, энтузиазм Загоскина, великолепная картина, которая была перед моими глазами, заунывная русская песня, несшаяся откуда-то,— все это сильно подействовало на меня.

— Благодарю вас,— сказал я Загоскину,— я никогда не забуду этого вечера.

Загоскин обнял меня, поцеловал и сказал:

— Ты настоящий русский, ты наш,— только ты, пожалуйста, не увлекайся этими завиральными идеями, которые начинают быть в ходу. Белинский ваш — малый умный, да сердца у него нет, русского-то сердца...

И он тыкал себя пальцем в левый бок...

С этого вечера Загоскин сделался ко мне еще благосклоннее. Он непременно требовал, чтобы я в театр иначе не ездил, как в его ложу, и очень хлопотал о том, чтобы показать мне Мочалова во всем блеске его таланта...

— Не знаю только, удастся ли,— говорил он;— надо пообождать немного. В эту минуту он никуда не годится, запил, каналья!

С. Т. Аксаков при всяком свидании с Загоскиным спрашивал: «Ну что Мочалов?..», получал неудовлетворительный ответ и приходил в бешенство...

— Погиб, кажется, окончательно этот великий талант! — восклицал он, ударяя кулаком по столу,— что с ним делать?

Сергей Тимофеич рассказал мне при этом, что он долго возился с ним и напрасно употреблял всевозможные усилия для того, чтобы пробудить самолюбие в Мочалове и оторвать его от грязной, невежественной жизни. Мочалову было неловко и дико в обществе образованных людей... Он давал им слово остепениться, благодарил Аксакова за участие, проклинал собственную свою слабость, несколько дней вел себя прилично, но потом вдруг незаметно исчезал, отдавался самому отчаянному кутежу с разными купчиками, напивался, буянил и кричал: «На колени передо мною! Я гений! Я Мочалов!»

— Теперь я уж махнул рукой на него,— прибавил Аксаков, — едва ли вам удастся видеть его в настоящем свете; а впрочем — кто его знает?.. У него вдруг, неожиданно еще до

сих пор вырываются истинно вдохновенные минуты, особенно в «Гамлете».

— Ну, милый, я тебе привез приятную новость,— заговорил однажды Загоскин, входя в кабинет С. Т. Аксакова:— говорят, Мочалов приходит в себя... Мы дадим для него «Отелло» и «Гамлета» (он указал на меня)... Только крепко боюсь я за него. Едва ли он надежен...

— Бог даст, ничего,— заметил Сергей Тимофеич:— в целом не выдержит, так, может быть, минутами будет хорош...

Через несколько дней после этого на афише появился «Гамлет» с Мочаловым. Сергей Тимофеич ждал этого спектакля с большим волнением, между страхом и надеждою...

Я вместе с ним сидел в директорской ложе. Загоскина не было при начале спектакля... Перед поднятием занавеса Сергей Тимофеич произнес с беспокойством: «посмотрим, что-то будет!»

По окончании первого акта Сергей Тимофеич посмотрел на меня грустно и, покачав головою, произнес: «нет — из рук вон плох». Во время второго акта, в сценах, где появлялся Гамлет, Аксаков уже едва сдерживал свое огорчение и негодование... Он с беспокойством поворачивался на своем стуле и шептал: «он совсем погиб!.. Еще никогда он не был так дурен в Гамлете. Его просто надо прогнать со сцены». Когда занавес опустился, Сергей Тимофеич вышел из ложи совсем встревоженный и наткнулся в комнате перед ложею с Загоскиным, который только что приехал.

— Какая гадость,— сказал он, обращаясь к Загоскину и задыхаясь от досады,— ведь смотреть, братец, нет никакой возможности...

— На кого? На Шекспира?— перебил Загоскин рассеянно и приглаживая у зеркала свои волосы...— То-то, милый,— продолжал он,— вы все кричите: Шекспир! Шекспир! Гений! гений! и считаете святотатством, если из него слово выкинешь; а его надо непременно сокращать, я это всегда говорил...

Аксаков вышел из терпения, схватил Загоскина за отвороты фрака и начал трясти его...

— Какой Шекспир! Ну какой Шекспир!.. Что ты бредишь? Не на Шекспира, а на Мочалова нет возможности смотреть... Понимаешь?..

— А-а!— протянул Загоскин.— Ну, да я предчувствовал, что он играть не может.

— Зачем же ты заставил его играть? Ведь на него жалко и стыдно смотреть. Это не Гамлет, а пародия на Гамлета!..

Загоскин вспыхнул.

— Да ведь ты же приставал ко мне: «скоро ли покажешь ты нам Мочалова? да когда ж велишь дать Гамлета?..» Ну, вот я и велел дать, а ты на меня же накидываешься.

После сцены с матерью в третьем акте Сергей Тимофеич не выдержал — махнул рукой и уехал...

Я тоже едва усидел до конца: ни одного вдохновенного проблеска, ни одного слова, вырвавшегося из сердца; неуместные вскрикивания, неловкость движений, нестерпимая бестактность в игре... «Где же этот талант, о котором кричали все москвичи? Где же этот Гамлет-Мочалов, от которого Белинский приходил в такой энтузиазм?..»

Я вышел из театра усталый, с неприятным, тяжелым впечатлением.

Через неделю после этого давали «Отелло».

В «Отелло» Мочалов был так же плох, как и в «Гамлете», только в сцене второго акта, когда Десдемона встречает его на острове Кипре, Мочалов обнаружил такую искреннюю нежность, такую бесконечность любви к своей супруге, что по этой сцене можно было догадываться, каким бывает он в лучшие, вдохновенные свои минуты на сцене. Голос его поразил меня своею симпатическою мягкостью, выражение лица — глубоким и истинным чувством.

Но мне так и не удалось видеть Мочалова в настоящем его свете...

— У меня завтра вечером,— сказал мне Сергей Тимофеич,— Загоскин читает свой новый роман «Тоску по родине». Приезжайте, если хотите послушать. Он вас полюбил и хочет непременно, чтобы вы были в числе слушателей...

Чтение началось со 2-й части, содержание первой автор рассказал нам.

Я сидел возле С. Т. Аксакова.

Под текучий и гладкий слог Загоскина я было забылся на минуту... Вдруг этот приятно усыпляющий слог превратился в живой язык, повеявший свежестию и силою: описывалась малороссийская ночь... Я невольно встрепенулся... Место действия романа в Испании,— как же тут попала малороссийская ночь?.. Я не разобрал вдруг, но вскрикнул невольно:

— Как хорошо это!

Сергей Тимофеич дернул меня с улыбкою за рукав:

— Что это вы? — шепнул он мне.— Ведь это он приводит иронически отрывок из Гоголя, замечая, что если уж так описываются малороссийские ночи, то как же описать испанские?..

После описания какого-то испанского города Сергей Тимофеич перебил чтение и спросил у Загоскина:

— Да как же ты это так хорошо и подробно описываешь наружность испанских городов, никогда не бывав в Испании?

Загоскин положил рукопись на стол, взглянул на Аксакова через очки, наклонив немного голову, и отвечал очень серьезно:

— А на что же у меня, милый, лукутинские-то табакерки с испанскими видами?..

И приостановя на минуту чтение, он начал доказывать, что лукутинские изделия — верх совершенства, что у иностранцев и отделка и рисунки на подобных изделиях хуже, и что если русский человек захочет, то он всегда заткнет за пояс и немца, и француза, и англичанина...

И. С. ТУРГЕНЕВ

Из «Литературных и житейских воспоминаний»

кажу кстати два слова еще об одном умершем литераторе, хотя он и принадлежит к «dis minorum gentium»[1] <...> а именно о М. Н. Загоскине. Он был коротким приятелем моего отца и в тридцатых годах, во время нашего пребывания в Москве, почти ежедневно посещал наш дом. Его «Юрий Милославский» был первым сильным литературным впечатлением моей жизни. Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман; учитель русского языка — он же и классный надзиратель — рассказал в часы рекреаций моим товарищам и мне его содержание. С каким пожирающим вниманием мы слушали похождения Кирши, слуги Милославского, Алексея, разбойника Омляша! Но странное дело! «Юрий Милославский» казался мне чудом совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина, я взирал довольно равнодушно. За объяснением этого факта ходить недалеко: впечатление, производимое Михаилом Николаевичем, не только не могло усилить те чувства поклонения и восторга, которые возбуждал роман, но напротив — оно должно было ослабить их. В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение; говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною: *это* качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырехугольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычайные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок,— все в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же за ним водились три, тоже довольно комические, слабо-

[1] младшим богам *(лат.)*.

сти: он воображал себя необыкновенным силачом[1]; он был уверен, что никакая женщина не в состоянии устоять перед ним; и, наконец (и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно), он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что даже получил в нашем доме прозвище: «Monsieur l'article»[2]. Со всем тем нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях.

Последнее мое свидание с ним было печально. Я навестил его много лет спустя — в Москве, незадолго перед его смертью. Он уже не выходил из своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всех членах. Он не похудел, но мертвенная бледность покрывала его все еще полные щеки, придавая им тем более унылый вид. Взмахи бровей и таращение глаз остались те же; но невольный комизм этих движений только усугублял чувство жалости, которое возбуждала вся фигура бедного сочинителя, явно клонившаяся к разрушению. Я заговорил с ним об его литературной деятельности, о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянул о значении «Юрия Милославского» как народной книги... Лицо Михаила Николаевича оживилось. «Ну, спасибо, спасибо,— сказал он мне,— а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла». (Со мной Михаил Николаевич не говорил по-французски, а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические.) «Спасибо,— повторил он, не без волнения и с чувством пожав мне руку, точно я был причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькие мысли о так называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внутренно я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек? Но отчего же было ему и не радоваться? Он услыхал от меня,

---

[1] Легенда о его силе проникла даже за границу. На одном публичном чтении в Германии я, к удивлению моему, услыхал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл геркулес Раппо и, давая представления на театре, всех вызывал и всех побеждал; как внезапно, среди зрителей, не вытерпев посрамления соотечественников, поднялся der russische Dichter; stehet auf der Zagoskin! <русский писатель; встает Загоскин! — *нем.*> (с ударением на *кин*) — как он сразился с Раппо и, победив его, удалился скромно и с достоинством. *(Прим. И. С. Тургенева).*

[2] Господин артикль *(фр.).*

что не совсем умер... а ведь горше смерти для человека нет ничего. Иная литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За периодом легкомысленных восхвалений последует период столь же мало осмысленной брани, а там — безмолвное забвение... Да и кто из нас имеет право не быть забытым — право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления?

А все-таки я рад, что я, совершенно случайно, доставил доброму Михаилу Николаевичу, перед концом его жизни — хотя мгновенное удовольствие.

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ

НЕРАВНЫЙ БРАК

Отрывок из одного русского романа.

Впервые — Северный наблюдатель. 1817. № 10—12, 14—16; под заглавием «Не ровный брак».

Стр. 17. *Почтенный батюшка, подобно Иакову...*— Иаков (библ.), легендарный патриарх, глава многочисленного семейства, родоначальник «колен Израилевых».

Стр. 20—21. *...подвергнуться... насмешкам модных рецензентов...*— Намек на критические выступления А. Е. Измайлова против комедий Загоскина: в частности, язык их объявлялся «низким» и «площадным» (см., например: Сын отечества. 1817. № 39. С. 36; № 43. С. 179 и др.).

Стр. 21. *Еруслан Лазарич... Бова Королевич...*— Подразумеваются лубочные романы, посвященные похождениям этих героев.

На тяжких вереях ворота заскрыпели...— Цитата из стихотворной сказки И. И. Дмитриева «Модная жена».

Стр. 22. *Лагун*— бочонок.

Стр. 23. *Лубочная*— здесь: деревянная.

Полгарнца— примерно 1,64 л (гарнец — мера сыпучих тел, равная приблизительно 3,3 л).

...в одном томе экономического журнала...— Подразумевается «Экономический журнал», издававшийся Вольным экономическим обществом (СПб, 1807); журнал, предназначенный для сельского читателя, в основном заполнялся статьями по земледелию и животноводству.

Стр. 24. *Сибилла* (греч., римск. миф.) — прорицательница, предсказывающая будущее.

Стр. 25. *Гогард*— Хогарт Уильям (1697—1764), английский художник, мастер сатирического бытового жанра.

Стр. 34. *Фильд*— Филд Джон (1782—1837), ирландский пианист, композитор; с 1802 г. жил в России; был известен как модный исполнитель-виртуоз.

ВЕЧЕР НА ХОПРЕ

Впервые — Библиотека для чтения. 1834. Т. 3; в несколько переработанной редакции — в изд.: Повести Михаила Загоскина. М., 1837. Кн. 1. Печатается по этому изданию.

В «Вечере на Хопре» есть несколько противоречий, допущенных Загоскиным: Черемухина сначала называют Прохором Кондратьичем, затем Александром Иваньгчем; Асанова — то Иваном Алексеевичем, то Алексеем Ивановичем; когда Асанов вводит в свой кабинет повествователя, тот видит четверых гостей, но далее речь идет лишь о трех и т. д.

Вступление

Стр. 40. *Секунд-майор* — военный чин 8-го класса (до 1797 г.).

Капитан-исправник — начальник полиции в уезде; избирался дворянством.

Стр. 41. *Радклиф* Анна (1764—1823) — английская писательница, автор популярных в начале XIX в. готических романов, изобилующих тайнами и ужасами.

Жанлис Софи-Филисите (1746—1830) — французская писательница, автор множества «чувствительных» повестей.

Удольфский замок — место действия знаменитого романа Радклиф «Удольфские тайны» (1794).

Грасфильское аббатство — подразумевается роман английского писателя Джорджа Мура «Грасвильское аббатство» (был издан анонимно).

Стр. 42. *То в восторге юной радости...* — Цитата из стихотворения А. Н. Муравьева (1806—1874) «Русалки» (1826).

Стр. 43. *Иванов день... как цветет папоротник.* — Согласно народному преданию, в Иванов день расцветает папоротник, и на местах его цветения можно обнаружить клад.

Стр. 46. *...в сражении с Огинским при Столовичах...* — Михаил Казимир Огиньский (1729—1800) — великий гетман литовский, командующий войсками против А. В. Суворова в сражении у Столовичей (местечко в Минской губернии) 13 сентября 1771 г.

Стр. 50. *...маляра Ефрема, о котором бессмертный певец Ермака...* — далее цитируется «Надпись к портрету Ефрема-живописца» (1791) И. И. Дмитриева, автора поэмы «Ермак» (1794).

Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка. — В 1768 г. в г. Бар (Подолия) была создана конфедерация — вооруженный союз польской шляхты против короля Станислава Понятовского и царской России. Король обратился за помощью к России. Русские войска под командованием А. В. Суворова нанесли конфедератам ряд поражений. Краков был взят 15 апреля 1772 г.

Стр. 51. *...взятие Измаила.* — Взятие крепости Измаил на Дунае (22 декабря 1790 г.) было одной из самых блестящих побед Суворова в русско-турецкой войне 1787—1791 гг.

...охотничьих одинаких... ружей... — одноствольных.

Прагский золотой крест в петлице — награда за взятие Праги (укрепленного предместья Варшавы) в 1794 г.

...плакса Гераклит...— Гераклит (конец VI—начало V в. до н. э.) — древнегреческий философ; упоминался обыкновенно как философ-пессимист в паре с философом-оптимистом Демокритом (ок. 470 или 460 до н. э.— ок. 370 до н. э.).

Стр. 52. *«Петербургские ведомости»*— «Санкт-Петербургские ведомости», газета, выходившая с 1728 г.

...московский «Вестник»...— Имеется в виду журнал «Вестник Европы» (1802—1830), первым издателем которого в 1802—1803 гг. был Н. М. Карамзин. В 1806 г. «Вестник Европы» издавался М. Т. Каченовским.

«Московский курьер»— еженедельник С. М. Львова (Москва, 1805—1806).

«Любитель словесности»— журнал Н. Ф. Остолопова (Петербург, 1806).

«Московский зритель»— журнал П. И. Шаликова (Москва, 1806).

«Собеседник»— журнал «Московский собеседник» (Москва, 1806).

Стр. 53. *...есть русские истории, которые более походят на сказки...*— Иронический намек на Н. А. Полевого, автора «Истории русского народа» в 6-ти томах (М., 1829—1838) и исторического романа «Клятва при гробе господнем. Русская быль XV века» (М., 1832). В предисловии к роману, объявляя себя «врагом квасного патриотизма», Полевой подчеркивал, что его «Русские были» «не то, что повести и сказки <...> Русь, как она была, точная, верная картина ее — вот моя цель».

Пан Твардовский

Стр. 55. *Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка.*— См. коммент. к с. 50.

Ландскрона (Ланцкрона) — местечко близ Кракова со старинным замком, который был взят войсками Суворова 10 мая 1772 г.

Суворов... был еще... генерал-майором.— А. В. Суворов состоял в чине генерал-майора с 1770 по 1774 г.

Стр. 59. *...с полдюжины конфедераток...*— Конфедератка — особого покроя головной убор, введенный в моду польскими шляхтичами, сочувствовавшими Барской конфедерации.

Стр. 62. *...читал однажды русскую сказку о храбром витязе Алеше Поповиче...*— Имеется в виду «Повесть об Алеше Поповиче, богатыре, служившем князю Владимиру», вошедшая в сборник В. А. Левшина «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти, приключения» (М., 1780, ч. 1, с. 187—248). Загоскин здесь допускает явный анахронизм: в 1772 г. Кольчугин еще не мог читать издания Левшина.

...пана Твердовского, или Твардовского...— Транскрипция «Твердовский», восходящая к сборнику Левшина, была довольно широко распространена в русской литературной традиции (см., например, поэму Н. Радищева «Альоша Попович, богатырское песнотворение», М., 1801).

Стр. 64. *Угольная комната*— угловая.

Белое привидение

Стр. 69. *В сражении при Нови...*— в битве возле итальянского города Нови (август 1799) русско-австрийская армия под командованием Суворова разгромила войска французов.

...генерал Милорадович— Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825), участник итальянского и швейцарского походов русских войск, герой Отечественной войны 1812 г., впоследствии — петербургский военный генерал-губернатор.

Нежданные гости

Стр. 77. *...Исакий, затворник печерский*— монах Киево-Печерского монастыря.

Стр. 82. *не верь тому, что печатают под титлами...*— т. е. словам, напечатанным с надстрочными знаками, означающими пропуск букв; здесь имеются в виду печатавшиеся под титлами слова «Бог», «Богородица», «Христос».

Концерт бесов

Стр. 86. *Медокс*— Маддокс М. Г. (он был англичанином, а не итальянцем), содержатель московского Петровского театра в 1780—1789 гг.

Петровский театр— находился с 1780 г. в начале улицы Петровки, между Кузнецким мостом и рекой Неглинной, в районе нынешнего Большого театра; в 1805 г. Петровский театр сгорел.

Стр. 87. *...в Англии назвали бы сплином, мы называли просто хандрою...*— Реминисценция из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава I, строфа XXXVII).

Стр. 89. *Армида*— героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим», волшебница, влюбленная в рыцаря Ринальдо и своими чарами удерживавшая его в волшебном саду.

Стр. 94. *Чимароза* Доменико (1749—1801) — итальянский композитор, клавесинист, скрипач, певец; в 1787—1791 гг. на службе в Петербурге.

Гендель Георг Фридрих (1685—1759) — немецкий композитор и органист.

Рамо Жан Филипп (1683—1764) — французский композитор.

Глук— Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — немецкий композитор, один из реформаторов оперы.

Арая— Арайя Франческо (1709—ок. 1770) — итальянский композитор; с 1735 г. возглавлял в Петербурге итальянскую оперную труппу; его оперы (в том числе и «Беллерофонт») ставились при дворе Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны.

Люлли Жан Батист (1632—1687) — французский композитор; основоположник французской оперной школы.

Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский писатель и философ, был автором ряда работ по музыкальной эстетике, в том числе знаменитого «Музыкального словаря» (1767).

«Деревенский колдун» — популярная комическая опера Руссо (1752).

Стр. 97. *...подле Обухова моста... В желтом доме?* — Возле Обухова моста через Фонтанку находился дом сумасшедших.

Две невестки

Стр. 101. *Франк* Иоганн Петер (Иван Петрович) (1745—1821) — знаменитый врач; в 1804—1808 гг. в России.

Французская революция — Великая французская революция (1789—1794).

Стр. 102. *...несмотря на угрозы республиканской партии...* — В августе 1792 г. король Людовик XVI был отстранен от власти и 21 января 1793 г. казнен; королева Мария-Антуанетта была казнена 16 октября 1793 г.

Мирабо Габриель Оноре-Рикети (1749—1791) — граф, деятель начального периода Великой французской революции.

Стр. 106. «Друг народа» — газета, издававшаяся с 1789 г. Маратом.

Ламбаль Мари-Тереза-Луиза де Савой-Кариньяк (1749—1792) — близкое лицо королевы Марии-Антуанетты; была убита 3 сентября 1792 г. во время народных волнений.

Стр. 108. *Глагол времен — металла звон!* — Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

Ночной поезд

Стр. 111. *Лисовский* Александр Иосиф (ум. в 1616) — политический авантюрист, активный участник польской интервенции. Во главе отряда наездников совершал опустошительные набеги на русские земли.

Стр. 112. *...подступали поляки...* — После изгнания поляков из Москвы в 1612 г. последовала новая интервенция: в 1617—1618 гг. войска королевича Владислава с большим трудом были отбиты от Москвы; в результате перемирия к Речи Посполитой отошли смоленские, черниговские и новгород-северские земли с 29-ю городами, включая Смоленск.

Стр. 112—113. *Романеи <...> но я читал в одной критике...* — Намек на рецензию «Северной пчелы» о «Юрии Милославском», где указывалось (со ссылкой на 10-й том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина), что романею в старину пили только при княжеских дворах (Северная пчела. 1830. № 8. 18 января).

Стр. 113. *...засурским помещиком...* — т. е. живущим за рекой Сурою.

Стр. 113—114. *...был года два лисовчиком...* — т. е. служил у Лисовского.

ИЗ ЦИКЛА «МОСКВА И МОСКВИЧИ»

Впервые опубликовано в 4-х «выходах» в 1842—1850 гг. (отдельные очерки предварительно печатались в журналах). Полное название цикла: «Москва и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского, издаваемые М. Н. Загоскиным».

Последовательность очерков, рассказов и сцен в цикле такова:

Выход первый (М., 1842). От издателя; I. Московский старожил; II. Взгляд на Москву; III. Сцены из московской домашней и общественной жизни. Сцена 1-я: Выбор жениха; IV. Московская старина; V. Контора дилижансов; VI. Два московских бала в 1801 году; VII. Московские балы нашего времени; VIII. Сцены из московской домашней жизни. Сцена 2-я: Живописец; IX. Марьина роща; X. Смесь: Визитные карточки.— Московские фабрики.— Дураки.— Большой колокол и царь-пушки.— Бульварный разговор.— Кремль при лунном свете.— Вороны.

Выход второй (М., 1844). I. Петровский парк и воксал; II. Городские слухи; III. Английский клуб; IV. Литературный вечер; V. Ванька; VI. Сцены из московской общественной и домашней жизни. Сцена 3-я: Новорожденный; VII. Смесь: Брат и сестра. Загадка.— Дешевые товары.— Первые театральные представления в Москве.— Русский магазин.— Карты.

Выход третий (М., 1848). I. Несколько слов о наших провинциалах; II. Четыре визита; III. Первое мая; IV. Поездка за границу; V. Письмо из Арзамаса; VI. Прогулка в Симонов монастырь; VII. Смесь: Логический вывод.— Московские гостиницы.— Андрей Евстафьевич Дыбков.— Москва-река.— Бабий городок.— Два слова о нашей древней и современной одежде.

Выход четвертый (М., 1850). К читателям; I. Купеческая свадьба; II. Нескучное; III. Московские сводчики; IV. Осенние вечера. 1. Вступление. 2. Вечер первый. 3. Эмигрант. 4. Благодарный вор. 5. Лекарский диплом. 6. Предсказание. 7. Канцелярист.

Цикл «Москва и москвичи» публикуется в извлечениях по указанным изданиям.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Стр. 123. *...Я не обязан, по долгу службы...*— До 1842 г. Загоскин пребывал в должности директора московских театров.

...московских гегелистов...— философией Гегеля увлекалась московская студенческая молодежь; отзвуки гегельянства содержались в статьях Белинского и литераторов его круга.

Стр. 124. *...этого знаменитого исторического имени...*— Бельские, один из древних боярских родов, игравших существенную политическую роль в конце XV—XVI вв.

Стр. 126. *«Сто писателей»*— «Сто русских литераторов», альманах, издававшийся А. Ф. Смирдиным в Петербурге в 1839—1845 гг. (3 тома); в нем печатались произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, А. А. Бестужева (Марлинского), Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина и др.

«Сказка за сказкой»— непериодическое издание М. Д. Ольхина; редактор — Н. В. Кукольник, 1-й том (СПб., 1841) содержал исторический рассказ Кукольника «Сержант Иван Иванович, или Все за одно»; 2-й том (СПб., 1842) включал рассказы Кукольника, В. И. Даля, П. Р. Фурмана.

Стр. 127. *«Библиотека»*— «Библиотека для чтения», петербургский журнал 1834—1865 гг., первый «толстый» (до 30 листов) журнал в Рос-

сии; в 1834—1847 гг. издавался А. Ф. Смирдиным, редактировался О. И. Сенковским.

«Сын отечества» — выходил в Петербурге в 1812—1844, 1847—1852 гг.; в 40-е годы переходил от издателя к издателю (Н. И. Греч, Н. А. Полевой, К. П. Масальский и др.).

«Северная пчела» — петербургская газета, выходила в 1825—1864 гг. Редакторы-издатели Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч (в 1831—1859 гг.).

«Русский вестник» — петербургский журнал 1841—1844 гг. (Редакторы-издатели: Н. И. Греч, затем Н. А. Полевой, с конца 1842 г.— Н. П. Каменский).

Стр. 128. *«Аскольдова могила»* — опера А. Н. Верстовского по либретто Загоскина, имевшая колоссальный успех в обеих столицах (основой оперы послужил одноименный роман Загоскина).

Стр. 129. *...вовсе не грешно...*— Неточная цитата из «Послания к А. А. Плещееву» (1794) Н. М. Карамзина:

От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно.

МОСКОВСКИЙ СТАРОЖИЛ

Эпиграф — из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие III, явление 22).

Стр. 131. *...пишет об этом наш знаменитый партизан Д. В. Давыдов.*— Имеется в виду статья Д. Давыдова «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» («Библиотека для чтения», 1835, ч. 7).

Стр. 132. *Пальмира* — древний город на территории северо-восточной Сирии (время расцвета — I—III вв. н. э.).

Бальбек — Баальбек, город в Ливане, где находятся развалины древнего (с 18 в. до н. э.) Гелиополя.

Стр. 133. *Атеней* — здесь: собрание редких произведений искусства. Атеней, или Афеней (II—III в. до н. э.) — греческий грамматик, составивший пятнадцатитомный сборник «Пир софистов», включавший около полутора тысяч отрывков из произведений греческих писателей.

Стр. 135. *Анахарсис* — легендарный скиф, путешествовавший во времена Солона (VI в. до н. э.) по Греции ради приобщения к культуре; герой романа французского писателя Бартелеми (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788).

Гибон — Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Рима» (1776—1788).

Боссюэт — Боссюэ Жак Бенинь (1627—1704) — французский писатель, философ.

Владимир на шее — на шее носился орден Владимира II или III степени.

Стр. 136. *Ламартин* Альфонс (1790—1869), *Виктор Гюго* (1802—1885), *Казимир Делавин* (Делавинь) (1793—1843) — французские писатели, чье творчество стало популярно у русского читателя в 1820—1830-е гг.

Суровская линия — торговые ряды, где торговали суровскими товарами, т. е. шелковыми, бумажными, легкими шерстяными тканями.

ВЗГЛЯД НА МОСКВУ

Эпиграф — из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава 7, строфа XXXVI).

Стр. 139. *«Инвалид»* — «Русский инвалид», петербургская газета (1813—1917).

Стр. 141. *...из путешествия Олеария...* — Речь идет о книге немецкого ученого XVII в. Адама Олеария (1599—1671) «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно».

Стр. 142. *Голицинская больница* — (ныне 1-я Градская) — Б. Калужская ул. (ныне — Ленинский пр., 8).

Стр. 143. *Капитолий* — один из семи холмов, на которых возник древний Рим; на Капитолии находился Капитолийский храм.

МОСКОВСКАЯ СТАРИНА

Стр. 149. *Говорят также иные летописцы... Москва основана еще в 882 году знаменитым Олегом...* — Еще Карамзин писал, что «сказка, что Олег на пути своем в Киев построил Москву, есть новое изобретение... Она находится в кратких исторических повестях, сочиненных около времен царя Алексея Михайловича» (Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I. СПб., 1818. С. 113). Но легенда эта не раз повторялась (см., например: Альманах на 1826 год для приезжающих в Москву и для самих жителей сей столицы, или Новейший указатель Москвы. М., 1825. С. 5; Путеводитель по Москве, изданный Сергеем Глинкою, сообразно французскому подлиннику г. Лексента де Лаво. М., 1824. С. 2.).

...на берегу Поганого пруда, который... переименован Чистым. — В 1703 г. после очистки Поганые пруды получили название Чистых.

Кучка (Кучко) Степан Иванович — по преданию, владел селами и деревнями по р. Москве; рассказ об убийстве Кучки Юрием Долгоруким содержится в «Повести о зачале царствующего великого града Москвы» (XVII в.); Карамзин отмечал ряд противоречий исторической истине, содержащихся в этой повести (История государства Российского. Т. 2. С. 176—180).

Есть еще предание... о каком-то отшельнике Букале... — Предание о Букале, так же как легенда об основании Москвы Олегом, популярное в 1820—1840-е гг. (см., например: Альманах на 1826 год. С. 6).

Стр. 150. *Константин I* Великий (ок. 285—337) — римский император с 306 г., основатель столицы Византии — Константинополя.

После нашествия Батыя... — В 1238 г. Москва была разорена.

...в 1367 году... Даниил Иванович... — Первый каменный Кремль был построен при Димитрии Ивановиче (Донском) в 1366—1368 гг.

Первую в Москве каменную соборную церковь... — Успенский собор.

Петр (ум. в 1326) — русский митрополит с 1308 г.

Игорь (ум. в 945) — великий князь киевский с 912 г.

Олег (ум. в 912) — первый исторически достоверный князь Киевской Руси; правил с 879 г. в Новгороде, с 882 г. в Киеве.

Аскольд, Дир — по преданию, князья киевские, убитые Олегом в 882 г.

Святослав (ум. в 972) — князь киевский, сын князя Игоря.

Лев Диакон (р. ок. 930) — византийский историк.

Стр. 151. *Нестор* — летописец XI — начала XII в., монах Киево-Печерского монастыря; считается автором первой редакции «Повести временных лет».

Рюрик — варяжский князь, по преданию, вместе с братьями Синавом и Трувором был призван ильменскими славянами княжить в Новгороде.

Ольга (ум. в 369) — княгиня, жена князя Игоря; правила во время малолетства Святослава.

Стр. 153. *Феодор Борисович* (1589—1605) — сын Бориса Годунова, царь после его смерти (апрель — май 1605).

Лет около сорока тому назад и дворец Годунова и это подворье были проданы на сломку с аукциона. — В начале XIX в. по приказанию начальствовавшего в Кремле П. С. Валуева дом Бориса Годунова, Гербовые ворота и ряд других старинных строений были снесены.

...стоял дом боярина Милославского, в этом доме давались первые зрелища в Москве... — В 1660 — начале 1670-х гг. театральные постановки первых спектаклей осуществлялись не только в доме царского тестя И. Д. Милославского, но также в доме боярина А. С. Матвеева, в Посольском доме на Покровке, в «Комедийной хоромине» на Аптекарском дворе, в Измайлове, Преображенском, Коломенском.

Стр. 154. *«Олоферн»* («Олофернова комедия») — «Иудифь», спектакль, поставленный в Преображенском, в придворном театре Алексея Михайловича в начале февраля 1673 г. Действие «Иудифи» основано на ветхозаветном апокрифическом сюжете.

«Притча о блудном сыне» — «Комедия притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого, поставлена в 1670-е гг. в школе Заиконоспасского монастыря (с 1687 г. — Славяно-греко-латинская академия).

«Шемякин суд» — «Повесть о Шемякином суде», одна из самых популярных новелл XVII в., по преданиям, не подтвержденным документально, разыгрывалась как спектакль в конце XVII — первой половине XVIII в.

КОНТОРА ДИЛИЖАНСОВ

В 1842 г. в Москве было восемь контор дилижансов, отправлявшихся в Петербург, одна контора — на Харьков, Курск, Орел. Одна — на Нижний Новгород и Владимир (см.: Нистрем К. М. Московский адрес-календарь. Т. I. М., 1842. С. 84).

Эпиграф — из статьи Н. М. Карамзина «О любви к отечеству и народной гордости» (Вестник Европы. 1802. № 4).

Стр. 158. *...на Тверской у подъезда лучшей московской гостиницы.* — Вероятно, гостиница Н. И. Шевалдышева на Тверской (д. 12; не сохранился).

Стр. 161. *...по смешению французского языка с нижегородским...* — Реминисценция из «Горя от ума» (действие I, явление 6).

Стр. 163. *Бравый ямщик встряхнет кудрями...* — Ср. с финалом I тома «Мертвых душ» Гоголя.

Стр. 164. *...в подлинности известного... Евангелия, писанного дьяконом Григорием...* — Имеется в виду Остромирово евангелие, один из древнейших памятников русской письменности; написано по заказу новгородского посадника Остромира в 1056—1057 гг.

ДВА МОСКОВСКИХ БАЛА В 1801 ГОДУ

Эпиграф — из «Ревизора» Гоголя (действие I, явление 2).

Стр. 165. *...какой-то особый отпечаток...* — Из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действие II, явление 5).

Пески, Коломна — районы Петербурга.

Стр. 166. *Граф Ш***, граф Р***, князь Д***, граф О***, граф С**** — вероятно, Шереметев, Разумовский, Долгорукий, Орлов, Салтыков.

Стр. 167. *Свежо предание, а верится с трудом.* — Из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действие I, явление II).

МОСКОВСКИЕ БАЛЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Эпиграф — из «Евгения Онегина» (глава I, строфа XXVIII).

Стр. 179. *Как не принятая Хароном тень на берегах Стикса...* — Харон (греч. миф.) — перевозчик умерших через реку подземного царства Стикс.

МАРЬИНА РОЩА

Стр. 189. *Ганин* Егор Федорович (ум. в 1825) — литератор-графоман, владелец сада в Петербурге, известного курьезными «достопримечательностями».

Тиволи — город недалеко от Рима, знаменитый своими архитектурными памятниками.

ПЕТРОВСКИЙ ПАРК И ВОКСАЛ

Петровский подъездной дворец (ныне принадлежит Военно-воздушной академии имени Жуковского) построен в 1775—1782 гг. М. Ф. Казаковым.

Эпиграф — из комедии «Горе от ума» (действие II, явление 5, слова Скалозуба).

Стр. 196—197. *...того, который... так долго... заботится об ее благосостоянии.* — Голицын Дмитрий Владимирович (1771—1844), московский генерал-губернатор (1820—1844).

Стр. 197. *Витали* Иван Петрович (1794—1855) — русский скульптор, создатель фонтана на Театральной площади (1835).

Стр. 201. *Ютилите*— второстепенные роли.

Стр. 202. *Балансе*—танцевальное па; *па де-коте, шасе-ан-аван, па де-ригодон*—разные типы танцевальных движений.

АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ

Эпиграф—из «Горя от ума» (действие I, явление 7).

Стр. 208. *Дворянский клуб*—Российское благородное собрание, Дмитровка, I (ныне Дом союзов).

Купеческий клуб—Большая Дмитровка, 17 (дом перестроен).

Немецкий клуб—ул. Софийка (Пушечная, 9).

Стр. 209. *Московский Английский клуб открыт в 1802 году...*—Открытый в Москве при Екатерине II, Английский клуб был запрещен Павлом I, восстановлен в 1802 г.

Муравьев Михаил Никитич (1757—1807)—писатель, в 1802—1807 товарищ министра просвещения.

Стр. 210. *Разумовский* Алексей Кириллович (1748—1822)—в 1810—1816 гг. министр народного просвещения.

Стр. 211. *Херасков* Михаил Матвеевич (1733—1807)—один из крупнейших русских поэтов второй половины XVIII века; дом был выстроен для брата писателя—А. М. Хераскова в 1780 г.

...дом графа Шереметева в Останкине...—Во дворце Н. П. Шереметева, построенном в 1792—1797 гг., был организован крепостной театр.

...дом графа Разумовского на Гороховом поле...—дом А. К. Разумовского на Гороховской улице (№ 20).

Стр. 212. *...мебель а-ля помпадур...*—В стиле XVIII века. Маркиза де Помпадур (1721—1764)—фаворитка французского короля Людовика XV.

Стр. 213. *А придерутся к тому, к сему...*—Цитата из «Горя от ума» (действие II, явление 5).

...как в палерояльской ротонде...—Пале Рояль—дворец с садом, окруженный арками, под которыми помещались магазины и рестораны; излюбленное место прогулок парижан.

Стр. 217. *«Северная пчела», «Инвалид»*—петербургские газеты; «Инвалид»—«Русский инвалид».

«Московские ведомости»—московская газета; издавалась с 1756 г.

...Анну через плечо?—Орден святой Анны I и II степени носился на ленте, надеваемой через левое плечо.

Станислав—Орден святого Станислава.

Стр. 221. *Лист* Ференц (1811—1886)—венгерский композитор, пианист, дирижер; в 1843 г. выступал с концертами в Москве.

Стр. 223. *...письмовник Курганова и сочинения Эмина...*—Н. Г. Курганов (1725—1796)—автор «Письмовника, содержащего в себе науку российского языка...» (название 4-го издания—СПб., 1790; 1—е издание—СПб., 1769, под названием «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие...»), книга неоднократно переиздавалась вплоть до 1837 г. Ф. А. Эмин (ок. 1735—1770)—плодовитый прозаик и пе-

реводчик 1760-х гг., автор романов «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» (1763), «Приключения Фемистокла» (1763), «Письма Эрнеста и Доравры» (1766), издатель журнала «Адская почта» (1769).

ВАНЬКА

Стр. 234. *Шевалье* — содержатель гостиницы в Камергерском пер. (пр. Художественного театра, 4; дом перестроен).

Стр. 239. *Личарда* — слуга короля Гвидона в лубочном романе о Бове-Королевиче.

ПЕРВОЕ МАЯ

Эпиграф — из стихотворения Н. Берга «Сокольники. Послание к друзьям по выздоровлении» (Москвитянка. 1849. ч. I. № 2. С. 165—187); очевидно, Загоскин знал это стихотворение по рукописи.

Стр. 245. *Рассудку вопреки, наперекор стихиям...* — Цитата из «Горя от ума» (действие III, явление 22).

Стр. 246. *Боско* Бертоломео (1793—1863) — знаменитый итальянский фокусник, гастролировавший в России в 1842 г.

Стр. 247. «Суд зверей» — басня Крылова «Мор зверей».

Кому в Москве не зажимали рты... — Цитата из «Горя от ума» (действие II, явление 5).

ПИСЬМО ИЗ АРЗАМАСА

Эпиграф — из «Горя от ума» (действие III, явление 22).

Стр. 252. *...особенно в одном журнале...* — Имеются в виду «Отечественные записки» (с 1839 г. издавались в Петербурге А. А. Краевским), где отдел критики до середины 1846 г. вел Белинский и задавали тон писатели, связанные с «натуральной школой».

...«Дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит. — Первоначальное название фотографии — «дагерротипия» — произведено от имени ее изобретателя — французского художника Л. Ж. М. Дагера (1787—1851).

Меццофанти Джузеппе (1774—1849) — кардинал, профессор университета в Болонье; свободно владел 50—60 языками.

Стр. 253. *Владимир Святославич* (ум. в 1015) — князь новгородский (с 969), киевский (с 980).

Тредьяковский Василий Кириллович (1703—1768) — русский поэт, официально числился профессором элоквенции в Академии наук.

Стр. 257. *Стерн* Лоренс (1713—1768) — английский писатель, автор романа «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760—1767).

Стр. 261. *...прочесть до конца первую песнь из поэмы Буало...* — Н. Буало-Депрео (1636—1712) — создатель литературного «кодекса» классицизма — поэмы «Поэтическое искусство» (1674), 1-я песнь которой кончается словами: «Глупец глупцу всегда внушает восхищенье».

ПРОГУЛКА В СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ

Эпиграф — из повести Карамзина «Бедная Лиза» (1792).

Стр. 264. ...*поклонницею одного русского молодого поэта...* — Имеется в виду Карамзин; далее перечислены его наиболее популярные в 1790-е годы произведения.

Возьмите лавр, а мне в награду... поцелуй! — Из «Послания к женщинам» (опубл. 1796); у Загоскина названо: «К женщинам».

Ручей два древа разделяет... — Из стихотворения Карамзина «Надежда» (1796).

Стр. 268. *Тон* Константин Андреевич (1794—1881) — русский архитектор, по его проекту построены здания Большого Кремлевского дворца (1794—1881), Оружейной палаты (1844—1851), вокзалов Николаевской железной дороги в Москве (1849) и Петербурге (1844—1851).

Федор Алексеевич (1661—1682) — русский царь с 1676 г.

Стр. 272. ...*князь Платочкин...* — Имеется в виду князь П. И. Шаликов (1767—1852), поэт, эпигон Карамзина, в начале XIX в. очень популярный в Москве.

Стр. 273. *Сафо* — Сапфо (7—6 вв. до н. э.), древнегреческая поэтесса; по легенде, бросилась в волны из-за неразделенной любви.

Ловелас — герой-обольститель из романа С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1748).

Стр. 274. *Спи, пострел, пока невинный!* — Цитата из «Колыбельной песни» (1845) Н. А. Некрасова.

Стр. 275. ...*в Париже, когда еще он назывался Лютециею?* — Лютеция — древнее поселение (на месте современного Парижа) кельтского племени — паризиев, в 52—51 гг. до н. э. покоренных римлянами.

НЕСКУЧНОЕ

Нескучное — в первую четверть XIX в. имение князя Льва Александровича Шаховского, во второй половине 1820-х гг. было приобретено дворцовым ведомством и вместе с купленными Николаем I соседними владениями Голицыных и Орловых стало называться Нескучным садом. «Минеральный» колодец, построенный Шаховским, сломан в 1835 г.; Летний театр действовал в первую половину 1830-х гг.

Стр. 280. *К. Ш.* — князь Шаховской Л. А.

Стр. 281. *«Венгерская хижина,* или Знаменитые изгнанники» — балет, поставленный Дидло; шел с большим успехом в 1820—1830-е годы.

Стр. 282. *Д. В. Голицын* — См. комм. к с. 196.

Стр. 283. ...*«волчью долину», что на дне ее льют роковые пули и черный стрелок выглядывает...* — Имеется в виду балет К. М. фон Вебера (1786—1826) «Волшебный стрелок».

Стр. 286. *Лодер* Христиан Иванович (1753—1832) — врач, хирург; с 1806 г. лейб-медик Александра I; по его инициативе в Москве было организовано заведение минеральных вод на Остоженке.

Стр. 292. ...*чтоб мы почаще вспоминали одну басню Крылова...* — Имеется в виду басня «Червонец».

ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА
Вступление

Стр. 298. *...сделалось совершенною пошлостью...*—т. е. сделалось совершенно обычной вещью.

Большая опера—парижский театр Grand Opéra. Café de mille colonnes—парижский ресторан.

Стр. 299. *Мы ищем ее везде: в остроге, в кабаках, во всякой грязной луже...*—Выпад против «натуральной школы» в литературе, объединявшей последователей Гоголя.

...слушателей... профессора Окена...—Окен Лоренц (1779—1851), немецкий философ-идеалист.

Стр. 300. *Карл Моро* (Моор)—герой драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

Стр. 301. *Что женихи, как на отбор...*—Цитата из басни И. А. Крылова «Разборчивая невеста».

...знакома с Дидеротом...—Дидерот—французский философ-энциклопедист Дени Дидро (1713—1784).

Стр. 302. *Пироскап* (правильнее—пироскаф)—пароход.

«Заря утрення взошла...»—из популярной народной песни «Ты, отеческая дочь, Не ходи гулять в полночь...».

Стр. 302—303. *...вон из этой фатальной Москвы... не осмелится выгнать меня таким брютальным образом из дома...*—Загоскин заставляет княжну Задольскую говорить на «щегольском наречии» XVIII века (в нем, в частности, использовались русифицированные формы французских слов).

Вечер первый

Стр. 306. *...знаменитый дюк де Ришелье, который переписывался с Вольтером...*—Луи-Франсуа-Арман Дюплесси, герцог де Ришелье (1696—1788), маршал Франции, утонченный прожигатель жизни, был лишен всякого образования.

Эмигрант

Стр. 307. *...парик а-лель-де пижон...*—парик на манер голубиного крыла.

...распудренный о фрима—«под изморось».

Стр. 310. *...шевалье показался мне совершенно Сен-Пре!*—Сен-Пре—герой романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

Стр. 315. *...поневоле вспомнишь книжку «Не любо не слушай, а лгать не мешай»...*—Под таким названием в конце XVIII—начале XIX в. многократно издавался вольный перевод книги Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена».

Благодарный вор

Стр. 318. *...эта трагедия, переведенная... Сандуновым...*—«Разбойники» Ф. Шиллера в пер. Н. Н. Сандунова изданы в Москве в 1793 г.; ставились до начала XIX в.

Стр. 320. *Фра-диаволо* (Михаил Пеццо) — известный итальянский разбойник и политический авантюрист. Принимал активное участие в борьбе с французскими оккупантами. Личность Фра-Диаволо еще при жизни была окружена легендами.

Стр. 324. *...поравнявшись с переулком, который идет позади Пашкова дома...* — Ныне улица Маркса и Энгельса.

Лекарский диплом

Стр. 328 *...сделаться Вертером этой прелестной Шарлоты...* — Иронический намек на роман И.-В. Гете «Страдания юного Вертера» (где в центре — трагическая любовь Вертера к Шарлотте); новелла Загоскина травестирует и снижает мотивы романа Гете. Об отрицательном отношении Загоскина к Гете и к немецкой культуре вообще см. воспоминания М. А. Дмитриева.

Стр. 330. *Идиллии Соломона Геснера* — Геснер Соломон (1730—1788), швейцарский писатель, автор идиллий в прозе.

Стр. 332. *Азофус* (лат. asotus) — распутник. *Игнарус* (лат. ignarus) — невежда. *Индоктус* (лат. indoctus) — неуч. *Инептус* (лат. ineptus) — глупец. *Азинус* (лат. asinus) — осел.

Предсказание

Стр. 338. *...я находился... в отдельном корпусе графа Витгенштейна...* — 1-й отдельный корпус П. X. Витгенштейна (1768—1842) в 1812 г оборонял петербургское направление.

...накануне полоцкого сражения... — Корпус Витгенштейна овладел Полоцком 7 октября 1812 г. после упорного сражения с французским корпусом Сен-Сира.

Канцелярист

Настоящий рассказ был впервые опубликован лишь в 1865 г., после смерти Загоскина. Судя по имени рассказчика, этот текст предназначался для продолжения «Осенних вечеров».

Стр. 347. *...надел мой штаб-офицерский мундир...* — штаб-офицерскими назывались военные чины от майора до полковника.

Стр. 348. *...особы важные, — у кого в петлице, у кого на шее...* — На груди носились ордена низших степеней; на шее — ордена Станислава и Анны 2-й степени, ордена Георгия и Владимира 2-й и 3-й степени.

...в кавалерии! — То есть в ленте через плечо, на которой носились все ордена 1-й степени.

Стр. 349. *...Да и я не обер-офицерик какой-нибудь...* — обер-офицерскими считались чины от прапорщика до капитана включительно.

М. Н. ЗАГОСКИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Аполлон Григорьев отмечал в 1861 г.: «М. Н. Загоскин как человек — одно из отраднейших явлений нашего старого быта» (Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980. С. 120). Неудивительно, что стра-

ницы, посвященные колоритной личности Загоскина, можно найти у многих мемуаристов XIX века. Для настоящего издания отобраны наиболее значительные воспоминания.

С. Т. АКСАКОВ

Биография Михаила Николаевича Загоскина

Впервые — Москвитянин. 1853. Т. 1. № 1. Печатается по изд.: Разные сочинения С. Аксакова. М., 1858.

Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859) — известный писатель, прославившийся автобиографическими произведениями «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Был близко знаком с Загоскиным с середины 1820-х гг.

Стр. 359. *В том же 1815 году... Загоскин написал комедию...* — О «Комедии против комедии» см. также в «Записках» Ф. Ф. Вигеля.

Стр. 362. *«Северный Наблюдатель»* — Загоскин был одним из издателей журнала во второй половине 1817 г., вел в нем театральный раздел «Еженедельный репертуар»; здесь опубликованы его первые прозаические опыты (в том числе повесть «Неравный брак»).

Стр. 363. *«Второй Богатонов...»* — Имеется в виду комедия «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе» (1-я постановка — в Москве 20 января 1821 г.).

Стр. 365. *...послание к Н. И. Гнедичу...* — Это и два других стихотворения Загоскина — «Авторская клятва» и «Выбор жены» (у Аксакова ошибочно — «Выбор невесты») впервые опубликованы в «Соревнователе просвещения и благотворения» (1821. № 6, 7, 8).

Стр. 368. *Загоскин решился выдержать экзамен...* — Загоскин готовился к этому экзамену с сентября 1821 г., сдал в ноябре (см. его письма к Н. И. Гнедичу от 30 октября и 2 декабря 1821 г. — Загоскин М. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1987. С. 706—708).

Стр. 375. *В 1830 году я написал самый строгий разбор «Юрия Милославского».* — «Московский вестник», 1830, № 1; в «Разных сочинениях С. Аксакова» эта статья была перепечатана в разделе «Приложения».

Стр. 377. *Вальтер Скотт испытал падение с своей историей Наполеона...* — Имеется в виду труд В. Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» (1827).

С. М. ЗАГОСКИН

Воспоминания

Впервые — Исторический вестник. 1900. № 1. С. 41—78. Печатается по этой публикации.

Сергей Михайлович Загоскин (1833—1897) — младший сын писателя, камергер двора, чиновник. Мемуары писались им в последние годы жизни. Публикуется раздел воспоминаний, непосредственно посвященный М. Н. Загоскину.

Стр. 399. *...стольник и воевода на Нерехте...*— Нерехта — город на одноименной реке в Костромской губ.; в XVII в. Нерехта, сильно пострадавшая во время польской интервенции, находилась в плачевном состоянии; поэтому должность воеводы в этом городе была незначительной и весьма мало почетной.

Стр. 400. *...отправился на жительство в Саровскую пустынь...*— Саровская пустынь — монастырь в Темниковском уезде Тамбовской губернии (основан в XVII в.), отличавшийся строгостью устава. *Отец Серафим* (1760—1830) — монах Саровской пустыни, слывший «великим подвижником благочестия».

Стр. 401. *...известный поэт... И. М. Долгоруков...*— См. о нем в примеч. к «Воспоминаниям...» М. А. Дмитриева.

Стр. 402. *...юноша... Брюло...*— выдающийся русский живописец Карл Павлович Брюллов (1799—1852), сын обрусевшего немца Брюло.

Стр. 403. *...по ходатайству... богатого откупщика Злобина...*— Злобин Василий Алексеевич (1750—1816), сын саратовского крестьянина; участием в казенных откупах составил себе значительное состояние.

Стр. 404. *...в особенности ожесточался против него Грибоедов...*— Грибоедов, уязвленный неблагоприятным отзывом Загоскина на свою комедию «Молодые супруги», написал ядовитое «антизагоскинское» стихотворение «Лубочный театр» (1817), которое разошлось по столице во множестве списков. Никакого отношения к позиции «Арзамаса» полемическое выступление Грибоедова не имело. *«Бич пороков и блинов...»* — В настоящее время этот экспромт в собрания сочинений Грибоедова не включается.

Стр. 405. *Князь Сергей Николаевич Урусов* (1816—1883), статс-секретарь, член Государственного совета, главноуправляющий II Отделением собственной Е. И. В. Канцелярии.

Стр. 406. *Алексей Николаевич Оленин* (1763—1843) — директор Императорской Публичной библиотеки, президент Академии художеств.

Стр. 407. *...сошелся с Ф. Ф. Кокошкиным...*— Кокошкин Федор Федорович (1773—1838), драматург, директор московских театров; принадлежал к ближайшему литературному кругу Загоскина.

Стр. 408. *...он не мог получить чина коллежского асессора без... экзамена...*— В соответствии с указом, подготовленным в 1809 г. М. Сперанским, для получения чина коллежского асессора (8-й класс) необходимо было представить университетский аттестат или сдать специальный экзамен.

...В 1828 году он задумал написать исторический роман.— Ср. свидетельство С. Т. Аксакова, относящего замысел романа к более раннему периоду.

Стр. 414. *Цинский* Лев Михайлович — московский обер-полицмейстер.

Алексей Николаевич Верстовский (1799—1862)—композитор; Загоскин написал либретто для его опер «Пан Твардовский», «Аскольдова могила» и др.

Стр. 415. *Петр Михайлович Волконский* (1776—1852), светлейший князь, генерал-фельдмаршал, министр Императорского двора и уделов (с 1826 г.). *Панаев* Владимир Иванович (1792—1859)—литератор, директор канцелярии министерства Императорского двора (с. 1832 г.).

Стр. 418. *...осмелился обратиться с своим прошением прямо к государю...*—Мемуарист излагает, очевидно, семейное предание. На самом деле в 1840 г. Загоскин обратился с соответствующей просьбой не к императору, а к Волконскому (см.: Исторический вестник. 1902. № 7. С. 144; в публикации ошибочно датировано 1851 г.); Волконский сделал доклад по письму Загоскина, по которому была вынесена высочайшая резолюция (см. письмо Волконского к Загоскину от 22 апреля 1840 г.; мемуарист неточно приводит выдержки из этого письма). Для выражения неудовольствия у Волконского попросту не было оснований.

...в день представления пиесы Константина Аксакова «Освобожденная Москва»—Первое представление драмы К. С. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» состоялось 14 декабря 1850 г.

...во дни представлений собственных его двух комедий: «Поездка за границу» и «Женатый жених»...—Эти комедии были впервые поставлены соответственно 19 января и 30 декабря 1850 г.

Стр. 419. *Александр Фомич Вельтман* (1800—1870)—писатель, историк, археолог.

...составивший... «Обзор оружейной палаты...»—Имеется в виду книга А. Вельтмана «Московская оружейная палата». М., 1844 (2-е изд., перераб. и доп.,—М., 1860).

Стр. 421. *...крымские воронцовские вина...*—Промышленное виноделие распространилось в Крыму благодаря энергии новороссийского наместника М. С. Воронцова; по его имени крымские вина стали называть «воронцовскими».

«Ай-Данило»—ироническое название вина «Ай-Даниль», вырабатывавшегося в крымском имении Воронцова (местечко Ай-Даниль близ Ялты).

...дача «Студенец»—дачное место за Трехгорной заставой; славилось замечательной ключевой водой.

Стр. 423. *...лукутинских табакерок...*—Продукцию «фабрики бумажных табакерок г-на Лукутина» Загоскин очень ценил и даже посвятил ей специальный очерк в выходе первом «Москвы и москвичей» («Смесь»).

Ф. Ф. ВИГЕЛЬ

Из «Записок»

Печатается по изд.: Ф. Ф. Вигель. Записки. Т. 3. М., 1892. С. 167—168, 171—173.

Филипп Филиппович Вигель (1786—1856) — родственник Загоскина; участник литературного общества «Арзамас» (1815—1818); впоследствии крупный чиновник.

Первое представление комедии А. А. Шаховского (о нем см. также в «Биографии...» С. Т. Аксакова — с. 359 наст. изд.) «Урок кокеткам, или Липецкие воды» состоялось в Петербурге 23 сентября 1815 г. Организационное заседание «Арзамаса» — 14 октября; присутствовали С. С. Уваров, Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов, С. П. Жихарев, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский; впоследствии участниками «Арзамаса» стали К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, В. Л. Пушкин, А. С. Пушкин и др. Вигель был принят в «Арзамас» 29 октября 1815 г. 3 ноября состоялось первое представление пьесы Загоскина «Комедия против комедии, или Урок волокитам». «Оленистами» Вигель называет И. А. Крылова и Н. И. Гнедича, бывших в дружеских отношениях с директором Публичной библиотеки А. Н. Олениным. «Оленинский кружок» занимал особую позицию в литературных спорах середины 1810-х гг. «Здесь бранят Шишкова, и если не бранят Карамзина, то, по крайней мере, спорят с теми, кто его хвалит»,— писал Жуковский в 1815 г. (Уткинский сборник. М., 1904. С. 13; А. С. Шишков возглавлял «Беседу любителей русского слова» — литературное общество, борьбу против которого вели «арзамасцы», сторонники Н. М. Карамзина). В конце 1815 — начале 1816 гг. своим человеком в доме А. Н. Оленина стал и Загоскин.

Стр. 427. *Аристофан* (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) — древнегреческий комедиограф, чье имя применено Дашковым к Шаховскому.

Стр. 428. *...видят в нем псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию...*— Мистификация удалась: в «Сыне отечества» (1815, № 46) резкая критика «Урока волокитам» сопровождалась удивлением: почему Шаховской столь быстро пришел к «Торжественному отречению» (с. 36) от нападок на Жуковского? В предисловии к отдельному изданию своей комедии (Спб., 1816) Загоскин вынужден был специально объясниться с читателями по поводу авторства пьесы.

М. А. ДМИТРИЕВ

Воспоминания о М. Н. Загоскине

Печатаются по писарской копии: Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ОР ГБЛ), Пог. (Ш, 4, 36).

Михаил Александрович Дмитриев (1796—1866), поэт, критик, переводчик, мемуарист. Как и Аксаков, принадлежал к ближайшему литературному окружению Загоскина. Его «Воспоминания о М. Н. Загоскине» написаны, очевидно, в 1854 году: 13 августа 1854 г. Дмитриев переслал их М. П. Погодину со следующим сопроводительным письмом:

«Вот вам, любезнейший Михайла Петрович, мои рассказы о Загоскине. Если вы думаете, что можно прочитать их, то прочитайте» (ОР ГБЛ. Пог./II, 11, 9/I, л. 46). Сведения о Загоскине содержатся и в другом мемуарном сочинении Дмитриева — «Главах из воспоминаний моей жизни» (ОР ГБЛ).

Стр. 429. *Иван Михайлович Долгоруков* (1764—1823) — поэт, театрал; его дом был одним из центров литературной жизни Москвы.

...я описал в жизни князя Долгорукова... — Имеется в виду книга Дмитриева «Князь Иван Михайлович Долгоруков и его сочинения» (М., 1851; 2-е, доп. изд. — М., 1863).

...ему было 65 лет... — Эти сведения документально не подтверждены. *Из записок кн. Долгорукова...* — Дмитриев имеет в виду мемуарные книги Долгорукова «Капище моего сердца» (М., 1874) и «Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни» (Пг., 1916); мемуарист знал эти книги в рукописи.

Загоскин отличался... лафонтеновскою простотою... — Французский баснописец Жан де Лафонтен (1621—1695) считался образцом наивности и простодушия.

Стр. 430. *Маленькая комната... была его кабинетом.* — Быт Загоскина в доме Новосильцева Дмитриев подробнее обрисовал в «Главах из воспоминаний моей жизни»: «...кабинет его был за перегородкой, с одним окном, и составлял какой-то узкий коридорчик. В нем был у окна письменный стол, занимавший почти всю ширину кабинета, у противоположной короткой стены диван; и несколько стульев. Но и тогда была уже у него хотя и небольшая, но достаточная библиотека, составленная из русских авторов и из французских маленьких и дешевых стереотипных изданий их классиков...» (ОР ГБЛ, ф. 178, карт. 8184, ед. хр. I, л. 155).

Стр. 431. *В первый раз читал он его у Вельяминовых.* — Подразумевается не чуждое словесности семейство Вельяминовых-Зерновых, в доме которых часто устраивались литературные чтения.

В одном романе у него раскольник сидит в дупле... — Подобный эпизод есть в романе «Брынский лес».

...из «Известия о стригольниках» Андрея Иоанова... — Имеется в виду книга протоиерея Андрея Иоанова (1751—1813) «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разногласиях, собранное из потаенных старообрядческих преданий, записок и писем...». На протяжении XVIII—XIX вв. книга выдержала 6 изданий; Загоскин, вероятно, пользовался 4-м изданием (СПб., 1831).

Некоторые из анекдотов, помещенные им в одной его повести... — Соответствующие «анекдоты» содержатся в романе «Рославлев».

Стр. 432. *Слово «юмор» он переводил «балагурство»...* — Ср. включенное в сб. «Москва и москвичи» «Письмо из Арзамаса» (настоящ. изд., стр. 251).

Александр Иванович Писарев (1803—1828) — драматург, поэт, критик. Принадлежал к литературному окружению Загоскина, что не ме-

шало ему, желчному и язвительному от природы, постоянно вышучивать своего приятеля. Так, по свидетельству М. Дмитриева, Писарев «говорил, что хочет собрать знакомых литераторов, чтобы предложить им вопрос: «Круглый ли дурак Загоскин или просто дурак?» (ОР ГБЛ, ф. 178, карт. 8184, ед. хр. I, л. 159 об.).

Стр. 433. *В это время в Москве был Грибоедов...*—Рассказанный Дмитриевым анекдот о Загоскине и Грибоедове опубликован в кн.: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература. 1980. С. 360.

Играли в театре его комедию, кажется «Домашний театр»...—Дмитриев допускает двойную ошибку: комедия Загоскина называлась «Благородный театр» («Домашний театр» — пьеса А. А. Шаховского); кроме того, она никак не могла играться в 1824 г.; премьера «Благородного театра» в Москве состоялась 28 декабря 1827 г.

Пикар Луи-Франсуа (1769—1828), французский комедиограф. *Делиль* Жак (1738—1813) — французский поэт и переводчик, представитель позднего классицизма.

Вот тебе стих из Делиля...—Этот стих содержится в эпиграфе к «Благородному театру».

Стр. 437. *Михаил Павлович* (1798—1848) — великий князь. *Елена Павловна* (1806—1873) — великая княгиня, жена Михаила Павловича.

...в своем саду, на Стоженке...—В конце Остоженки, близ Крымской площади, находился дворец Михаила Павловича; в настоящее время от него сохранился лишь небольшой флигель.

Стр. 438—439. *«Я знаю, ты их не любишь!»* —М. А. Дмитриев крайне неприязненно относился к семейству Романовых, особенно к императору Николаю I и его брату Михаилу; эта неприязнь отразилась в его мемуарах («Главы из воспоминаний моей жизни»).

Стр. 439. *...камергером Солнцевым...*—Солнцев (Сонцов) Матвей Михайлович (1779—1847) — камергер, богатый помещик, близкий к московским литературным кругам.

Стр. 439. *...она догадалась, что дело идет о цензуре...*—Несмотря на всю свою «благонамеренность», Загоскин нередко становился жертвой николаевской цензуры: так, сокращениям и поправкам были подвергнуты 2-е издание его романа «Аскольдова могила» (см.: Щукинский сборник. Вып. I. М., 1902. С. 320—321) и комедия «Недовольные» (см. письмо Загоскина к Ф. А. Кони от 11 января 1852 г.— Загоскин М. Н. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1987. С. 741—742).

...о моем дяде...—Подразумевается поэт Иван Иванович Дмитриев (1760—1837).

Екатерина Андреевна Карамзина (1780—1851) — вторая жена историка Н. М. Карамзина, хозяйка известного литературного салона.

Это было в 1830 году.—В 1830 г. Россия была охвачена эпидемией холеры.

Стр. 440. *...у графини Брольо...*—В доме графини Анны Петровны Броглио на Садовой-Кудринской устраивались званые обеды и вечера.

И. И. ПАНАЕВ

Из «Литературных воспоминаний»

Печатается по изд.: И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л.: Гослитиздат, 1950. Впервые — Спб., 1876.

Иван Иванович Панаев (1812—1862) — прозаик, фельетонист, поэт-сатирик, соредактор Н. А. Некрасова по «Современнику». Воспоминания Панаева дают яркую характеристику взглядов и настроений Загоскина в 1839 году — накануне создания «Москвы и москвичей».

Стр. 446. *Мочалов* Павел Степанович (1800—1848) — артист Московского Малого театра, выдающийся русский трагик.

И. С. ТУРГЕНЕВ

Из «Литературных и житейских воспоминаний»

Печатается по изд.: И. С. Тургенев. Собр. соч.: В 12 т. Т. 11. М.: Художественная литература. 1979. С. 304—307. Впервые — Сочинения И. Тургенева. Ч. I. М., 1869.

Стр. 450. *Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман...* — Ошибка памяти мемуариста: к моменту выхода «Юрия Милославского» (осень 1829 г.) он учился уже в пансионе при Лазаревском институте.

СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ МОСКВЫ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА

Божедомка — ул. Дурова

Варварка — ул. Разина
Владимирка — шоссе Энтузиастов
Воздвиженка — пр. Калинина

Воронцово поле — ул. Обуха
Воскресенская пл.— пл. Революции

Гороховое поле — ул. Казакова
Денежный пер.— ул. Веснина
Дмитровка — Большая Дмитровка — Пушкинская ул.
Малая Дмитровка — ул. Чехова

Земляной вал — ул. Чкалова
Знаменка — ул. Фрунзе

Ильинка — ул. Куйбышева

Калужская ул.— Ленинский пр.
Калужская пл.— Октябрьская пл.
Камергерский пер.— проезд Художественного театра
Козьмодемьянская — часть набережной Максима Горького
Красное Село — район Красносельских улиц
Красный пруд — район Краснопрудных улиц
Красные ворота — Лермонтовская пл.
Кудрино — район пл. Восстания

Лубянка — ул. Дзержинского

Маросейка — ул. Богдана Хмельницкого
Моховая — пр. Маркса
Мясницкая — ул. Кирова

Никитская — Большая Никитская — ул. Герцена
Малая Никитская — ул. Качалова
Никольская — ул. 25-го Октября
Новинское — район ул. Чайковского

Охотный ряд — пр. Маркса

Поваровская — ул. Воровского
Покровка — ул. Чернышевского
Пресненские пруды — район Зоопарка
Пречистенка — ул. Кропоткинская

Рождественка — ул. Жданова
Рыбинка — река, приток Яузы; в конце XIX века заключен в трубу

Слободский сад — Лефортовский сад
Спасские казармы — район Спасской ул. (между Красными воротами и Сухаревой башней)
Спиридоновка — ул. Алексея Толстого
Страстная пл. — Пушкинская пл.

Тверская — ул. Горького
Театральная площадь — пл. Свердлова
Труба — Трубная пл.

Ходынское поле — Октябрьское поле

СОДЕРЖАНИЕ

М. Н. ЗАГОСКИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Загоскин М. Н.

З 14 Избранное /Сост. и комм. А. М. Пескова, О. А. Проскурина; Вступ. ст. О. А. Проскурина; Ил. С. Ю. Ермолова.— М.: Правда, 1988.— 480 с., ил.

В сборник произведений известного русского писателя М. Н. Загоскина (1789—1852) включена его «малая проза»: повести «Неравный брак», «Вечер на Хопре», рассказы и очерки из цикла «Москва и москвичи». В воспоминаниях современников (С. Т. Аксакова, Загоскина-сына, М. А. Дмитриева и др.) перед читателем открывается своеобразная личность М. Н. Загоскина.

З $\frac{4702010100-1661}{080(02)-88}$ 1661—88 **84 Р 1**

Михаил Николаевич ЗАГОСКИН

ИЗБРАННОЕ

Составители
Алексей Михайлович Песков
и
Олег Анатольевич Проскурин

Редактор
И. А. Бахметьева

Оформление художника
А. Н. Жилина

Художественный редактор
Г. О. Барбашинова

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1661

Сдано в набор 13.01.88. Подписано к печати 13.05.88. Формат 84×108 1/32.
Бумага типографская № 2. Гарнитура «Эдисон». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 28,92.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 150 001 — 350 000 экз.).
Заказ № 150. Цена 2 р. 30 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии издательства ЦК КПСС «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано с фотополимерных форм в типографии
изд-ва «Волгоградская правда» Волгоградского обкома КПСС.
400066, Волгоград, Привокзальная площадь. Дом печати.